



KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



2091551867



COVI

Галина
Щербакoвa

Единственная, неповторимая
Большая книга рассказов

Щербакова ^{Галина}

Единственная, неповторимая
Большая книга рассказов

Я пришла к твоей постели,
Полузавядшие цветы,
И неслетками И пусть в сердце я все гоню,
И ты не спишь, и ты не спишь,
Знаю я, что ты не спишь,
Ты же спишь, не спишь. пришла
Мои уста тебе мертво.

Я напечатал своим левками
Об угасающей любви,
И ты к оплаканным покаям
Меня уж давным не зови.

Може видя, што чинило
Для нас, и чинило, востану,
Ты же доводишь на пугало
С твоем, и доводишь, уходи.

Title: Edinstvennai`a, nepovtorimai`a`
Author: Shcherbakova, Galina.



ЭКСМО
МОСКВА
2010

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Щ 61

Оформление серии *А. Саукова, Ф. Барбышева*

В оформлении переплета использованы
фотографии из семейного архива автора

Щербакова Г.

Щ 61 Единственная, неповторимая : большая книга рассказов /
Галина Щербакова. — М. : Эксмо, 2010. — 608 с.

ISBN 978-5-699-41405-5

Полное собрание рассказов Галины Щербаковой — автора культовой повести «Вам и не снилось» — выходит впервые.

Под одной обложкой собраны рассказы, которые писательница создавала на протяжении десятилетий. Тут и юмор, и горькая ирония, и чувственный отклик на судьбы женщин — столь разные и по-своему трагические. И изящный детектив, и даже волшебная сказка.

У Щербаковой — множество прекрасных лиц. Каждое из которых смотрит на нас со страниц ее произведений по-разному. В этой большой книге рассказов читатель увидит самый точный портрет любимого автора и непременно найдет что-то особенное для себя.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-41405-5

© Щербакова Г., 2010
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2010

АНРИДАРГ

(Предичтение на любителя)

Улица называлась Красной. Когда-то давным-давно, когда маленький шахтерский поселок и не мыслил себя Горловкой или Константиновкой, какой-то безумный романтик-коммунист назвал крохотное место в два обхвата Нью-Йорком. Была ли это месть Америке или вызов ей же — не знаю. Но одновременно в десяти километрах от бурьянного Нью-Йорка, в виде его спутника, поставили красные кирпичные домики с окнами-амбразурами, а улицу назвали Красной. Но это все ерунда. Главное — впереди.

Там, где кончались красные домики, выросла тюрьма, с колючкой, вышками и выстрелами в ночи. А за тюрьмой опять продолжалась улица — но уже — Короткая (хотя вроде бы и продолжение Красной). Наша хата была третьей от тюрьмы, пятой от больницы, четвертой от школы — но уже по другую сторону. Но все это было Короткой улицей, она же дорога на кладбище. Ну, не прелесть ли? Всё вместе — три минуты налево, а две направо. А за десять километров нелепый Нью-Йорк с его градирней, которую мой детский ум превратил в Анридарг, что и стало началом моих литературных фантазий и словесных перевертышей. Я меняла местами мертвых в гробах и тех, кто стоял на вышках, школьники у меня ходили строем и только с правой ноги, а пионерский са-

лют отдавали за ухом. Можете сколько угодно смеяться, но все мои стародавние и сегодняшние рассказы — всё с той же коротенькой улицы, по которой бегали собаки, а я их называла Львами.

Моя Короткая, Красная улица живет во мне каждым своим кирпичиком, а каждый человек с нее описан до вывернутых карманов. И книга эта могла вполне называться *Рассказы короткой улицы*.

...Я давным-давно съехала с Красной и живу в Москве, но вы будете смеяться, на расстоянии трех большущих домов от меня тюрьма, четырех — больница, школа просто рядом, а на известное в округе кладбище ведут аж две дороги. Где-то — подозреваю — скрывается градирня, я страсть как ее ищу, потому что остался не описан Нью-Йорк с мальчиком Володей Куликом и с огромной его мечтой, которая была, но о которой я напрочь забыла. Но знаю — стоит найти градирню, и рассказ явится ниоткуда и уже его ничем не заламаешь.

Ей-богу, рассказы — сумасшедшие существа. Иногда я их даже боюсь. Открываешь глаза, а на краешке твоей кровати весь из себя такой симпатиченький рассказик про тетку, что гуляла с немцами, аж земля дрожала, а пенсию получала потом выше партизанок. И она говорит мне с края кровати: «Ну, и кто дурак?» — и расплывается в гипюр.

Или идешь себе спокойно по коридору, думаешь мысль об одном, а он тебе навстречу — рассказ, — просто бери и складывай слова, они же на кончике языка. А он раз — и исчезает, попрятались эти словечки, зернышки, тряпочки, запахи, — дунул на тебя и прошел сквозь, слегка кус-

нув за плечо. И ты понимаешь: не ты начальник слов, а эти хулиганы образы, которые любят тебя, когда хотят, и идут в рост исключительно по собственной воле.

Или вот вчера. Иду и думаю, что бородинский хлеб нельзя покупать на углу, надо идти на другую сторону улицы — а он тут как тут, вылезает навстречу, дух рассказа, как айсберг в океане, и мне крышка, я забываю, что такое хлеб вообще, а рассказик какой-нибудь уже сидит на донышке стакана и похохатывает, как какой-нибудь сумасшедший.

Бродячие сюжеты — так иногда называю поэтому я свои рассказы. Получив когда-то какое-никакое филологическое образование, я знаю: это словосочетание в литературоведении имеет совсем иной смысл. Но я и с ним не спорю. Я убеждена: эти сюжеты кто-то уже держал в руках и, может, выронил, может, вкус показался не тот. Но мне это любопытно — попробовать чужое. Конечно, уже через минуту я превращу все чужое в свое, такой я соловей-разбойник. С той разницей, что приبلудных я люблю, как своих. А иногда и пуще.

...И, конечно, невозможно представить этот сборник без рассказов, написанных *По заявкам трудящихся*. Было время, когда большое количество их пешком, поездом, письмом находили меня и настоятельно предлагали свои жизненные истории. Для, так сказать, их художественного воплощения. Они сроду не узнают в моих рассказах эти свои истории. Но фразка, словечко, манера подтягивать чулки — все было бесценно и превращало заявки из градирни в анридарг.

И вот они все перед вами. Рассказы Короткой улицы и Москвы, Ростова и Волгограда, Челябинска и Свердловска. От каждого города свое биение.

Но не в географии тут дело. Безусловны только рассказы Короткой улицы. Они корни, они львы-собаки и пионеры с правой ноги.

Рассказы короткой улицы

Я наложил к твоей постели
Полудавящие цветы,
И сенистками И пусть в сердце я все равно,
И ты, мой друг, не забывай,
Знаю я, ты не забудешь
Меня, забытого перчат. твои
Мои усталые мечты.

Я напечатал мои ивковые
Обушасяющей любви,
И ты к оплаканным покоям
Меня уж давнее не забы.

Меня не забудешь, и все же, конечно,
Душа моя не забудет тебя,
И ты не забудешь, и ты не забудешь,
Меня, забытого перчат.

ПРИЧУДА ЖИЗНИ

Время Горбачева и до него...

У меня насчет того, чтоб представить невозможное, — полный порядок. Я, когда еду, иду или что без ума делаю, я вижу черт знает что. Бабушка моя, покойница, когда я еще маленькая была, в таких случаях, когда я смотрела в одну точку и вся была как в ступоре — меня тогда хоть на голову ставь, — говорила: «Опять эта засранка картины рисует». Я думаю, бабушка сама была такая, иначе откуда ей знать про картины? Это я к чему... То, что я сейчас увидела, и не в голове своей дурной, а на самом что ни есть деле, мне мое буйнопомешанное сознание или с тем же эпитетом бессознание — я там знаю что?! — сроду не показывало.

Жизнь оказалась — куда там... А у меня всегда была теория. Я иногда ею делилась. То, что мы, русские, до сих пор живы, — это потому, что у нас, как у нации, хорошее воображение. Какие-нибудь немцы или англичане, дай им наши условия, давным-давно исчезли бы с лица земли. Мы же живые еще пока. Потому что, когда нас убивают из ружья, мы умираем радостно, потому что можем вообразить себе смерть на колу. Легче? Легче. Когда нас в морду и пах забивают сапогами, мы хорошо представляем — можно еще сдирать с человека шкуру. Послойно. И так далее. До бесконечности ужаса. Таким образом, воображающие, мы почти бесстрашны. Ничем нас не проймешь!

Но со мной же определенно что-то случилось. Наверное, скоро умру, если я так удивилась и затряслась, увидев на своем родном черно-белом телевизоре Ее Лицо. Еще до того, как называли ее по имени и отчеству, я узнала ее... Сразу.

Даже не так... Я узнала ее еще до того, как ее показали... Плыл на экране белый теплоход. Нарядные и хорошо покушавшие господа и дамы нашего режима разводили ручонками, изображая восхищение окружающей природой. Природу показывали и нам, зрителям, чтоб мы тоже испытали с ними общую радость красоты, и у меня уже от обилия их природы, их радости и их красоты стала подниматься по горлу вверх едучая кислота, я такое свойство за собой знаю. Бывает со мной... Но тут пошла камера шарить по лицам, и вдруг у меня все внутри осело, даже не так — все во мне оборвалось и рухнуло, и горло стало пустым, как бамбук, в него просто можно было гудеть, как в сопелку, и я — вот хохма! — гуднула. И сама же подумала: чего это я? Гужу? И тут Ее Лицо. Значит, знал мой личный организм, что что-то сейчас случится. Иначе как объяснить эту пустоту в горле и этот звук из него? Стоит старая дура перед телевизором, в руках у нее тряпка — я чувал хотела сварганить для ненужного барахла, чтоб не валялось где ни попадя. У меня в тот день был трудовой стахановский подъем. С утра я уже выстирала свое болоньевое пальто. С него стекало теперь в тазик, весело, как с крыши... Ну и вот надумала сшить чувал. В ЛТП это назвали бы трудотерапией. По мне — трудоидиотия. Потому как стирать пальто не надо было. Точно. Теперь верх сядет и подкладка будет торчать из рукавов и из-за подола, а чувал с барахлом куда я дену? Где у меня для него место?

Но судьба мне все это устроила, чтоб я вовремя оказалась перед телевизором и чтоб не пропустила, так сказать, момент явления теплохода.

...Мелко-мелко что-то дрожало во мне... И тут всплыло Ее Лицо. Другое Ее Лицо, потому что ведь сколько лет прошло. То лицо, давнее, она уже износила, это было шире, натянутой, определенной, уже постоянное лицо, без фокусов перемен. Привычка же смотреть почти не моргая осталась. И сейчас она придавала глазам какую-то важность, даже знатность: чего, мол, всякому быдлу подмаргивать? Этой вот, что с чувалом, к примеру... Стоит дура и гудит пустым горлом.

Ах, Людка-Людочка-Людмила.

Ну что? Хорошо тебе на том теплоходе? Не дует от воды? Смолоду ты нежная была. Как персик, говорила Вера. Помнишь Веру? А Стюру? А Нонну? Будешь ты помнить уборщиц. Как же!

Ты и меня не помнишь.

А я вот забыть тебя не могу. Ты еще утром только взошла на теплоход в Москве, а я в своей богом забытой Транделовке вся занялась мелкой дрожью. И пошла шуровать в трудовом порыве, еще ничего не зная и уже зная все.

Неужели ты ничего сейчас не чувствуешь? Меня всю колотит, а тебе как с гуся? А еще говорят — биоэнергия, биоэнергия. Хрен!

Ничего нет... Ничего...

Руки у меня дрожат. Ими мне пробку не снять. Значит, зубами. Все... Легче... Ну вот... Я уже человек... Я могу логично. *Ab ovo*... Как говорили древние. От яйца, извиняюсь. Еж твою двадцать! Кое-что из наук помню. Дум спиро-сперма, одним словом.

* * *

Я столько в своей жизни про эту Людку думала, как, может, никогда и ни про кого больше... Еще бы. То, что я сейчас сижу в этой задрипанной комнате, из которой вынести уже нечего, и то, что я хорошо так и давно выпиваю, и то, что я одна как перст на этом черно-белом свете, — все это началось с нее, с ласточки моей теплоходной.

Господи! Я же умница была! У меня ниже четверки ни в школе, ни в институте, и не в этом дело — при чем тут отметки, я сама, без них, знаю, что умница, может, даже одаренная (плюсквамперфект, конечно), но была точно! Они ж за мной стаей ходили, дети... За дураком пойдут? И не малолетки — старшеклассники... Они меня так слушали! О чем я им тогда говорила? Понятия не имею, никаких слов не помню, одно ощущение. Я говорю им: плюсквамперфект — а во мне как что-то открывается настезь. С ума сойти, какое состояние, будто в тебе все города и страны, и все эпохи, и все человеческие мысли, а ты небрежно так, двумя пальчи-

ками достаешь из себя это все детям и отдаешь им насовсем, и не жалко... Натя!

Если эти левобережные или как их там... депутаты добьются, что мы будем выбирать одного, хотя бы из двух, я вычеркну тебя, Миша Сергеевич. За Людку вычеркну. Мы с тобой одно поколение, значит, у нас один счет. Я тебя по этому счету и вычеркну своей слабеющей рукой. Это чистая правда. Слабеющей. У меня вены стали, как телефонный кабель, толстые и черные. Но это уже ерунда. От чего-то надо умирать. Мне, видать, от этого... Но до того — до того — я проголосую против всей этой жизни, против социализма, коммунизма, революции, Ленина, Сталина, Горбачева, Лигачева, Тяткина-Маткина, против всего народа-идиота, который употребляют всеми способами все, кому не лень...

Трудная дорога к светлому будущему? Да не надо его, люди! Вы к нему на парализованных ногах подползете, а там уже Людка. Там уже полный комплект — мест нет. Ох, Миша, как я на тебя зла, попадись ты мне лет тридцать-сорок тому... Между прочим, мы с тобой запросто могли встретиться... Одними поездами ездили учиться. Я просто раньше выходила — в Никитовке. А Людка, зараза, летала в твою края лечиться. На воды. Ты мог ее и не знать. А мог и знать! Мог! Ты шустрый мальчик. И я беру в расчет этот вариант, что ты мог... Поэтому я и предъявляю тебе счет. А кому еще? Участковому? Хороший мужик, между прочим. Мы с ним на «ты», потому что тоже ровесники и потому что у меня с ним было... И хорошо было, потому как с трезва... Тоже история ничего себе. Можно сказать, почти любовь. Я все думала: вот бы кино снять. Двое пожилых, под пятьдесят, в отношениях официальных скидывают с себя всю-всю амуницию, и начинается у них такой кайф, какого ни у него, ни у нее (про себя ручаюсь) сроду не было, и от этого они просто растерялись, потому что — оказывается! — это дело не просто такое, чтоб перепихнуться, а, можно сказать, самое духовное из всех телесных. Я потом смотрела на своего милиционера, когда он одевался. Мать честная! Он брал свой наган и не мог сообразить, что это... И все его цеплял не на ту сторону... Я за секс, Миша! Если у меня что и было, так

это секс с участковым, который приходил, дурачок, со мной бороться. От «гражданка Измайлова» до «Варя, Варенька, Варюха» какой-то час прошел, а это целая эпоха в мироздании, в которой любовь победила не смерть, тоже мне победа! Смерть, если она у нас почти всегда спасение. Любовь тут победила жизнь, которая у нас куда страшнее смерти. Она бумажку с кляузой победила, она наган победила. Участковый мой без всего оказался беленький такой, беленький... Он же, бедняга, ни разу не отдыхал путем, чтоб лечь на берег или там траву — и нá, пали меня, солнце! До локтя руки аж коричневые и лицо черным пятном... Так смешно! Вроде его из разных комплектов собрали. Вот подумать... С чего мы тогда стали раздеваться? Что я его, соблазнить хотела? А получилось, вроде мы последние люди на последнем, как кто-то сказал, берегу... А может, не вроде, а последние на самом деле? Последние в том смысле, что не за выгоду, не за деньги, без всякого расчета, а главное — без слов... Вот в этом все: без слов... Слова у нас до важного самого... Я читала эти стишки в молодости на каком-то смотре. Помоему, даже в Колонном зале... Во всяком случае, нас туда очень тщательно отбирали по анкетам. Так я там вовсю рубила эти слова своими рученьками. Поставленный жест называется. Хочу сиять заставить заново! Ну? Недооценили, заразы... Меня бы за эти самые махающие рученьки в Кремль бы... Ль бы... Очень складненькая могла бы получиться при соответствующем питании Тимошук. Или по-нынешнему Нина Андреева. Можно сказать, стояла на финишной прямой, сигналила лапками — вот она я! Вот! Возьмите меня за रुपь двадцать. Ах, идиотка молодая...

* * *

Людочка моя, Люда! Во-первых строках моей истории про тебя скажу, что спали мы с молодым моим мужем на металлической сетке и стояла она у нас, вернее лежала, на деревянных козлах. Сооружение, скажем, не для любви, а исключительно для нежной братской дружбы, но тогда, в середине пятидесятых, дружба у нас котировалась выше. Мы

были то поколение, которое коммунальному государственному группенсексу пыталось придать некое даже философское значение. Например, не для того люди женятся. Сравнить — мы работаем не за деньги. Вспомни героев-молодогвардейцев, у них вообще ничего ни разу не было. Во всяком случае, в нашей учительской компании был такой настрой — целомудрие и аскетизм. Для справки могу сказать, что все те семейные пары — я со своим, химичка с физиком, ну и другие — давно разбежались в разные стороны. Но эта пропо... А я не пропо, а про то время, когда мы еще все вместе и лично у нас есть замечательная металлическая сетка, которую мы купили задешево у физика, который, в свою очередь, задешево купил сетку панцирную. Современные могут это не понять по причине полной неосведомленности об истории нашего быта. Откуда им знать, чем отличается панцирная сетка от плоской и каково место этих сеток в определении уровня жизни? А сказать надо так: физик жил лучше, чем мы, у него уже была панцирная сетка. Мы же только стремились к ней, как к далекому светлому будущему. Я мечтала, что, если мне в конце концов дадут полную ставку, я прежде всего куплю зимнее пальто. В свои двадцать два я ходила в том, какое мне сшили в десятом классе из шинельного материала. На втором месте мечты стояла нормальная кровать, в крайнем случае хотя бы спинки для уже имеющейся сетки, которые можно было купить на барахолке. Конечно, возникала трудность: войдут ли выпуклости нашей сетки во впадины спинок? Не будешь же идти на барахолку с сеткой. Но ведь и не подстругаешь, если что... Металл — будь здоров! Поэтому надо было все тщательно вымерять при помощи циркуля и веревочки.

В то лето директор нашей школы, милейшая толстая тетка — царство ей небесное — в пуховой шали и непременной мужской обуви, которая только и могла вместить красные полированные косточки («ой, девушки, караул, смотрите, что делается, стреляет до самых ушей!») — это когда не было сил и она разувалась), сказала мне: «Варвара Алексеевна! Деточка моя! В этом году у вас должна получиться ставка. Но я вас прошу! Запишитесь в университет марксиз-

ма-ленинизма. Я именно на это напирала в районо, хлопоча о вас». Делов! Я легко училась, и мне даже нравилось учиться, конечно, не марксизму-ленинизму — врать не стану, — но можно и ему, тем более за полную ставку, а значит, и за пальто, и спинки для кровати. «Что за вопрос, Марья Ивановна! — ответила я. — Конечно, запишусь».

Мыть окна в учительской накануне первого сентября я шла в приподнятом настроении именно от радостных перспектив. И мы хорошо тогда мыли окна, весело и тщательно. Мой муж носил горячую воду из подвала, физик бритвой отскребывал разные наслоения на стеклах, а женщины тряпками и газетами наводили на них блеск.

Очень хорошо все это помню. Было ощущение приближающейся радости. Где-то завязывалась и шла прямо ко мне. Может, это был эффект вымытого стекла, который исхитрился отсвечивать радугой: ты его трешь-трешь, а он тебе в благодарность то розовым, то фиолетовым, то синим сиянием, и ты думаешь, Господи, как же красиво, если хорошо вымыто.

Опять же мысль о ставке. Будет! Пальто сошью синее с хлястиком, а карманы чтоб накладные со строчкой, воротник же хорошо бы серый. Синее с серым — благородно... И еще. Выучу наизусть «Цыган» и буду читать на уроке не подглядывая. Хорошо бы достать муки и поставить тесто на беляши, но тогда нужно доставать и дрожжи. Нет, на это силы тратить не надо, лучше почитаю любимого Паустовского. Моя подруга написала ему письмо, в нем прямо так, без подходов: «Я вас люблю». Написала, села и стала ждать ответа. Экзальтированная дура. Я вас люблю... Мало ли? Мало ли кто кого? На что она рассчитывала? Что старик бросит все и приедет к ней? Подруга говорит: «Хотя бы слово... Лично мне слово его почерком на кусочке бумажки». Ее мама, тоже учительница, сказала мне по секрету, когда никого не было: «Тебе это не понять... У тебя «нет отсутствия мужчины»...» Ночью я лежала на сетке и думала: ну вот у меня есть присутствие мужчины, но что это такое, объяснил бы мне кто?

* * *

Значит, моем мы окна. План у нас такой. После окон идем все к нам. Мы с семьей физика занимаем директорскую квартиру при школе. Раньше так их строили. При школе обязательно директорская квартира. По-моему, хорошо было придумано. Вот у нас там и было по комнате, а в кухне той квартиры жили технички, поэтому кухни как таковой у нас не было, а стояли в прихожей три керогаза, на которых жена физика раз в три дня варила макароны. А потом разжаривала их на сковородке в завтрак, обед и ужин. Технички варили недельные кислые щи на паях, их ведерная зеленая кастрюля всегда стояла на керогазе косо и вполне могла ошпарить кому-нибудь ноги, поэтому мы делали замечания техничкам, а те на нас, интеллигентов, злились, потому что до нас они вообще занимали всю директорскую квартиру и у них был рай. При таком просторе с ними жили и разнообразные мужчины, приходили и жили, и это было по-человечески хорошо, весело. Мужчины были то из домостроителей, то из солдат, то студенты-заочники — народ уже не молодой, но наиболее не заразный в смысле венерическом. Но жизнь ведь у нас неуклонно улучшалась во все времена. Поэтому однажды техничек уплотнили в кухню и всадали им в соседство учителей. С тех пор пошли керогазы, опасность падения кастрюли и, скажем деликатно, элементы классовой нелюбви. Если они кого терпели, то только меня. Во-первых, я всегда делилась — и солью, и сахаром, и крупой — и замечаний им делала меньше других, ну, пришли к вам мужики, пришли... Мне-то что? Я, конечно, в душе все это презирала и осуждала, но по отдельности я и Нонну, и Веру, и Стюру любила. Хорошие были тетки, ну живут неправильно, но понять вполне можно: нет у них других интересов. Я по молодости лет в них эти интересы воспитывала: рассказывала разные книжки. То «Повесть о директоре МТС и главном агрономе» Николаевой, то «Бурю» Эренбурга. Как слушали! Рты раскроют, руки плетями бросят и замрут. Так что я у них была любимица. Вот и сей-

час, пока все мыли окна, я сбежала, взяла у Стюры большую чугунную сковородку, чтоб нажарить картошки, а Стюра, узнав о мероприятии, полезла под свои ящики, на которых спала, и достала баночку грибов: нате, говорит, попробуйте, вы, говорит, уже и не знаете, что такое соленный по правилам гриб.

Скажу насчет питья. Один смех, сколько мы пили. На семь-восемь человек брали бутылку «три семерки» или кагор. И не только хватало — обязательно оставалось, а женщины просто закатывались от смеха без повода, потому что считали себя вусмерть пьяными.

* * *

...Заносит меня в сторону, заносит... Царство небесное Стюре, она умерла от инсульта в самый пик истории с Людкой, то, что называется — умерла не вовремя. Умерла Стюра, как солдат, на посту, несла два ведра воды на второй этаж, сказала «ах» — Нонна шла следом, несла тряпки и швабры, — тихо так сказала, деликатно, «как не она», объясняла Нонна, потому что в жизни Стюра была человеком громким и грубым; «ах» было из репертуара скорей Веры, третьей их подруги, та была склонна к нежным уменьшительным словам народной речи, она говорила: «Задочек у нее пухленький, как зефир, грудочки, как фарфоровые чашечки, щечки, что твои розы, а глаза голубенькие-голубенькие, как кафель в нашей учительской уборной, просто синь...» Так она описывала Людку, когда та у нас появилась. Ну мы все тогда были в потрясении от Людкиного физического совершенства. Так вот Вера могла бы перед смертью сказать «ах» и приложить руки к сердцу, вывернув локти, чтоб красиво выглядеть... Стюра же должна была уходить с этого света с матом, это к ней просилось... Но именно Стюра нежно сказала «ах», развела локти и аккуратненько сдвинула колени. А в жизни она всегда садилась широко и колени у нее получались на юго-востоко-западе от плеч. Тут же села на ступеньку и голову свою кудлатую бочком приложила к перилам, просто княжна Тараканова, а не Стюрка-

уборщица. Увезли ее в морг, и никто из нас — никто! — не пошел ее хоронить, потому что мы все обмахивали тогда Людку. Разве можно было сравнивать то и это?

* * *

Непонятно говорю, я знаю, потому что я прыгаю с одного на другое. Ну, во-первых, во-вторых и в-третьих, это у нас, у алкоголиков, сплошь и рядом... От «за здоровье» до «за упокой» нам пройти ничего не стоит, это у нас близко. Поэтому я дико извиняюсь и возвращаю вас к мытью окон в учительской накануне первого сентября одна тысяча девятьсот пятьдесят пятого года.

Моем, радуемся и ждем, когда отвалим к нам, где на большой Стюриной сковородке мы нажарим картошки с луком, откроем грибки, почистим селедку, порежем ломтиками домашнее сало от моей мамы, оно, правда, уже чуть лежалое, но есть способ его взбодрить: мелко настругать на ломтики чеснок и положить листочек петрушки для икебаны. Чеснок, между прочим, вообще вещь для вчерашних продуктов незаменимая. Это надо знать.

И тут на самом предвкушении застолья распахивается дверь и возникает наша Марья Ивановна, и вид у нее такой, будто земля лопнула по меридиану, который рядом со школой, часть земли отделилась и ушла в неизвестном направлении, на ушедшей части у нее остались муж, дети, продукты на завтра и весь микрорайон, а школа — тут, но теперь у нас не будет достаточного контингента детей, чтоб быть ей директором, но и районо — что хорошо в этом случае — тоже на отошедшей стороне земли... Ну, одним словом, такие лица я видела пятого марта пятьдесят третьего года... Лицо — как смерть, когда не своя, а чужая, но это еще хуже, потому что потому... Вспомните пятьдесят третий.

— Всем на педсовет! — закричала не своим голосом Марья Ивановна. — Все бросить!

— Война! — жестко сказала наша вожатая Алевтина, и все сразу поверили, а Алевтина посмотрела на нас своими крохотными колючими глазками, открыла рот и втянула нас

в свою черную дыру. Это точно, так все и было. Дело в том, что в общем-то наша вожатая славненькая, то, что я сказала о ее глазах, помехой не было. Они у нее были остренькие, горяченькие, сверкающие, притом, что щелочки едва-едва... Глаза были красивые! По-своему... У нее был другой недостаток — щель между зубами. Диастема. Пока Аля говорила, туда-сюда, еще ничего. Но не надо забывать — у нее специфическая профессия, ей рот приходилось открывать часто и как следует. Как иначе протрубишь? За дело Ленина—Сталина будьте готовы! Так вот, когда она такое кричала, я лично — я говорила о моем таком свойстве — просто видела, как сбиваются в организованный клин все наши пионеры и школьники и прямехонько клином исчезают в Алиной дыре. Про астрономическую черную дыру я узнала лет через тридцать после той жизни и сразу в нее поверила, потому как тут же вспомнила эти наши пионерские сборы и то, как мы исчезали по команде в никуда. Правда, бывало и так: сообразит Алевтина, что перестаралась в крике, и сомкнет губы, и тогда — я тоже это видела! — возвращается клин, распадается на отдельные дружины и отряды, а потом даже на фигуры и лица. Почему ей никто не предложил вставить в провал нормальный зуб, а то и два? Почему все сносили этот ужас поглощения, тем более что никакой кровожадностью Алевтина не отличалась, не было в ней потребности в заглатывании людей. Наоборот! В простые свои минуты она даже ладошкой прикрывалась, стеснялась изъяна. Но звучал горн, бил барабан, галстучек на груди вожатой начал подрагивать в такт сбивающемуся от внутреннего духовного оргазма дыханию, и пошло-поехало... За дело Ленина—Сталина...

Вот и сейчас она сказала: «Война», и мы ей поверили! И выстроились в клин.

Сбились мы в кабинете Марьи Ивановны, сердца у нас колотятся — что? что? — а она не может слова сказать — дышит. То есть вся она — поглощение воздуха и возвращение его обратно, и это как бы главное ее предназначение, и не до слов. И от этого нам еще страшнее, потому многое приходит в голову. Что может так человека сбить с ног? Ну

про войну я уже сказала и сама решила: не война. В крике, конечно, зайдешься, но и остановишься, нам ли так уж заходиться от войны? Опять же — Сталин уже умер. Вот это было потрясение так потрясение. Что еще могло быть в этих пределах? Чтоб у человека дыхание свистело?

Марья Ивановна взяла себя наконец в руки, в буквальном смысле схватила себя за плечи, держит их крест-накрест и говорит:

— Нам такая честь... Именно нашей школе выпало... Будет у нас работать в старших классах молодая выпускница из Москвы... Она дочь... — Дальше сиплым и торжественным голосом пошла фамилия. Сегодняшнему населению ничего уже не говорящая, а тогда — вождь, одним словом. Один из портретов.

«Ну и что?» — спросила я. Тоже мне повод для паники. Ну дочь... Ну вождь... Человек же она все-таки... Или? Более того, я, успокоившись, очень обрадовалась. Интересно же! Какая она? И, наверное, мы с ней подружимся, будем вместе ходить на лыжах. Я, значит, так думаю и тут же слышу:

— Варвара Алексеевна! Я именно вас прошу и мужа вашего взять над ней шефство. Вам это будет легче всего...

Мне-то это и так понятно. Я же все это шефство в своей голове мигом прокрутила (лыжи, беляши, походы за подснежниками, спектакль «Молодая гвардия», я — Ульяна, а хорошо бы она — Любка. Какая Любка из Алевтины с этой ее черной дырой, хотя Алевтина за роль держалась зубами (у нее насчет себя были большие заблуждения). И я тогда (так мне, сволочи, и надо за это, что со мной потом случилось) быстреньким своим молоденьким умом просчитала: дочери вождя Алевтина не поперечит. Отдаст роль как миленькая. Вот что в моей дурной голове крутилось, и я не могла понять, почему наша Марья стоит в позе человека на броненосце, указывающем путь. Оказывается! Оказывается, «наша дочь» будет жить в гостинице, которая стоит у нас просто под окнами. Школа и гостиница — это ножки буквы «п», а перекладинка — гостиничный ресторан, кафе и кулинария. В общем, у нас с «Центральной» один внутренний двор. Директорская квартира, в которой мы живем, имеет в

этот двор выход, но мы им не пользуемся, мы выходим через школьные коридоры, через главное парадное. Гостиничный выход у нас действует только по праздникам, когда главный закрыт. Тогда в нашей квартире остро пахнет отходами ресторана: вонючие бачки стоят прямо возле нашей двери. Я сейчас подумала: ну ни разу! Ни разу не возникло тогда хотя бы ощущения неудобства жизни возле помойки. Более того. И я с моим, и физик со своей были просто счастливыми. Жить в школе! Такая удача, как говорят теперь, пруха. Стоит жилье копейки, а сколько удобств!

— Хорошо вам, — с завистью говорила Алевтина. — Если б я была замужем, мне бы вашу комнату отдали. Я ведь в школе, считай, днюю и ночью... Но одной целую комнату жирно, это я понимаю, это государство разбросается.

Иногда после поздних мероприятий Алевтина оставалась у нас ночевать. Мы стелили ей кожух на полу под батареей, и сколько бы раз это ни случалось, Алевтина повторяла: «Господи, неужели и у меня когда-нибудь будет своя батарея?»

Когда мы восприняли и пережили главную информацию, Марья Ивановна выдала и побочную. «Для дочери» отнимаются те самые мои часы, на которые — раскатала дура губки! — я собиралась купить пальто и спинки для кровати. Более того! Мой класс, где я работала классной руководителем, тоже отдавали ей — как сплоченный, идейный, дисциплинированный, — а я должна была оставаться в нем, так сказать, тайным надзирателем, чтоб «помочь», «облегчить» работу молодому специалисту. К слову, в той денежной ситуации пятьдесят рублей за классное руководство (то есть пять по-сегодняшнему) в нашем бюджете роль играли. Теперь же я их лишалась, что не сопровождалось никакими там «ах!», «извините!». Более того, на нашу же семью было возложено «любить дочь», чтоб она, не дай бог, не почувствовала одиночества и тоски без родительского дома. И вот же абсурд, идиотия, все, как один, стали смотреть на меня, ободранную финансово, как на удачницу, которой так в жизни подфартило, которую судьба, можно сказать, вознесла на ветку, ранее моей природой недосягаемую, и теперь

я сижу на ней выше всех, и даже Марья Ивановна смотрит на меня с восхищением... Ну при чем тут могли быть деньги? Будешь ли их считать или там плакать при таком раскладе фортуны? Стоило посмотреть на жалобные глаза Алевтины, полные такой невыразимой зависти (батарея плюс это), что надо было быть человеком очень плохим, а я была девочкой хорошей, чтоб допустить в голову мысль о спинках для кровати.

В общем, мы всей командой были брошены на мытье нашего черного хода, а во дворе гостиницы уже всюю шуровал каток, покрывая землю жирным ровненьким асфальтом. Помойка исчезла за один вечер.

* * *

Описать Людку невозможно. Нет у меня слов. Надо взять за основу характеристику Веры-уборщицы и от этого идти. Скажу так... Мы все — школа, парты, доска, глобусы, учителя, дети — были сделаны из элементов таблицы Менделеева, Людка же была эфирного состава. Пальчики там, ноготочки, голосок, волосики — все очень слабо материальное. Сплошная воздушная организация. Во-первых, оказывается, она в нашем городе когда-то гостила, в голубом детстве, у бабушки. И город на нее произвел... Во-вторых, она поклялась еще Иосифу Виссарионовичу, что начнет работать исключительно в глубинке, среди простых, как мычание, людей. В-третьих, она жаждала самостоятельности и хотела ходить в жизни пешком, как Надежда Константиновна Крупская.

* * *

Свой пеший переход из гостиницы, по свежееасфальтированному двору, прямо в нашу директорскую квартиру она совершала на высоких шпильках, в связи с чем на щелястый пол нашей прихожей была брошена малиновая дорожка, а на закоканную мухами лампу навешен белоснежный плафон. Беда была с уборщицами. Каждый раз они толпились в дверях кухни, наблюдая этот восход нашего солнца, и, хоть

кланялись они ей низко, сопроводить это причесыванием или умыванием они не то что не считали нужным, просто не брали лишнее в голову. Стояли косматые, пахнущие луком, отекие, пастозные, но очень приветливые тетки и низко, в пояс, выдыхали:

— Доброе утречко вам, Людмилочка Васильевна.

Людка делала им эфирной ручкой, а они потом долго обсуждали, как она, сердечная, только держится на такой тонюсенькой обуви? Вот что значит воздушность естества, поставь, к примеру, на такие туфли ту же Алевтину?

В гостинице Людка жила в обособленном угловом люксе. К ней была приставлена горничная, официантка, шофер и какие-то разнообразные рыла из охраны.

Лыжи, подснежники и «Молодая гвардия» — все, что я намечтала, оказалось, что называется, не в ту степь, потому что «наша дочь» не любила холодную погоду, не любила гулять, не любила «дешевые театральные мероприятия» (это наш спектакль «Молодая гвардия», который тут же после ее слов кончился, не начавшись); она жаждала нечеловеческой близости с учениками, и Марья Ивановна вместе с районо хорошо проредили те классы, которые к ней попали. Но, как потом выяснилось, сделали это некачественно. Во всяком случае, мой уже бывший класс, хороший во всех отношениях (так нам казалось), был явно изучен бегло. «Ну кто там у вас, Варвара Алексеевна? Да у вас такие все славные ребята!» Последний раз такой класс на памяти Марьи Ивановны шагнул в сорок первом прямо из десятого в войну, и ни одного мальчика — ни одного! — не осталось в живых. Я не знаю, как теперь — я от жизни отстала, — а в то время лучшей характеристики быть не могло. Высокая смертность у нас всегда в цене.

Володя Невзоров происходил из семьи потомственных пролетариев. Сказать, что он был красивый, — ничего не сказать. Он был картинный парень. Глаз не отвести. Теперь я могу сказать, теперь такое говорится: он был жутко сексуальный. Когда я стояла возле него на уроке, скажу честно, меня прямо колотило, потому что от него что-то шло... Какое-то сокрушение. Хотя был он с ленцой, с медлительно-

стью, но его и это не испортило. Даже, можно сказать, еще более украшало. Учился он, правду говоря, не очень, но зато если что-то отнести, передвинуть... Конечно, для центрального чтеца в монтаже «В жизни всегда есть место подвигам» он не годился, потому что говорил плоховато, тихо. Для украшения строя — да, для вдохновения девчонок — без сомнения, но самому произносить слова: «Самое дорогое у человека» и так далее... Я так и сказала Людмиле: он не сможет. Но она наморщила лобик и ответила мне: «Как вы не понимаете, Варя? Именно он! Подвиг и смерть именно тако-го...» «Какая смерть?» — тупо спросила я. «Гипотетическая, — ответила Людка. — Красивые мысли обязаны пропагандировать красивые люди. Не горбуны же...»

Ах мать честная! Какие мы оказались ловкие. Ведь был у нас в школе горбун, был. Витя Вовк. Несчастнейшее существо, насквозь больное. Так вот его «под Людку» забрали в туберкулезный санаторий. Просто вынули из постели и увезли, мать его из благодарности так напилась, что едва не сгорела в своем замечательном доме из ящичной фанеры, который был фантастическим образом прилеплен к кирпичной, бывшей церковной ограде, не взятой никаким тротилом и теперь защищающей «ласточкины гнезда» разных не поддающихся оптимистической классификации людей, которых называли одним четким и твердым словом — «рассадник».

Но это я снова вильнула в сторону.

Тогда же... Красивые мысли должны пропагандировать красивые люди... И что тут возразишь? Разве не так?

Кроме литературного монтажа — это было, конечно, главное событие в нашей жизни, — шла и жизнь обыкновенная. Неглавная, так сказать... В октябре у меня день рождения. Устроили выпивон. До Людки на него приглашались наши уборщицы. Они хорошо приходили, с пониманием нашей всеобщей бедности. Стюра покупала свиные копыта, смолила их в том еще, незаасфальтированном, дворе гостиницы, и я — хоть все скрывалось, так как готовился сюрприз, — знала: будет тугой, как резина, холодец, он же взнос в застолье, и он же подарок. Вера делала селедку «под шу-

бой». Я тоже за неделю знала об этом. Селедка вымачивалась в тазу, а свекла сутки варилась — с перерывами на готовку другой пищи — на керогазе. А Нонна — в ней сказывалась бывшая где-то на дне поповская кровь — делала «хворост». В этот же раз мы все — я, муж, физик с женой, Алевтина — засомневались: сочетаются ли наши соседки с Людкой, которую мы надумали позвать. Марья Ивановна пригласила меня в кабинет, сказала «категорически нет» и вынула из стола серебряные ножи и вилки.

— Пусть это будет пока у вас... Когда к вам придет Людмила Васильевна, то чтоб было по-людски. Как у вас с тарелками, чашками?

— Возьмем в столовке, — сказала я.

Марья Ивановна покачала головой, и на следующий день уже наша завуч, ядовитая старуха «из бывших», принесла коробку с чайным сервизом.

Сейчас подумать — смех. Что скрывали-покрывали? Кровать ведь наша так и осталась без спинок, книги у нас лежали на подоконнике, стол письменный во время застолий просто ставился посередке, и гуляй не хочу. Но вот же... Конечно, в комнате физика было лучше. У них даже был ковер на стене. И была радиолка, и стол обеденный был настоящий, то есть не письменный, а нормальный учительский стол на четырех ножках и с заляпанной чернилами всех цветов столешницей. Но зато была и клеенка, красивая, из Москвы, вся из себя — бежевый с коричневым квадрат. Исходя из клеенки, радиолы и ковра решили мой день рождения справлять у соседей, а техничек не звать.

— Понятное дело, — сказала Стюра, — возьмите копыта. Заварите студень...

* * *

Честно скажу, такого дня рождения у меня больше не было. Пик моей жизни. Чужое серебро и чужой сервиз, а также бежевая клетка чужой клеенки не воспринимались тогда как чужое. Что вы! Наше оптимистически коллективистское сознание все чужое перемалывало в свое, а все свое бросало под ноги товарищам и друзьям. Все было так краси-

во на фоне ковра машинной работы, что тогда считалось гораздо лучше ручной. Какие руки, какие пальцы могли идти в сравнение с машиной? Пили кагор — церковное вино — и «три семерки» — вино редкое. Людка принесла шампанское, которое от неумелого выковыривания пробки моим бестолковым мужем большей частью ушло в пену, и я подозреваю, этой пеной нас всех унесло в сток. Но тогда мы хохотали над какими-то дурацкими анекдотами. Один так застрял в голове, что никаким кайлом не выбить, а вообще я анекдоты забываю сразу, просто через секунду. Этот же...

Муж жене:

— Сара, ты так раскидываешь во сне ноги, что у тебя когда-нибудь обязательно выпадет печенка.

— Не говори глупостей, Абрам!

Тогда муж решил пошутить над женой. Встав рано утром, он положил ей между ногами говяжью печень. Вечером с бледностью в лице Сара говорит:

— Абрам! Ты был очень прав. Она таки выпала...

— Кто?

— Печень! Ты не представляешь, с каким трудом я втолкнула ее назад.

Извиняюсь за анекдот. Примите его для полноты картины того дня.

— Чего вы, девки, так смеялись? — спрашивала на другой день Стюра. — Женщине от смеха обоссаться легко, а на холоде это очень вредно для здоровья.

Объяснять Стюре, что мы смеялись в тепле, — бесполезно. Стюру замело в школьные технички с магнитогорских котлованов, и, навсегда прибитая тяжестью носилок, холодом и мукой тех лет, Стюра учила нас, «дурных училок»: «Ты хоть в чем иди, а чтоб штаны были у тебя теплые. На фельдикосы — плюнь, а уж если, уж если очень хочется пофорсить, на мотню все равно подшей баечку. Ничо! Ничо! Свой мужик поймет, а чужой... Чужой всегда торопится, он в бешеной скорости находится — не заметит. А заметит? И что? Надо гордой быть. Не реагировать... Плюнь! Нижнее здоровье для бабы важнее».

Это тоже для полноты картины. А по сюжету...

Неумолимо приближались октябрьские праздники, а значит, участились репетиции монтажа «В жизни всегда есть место подвигам». Как сказала бы моя покойная бабушка, мы все, вся школа, «встали ради этого чертова монтажа раком». У Людочки, как у режиссера, требования были очень строгие, но каждый день разные. То все у нее стояли по линейке, то с опасностью поломки ног и рук громоздились на табуретки, то все, как один, изображали из себя сноп не сноп, пушку не пушку, что-то торчащее резко вверх, то вообще сидели вольно и вразброс, как на фотокарточке «Станиславский с актерами МХАТа». Неизменным оставалось одно: Володя Невзоров всегда был в центре. Я просто шкурой чувствовала — я ведь уже говорила, как я на него реагировала, — Володя потихоньку зверел. Ему этот монтаж был нужен как не знаю что... Я уже теперь, задним умом, понимаю, что он был первый в моей жизни человек по природе своей вольный. Он ходил на репетиции просто по хорошему нраву, обидеть не хотел, но его с души воротило это мероприятие, и чем дальше, тем больше.

А Людочка распалаясь и распалаясь. Взяла на ум репетировать с ним индивидуально. «Самое дорогое у человека...» — учила она его, даже не подозревая, что в это самое дорогое она влезла, можно сказать, ногами и топчется, топчется, но — боже! — кто из нас тогда это понимал? Внедрение, вторжение друг в друга было нормой. А ну-ка распахнись! Я в тебе, в нутре твоём теплом, посижу, покурю, поплюю маленько...

В общем, Володя мой Невзоров не выдержал всего этого и перестал ходить в школу. День нет, второй... Ну что он там алгебру пропускает — никому не интересно, а вот репетиции... Подставляли в монтаж других мальчиков, были у нас и горластые, и красивые, и с интонацией, но Людочка кричала, даже топала ногами, подайте ей для подвига Невзорова. И никого другого. Побежала я к нему домой. Он как раз воду нес из колонки. Раз несет две огромные цинковые бадьи — значит, здоровый? Я ему сразу и выдала форте! И вот он — красавец, богатырь, картина, а не парень — мне, молоденькой учительнице, которая возле его парты замирала от

восторга или там чего еще другого, говорит, и пусть Бог его простит:

— У меня, Варвара Алексеевна, расстройство желудка. — Ему бы остановиться, а он добавил: — Понос.

Не могу сказать, что со мной сделалось. Тут надо обязательно сказать, что нас всех воспитывали так, будто в уборную мы не ходим. Это сейчас с этим просто. «Где у вас?» И воду спускают громко, во весь напор. Мы же... Мы же этого стеснялись как не знаю чего... Я уже теперь думаю... как это сочеталось с коммунальным бытом? С грязными «скворечниками», которые рыли отнюдь не подальше от глаз, а, наоборот, прямо посерединке двора, а двери — бывало — забывали навесить и просто ставили рядом, мол, кому надо, сам ее перед собой подержит. И вот барышни, сходяв таким образом, уже через секунду делали вид, что они тут рядом чисто случайно, что они в это уродище с дыркой ни ногой, и так далее, и так далее... Господи! Какие вывернутые мы были люди! Все это я говорю для того, чтобы было понятно: сказать «у меня понос» было верхом неприличия. Тем более учительнице. Тем более молоденькой. Тем более будучи красивым парнем.

Теперь я понимаю: Володя нарывался, чтоб отбиться от меня, монтажа, Людки, репетиций.

Что сделала я?

Я стала орать на всю улицу: «Ты не имеешь права! Где твоя комсомольская совесть?! Ты подводишь школу! Не забывай, тебе получать характеристику!»

Как сейчас вижу. Вода в бадьях стояла черная-черная и хлюп, хлюп об стенки. Снег с неба срывался мертвый, редкий, осенний, и полоумные снежинки погибали в черной воде с таким беззвучием, с такой обреченностью, как будто в других параллелях они тоже хотели что-то доказать. Я тут своим криком, а они там безмолвием.

Поднял центровой октябрьского монтажа комсомолец-десятиклассник Владимир Невзоров ведра, плеснул из них мне под ноги холодной водички, брызнул колючим на мои колени и пошел.

Осталась я с открытым учительским ртом. Пар из него шел. Все-таки уже холодно становилось. У нас вообще осень наступала как-то сразу. Бегаешь с рукавами три четверти, в босоножках и с кофтой на плечах, а смотришь, тебе уже навстречу прутся «румынки». И «кубанки». Зимние предметы.

Я так была возмущена этой встречей, что никому про нее не рассказала. Мне казалось — я в ней выгляжу очень неудачно, ну кто ж про себя плохое — другим? И даже виделось мне в этой встрече женское оскорбление — он от меня повернул, а не я. Опять же... Мы в наше время очень блюли, кто первый заговорил или замолчал, кто первый протянул руку или там головой кивнул. С этим было строго. А уж свое женское самолюбие... Это мы тешили изо всей силы. Подать там пальто, уступить место — у! Как мы за этим следили... Казалось бы... А сволочей миру дали много... Очень...

Я пережила эту историю с Володей тайком, и в результате и случилось все дальнейшее.

Малахольная Людка, которая в своей жизни передвигалась только по гипотенузе двора, цок-цок-цок каблучками из гостиницы по гладкому асфальту и в нашу дверь, на дорожку под белый плафон. Вот и все ее знание жизни. Ну Стюра мелькнет грязной юбкой, ну пахнет на нее суточными кислыми щами, ну ненароком наши физики-химики неудачно будут травить клопов в панцирной сетке, и тогда этот запах жизни и борьбы обвеет ее, и Людочку нашу всю аж скривит. Однажды она застала у нас Алевтину, которая провела свою счастливую ночь под батареей. Алевтина стояла у керогаза и что-то над ним сушила и была благодарна судьбе, которая столько ей предоставила удобств сразу, и проходящей Людочке она улыбнулась широко, радостно, как человек всесторонне удачливый, вот, мол, постирала и сушу. Хорошо-то как на живом огне и в то же время в помещении. Не то что древние люди или в закутке чужого дома, где сушить можно только на спинке кровати, жди, когда высохнет!

Так вот Людочка от всего этого приходила в ужас. Она мне как-то прямо сказала:

— Неужели нельзя жить красиво и благородно? Почему у вас клопы? Почему ты берешь сковородку у техничек? Почему Алевтина спит у вас под батареей?

Разве на эти вопросы были правильные ответы?

Мы ночью выбивали дорожку, по которой ступала Люд-ка, а однажды на место наших керогазов был водворен огромный фикус в деревянной кадке, и Марья Ивановна — фикус был из ее кабинета — собственноручно протерла чистой вехоткой каждый лист, благо их было немного. Фикус уже слегка помирал от старости, стебли имел подагрически-мосластые, но в керогазном углу его бутылочные матовые ладони еще выглядели вполне внушительно. Кадку обернули белой гофрированной бумагой. Завистница Алевтина просто зашлась от красоты.

Керогазы пришлось внести в комнаты. Все это совпало с беременностями — моей и химички. Мы с ней подзалетели почти день в день. В конце августа. В отпуске. Так вот я — здоровый организм — ничего. Внос керогаза в комнату пережила спокойно. Мне даже нравился его запах. Я и запах бензина любила. Когда машина отъезжала, это мне было лучше «Красной Москвы». А вот у химички — казалось бы, ей ко всему привыкнуть, у нее препараты и реактивы в образе жизни, — так вот у нее от керогаза начались рвоты, муж пошел войной на фикус, старец-фикус, естественно, победил, а Алевтина сказала: «Вам еще и обижаться. И претензии предъявлять».

* * *

Пока мы туда-сюда обсуждали наши женские интимные дела и важно носили анализы в консультацию, Людочка высмотрела адрес Володи Невзорова в школьном журнале, надела свое пальто из буклированной ткани под названием «мими», водрузила на головку шляпку типа «феска» с муаровым бантом сзади, всунула ножки в прунелевые туфельки, а туфельки в черные ботинки — сообразила, умница, что может попасть в грязь, — бежевый шарфик под горлышком кончиком выставила и потопала, радость наша, выяснять отношения с прогульщиком. Что бы за ней уследить!

Что бы! Тем более что многие видели, как она шла. Тогда многие оглянулись и посмотрели ей вслед, — было на что! — и те, кто знал, чья она, передавали это по цепочке, и восхищение ее движением по улице — как простой человек! — само по себе умножалось и набирало консистенцию и силу, потому что — что там говорить? — мы такой народ... Мы умеем восхищаться до спазмов. Это нам дай! Как сказал кто-то — не помню уже, — и ненавидим мы, и любим мы случайно. Как собаки, одним словом.

* * *

Дальше идет рассказ про то, что я своими глазами не видела и никто не видел. Было всего три действующих лица. Володя, Людочка и продавщица галантереи Райка Колесникова. Володя прогуливал, Райка была выходная, в те времена промтоварные магазины по понедельникам были закрыты. Дети в школе, а старики — холодно было — носа не казали.

Я столько раз мысленно прошла ее путь в черных резиновых коротеньких ботиках, что, можно сказать, я это пережила. Из гостиницы она повернула налево, мимо Доски почета, что у входа в сквер, а потом шла по скверу имени Кирова, где разлапистые лавочки имелись в нужном количестве, а кусты подрезались художественно, ведь сквер вел прямым в обком, поэтому порядок тут блюли, это точно. Потом ей пришлось резко повернуть вправо, мимо газетного киоска, перейти трамвайную линию, войти в арку самого красивого в нашем городе дома — работников НКВД, пройти сквозь двор с песочницами и с качелями (мы, беременные, мечтали с химичкой, что именно там будем выгуливать наших младенцев во время декретного двухмесячного отпуска), выйти на другую улицу, которая замечательно называлась — Красная и вся состояла из красных крашеных деревянных барачков. Надо было обогнуть парадный, смотрящий на улицу барачок и войти в барачий двор, где через тридцать метров стояла та самая водоразборная колонка, куда ходил Володя. Дальше уже можно идти по его следам. Пройти сбившиеся в кучу сарайки, пройти по мосточку, что

был переброшен над траншеей с трубами для будущей счастливой жизни, обойти двухместное сооружение для грубых дел, и напрямик воткнешься в барак, первым этажом по самые окна вросший в землю.

Тут все и проистекло.

Людочка толкнула обитую мешковиной дверь и оказалась в темном коридоре, в котором густо пахло кипяченым бельем. Дело в том, что мать Володи прирабатывала стиркой. Огромная выварка белья стояла у них на печке постоянно. На стиральной доске в корыте, распластавшись, всегда лежали то простыня, то рубашка, и мыло всегда было мокрым, потому что — случалось — и Володя тер им какой-нибудь особенно замусоленный воротник, и мать тогда говорила:

— Ниче, сына, ниче... Это не самое страшное. Есть работы пострашнее. На бойне, например... Или в шахте... Не жмакай материю, не жмакай. Волокно надо как раз распрямить и по самой прямоте пройтись мылом... Оно и подчинится... А еще есть профессия, что людей стреляют. Мне бы тыщу дали — не пошла бы. И ты, смотри, не ходи. Мало ли что... Сговаривать начнут, как комсомольца.

Я знала, что она говорит сыну, потому что, когда она мне стирала байковое одеяло, она поинтересовалась: правильно ли она его направляет мимо бойни, мимо шахты и мимо стреляющих в людей, откуда, мол, ей знать, безграмотной, может, теперь другие понятия? Конечно, главное — институт, и она, конечно, для такого дела расшибется, но ведь всяко может быть? Всяко. Тогда как? Взять ту же бойню...

Нашла у кого спросить! Я тогда ручонками на нее замахала, затарaxтела что-то о безграничности открывающихся высот, широт, а также и глубин. Я сулила ее сыну какое-то необыкновенное будущее — главного начальника всех шоссейных дорог, например, или директора металлургического комбината. Прачке нравились мои фантазии — еще бы! Она только беспокоилась, хватит ли у него ума «с людьми»? Да, говорила я, да, характер надо бы воспитывать, вот он чурается общественной работы, а это очень важно.

— Вы ему сами скажите, — говорила прачка. — Я этих ваших слов не знаю.

Так вот Людочка вдохнула запах стирки, попривыкла к темноте и стала разглядывать на дверях нарисованные краской номера. И вот пока она соображала, слева или справа от шестого номера искать седьмой, она услышала смех. За одной из дверей было весело и шла интересная жизнь.

— Не распускай лапы, — счастливо кричала женщина. — Дай человеку закусить. Я не поем — буйная стану... А ты силу копи, копи... Напрягайся! В школу не ходить, а баб лапать — это и без ума можно. А я, Володя, ум уважаю. Я его раньше красоты и силы ставлю. Очень жалею, что сама его не имею... Одна красота! — Вместе с хохотом что-то завалилось и брякнуло, шум пошел совершенно специфический, как будто кто-то тащил живое и тяжелое, и живое выскальзывало, и тогда тот, кто тащил, повторял: «Ну я тебя... Ну я тебя...»

Представим себе ситуацию: ты полный идиот. Как говорил один мой знакомый, ж...у от пальца тебе не отличить. От природы. В этом случае вполне можно войти в этот момент в комнату и задать вопрос: «Скажите, я правильно иду в Новосибирск?» или «Я так напрямик попаду в Клайпеду?»

Людочка открыла дверь и спросила:

— Невзоров, чем вы здесь занимаетесь?

Живое и тяжелое, то, что было Раей Колесниковой, имело быстрые реакции. Живое заслонило потерявшего соображение (по совокупности причин) Володю Невзорова и спросило хорошим магазинным голосом:

— Ой! Ой! Кто к нам пришел! Такие гости! Не выпьете ли с нами портвейну, у нас не допито...

Опять же! Представим, что ты идиот и не можешь отличить одно от другого. Божий дар и яичницу.

— Вы ответите за свое поведение, — сказала им Людочка.

Когда я говорю об идиотах, я не только ее имею в виду. Я имею в виду всех нас, а Райку в первую очередь, потому что именно она словам Людочки значения не придавала. Никакого!

Райка (где она, бедолага? Где? Раиса Колесникова! Откликнись! Вы сейчас уже старенькая, если живая, конечно. Смотрите, наверное, телевизор. Так что смогли увидеть ту, что я увидела. Или?), так вот Райка тогда захохотала нагло так в лицо Людочке и пошла на нее всем своим не до конца раздетым телом. Она ее выдавливала со своей территории и все норовила так идти, чтоб Людочке так и не увидеть пребывающего в прострации Володю, который полусидел на краешке пышной Райкиной кровати, как бы прощаясь сразу со всем. Это он мне потом сказал. «Я, говорит, понял, что тут моя жизнь закончилась. Надо рвать когти, и подальше».

А Людочка — причуда жизни — тянула к нему руки. Это, видимо, получилось у нее непроизвольно, потому что по протянутым рукам Райка и ударила ее своей крепенькой лапой, и не от боли, а от оскорбления Людочка наконец сообразила, что ей уйти было бы правильной, чем оставаться.

— Ну, знаешь, — сказала Райка, — нечего на молоденького пасть открывать. Не тому вас в институтах профессора учили, чтоб за учениками бегать... Придумала тоже репетиции, а сама все к телу жмешься... Все ж знают!

Вот тут эффект всеобщей идиотии кончился, Людочка, красная как рак, выскочила на улицу Красную. Удвоение цвета придало ей прыти, и эта самая прыть понесла ее не в девичью подушку, чтоб обрыдаться-обслезиться, не к нам, например, чтоб в гневе высказать все, что она думает, а по скверу в обком, где все всё поняли правильно, и наша школа после этого просуществовала ровно одиннадцать дней. И ни минуты больше. На нас подули — фу! — и нас не стало. Здание наше — оказывается! — понадобилось до разреза партшколе. Уже на другой день сновали по коридорам какие-то люди с рулетками, ножичком поддевали классные вывески, и эти последние громко бряцали об пол. Мы в классах вздрагивали и замолкали, потому что все попали в полосу творимого руками, отвертками абсурда и у всех у нас, даже у самых умных, слова в горле застряли. А те, у кого они оказались, у Алевтины например, те говорили прямо, грубо и справедливо:

— Заелись все очень. Ополоумели от хорошей жизни и уже не знают, чего хотят. Уже некоторым керогазы воняют.

Короче, школу расформировали, нас, школьных жильцов, естественно, выперли, пошли мы с химичкой на аборт, а куда же еще? Людочка в школе больше не появилась, мусорные баки вернулись во двор, ковровую дорожку свернули и поставили на ней инвентарный номер уже новые хозяева. Фикус выкинули, и он долго и гордо умирал в белой гофрированной бумаге возле помоек.

Марья Ивановна пересчитала свое серебро и недосчиталась ложки. «А! Черт с ней! — сказала она. — Это наверняка покойница Опора».

Техничек, кстати, оставили на месте, даже более того — отдали им нашу площадь. Я у них немного пожила, все ждала новостей от мужа, который уехал искать работу на свою родину, в Ростов. Через какое-то время я узнала, что ему очень повезло в жизни. Он нашел и работу, и квартиру, прикладом к этому, правда, была женщина-врач на одиннадцать лет его старше со взрослым сыном, но если учесть, что учителя квартиры не получают никогда, а дети, пока родятся, могут и погибнуть, то получить сразу все — это удача. Честно! А что такое одиннадцать лет разницы. При хорошей жизни ровно ничего, а плохую он уже не хотел. Он ведь дожил почти до тридцати лет и так не сумел купить спинки для кровати. Факт? Факт! Подружки мои, технички, заходились насчет мужского предательства, вот, мол, какой пошел мужик балованный. Не то что раньше, до войны, когда с любой женой жили, с красивой, некрасивой, одетой, раздетой, понятие было: какая выпала, ту и носи. А сейчас... И тут бабоньки мои начинали хихикать, потому что им сейчас как раз было очень хорошо. Партшкола — это не просто школа. Это солидно. Это всегда курево и выпивка. И всегда, всегда есть такие студенты из деревни, которые не гнушаются их профессии. Опять же гарантия в смысле болезней. Партшкольников хорошо проверяют, это тебе не стройка или даже армия. Там всякое случается. Деревенские же мужики осторожны в обращении, и сила в них есть, которую одним стаканом водки не убьешь. Что для жизни немаловажно.

Круто вверх пошла Алевтина, которая — бедняга! А что ей оставалось делать со своей пионерской черной дырой? Где надо, очень поддержала расформирование нашей школы как таковой. И контингента, мол, нам не хватало (помните, мы перед Людочкой проводили профилактическую чистку? Вот детей нам и недосчитали. Справедливо, между прочим), и не было у нас идейного коллектива, а были просто компании, которые выпивали прямо в школе. То, что мы прямо в школе жили, Алевтинушка наша в речи упускала. В конце концов, от зависти и бедности может родиться только монстр. Это мое сегодняшнее знание. Алевтина ушла в комсомольские работники, большой карьеры не сделала, но квартиру с отдельной батареей получила, говорят, стала скупать хрусталь. Я помню, как она у нас ела пальцами: «Так же вкуснее, что вы!» — и вытирала пальцы о столешницу, туда-сюда, туда-сюда.

У меня же все в жизни завалилось набок. Одно счастье — никого я собой не придавила. В пятьдесят седьмом, когда меня щепкой носило туда-сюда, прибилась я на фестиваль в Москву. Память была хорошая, московский телефон Людочки, который она заказывала при нас в гостинице, в голове сидел. Набрала.

— Большого кошмара, чем ваша школа, в жизни не встречала. — Это она мне после «здравствуй» и закричала: — Дай мне это забыть! Дай забыть!

Получалось, что я же и виноватая, не даю забыть человеку кошмар.

Напоследок она мне пожелала успеха в работе, труде и производственной деятельности.

* * *

Чего я запалилась? Чего? Я давно все про эту жизнь знаю. Мне уже даже больше интересно про ту, которая при моей печени не за горами. И передачу я эту по телевизору смотреть стала, потому что до нее выступал симпатичный поп. Мне нравится, когда они говорят, у них каждое слово как в водичке омытое, и то же самое — а вроде как другое.

Ну я и уставилась, думаю, хорошо бы, мол, меня отпели. И тут — бац! Теплоход. И на весь экран — Людка. Вся аж блестит от здоровья, счастья и благополучия. И так ее крупно дают, потому что, как выясняется, она главная в нашем советском милосердии. Всем, кому оно нужно, надлежит идти напрямиком к ней, а она нам его будет отламывать по мере нашей с вами необходимости. Этого милосердия у нее навалом. Бери — не хочу. Всем хватит и останется.

Вот тогда я все и вспомнила... И еще деталь! Она строго выговаривала Марье Ивановне, что нельзя ходить в школу в некрасивой обуви. Мальчиковой и разлапистой, что женщине-директору личит лодочка на венском каблуке. Марья Ивановна влезла в лодочку, вздыбила ее своими мозолями, а однажды пришла к нам домой и попросила тазик. Опустив распухшие ноги в воду, она плакала и говорила, что где-то делают операции с костями, но где? И успеть ли ей за каникулы? И выдержит ли сердце? А я презирала ее. За белые распаренные пальцы с длинными, отстающими от мякоти панцирными ногтями, у которых было явное намерение отделиться от ног и всплыть куда-то к чертовой матери подальше. Такое у них было выражение лица. (А почему это, по-вашему, у ногтей не может быть выражения лица?) За полированные двугорбые, стыдящиеся себя косточки, за эти ее мелкие, жалкие, быстрые слезы, недостойные советского учителя. В конце концов! Нельзя же так распускаться. Я лично никогда в жизни не допущу костей и мясов, потому что человек — это звучит гордо, а не как-нибудь иначе... И я сказала своему мужу, который тогда еще рассчитывал, что жизнь наша станет лучше естественным путем, посредством спинок, этажерок и нержавеющей вилок: «Людка мне на многое открыла глаза. Мы здесь погрязаем и не ценим время и место своего рождения. А ведь могло случиться несчастье, и мы родились бы в Америке. Ты задумывался, что такое Россия? Это рос-сияние. Ты чувствуешь? Как точно... Я теперь на всю жизнь... На всю жизнь...» Муж мой молчал. Он был при деле. Он штопал мотню своих единственных штанов. Из рта его торчит кончик мокрого языка. Он для слюнения нитки, чтоб запихнуть ее в игольное ушко. Отку-

сывать нитки он не может и отрезает их ножницами, и это меня безумно раздражает.

— А кто, по-твоему, выше — Бабаевский или Бубеннов?

Муж молчит. Мотня — дело серьезное. Это вам не философия. А мне-то хочется слов! Мне их мало!

Живая Стюра материт в коридоре фикус.

— Распялся, зараза... Вот ошпарю тебя кипятком, не зарадуешься... Украшение е... твою мать. Ковров накидали... И!!! Чтоб вас всех...

* * *

Рос-сияние... Ну пусть. Мне-то что? Может, и так... А может, и рож-сияние...

Забыла — вспомнила.

Привет, Люда! Милосердная ты наша! Как мы тогда выносили свои вещи. Кроватные спинки... Панцирные сетки... Как Марья Ивановна ходила и собирала по школе мелки в цинковое ведро.

Да! Еще такая мелочь. За Людкой присылали самолет. В гостинице от нее осталась пудреница. Я почему знаю? До меня ведь тогда ничего толком не дошло. Я ведь искренне считала, что безобразное поведение Невзорова и Колесниковой требовало сурового наказания... На последнем нашем педсовете я кричала: «Позор!» Потом побежала в гостиницу, казалось естественным бежать именно к Людочке. Такое рос-сияние... А она, оказывается, уже уехала. За ней приезжали черные машины. Горничная держала в руках пудреницу. Она решила, что я — за ней. Пудреницей. У меня был вид очень уж запышливый. «Нате! — сказала горничная. — Забыто было. Никто и не польстился».

Я долго таскала пудреницу в сумочке, потом она куда-то делась.

Да здравствует наше милосердие — лучшее милосердие в мире!

...А я сейчас еще выпью. Чокнусь с телевизором — и вперед. За тебя, Людка! Милосердствуй! Перестройка необратима! Мы не можем ждать милостей от природы! Самое дорогое у человека — это выпивка. Она дается ему, чтобы

не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое. Чтобы, умирая, мог сказать, что все силы были отданы... Володя! Встань в центр. Поставь ручку в жест... Укажи будто бы путь... Сделай лицо как для смерти за идею... Чтоб светилось, чтоб как праздник. Как сияние... Рож сияние...

Так тебе и надо, дура...

ЕЙ ВО ВРЕД ЖИВУЩАЯ...

«Ой, лышенко! Рятуйте мене! Рятуйте!» — закричала Вера Ивановна, хоть никто ее и не услышал, потому что закричала она не вслух, а про себя. «Вот же! Кричу! — подумала. — Ненормальная я, что ли?»

Вера Ивановна боковым зрением посмотрела на библиотечаршу, проверяя, не заметила ли та, что она про себя кричит. Но та смотрела мимо Веры Ивановны, и глаза ее помаргивали часто и подобострастно. Именно помаргивание библиотечарши вернуло Вере Ивановне самое себя, и она сказала голосом, каким говаривала всегда первого сентября на первом уроке, — звонко и уверенно:

— А я думала, ты умерла. Ты ж была страшная, как мертвяк... Кожа да кости.

— Выжила, — ответила Эля.

«Да что ж это такое? — снова без звука закричала Вера Ивановна. — Да что ж это такое, господи? Чего я кричу? Что я, виноватая, что ли? Что мне ее жизнь или ее смерть? А раз она оказалась живая, то совсем хорошо. Я не монстр какой, чтоб радоваться, что человек живой, а не покойник...» Но именно на этом месте Веру Ивановну и подстерегал внутренний крик, из которого сам собой делался вывод: хорошо бы быть Эле мертвой.

Надо было быстро, в одну секунду, мобилизоваться. Надо было, чтоб ни Эля, ни подслеповатая библиотечарша ничего не заметили.

Каждый человек имеет в запасе свою спасительную молитву на все потрясения. Была такая молитва и у Веры Ива-

новны. Она мигом собирала вокруг себя все хорошее в своей жизни — людей, вещи, события. И плохое сквозь хорошее не проходило. Набиралось приличное количество хорошего, что свидетельствовало о том, что жизнь Веры Ивановны была добропорядочной, упорядоченной и правильной, и сейчас, глядя прямо на Элю — тьфу-тьфу-тьфу! — Вера Ивановна быстренько стала творить свою молитву.

«Дом у меня — полная чаша! — беззвучно бормотала Вера Ивановна Эле и библиотечарше. — Коля меня только Веруней, Веруней... Сто тридцать два рубля пенсии у меня без всякого выйдет... Я синтетику, не считая колготок, уже лет десять не ношу... «Лада» у нас как с картинки... И на черный день копеечка... По городу иду, все: «Вера Ивановна, Вера Ивановна!» На Восьмое марта без подарков никогда не живу... Дочка пять лет на Кубе, туда-сюда самолетом и по-испански как по-русски... И сын учится дай бог каждому, на фестивале был делегатом... Два раза по телевизору показывали... «У вас дети, Вера Ивановна, со знаком качества», — все говорят. Да захоти она сейчас куда поехать или что купить, Коля одно: «Веруня, твое дело... не препятствую...»

Хорошая жизнь, как пригнанный штaketник. Ни одна чужая собака не заскочит. Нечего кричать и паниковать. Совсем это зря глупое «рyтуйте!». Нечего рyтовать. Это у нее от неожиданности... Она действительно не ожидала Элю увидеть. Сколько это они не виделись? Лет, считай, тридцать пять... Она и думать про нее забыла, что была такая Эля... Эльвира Зайцева. А вот сердце ее чуяло, что не надо ехать в этот санаторий. Она Коле так и сказала, а он сразу свое, привычное: «Не надо, так и не надо. Не неволю...» Потом подумалось: а почему не поехать? Ведь то, что «сердце что-то там чует», — не причина и причиной быть не может. Мало ли что покажется? Это давление. Нервы. Профессиональная, можно сказать, болезнь. Попробуйте сейчас поработать в школе. И она сказала: «Поедем! Чего это ради я в чем-то себе должна отказывать?» И поехали. И так удачно добрались, все им было под ноги — и самолет, и машина. И номер дали с видом на море, и у одеял оказался любимый ее цвет — бирюзовый. Вышла на балкон, стала дышать от-

крытым ртом, не воздух — вино. Поцеловала Колю. «Хорошо, что приехали».

В столовой их тоже хорошо посадили, можно сказать, на лучшие места.

За соседним столом сидела женщина. Вера Ивановна в первый же день отметила: какая невидная... Волосешки гребешочком прихвачены, редкие такие волосешки... У Веры Ивановны всегда первый взгляд — на волосы. Потому что с этим у нее не просто хорошо — замечательно. До сих пор грива и ни одной сединки... Хоть вверх подымай, хоть по плечам спускай — есть что. А эта сидела — скукоженная такая женщина с гребешком на темечке и в больших, как мотоциклетные, темных очках. И ела она нелепо, к тарелке наклонялась, считай, носом, а ложку несла ко рту осторожно, медленно, как на далекое расстояние. Вера Ивановна тут же Колю в бок толкнула: «Смотри, как чудно ест...» «Близорукая», — глупо ответил Коля, и она на него рассердилась. «Думай что говоришь. Если человек близорукий, зачем тогда очки черные?! Почему ты всегда говоришь не думая?»

А это была Эля. И они ходили друг мимо друга, пока в библиотеке на столе Вера Ивановна не увидела книжку, на которой буквами взброс было написано: «Эльвира Зайцева».

— Это что за Эльвира? — сказала Вера Ивановна, насмешливо беря книгу. Она была литератором и всех писателей, которых надо знать, давно знала. Она принесла сдавать Юлиана Семенова, которого читают все, и Паустовского, которого читают любители природы. Поэтому она так и сказала насмешливо: «Это что за Эльвира, которую я вдруг не знаю?»

Та Эльвира из памяти так и не всплыла.

Библиотекарша сделала почему-то круглые испуганные глаза и посмотрела куда-то в сторону. Вера Ивановна что-то почувствовала, повернулась, и из-за стеллажей вышла эта неказистая, с гребешком на темечке, каким-то оскорбительным — это точно — для Веры Ивановны жестом сняла мотоциклетные очки и сказала:

— Это я Эльвира Зайцева. А ты Вера. Я все время смотрю на тебя и думаю: ты или не ты?.. А сейчас поняла: ты...

Вот тут Вера Ивановна и закричала «рятуите». И стала быстренько проводить ревизию собственной хорошей жизни, чтобы победить существование этой самой Эльвиры.

— А я думала, ты умерла, — сказала Вера Ивановна, а библиотекарша посмотрела на нее с ужасом и бормоча: «Что вы такое говорите, женщина, что вы такое говорите?»

Эльвира же в упор разглядывала Веру. Жадно так разглядывала, будто она, Вера Ивановна, редкая картина, до которой ее наконец допустили. И уж все на этой картине хочется рассмотреть: и складочки на платье, и морщинки на лице, и раму, и гвоздик в стенке, на которой картина повешена.

Вера Ивановна просто дернулась от такого разглядывания, хотела сказать что-то резкое (она человек прямой и резкий), но Эльвира сказала раньше:

— Вот ты какая, значит... Не могла тебя представить. — И продолжила: — Пойдем посидим.

Они вышли из библиотеки и сели на лавочку.

Пока выходили, Вера Ивановна заметила: библиотекарша сползшую на пол шаль на Эльвире поправила, как будто Эльвира ей родная. А ведь грубая, между прочим, женщина, эта библиотекарша: «Сумки оставляйте у входа. Я за вас платить не намерена», — это она так отдыхающих встречает. Как бандитов. Эльвире же концы шали на груди так нежно сводила, не дай бог на ТУ дунет...

Вера Ивановна всегда знала, зачем она что делает... Сейчас она не знала, зачем она сидит на лавочке. Она смотрела на часы и на ротондочку, что прилепилась к кудлатой горе, слушала, как стучит мяч на корте, и тупо думала: зачем?

...Они появились в их поселке во время войны — женщина и девочка. Беженцы, из Ленинграда. Вернее, не так... Женщина и девочка отдыхали где-то на юге, началась война, они отчаянно ринулись домой, но не доехали.

Отбросило их военной волной назад, и они оказались в их поселке. Без всего. И на зиму глядя. Мать и дочь. Постучали к ним в дом. Мама, покойница, была очень смелая жен-

щина. Ночь не ночь, открыла... А надо знать то время... Было безвластие. Наши уже ушли, немцы еще не пришли. Люди с топорами ложились, потому что бандитизм пошел страшный. Откуда что взялось; только выяснилось, что людей, которые могут тебя презирать, сколько угодно, и прирежут, и спялят, а главное, знают, проклятые, у кого что, у кого где. Эти несколько дней безвластия стоили некоторым всей войны. Всё люди враз теряли. Потому с топорами и ложились, двери не открывали, а мама тогда пошла и открыла, и пустила их. Ну, правда, без всяких там нежностей. На пороге оставила, дальше ход загородила.

— У меня свой ребенок, женщина, — сказала она твердо. — Куда мне еще ваша? — Это на просьбу приютить хотя бы девочку.

Категорически отказала, но совет дала. Пока еще не зима, сказала, деваться вам некуда, занимайте, мол, саманный домик, пока те пустые стоят.

Саманные домики, три штуки, поставили перед самой войной для цыган. «Живите, — сказали им, — как люди, под крышей, трудитесь на благо».

Цыгане благодарили шумно, у председателя митинга по случаю заселения пропали часы, а линейка, на которой он приехал, осталась без лошади. Но это не испортило праздник, а даже наоборот... Настроение у всех повысилось, все смеялись до боли в животе, но в магазине тут же раскупили лежалые замки, засовы и щеколды. В одночасье перестали топить щенят и стали заискивать перед хозяевами, имеющими сук-овчарок.

Вскоре после митинга появились на базаре рамы из окон, колосник из печки, двери, стекла, в общем все, что можно было из саманных домиков вынести. Народ все скупал и снова смеялся. Уже начальство из области приехало к цыганам, приобщать тех к культурной жизни, но цыган как ветром сдуло. Как и не было. Стояли пустые с черными проемами окон домики, будто после хорошенького боя. Дети полюбили в них играть. Это ж где еще дадут тебе возможность прыгать в окна, карабкаться на крышу, в уборную ходить, где тебя нужда застала. Хоть посреди комнаты. Воля.

Вот на эти домики Верина мама и указала беженцам. Все-таки крыша не продана и стенки пока стоят.

Маме вообще бы быть начальником. Светлая голова была, царство ей небесное. Она давно думала, что зазря пропадают эти крыши и стены. Дело в том, что им уже до войны самим было тесно. Дед с бабкой, мама с папой, Вера в двух крошечных комнатках, пятнадцать квадратных метров. Мама мечтала захватить брошенный домик. Но как это сделать? Мама и послала туда эту женщину, посмотреть, что будет из самозаселения? Она даже не побоялась ночью ее проводить. Взяла свечку, спички, хлеба, огурцов и повела.

А на следующий день мама пошла уже с ней, с Верой. Понесла старое одеяло, подушку. Эти забились в угол кухоньки самого крайнего домика. Здесь чудом осталась цела печка и сохранились внутренние ставни. Оглядела мама весь участок земли вокруг домов, прошла туда-сюда и нашла им дверь. Дверь валялась в грязи, ручка у нее была оторвана, а петли кто-то выковыривал, выковыривал и бросил.

— Навесите, — сказала мама, показывая на дверь.

— Как? — прошептала женщина. Она за мамой ходила как лунатик.

— Руками! — закричала мама. — Вы кто такая будете?

— Ольга Николаевна Зайцева, — тихо ответила женщина.

— Да зачем оно мне, ваше имя? — совсем возмутилась мама. — Я с вами ручкаться не собираюсь... Я в другом смысле... Дверь я вам указала... Кой-где в других хатах стекла остались... Выньте... И живите пока, раз такое дело.

— Но я сама не сумею, — прошептала женщина.

— Ой-ой! — ответила мама. — Зачем только такие люди на свет рождаются... Безрукие...

Ольга Николаевна стояла опустив голову.

— Ладно, — сказала мама. — Я пришлю вам Федю.

И они пошли с Верой к Феде. Феде-плотнику. Дети его боялись и дразнили, Вера сама не раз убегала от него. Конечно, убегала — сильно сказано, потому что ходил Федя на корявой деревянной лапе, ремнями подтянутой к колену.

Глупые они были, дети. Но им нравилось залечь у Феде на огороде и кричать оттуда:

— Федя-беда курага, деревянная нога.

Федя подымал с земли камни и выбивал их из огорода по одному. Вот от руки его меткой и надо было убежать. Ловко он подбивал. И не жалел ни капельки. Кричал: «Я тебе сейчас, сучонок...» Поэтому Вера в дом к Феде не пошла, осталась на улице. Мама же сходила, поговорила, вернулась и сказала Вере:

— Оно мне надо, чужое горе? Но такой я человек...

А потом выяснилась странная вещь. Так мама сказала бабушке:

— Скажу тебе страшную вещь...

Будто бы эта Ольга Николаевна заплатила Феде за навес двери тем, чем платит женщина, когда у нее ничегошеньки нету. А Эльвиру в этот момент она отправила — это ж надо, какая изворотливая! — нарвать цветочков в степи. Дите пошло, а какие цветочки в ноябре? Полынь засохшая да лопухи квелые, коровами писанные. Ходила эта дурная девчонка по полю, люди со своих дворов смотрели и только руками разводили. Какая же у нее мать! И в шурф ребенок может провалиться. И опять же цыгане. Опять курится у них табор под боком поселка. Чего им стоит скрасть ребенка, а потом продать? При этих словах и мыслях мама хватала Веру и изо всех сил прижимала к своей груди.

Пришли немцы.

Еще вечером никого не было, а утром их собачий язык уже повсюду. Пошли по домам, расселяться.

И в их «зале» появился рыжий толстый Курт. Пришлось им сбиться в одну комнату, и тогда мама сказала бабушке с бабушкой:

— Нечего ждать. Перейдете в саманный домик к этой... Печка там топится... Стекла вставили...

— Там же пол земляной, доча, — ответила бабушка. — Как бы не прихватил ревматизм...

— Эта ж живет с дитем малым, — закричала мама. — А тут мы за ночь весь кислород выдышиваем... Одно бздо остается...

Короче, переехали старики к Ольге Николаевне. С маминной легкой руки и другие домики пустыми не остались. Уже зимой во всех саманках жили.

Ольга Николаевна и Эльвира так и занимали кухню. Был у них деревянный топчан, сделанный тем же одноногим Федей. Табуретка, на которой они ели. Мама, когда стариков переселяла, подбросила им этажерку со сломанной балясиной. Чайник заварной отдала без крышки. И какое-ни-какое тряпье. Но скоро выяснилось: не нужно им было мамино добро, потому что Ольга Николаевна пошла работать в управу машинисткой.

— Мне ребенка кормить надо, — твердо сказала она маме.

Маме очень не нравилось, что дедушка с бабушкой Ольгу Николаевну не только не осуждали, но вроде бы как понимали и сочувствовали. Мама как-то не уследила, видит, а старики из одного полумыска с Эльвирой кулеш едят. Полумысок мамин. И пшено ее.

— Откуда у вас сало? — спросила мама.

Сало она старикам не давала, считала, что им оно не по возрасту. И не ко времени. Мама так говорила:

— Сейчас питать надо в первую очередь детей и среднее поколение. Тех, кому оставаться. А старики должны иметь соображение... Откуда у этой лярвы сало?

Своим чередом шла война. Менялись немецкие постояльцы. По их настроению угадывали о том, что было на фронте. Увели евреев. Открыли школу. Вера и Эльвира сели во втором классе за одну парту. Вечером в саманном домике они клеивали в учебниках портреты вождей. Бабушка крестилась, глядя на это дело. Дедушка вздыхал. Ольга Николаевна вырезала из бумаги квадратики.

— Девочки, мажьте по самой-самой кромочке... Ах, Эля! Ну зачем ты клеишь середину, смотри, как аккуратно делает Вера.

Так жили... Был еще Федя-плотник.

— На черта он ей теперь нужен? — смеялась мама. — У нее ж теперь небось офицеры, зачем ей инвалид?

Никаких офицеров Вера не видела, а вот как приходил Федор с деревянным ящичком, в котором лежали все его инструменты, это видела не раз.

Обходил домик, смотрел, где что надо сделать. Утеплял.

— Ну что, — спросила мама, встретив его на улице, — прошил дорожку?

Молчал Федор. Ширк-тырк деревянной ногой, действительно, как прошивал... Очень это маме не нравилось. Однажды вечером, уже зимой, когда немцы гуляли на своем Рождестве, мама крикнула Федору с крыльца.

— Зайди!

Зашел. Видела Вера, шел Федя неохотно, как наказанный.

— Чего ты, Нюся, пристаешь? — сказал он тихо, чтобы Вера не слышала, а она услышала и уже не отлипла от притворенной двери. — Ну чего тебе надо?

— А чем же она тебя приворожила? — тонко закричала мама. — Какой такой травой-муравой? У тебя ведь смолоду другой был интерес...

Как он засмеялся! Жизнь прошла, а помнит Вера Ивановна этот его смех, грубый, злой, аж свистящий. Отсмеялся и сказал:

— А ты че, Нюся, задний ход даешь? Или?

Мама, как курица от кошки, захлопала крыльями, запетушилась...

— Ой! Ой! Ой! Сказал! Я не такая, Федя, не такая, чтоб задний ход давать. Мне просто за тебя обидно, что ты принципиальный...

И тут Федя так заматерился, что Вера от двери отпрянула, покраснела и уши руками закрыла. А когда открыла, то Федя стучал деревяшкой на крыльце, а мама рыдала в голос. Вера испугалась, кинулась к ней, а мама кричала:

— Не будет ей счастья, сроду не будет, помани мое слово — не будет ни ей, ни Эльке этой шелудивой!

Ничего не поняла тогда Вера, с мамой такого не было, чтоб вот так она плакала. Но мама вскоре сама все и объяснила:

— Ты, дочка, уже не маленькая. Знай... Этот Федя... Он смолоду, когда еще с обеими ногами был, ухаживал за мной.

Я семилетку кончала и замуж за него собиралась, а тут этот проклятый паровоз его переехал. Ну подумай... Зачем мне одноногий? Я ему так и сказала. И вышла за папу... Федька руки на себя накладывал, но я этого не понимаю... Нет же такого закона, чтоб заставлять человека жить с одноногим. Я ж нормальная, я просто красивая, можно сказать, была. И люди не осуждали меня, потому что своей волей за калеку никто не пойдет... Жизнь одна у человека, и чего ж это себя обречь? Я ему по-человечески: как тебе не стыдно петлей пугать родителей? Они ведь ко мне прибежали, мать его передо мной упала... Не бросай, говорит, я тебе ноги буду мыть и воду пить, у меня, говорит, кольцо есть червонного золота и сережки золотые, все твое будет, а Федю, мол, выучим на умственную работу, счетоводом там или бухгалтером... Будет всегда в чистом, интеллигенцией...

Я им ответила: «Извините, не надо мне вашего золота...» А теперь — видишь? Это же я надоумила позвать его дверь навесить. Он же на этом не остановился. Эльке валенки подшил... Ольге зимнее пальто справил... За те самые, что мне причитались, сережки. Мать его перед смертью их из ушей вынула, кольцо сняла и сыну все отдала. «У тебя, сказала, хватит ума с этим меня похоронить». Так он продал эти сережки для этой лярвы. Ты запоминай, доча, запоминай, какие люди на свете есть...»

А Ольга Николаевна и Элька так и жили вместе с бабушкой и дедушкой. Получалось, что вся их жизнь была на виду у Веры. И хоть мама настаивала, чтобы старики «с этими» дела не имели, как же не будешь иметь, если одна печка? А Ольга Николаевна так и продолжала их прикармливать... Старики же то, что им перепало, сами не съедят, Верке оставят... То кусочек маслица, то гороховый концентрат. Клубком, получается, жили... Федя, к примеру, сделал мельницу. Камень очень хороший нашел, мука получалась, как довоенная. Мама ходила молоть. Придет с зерном к Ольге Николаевне, без «здрасьте».

— Я молоть...

— Пожалуйста...

Мама мелет, аж искры летят. Опять же — никаких там «спасибо»... Мама считала, что они ей по гроб обязаны и за саманный домик, и за чайник, и за этажерку. И за Федю!

Какая была Элька? А никакая. Забитая. Не в том смысле, что ее кто обижал, а в том, что у нее природа такая. Все молчком, молчком...

— Ох, и хитрая дытына! — говорила мама. — Я этих молчаливых насквозь вижу. Так и жди от них чего-нибудь, так и жди...

Вернулись наши. Засобиралась Ольга Николаевна в Ленинград. Дедушка с бабушкой в слезы, а потом говорят маме:

— Доча, дай им, пожалуйста, наш чемоданчик фибровый, а то им ехать не с чем...

— Да вы что? — сказала мама. — Чего это ради?

Федя принес им свой деревянный. Нанял у цыган подводу, отвез на станцию.

Назад ехал, мама ему из ворот крикнула:

— Чего ж они тебя не взяли?

Федя даже головы не повернул.

А через месяц вернулись...

Все у них в Ленинграде разбомбило, никого из родных не осталось, да и вслед им письмо кто-то послал, что работала Ольга Николаевна в управе. Что там было и как — неизвестно, только пришлось им вернуться... Умер дедушка, а они так и жили с бабушкой. Папа тогда уже с фронта пришел, мама забеременела Мишкой, потом голод был, в сорок седьмом... Мама стала худая, синяя, а Мишка был бутуз ничего себе... Ольга Николаевна, Элька и бабушка давно только из одного котла ели, а то и Федя с ними. Ширктырк — ходил он к ним, и все чего-то несет, то съестное, то из одежды.

Сначала Ольгу Николаевну на работу не брали. Из шахтоуправления звали иногда кое-что перепечатать, но неофициально. И она пошла работать уборщицей, ну а потом кто-то из начальников решился, и ее приняли по специальности. Но потребовали: «Докажите, что ничего не делали при немцах против народа». И Ольга Николаевна пошла по домам

сбирать подписи, что народ против нее ничего не имеет. И некоторые люди, конечно, засомневались: «А что мы знаем? Мы там были?» Но все-таки большинство — жалко, что ли? — подписало. Бабушка аж печатными буквами написала свою фамилию, за что мама ее сильно отругала.

— Удивляюсь тебе, — сказала. — Удивляюсь! Ну, другие — идиоты. А ты что своим умом думаешь? Да за одно сожителство с Федором ее надо сослать в Сибирь. Какой пример молодежи?

К маме Ольга Николаевна за подписью не пришла, а Вера знает: мама тогда ждала. На каждый собачий «гав» выскакивала, когда Ольга Николаевна шла по их улице, а та возьми и пройди мимо со своим листком из тетради по арифметике. Ой, как мама зашлась! Папа ей: «Охолонь да охолонь!» Мама же кричала: «Я ей сказать хотела! Я ей все сказать хотела!» И мама сказала им с отцом, потому что горячие слова жгли ей нутро, и не скажи она их, неизвестно, чем бы это для здоровья кончилось.

— Ишь, как присосалась к жизни! А если бы не я, что с ней было бы? Кто ее за руку под крышу отвел? И меня же, лярва, обошла. Знает, что никаких подписей я не поставлю. Я спрошу: а как у тебя совести хватило идти в управу? Есть нечего? А ты не ешь! Бывало, люди и не ели... Те же ленинградцы... Но она, видите ли, хотела есть! Этого я ей не прощу никогда!

— Что есть хотела? — засмеялся папа.

— Ты дуру из меня не делай! — закричала мама. — Но я не желаю дышать с ней одним воздухом. Нет такого закона, чтоб на одной земле нам жить!

Так вот мама накалялась, но, если разобраться, было ей непросто. Мать-старуха ведь жила с Ольгой вместе, Вера туда-сюда бегала. Мама сама на их дворе посадила грядку огурцов и всякой зелени и сразу же всем сказала: «Двор этот наш». Говорят, Федор как-то хотел все мамино выдергивать и вытоптать, но бабушка стала плакать, и он ей вроде сказал:

— Мамаша, только ради вас...

А что такое огород? Это вскопай, полей, прополи... Так что сколько в своем дворе, столько и в том они трудились. Ольга по кромочке их огорода посадила в один рядок картошку, мама смехом зашлась. Земля-то не картошечная. Ничего и не уродило, так, горох, а не картошка.

Вера с Элькой подрастали. С учебниками было плохо. Цены были такие. Литература, история, география — толстые книги стоили по сто — сто двадцать рублей, теми, конечно, деньгами. Математика — по сто. Таблица логарифмов — пятьдесят. Некоторые книги были у Веры, некоторые у Эльки. Приходилось меняться. Маме это не нравилось. Вера, бывало, и не говорит, что берет книжки у той. Но мама очень бдительная, она заметила, оказывается, как Элька книжки обворачивает.

— Опять у нее одалживаешься! — кричит она на Веру. — Что ж ты такая у меня непринципиальная?

Тогда Вера шла к бабушке и там занималась. Это мама разрешала. Даже больше, поощряла бывать там почаще, чтоб «эти» не думали, что они в доме хозяева. Мама все говорила: «Надо нам дом оформить».

Незаметно вроде, а пришел девятый класс, и стали их с Элькой принимать в комсомол. Ну, Веру — единогласно и без всякого. А вот Эльку...

Накануне мама сказала папе:

— Разве ж можно нашу Веру с ней сравнить? У Веры биография незапятнанная, отец фронтовик, а что мы про Эльку знаем? Мать служила в управе, про отца вообще никакой ясности... Может, он тоже предатель... А поведение? Живет ведь она с одноногим, как пить дать живет... Разве ж можно им давать одинаковый старт, девчонкам? Это и нечестно, и несправедливо... Что там в школе думают?

Вера не собиралась выступать, она даже тогда не знала, умеет ли это делать, но, когда подняли Эльку и та встала перед классом, вся такая побледневшая и губу до крови закусила, Веру как кто-то с места сдунул. И она подняла руку и сказала, аж дрожа от никогда ранее не испытанного восторга борьбы за правое дело:

— Зайцеву Эльвиру принимать в комсомол нельзя, потому что у нее плохая биография. Мать ее служила в управе, а отца никто не знает... И вообще...

Все на нее тогда глаза вытаращили и смотрят, и ничего не говорят, и в первую минуту Вера вдруг почувствовала жгучий, просто нестерпимый стыд, хоть умирай, но тут вскочил представитель райкома комсомола и сказал:

— Молодец, Вера! Предостерегла нас всех от вопиющей ошибки...

А Элька возьми и рухни. Стояла-стояла и рухнула. Схватили ее, отнесли в учительскую, привели в чувство, но проголосовали единогласно против.

Все тогда на Веру смотрели так, будто первый раз увидели. Да она сама замерла от удивления перед самой собой. Будто раскрылось в ней что-то и выпростался новый человек, смелый, решительный, со звонким голосом. Голос этот сразу взяли в работу, и не было вечера, концерта или собрания, чтобы она его не вела, постоянно объявляющая.

С того дня она к бабушке ни ногой. Даже мама, сначала довольная, потом ее не всегда понимала.

— Укроп вполне можно сходить и нарвать, принципы твои не пострадают.

Вера только шеей дернет. А Элька с того дня в школу не ходила, лежала дома. Что у нее, никто не знал. Ольга ходила с черным лицом, бабушка плакала и смотрела на Веру так, что маме пришлось ей строго сказать:

— Ты что на ребенка смотришь как на врага? Она твоя внучка, а не Элька... Так странно, что тебе приходится об этом напоминать.

А потом пошел слух — у Эльки скоротечная чахотка. Кожа и кости остались. Мама сказала бабушке:

— Не ходи к нам. У меня дети, а ты можешь принести палочку Коха.

И снова засобиравалась Ольга Николаевна уезжать. На этот раз и Федя с ними. У Веры было тогда много своих дел, захватила ее общественная жизнь: то вечер надо готовить, то по домам отстающих пройтись, то школьную газету выпускать, у нее стал проявляться интерес к литературе — она

писала стихи к датам. Но надо же тому случиться, что столкнулась она на дороге с этой подводой, на которой те уезжали. И не вспомнишь сейчас, чего это она оказалась на развилке, ведущей к станции. Получалось — вроде ждала. А не ждала, в мыслях не держала.

Элька лежала на соломе, как покойница, ногами вперед. Рядом с подводой шли Федя и Ольга Николаевна. А цыганенок-кучер сидел, свесив грязные ноги, и смотрел на торчащие лошадиные кости. Вид у него тоже был как у человека, везущего не живого, а покойника. Вера, когда сообразила, кто прямо на нее едет, хотела метнуться, а куда? Так они приближались, и Вера подтянула живот и почему-то успокоилась, потому что вот какие мысли пришли ей в голову. Эля умрет, это все говорят. Но ведь лучше смерть, чем жизнь с такой биографией! Сейчас подъедет подвода, и Вера посмотрит в глаза Эле подбадривающе и ободряюще. Если бы не Ольга и не Федя, она бы даже ей сказала: «Элька, в твоём случае смерть лучше!» Поэтому Вера даже двинулась в их сторону, считая, что ее поступок будет хорош и благороден, ведь она не погнушалась, а проводила Эльку в последний путь.

И тут ей наперерез с палкой, взятой в руки так, что не могло быть сомнений, что ею собираются делать, пошел Федя, одетый в два пиджака сразу и в ботинок с галошей, хотя было тепло и сухо.

— Не надо, Федя, — тихо сказала Ольга Николаевна.

И Федя так скрипнул зубами, что цыганенок обернулся, а Вера закричала и побежала прочь, продолжая кричать, пока не упала маме на грудь, не рассказала ей, как замахнулся на нее Федя, и, если бы она не убежала, он бы ее, Веру, если и не убил, то покалечил бы наверняка.

Рванулась мама с места, схватив кнут, которым гоняли коз в стадо, просто полетела к дороге.

Что там было — неизвестно. Только с этого дня у мамы случился тик. Нет-нет, а задергается глаз, и ничто его не остановит, пока сам не усмирится. Мама тогда закрывала его ладонью и смотрела на мир одним глазом, зло и гневно, и каждый раз Вера в такую минуту вспоминала Федю, даже

не его самого, а его ногу в ботинке и галоше, вроде бы как парадную ногу, обутую для какой-то другой жизни.

— Черт с ними, и слава богу, — сказала мама.

Прежде всего она сделала в саманном домике дезинфекцию. Тряпье какое осталось — спалила.

— Живи теперь в чистоте, — сказала бабушке, а та все плакала, плакала и все письма ждала. Сидела на лавочке и ждала. Только, конечно же, никто ей не написал.

А у Веры все пошло и дальше хорошо. Окончила школу, потом институт. Замуж вышла очень удачно. Мама говорила:

— Вера, это нам за честную жизнь кто-то ворожит... Своего не отдавали, но и чужого не брали.

Мама в старости лет очень полюбила эту тему.

— Я хоть и простая домохозяйка, а скажу хоть на трибуне, — объясняла всем. — Я сроду ни за спичками, ни за солью по хаткам не бегала. Нету — перетерплю. А тех, кто вечно позывает, — с порога... У меня такая молитва: печка топится, еда варится, дети — слава богу, муж на работе, здоровье какое-никакое и — тьфу, тьфу! И за справедливость всегда скажу. Я так думаю: все не равны. Есть которые заслужили хорошую жизнь, а которые нет. У Веры моей и у сына дома полная чаша, потому что они сразу были поставлены на правильную дорогу...

— Ах, перестань, мама, — говорила ей, смеясь, Вера. — Ты как начнешь про дорогу...

Мама обижалась и замолкала. Ходила по Вериной квартире, руками все нежно трогала, тряпочкой невидимые пятнышки оттирала и в какой-нибудь момент все-таки досказывала свое:

— Помнишь Клавку? С тобой училась? Ну та, что школу бросила в восьмом? Рак у нее... И я так думаю, не случайно... Учиться не захотела, села родителям на шею, дитя неизвестно от кого принесла...

— А рак тут при чем? — качала головой Вера. — Он что, анкеты смотрит?

— Смотрит! — говорила мама. — Еще как... А Любка? Три раза замуж шла... Ну? Это, по-твоему, что?

— Она хорошо живет с третьим...

— Вера, ты что? Это ж какие надо иметь понятия, чтоб три раза!

Когда отец умер, Вера хотела забрать маму к себе, но мама как отрезала:

— И не думай! Хозяйкой всю жизнь была, хозяйкой умру. Сама положу, сама возьму.

Бог дал ей легкую смерть, во сне. И Вера, перебирая вещи в мамином доме после похорон, думала, что права была мама, говоря о том, что все получаешь по заслугам. Хорошую она прожила жизнь. Ходила по улице прямая, строгая, в глаза людям смотрела не отрываясь. Не все даже этот взгляд выносили, отворачивались. Вера потом уже своей дочке стала говорить:

— У тебя, доча, все будет хорошо, если будешь жить по-честному... Мы такая семья...

Дочка вполуха. Ну, да что там говорить! Она, дочка, может, и не знает, как это не по-честному, дома ничего плохого не видела, в школе тоже дурному не учат, а если что во-круг появлялось, Вера — каленым железом.

— Чтoб я в доме не видела... Ту или эту...

И всегда как в воду глядела. Был такой случай. Повади-лась к ним одна пигалица. Глазками все шарит, шарит... Конфеты стоят: «Можно возьму?» Вера выяснила: дочка билетерши в кинотеатре. Стала Вера наблюдать. Дочка балда, дает свои вещи примерять, а потом к матери:

— Мамочка, мамочка! Лена меня меньше, я из платья выросла, давай ей отдадим...

Вера сказала:

— Хорошо. Это платьe, что она надевала на свое грязное тело, давай отдадим, но чтоб ноги ее больше не было...

Через год эта Лена попалась на воровстве. Украла меховую шапку. Родители и даже учителя хотели историю за-мять, жалели и билетершу и девчонку. Даже какое-то оправ-дание-объяснение нашли: валялась шапка на полу в кино, девчонка, мол, даже кричала, чья шапка, никто не отклик-нулся, она взяла себе, а потом пришла милиция...

— Думайте, что говорите, — сказала Вера, — так просто милиция не приходит. Подымите руки, кто знает в лицо своего участкового? Никто... Вот и все. А к билетерше пришли... И обсуждать тут нечего... Сами не жалуемся, что воруют...

Нет, Веру не собьешь. У нее потому и жизнь кристальная. Когда ей исполнилось пятьдесят лет, ей так и написали на глянцевой бумаге. И вечером она сказала мужу:

— Вот знаешь, Коля, может, оно и не совсем удобно так про себя, но я тебе скажу: все, что тут написано про меня, чистая правда. Разве нет?

— Конечно, Веруня, — тихо и ласково ответил Коля. — Ты настоящий человек.

Вздернула Вера гривастой головой: воистину настоящий. Жизнь прожила, как песню пропела. Не прожила, не прожила, не прожила, себя же поправила. Какие годы, пятьдесят лет? Самое, самое... Дальше может быть только лучше... Болезни, старость — глупости. Ничего этого у нее не будет. Она до конца будет на ногах и умрет ночью, как мама... Как праведница...

...Сейчас Вера Ивановна сидела на лавочке, ощущая боль в позвоночнике. Верный носитель ее крупного тела как-то враз застонал от тяжести, просто требовал, чтобы она легла. Но уйти было невозможно. Ее держала эта женщина с плохими волосами, с нездоровым цветом лица, вся согнутая под широкой вязаной шалью. И смотрела она на нее так, будто хотела разглядеть в ней что-то ей одной желаемое. А она, Вера Ивановна, вместо того, чтобы сказать: «Что это вы на меня уставились?» — истончалась, истончалась, превращаясь в предмет простой и прозрачный, видимый насквозь. И еще вдруг выяснилось: Вера Ивановна, оказывается, держала в руках эту проклятую книжонку, из-за которой все началось. И теперь она не знала, что с ней делать.

— Про что пишешь? — спросила Вера Ивановна неестественным голосом.

— Про наше с тобой детство, — ответила Эля.

«Ай!» — мысленно вскрикнула Вера Ивановна и опять рассердилась на себя...

— Как интересно! — сказала она и открыла обложку. Опершись культей на деревянную ногу, стоял на титульном рисунке Федя-инвалид. И в руке его была занесенная над Вериной головой палка.

Вечером, неожиданно для администрации санатория, уезжала пара. Вызванный из дома директор не мог понять причины отъезда, нервничал и требовал написать, что претензий на обслуживание, лечение и питание у отъезжающих нет. Коля тут же взялся за ручку, действительно нет у них претензий. Но Вера Ивановна посмотрела на него так, что он тут же ручку положил. А значит, получалось, претензии есть, но о них не хотят говорить.

— Ну что? Что? — нервничал директор.

Вера Ивановна пожала плечами. Такое просто сделала движение, но ломило плечи, как при гриппе...

Муж ничего не понимал, но Вера Ивановна такой человек... Раз она сказала: «Ноги моей тут не будет», то уже и обсуждать нечего. Коля нес за женой чемоданы, мысленно доигрывая неоконченную партию в шахматы.

Вера же Ивановна не думала ни о чем. Спугнутые с насиженных мест мысли бились в поисках выхода, мешали друг другу, родилась злость, потом паника, потом ненависть, потом возмущение миром, в котором царствует несправедливость.

— Сволочь одноногая, — тихо сказала она. — Ах ты сволочь.

— Да уж, да уж, — ответил Коля. — Холодает... Год на год не приходится.

Хотелось ударить мужа, ударить сильно, ногой, ударить глохнущего и слабого, не могущего изменить ни обстоятельств времени, ни обстоятельств места, ни обстоятельств действия. Может, из-за таких бесхарактерных и безвольных, как он, и жила на свете та, которой правильнее было бы умереть в цыганской подводе?

Кто ж еще смел наворожить Эльке жизнь? Кто?

БАБУШКА И СТАЛИН

Где поп, где приход... Но ничего не поделаешь... Покойница пришла утром к чаю. «Черт-те про кого пишешь, — сказала она мне, — а я тебе никто?»

Она мне кто. Она мне все. Но почему, господи, ты понимаешь это потом, когда уже свои внуки выдвывают такие фортели, что, как говорила бабушка, на голову не наденешь?

Начнем с фортелей. Накануне моя внучка закинула чепец за мельницу. В три часа ночи ее папе позвонили снизу ее, внучкиной, квартиры и сказали, что там, наверху, то ли домового хоронят, то ли ведьму замуж выдают. Измученный отец — днем он отвозил своего отца в больницу — позвонил дочери. Та долго не подходила к телефону, а когда наконец взяла трубку, то, не дожидаясь слов, сказала, что у нее тишайшая тишина, а сосед снизу — сумасшедший дурак.

Ну, не стала бы я про это говорить — такое у нас через раз. Но я с этим не могла уснуть, а утром на другой день к чаю пришла бабушка. Ну, где эти пирсинговые, двух-, трехцветные поклонники Мэнсона и где бабушка? А вот сошлись они во мне. И взбукетенили.

Бабушка моя была слегка пьющая и весьма курящая. Она не предавалась пороку открыто и громко, она понимала грех и стыдилась его. Бутылочка с красным или белым перепрятывалась так, что ни дедушка, ни мама, ни я с моими зоркими глазами найти ее не могли. Она прикладывалась к ней, чтоб сделать два, ну три глотка. После этого она открыто для всех брала папиросу, но курила странно, становясь в любое узкое пространство, главное, чтобы в него помещалась спина. Я шла ее искать и находила по струйке дыма, который шел или из стыка сарая угольного и сарая дровяного, или из излома давно треснувшей от молнии толстой липы, или между створками дверей кухни и кладовки.

Она смотрела на меня одновременно насмешливо и грустно. Она понимала мои детские страхи, но одновременно смеялась над малостью их. Она как бы знала о всех моих будущих ночных бдениях, о внучке, которой сам черт не брат,

и о всяких моих печалях, идущих потом шаг в шаг по всей жизни.

Моя кровать стояла в их с бабушкой спальне, и я слышала их ночные разговоры. Не буду напридумывать, хотя очень хочется; девочка, ночь, два старика в постели, скребется мышь, светится щель под дверью, это мама-чтица читает допоздна.

— Ну, и как ты думаешь? — спрашивает бабушка.

— Я не думаю. Спи! Чему быть, того не миновать.

Вот это «чему быть» вбито в мою башку с тех самых пор. И всю жизнь я строю жизнь поперек этой мысли — хочу перехитрить бабушкину мудрость. Но ничто меня не минуло. Ничто! А сопротивление против неизвестного во мне — бабушкино. Дедушка умел стать к тому, что неминуемо, как-то боком, не поперек волне, а вдоль нее. Бабушка же встречала его с молотком и била по голове, неминуемое ярилось, тогда она брала топор или вилы, и оно уже с полным правом шло по ней ногами.

Много раз я видела, как стоят двое с коромыслами на плечах, хохочут, а потом та, что не бабушка, резко плеснув ведрами, срывается с места, как клюнутая в зад, и исчезает. А бабушка величаво доносит ведра до дому, до хаты. Это значило: неминуемое дошло до той, что сорвалась с коромыслом с места.

Победу в войне она отмечала в разломе липы тоненькой песней «Виють витры, виють буйни». Мое музыкальное образование на этом начиналось и кончалось, хотя в дом еще до войны внесли пианино, и оно затаранило нашу крохотную столовую. «Инструмент» — так называли пианино — был, так сказать, символом, как бы теперь сказали, стабильности. Внучка, то бишь я, будет на нем учиться музыке. По бабушкиной логике, человек, играющий на пианино, был как бы уже защищен небесами. Ха! Дядька играл на пианино и скрипке — отсидел полжизни. Мой родной отец, абсолютно музыкальный человек, всю жизнь бегал, как заяц, по стране от догоняющей его власти. Немзыкальным в семье повезло куда больше.

Пианино я не овладела. Конечно, тут можно сказать, что моя первая учительница музыки этим делом занималась по нахальству. Но будем честны: я была плохой материал. Но это уже другая история, хотя нет, как тут не сказать, что наша квартира с «инструментом» (единственным на ближайших улицах) была помечена на двери особым кружочком, и на постой к нам определили немецкого офицера. Он оказался художником, и первое, что сделал, — нарисовал тонкошею ребенка-птицу с огромными выгнутыми глазами, прикушенной губой и чубчиком на лбу. То бишь меня.

— Шо це таке? — возмутилась бабушка. — Наша дытына така хорошенька, а це чорти шо...

И она объявила свою внутреннюю войну всем немцам. И я уже ни на грамм не сомневалась: им несдобровать. Так и было. Сначала под Москвой, потом под Сталинградом, но я до сих пор уверена: поражение их началось на нашем дворе презрением бабушки к их, так сказать, потенциалу.

За неделю до войны мы были с ней в Москве у моей тети Иры, которая жила там и работала. Нас набилось не счесть в комнатке на пятом этаже на Каляевской. Сводная сестра бабушки Лиза — хозяйка комнаты. Ее сын Жорка оканчивал школу и проходил мимо меня, только что окончившей первый класс, как мимо веника. На сельскохозяйственную выставку приехала еще одна сводная сестра, бабушка Шура, сестры не виделись много лет, но, по-моему, не обрадовались друг другу и говорили между собой отрывисто:

— Кофе с молоком?

— Нет!

— Чай?

— Нет!

— А у меня нет ничего другого.

— Я сыта. Спасибо.

Моя тетя Ира снимала угол у своей тетки Лизы. Не одна, с молоденьким мужем Костей. Мне он казался таким красивым, что где-то внутри меня начинался холод, очень сладкий холод, резко переходящий в огонь. Я запомнила это ощущение, оно мне понравилось.

Была там еще приехавшая к Лизе ее мать, вторая жена бабушкиного отца. Когда его раскулачивали, она как-то исхитрилась бежать с дочками. Чего бабушка ей не простила. Кажется, ее звали Дуська. Как мы спали на этих квадратах?.. Но проблемой это не было. Проблемой был туалет. Лизина комнатка была первой в длинном коридоре коммуналки. В самом его конце были кухня и туалет. От нас они были как на краю света.

Лиза договорилась с соседями, что Жорик и Костя будут спать на полу в коридоре, потому как мужчины, и больше негде. Матрац загородил путь в длинный коридор, ведущий в туалет. Потому для оставшихся на ночь было выставлено ведро, прикрытое клеенкой.

Я слушала, как журчала наша комната. Бабушки и тетя Ира делали это очень деликатно, как бы между прочим. Баба Дуся мощно и радостно била струей в стенку ведра, получалось, как сильный дождь по крыше. Не пьющая, не едящая Шура вообще не вставала, как и хозяйка. Утром она будила мужчин и выносила ведро до того, как в туалет выстраивалась очередь.

Накануне нашего отъезда бабушка ночью сказала моей тете:

— Чем так жить... Кидай к чертовой матери эту Москву. Мы у себя живем чище.

— Ч-ч-ч-ч! — шептала тетя Ира. — Это временные проблемы.

— Я слышу это от тебя уже три года.

— Ч-ч-ч-ч! — отвечала тетка.

Московская история тут не по делу и даже как бы вопреки. Потому как в споре, где чище и лучше, бабушка потерпела крах. Молодая специалистка Ира была зорче и пронизательней. Она перетерпела ведро и прочие казусы. У нее все стало о'кей. И отдельная квартира в центре, и машина к подъезду. Бабушка, слава богу, это успела увидеть и сполна насладиться успехами дочери.

Но она успела и ярко рассказать всем про то, как в Москве писают и сколько стоят в очереди «на посрать».

Пока мы ночью ехали домой, немцы уже отбомбили Киев.

Дальше пошла другая жизнь. Срочно уезжало начальство. Махонький наш городок просто встал от этого на дыбы. Бегство власти было посильнее немецкого наступления. Райкомовские жены мотались по городу в бигудях, собирая у тех, кто рожей не вышел для эвакуации, чемоданы. Одна такая примчалась к нам. Вы же помните, что у нас уже стоял «инструмент», и по одному этому чемодан у нас просто должен был быть. Большой такой, деревянный, с замочками.

— Ой! Ой! Ой! — сказала бабушка. — Откуда у нас чемоданы? Мы ж по курортам не ездим...

— Так вы ж тока-тока из Москвы. Я видела его своими глазами. Вы ж мимо нас ехали на бричке.

— Так он же сломался, — сказала бабушка. — Просто раз — и крышка отвалилась.

— Вы жадная, Николаевна, это все говорят. А время-то какое! Война! Надо помогать друг другу!

— Да что вы говорите? — смеялась ей в лицо бабушка. — Война! Надо же! То-то я смотрю, вас тут как подожгли. И на кого ж вы нас оставляете? — Бабушка слегка подвыла последние слова.

Но дама уже ломилась в соседний дом.

Потом все стихло. Кому надо — уехали. Кому надо — остались. Немцы еще только идут. Но где они, мы не в курсе. Приемники у нас забрали сразу, в начале войны. А время уже шло к осени.

Перед самыми немцами случилась запавшая в душу история. Бабушка прячет маму на чердаке, когда во двор приходит женщина «бить морду» маме. Разведенка мама жила, как я понимала по мере взросления, лихо, поэтому место на чердаке было вполне для нее справедливым. Как справедлив был и гнев оскорбленной жены, что сидит на нашем чурбачке и плачет в крепдешиновую косынку. Бабушка же, спрятав под фартуком руки, говорит ей:

— Да что вы взяли в свою голову, женщина? Зачем моей Вале ваш кобель? Сложите два и два: она и он. Красивая женщина в соку и мужчина, с которым бы даже я, немолодая, на одном гектаре не села бы... А уж такие всякие амуры — это ж какую надо иметь фантазию? Вы, дама, просто

Лев Толстой. Люди, говорите, видели? А какие люди? Какие теперь люди вообще? Вы, женщина, не видели людей, вы их уже не застали. А эти, которые такое говорят, шваль. Да будь моя дочь дома, она бы плюнула вам в глаза, я бы даже не успела ее остановить. Но ее, извиняйте, пани, нема. Вона поихала в деревню, до моей сестры. Та вы йи должны знать, курдюмовская Ганна. Вона вам тоже плюнула бы в очи.

Мы все знали — переход бабушки с русского на суржик был признаком перемены состояния. У нее были два языка и две формы существования. Русский для женщины, окончившей церковно-приходскую школу и прочитавшей «Анну Каренину». Суржик же означал, что перед вами гарна хохлушка, ничего не кончавшая, но ей это и не надо, потому как черт ей не брат. А «Вий» Гоголя она и без образования знает почти наизусть.

Вернемся к той, что плачет в крепдешиновую косынку, а я качаюсь на качелях, будто мне это неинтересно. Ее выпроваживают учтиво и жалостливо. Следующий за тем поступок меня взмывает вверх, хотя он абсолютно в стиле гарной хохлушки из «Вия». Бабушка ударом ноги сбивает с места лестницу, что ведет на чердак:

— Ты там будэш жыты! Там тэпэр твое мисто!

Испуганная мама согнувшись стоит в чердачной дверце. Лестница лежит на земле. От удара бабушкиной ногой из нее выпали две перекладыны. Бабушка же как ни в чем не бывало идет на кухню. Мама смотрит на меня, как на последнюю надежду. Откуда ей знать мои детские мысли? А они у меня путаные. Я хочу спасти маму, но бабушка в моей жизни важнее. Я сто раз могу послушаться маму, но никогда бабушку, ибо она дом, еда, сказка и ласка.

И все-таки я пыжусь поднять лестницу. Куда мне!

— Будешь сидеть, пока не придет отец! — кричит бабушка матери. — Может, он тебе другое место определит!

У нашей соседки уже скрипнула форточка (так у нас называли калитку), и она смотрит в наш двор.

— Сломалась лестница, а на чердаке Валька, — говорит ей бабушка. — Придет дед, починит, Валька и спустится.

— Я хочу в уборную, — говорит мама.

— Потерпишь.

— Может, возьмете нашу лестницу? — елейно предлагает соседка.

— Ой, спасибо, не надо! Не сдохнем мы без вашей лестницы. Потерпим.

Соседка исчезает. Она больше не выйдет. «Спасибо, не надо» — это же в переводе «Не пошла бы ты к черту», а значит, лучше исчезнуть самой.

— И зачем тебе этот кобель сдался? — снизу спрашивает бабушка маму.

— Да не сдался он, не сдался! Приставал сволочь — да, так они все такие...

— Ну, посиди там, подумай, — отвечает бабушка.

Но мама прыгает вниз и растягивает лодыжку. И бабушка бежит через весь город к еврейскому врачу, который еще не знает, что его бросят в шурф просто через два месяца. Его и семью не взяли в райкомовский эшелон эвакуации. Он приходит к нам и делает маме тугую повязку со словами, что «эти ноги еще возьмут свое». Они обсуждают с бабушкой приход немцев.

— Жаль внуков, — говорит врач. — Я слышал, они не щадят никого.

— Ну, они ведь враги, — отвечает бабушка. — А наша власть, она вас пощадила? Ваш лучший ученик Ленина Сталин дал вам место в поезде?

— Это, мадам, уже другая история, — отвечает врач. — Давайте мух отделим от котлет.

— Не буду, — упрямится бабушка. — Спросите у меня, боюсь я немцев или нет? Нет! У меня некого убивать, понимаете? Всех уже убили.

— Не говорите такого при ребенке.

— Пусть только попробуют тронуть ребенка.

Теперь понимаете? Они тронули меня, нарисовав не красавицу и умницу, а тощего вороненка с голодными глазами. Нарисовали — и все у них кончилось. Вся их дурья сила.

Однажды ночью бабушка отвезла внуков доктора на свой «фамильный» хутор, на котором был раскулачен и убит ее

отец и старшие братья. У нее там были свои люди, и они так сохранили внуков доктора. Теперь они живут в Израиле и отмечают каждый день рождения моей бабушки. Был даже момент, когда я напрочь этот день забыла, а они мне напомнили. И мне было стыдно, как никогда в жизни.

Удивительным было то, что в школу, открытую немцами, бабушка меня не отдала, а мама очень хотела.

— Арифметика и география, — говорила мама, — одинаковы при любой власти.

— Не надо ребенка перекручивать. Она живая. Эти немецкие школы кончатся через полгода, ну, через год. А что-то не то в голову ей бросят.

Я плакала. Я хотела во второй класс. Бабушка не сдалась и сама проходила со мной учебники. Я соображала плохо. Не давалось, к примеру, склонение.

— Что тут трудного? — кричала бабушка. — Ты же говоришь абсолютно по правилам.

Тогда-то я и усвоила: правило в нас сидит изначально, независимо от книг. Просто трудно знаемое обозначить специальными словами. Они бывают очень противными. Творительный, предложный, дательный — такая гадость!

Потом радостно вернулась советская власть, и нас на другой же день выгнали с квартиры. Слезам моим не было предела. Я уже несколько лет с косточки растила в нашем дворе «абрикосу». Деревце было мне уже по колено, и я любила его с какой-то материнской силой, дрожала за него.

Власть райкома вернулась в усиленном составе, так как бывшие оккупированные территории считались местом трудным для партийной работы. И ей, работе, нужны были квартиры. Наши опрятные домики — пять штук — были очень кстати. Нас выперли из нашего кооперативного дома, за который дедушка давно выплатил все, в двадцать четыре часа. Дедушка, бабушка, мама с новым мужем и маленьким братиком и я были выселены в одну комнату квартиры на выселках. Две другие комнаты занимали красивые, статные люди, присланные на восстановление шахт из Винницы. Вот когда я поняла красоту истинной мовы, гортанной, певучей, с сочными согласными и распевными гласными.

Так мы все и жили, вырванные с корнями с насиженных мест. Нашей семье еще было хорошо. Двум семьям из других домов вообще ничего не дали. И люди жили в чужих сараях.

Бабушка разговаривала с винницей красавицей украинкой Марылей, трогала ее длинные, черные как смоль косы и причитала:

— Детонька моя!

И поила ее козьим молоком.

Коза же была уже обречена. У нас ведь не было двора, не было и выпаса. Беднягу привязывали к огромным столбам электролинии, травы там было чуть, и коза доживала свою обреченную старость. А мне было жалко абрикоску. Я хотела ее навестить, но боялась дороги. Надо было пройти балку, два железнодорожных переезда, стадион и так называемый парк с разбитым Дворцом культуры. Его развалили наши, как электростанцию и некоторые шахты, еще до прихода немцев, чтоб ничего не досталось врагу. Дворец взрывали долго, он не поддавался. В конце концов он рухнул, завалив все насаждения, что вокруг, то же было и с электростанцией. Эти места разрухи считались очень опасными.

Но однажды бабушка сказала: «Пойдем к Чумачке». Тетя Лена Чумачка приняла на постой после выселения наш «инструмент». И мы пошли через весь этот «стыд и срам». В крохотном саманном домике наш «инструмент» выглядел как слон в посудной лавке. Он был нелеп, смущен и обескуражен. Тетя Лена была портниха-надомница. Она умела делать клеш, и шестиклинку, и рукава-фонарики. Но главным ее делом были корсеты из парусины, она их прострачивала так, что не то что лишнего нельзя было съесть, лишнего было не вдохнуть.

Мы еще не вошли во двор, а она уже кричала:

— Приходили тут... Спрашивали, чем мы занимались при немцах!

— И что ты сказала?

— А то и сказала! Они ответили, что никаких фактов нет.

— Ну, гадюки! — ответила бабушка.

А дело было насколько простое, настолько и неразрешимое. С результатом этого дела я ездила поступать в университет и поступила. Это была полстраничная справка, что моя мама была членом партизанского отряда имени Щорса. Смешно сказать, но я хорошо знала этот отряд. Трое дядек, мой отчим, мама и эта самая тетя Лена. Я не сразу поняла, чем они занимаются, но когда они приходили к нам, то садились за стол, на который стелилась скатерть и ставилась водка. А из-под стопки постельного белья доставалась баночка шпрот и ставилась посередине. Я так и не знаю, съели ли их все-таки или нет. Баночку потом, после ухода людей, убирали, как и водку. Дедушка в это время ходил по улице, постукивая палочкой, и на голове его была белая фуражка.

А бабушка на крыльце подшивала бесконечный подол бесконечной юбки. Мое место было на качелях.

Мама моя была диверсантка. Она вбивала в шоссе, ведущее на фронт, как потом выяснилось, к Сталинграду, штыри (или как их еще называют?) и этим останавливала поток машин. Ходили они вместе с тетей Леной Чумачкой, у которой после войны жил наш «инструмент». Та стояла на шухере. Что делали другие щорсовцы, я понятия не имею. Но, говорят, были всякие листовки и подрывы немцев в уборных.

Так вот, поход «посмотреть инструмент» ознаменовался знанием того, что райком нового разлива отряд имени Щорса не признает, а факты диверсий приписывает себе. Будто бы коммунисты никуда не уезжали, а прятались в шахтах и били немцев наповал.

Бабушка сказала, что так это дело не оставит. Что ей глубоко было насрать как до того на немцев, так и теперь на райком. Но дочь рисковала жизнью за родину, хотя она ей объясняла, что эта родина не стоит ее смерти. Дочь не послушалась, ладно, пусть. Они с дедом пасли их, дураков, и дома прятали эти чертовы штыри. Они и сейчас лежат в погребке, где теперь поселили новых начальников. Одним словом, в конце войны отряд Щорса все-таки признали. И маме выдали справку. Хотя до этого она свое отсидела в ДОПрЕ за самозванство и непризнание боевых заслуг райкома. Ей там поломали пальцы и выбили зуб. Зуб она вставила, а

пальцы ее мучили до самой смерти, распухали, ныли и плохо держали.

Когда мама принесла все-таки справку, то стала рвать ее на части, а бабушка выхватила и склеила документ.

— Это не тебе нужно и не мне, — кричала она на маму, — а дытыне твоей! Ей ведь всю жизнь отмываться придется от оккупации! Соображать надо!

Слава богу, не всю жизнь. Но для университета справка была не лишней.

А потом мы хоронили Марылю, раздавленную сорвавшейся с террикона вагонеткой с породой. У нее абсолютно не пострадало лицо. И в гробу лежала красавица.

Бабушка плакала так, как я никогда не видела.

— Она тебе кто? — раздраженно спрашивала мама. — Ты плачешь, как по мне.

Бабушка не ответила, а вечером мы сидели с ней на лавочке, винницкие пели печальные отпевальные псалмы, а небо было таким низким, что, если бы не ЛЭП, нас бы накрыло окончательно и бесповоротно. Но почему-то, почему-то страшно не было, а было как-то даже прекрасно. Странное католическое пение, небо, застывшее в позе падения, и отважные гудящие столбы. Вселенский такой псалом за упокой и здравие в одном флаконе.

— Войны нет уже три года, а жизнь продолжает убивать, — сказала бабушка. — И пока он жив, так и будет. Ты запоминай. Марылю не вагонетка убила — Сталин. Смотри. Ленин, Гитлер, Сталин — и миллионов людей как и не было. Потом придут еще такие же. Пока будем терпеть, будем хоронить красавиц. Это же нам сигнал! Чтоб опомнились! Слышишь, как гудят столбы? Они гудят для тебя. Слушай и понимай. Ребята там поют и плачут. Столбы плачут, а небо обвисло, как проколотый шар.

Я слушаю и слышу. Но мне почему-то все равно хорошо. Сладко... Жизнь... Я никого не боюсь... У меня есть бабушка... Она меня защитит.

Она умерла через двадцать лет. Я не успела к ее последним словам. Говорят, накануне она попросила борща. «На тим свити такого нэ дадуть», — засмеялась она и почему-то

сказала, что рада, что «бачила, як одну сволочь таки выкынулы з Мавзолея. Осталась ще одна. Чекайте, люди, чекайте». Мама сердилась, жаловалась: что бы по-человечески попроситься, а то всю жизнь Сталин и Сталин. А он нам кто? Никто...

Прошла жизнь. И думается мне вот что. Бабушка в моей жизни была единственным истинно свободным человеком. По природе, по естеству, а не по данной ей по указу свободе вероисповедания и слова. Мы же — остальные — все указники. Нам дали, у нас отняли... Мы все время в промежути чужой воли. До сих пор ходим под красным, до сих пор хороним и хороним молодых. Мы тебя не услышали, бабушка. Значит, так нам и надо. Хотя жаль. Для чего-то же гудели провода и светлой памяти красавицы звучали прекрасные псалмы.

СЛУЧАЙ С КУЗЬМЕНКО

В Никитовку Верка Корониха приехала в пять утра. Только побросала из вагона вещи, как поезд тронулся. «Слава богу, успела!» — подумала Верка. Она еще раз пересчитала сброшенные вещи, подняла голову и увидела брезгливое лицо проводницы последнего вагона, медленно проплывающее мимо. Верка сразу люто возненавидела проводницу, так презрительно посмотревшую на ее вещи и на нее.

— Давай, давай, жми! — крикнула вдогонку поезду Верка. — Нечего разглядывать! Уборную лучше бы мыла!

Покричав, Верка сразу успокоилась. Никаких отрицательных эмоций она никогда не копила. И теперь, откричавшись, принялась за дело. Достала из сумочки булку, отломил кусок, из пакета достала жареную печенку, крупно откусила дважды, все снова спрятала и потом, в который уж раз, опять пересчитала вещи. Чемодан — раз, сумка — два, две авоськи — четыре, шуба (громадный сверток упакован еще в магазине) — пять, полиэтиленовая лошадь в целлофановом пакете — шесть, сумочка — семь.

— Как я это попру? — удивилась Верка. — Хоть караул кричи!

Она внимательно оглядела перрон, народу не было, и Верка в два приема перенесла все с платформы на лавочку. Отсюда до автобусной остановки было метров сто, но одной туда все не перетащить: автобусную с лавочки не видно, вещи же не оставишь. Поэтому, не задумываясь, Верка крикнула какому-то мужчине, который в эту минуту шел мимо:

— Молодой человек! А молодой человек!

Он остановился и стал поджидать бегущую к нему Верку, всю в льстивой, ласковой улыбке.

— Ой, — говорила она, — помогите! Самой никак не донести!

Молодому человеку было лет пятьдесят пять. «Еще не старик, — подумала Верка, — и уже не мужик». Наметанным глазом определила: непьющий. «С ними хуже сговариваться!» — мелькнуло у нее, и, улыбнувшись еще приветливей, она добавила:

— Мне ж только до автобусной, и я заплачу.

Немужик-нестарик смотрел скучно, Веркина улыбка его не волновала, он равнодушно глядел, как она выставила вперед широкое плоское колено и слегка постукивала крепкой крутой ногой в растоптанной босоножке. Веркины женские прелести его явно не трогали.

— Не, — сказал он. — У меня грыжа. Мне тяжелое нельзя.

— Да разве ж я о тяжелом? — возмутилась Верка. — Я ж вижу, вы с виду хлипенький, я вам и хотела предложить понести лошадь и шубу.

Верка метнулась к вещам, поставила перед ним полиэтиленового коня и протянула сверток с шубой.

— Не сомневайтесь насчет грыжи, — сказала она уверенно. — Не сомневайтесь. Я гнойная операционная сестра. Грыж я ваших навиделась во всех местах.

Мужик неуверенно взял за ручку пакет, за бумажные веревки сверток.

— Ну, ладно, — сказал он все так же скучно, — пошли.

— От спасибо! — обрадовалась Верка. — Только я сейчас авоськи свяжу.

Так они и шли. Впереди немужик-нестарик с конем, шубой и грыжей. Сзади тяжело, даже слегка приседая, Верка. В руках чемодан и сумка. Две связанные авоськи — через плечо.

— Ой! — сказала Верка, просто падая на лавочку возле автобусной остановки. — Ой! Чи живу я еще?

— Живешь, — сказал немужик-нестарик. — Вы, бабы, народ крепкий. Вон у тебя ноги какие, а ты посмотри на мою. — Он подтянул вверх штанину, показывая Верке худую, синевато-белую, без волос ногу. — Четвертая часть твоей.

Верка брезгливо сморщилась. И тут же вспомнила проводницу последнего вагона. Нет, Верка не хотела быть на нее похожей, и хоть мужик с голой ногой был ей уже не нужен и противен, Верка сочувственно покачала головой.

— Да, худой вы, худой. Грыжа мучает? — И полезла в сумку. Сверху лежала булочка, от которой она откусила дважды, и кусок печенки. Она сложила это себе на колени, снизу достала кошелек. — Натё, — сказала она и протянула полтинник.

Тот взял монету, кивнул и пошел дальше, а Верка, вздохнув, стала доедать булку и печенку. На этот раз она не торопилась. Автобус раньше чем через час прийти не мог. Она ела и думала, сколько на свете разных людей. Взять хотя бы ту же проводницу. Чего она скособочилась, глядя на Верку, чего? Какое у нее о себе такое мнение? А с людьми как разговаривает! Только что не матом! Туда она ехала, обратно — одно и то же: чаю не допросишься, сдачи не получишь, туалет только с одной стороны вагона открыт, а уж чтоб помыть там лишний раз — и не жди. Не нравится — не работай, а если работаешь, так хоть деньги оправдывай!

Потом этот немужик-нестарик. Это же надо! Что он нес? Да, считай, ничего! А стоял, ждал полтинника, ногой тряс. Противные мужики с грыжей, противные! Носятся они с ней, как с писаной торбой. Как еще этот не спустил штаны, не показал ей свое сокровище. Бывало и так. Скажешь где-нибудь, мол, сестра я, гнойная, операционная, так и знай, прителепает какой-нибудь и начнет гордиться. И уже

ни о чем с ним говорить нельзя, только одно: резать или не резать и много ли смертных случаев. И не верит, что никто ни разу не умер. Хотя Верка в такой момент всегда жалела об этом.

Или взять ту же Шурку. Живет в Москве. А что имеет? За очками морды не видно, а снимет их — вся согнется, скукожится. Утром кофе, вечером чай, а что в середине? Верка была у нее четыре дня, а кастрюли на плите не видела. И вообще кастрюли не видела. Верка представила себе кухонные полки в Шуркиной квартире, нет, не помнила она кастрюли. Думать о Шуркиной жизни было интересно, и Верка далее босоножки скинула, прилегла на лавку и, пока устраивалась поудобней, чуть не прозевала машину. А та, уже объехав автобусную, начала сворачивать на шоссе...

— Ой! Ой! Ой! — закричала Верка.

Кинулась босиком наперерез и вздохнула только тогда, когда грудью улеглась на горячо попыхивающий капот.

— Ой! Леонид Федорович! — В машине сидел почти ее сосед, забойщик центральной шахты Ленька Кузьменко, Леонид Федорович с тех пор, как его повесили на Доску почета.

Обхватив, сколько можно, передок машины, Верка с обожанием смотрела на важного от тесного воротничка Кузьменко.

— Вас прямо бог послал, — распевала она, — ну что б я тут делала без вас?

Кузьменко вылез из машины, посмотрел на распластанную на капоте Коронику, увидел на лавочке гору разных вещей и засмеялся.

— Неужели все твое?

— А то, — вздохнула, поднимаясь, она. — Еле доперла.

На этот раз Верка несла полиэтиленовую лошадь и шубу. Ноша казалась ей невесомой. Остальное нес Кузьменко. Верка с удовольствием смотрела на его широкие бostoновые плечи. «Есть же мужики, — думала она. — Что надо дядечка! Не такой, конечно, молодой. Это ж ему уже считай лет сорок пять, но ничего...»

Она засмеялась.

— Чего ты? — спросил Кузьменко, захлопывая багажник.

— Я про вас думала, — сказала Верка.

— Ну? — Кузьменко сел за руль, повернулся к усаживающейся сзади Верке. — И что придумала?

— Что вы интересный мужчина! — нахально глядя прямо в глаза Кузьменко, сказала Верка. — Вполне! И, между прочим, в вас одна женщина до сих пор влюблена.

Верка увидела, как покраснел и растерялся Кузьменко. У него шея набычилась, из воротничка вылезает, вся покраснела, а кадык вниз-вверх скачет.

— Мелешь, — хрипло сказал Кузьменко, выводя машину на шоссе. — Про любовь это ты моим хлопцам расскажи. Им понравится...

— Так я ж у Шурки была! — гордо выпалила Верка. — У Шурки Киреевой. Правда, у нее сейчас другая фамилия.

— Это из нашей школы, что ли? — Кузьменко постепенно успокаивался и сам себе удивлялся, как это он от слова «любовь» весь растерялся.

— Конечно! — игриво ответила Верка. — С вами учились. И очень вас любила. — Подумав и посмотрев на широкие ладони Кузьменко, лежавшие на баранке, доверительно добавила: — И сейчас любит.

Машина сделала два неплановых подскока на ровнюсеньком шоссе, а Верка зажмурилась от удовольствия.

Если, конечно, во всем разбираться до мелочей, то Шурка Киреева сказала ей, что была влюблена в Леньку Кузьменко в седьмом классе. Но сказать это — значило не сказать ничего. Любовь в седьмом классе — кому это интересно? Тем более что Верки самой тогда еще на свете не было. И она решила, что уточнять время — портить новость. Большие, сильные руки Кузьменко на баранке, твердые его скулы, красивые в черном угольном ободке синие глаза — все это вдохновило Верку на другую половину новости: любит Шурка Кузьменко до сих пор. «Не может не любить!» — с восторгом подумала Верка.

— Так Шура мне и сказала, когда мы с ней выпили, — ворковала она. — «Как я его любила, Верка, и до сих пор люблю!» — говорит, а сама чуть не плачет...

— Бреешь ты все, — с надеждой сказал Кузьменко. — Да я ее, считай, лет тридцать не видел. Ну, чуть меньше...

— Ну и что? — возмутилась Верка. — Ну и что? А она помнит. Думает про вас. — И тут, уж сама себе удивляясь, достала из сумочки блокнот, вырвала листок, вытащила из кармана Кузьменко шариковую ручку и старательно переписала из блокнота на листок адрес и номер телефона.

— Она просила вам дать, — восхищаясь собственной изобретательностью, сказала Верка, — он, говорит, в Москве, наверное, бывает, пусть зайдет. Должны же мы встретиться!

Верка сложила листок вчетверо и глубоко протолкнула его в нагрудный карман пиджака Кузьменко. И уж совсем с восторгом обнаружила, что в могучей груди забойщика сердце билось сильнее, чем надо.

— У вас не тахикардия? — ележно спросила она. — А то приходите, я вам электрокардиограмму устрою.

Но Кузьменко молчал. Замолчала и Верка. Она смотрела на дорогу и думала о том, что теперь будет. Уедет Кузьменко в Москву, останется его Тонька с пацанами. Так ей и надо. Созданная собственными руками чужая любовь казалась Верке столь прекрасной и столь разрушающей, что ничто не могло эту любовь остановить.

«Бедные! — жалела Кузьменко и Шурку Верка. — Столько лет ждали!»

...Сложив руки под фартуком, Антонина смотрела, как Кузьменко заводит машину во двор. Она видела, как он подвез к дому Коронику. Шалопутная Верка, видать, пол-Москвы домой свезла. Выгружали, выгружали... Надо будет сказать Леониду, чтоб в следующий раз не брал в машину кого зря. Не мальчик. Автобусы есть, такси. Пусть пользуются. Нечего возить задарма. Антонина не любила Верку. Во-первых, эти чертовы мини. Наденет платье — колени видать, а идет за водой с коромыслом, руки вверх поднимет, тут уж — хоть стой, хоть падай. Ни стыда ни совести, чурбак с глазами. А хлопцы тут же на улицу. Как Верка мимо дома, так они за калитку. «Ла-ла-ла, ла-ла-ла». А она ногой постукивает, грудь вперед, и о том, что дите у нее, а мужа нет, и

не помнит. Антонина ей говорила: «Вера, тебе короткое не идет, у тебя зад широкий и живот большой». А та хохочет. «Я, говорит, молодая, у меня полнота не от ожорства и неподвижности, а от здоровья и энергии. Попробуй, Тоня, меня ущипнуть. Я ж вся налитая! На мне ж не жир, а мышца...»

О чем тут говорить? Ей про Фому, а она про Ерему.

Леонид постучал носиком умывальника, вытер о тряпицу, что висела на заборе, руки, а Антонина все стояла. Что-то ей не нравилось сейчас в муже. Приехал вовремя, не задержался, значит, шалопутную посадил действительно по дороге, а лицо как с Доски почета — перепуганное и лупатое.

— Ты где Верку взял? — спросила Тоня.

— Ну где ж еще? На автобусной, — не своим голосом ответил Кузьменко.

И этот голос, хриплый и какой-то странно теплый, и глаза, какие бывают у него после курорта — синие-синие, отмытые-отмытые, — насторожили Антонину серьезно. Кузьменко пошел в дом, а она быстренько кинулась к машине, заглянула. Ничего подозрительного в машине не было. А что там могло быть? Антонина хлопнула дверцей и тоже пошла в дом. Кузьменко стоял в одних трусах и аккуратно, на плечики вешал костюм. Нет, ничего подозрительного и в голом Кузьменко не было.

— Так Верка из Москвы, что ли? — пробиралась в неизвестном направлении Антонина.

— Отстань ты со своей Веркой! — обозлился Кузьменко, и жена сразу успокоилась. Голос его был обычным, резковатым и суровым, и глаза стали привычные, запыленные, уставшие. — Довез бабу с барахлом. Чего привязалась?

— Спросить уж нельзя, — весело ответила Антонина. — Все такие нервные, все такие нежные. — И она, подхватив за плечики костюм, уже спокойно направилась к шифоньеру.

Но Кузьменко, видать, все-таки сегодня не с той ноги встал — он выхватил у жены костюм и сам открыл дверцу шифоньера.

— Что я, маленький? Не повешу? Ты мне поешь лучше дай.

Антонина, пожав плечами, ушла, а Кузьменко вынул из нагрудного кармана сложенный вчетверо листок, достал из другого костюма партийный билет и спрятал листок между билетом и кожаной обложечкой. Когда он перекладывал листок, глаза у него были синие-синие...

...Кузьменко низко склонился над тарелкой. От жареной картошки поднимался жар, в жару тоненько попискивали желтые, медовые кусочки сала. Нет, невкусная была сегодня еда. Кузьменко разворошил картошку, вытащил из нее сало. «Где ты купила такое поганое?» — и, зажав вилку, как трезубец, замер. Ну, чего наговорила эта шалопутная Верка? Ясно, выдумала! Что, Шурка Киреева ненормальная, чтоб столько лет его не видеть и любить? Да и вообще, кто в их возрасте об этом говорит? Верка — трепло, ей что сбрехать, что в обнимку станцевать... Сбрехать еще лучше. Но тут же Кузьменко вспомнил сложенный вчетверо листочек из блокнота. Телефон-то и адрес настоящие, и какая б ни была Корониха болтушка, не стала бы она вот так, ни с того ни с сего, записывать его Кузьменко. Значит, разговор был. Был, был, был... Не могла же Верка, если они с Шуркой говорили про то, к примеру, сколько стоит шуба, придумать разговор про любовь... Значит, про нее... про любовь... и шел разговор... Ну, может, что-то там Верка и сбрехнула, но, уж конечно, не это: «Он, наверно, бывает в Москве, пусть зайдет. Должны же мы встретиться». Придумать такое нельзя, твердо решил Кузьменко, тем более что адрес-то дан!

Что-то горячее заколобродило в его душе, захотелось встать и хрустнуть всеми косточками, и Кузьменко встал, широко развернул плечи, свел лопатки, втянул живот и тут же отпустил, потому что резинка в трусах, перестав чувствовать привычную опору, перепуганно прыгнула вниз, увлекаемая широкими сатиновыми штанинами. «Стоп!» — сказал Кузьменко и поймал ее на подороге.

А Антонина стояла на крыльце и наблюдала за мужем. Она решила, что, как только он уйдет отдыхать перед вто-

рой сменой, она мотнется к Верке, будто посмотреть, что та привезла, а на самом деле выяснить, что произошло у них в машине. Ведь Кузьменко, во-первых, сам на себя не похож, во-вторых, не ест и ругает сало, а сало свежее и прекрасное, а в-третьих, как маленький, играет мускулами — и где? За столом! Над несъеденной картошкой.

А Кузьменко пошел в сад. Там на раскладушке под сливой он обычно отдыхал. Но сейчас, вместо того чтобы лечь на бок и укрыться с головой полосатой простыней, он вытянулся на спине, закинул под голову руки и уставился на сливу.

Антонина сняла фартук, посмотрела на лежащего в непривычной позе мужа, мазнула перед зеркальцем два раза губы и пошла в сторону Веркиного дома.

...Кузьменко вспоминал. Вспоминал свой седьмой класс. Был это пятидесятый год. Ему было уже семнадцать, из-за войны он припозднился в школе. Вспоминал класс, перегороденный печкой. Место за печкой было лучшим — и самое теплое, и от учителя далеко. Вот они, переростки, там и проживали. А из-за печки была видна ему парта, на которой сидела Тонька. Красивая она была девчонка. Волосы вьющиеся, румянец во всю щеку, она все поворачивалась и смотрела за печку. А он ей подмигивал. Он это тогда классически делал. Чуб на глазах висит, как занавеска. Он им слегка, небрежно тряхнет, и в тот момент, пока чуб где-то колышется, а глаза свет видят, он вытворял этими глазами черт знает что: прищуривал, широко раскрывал, слегка прикрывал ресницами левый глаз, а правым смотрел лукаво и преданно. Да мало ли что можно было успеть сделать за печкой, когда смотрит на тебя Тонька и чуть-чуть, но со значением шевелит тонкими своими розовыми ноздрями.

Кузьменко спохватился. Это ж надо! После того что он сегодня узнал, вспоминать, как он подмигивал Тоньке! Ну совсем его баба замордовала. Он со злостью, но и с некоторым уважением подумал о жене, которая, он видел, чувствовал, заметила что-то и сейчас наверняка намажет губы и тронется к Верке. «Интересно, — думал Кузьменко, —

скажет ей Верка про это?» И тут же успокоился: не скажет. И снова что-то горячее заколыхалось в нем, он зажмурил глаза и вернулся в пятидесятый, за печку. Только теперь через чуб-занавесочку он смотрел не на тонкие ноздри Тоньки, а, сдвинувшись к краю и наклонив голову, отыскал черноволосый затылок Шурки Киреевой. Вот она поворачивает голову — худое, скуластенькое личико с громадными, как сливы, глазами. Смотрит внимательно, строго, как дурачится на уроке Кузьменко. А что ему до этих строгих взглядов? Он последний год в школе, пусть мелкота учится дальше. Шурка — мелкота. Ей, как и полагается, всего четырнадцать лет... Она еще дите на тонких ножках. Подчиняясь могучей, брызжущей силе того, семнадцатилетнего шалопая, Кузьменко опять видел в мелких кудельках ухо Тоньки, ее коротенький нос и всю ее... Куда было девчонкам тягаться с Тонькою! Пустой это номер.

Но Кузьменко не хотелось думать о Тоньке. Он про нее все знал, знал, где у нее что болит и как она дышит, знал ее запах, знал ее на ощупь, он знал, о чем она думает, когда молчит, и что хочет скрыть, когда языком болтает. И эта известная вдоль и поперек женщина никогда не говорила ему, что его любит. Если быть честным, то и он, Кузьменко, ничего ей такого не говорил. О любви им рассказывал телевизор — самый большой, какой только может быть. Антонина все бросала, а смотрела такие передачи, да и Кузьменко с интересом просмотрел двадцать шесть серий «Саги о Форсайтах». Смешно сказать, но, пока шла эта «сага», он работал только в первую смену. Он, Кузьменко, уже мог себе это позволить и договориться с кем надо. Но в жизни слова «любить» он не употреблял. Во всяком случае, последние тридцать лет. Что зря воздух колыхать? Они живут хорошо, у них дети. То, что у него с женой, — семейная жизнь, со всеми неприятностями, с болезнями детей, старением. Конечно, у всех то же самое, с той разницей, что, кроме жен, некоторые знакомые Кузьменко время от времени встречались с другими женщинами. Но любовью это тоже никто не называл. Были для этого другие слова, другие понятия. Вот сегодня, когда бросилась наперерез его машине Верка, что-

то игривое шевельнулось в груди Кузьменко. Корониха — женщина аппетитная, он давно это заметил. Он с удовольствием смотрит, как она несет воду на коромысле. Аж земля под ней гнется! Но это разве любовь!

Нет, нет! Если не брешет Верка, так, может, Шурка Киреева одна на свете и любит его в правильном смысле этого слова. Кузьменко опустил руки с раскладушки прямо на землю, трогал ее, уже нагретую солнцем, шурился на небо сквозь сливовые ветки. Ах, как же оно так случилось, что не разглядел он в школе настоящей любви? Кузьменко было очень жалко себя.

...А теперь скажите, что бога нет! Вечером, когда Кузьменко мылся после смены в душе, начальник участка сказал ему, что он, Кузьменко, вместе с делегацией донецких шахтеров поедет в Москву сниматься в передаче «Голубой огонек». Кузьменко чуть не захлебнулся. Вот это да! В самом конце работы он уже начал освобождаться от новости, привезенной Веркой. Вгрызался в угольный пласт и вроде отходил от наваждения. Липкий пот смывал разные воспоминания о пятидесятом годе, даже пленительная Тонька померкла, будто, занавесив глаза чубом, Кузьменко так никогда им и не встряхивал. Какая там, к черту, любовь, когда, перламутрово поблескивая, отваливается угольная глыба — р-р-раз, р-р-раз! Вкалывай, Кузьменко, вкалывай, не отвлекайся на постороннее!

А тут стоит под душем — и на тебе. Новость. Ехать в Москву! И не через месяц или год. Послезавтра. Командировка на пять дней. А потом вернется, будет пить горилку с перцем и смотреть по телевизору самого себя. «У нас сегодня в гостях знатный шахтер товарищ Кузьменко...» Сегодня... Вот, значит, как это делается. Дурят людей. Все, значит, на пленке. А если вдруг, к примеру, его машина собьет и он в праздник будет лежать в беленькой рубашечке, хорошенький такой, на раздвинутом столе? «Дорогие друзья! У нас сегодня в гостях знатный покойничек...»

Дурные мысли. Лезет всякая чепуха, а Кузьменко так и стоит под душем, подставил под струю бычий затылок и

замер. Дурные мысли прячут главную, и от нее-то и замер Кузьменко: он едет в Москву, это судьба, а в партбилете у него лежит телефон и адрес. «Должны же мы с ним встретиться!»

Антонина обрадовалась, порозовела и сразу стала прикидывать, что нужно в Москве купить.

— Видала я Веркину шубу. Мне ее и даром не надо. Через химию разве организм дышит? Я в капроне час похожу, и уже все ноги истомятся, так еще и шубу? Господь милывал! А вот кофточку она купила хорошую. Вот такую ты мне тоже купи. Я узнаю, где она брала. А хлопцам возьми свитера, но только тоже натуральные. Себе плащ посмотри. Пятьдесят четвертый, третий рост. А может, пятьдесят шестой? Лучше пятьдесят шестой. А то под мышками будет жать. И стиральный порошок «Дарья»...

Тут Кузьменко замахал руками — этого еще не хватало, чтоб он с порошком возился. Вообще разговор с женой привел его в смятение. Значит, имеется в виду, что в его жизни все так и будет продолжаться, если ждут его из Москвы с кофтами, порошками, разным барахлом? У него же адрес! Телефон! Его же женщина одна столько лет любит и ждет!

— Ты помнишь, — вдруг сказала Антонина, — Шурку Кирееву? Верка у нее останавливалась. Ну, из нашего класса! Черная такая, худая?

Кузьменко задохнулся. Ну и Верка! Ну и зараза! А Антонина ставит в буфет чашки и спокойно продолжает:

— У нее второй муж. И она с ним сюда ни разу не приезжала. Говорят, он ее моложе. Мать ее, конечно, не скажет. Она думает, раз дочь в Москве, так, значит, у нее все! А лучше быть в деревне первым, чем в Москве последним...

Что там она лопочет? Кузьменко растерянно слушал Антонину. Ему хотелось подойти и сказать ей, что Шурка Киреева любит его, Леньку Кузьменко, почти тридцать лет! А кто у нее муж, какое это имеет значение?

Но Антонина ничего сегодня не понимала. Она присела на край табуретки и, смеясь, сказала:

— Я как посмотрю, так только мы с тобой, Леня, считай, и живем смолоду. Все поразводились. — И застенчиво добавила: — А наша любовь оказалась самой прочной.

Кузьменко так и ахнул. Надо же! Его сегодня любовью этой прямо завалили. И Антонина столько лет выбирала день, чтоб это слово сказать. Выбрала, сказала...

— У нас просто семья прочная, — сурово поправил ее Кузьменко.

— Разве это не одно и то же? — так же застенчиво переспросила Антонина.

— Столько фильмов посмотрела по телику, а ничего не поняла про любовь.

— Чего ж понимать? — Антонина обиделась и встала. — Поняла лучше тебя!

А Кузьменко только покачал головой. Нет, не хотелось ему от признания жены потереть лопатку о лопатку, не хотелось лежать навзничь и разглядывать сквозь сливовые ветки небо, и не было в душе чего-то горячего...

Имелось у Кузьменко одно дело, которое он должен был выполнить до отъезда. По четвергам у него был прием, как у депутата райсовета. Каждый раз, занимая крохотную комнату, которую выделил ему шахтком, он смотрел в окно на шахтный двор — пропыленный, грязный, шумный — и тосковал. Ему хотелось туда. Всем своим существом ощущал Кузьменко, что не годится он для кабинетов, даже если это не кабинет, а клетушка два на три. Казалось ему, что и люди, пришедшие к нему, тоже должны чувствовать, что он тут чужой. Но они, черти, дай бог им здоровья, ни одного четверга не пропускали, а шли и шли, шли и шли.

Кузьменко считался на шахте хорошим депутатом, но сам был с этим резко не согласен. Какой там хороший? Гнать его надо, гнать! Во-первых, потому что с вентиляцией у них, сколько они ни бьются, плохо. Во-вторых, профилакторий. Повар там готовить не умеет, у него вся еда похожа на жаренный на мыле кисель. Проверяли — не вор. Просто не может. Вкуса нет. Уверяет, что кончил какие-то там курсы на «отлично», приготовленную им бурду сам ест, аж за ушами трещит, и спрашивает, сверкая глазами: «И это, по-

вашему, плохо?» Кузьменко сто раз эту картину наблюдал, и ему из-за повара хочется иногда спалить профилакторий.

Был четверг, это сущее наказание. Кузьменко сел на хромой полумягкий стул — одна ножка на сантиметр короче, — и они, дорогие его избиратели, навалились... «Леонид Федорович, а какая ж моя теперь очередь на квартиру, если Танька Воронова была после меня шестая, а уже въехала и окна моет?», «Что ж ты, Леня, сукин сын, идешь против народа и не хочешь провести на нашу улицу воду? Ты думаешь, если я пенсионер, так я тебе не устрою?», «Товарищ Кузьменко, я у вас молодой специалист и скажу вам прямо — так не пойдет... Или вы мне без промедления даете квартиру, или пишите черным по белому, что вы не согласны с решением правительства». Леонид Федорович, Леня — сукин сын, товарищ Кузьменко корябал жалобы в фирменный блокнот и думал, что приедет из Москвы и устроит им всем такое, что не обрадуются. Председателю шахткома за Таньку Воронову — дело тут нечистое, если она уже окна моет; инженеру горисполкома за эту проклятую воду — сколько ж можно ему темечко долбить! А специалисту надо будет дать деньги на обратную дорогу, жалко для такого сморчка квартиры, хотя это и против хороших постановлений.

Он весь искрутился на своем качающемся стуле, когда просочилась к нему их ламповая Дуся Петриченко. Была Дуся черна, худа, с припудренным синяком, но глаза ее сверкали необыкновенным чувством: Дуся пришла, как она заявила, бороться за любовь, так как муж ее, крепильщик шахты, вот уже целую неделю жил у своих родителей и грозился не вернуться к ней никогда. И тут, слушая Дусю, вспомнил Кузьменко, что за история приключилась с ним самим, вспомнил и обмер, что самое прекрасное вот уже, считай, два часа не вспоминал, а значит, два часа из его жизни, извините-простите, вон! Никогда и не поймет Дуся Петриченко, почему это целый час не своим голосом говорил с ней Леонид Федорович, говорил о любви, которая все может, ведь сильнее ее ничего нет, и что она, любовь, — магнит, а значит, вытянет из родительского дома крепиль-

щика, и он явится, как голубь на зов голубки... От этого голубя у подбитой Дуськи так замерло сердце, что она решила: нечего ждать, когда прилетит, надо самой идти и забирать мужика силой. Так она благодарила Кузьменко за свое собственное решение, так благодарила, что вышел он такой весь взволнованный изнутри, что снова ничего не смог дома есть, а Антонина по четвергам всегда ему хорошо готовила и домашней наливки давала, чтоб спал крепче: у депутатов трудная работа.

Ничего не поев и не выпив, Леонид Федорович включил телевизор, постоял рядом и выключил. Потом взял книжку — читал он медленно, со вкусом, вникая во все детали — мемуары Жукова! — а тут понял: не идут в голову мемуары, хоть ты тресни. И спать не хотелось. Полистал картинки «Советского экрана», любимого журнала Антонины, и отложил в сторону. Все мимо. А чего-то хотелось... И тогда он открыл книжный шкаф и полез рукой в глубину, ощупывая второй ряд книжек, подозревая, что ему что-то тут надо найти, и не зная еще точно, что именно. Он вытащил маленькую книжечку, которую купил лет пятнадцать назад в санатории «Шахтер». Он ее тогда начал читать и бросил, показалось скучно, а тут еще ребята говорили про этого писателя: «Буза». Но вот сейчас случилась чепуха собачья, он полез в глубину шкафа и вытащил эту бузу, которую сто лет никто не доставал, и вот держит в руках копеечную книжку, купленную в газетном киоске: И. С. Тургенев «Первая любовь». А дальше Кузьменко устроил детектив. Он вложил Тургенева в Жукова и спокойно улегся в постель, включив над головой светильник из хрусталя, купленный в то нормальное время, когда люди не походили еще с ума и не видели в этих стекляшках ничего больше стекляшек. Он лег и почувствовал, что Антонина успокоилась. «Ну и бабы! — беззлобно, даже с нежностью подумал Кузьменко. — Им лишь бы нас в угол загнать!» Вспомнил горячечные глаза Дуси Петриченко и вдруг застыдился того своего разговора — что это он плел про любовь, магнит, голубя? Он не знал, что Дуся с сегодняшнего дня считает его самым умным

человеком, что слава о его мудрости уже перекинулась через невысокий Дуськин забор, и кто-то там, поливая огород, уже сказал: Кузьменко — мужик что надо, пора его избирать повыше. Осторожненько раскрыв Жукова, мудрый мужик Кузьменко приготовился читать Тургенева.

Он нашел эти слова и умер. Потому что как еще определить состояние, когда останавливается сердце и уже не дышишь, и нет в тебе никакого веса, потому что подняло тебя вверх, выше, выше, и ты уже там, где можно подойти к Ивану Сергеевичу и спросить: «Слушай, и у тебя самого было так же?» И Иван Сергеевич говорит ему в ответ: «А ты думал, я это так — сочинил? Знаешь, как меня перевернуло...» — «Ой, как я тебя понимаю!» — пожалел Тургенева Кузьменко. И, давясь от какого-то необъяснимого восторга, снова прочитал:

«Помнится, в то время образ женщины, призрак женской любви почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме; но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского...

Это предчувствие, это ожидание проникло весь мой состав; я дышал им, оно катилось по моим жилам в каждой капле крови... ему было суждено скоро сбыться».

Может, так с другими не бывает, а с Кузьменко было: этот отрывок выучился у него наизусть. С ходу.

В телестудии было жарко. Знатных шахтеров рассаживали там и сям, вкрапляя между ними народных артистов и симпатичных девушек. Было суетливо, бестолково, и запаренный Кузьменко уже ничего воспринимать и ничему удивляться не мог. В первую минуту он прямо растерялся, когда к нему подошла в широком, длинном, почти до колен, вязаном свитере женщина и он не узнал в ней знаменитую дикторшу. «Как же это я так!» — казнил себя Кузьменко, стесняясь особенно разглядывать и очень желая убедиться, что не он, Кузьменко, такой невероятный лопух, а дикторша уж больно сама на себя не похожа. Двухцветные редкие во-

лосы прижаты к ушам черными заколками, на носу очки, большие, розовые, и рот бледный, усталый и страдальческий, как у ламповой их шахты Дуси Петриченко, которая позавчера была у него на приеме. Кузьменко было жалко дикторшу, ему казалось, что у нее от очков болит переносица и оттого она так печально кривится. Когда наконец все это кончилось и им объяснили, когда и куда прийти завтра, старый знакомый Кузьменко по разным слетам проходчик из Кузбасса Иван Гаврилов сказал:

— Это дело надо размочить. Если я сейчас, Леня, не выпью, я помру. Ну и чертова работа. А завтра они прожектора включают, и наши с тобой красные морды будут синие, как у покойников. Я тут уже был. Знаю. А ты первый раз?

Кузьменко кивнул.

— И как?

— Да что-то я еще не понял. Дикторша сама на себя не похожа.

— А! Они все на репетициях такие. Вот снимать начнут — ахнешь. Аж светиться вся будет. Тут у них все имеет и лицо, и изнанку. Мы с тобой сегодня изнанку видели.

В буфете был только теплый болгарский рислинг. Взяли две бутылки.

— Надо бы нам с тобой пойти в ресторан, — проворчал Гаврилов, изучая этикетку. — Это же уксус!

— Не скажи! — не согласился Кузьменко. — От жажды лучше нет. А я просто сгорел.

И они громко стукнули стаканами.

Потом сидели, отдыхая, смотрели в стену-окно, и Кузьменко взял и рассказал Гаврилову про Шурку Кирееву, про то, что она его тридцать лет любит, а он не знал, дурак, до сих пор. Но сейчас у него адрес. И телефон. Можно позвонить, должны же они встретиться?..

Гаврилов только хотел ответить, и Кузьменко ждал его ответа, чтобы поговорить на эту самую главную для него тему, но к ним подошел парень в джинсовой куртке с бутылкой кефира.

— Третьим буду, — засмеялся он, потряхивая бутылкой так, будто не кефир хотел из нее вытряхнуть — душу.

Гаврилов обиделся:

— Ну, молодежь! У нас, можно сказать, только душевный разговор начинается.

Кузьменко замахал на него руками, но Гаврилов стал объяснять им обоим, что эту вот манеру — врываться — он на дух не выносит. Парень слушал, глотая кефир, а потом сказал:

— Буфет — место общее. Но я не тигр... Я уйду. Сглотну и уйду.

Кузьменко поднялся и отошел к стеклянной стене.

— Ноги затекли, — бросил он Гаврилову.

Он чувствовал, как рождается в нем какая-то мягкая, бесформенная жалость ко всему на свете, и к этому парню, который не тигр, тоже. Так было всегда: стоит ему чуть выпить — и все. Он даже Антонину в такие минуты называет на «вы», проникаясь великой нежностью к тому, как она говорит, как ходит, как ругается. Нежность эта всегда пополам с робостью, и нет на свете человека более смиренного, покладистого и доверчивого, чем выпивший Кузьменко.

Глядя сверху на Москву, он подумал: «Зачем я здесь? И как же я буду завтра лопотать что-то там на репетиции?» Вспомнил дикторшу с черными заколками на двухцветных волосах. Захотелось домой. Да кому он здесь нужен? Шуре Киреевой? Верка небось сама и адрес, и телефон придумала. Ей мужика на смех выставить — дело самое простое. Вспомнил, как она сидела в машине, а потом, прижавшись горячим боком, запихивала ему в карманчик адрес. Она ж смеялась в этот момент! Он же помнит! «Не устроить ли вам кардиограмму, Леонид Федорович?» Спрашивала же! Как он не обратил внимания на это? Как поддался?

— Ну, ты чего размечтался? — Гаврилов подошел к нему. — Что смотришь?

— Так, — ответил Кузьменко. — Высоко...

Говорить о Шурке Киреевой уже не хотелось, а умница Гаврилов и не настаивал.

Когда они вышли на улицу и из-за угла вынырнуло такси, они не раздумывали. Гаврилов сразу заговорил с шофером о московских правилах движения, а Кузьменко, выста-

вив голову в открытое окно, жадно ловил горячий воздух. От колес отскакивали песчинки, покалывали лицо, но Кузьменко свел в щелочку глаза, и только. Бьющие наотмашь песчинки ему даже нравились.

На проспекте Мира, на углу возле магазина, стояла очередь.

— «Дарью» дают, — лениво сказал шофер, остановившись у светофора. — От нее белье хорошо пахнет.

— Я сойду, — сказал вдруг Кузьменко. — Постою в очереди. Меня жена просила.

— Да ты что? — сказал Гаврилов. — Такую ерунду из Москвы повезешь?

Но Кузьменко уже не было в машине. Помахал Гаврилову рукой, пристроился в конце очереди. Женщины посмотрели на него с уважением — он был тут единственным мужчиной. И снова мягкая, бесформенная нежность захлестнула Кузьменко. Он робко, виновато отодвинулся, боясь ненароком задеть прекрасных, удивительных женщин, стоящих в очереди за «Дарьей».

...Когда на следующий день они с Гавриловым вышли с телестудии, Кузьменко снова шатало от усталости.

— Чтоб я еще раз на это пошел, — тихо ругался он, — да лучше в шахте три смены!

Гаврилов, как человек более опытный, посмеивался.

— Ничего, ничего. Увидишь себя на экране, какой ты умный и красивый, — побежишь еще раз сниматься!

— Я? — возмутился Кузьменко. — Ни за что!

— Так как сегодня? — поинтересовался Гаврилов. — Куда бросим кости? Есть предложение податься в «Арагви». Тут есть парень из Тквибули. Обещал сделать все на высшем уровне. У него кто-то там из родни работает.

Но Кузьменко замотал головой. Сегодня утром он проснулся с твердой уверенностью позвонить Шуре Киреевой. Как только он выспался, адрес и телефон в партбилете вновь обрели свою прежнюю силу. И эта сила требовала от него решительных действий. «...Таилось полусознанное, стыдли-

вое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского...»

— У меня сегодня другие планы, — сказал Кузьменко.

Ему хотелось, чтоб Гаврилов вспомнил их вчерашний разговор, тогда бы он ему все объяснил, может, даже посоветовался бы, но Гаврилов не вспомнил. Он хлопнул Кузьменко по плечу и заторопился:

— Тогда я помчался. Если надумаешь, мы в «Арагви», где-нибудь в незаметном углу. В случае чего — спроси, где тут сидит гость из Тквибули. Там он сегодня первый человек.

— Ладно, — сказал Кузьменко и почти решительно направился к телефону-автомату.

Александра Васильевна Боровая редактировала срочную статью. Номер давно уже был в работе, но вот пришла эта статья, решили ставить ее на открытие, что-то там сняли, упростили типографию пойти навстречу, а Боровой дали день на редактуру. Александра Васильевна правила статью, варила компот и красила волосы одновременно. Сейчас она сидела в резиновой шапочке, выдерживая на волосах хну. Телефонный звонок раздался как раз в тот момент, когда пришла пора снимать шапочку. Отогнув ее на правом ухе, Александра Васильевна взяла трубку.

— Да! — крикнула она, чувствуя по шуму и треску, что говорят из автомата. — Я вас слушаю.

Кто-то тяжело откашливался прямо в трубку, а потом Александра Васильевна услышала хриплый, незнакомый голос:

— Позовите, пожалуйста, Шуру Кирееву.

— Вы ошиблись номером! — закричала Александра Васильевна громко, положила трубку и тут же сообразила, что Шура Киреева — это она.

«Господи! — удивилась Александра Васильевна. — Кто это мне звонил? Сколько же лет меня никто так не называл? Как уехала из дома... В институте сразу пошло — Саша, Саша. Казалось, так интеллигентней, красивей. И фамилию сменила сразу, потому что вышла замуж на первом курсе.

Кто же это, кто?» Она не отходила от телефона, надеясь, что позвонят еще раз, и действительно, снова раздался звонок, и снова кто-то откашлялся в трубку:

— Позовите, пожалуйста, Шуру Кирееву.

— Я слушаю, слушаю вас! — закричала Александра Васильевна. — Кто это звонит?

— Это Ленька Кузьменко, — раздалось в трубке. — Здравствуй, Шура!

Ой, господи, Ленька! Это ж надо! Она была влюблена в него в седьмом классе, а потом он ушел из школы и сразу женился на Тоне... Тоне... Ай-яй-яй, как же ее фамилия?

— Леня? Где вы? — кричала Александра Васильевна. — Откуда вы звоните? Говорите громче, я вас плохо слышу! Возле башни? Да это же рядом! Видите остановку трамвая? Видите? Идите к ней и стойте, через пятнадцать минут, нет, через двадцать я приду за вами. Слышите меня? На трамвайной остановке. Там рядом булочная! Ждите, не уходите! Я иду за вами!

Кузьменко стоял на трамвайной остановке. Оттого, что люди здесь все время менялись — кто приезжал, кто уезжал, — он чувствовал себя неуютно и растерянно. Вроде все вокруг заняты делом, а ты один нелепый. Кузьменко вспомнил, что однажды он наблюдал, как вышел из мебельного магазина человек, держа на голове стол. Вышел и стал крутиться на месте — то ли не мог сообразить, в какую сторону идти, то ли высматривал помощь. Вот он и вертелся со столом на голове, а черные полированные ножки пронизывали небо. Кузьменко казалось, что это он со столом на голове стоит на трамвайной остановке. Так же что-то давило сверху, и дрожал вокруг ног темный овал, и далеко-далеко падала какая-то тень. Он оглянулся и увидел, что это мороженщица шире растянула тент. Все, оказывается, было просто и объяснимо, только вот на голову давило по-прежнему.

Сейчас с какой-то стороны должна была прийти Шурка Киреева, девочка с тонкой шеей и глазами-сливами. И он смотрел вокруг, готовый ко всякой неожиданности. Он ведь

понимал, что Шурка должна была измениться за столько лет. Но как? Вот как изменился он сам? К своей внешности Кузьменко относился спокойно, он себе нравился. И считал, что сейчас как мужчина он выигрывает по сравнению с собой же, но очень молодым. «У баб это иначе», — подумал он. Антонина? Но тут он не знал, что сказать. Еще на себя он мог посмотреть со стороны, но на жену... Ну, пополнела — так двоих же родила. Ростом вроде стала выше? Но так же не бывает. А! Это прическа. Молодая была — волосы вниз. Сейчас — все вверх. Вверх, вверх, а сзади холочка будь здоров, а у молодой была шея сильная, гибкая. И тут прилип к Кузьменко затылок жены с поднятыми вверх волосами. Сидит, шьет, в печке возится, стирает. И не то что почувствовал Кузьменко какие-то угрызения совести, нет, вдруг пришло раздражение на жену. Он вспомнил, что в номере гостиницы на подставке для обуви лежат десять пачек «Дарьи». Стыдно-то как! Вот, скажут, мужик вахлатый, за чем в Москву приехал. Чертовы бабы, ну втравят, ну втравят...

— Леня? — раздалось рядом, и Кузьменко так и повернулся с рассерженным, обиженным лицом.

Рядом стояла худенькая женщина. Мокрые прямые волосы падали на белую без рукавов кофточку. А кофточка пряталась в черные брюки, а из брюк торчали узкие худые ступни, к которым тремя ремешками были привязаны босоножки. Кузьменко увидел все сразу: мокрые волосы, уже просохшие на темени, и сшитый суровыми нитками ремешок на босоножке, и красную, как смородина, пуговичку на кофте у самого горла.

— Леня? — спрашивала женщина. — Ну, конечно, ты! Ты сейчас нахмурился, совсем как в школе. Здорово, милый! — И, встав на цыпочки, поцеловала Кузьменко в щеку.

Все рухнуло у него перед глазами. Стол на голове раскололся на множество кусков, и они завалили, придавили напроць Леонида Федоровича.

— Пошли, — сказала женщина. И, взяв его под руку, повела.

Кузьменко идти было неудобно, потому что женщина была мала, и худа, и шаги у нее были мелкие, слабые. Он ни

разу еще не посмотрел ей в лицо и теперь, косясь в левую сторону, видел тонкий острый нос и яркие накрашенные губы. Инстинктивно Кузьменко потер щеку, и она засмеялась.

— Все в порядке, Ленечка! Я легонько.

Кузьменко растерялся, удивляясь, как это она догадалась, ведь щеку он потер незаметно. А она достала из кармана брюк громадные очки с круглыми фиолетовыми стеклами, надела их, и Кузьменко совсем растерялся. Он же не знал, никогда не видел эту худенькую, похожую на стрекозу, женщину! Куда она его ведет? Зачем?

— Ну что же ты молчишь? — смеялась она. — Ты стал такой большой, важный. Хочешь, я напишу о тебе очерк? Как Тоня? У тебя двое сыновей? Уже совсем взрослые?

Она смотрела на него фиолетовыми стеклами, говорила смешно, по-московски, а волосы на солнце уже совсем высохли и отливали медью.

— Ты в командировке? В отпуске? — спрашивала она.

И Кузьменко с трудом, мучительно разыскивая куда-то исчезнувшие слова, объяснил.

— Ну, какой ты молодец! — восхищалась женщина. — Значит, будешь на «Огоньке». Ленечка, я горжусь знакомством с тобой. — И она слегка прижалась к его руке.

И тут Кузьменко ее пожалел. Пожалел странно, как пожалел Дусю Петриченко. Шура потому и надела очки, что между ней и Дусей много общего. Шура прячет Дуськины глаза, глаза, в которых — все! Он это знает, он три дня назад такие глаза видел. И цепкая эта рука, что держится за него, такая же, как будет у Дуси, когда она поведет своего крепыльщика домой. Как все точно, как точно!

— Вот и мой дом! — весело сказала Шура. — Видишь, ты был совсем рядом.

Как прямо она все говорит: «Ты был рядом...», «В каждой капле крови...»

...Дом оказался знакомым — девятиэтажный, блочный. У них тоже построили один такой. Предлагали Кузьменко квартиру. Но Антонина такой подняла шум. Чтоб она со сво-

его двора да в скворечник! Да ты что, Леонид, сдурил совсем? А его очень в шахткоме уговаривали. Смешно ведь получилось, дом отгрохали по всем правилам, там тебе и кафель-мафель, и паркет в елочку, а из своих домов никто ехать не хочет. Даже жена секретаря райкома, говорят, мужу скандал устроила, когда он ей предложил второй этаж. В общем, заселили молодыми специалистами, у кого ни кола ни двора. Вот такой точно дом. Никакой разницы — везде теперь Москва.

В тесном голубоватом лифте Шура сняла очки. На Кузьменко смотрело смеющееся худенькое лицо с большими глазами.

— Какой ты молодец, что зашел! — снова сказала она.

А Кузьменко думал о другом. О том, зачем она сняла очки. Откуда-то из глубины старых, так никогда и не пригодившихся знаний выползла мысль: очки женщина снимает тогда, когда хочет, чтоб ее поцеловали. Кузьменко заметался в этом голубом шифоньере, а она смотрела на него и смеялась.

— У тебя клаустрофобия, — сказала она. — Я тоже с трудом привыкла к этим модернизированным лифтам. Но мы уже приехали.

Двери раздвинулись. Почему она решила, что у него клаустрофобия? Чепуха какая! Ведь он же шахтер. Разве он смог бы работать под землей?

— Я бы не смог работать под землей, — сказал он.

— Что? — спросила Шура удивленно. — Это ты к чему?

— Я не боюсь замкнутого пространства, — сказал Кузьменко.

— А! — засмеялась Шура. — Это я не сообразила.

«Она говорит об одном, а думает о другом, как и я», — рассуждал Кузьменко. Дверь квартиры закрылась за ним и как отрезала всю минувшую жизнь.

А в квартире, между прочим, пахло яблочным компотом. Кузьменко этот запах несколько успокоил, он потоптался в передней и, робко переступая по квадратам линолеума, прошел в комнату.

Здесь было очень красиво. Висели на стенах полки, а на них — пузатые кувшины и книги. На низком столике стояли цветы, на полу желтел ковер, от него было солнечно и весело. Кресло было низким и глубоким, и Кузьменко инстинктивно сел на стул, боясь себя в таком кресле. Дома у него кресла были большие, с высокими спинками и широкими твердыми ручками. В них было удобно сидеть, они не затягивали в глубину, не превращали человека в голову с торчащими коленями.

— Садись в кресло, удобней! — сказала Шура.

— Нет, нет! — запротестовал Кузьменко. — Мне и так хорошо.

— Ну, как хочешь! — засмеялась она. — Ты посиди, а я приготавливаю кофе. Что за разговор без кофе?

Она ушла. Легкий ветер шевелил штору на двери балкона, и эта штора была куда живей самого Кузьменко. Где-то там звенела чашками бывшая девочка Шурка Киреева, на маленьком столике дужками вверх лежали фиолетовые очки. Он вспомнил, как она сняла их в лифте. Нет, он, конечно, чепуху подумал, это же очки от солнца, вот она и сняла их в лифте. Вернувшаяся способность рассуждать обрадовала Кузьменко, и он даже сумел повернуть голову. На той стене, что была за ним, висела фотография, на которой были сняты двое ребятшек. Они смеялись, у них были хорошие такие, худенькие мордочки. Под портретом обои были порваны, и тут Кузьменко заметил, что они во многих местах лопнули, что кресло, в которое он не сел, старое, потертое и ковер на полу, так веселивший глаз, тоже старенький, потоптанный. И охватило Кузьменко чувство какой-то виноватости, что ли, за все эти щели, дыры и потертости. Он ведь как жил? Добротню. Все у него в доме было не просто целое, а новое. То, что изнашивалось, — заменялось. Антонина следила за этим, и ему это нравилось, а тут он вдруг сообразил: «полусознанное», «стыдливое», то, что «в каждой капле крови», не может сочетаться с новым бараклом.

Не за каждую мысль человек отвечает, явится — не спросится, но такая мысль явилась к Кузьменко, и он окончательно понял, чем жила необыкновенная Шурка Киреева,

пока он менял у себя зеленое кресло на синее, а потом на красное, а сейчас у него — зараза! — в цветочках. Не кресло — клумба!

— Ну? — сказала Шура, неся на маленьком подносе чашки, сахарницу, блюдо с печеньем. — Так и живем! В тесноте, да не в обиде. Это сейчас тихо — ребята в лагере, Сережа в командировке, так у меня даже порядок. А когда все дома, я никогда не решусь сразу человека в гости пригласить.

Кузьменко осторожно взял чашечку. Он терпеть не мог черного кофе и вообще не понимал этой манеры пить его среди дня.

— О! — сказала Шура. — Ты, как истый европеец, без сахара.

Кузьменко просто забыл положить сахар, а исправлять оплошность после таких слов вроде неловко. Кофе был крепкий, на совесть. Кузьменко думал, что ему проще всего глотнуть его сразу, как лекарство. Но она ведь определенно нальет тогда еще. Он держал чашечку у самого носа, а Шура нырнула в глубокое кресло, взметнув вверх туго обтянутые брюками колени. Хорош бы он был, если б уселся в него.

— Ну, рассказывай! — приказала она. И на секунду в ее лице мелькнуло что-то забытое. Вот так строго смотрела на него Шурка, когда он хулиганил на задней парте.

— А что рассказывать? — удивился Кузьменко. — Я всю жизнь на одном месте. Как после седьмого пошел в шахту, так и до сих пор. Даже в армию меня из шахты не брали.

— Я помню, как ты приходил в школу за документами. Мне жалко было, что ты уходишь. Ты ведь был способный.

Кузьменко засмеялся. Потому что действительно смешно: она пожалела его в самый счастливый момент его жизни. Да он тогда чуть не на голове ходил от радости, что со школой покончено. Это такой был день! Все тогда было! И выпили они с ребятами. И Антонина пришла, и он увел ее в поле, туда, за терриконы, и договорились, что поженятся, а значит, нечего бояться. И не боялись. Потом, правда, когда он, пустой и невесомый, провожал ее домой, ему уже не

очень хотелось жениться. Его смущала эта горячо дышащая в ухо девушка, которая шла рядом. Но ведь дано было слово! И эта взвалившаяся ответственность... Уж что-что, а жалеть его в ту пору было смешно.

— Я думала, — продолжала Шура, — такой способный, такой умный, и никто ему не объяснит. А сама я стеснялась. Я ведь в тебя была влюблена. Ты моя, Леня, первая любовь!

Кофе в чашечке Кузьменко заволновался, норовя выплеснуться через край. Вот она и сказала сама... Сказала так просто, спокойно: «Ты моя, Леня, первая любовь!» Что ей ответить, этой женщине-стрекозе в продавленном кресле? Как утешить? Чем? Вспомнилась опять Дуська Петриченко. И представилось несуразное: плачется кому-то в жилетку не она, а Шурка Киреева, а он, Кузьменко, как тот самый Дуськин крепильщик, гарцует где-то, как конь на воле.

Тяжело и пакостно стало на душе у Кузьменко.

— Дети у вас симпатичные! — сказал он, потому что дети такая тема, что за нее удобно спрятаться.

— Еще бы! — радостно отозвалась она. — Ты еще не дед?

А вот вопрос ему не понравился, совсем не понравился. Как ни хотел Кузьменко уйти от своей жалости к Шурке, уходить так далеко — к несуществующим внукам — он тоже не собирался. То есть говорить о любви ему было страшно, а не говорить обидно.

— Рано еще про внуков, — проворчал Кузьменко.

— А сам-то, сам! — ласково смеялась Шура. — В семнадцать женился...

— Время было другое, — сурово сказал Кузьменко, — после войны. Она выросла. Так что тут нельзя сравнивать. — Суровостью интонации он и закрыл тему.

И они замолчали. Он посмотрел на Шуру. Она все так же улыбалась ему из глубины старого кресла. Черные с медью волосы, уже совсем сухие, беспомощно падали на белую кофточку. Кузьменко сам не мог понять, почему вдруг ему захотелось их потрогать. И он поставил на стол чашечку и освободившуюся руку протянул к ее волосам. Она поняла его желание: наклонила навстречу голову, и он стал гладить легкие ускользящие пряди, а женщина щекой потерлась о

широкое кузьменковское запястье. И он не удивился, он почувствовал, как она виском прижалась к тому месту, где всегда щупают пульс, и ему показалось, что он слышит, как бьется на его руке тоненькая жилка. Он слушал и не мог понять, то ли это его пульс стучит, то ли жилка на виске женщины. Кузьменко казалось, что он так может сидеть всю жизнь. Что, в сущности, ему больше ничего и не надо, как только гладить ее волосы и чувствовать ее щеку.

И хотелось ему задержать это необыкновенное состояние, остановить время, но оно, воплощенное в неказистом будильнике, так громко тикало на подоконнике, что переполненному нежностью Кузьменко пришлось высвободить немного сил для осознания желания: «Я его сейчас утроблю, этот проклятый будильник, выброшу к чертовой матери».

Но оказалось, что нежность — очень уж хрупкая материя, ее можно спугнуть даже мыслью. Он только подумал, а женщина тряхнула головой, и его ладонь стала пустой и голой, и холодно стало запястью.

Она поднялась и быстро пошла к подоконнику, а Кузьменко потрясенно подумал: «Она выбросит сейчас будильник!»

— Не надо! — хрипло сказал он.

— Что? — спросила женщина.

И стала открывать окно, и Кузьменко зажмурился, представив, как летит вниз, на смерть, этот проклятый будильник!

Потом он открыл глаза и увидел, что будильник цел, а Шура стоит и курит, старательно выдувая дым в окно.

Ах, зачем она это сделала! Ну что угодно, только не это! Были две вещи, не принимаемые и осуждаемые Кузьменко в женщинах, — парики и курение. С тех пор как на каком-то собрании у соседки, что сидела слева от него, сполз набок парик, Кузьменко на женские волосы смотрел с опаской. И то, что к волосам Шурки Киреевой он потянулся, так это отчасти потому, что очень уж естественные, очень свои они у нее были. Как у ребенка. Ну а про курение и говорить нечего. Это стыд и срам для женщины.

— Я ведь бросила курить, — сказала Шура, будто почувствовав его отношение. — А ты меня разволновал! Господи, сколько лет прошло!

Кузьменко сделал над собой усилие, чтобы не воспринимать Шурку Кирееву как курящую женщину, не видеть в ней этого. Она же выщелкнула сигарету в окошко и засмеялась.

— Не буду тебя шокировать! Ты даже побледнел, Леня, от ужаса, что я курю.

— Вредно, — хрипло сказал Кузьменко.

— Конечно, вредно, — согласилась она. — Да и не такая я курильщица... Так, больше для вида...

Она подошла к нему близко. И снова он растерялся, как тогда, в лифте, когда она сняла очки. Будто полагалось ему что-то сделать, а он то ли не может, то ли не хочет... И пока он топтался в этой своей растерянности и неуверенности, она сама храбро положила ему руки на плечи.

— Какой ты большой и каменный! — сказала она. И так же легко сняла свои невесомые руки и засмеялась чему-то.

Это же Шурка Киреева, кричал он себе. Она меня любит! И старался вернуть то свое состояние, когда ему хотелось остановить время. Но все было не так, и женщина, которая стояла перед ним, не нравилась ему, как и тридцать лет назад. Будильник же стучал, как молот... И он вздохнул, вздохнул даже с некоторым подвыванием. Шура испугалась и спросила:

— Что с тобой, Леня?

— Да ничего, — проскрипел Кузьменко.

«Надо рвать когти!» — четко сформулировалось решение. И Кузьменко вспомнил, как поступают в таких случаях герои кино: выбросил резко вперед кисть руки, посмотрел на часы.

— Торопишься? — спросила Шура. — Я заметила: даже кто никогда не торопится, в Москве попадает под общий психоз.

— У меня дело, — врал Кузьменко.

— Ну что ж... — ответила Шура.

А почему он, собственно, решил, что она будет его держать? Она не держала. Он поднялся и стал искать дверь, в которую вошел. Не то чтобы ее трудно было найти, нет! Просто, когда он встал на ноги, он понял — главный вопрос так и остался невыясненным. Что делать ему с Шуркиной любовью? Как ему теперь жить? Как ему быть, если он понял, что даже обнять ее не сможет. Нельзя же так — приехать и уехать. Что он, изверг какой? И стал Кузьменко придумывать слова, важные и хорошие, которые могли бы заменить поступки.

— Были бы дети здоровы... — вот что придумал Кузьменко.

— Тьфу! Тьфу! Тьфу! — поплевала женщина. И была этим похожа на Антонину. Сбила она Кузьменко своим тьфутьфуканьем с течения мыслей. Он поискал, поискал и сказал:

— А все эти первые любви... — Кузьменко нарочно говорил хриловато и с издевкой. Он делал это в успокоительных целях.

— Ну уж нет! — возмутилась Шура. — Это ты не трожь! Я люблю все свои любви!

Вот тут Кузьменко закачал. Потому что потрясло его множественное число. Значит, он у нее первая любовь, но не последняя? И может, разочарование и было бы главным чувством Кузьменко, если б не принесла ему эта информация облегчения. Главное все-таки, что раз так, то не виноват он перед этой женщиной...

Все-таки не удержался. Спросил:

— И много их было?

— Кого? — спросила она.

— Этних... Любостей...

— Господь с тобой, — засмеялась она. — Ты так спрашиваешь... Но ты же знаешь... Я второй раз замужем... И оба раза по любви... Такая вот я... Но, кажется, сейчас меня прикололо навсегда... У меня прекрасный муж, Леня...

— Антонина тоже в норме, — сказал он, потому что вдруг забеспокоился, что она подумает о его жизни не то.

— Я тебе была очень рада, — сказала Шура. — Я даже не подозревала, что так хорошо тебя помню. Ты сидел в классе за печкой. И чтобы мне тебя увидеть, надо было повернуться совсем, всем телом. — И грустно добавила: — Но ты, злодей, никого, кроме Тони, не видел...

— Да, — ответил Кузьменко, потому что лгать не умел. — Действительно, не видел. Никогда и никого.

— Значит, ты счастливый, — улыбнулась она. — Передай Тоне привет.

Они молча вышли на площадку, она нажала кнопку лифта. Потом протянула руку и крепко пожала его пальцы. Двери мягко сомкнулись, и Кузьменко заскользил вниз в голубоватом шифоньере. И чем ниже он спускался, чем дальше уходил, тем легче ему становилось.

— Видишь, Тоня, — сказал он почти вслух, — ни я от тебя, ни ты от меня. А у других всякое бывает... Множественное число...

А Александра Васильевна Боровая вернулась в комнату и села за стол... «Пришел зачем-то... Станный такой... — подумала она о Кузьменко. — Нашел же...» Она погрузилась в длинный путаный абзац, ничего в нем не поняла, потеряла виски, вздохнула и вычеркнула подлежащее.

...Антонина обиделась, что он ничего не привез из Москвы. Только десять пачек «Дарьи». Она даже плакала, Кузьменко видел припухшие красные глаза. В день приезда он засобирался идти в третью смену. Антонина забыла про слезы, возмутилась:

— У тебя же еще командировка не кончилась.

Но он все равно ушел.

Возле колонки стояла Верка. Она с интересом смотрела на Кузьменко.

— Ну, как Москва? — спросила Верка.

— Стоит, — ответил Кузьменко, боясь, что она спросит про Шурку Кирееву.

Но Верка не спрашивала. Она забыла про вечную любовь, которую выдумала, а то, что Кузьменко притормозил

возле нее, отнесла за счет белой плиссированной юбки с красной полосой понизу. Не случайно он ее тогда подвез, она же помнит, как у него сердце билось... Шурка сейчас не имела для нее никакого значения.

— Как насчет электрокардиограммочки, Леонид Федорович? — пропела Верка. — Вдруг у вас тахикардия?

Смешной мужик! Махнул рукой и пошел. Верка, смеясь, вскинула на плечи коромысло. Заволновалось вокруг ног плиссе с красной каймой, открывая широкие Веркины колени. Пошла она по улице — тик-так ведра, тик-так. Выглянула на улицу Антонина, плюнула. «Вот чурбак с глазами! А мужикам — им что? Им такие нравятся!»

И Антонина с обидой подумала о муже, который совсем без надобности ушел сегодня в шахту. И из Москвы ничего не привез. Только «Дарью». Антонина вздохнула, еще раз взглянула на белую юбку Верки и пошла замачивать бельё.

А на шахтном дворе наперерез Кузьменко бросилась Дуся Петриченко. Она схватила его за руку и, торопясь, сглатывая слова, сообщила, что муж ее, крепильщик, вернулся, что у них сейчас так хорошо, как сроду не было, что какой он умный, Леонид Федорович, — сказал ей и про магнит, и про голубя.

«Что это я ей плел? — подумал Кузьменко. — Какой магнит? Какой голубь?»

Он спускался в шахту и думал: теперь про эти его рассуждения пойдут разговоры и в конце концов дойдут до Антонины. И еще неизвестно, что она скажет.

1979

ПЕРЕЗАГРУЗ

Владимир Иванович сделал все как надо. И поминки в приличном кафе, и хороший черный камень на могилу, и портрет.

Ну, не оставь им теща квартиру, которую они сразу продали и сказали себе: «Деньги на черный день», разве он с их сегодняшних жалких денег сумел бы это сделать? Хотя

деньги из заглашника пощипывали, считай, каждый месяц. Смерть стоила гораздо дороже, но разве мог он в этом деле скупиться?

Портрет на черном камне был тот, где Лиза улыбалась так, как умела только она, радостно и доверчиво, при жизни он это называл — «от дури». Именно это слегка тормозило Владимира Ивановича с выбором фотографии: теперь каждый остановится, чтоб поглядеть на покойницу, и начнет считать: сколько же было лет улыбочивой? Не много, даже мало. Пятьдесят восемь лет — это срок мужской смерти. Женщины поживистей. Еще подумают, что к этому времени покойница наверняка так уже не улыбалась. Доверие и расположение к людям пропадают гораздо раньше, а если взять нашу землю? Теперь поддянка в душе рождается в человеке рано, как только попадает он в стаю. А нет ничего хуже человеческой стаи. Так размышлял Владимир Иванович мыслями того прохожего, что будет смотреть на улыбку Лизы. И только он знает, что такой она была до самого своего последнего склона головы. Она жалела людей и тут же их прощала. И это так бесило его временами. А дальше всё чаще и чаще...

Дома он сдерживался, а на работе в перекур любил сказать: «Вот и моя дура. Верит в человеческое в человеке, а где оно? В каком музее показывают?» На их предприятии зарплату задерживали на полгода. Тема тут же ложилась в масть, выкрикивались до хрипоты. Как же хорошо потом было ему дома, даже становилось стыдно, что он поминал Лизу всуе. Владимиру Ивановичу до жениного срока смерти еще восемь лет. Но рассчитывать в наше время сроки — пустое дело. И не надо про это. Думалось про другое. Даже не думалось, как бы не то щемилось, не то лизалось что-то внутри. С того самого момента, как Лиза повернула голову к окну, где голуби по утрам скребли когтями жесть подоконника с уличной стороны, как повернула голову и так и осталась, он понял это только тогда, когда голова ее как-то безразлично уперлась в холодильник. Вот с этого момента и началось щемление. Конечно, были горе, и паника, и ужас, как жить дальше, и слезы потоком, и все, что полагается в таких

случаях. Почему-то раздражала Настя, дочь. Роясь в шифоньере и ища пристойное одеяние для покойницы, она бормотала что-то типа: «Могла бы сама подумать об этом». Он как-то застолбился на этом месте. Вспомнил свою мать, она еще жива, в огороде пашет будь здоров, но в каждый его приезд она выдвигает ящик столетнего комода и показывает сверток: «Запомни. Тут все на смерть. И нижнее, и верхнее, и тапки». От нее наверняка это слышала и внучка. И теперь стыдит мать за непредусмотрительность. Так вот, все, что было в те дни, сопровождалось щемлением, и он знал имя ему. Поэтому сразу после сороковин он взял отпуск, билет был куплен заранее, запер квартиру и рванул туда, куда хотел последние пять лет и даже несколько раз начинал собирать чемодан и подготовил слова из какой-то другой, не его, речи, но слова были именно такие: «Лиза! Дай мне шанс вернуться на развилку. Ты и Настя тут ни при чем. Мне нужен перезагруз системы для новой реальности». Какой перезагруз? Какая к черту реальность, если он жил в неге и заботе и любил Лизу? Но так ли любил? Тут-то и возникало щемление — не так. Не вздрагивали от любви стены, не шел из горла вопль, а слабый стон жены он сам прикрывал рукой: за тонкой стеной всю жизнь до последнего года спала Настя. Мечта о вопле осталась неосуществленной.

Но он так и не собрал чемодан, так и не сказал про свой шанс и перезагруз. Его пятидесятилетие — за полгода до Лизиной смерти — совместили с серебряной свадьбой. Лиза в тот день была не по возрасту хороша. Все знали, что она старше его на восемь лет, но кого теперь это смущает, когда у многих и не такие разницы? Она лихо плясала и рок, и твист, и так гнулась в танго, что он даже был потрясен и сказал сам себе, какой он оказался умный, что взял тогда, в другие, строгие к отклонениям времена, женщину на восемь лет старше, да еще и с ребенком. Вон сидит ребенок-бугай, глушит белую по-черному, но компьютерщик классный, в десятке лучших в Москве, в самом «Газпроме». Загородный дом, две машины и все полагающиеся прибабасы. Дочь Настя исходит завистью: ее муж — рядовой врач, а сама она

никто, и звать никак. Всю жизнь хочет обдурить судьбу и словить удачу задаром, на шармачка. Теперь вот при живом муже ищет в Интернете богатого иностранца. Но клева нет.

Владимир Иванович летел на Урал к сестре как вдовец к вдове. Такая была обманка для оставшихся.

Небо и облака как-то без особого напряжения сняли с его плеч тяжесть утраты, а некто малахольный из обслуживающей небо канцелярии даже нацепил ему крылья. Так как установка оных происходила изначально в закрытом, да еще и летящем месте, крылья выдали маленькие, не то вороньи, не то сорочьи. Они щекотали лопатки и создавали вокруг головы некий сквознячок. А он, кто ж это знал, сквозняков боялся, у него был хронический отит, пришлось попросить у стюардессы вату и сделать затычки в уши. Все стало тихо и блаженно, почему-то вспомнилась песня из какого-то старого советского фильма, они с Лизой его любили:

Все стало вокруг голубым и зеленым,
В ручьях забурило, запела вода...

Захотелось выпить, и тут, как по заказу, принесли бутылочку сухого к обеду. Гадость невероятная, испортила песню, но, в общем, уже подлетали к месту. Он вышел с ватой в ушах, сорочье-вороньи крылья лежали на виду смиренно, но шевелили сердце, слегка сникшее от плохого вина.

Сестра Валя кинулась к нему с плачем, она вдовела второй год и испытывала превосходство в горе перед братом, но он не слышал сквозь вату, и только в такси она сказала ему так, чтобы он услышал:

— Да выкинь ты эту чертову вату! Уже ведь на земле. У меня тоже на посадке закладывает уши.

Он вынул, и оглушительный мир ворвался в него с такой силой, что расперло грудь до задыхания. Но крылышки ласково защекотали, он вспомнил, зачем и к кому прилетел на самом деле. Мужское тело напряглось, напружинилось, и ему не хотелось отвечать на вопросы Вали, глупые такие и бездарные: «А сколько людей было на поминках?», «А участвовал ли в них деньгами сын-богатея? Я-то знаю, какие это деньги», «А Настя так и порхает без заботы и труда?»

Смотри! Схарчит она твою квартиру. Сейчас все дети — людоеды».

Он не слушал и не слышал. Как бы между делом спросил про своих одноклассников, не знает ли она, кто где. Хотя в последний приезд сестры в Москву задавал эти вопросы и знал, что *та*, что шевелила его сердце, живет по-прежнему здесь. Что без мужа, что тот сидит в тюрьме за растрату. Детей нету. Торгует в киоске газетами и всякой чепухой, но живет лучше других, видимо, вороватый муж кое-что спрятал очень глубоко. Но это были новости трехгодичной давности. Надо было спросить про сегодняшнее. Но не в лоб. Тонко. Получилось же иначе.

— Ты Ольгу Краснову помнишь? — спросила Валя. — Ты еще за ней бегал, как идиот. Так вот. Мужик ее вышел из тюрьмы и кинул ее. Уехал за какой-то, как и он, заключенной, у них там был роман на всю ивановскую. Заехал и, как я понимаю, облапошил твою Ольгу. Забрал притыренное, с чего она прикармливалась. И тю-тю... Утром был, чай пили, а вечером как ветром сдуло. Ну, она в милицию, а там что ей скажут? Украд спрятанное краденое? А ты знала, что оно есть, и молчала? В общем, в глубокой заднице твоя пассия. Торгует в магазине овощами. После газет на мясо ее не взяли, на молоко тоже. А до пенсии ей еще четыре года. Если срок выхода на нее нам всем не накинут. Что об этом говорят в Москве?

В нем же происходило чудное. Он вдруг с удивлением понял, что всю жизнь провел далеко от понятий «тюрьма», «воровство», «торговля овощами». Нет, они с Лизой понимали эту жизнь. Но со стороны. Среди их близких не было ни сидельцев прошлых лет, ни тех, кто не так думает уже сейчас. Сосед приходил и нес правду-матку и про Ленина, и про Сталина, а потом и про всех последующих вплоть до. Лиза его окорачивала, не в смысле защиты вождей, а в смысле: «Будь осторожнее, Витя. У нас такая земля, что дурное на ней растет с особенной силой. Я не удивлюсь, если опять начнут сажать. Сами люди начнут закладывать друг друга, кто पहले».

Почему-то сразу думалось о пустоголовой Насте, ненавидящей всех, кто удачливей ее. Она ближе всего, горе такое, была к грязному миру. И только Лиза стояла мертвой стеной на пороге большой Настиной беды, когда та орала, билась в реве, так ее тянуло в мир силиконовых грудей, фаллоимитаторов и денег, вываливающихся из однорукого бандита.

Он честно не знает, что теперь будет с Настей. Ну, и плевать. Выросла кобыла. А у него своя цель. Она его сколько лет манит, зараза такая. И сейчас — единственная возможность не упустить пропущенное счастье.

— Пойду пройдуся по родным местам, — сказал он сестре, как только кинул чемодан.

Он легко вспомнил все свои следы, что когда-то вели его к Ольге. Это ерунда, что за это время тут положили асфальт и уже нет тех тропок. Земля горела под ногами сквозь наслоения тридцати лет. Он скажет Ольге, что негоже ей таскать вилки капусты, они бывают такие тяжелые. Он забрет ее в Москву, у него двухкомнатная квартира, а дочь уже живет отдельно. Он скажет, что это их шанс начать сначала, подумаешь — полтинник лет. Они будут жить чисто (как при Лизе, это он себе, тихо), а ночью горячо, до крика. И он уже не будет закрывать женщине рот рукой. Он шел и мысленно обнимал ее, маленькую, пухленькую, мягонькую, от нее пахло козьим молоком и духами «Кармен». Она их обожала.

Дорога оказалась длинней, чем он думал. Двухквартирные каменные дома строили пленные немцы, и селили в них не всякого. Во времена, когда он рос, этот район уже не считался, как говорили, горсоветовским, его уже захватило второе звено власти, то самое, что всегда хуже первого. Шкуру с народа всегда дерут подчиненные. Так потом и шло. Третьи подначальники сменяли в доме немцев вторых. Четвертые третьих. Отец Ольги жил в таком доме, он был уже шофером у второго секретаря райкома. Мать ее заведовала яслями. Дом осел, но был еще крепок стенами и мог принять следующие селекционные выбросы уже нового режима. Сволочи-немцы надолго строили, как себе.

Конечно, он дурак, не подумал, что день — вторник, значит, она могла быть на работе, но сорочье-вороньи крылышки трепыхались изо всей силы, а это должно было что-то значить.

Он постеснялся открыть калитку во двор, он забыл, как правильно входить в такие дома. Он стучал по ней ногой. Но какой силы звук по деревяшке? Никакой. Он ударил сильнее — и калитка сама открылась. Глупо, но он поскреб подошвы о жухлую осеннюю траву, оглянулся, нет ли собаки, и пошел к крыльцу. Он напрочь забыл о существовании деревянных шатающихся крылец. Это крыльцо не просто скрипело ступеньками, оно издавало какой-то предсмертный звук, возможно, так трещали поленья и доски костров аутодафе в жестокие времена Средневековья, если не знать, до какой жути дошло человечество после всех тех безобразий. И куда еще дойдет.

На мысли о смертном страхе он постучал в дверь. Дверь распахнулась широко, из дома пахло духом густо перемешанной жизни: пищи, стирки, курева и даже как бы, господи, прости, горшка. В дверях стояла широкая баба в перекошенной юбке и спортивной адидасовской куртке со следами выдранной с мясом молнии. У нее были набрякшие глаза («Базедова болезнь», — подумал Владимир Иванович) и сильно обвисший подбородок.

— Извините, — сказал он. — Ольга Михайловна дома? — Как легко вспомнилось отчество, на раз.

— Ну, — ответила баба.

— Я тут проездом. Я ее одноклассник. Хотел встретиться. Когда она будет?

— Кто? — спросила тетка, и в голосе ее был какой-то странный ядовитый смешок.

— Ольга Михайловна. Оля...

— Заходи, — сказала баба. Она повернулась спиной, и он увидел, что юбку ее крепко защемили ягодицы, и было в этом заде даже что-то величественное в его полном равнодушии к миру смотрящему.

И он покорно шел за этим телосложением, испытывая перед ним даже некую робость.

— Ты как был дурак, Вовка, так им и остался, — говорила идущая впереди него природа. — На себя бы глянул! Седой сморчок и никакого тела. В твоём возрасте это, можно сказать, срам — не нарастить мяса. Пипинец небось с мизинец? — И она засмеялась громко и звонко. Олиным смехом.

Дороги назад не было. Дверь сама собой, как и калитка, захлопнулась. И он оказался в комнате-кухне, а на плите стояла выварка. «Господи, боже мой, я и забыл про это чудовище», — подумал Владимир Иванович. У них с Лизой сначала, пока жили в коммуналке, тоже была выварка. Но в нее только складывали грязное белье, она стояла в углу, и Лиза прикрывала ее старым клетчатый одеялом. Белье стирала старушка-машина с валиком. Потом она и выварка куда-то делись... Эта же, что на плите, делала свое предназначенное дело, она пыхла, и из нее пучился угол то ли пододеяльника, то ли наволочки.

— Садись, — сказала та, что когда-то была Олей. — Случайно застал. В магазине отключили электричество, что-то там полетело к чертовой матери. Вот стираю. С чем пожаловал?

Ужас заключался в том, что он боялся поднять на нее глаза. То лицо, которое будоражило его в юности и в недавней жизни, и то, что встретило его на пороге, не сливались в одно, и если бы не смех, который он услышал и узнал, он бы сказал, что случилась ошибка, и повернул бы восвояси. В конце концов, сам пришел, сам и ушел. Но смех был тот, давний, юный, он заставлял его вздрагивать и бежать на него. Когда он звучал, он не слышал ничего другого. Этот смех он услышал когда-то во сне рядом с Лизой и с тех пор потерял себя. Из этого смеха родилась идиотская фраза про шанс и перезагруз. И вот он в «комнате мечты», где живет этот смех.

Все-таки он поднял на нее глаза. Она стояла к нему боком, смотрела в окно, и ягодицы по-прежнему крепко держали ее юбку. Он резко отвернулся от этой картины, но заметил, как разлапистая ладонь незаметно смахнула с лица слезинку. Ему тоже захотелось плакать.

— Другому, — сказала она, — я бы уже налила, и хряпнули бы вместе. Как обходиться с такими, как ты, я не знаю. Мой мужик — в широком смысле — простой и пьющий.

— Я выпью, — ответил Владимир Иванович.

— Ага! — обрадованно сказала она и привычным, заученным движением смыкнула юбку.

Она разлила водку в граненые стаканы. Вот ведь! В Москве такой стакан почти раритет. Его можно купить только с земли у доживающих в нищете старушек.

— Ну, за встречу! — сказала она, ударив свою тару о его и поднося стакан ко рту. Но вдруг спохватилась. — А закусь-то, закусь... Вот голова два уха! — Она кинулась к холодильнику, дверца которого была закреплена скотчем. Сковырнув его грубым желтым ногтем, она открыла дверцу и выставила на стол ножку отварной курицы, листы квашеной капусты и кусок сыра, затвердевшего вусмерть.

— Режь сам, если хочешь, — сказала она. — Я купилась на название «Пармезан», где-то про него читала. Несъедобный, сволочь. Говно! Рекомендую капустку. Это мое собственное. С гарантией. Ну, еще раз: за встречу!

Она опрокинула стакан одним махом и громко хрустнула капустным листом. И вот в этот момент — надо же! — в ней проступили черты потрясней девчонки, которая исхитрилась поместиться в крохотной капсулке его крови, замереть и ждать, чтобы потом засмеяться и выйти наружу. Но видение было коротким, потому что она подошла к варке и стала мешать в ней белье, и оно запахло детством, мамой, а потом превратилось в место в углу, покрытое клетчатым одеялом. «А ты говорил — выкинь!» — сказала тогда Лиза. И так защемило в сердце, что он отпил глоток, а на ее крик: «Ты что, совсем не мужик, стакан не осилишь», — ответил категорически и неожиданно смело: «Совсем». Он рассказал, как тихо умерла Лиза, раз — и нету. Что жили они дай бог всякому, что Лизин сын — крепкий мужик, почти олигарх, смотря от кого, конечно, считать, а вот дочка общая — неудачница. Не захотела учиться, выскочила замуж. Работать тоже не хочет. В Интернете ищет себе нового мужа, богатого иностранца. «Но за граница не дура. Она отби-

рает лучших, а моя ни ноты высокой не возьмет, ни формулу не выведет. Московская бездельница».

— Да таких и тут навалом. Бог меня спас от детей. Может, это единственная моя удача. Живу как хочу, и никто не ждет моей смерти.

— Ну, — забеспокоился Владимир Иванович, — Настя моя не до такой степени.

— До такой! — уверенно сказала Ольга. — Других теперь просто нет. Народ ведь порченный брехней, нищетой, а главное, страхом, что будет еще хуже. Уже сперматозоид бежит весь в панике, яйцеклетка отворилась и замерла в ужасе. Ну и что у этих бедолаг получится? Урод.

Почему-то он сразу ей поверил и даже увидел эту картину гона клеток. И почувствовал себя жалким и глупым сперматозоидом. Ах, была бы Лиза! Она бы ловко нашла контраргумент такой картине жизни, она бы умно и тонко осадила эту тетку с базедовыми глазами.

— Допей! — сказала ему Ольга, наливая себе второй стакан.

— Нет, — ответил он резко, отодвигая водку. — Я захмелею, а у меня еще дел!.. Мы с сестрой должны пойти на кладбище. Она овдовела год тому.

— А то я не знаю, — сказала Ольга. — Такие слезы ревели, можно подумать, что и вправду горе.

— Она до сих пор не в себе. Плачет!

— А ты надолго приехал?

— Да нет, — растерялся он. — У меня дела.

— Так вот. Слушай и имей в виду. Больше двух ночей она тебя не стерпит. У нее мужик есть, давний, слух ходил, что она своего-то траванула. Но я в это не верю. Он был давно не жилец. Твоей конституции, ветром сдувало. А Валька твоя — баба ненасытная, ей каждую ночь надо, понял? Так что не задерживайся. У нее, слава богу, дети умные, учатся в самом Питере. Там и останутся, хваткие ребята. А ей вышла вольная. От своего-то сморчка приходилось бегать по чужим квартирам. Не поверишь... У нас теперь такса. За просто перепихнуться берут пятьсот рублей, ну, если час, два. За ночь — тыщу... В зависимости от обстанов-

ки. У меня тоже есть клиент. Учитель местный. Я ему даю ключи с четырех до шести. У него бабы разные. Приходят огородами. — Она махнула рукой в окно. — Мимо уборной, сарайчиков, идут впригибочку, он дверь заранее открывает, на крыльцо вывешивает одеяло, чтоб с улицы не видно было, кто и как. Даже я их не знаю. Сначала боялась, не школьник ли он обрабатывает, а потом успокоилась. Мне какое дело? Я ему официально комнату сдаю для проверки контрольных работ. Дома у него дети малые, а в школе шум. Никто не докажет, что я что-то знаю. Я ж на работе. А он мужик уважаемый. В газеты пишет про необходимость образования в наше непростое время.

Последние слова она произнесла с насмешливым пафосом и снова стала похожа на девчонку. Так вот она и сидела перед ним, грузная, неопрятная, уже как бы и не женщина, а где-то в ней, как в темнице, билась девчонка, о которой он так много мечтал. Вздох у него получился тяжелый, даже надрывный, и он поднялся.

— Я пойду, — сказал он. — Рад был тебя видеть.

— А зачем ты все-таки приходил? — спросила Ольга. — Мы с тобой вроде не дружили... — Она задумалась. — Но все равно спасибо. Иногда надо вернуться, чтобы что-то понять... А вот то, что не допил, это ты гад. Ладно, я допью за тебя. Я не пьянею. Я тетка злая, меня ничем не возьмешь.

Они потоптались на крылечке, через которое шла веревка с прищепками. Уже у калитки он взял ее руку — большую, вымученную, с артритными скрюченными пальцами. Его рука казалась рядом белой и изнеженной. Но поцеловал он ее в щеку, дряблую, пахнущую капустой. Слезинка женщины сползла на нос и зацепилась за бугорок кожи, то бишь бородавку. Он вытер слезу пальцем и поцеловал бугорок.

— Ну, гуляй, слюнявый, — сказала она. — Гони дочь в шею, если будет наседать. Нашу старость никто не имеет права замать, мы заслужили хотя бы покойной смерти.

— Ну, какие наши годы, — сказал Владимир Иванович фальшиво.

— Те самые, — ответила она, — чтоб жить уже для себя. Для других у нас соки высосаны.

Сестра была слегка заполошенной, и он сразу сказал ей, что уедет сам, не надо провожать, вечерней электричкой, даст бог, успеет на ночной самолет, а нет, так сядет на поезд.

— Хорошо, что я поставила тесто, — сказала она, — успею с пирожками. Ты помнишь, когда электричка?

— Где-то около восьми.

— В девятнадцать двадцать, — уточнила она. — Мне надо пойти позвонить, я на почте еще раз проверю расписание.

Он не стал говорить ей о том, что они собирались на кладбище. Тем более что она как-то счастливо засутилась и даже не спросила, где он был и кого видел. Она вдруг стала абсолютно отдельной от него, такой отдельной последние годы была Настя. Между ними было даже не расстояние, а как бы сгущалось пространство. В эту густоту можно было кричать и стучать кулаком — бесполезно, за ней жил человек в иной, недоступной ему среде. Инопланетянин? Фантом?

К вечеру Валентина завернула ему в дорогу беяшей и соленых огурчиков. Заставила выпить чашку куриного бульона. Подрумяненная курочка виделась в духовке, и ему так хотелось ее ножку со шкуркой. Но эта радость была приготовлена не для него.

— Ну, будь, — сказал он сестре, которая проводила его на станцию.

— Буду, буду, — пробормотала она, и он видел, как она внутри уже бежит от него, как он достал ее своим прощальным замиранием.

Он успел на самолет и утром уже был дома. Включил чайник и полез за чашкой. Чашек не было. Не было всего сервиза, подаренного им на серебряную свадьбу. Он хотел

сунуть беяши в микроволновку, но ее не было тоже. Мыслей о ворах не возникло. Все стояло и лежало на месте. Он набрал номер телефона дочери.

— Микроволновку можешь оставить себе, а сервиз верни немедленно, — сказал он ей.

— Я думала, ты еще не скоро вернешься, — заспанно ответила Настя. — А чашки, я заметила, напоминают тебе маму.

— Ты лучше за меня не думай. Привези, и все.

— Пап, а пап! — закричала она, как бы почувствовав, что он хочет положить трубку. — Ты меня выручишь? Мне позарез нужно к парикмахеру.

— Сколько? — спросил он.

— Ну, косарь. Ты же знаешь, какие теперь цены.

— Пятьсот, и меняй парикмахерскую.

— Ну, ты даешь! — закричала она.

— Наоборот. Я больше не даю.

Легче не стало. Стало противно. Так и не попробовав беяшей и не попив чаю, он поехал на кладбище. Она улыбалась ему издали, Лиза.

Он никогда так не плакал. Сколько он недодал этой единственной женщине, с которой ему могло быть еще лучше, не придумай он себе историю «перезагруза» и другого шанса. Это же смех и горе, какой у него был шанс. И сколько раз он недолюбил жену, воображая себе черт знает какой нечеловеческий секс, но не с ней. Какой идиот! Какая же потрясающая она была с ним, а он слышал внутри себя смех-колокольчик толстой бабы из овощного магазина.

Чашки были на месте. Настя сидела на диване и дулась.

— Я не хочу менять парикмахершу, — сказала она. — Я что? Сирота убогая? Пенсионерка, чтоб стричься там, где старики?

Нет, это был не тот момент, чтобы опять говорить ей о работе и все такое прочее. Он дал ей «косарь», только чтоб ушла. Она выпорхнула, чмокнув его куда-то ближе к уху.

Ну вот... Он и вернулся в точку отсчета. Чашки на месте. Он один. И должно жить вперед, ибо других вариантов нет. Или есть?

И тут он почувствовал Лизу. Она была рядом. Он ощущал и ее любовь, и ее бесконечную жалость, и даже защиту. Хотелось заплакать и попросить его забрать, но он услышал, как она говорит их любимую фразу, которая их всегда смешила, дай бог вспомнить, откуда взятую. Нет, не вспомнить.

— Шевели копытами, селянин, — насмешничала совсем живая Лиза. — На твое место можно ведь и другого подыскать.

Он открыл холодильник и выпил полчекушки оставшейся от каких-то примочек водки. Зажгло в горле, и забило молотом в сердце. Он позвонил на работу и сказал, что выходит тотчас.

АЛЛОЧКА И ПЛОТИНА

Какие голодные мы были в первые послевоенные годы. Как вкусно нам было все: терпкие вишневые листья и червивая падалица, белые неоткусываемые корни неизвестно чего и одутловатые, пустые изнутри грибы. Деликатесом был ощерившийся подсолнечной шелухой жмых... в просторечии макуха. Но самое-самое... Самое-самое! Была цветущая акация... Боже, сколько было съедено, нежной, махровой, пахнущей... Белой акации гроздь душистые перемалывались нашими детскими зубами так быстро, что приходилось командировать кого-то на верх дерева, чтоб наклонять еще не оборванные ветки к нашим жадно жующим ртам. Как правило, карабкался Геня. Он был среди нас самый гибкий и ловкий. Только он мог забраться почти на самую макушку и, распластавшись на ветке, пригнуть ее низко-низко, так, что нам оставалось только чуть подпрыгнуть и ухватиться рукой.

До сих пор в ногах, в мускулах память об ожидании, напряжении прыжка вверх, чтобы сорвать пышную, примеченную заранее гроздь и успеть сделать это раньше другого,

а потом победно закричать забитым добычей ртом... О, сладость, сладость, сладость заглушаемого голода...

— Вы же едите прямо с червяками! — однажды услышали мы. — Так же можно и умереть.

На нас смотрели огромные синие потрясенные глаза. Продолжая автоматически жевать, мы оторопело разглядывали осуждающее нас существо.

Маленькие, в белых чулках ноги были обуты в лакированные туфельки с ремешками крест-накрест. Синяя матроска с отутюженными складками на юбке сверкала белоснежным кантом, красными якорями и так аккуратно застегнутыми пуговичками, что сам собой напрашивался вывод: возникшая перед нами девочка не вертится, не дрыгает руками и ногами, она существует в одной-единственной торжественно-доказательно-прекрасной позе. Осознав это, мы нервно засучили своими грязными, с цыпками ногами, завертели невымытыми шеями, быстро сглатывая непережеванную акацию. А девочка продолжала потрясать нас коротенькими, наполовину заплетенными косичками из вьющихся волос, и синим беретиком, чуть сдвинутым на ухо, и отмытыми до блеска ушами, и огромными синими глазами, которые случались на картинках довоенных сказок. Распластавшись на ветке, мертво замер Геня. Ветка перестала качаться под ним, пригнутая, замечательная ветка с роскошными гроздьями.

Так появилась на нашей улице Аллочка, появилась как знак другой, недоступной нам, прекрасной жизни, о существовании которой никто еще не подозревал. На нашей улице и в нашей жизни еще всю пахло пожаром сожженных домов, еще глыбились руины взорванного Дворца культуры, еще не все отцы вернулись домой. В нас во всех продолжала жить война. Рожденные до нее, мы мало что помнили о мирной жизни, война же вошла в нас плотно, заполнив душу по самую кромку, а хорошего было слишком мало, чтобы начать вытеснять ее потихоньку.

То восхищение Аллочкой, которое сразило нас всех, было сигналом... перехода, что ли? — в будущее, где уже не

будет смерти и горя, где будет красиво, чисто, сытно и радостно.

Наверное, в тот момент, когда Аллочка потрясенно смотрела на нас, а мы на нее, в сердце Гени и лопнула какая-то почка, и выпросталось то, о чем я хочу рассказать. Только он тогда как-то отчаянно ухнул и оказался рядом с нами на земле, и стал одергивать штаны и заправлять в них майку, и смотрел, смотрел на Аллочку, теряя свое привычное веснушчатое скуластое лицо и обретая какое-то новое, ласковое, нежное и преданное.

Мы стали ходить за ней стайкой, не в силах ее покинуть. Мы стали чище умываться, и некоторые обрезали ногти.

Она привела нас в свой дом, трехкомнатный дом, где поскрипывал майорскими ремнями белозубый папа, не то шелестела, не то шуршала шелковым капотом кудрявая мама, а на маленьком костерке возле крыльца смолила курицу горбатенькая домработница Глаша. Это была первая семья, над которой не висело клеймо «бывшие в оккупации». Поэтому и курица, и хлеб с маслом изначально считались справедливой для них едой, ибо мы — бывшие в оккупации — все-таки были виноваты. Во всяком случае, так нам объяснили.

Аллочка все имела по праву, мы же по праву все не имели. Это не оспаривалось, не ставилось под сомнение — ни боже мой! — не критиковалось. Мы искренне любили добрую веселую Аллочку, мы ждали ее, сидя на земле под ее забором, пока она ходила обедать «первое, второе и третье». И случалось, что кудрявая мама в капоте выносила нам в большой глубокой миске какие-нибудь пирожки или оладьи, и мы расхватывали их в одну секунду, и только Геня, единственный из нас, руки в этой сказочной еде не марал. Он смотрел на нас не то что с осуждением, смотрел с жалостью. Дело в том, что с ним случилось невероятное — он перестал есть. Генина мама говорила моей маме, когда они набирали воду из колонки, что Генька, паразит такой, не жрет кукурузную кашу, а Генина мама расстаралась и достала полпуда кукурузной крупы исключительно для питания детей, надо же паразитов поддержать, белки у них совсем си-

ние и десны бледные, явное малокровие. А от малокровия до туберкулеза рукой подать.

Откуда было знать матери Гени, что можно быть сытым от одного созерцания Аллочки? Когда Геня стоял, облокотившись на штакетник возле Аллочкиного дома, мысль о любой еде была ему противна. С тех пор как появилась Аллочка, он ни разу не залез на дерево, не пригнул нам ветки книзу. И нам пришлось самим осваивать это дело, объедая сначала вишни, потом шелковицу. Мастером по лазанию в нашей компании стала я, девчонка. Этим своим умением я была особо выделена Аллочкой и стала ее лучшей подружкой. Она, добрая душа, гордилась мной, когда я перемахивала с ветки на ветку. Она хвасталась мной, что мне ничего не стоит с разбега взять любой забор. Она восхищалась мной, когда, подняв обкровавленную в прыжке пятку, я английской булавкой выковыривала из раны кусок бутылочного стекла. Аллочка зажмурилась при этом глаза и бледнела так, что на меня зверем кидался Геня и загораживал от Аллочки. Чего стоила моя кровь по сравнению с проступившей Аллочкиной бледностью?

Его любовь была так прекрасна, что, плохо воспитанные, глупые, из-за войны еще ничего не прочитавшие о любви и знавшие о ней только одну ее сторону — грубую, грязную, откровенную, а какие еще знания могли быть у детей коммуналок, — мы приняли Генькино преклонение как чудо. Ну, скажем, как кино... Раздетый Генька мок под дождем, ожидая, пока запакуют в непромокаемый плащик и ботинки Аллочку, и мы ждали с ним тоже. Генька дырявыми ботинками пропахивал ей дорожку в снегу, и мы дружно помогали ему в этом. Генька выискивал у щенка блох, чтоб решить, можно ли дать его Аллочке в руки, и мы все загибали щенку лапы и лезли ему в уши.

Рядом со всем этим мы делались лучше. Такова была сила Генькиной любви. Мы выросли, переходили из класса в класс, потихоньку превращаясь в самих себя, истинных, а любовь Гени к Аллочке оставалась неизменной и надежной, как маяк в море.

Да! Забыла самое главное. Любовь была безответной. Просто Аллочка принимала всякую любовь как нормальную для себя среду обитания, другой среды она просто не знала. В ее жизни — слава богу! — не было ненависти и страха, неуверенности и сомнений. Мы отхаркивали войну еще не один десяток лет, а она не знала, что это такое. Геня со своей любовью, подпирающий стену ее дома, был естественен, как куриное крылышко к обеду, как пуховая шапочка, связанная горбатой Глашей, как хромовые сапожки, сшитые точно по ноге.

Потом мы открыли для себя вот что... Любовь идет к любви. Девочка, помеченная чьим-то преклонением, почему-то гораздо соблазнительней той, на которую еще никто глаз не положил. С Гениного легкого сердца все мальчики нашей школы с седьмого по десятый класс проходили через любовь к Аллочке, как через корь или ветрянку. Они переболели, и выздоравливали, и жили дальше, сохранив к Аллочке нежность на всю жизнь. Что правда, то правда... И в этом целиком была ее заслуга. Потому что она всегда оставалась доброй, отзывчивой, невредной, не задавакой, что доказывало простую, как мычание, истину: счастливое детство — генератор хороших человеческих качеств. Правда, сейчас получила хождение теория, что чем детство хуже, тем лучше. Морально продуктивнее, что ли, впоследствии... Мне не нравится эта теория, и я объясню в следующий раз почему. Просто тут подмена одного другим. Сейчас же говорю: Аллочка была лучше нас всех, а войны не нюхала...

Однажды на бортике ванны...

О ванне, извините, хочу подробно... Это первая большая ванна, виденная мною в жизни. Она стояла на полу в Аллочкиной кухне, наглухо забитая деревянным штырем. Не было еще ни слива, ни водопровода. Ванна была просто сама по себе. В нее выливали воду из двух выварок и цинкового ведра, и в ней мыли Аллочку. Потом Глаша ковшом вычерпывала грязную воду. По нынешним временам — кошмар. По тем — царская роскошь. Ведь мы семьями мылись в цинковых корытах и, как правило, в одной воде, идя справедливым путем от наименее грязного к наиболее. Большую

часть своего детства я мылась последней в серой, грязнопенистой, уже почти холодной жиже. Слова «негигиенично» в обиходе не было, и корыто с общей на всю семью водой было нормальным явлением. У некоторых не было и корыта. Так вот, Аллочка мылась в индивидуальной воде, в большой ванне, а папа и мама ее ходили с эмалированным тазом в построенную, как говорили, для командного состава баню. Баню для смертных открыли в нашем городе, когда стало легче с водой, когда пустили Северо-Донецкий канал. До этого чистыми ходили только начальники. Шутка, конечно!

Так вот, вымытая Аллочка сидела на бортике, сердечно предложив мне помыть, если я хочу, в ее воде ноги. Я очень хотела, но у меня были дырявые чулки, поэтому я постеснялась разуваться.

— Как хочешь, — добродушно сказала Аллочка. — Я тебе должна сказать, что Генька мне надоел до смерти...

Дело в том, что Геня уже прошел два этапа познания жизни и любви — живое созерцание и абстрактное мышление — и диалектически перешел к практике. Он сказал Аллочке, что женится на ней, как только она окончит школу. Он заканчивал на год раньше. В ту минуту, когда мы сидели на бортике ванны, Геня всю штудировал справочник для поступающих в вузы, а так как он не мыслил себя без Аллочки, то каждую новую идею института он обсуждал с ней. И, как говорят теперешние молодые, «достал» Аллочку. Девочка с другим характером могла, например, раз и навсегда сказать, что она думает обо всем этом, но Аллочка, завернувшись в теплый толстый халат, просто тихонько жаловалась, потому что никого не могла словом обидеть. Даже надоевшего Геню. Единственное, на что она решилась твердо, — обмануть его. Сказать, что она тоже поедет учиться в Москву, а самой оказаться совсем в другом городе. С меня было взято честное слово комсомольское и под салютом всех вождей, что я ее не выдам.

Последний Генин год в школе был годом всеобщих превращений. Неисповедимыми путями народ пронюхал Аллочкино отношение к постоянному поклоннику, хоть была она, как всегда, и вежлива, и тактична. Геня по-прежнему носил

за ней ее портфель, а когда она растянула связки на физкультуре, возил ее в школу на детских саночках. Только теперь все поменяло свой знак. Раньше это вызывало восхищение, а сейчас Геня прочно попал в придурки, за ним намертво закрепилось, что он человек без гордости. А какая цена человеку без гордости? Ноль!

Ничего он не видел, ничего он не слышал, ничего не понимал. Более того, он чуть не спятил совсем, решив остаться на второй год в десятом и таким образом подождать Аллочку. И тогда мама его очень сильно на него закричала. Она кричала в самом людном и популярном в городе месте, возле водоразборной колонки, и ее слушали другие матери и учителя тоже, пригнувшись под тяжелыми коромыслами. Все они осуждающе качали головой, и в такт этому качанию осуждающе плескалась вода в ведрах под фанерными кружочками.

— Да что я, вечная? — кричала Генина мама. — Мне еще младшую подымать, у меня каждый год по пальцам посчитан... Я их направляю — и за бугор (за бугром у нас было кладбище). Мне этой жизни хватит, наелась досыта... Что он к ней, к Найденовой этой, мылится, дурак? Кто ж ее за него отдаст? Объясняю ему, придурку, объясняю... А он как порченный... Я и бабуку к нему приводила, и волос мы его стригли и палили... Ничего! Люди! Бабы! Раньше времени из-за паразита уйду за бугор, помяните мое слово!

И люди взялись за Геньку, заставили его закончить школу вовремя, а когда наступил срок, уехал Геня в Москву.

Так подробно я больше не могу рассказывать эту историю, пошла она потом перед глазами урывками.

Приезжал Геня из Москвы на Седьмое ноября, на зимние каникулы, на майские праздники. Торчал под дверью нашего десятого, конвоировал Аллочку домой.

Он не знал, что Аллочка тоже выбирала город. Отпала, естественно, Москва. Потом Ленинград и Харьков, как лежащие по одной дороге. Прельщала раскинувшаяся совсем в другой стороне Одесса, тем более что в Николаеве — от Одессы рукой подать — жила тетка Аллочки, очень обязанная чем-то белозубому Аллочкиному отцу. Имелось в виду,

что из чувства благодарности тетка не менее чем раз в месяц будет приезжать в Одессу, стирать Аллочкино белье и привозить домашнюю еду. Геня ничего этого не знал. Он выбрал в Москве институт для Аллочки, который был ближе всего к его институту. Кажется, это был полиграфический.

Геня вытянулся за этот год, стал очень сосредоточен, напряжен. Видимо, состояние возникшей внутренней твердости потребовало и изменения имени. Теперь он представлялся не Геней, а Геной. Было сначала непривычно, а потом закрепилось — Гена так Гена.

Летом не успел он приехать из Москвы, а Аллочку уже увезли в Одессу папа и мама. Горбатенькая Глаша блюла интересы семьи и давала Гене противоречивую информацию. То Аллочка в Киеве... А может, в Ростове... А может, в Ставрополе... Мало ли у нас городов, где можно учиться?

Мы тоже все разъехались, всем было не до Гени-Гены. У всех начиналась собственная биография. И начиналась она трудно, потому что мы все были дети оккупированной территории. Родители боялись за нас, доставали нам какие-то справки, доказывающие, что на нас, восьмилетних, семилетних, в сорок первом не было вины, хоть и не подали нам поезд и не увезли подальше от этой проклятой оккупированной территории.

Встретились мы с Геной уже в Москве, случайно, в метро на «Маяковке». Он быстро слизывал мороженое, чтобы идти к поездам. Тихие, скромные провинциалы, мы чтити все московское, тем более метровокские правила.

Генка очень обрадовался мне, а я ему — нет. Он же не знал, как мы его презирали последние два года. Лично во мне это презрение выросло просто до нечеловеческих размеров. Мне тогда казалось, что нет ничего выше гордости. Нет, есть, конечно... Родина... Единственный великий человек... А такая вот ползучая, по-собачьи преданная любовь — тьфу!

Господи! Благослови ту встречу на «Маяковке». Какая бы я была, не будь ее у меня?

— Что ты имеешь от Аллочки? — спросил Генка, заталкивая в рот остатки вафельного стаканчика. — Она мне со-

всем не пишет... Я рвану к ней, пожалуй... Черт с ним, с институтом...

— Ты ей не нужен, Генка, — ответила ему я... — Мы тебя все презираем... Ты бегаешь за ней как собака... Где твоё самолюбие? Ей что, от тебя бежать во Владивосток? Ты соображаешь, как ведешь себя? Где твоё комсомольское совести?

Наверное, вафельный стаканчик перегородил Генкино горло, потому что из него пошел сначала хрип, а потом рык... Он багровел у меня на глазах, и я даже слегка испугалась, не умрет ли он от моих справедливых слов? Пришло даже некоторое сомнение, правда ли, что правда — бог свободного человека, как было записано у меня в блокноте мудрых мыслей? Но Генка не умирал, просто в нём естественно и, может быть, первый раз в жизни рождался гнев. Гнев против хамства, демагогии, этого разухабистого права судить, и рядить, и выкать, когда тебя не просят...

— Ты что? — сказал он хрипло и тихо. — Ты что в этом понимаешь? Ты о чём судишь, кретинка? Тебе ж не дано это понять... Скажи, тебя хоть раз кто-нибудь проводил домой? А ты сама хотела за кем-нибудь пойти? Корова ты яловая... — И он ушел от меня, как-то вихляя, будто его подбили, а я просто с места тронуться не могла. Он рассек меня своими грубыми словами пополам, и из меня вывалилась вся моя требуха. Я стояла пустая-пустая, и первое, что во мне возникло, было ощущение абсолютной Генкиной правоты и абсолютной собственной ничтожности. Я посмотрела, что мне запихнуть в себя обратно, но ничего достойного в вывалившихся из меня вчерашних доспехах не увидела. Мне было стыдно. Я вполне ощущала себя коровой, не яловостью помеченной, а тупостью и идиотизмом жвачного животного. Потом мне стало жалко корову, потому что я себе виделась хуже.

Может, со стороны весь наш разговор с Генкой и не выглядит так землетрясительно, но кто знает, когда в нас что пробуждается? Только когда я все-таки вышла из метро, улица Горького была расположена иначе, чем я представляла себе. Она просто шла в другую сторону.

Хватит обо мне, потому что не обо мне речь. Просто девочку ткнули носом, и она, слава богу, что-то поняла... А могла ведь и не понять... Страшная вещь это — не понять то, что нужно...

Потом пришло письмо от мамы. Она писала, что Аллочка собирается замуж за моряка, и «надо же растить и растить ребенка, чтоб он такое родителям устроил! Неужели для того мы дочек учим и одеваем, чтобы они на первом курсе выскочили замуж? Куда он денется, этот замуж? Никуда. А прежде нужна платформа, чтоб на ней стоять, а не нате вам, пожалуйста, муж...».

Ни капельки мою маму не волновала судьба Аллочки, бедная моя мама, мыкавшаяся в шахте «на поверхностных работах», как она уточняла, дабы повысить цену своей неженской рабочей профессии, люто ненавидела всю семью Найденовых. Это, в сущности, была классовая ненависть — нищеты к достатку. И Аллочка ей в отличие от всех не нравилась. «Чурка с глазами» — так она ее называла. Письмо ко мне имело совсем другой — остерегающий — смысл. А вдруг и я возьму и выйду на первом курсе? Зачем же она горбится? Ведь образование — единственный шанс моего спасения от шахты, тяжелой работы, беспросветности. Мама очень за меня испугалась. Аллочка же не писала ничего.

На зимние каникулы мы все свиделись. Высоченный моряк с неистребимым одесским акцентом рассказывал какие-то глупые истории, Аллочка много хохотала, мама ее громко хрустела пальцами, Глаша плакала, а Гена... Гена сидел и молчал.

С какого-то момента жизни время ускоряет свой бег. И пропадают длинные утра и замедленные вечера, и только понедельники начинают отстукивать особенно нахально... Видно, это право они присвоили себе с вечно наивного человеческого желания попытаться начать все сначала. С первого нового дня... А ведь начала нет... Все изначально, испокон веку начато... И раскручивается жизнь по давно ей известному маршруту-плану, и ничего в ней не изменить... По этому плану и уехала Аллочка с моряком. Накануне их отъезда Гена вызвал ее из дома, Аллочка умолила меня посто-

ять недалеко, потому что «ей не хочется оставаться с ним наедине». И я стояла так, чтобы меня видела она и не видел он.

— Что же ты, Аллочка? — тихо спросил Гена.

— Ах! — ответила Аллочка. — Сколько можно, Геннадий, об одном и том же?.. Я его люблю, а ты мне просто школьный товарищ... Между прочим, я тебе никогда ничего не обещала... Пожалуйста, оставь меня в покое... И останемся друзьями...

Что-то в таком роде было ею сказано, а может, и нечто другое, потому что никто из нас не придавал такого уж значения разговору, чтоб запомнить его навсегда и дословно. Аллочка отделялась, я ей в этом помогала, стоя на стреме, а Гена слушал, но не слышал. Он был обречен.

После окончания института я уехала далеко и надолго. Отягощенная собственной жизнью, всеми ее радостями и хлопотами, я потихоньку забывала свой город и школу. Это всегда так бывает в первые годы самостоятельности. Острая память детства приходит позднее. Но информацию об Аллочке я имела. Она шла из маминых писем.

«А Найдениха получила, чего заслужила, — писала мама. — Турнули ее муженька с работы, и давно пора... Зажрались они без совести, и то, и се им подай... Бога не признают, а он все равно есть... И кто что заслужил, тот то и имеет... Когда у всех черный хлеб, у них масло, а кур отборной пшеницей кормили... Рано или поздно, а лафа кончается... Аллочка твоя оказалась никудышным человеком, потому что так и не закончила институт, зато двоих детей уже нарожала. А платформы под этим нет... Кто ей будет теперь помогать, если папочка ее стоит ни в чем?»

«Заховали Найденова. (Это через какое-то время.) Плохой он человек, но все равно царство небесное. Хоронили хорошо. Было пять венков, и райком давал грузовик с ковром за старые заслуги. Приезжала Аллочка с детьми, но без мужа. Постарела! Спрашивала про тебя, я ей показала фотографию, где ты в белой шляпе возле лодки. Сейчас вас не сравнить, ты против нее Изольда Извицкая».

«Горбатая Глаша наложила на себя руки. Люди разное говорят, что жила она с покойником, любила его и решила пойти следом. А другие считают, что отказала ей Найдениха от места, а она слабосильная, и никто ее не берет... Жизнь и здоровому трудная, а про горбатого и говорить нечего... Так что, может, оно и лучше... Приезжала Аллочка, вот тут ничего не скажу, молодец... Все-таки Глаша ее и обстирывала, и обглаживала... Плакала сильно. Мы так поняли, что у нее не все в порядке. Боты на ней нечиненные, сбитые, и пальтишко, еще отцом справленное. Он ей нужен был, этот замуж в восемнадцать цветущих лет? Куда б он делся?»

«Аллочка твоя разошлась. Вернулась с детьми к матери. Это ж надо быть такому горю... Учишь вас, учишь, мучаешься, мучаешься, а потом к тебе же на голову... Вот когда она локти себе кусает. Найдениха берет теперь шить, а Аллочка устроилась в школу, в пятых классах преподает географию... Бога не признают, а он есть... Я им позычила тысячу рублей, но боюсь... Ходят слухи насчет реформы... В какую, интересно, она будет сторону и как они будут отдавать? Может, ты узнаешь и напишешь? Геньку Беспалова помнишь? Вот у него как раз пошла козырная карта... Работает где-то за границей и женился на дочери то ли министра, то ли маршала... Мать его, придурошная Клавка, за водой теперь ходит в лакированных лодочках... Она всегда была без ума, а лодочки на ее мозолях треснули...»

Когда я приезжала к маме, мы всегда встречались с Аллочкой. Наши дети играли в песке или катались на велосипедах, а мы сидели на лавочке, грызли семечки, лениво вспоминали того, другого... В их доме всегда стучала машинка, Аллочкина мама почти не поднимала своей облысевшей головы от шитья. В сущности, на ее работу жили, потому что Аллочка пыталась заочно кончить пединститут и часов в школе имела немного.

Все у них было по-прежнему. Ничего не прибавилось за прошедшие годы, висели те же бархатные портьеры, на буфете лежали те же дорожки ришелье, кровати оставались кроватями с шишечками, с марсельным покрывалом и накидкой на подушках. Послевоенный, сражавший нас напо-

вал шик истлевал потихоньку, и было по всему видно, что перемен в доме не предвидится. Неоткуда было им взяться. Правда, к ванне подвели водопровод и слив. Она так и стояла посреди кухни, и это уже выглядело глупо и неопрятно, а Аллочка сказала:

— Двое отпускных на канализацию ушло, прямо ужас...

Однажды, когда мы совсем разомлели на лавочке и отупели от семечек, калитка скрипнула, и хорошо одетый, весьма солидный господин шагнул во двор.

— Ой! — закричала Аллочка, стряхивая с груди семечную шелуху, и скорее по быстроте ее реакции, а не по чему другому, я сообразила: пришел Геня-Гена-Геннадий, как его там, Беспалов.

Он поцеловал нам грязные от семечек руки, вытер красивым клетчатым платком пот со лба, изящно поддернул на коленях красивые брюки и сел у наших ног на детской скамеечке.

И все вернулось. Был влюбленный парнишка, который преданно смотрел на Аллочку. Потрепанная жизнью, неухоженная женщина обретала былую красоту и уверенность в себе. Мне отдавалось привычное место прислужницы, субретки. Даже оружие во всю глотку наши дети стали тише и несколько растворились в пространстве, будто наконец осознали вторичность своего существования супротив нас, родителей и главных. Так начался второй этап этой любви. Геннадий приезжал каждый год в отпуск. Один, без жены и детей. Их он отправлял к теще. Он оставлял свою красивую импортную машину — их было несколько за все время — у матери, а торчал у Аллочки. Из чужих палестин он привозил ей фартучки на грудь, взбивалки для коктейлей, микроскопические открывалки для кока-колы, разноцветные губки для мытья посуды, цветные мелки детям, мониста из ракушек и прочую мелочь, от которой Аллочка в восторге закатывала глаза, потому что не имела для нее значения бессмысленность подарка. Она наполняла это дарение своим внутренним содержанием, а значит, цены всей этой чепухе не было.

Мы больше не пересекались с Геннадием во время его приездов, но Аллочка... Как она изменилась. Она стала даже лучше, чем была в детстве. Это была женщина, испившая до дна горечь и успокоенная тем, что все уже позади. В конце концов, горечь позади — это даже лучше счастья впереди. Какая разница, что будет завтра или через год... Было бы сегодня! А сегодня было таким, что не раздражали чужие, сшитые матерью платья, висящие на плечиках, не саднили душу переводы алиментов и бесконечный стон мамы по вечерам: «Что с тобой будет, когда я умру?»

Все это не слышалось, не виделось, потому что лежали на буфете цветные соломки для виски со льдом, инкрустированные прищепки держали на веревке столовые салфетки многоразового использования.

— Он построит там плотину, — горячо говорила Аллочка в мой приезд, — и тогда сможет развестись с женой.

Похорошевшая, вдохновленная, она снова стала нравиться мужчинам. Видимо, мужчины все-таки существа в себе абсолютно не уверенные. Им обязательно надо, чтобы кто-то другой утвердил их в том, что у них перед глазами.

Возник инженер по технике безопасности, скромный, хороший дядька, чуть прихрамывающий и очень этого стесняющийся. Он влюбился в Аллочку и сделал ремонт их дома, потому что давно прогнили половицы, перекосились рамы, осела дверь. Это он как-то исхитрился затащить ванну в самый угол и загородить ее полиэтиленовым пологом и таким образом придать кухне человеческий вид.

— Ну что ты! — махнула на меня Аллочка. — Зачем он мне нужен? Я подожду Геночку...

У нее стало что-то с памятью, потому что разговор теперь шел такой: они будто бы любили с Геней друг друга с детства, а этот подлец, этот авантюрист, этот брачный аферист — первый муж — сбил ее на какую-то секунду с толку, воспользовался ее девичьей, опять-таки секундной, слабостью, в результате которой мгновенно появилось двое детей, и только после этого она, Аллочка, очнулась...

— Ты не помнишь, — спрашивала я, — почему ты поехала в Одессу?

Аллочка смотрела на меня удивленно.

— Ты что, забыла? Там же была тетя! Я была малокровная, и мне нужно было усиленное питание...

Я поняла: нет ничего сильнее идеализма. Выношенная, дорогая тебе идея — все по сравнению с грубыми материалистическими фактами. Это они — мираж, иллюзия или что там еще... А идея? Идея — это истина.

Инженер по технике безопасности женился в конце концов на главном гинекологе нашего города. Злые языки говорят, что у них даже собака ест из серебряной тарелки, а то, что во дворе у них стоит «Мерседес», это можно было увидеть собственными глазами.

Какая же паскудная вещь — время! Оно не останавливается ни на минуту, даже если нам до зарезу нужно задержаться. Оно плюет на нас, наматывая годы с необходимой лично ему скоростью.

Мы с Аллочкой встретились уже возле могил наших матерей. Мы вместе красили оградки. Я писала ей письмо, предупреждала, когда приеду, а она разживалась за это время краской.

Количество же плотин... На мой взгляд, на земном шаре гораздо больше, чем нужно для счастья одного человека.

— Он такой специалист! — говорила Аллочка, размахивая необыкновенной красоты кисточкой из тех же самых чужих палестин... — Он просто нарасхват! Но это, может, и лучше... Дети наши выросли... Не будет им травмы... Ты же знаешь мою Марью...

Я знала ее Марью. Марью — моряцкую дочь... Это была большая, сильная, мосластая девица, она метала копьё почти дальше всех на Украине. И муж у нее был гиревик, и ребенка своего они бросили в воду, когда тому было две недели, по какой-то наимоднейшей педагогической методике.

— Скажите ей, тетя Валя, — говорила мне Марья. — Даже если он разведется — что еще не факт, — зачем ему старая баба? Кто это меняет старую на старую?

— Машенька, — не очень искренне отвечала я, — тут же любовь. Тут твоя логика бессильна...

— Любовь? Любовь? Ой, тетя Валя! Не смешите! Мать жалко, она же на самом деле его ждет...

Потом умерла и Генкина мама. Это случилось летом, когда я была там, ездила недалеко в командировку и не могла не заехать к Аллочке. Она жила уже одна, сын завербовался на Север, она никогда никуда не уезжала летом, боясь, что пропустит приезд Геннадия. Он регулярно присылал ей красивые открытки, но в них никогда не содержалось ни информации, ни чувства.

— Нельзя, — объясняла мне Аллочка. — У нас же грешная любовь, а в его положении...

Мы сидели с ней на маленьких скамеечках возле двух кирпичей, между которыми горел небольшой костерок, и ждали, когда на большой сковороде поджарятся семечки. Подсолнечные и тыквенные, они потрескивали и вкусно пахли, и мы хватали их прямо с огня, чтобы не дай бог не прозевать и пережарить.

— Алла Григорьевна, Алла Григорьевна, — услышали мы с улицы. — Слышали? Тетка Клавка Беспалиха возле колонки рухнула, синяя вся сделалась, захрипела — и с концами.

— Боже мой! — закричала Аллочка и посмотрела на меня так, что я поняла: значит, приедет Гена? Не может не приехать, раз такое горе. Нет такой плотины, чтобы дорогу ему перекрыла...

— Конечно, — ответила я вслух на немые ее глаза.

— Еще бы! — сказала она. И мы стали ждать Геннадия.

Старухи с улицы как-то обкладывали покойницу солью, жара ведь... Дверь почему-то держали закрытой... От мух, что ли? Мы сидели со всеми, мы уже прожили такие же скорбные часы в своей жизни, горько плакала Генкина сестра, но часто вскакивала и куда-то бежала: похоронить — не родить, хлопот куда больше...

Он вошел неожиданно, как всегда бывает, когда очень кого-то ждешь... Геня-Гена был уже полный, заматерелый мужик, с основательно обозначившимся пузом, с хорошо выраженной плешью, в темных безоправных очках. За его спиной уверенно стояла женщина в черном красивом платье. Она с нескрываемым интересом оглядела убогую квар-

тиру — родину известного строителя плотин — и, видимо, так мне показалось, даже присвистнула от удивления. Генкина сестра совсем завyla и стала биться головой о край гроба, ожидая, что ее оторвут от этого дела, но все пялились на приезжих, и пришлось Аллочке перехватить голову сестры, занесенную для очередного удара, и прижать к себе. Шишка у сестры была приличная.

Дальше все шло по правилам. И музыка в начале, и ба-тюшка в конце. Сначала громко, для общественности, а потом тихо, для души, потому что кто его знает... И были поминки, с обязательным борщом, и рисом без соли, и ведром компота, и водкой, и бесконечными разговорами о жизни там и тут, то есть в Союзе и странах, где плотины уже построены, строятся и будут строиться, потому что страны эти открывают, если верить телевизору, каждый день.

Подвыпивший Гена рассказывал, как ему надоело там и как он хочет домой, и все ему верили, потому что нет ничего лучше дома и не в шмотках счастье. Его жена сидела рядом с ним и курила одну за другой сигареты, ей было скучно, никто ее тут не интересовал. Генина сестра подсовывала ей меня, все-таки я тоже живу в Москве, журналистка, можно сказать, почти ровня. Но общения у нас с ней не получилось. «В Медведкове...» — «Плохое место, свиарником пахнет... Нет? Да... При определенном ветре...» — «Метро нет...» — «Уже есть...» — «Значит, я отстала...» — «Геннадий, в Медведкове, оказывается, уже метро есть...» — «Привет, уж сто лет...»

И вся пресс-конференция.

Потом я ясно слышала: Геннадий сказал Аллочке: «Скоро...»

Она несла грязные тарелки и была необычайно хороша в тот момент. Ей шел черный платочек, завязанный узлом на затылке, из-под которого выбились ее красивые золотистые волосы. И голые руки ее были загорелы и молоды, и щеки ее зарозовели как от выпитого вина, так и от того, что Геннадий был близко. И снова проявился закон мужской недоразвитости, ибо все мужики за столом начали пялиться на

красоту, предназначенную другому, и другой это сразу почувствовал и зауважал себя. И сказал Аллочке, когда она проходила мимо: «Скоро». Она посмотрела на меня так счастливо и гордо, а я подумала о том, что моряцкая дочь в папу — все-таки тупица. И слава богу! И только жена Геннадия на очарование Аллочки не прореагировала, она смолила и смолила сигареты и, в сущности, на этих поминках не присутствовала.

В день отъезда Геннадий забежал к Аллочке на десять минут, она сладко поплакала у него на груди сразу от всего — от горя, от радости, от свидания, от разлуки, и он сказал ей важное: все свои плотины он наконец поставил, вот кончает последнюю — и домой, навсегда... С женой у него полное понимание и договоренность. Они разводятся, и она переезжает к своим родителям (бывшему маршалу или министру), потому что надо быть идиотом, чтоб оставить пятикомнатную квартиру дряхлым старикам, которые не сегодня завтра... А ему, Геннадию, без всяких хлопот достается кооперативная двухкомнатная у «Сокола». Как только все оформят, он приедет за Аллочкой. А не сможет, даст телеграмму, чтобы приехала сама.

Он ушел, а Аллочка ходила по квартире и все что-то шептала и в конце концов совсем расстроилась.

— Даже не знаю, как я это все брошу? — сказала она, разглядывая совсем обветшалые портьеры, и кровать с тюлевой накидкой, и круглый стол, на котором всю жизнь лежала кружевная с бархатными цветами скатерть.

Пришлось говорить ей разные слова, и даже накричать, и сказать ей обидное, что не было у нее еще счастья, что всю свою жизнь — кроме детства — она горе мыкала, что у нее сроду двух рублей лишних в сумочке не лежало, и вот теперь, слава богу, хоть на излете жизни...

Я именно так и сказала — излете жизни. Именно глупое выпренное слово подействовало. Таков закон человеческого восприятия. Нужно что-то на грани идиотизма — тогда убеждает.

И Аллочка засобиралась.

Я получила от нее письмо, в котором, страшно извиняясь за хлопоты, она просила меня купить ей платье поприличней, какие теперь носят, «а то у меня — ничего».

Просьбы провинциальных знакомых купить что-то в Москве всегда некстати и всегда выводят из себя. Я подавила в себе раздражение в самом зародыше, я взрастила в себе ощущение миссии. Это должно быть необыкновенное платье, потому что оно для уникального случая. Завершения многолетней любви, прошедшей через плотины, замужества, женитьбы, смерти; любви, у колыбели которой я случайно оказалась и потом так и шла все время рядом. Я даже почувствовала вокруг себя некое легкое тепло, что должно, видимо, было означать: и мне от этой любви перепало, отгрызок ли, дуновение ли...

Короче, через знакомых и незнакомых мне принесли платье. Конечно, не наше... Конечно, из «Березки»... Конечно, за бешеные деньги. Бешеные деньги надо было от Алочки скрыть, и я, посоветовавшись с мужем, вложила в покупку ровно половину. Интересна реакция мужа. Травмированный приступом гипертонии, он сказал, что ему все до лампочки, хоть все из дома выноси. Но потом он как-то ожил, приоткрыл глаза пошире и спросил: «Ты что? Все еще веришь в эту затею?»

Пришлось мне подумать о том, что жизнь я прожила с человеком с примитивными чувствами, от чего захотелось поплакать, что я и сделала, разложив на диване голубое с отливом, схваченное в талии ремешком, с присобранными на груди складками, с мягкими подплечниками, нежнейшее на ощупь платье. Я уже видела его на Алочке, я любовалась ею, я перестала плакать, вдруг испугавшись: а есть ли у нее туфли? Ведь какие попало под это платье не наденешь...

Потом была отправка платья с проводницей поезда, я ходила вдоль состава и искала лицо, внушавшее доверие. Казалось естественным украсть такое платье, а что бы это была за примета? Ужас!

Платье благополучно доехало, Алочка прислала мне названную ей цену, восторженно благодарила и сообщила число, на которое назначен развод. Оставалось три недели,

и я собиралась за это время привести в порядок кухню. Ведь Аллочка и Гена придут в гости, мы сядем на кухне, а у меня потолки закопченные...

Но все случилось не так. Попала в больницу дочь, пришлось ехать к ней в Челябинск, выхаживать ее, взяв очередной отпуск. Забыла я про свою подругу! Не до нее мне было, у дочери гемоглобин до пятидесяти единиц не поднимался, я была перепугана до смерти.

Выходила дитя, вернулась, сама загремела с кризом, едва выкарабкалась. Господи, подумала, что ж там с Аллочкой?

Телефона у нее не было, телефона Геннадия я не знала, был телефон моряцкой дочери, живущей в Донецке.

И я позвонила.

— Тетя Валя! — закричала Марья. — Привет! Вы про мать хотите знать? Уже ничего...

— А что с ней было?

— Как что? Замуж ее не взяли... Ха-ха! Что я вам, дурам старым, говорила? Этот ее любовник так и не появился... Как и не было! Хорошо, что мать не все успела продать... И не выписалась... Она его ждала, пока в психушку не попала... Теперь ничего... Я ей внуков подкинула... Брат с женой приехал. Их там много. Они ей не дают задумываться.

Я попросила в те края командировку.

— Оградку красить? — спросил редактор.

Аллочку я не узнала. Немытые волосы, неостриженные ногти, несвежий халат — все это ерунда. Помыть, постричь, постирать — дело элементарное, что мы с ней тут же и сделали. И ничего не изменилось. Чистые золотые волосы были мертвы и перестали виться. Они висели прямыми, какими-то унылыми прядями, и с этим уже ничего нельзя было сделать. Глаза Аллочки были какие-то невидящие, как будто их начинала исподволь покрывать какая-то пленка, и оставалось ей раза два туда-сюда, чтобы закрыть навсегда голубизну, и яркость, и свет. Глаза, как говорится, шли к концу. Все ее лицо собралось и сжалось в каком-то каменном затвердевшем подбородке, отчего казалось, что Аллочка все время сдерживает то ли стон, то ли крик.

Оглушительно пахло цветущей акацией. Я тянула носом и, независимо от ситуации, испытывала счастье. Пахло нищетою, войной, голодом, но все равно детством, твоим единственным, которое бывает раз и навсегда. Что-то, видимо, отразилось у меня на лице, потому что Аллочка сказала:

— Помнишь, как мы ели акацию?

— Ты не ела, — засмеялась я, — ты боялась червяков.

— Разве? — удивилась Аллочка.

— Дать попробовать? — Я нагнула ветку и сорвала кисть.

Мы осторожно, разглядывая каждый лепесток, брали акацию в рот. Не надо было этого делать, потому что Аллочка тут же все выплюнула, а я хоть и сглотнула, но тоже ничего не почувствовала и расстроилась, как будто разбила или сломала долго хранимую, дорогую для памяти вещь.

— Он хотя бы написал... Так, мол, и так... Но ни словечка... Я кровати продала, буфет... Думала, а вдруг он умер? Побежала к его сестре. А та мне его письмо показывает, в тот день получила... И так на меня посмотрела...

Аллочка плакала долго и громко, вокруг нас мрачно бродили сын и невестка, готовые, видимо, прийти на помощь. Испуганно тарасились внуки. Потом она утихла, вздохнула и сказала невестке:

— Оля, надень платье. Пусть Валя посмотрит, как на тебе сидит.

Вышла Оля в том самом платье. И было оно ей к лицу, и была молодая женщина этим счастлива.

И пахло весной, и пахло, пахло, пахло акацией.

Точки жизни и точки рассказов, как правило, не совпадают. Я оставила Аллочку чуть в лучшем состоянии, чем нашла. «Ей надо было поплакать, — сказала мне Оля. — Слезы в горе — лучше всего».

Муж мой всласть посмеялся над бабами-дурами, повторяя целый вечер: «Что я тебе говорил?»

И вот однажды на рынке я увидела Геннадия. Я обратила внимание на хорошо упакованного господина, который выбирал орехи. Взяв две орешины в руку, он сжимал их до треска, а потом, старательно и задумчиво выбрав нутро, жевал. Он не видел меня, и я пошла за ним следом, с удоволь-

ствием — не скрою — наблюдая, как он пробовал кислую капусту, и творог, и украинское сало, и маринованный чеснок. Была в его неспешных движениях уверенность и сила обеспеченного, независимого и одинокого человека. И деньги он доставал спокойно, и сдачу брал несуетливо. Возле рынка его ждала машина, которую он открыл без умиленной самодовольности, так свойственной почти всем нашим машиновладельцам. Всю жизнь, бывает, ездят, а так и не перестают удивляться, что владеют — еж твою двадцать! — собственными колесами. О, эта отхаркиваемая нами приниженность и бедность, сколько еще лет, десятилетний жить тебе в каждом из нас?

Геннадий уехал, а я осталась со своими сумками, а когда вильнула его машина в переулочек, я вдруг поняла его и простила. Вот что я поняла.

Он ведь сам не знал, что мечтал развестись не просто с козырной женой, а со всей выпавшей на его долю судьбой, со всеми этими чужими плотинами, не нашими странами, со всем, что ему щедро отвалила жизнь. Как это в песне Высоцкого? «Открыт Париж, но мне туда не надо...» Гене тоже туда было не надо... Но кто в наше время отказывается? Мы ведь какие? Мы конформисты. Нам хочется то, что надо всем. Нам бы чтоб как у людей. Это неважно, что я люблю пшеничную кашу и люблю ходить босиком. Я, скромняга обыватель, сроду не признаюсь в этом.

Я поставлю дома стенку, как у всех. Я заведу собаку, чтобы выводить ее по утрам и лечиться от аллергии. Я буду запикивать всеми правдами и неправдами свое дитя в МГИМО. Я буду зубами рвать поездку за рубеж, иначе какая мне цена? Ограниченные в выборе, закомплексованные примитивностью и скудностью своих желаний, скучно живущие... Но когда на нас сваливается пруха... О!!! Мы балдеем, как говорят наши дети, и хватаем ртом, руками всем то, что бывает нам и противопоказано. И Геночка Беспалов поступил так, как поступила бы, наверное, и я. Он тоже взял предлагаемый сладкий дефицит...

Что же такое была в его жизни Аллочка? Любовь? Да нет же, люди, нет! Она была инъекцией для диабетика. Он

припадал к тому, в чем когда-то была естественно счастлива его душа, — к первой юношеской любви. И ему легчало. Он жил, перекладывая престижные, валютные годы месяцем, наполненным акацией, жареными семечками, простой женщиной, такой недоступной вначале и такой податливой, а значит, вдвойне желанной потом. А когда случился развод и не стало никаких плотин, умерло и то, от чего так остро нужна была инъекция...

Я просто живо увидела стоящий в углу его прихожей спиннинг, и запотевшую водку в «Розенлеве», и махровый халат, в котором он одиноко сидит перед видеомангитофоном. Ему ничего не надо. Он пуст и счастлив. Он у себя один.

Могла ли она знать, милая моя подруга, что они существовали только вместе — Аллочка и плотина. Разве придет такое нормальному человеку в голову?

На Цветном бульваре, возле рекламы фильма «Ступени супружеской жизни», я отпустила Геннадию его вольно-невольный грех.

Прости меня за это, бедная моя Аллочка.

ДЯДЯ ХЛОП И КОРЯКИН

Сказал бы кто Фролову, что такое с ним случится, не поверил бы... Хотя, конечно, подумать, что никакого беспокойства у мужика не было, когда он на старости лет решил жениться, тоже нельзя. Все-таки до сорока трех жил как перст, и хорошо жил, между прочим. Работал фотокором в газете, там два рубля, там три, там полтинник — набегал гонорар. Сумел построить однокомнатный кооператив, отдал за него долг до копейки, купил в квартиру диван, письменный стол, на кухню полки, опять же стол с табуретками. Что еще человеку надо? У военных по случаю разжился хорошим полшубком — считай, дубленка. Костюм, обувь на работу и выход тоже есть. Все-таки стоящее это дело — человек непьющий. Вполне можно к старости сформировать жизнь по-человечески... Фролов непьющий, что для фотокоров ред-

кость. А вот женат не был. И не хотел. Боялся. То есть боялся смолоду, очень робел перед женщинами. Видимо, частично это происходило от специфики работы Фролова. Все-таки женщин он видел всяких и во всяком. И когда он смотрел на них через объектив своего аппарата, он все про них понимал сразу и навсегда. Какой у нее характер и как она утром затылок скребет. Какие слова говорит, а какие в уме держит. Многие Фролов понимал. Потом женщины «возникали» у него в ванной, всплывали, как из пучины морской. Еще ничего нет — и вдруг откуда-то глаз... И такой этот глаз очевидный, так все по нему прочесть можно, что Фролов дал всему женскому полу отрицательную оценку и вынес этот пол за скобки своей жизни. На старости же лет, на сорок четвертом году жизни, когда под полушубком уже округлилось пузо, а под кроличьим треухом засветилась плешь, случилась у Фролова женитьба. И так быстро случилась, так моментально, что сообразить он не успел, а уже спала на его диване рядом с ним женщина и пиналась ногой, стягивая с него одеяло.

Все было чин чинном. И заявление в загс было, и три месяца ждали, но уж очень быстро время прошло.

Конечно же, Валу он никогда не фотографировал. Он ее нашел, можно сказать, на собственной работе. Они сидели в одном здании — редакции и организаций «Скотооткорма» и конторы по борьбе с древесными жучками. А туалет был общий. Сначала мужской, а потом женский. Мужчины у туалета курили, а женщины ходили мимо. Неудобная раскладка, но что делать? Курить хочется? Хочется! Туда надо? Надо...

Фролов заметил: эта женщина из «жучковой» конторы подойдет к туалету и, если там куряки стоят, идет выше, будто ей надо в «Скотооткорм». А ей не надо, ясное дело. Просто она стесняется. Это понравилось Фролову. Он отметил это качество знаком плюс, потому все остальные женщины из трех организаций помечены в этом отношении знаком минус.

Получали праздничные заказы. Организации для этого дела кооперировались. Не хватило на всех мандаринов. Сце-

пились женщины в борьбе так, что можно подумать, что это война, карточки и последняя пайка хлеба. Она же — нет. Обошлась без мандаринов. Спокойно так, без крика. Это тоже понравилось.

Потом отключили в их здании свет. Ну! Начался цирк и баня, как говорил их общий для всего здания завхоз. Визг, писк. Какие-то свечки, тени по стенам. Фролов-то к полутьме привычный, у него такая специфика работы, он ходил спокойно, все видел. Женщины трех организаций стали зачем-то выскакивать из комнат и наткаться на мужчин. Фролова аж затошнило от этих горелок. И вдруг видит, крадется по стеночке Валя, тихо, тихо, чтобы никого не задеть. Так и ушла бесшумно, только в самом подъезде дверь хлопнула. И Фролов подумал: все другие женщины тоже могли уйти, им же по-русски сказали: света не будет. Они же вроде только этого и ждали — темноты, чтоб разыграться. А немолодые уже женщины, почти всем за тридцать. У многих дети. Одним словом, положил Фролов глаз на Валентину как человека положительного. Не больше того. Работает, мол, в здании одна-единственная женщина, у которой не заскоружла совесть.

Внешне Валентина была не фотогенична. И это тоже понравилось. Эти фотогеничные... Может, от них все и зло...

Потом выяснилась еще одна симпатичная деталь. Валя жила за городом и ездила на работу на электричке. Фролов же ходил на работу через дорогу. Теперь каждый раз, пересекая улицу, он думал о том, какие она преодолевает трудности, как бежит утром к определенному времени, опаздывает, задыхается от бега, как тяжело дышит потом в вагоне, и хоть бы кто место уступил.

Было что-то во Фролове партизанское, видимо, от отца, который воевал в Белоруссии, только никто и не заподозрил, что ведет он тихое свое дознание. А он как-то зашел к «жучкам» вроде за спичками и узнал, что у Валентины — ребенок, дочь шести лет. Зовут Оля. Мужа как такового нет. Ну, что ж... К своему брату мужчине у Фролова тоже были претензии. Он знал, что его брат очень разбаловался последнее время. И по части выпивки, и по части фотогенич-

ных... Много стал мужчина позволять себе не мужского: и предать может, и соврать, и в склоку ввязаться. Калибром современный мужик стал помельче. Так что, даже не зная ситуации в случае с Валентиной, Фролов благородно взял ее сторону. Допускал, что мог ей попасться пустой человек. Однажды они вышли из здания вместе. Не совсем случайно, конечно. Фролов выход Валентины прохронометрировал. А вот ручка у сумки Валентины оборвалась в тот день случайно. Фролов ее не подрезал. Заохала женщина, что ей делать, хоть оставляй все, ей печенка попалась говяжья по госцене, она же вся закроется, если ночь полежит без холодильника. И сказал Фролов Валентине:

— Давайте зайдем ко мне. Я живу через дорогу, дам вам свой кофр, вы все переложите, а я вам ручку пришпандорю.

— Хорошо как у вас, — сказала Валентина у него дома, но без захватнической интонации.

Другие женщины, возникавшие в квартире Фролова, автоматически ногами мерили кухню и мысленно расставляли в ней мебель. Это видно сразу, и Фролов такую женщину старался тут же проводить до троллейбуса или трамвая. Эта же — ничего. «Хорошо», и все. Порадовалась за Фролова. И чай пить отказалась — тоже плюс. По мнению Фролова, настоящая женщина должна до трех раз отказываться от всего, что их брат предложит. Только с четвертого раза можно давать слабину.

Валентина в коридоре же переложила все в сумку Фролова, и он пошел ее проводить, потому что сумка была будь здоров. Он, конечно, по специфике работы привык к тяжести, но и то почувствовал.

В электричку Фролов садиться не собирался, а сел. И эта неожиданная лихость (без билета же!) заставила его посмотреть на ситуацию иначе. Он понял, что у него серьезные намерения.

Она же продолжала потрясать его тем, что вела себя так, как должна вести женщина с высоким знаком качества.

— Давайте зайдем, — сказала она. — Я все выложу и отдам вам вашу сумку.

Зашли. Неказистый деревянный домик с покосившейся антенной, мать, тихая такая бабушка. «Садитесь, пожалуйста». Газетку ему под ноги сунула, чтоб не наследил. Оля — девочка беленькая, спокойная.

— Познакомься, Оля, это дядя Фрол...

Надо сказать, что в редакции все Фролова звали Фрол. И он за многие годы привык. Фрол так Фрол. Но тут его немножко, чуть-чуть, ущемило, что она имени его не знает. А с другой стороны — снова прибавило ей плюс, что не вела следствие, не выясняла, кто он и что! Хотя должна была бы обратить внимание на подписи. Фото А. Фролова. Но она ведь может не читать газет. Зачем ей? Фролов давно убежден, что газета — это игрушка, в которую играют журналисты и руководящий состав. Людям же простым, когда есть радио и телевизор, газета не нужна. И еще Фролов заметил: люди все, что им надо, и так узнают, пока на работу едут. И кого сняли, и кого назначили, и кто проворовался, а кто стал верующим. Потому то, что Валентина их газету не читала, криминалом в глазах Фролова не было.

В общем, дали ему его же сумку в руки — и ступай с газетки.

Но тут Валентина полезла смотреть в расписание электричек — хороший поступок! — и ахнула. Оказывается, именно в эти дни по вечерам проходили какие-то работы на дорогах, и теперь ближайшая электричка должна была пойти только через два часа.

Раздели его. Посадили ужинать. На ужин подали жареную картошку с домашней квашеной капустой и кисель из магазинного компота в банках. Еще порезали колбасу, но Фролову эта колбаса из превращенных в атомы крашенных костей так надоела, а картошка была так грамотно пожарена и чесночком приправлена, что колбасу так и спрятали в холодильник «Север» нетронутой, а Фролов подумал: скромно живет семья, более чем...

Потом разговаривали про то про се. Женщины очень сочувственно отнеслись к тому, что Фролов сам построил себе квартиру, но опять же ни намек на захват...

Услышал Фролов в их суждении от собственной жизни удовлетворение. Все, мол, у них хорошо. Домик еще постоит. Слава богу... А если их улицу будут сносить — ходят такие слухи, — то им на троих дадут двухкомнатную, что просто замечательно. «Вообще, — сказала бабушка, — хлеб вольный, что еще человеку надо? Раньше жили хуже...»

Понравилось это Фролову, потому что в редакции окружал его разговор, так сказать, обратный. Все, мол, хуже и хуже... Сам он, как и бабушка, так не считал. Не в подвале, не в опорках, кино у всех на дому, да удовлетворитесь вы, люди! Поблагодарите Бога там или советскую власть. А все на него — дурак ты, Фролов, что от опорков считаешь... Давай еще от бизоньих шкур и кострищ. Тогда мы сегодня со всем в раю.

Фролов спорщиком не был. Не держал он на каждый чужой выкрик своего слова под языком. А мысли были. Он был убежден: надо бы человеку в претензиях окоротиться. Взять и чуток порадоваться тому, что у него есть... А чего нет, если уж немоготу, спокойненько заработать, построить или что там еще... Без ору, без криков. Вообще во всем, во всей жизни и работе без ору и криков. Без починов и начинаний и всяких там девизов «пять в три», «три в два» и так далее. Фролова специфика его работы, надо сказать, доконала. Героев на первую полосу он уже видеть не мог. Тем более что никто, как он, не знал, какая это все лажа... Брехня в смысле...

В общем, понравилось Фролову у Валентины. Плохо живут, а не обидчиво. Скромно.

Дома он починил ручку у сумки. Когда на следующий день пересекал улицу, идя на работу и держа в руках эту самую сумку, чувствовал себя как-то очень хорошо, светло. Но тут вспомнил, что сама Валентина в этот момент где-то там придавлена в электричке, как-то сразу расстроился, заперезживал, даже виноватым себя почувствовал. Живу, мол, как барин, а хорошая женщина мается...

А тут случился грипп. Фролова подкосило, да как-то очень сильно. Лежит дома с температурой тридцать девять, кости так крутит, что не встанешь на ноги, просто полный

абзац. В буквальном смысле воды подать некому. Да что воды? Он лежит, как идиот, и перейти улицу и сообщить, что он не в состоянии снимать в номер очередного героя, тоже некому. За неявку на работу быстрый на расправу редактор объявил Фролову выговор, только на третий день кто-то задал человеческий вопрос: а не случилось ли что с фотокором?

Но это же надо идти к Фролову домой, а тут у всех номер, верстка, правка, сразу не собрались, одним словом... И тут приходит эта женщина из «жучков» и говорит, что лежит Фролов в тяжелом состоянии. Редактор тут же велел организовать круглосуточный пост, но женщина сказала: «Не надо». И все облегченно вздохнули.

Пока Фролов болел, а потом выздоравливал, Валентина ходила к нему, кормила, убирала. Он ей был благодарен даже не столько за это, а за то, что она сообразила, что он заболел, и пришла, и звонила, звонила в дверь, пока он по стеночке до нее добрался. У него даже сил не было крикнуть: «Иду, мол...» Он едва замок в двери повернул, такое бессилие...

Сразу после его болезни и подали они заявление в загс. Валентина сказала, что выписываться из своего дома не будет, ходят все-таки слухи, что будет снос... Зачем же перспективную квартиру терять? Дочка будет жить у матери, садик рядом, и школа рядом, чего ребенка дергать?.. Фролов же ей твердо сказал: он ничего против Оленьки не имеет. Но было в таком решении Валентины и что-то ему приятное. Какая-то ее осторожность ли, деликатность...

А через месяц случилась беда. Заболела воспалением легких девочка, и положили ее в больницу. Две недели Валентина жила там, а потом, когда дочка стала выздоравливать, вернулась. Спала как мертвая от усталости. На воскресенье поехала к матери делать генеральную уборку: в понедельник Олю выписывали. Фролов тоже с ней собирался, но у него случилось срочное задание, и он поехал в район кого-то там снимать на первую полосу.

Валентина с матерью выскоблили и проветрили дом, а потом решили хорошо его протопить, чтобы ребенок из

больницы попал наконец в человеческие условия. Протопили, легли спать и угорели. Насмерть.

В больнице оказались хорошие люди — оставили девочку у себя, пока похороны, то да се...

Как все прошло, Фролов помнил плохо. Потому что было ощущение, что он в это не включился. Куда-то ходил, что-то делал, сам себе чужой. Уже возле могилы его стали толкать в спину, чтобы он поцеловал Валентину. Не мог сообразить — зачем? Но подошел ближе к гробу. Увидел незнакомое лицо, ничего общего с той женщиной, которую знал. Получалось, что хоронил чужую. Зачем же целовать? Так и не смог, постоял, посмотрел и отошел.

В выскобленном, чистом доме, в котором даже после всех сквозняков пахло чуть-чуть сладковато, состоялись поминки. И тут Фролов стал потихоньку приходить в себя от недоумения. Очень странный шел вокруг разговор. Чтобы его понять, надо сильно сосредоточиться, а для начала прийти в себя.

Родственники, человек восемь-десять, почему-то все друг дружке доказывали, какие они все без исключения далекие покойницам люди... То, что называется — последняя вода на киселе. В подтверждение этой странной для такого случая мысли некоторые, оказывается, случайно прихватили с собой документы. И этими бумажками будто невзначай тыкали Фролова. «Ты поглянь, поглянь, — говорила сестра бабушки, — у нас и фамилии-то разные... А ты говоришь — сестра».

Да ничего Фролов не говорил ей про это!

Он же сидел как замороженный.

— А я вообще не отсюда, — доказывала другая, помоложе. — И вообще у нас там климат очень гнилой...

Дурак дураком сидел Фролов, но слегка оживать начал. В глубине души Фролов был человек любознательный. Его эти родственники, которые только что не в волосы вцеплялись друг другу, доказывая, что они — самые, самые дальние, заинтересовали. Ну, спорили бы они, кто ближе, тогда понятно, какое-никакое барахлишко, а осталось от покойниц. И дом... Есть резон побазарить... Правда, Фролов тол-

ком не знал, собственный этот дом или казенный... Ему-то это без разницы. Но бороться за то, чтоб считаться чужим, такого он сроду не видел.

И тут его озарило. Он вдруг понял, чего боялись эти люди: кому-то из них придется забирать из больницы Олю. Ради этого они и документы прихватили. «Ах вы, собаки! — в общем-то беззлобно подумал о всех Фролов. — Ах, собаки!» Видел Фролов и другое: они его по взглядам считают «своим» и тоже защищают. «При чем тут он? — кричал двоюродный брат Валентины. — Он вообще тут без году неделя».

И тогда выступил старейшина всего этого действия, какой-то там исключительно далекий всем дедушка. Он сказал, что у ребенка есть отец. Что от отца этого шли алименты. Что девочка носит его фамилию. Так что нет предмета спора. Надо отбить телеграмму... «Как его?» «Корякину, Корякину!» — закричали последние на киселе. «Корякину отбить, — повторил старейшина, — и пусть он забирает свою дочь. А пока суд да дело, то, наверное, каждый не будет против...»

Дедушка не кончил говорить, а все уже платками повязывались, пальто напяливали. «Правильно, правильно, и как это мы сразу? Есть же Корякин». И тут всех ветром сдуло.

Все Фролов сделал сам. Посуду помыл, вытер, в шкафчик поставил. Пол подмел. Скатерку на крыльце вытряхнул и сунул в свой кофр, чтобы отнести в прачечную. Выключил свет, перекрыл газ и поехал домой.

Возле дверей квартиры на попа была поставлена широкая тахта, которую они решили купить с Валентиной вместо дивана. Он совсем забыл, что именно на сегодня заказана доставка. На тахте лежала бумажка «Позвоните в 27». Он позвонил, вышел мужик в пижаме и майке со спущенной, оттянутой лямкой.

— С тебя шесть рублей, — сказал он сразу. — Они тут орали, пришлось заплатить. Три по бумажке, три сверху.

Фролов отдал шесть рублей. Самому втаскивать тахту в квартиру оказалось трудно. Корпел он над этим долго. Попросить же соседа постеснялся. В конце концов, видел же мужик, что тахта стоит на попа и что надо ее поставить на

место? Видел, но сам не вышел. Зачем же просить и нарываться? Фролов все-таки справился, втащил это одоробло. Тахта оказалась очень широкой и по расцветке нахальной, она заняла половину комнаты и была теперь Фролову абсолютно ни к чему.

Лег он на свой старенький диванчик и удивительно крепко уснул, все-таки намаялся за эти дни.

Проснулся же рано, и первая его мысль была о Корякине, которого он знать не знал, ведать не ведал, а вот едва проснулся, глаза открыть не успел, а в мыслях — Корякин. Фамилия оказалась подходящей, распяла она фроловские мозги, аж больно стало. Ну а потом следом за этой самой болью пришло беспокойство: девочку-то, Олю, надо из больницы забирать. С ним договор был, с Фроловым, что как, мол, все закончится, то ее и выпишут.

Пошел Фролов к редактору отпрашиваться, тот весь аж затрясся: сколько, мол, можно? Три покойницких дня вы, Фролов, уже имели, теперь же имейте совесть! На первую полосу нечего ставить, требования к печати возросли, во всю идет принципиальная критика, в противовес же ей нужен оптимистический иллюстративный материал, чтобы был баланс того и сего, а у вас, Фролов, получается, личные дела все застят?

— Дитя из больницы надо забрать, — бубнил Фролов. — Обещал...

— Попросите женщин из «жучков», все равно целый день вяжут, — нервно закричал редактор, на что Фролов твердо сказал:

— Это же мои проблемы...

Договорились так. Фролов быстренько с соседнего завода сварганит оптимистический фоторепортаж, а потом займется своими делами. Оказались рядом сотрудники, все они слышали, качали головой. «Ты, Фролов, дурак... Оно тебе нужно, чужое горе?.. Какой ты ей родственник?..»

Смолчал Фролов. Не станешь же рассказывать про то, как все родственники отползали вчера, можно сказать, за демаркационную линию. Не вспомни тот старик Корякина, могло бы дойти до того, что объявили бы себя родственники

другой расой. Какими-нибудь мбундунцами или овимбундунцами, чтобы только подальше числиться. Но он-то, Фролов, слава богу, русский и даже, по темноте бабки, крещеный. Так что никаких ему женщин из «жучков» не треба, он сам... Взял такси и привез Олю к себе. Посадил на широкую тахту и сказал: «Живи пока...»

Девочка молчала весь вечер. Отказалась есть. Фролов не знал, что делать, и метался по кухоньке. У него просто паника случилась. Вспоминал себя ребенком, чего ему тогда хотелось в первые послевоенные годы? Не мог вспомнить. А потом вдруг вспомнил. Молочный кисель! И даже вспомнил, как он его захотел. Мать ему читала сказку, и были в ней слова про «молочные реки и кисельные берега». Ему возьми и представься все это... Бежит белая такая речка, вся в бурунчиках, и берега розово-осклизлые, которые можно откусывать губами... Представлялось, представлялось, а вылилось в ор: «Хочу молочного киселя!» И мать ему сварила... И он не мог тогда дождаться, когда кисель остынет, у него просто спазм в горле возник от страстности желания.

— Хочешь молочного киселя? — спросил Фролов на всякий случай Олю.

— Хочу, — тихо сказала она.

Она хорошо поела, а Фролов сидел рядом и ложкой выскребал остатки киселя со дна и стенок кастрюльки. И так ему почему-то хорошо стало, будто благодать нашла. «Ах ты боже мой, боже мой», — бормотал Фролов.

Но спать в эту ночь он уже не мог. Он лежал и думал о том, какая невеселая история с ним приключилась и надо теперь писать Корякину. Девочка спала и во сне всхлипывала, и этот ее всхлип, слабый и жалкий, напомнил Фролову Валентину. Та тоже ночью всхлипывала. И он ее именно в эти минуты больше всего жалел и любил.

Вообще надо сказать правду. Когда Валентина уже переехала к нему, он остро об этом пожалел. Во-первых, его сразу этот запах, которым были пропитаны ее вещи, — запах разных химикалиев против древесных жучков. Висело на вешалке пальто и воняло на всю квартиру, а Валентина сказала: «Я не чувствую». Именно пальто было противней все-

го. Поэтому он приходил с работы и первое, что делал, раздражался. И хоть по природе своей Фролов был человеком смиренным, тут его бешенство как волной накрывало. Хоть «караул» кричи. Но он, надо отдать ему должное, не кричал, только все ему становилось уже не так. Валентина, например, сначала ставила горячее, а потом начинала нарезать хлеб. А он привык, чтобы до всего был нарезан хлеб, соль, горчица поставлены, стакан для чая приготовлен. Тогда можно ужинать спокойно, последовательно, не отвлекаясь. Опять же — мытье посуды. Фролов сначала мыл ложки, ножи, вилки. Потом стакан, после уж тарелку. А Валентина все бухала в мойку вместе. В общем, тяжелые вечера получались у Фролова. А вот ночью, когда женщина начинала всхлипывать, у него вдруг откуда-то прорывалась нежность, и он мечтал, что купит ей новое пальто и найдет другую работу, бедняга же все время с химией этой проклятущей. И просыпался он утром с хорошим чувством, и хоть Валентина по утрам красоткой не была — щеки мятые, глаза запухшие, — все равно утром было легче, чем вечером. Даже от пальто не так разило.

Но все-таки сказать, что Фролов обрел нечеловеческое счастье, женившись на старости лет, было бы преувеличением. Счастьем не пахло. Как бы там сложились у них отношения в будущем, сказать трудно. Всякое могло быть...

Теперь же спала на дурацкой тахте девочка, нежно всхлипывала, сердце Фролова щемило, и спать он не мог. Встал и пошел на кухню. Сел на табуретку и стал смотреть в ночь. Где, интересно, этот Корякин? И кто он вообще? Валентина никогда ему про свой первый брак не рассказывала, а он не спрашивал. Такие они люди, молчуны по части личной жизни.

На следующий день, оставив девочку одну, побежал Фролов на работу оформлять отпуск. И туда ему позвонила седьмая вода на киселе и стала возбуждать его вопросами, написал он Корякину или нет? И что он себе думает вообще? Был в голосе этой воды на киселе почти невыразимый оттенок ли, намек ли, что он, Фролов, чуть ли не присваивает себе то, что ему не принадлежит. И даже некое превос-

ходство, что они, кисели, себе этого не позволили. Попросил Фролов редакционную машину и махнул за город. Отпер дом, вошел. Все так же в нем сладковато-приторно пахло. С робостью и стыдом одновременно стал искать в комодe корякинские следы. И нашел, быстро довольно. Была такая сумочка без ручек и замка, бельевой резинкой связанная. Там лежали письма и корешки от переводов. И фотография мужчины, без надписи. Мужчина как мужчина, смотрит прямо, тупо, лицо не фотогеничное. Фотография шесть на девять. Взял он всю эту сумочку с собой, чтобы дома разобраться. Затормозил возле детских игрушек, взять — не взять? Испугался, вдруг они дитю беду напомнят? Но на машине заскочил в «Детский мир», купил куклу с негнушися ногами и заводную обезьяну на качелях. В конце концов, Корякин не завтра приедет...

Оля так и сидела на тахте. Просто удивительно, какой безропотный ребенок. Но кукле обрадовалась очень, просто замерла от счастья и едва выдохнула:

— Спасибо, дядя Хлор...

Такая была радость у ребенка, что поправлять ее он не осмелился. Ведь и Валентина его называла Фролом, а когда узнала, что он Андрей Иванович, то очень удивилась. А почему, собственно, ему не быть Андреем Ивановичем, если его так называли? Но пусть будет Фрол... Не в этом дело. Ну а то, что ребенок назвал его Хлором, не беда... Выучит правильно, пока Корякин приедет.

Читать письма Фролов не хотел. Стыдно было. Он хотел по штампам определить, какое самое последнее, и именно по последнему адресу написать Корякину. Ведь адресов несколько. Но ни черта нельзя разобрать на штампе, пришлось лезть в конверт. Тут Корякин надежды оправдал. Он ставил даты, отделяя цифру от цифры жирной точкой. Стараясь не задевать глазами слова, Фролов искал самое последнее, самое свежее письмо. Но глаза подводили Фролова, они схватывали не только слова, а целые фразы, абзацы. Это было нетрудно, потому что корякинские письма коротенькие, буквы кругленькие, слова хлесткие.

«Наш брак оказался в полном смысле этого слова».

«Был бы еще сын, а девчонкой мужчину не заарканить».

«Хорошо живу, тебя не помня».

«Насосала ты меня до восемнадцати лет...»

«Хотела сразить меня фоткой? Смеюсь я с вас, баб...»

«Женись хоть на попе и работнике его Балде...»

Это благословение пришло Валентине полтора месяца тому назад из Челябинской области.

Странное ощущение возникло у Фролова от выстреливших в него цитат. С одной стороны, он Корякину, как это ни странно, сочувствовал. Он понимал, как должно быть погано мужику, если с женой у него не заладилось и пришлось рвануть с югов на север... С другой же стороны, он его осуждал за это его «насосала до восемнадцати лет». Это нехорошо. Не по-мужски... С третьей же стороны, вызывала недоумение Валентина, которая будто бы продолжала к Корякину вязаться, а это уже не по-женски... Была и четвертая сторона, жалость... К ним обоим... Дурачок ты, дурачок, Корякин, до сих пор небось лаешься, а она уже в могиле... Эх, Валентина, Валентина... Что ж у тебя за судьба такая, незадачливая... Неумеха ты неумеха... Тридцать с лишним лет прожила, а печку топить не научилась. В общем, много разного было в душе у Фролова. Поэтому он решил чуток подождать с письмом, чтобы написать точные слова.

Девочка же постепенно привыкала. Называла его «дядя Хлор», а он уже стеснялся ее поправить. Ходили они вместе в магазин, девочка становилась в очередь, а он шел в кассу. Сводил ее на мультяшки, на обратной дороге зашли в редакцию. Парень на договоре, который заменял Фролова, как раз в этот день допустил ляп, и редактора вызвали в обком для объяснений. Знатного на всю область токаря он в подписи назвал механизатором и дал ему фамилию недавно только умершего инструктора обкома. Парень показывал Фролову, как это получилось. Просто все данные у него были на одной страничке блокнота. И на токаря, и на механизатора, и на инструктора, которого он переснимал с личного дела для некролога.

— Разве ж всех упомнишь? — сокрушался парень. Фролов показал свою систему, безошибочную систему, в кото-

рой фиксируется и день, и час, и случай, по которому идет съемка, и номер пленки и кадра и — никогда-никогда! — на страничке блокнота нет больше одной фамилии.

— Выгонят? — спрашивал парень.

— Скорей всего, — честно ответил Фролов. — Когда пуганица с покойником — это последний случай...

Вернулся редактор. Подписал приказ об увольнении, а Фролову сказал:

— Отзываю из отпуска. — Увидел девочку: — Дочка?

Он был у них придурочный, их редактор. Работал недавно и ничего запомнить не мог. Ни про людей, ни про работу. В основном он боялся. И еще он злился, что люди этого не понимают и каждый норовит подвести его под монастырь. Сейчас он злился на Фролова, которому приспичило идти в отпуск в такое ответственное время и достойную замену себе обеспечить не удосужился. И вообще — таскает на работу ребенка?!

Конечно, Фролов мог привлечь местком и доказать, что в отпуск он три года не уходил, но Фролов не принципиальный человек, он понимающий человек. И если редакция осталась без фотокамера, надо выходить на работу. Какие могут быть разговоры?

Пришлось вечером сесть за письмо Корякину. Оленька спала, нежно всхлипывая и обнимая негнущуюся куклу, а Фролов придвинул к себе листок бумаги и задумался. Вот какое письмо он сочинил в конце концов.

«Здравствуйте, Олег Николаевич! (так звали Корякина). Пишет Вам Фролов. Ваша бывшая жена Валентина скончалась вместе со своей матерью. Осталась девочка Оля, которую я прошу у Вас разрешения усыновить, так как являюсь вторым мужем Вашей покойницы жены. У меня хорошие жилищные условия, я не употребляю, имею в месяц двести — двести пятьдесят чистыми и в состоянии одеть, обуть и накормить ребенка. Оля ко мне уже привыкает, а с Вами ей начинать сначала. Жалко девочку. Напишите ответ быстро.

Фролов».

Корякин работал на заводе наладчиком, висел на Доске почета и только что победил в борьбе с комендантом общежития. Дело в том, что была у них в общежитии одна хитрая комнатешка. На одного. Когда варганили общежитие, строители забыли поставить в этой комнатке батарею. На Урале это существенно. Пришлось сделать из комнаты кладовку. А однажды ее захватила одна долго не получающая квартиру семья с ребенком. Короче, еще вечером была кладовка, а уже утром в ней жили трое. Дело происходило летом. Подошла осень. Захолодало. Предприимчивая семья возьми и выложи печь с трубой в окно. Еще вечером печки не было, а утром стоит красавица, в окно дымится. Скандал, комиссии, то да се... В общем, три года самозаселенцы жили, пока не сообразили второго ребенка. Уже после них стали за эту комнату биться одиночки. Оказалось, что топить удачно выложенную печку не только не сложно, но даже удовольствие, если вокруг этой печки ты один гнездишься. Так и давали эту комнату в порядке исключения, то какому-нибудь старому холостяку, то тому, кто коменданту подмазал...

Сейчас вокруг печки жил Корякин. Жил и имел всех в виду. Повесил на стенки своих любимцев — Высоцкого, Челентано, Ирину Алферову — и ловил кайф. Между рамами у него стояло пиво, в холодильнике «Морозко» стыли шпик и банка килек пряного посола. На веревке над печкой сохли корякинские носки.

Корякину было тихо, спокойно, и если бы сейчас кто-нибудь спросил его, какая-нибудь дотошная золотая рыбка, чего, мол, тебе надобно, Корякин, то он ответил бы ей четко: «А пошла ты...» А что удивительного? Человек просто счастлив, грубо говоря.

И тут ему под дверь подсунули письмо. Корякин услышал шелест, увидел белый квадратик на полу, но с места не сорвался. Он продолжал лежать с чувством глубокого удовлетворения. Не было на земле человека, чье письмо могло так уж обрадовать или огорчить Корякина. А точнее говоря, Корякину вообще никто не писал, кроме его последней быв-

шей жены. И он был уверен, этот квадратик тоже от нее, от кретинки. Опять сообщает ему ненужные подробности из своей жизни и жизни так называемой дочки. Чего добивается, идиотка?

Корякин жил с Валентиной пять месяцев. Подвиг! Потому что с двумя предыдущими женщинами-женами он едва выдерживал по месяцу. Какой-то, видимо, был изъян в Корякине, но как только женщина располагалась рядом надолго, возникало в нем ощущение, что дышать ему нечем. Причем на самом деле, а не в переносном смысле. Может, это была какая-то аллергия, а может, Корякину просто не везло с их сестрой. Обе его первые жены были северянки, высокие, белые, с неспешной речью. Когда он рванул от второй, твердо решил: никогда больше в это дело не ввязываться. Ему еще везло, что не завязывался за этот срок ребенок. Счастливый, можно сказать, случай, потому что есть мужики, которые с одного разу попадают. А потом затомило Корякина. Все ему не так. Все ему не то. И поехал он на юг, где ему сразу понравилось. И то, что два часа — и море. И базары пряные, сочные. И народ бойкий, нахальный, хороший, одним словом, народ, палец в рот не клади. Пока архангел (так Корякин звал северян) повернется, краснодонец (так он звал южан) в Москву сбегает и обратно. В общем, к сегодняшнему времени вторые приспособлены шибче. А Корякин, хронический одиночка, ценил это в людях. За себя надо уметь постоять. Друг, товарищ и брат — это хорошо звучит Первого мая. А во все остальные дни ты сам у себя один. Решил Корякин еще раз рискнуть с женитьбой. За тридцать перевалило, надоело носки, рубашки стирать и каждый раз стоять перед вопросом, с какой пойти? Валентина отличалась от северянок. Была маленькая, черненькая, говорила быстро... Внешние данные устраивали. И доказательством тому, что все-таки не совсем он ошибся, прожитые вместе пять месяцев. Не один!

А потом снова-здорово. Дышать стало нечем. Снова пришлось рвать... Потом уже узнал, что родилась дочка. Новые новости, подумал он. То, что в отличие от предыдущих женщин, канувших без следа, эта продолжала писать ему идиот-

ские письма про какие-то ветрянки, коклюши и склонность к близорукости, выводило из себя. Он стал бегать с места на место, но письма находили его. И каждый раз на дне его возмущения и гнева было и нечто невыразимое. Удовлетворение, что ли?.. Что вот ищут и находят. А может, мужская гордость, вот он какой, запомнившийся... Смутность этих чувств, собственно, и толкала на ответы. Хамские, конечно, но тем не менее... Корякин побил бы того, кто сказал бы ему, что он с Валентиной связь сам поддерживает, побил бы точно, но уж если говорить правду, и только правду... Было это... Было...

Теперь он, лежа на кровати, смотрел на квадратик на полу. Был Корякин сейчас величавый, гордый, независимый и, не читая письма, уже придумывал ответ. Вот такой, к примеру:

«Достала ты меня своими письмами... Ну что мне, горло себе перерезать? Так какой тебе с этого навар? С того света алименты не шлют... Хотя сыск в этом деле добился больших результатов. Может, уже и там ходит майор Пронин? Не уважаю, тем более что ты собралась замуж... Значит, не обломился тебе мужик? Слиял на полдороге? Понимаю товарища и ценю за стойкость. В свое время Корякин напоролся». Хорошо лежать и придумывать письма. Глядя на квадратик на полу, Корякин тут же придумал письмо к Челентано.

«Привет, кореш! Вот валяюсь и решил тебе черкануть. Смотрел твой фильм «Укрощение строптивого». Не ожидал такого поворота. У тебя там такой дом, такие бабы и негрятянки, а ты клюнул на эту мымру. Неправдоподобно и далеко от жизни. Нам в школе объясняли, что ваше искусство искажает действительность. Я в этом убедился. Тем более что ничего в этой красотке, которой ты поддался, нет. Не в моем вкусе. Так что ты все-таки выбирай, где тебе сниматься... Не останавливайся на достигнутом. Корякин».

Корякин легко вскочил с постели и стал играть с письмом в «классики», подгоняя его носком к кровати. Устал и взял его наконец в руки. Письмо было не от Валентины, хотя из тех же краев. От какого-то Фролова. Очень интерес-

но, подумал Корякин, что за мудака мне пишет? А потом он ошалел...

То ли не смог плавно перейти от кореша Челентано к письму, то ли еще что, но ошалел... То есть ничего у него в голове не было. Только пустота звенела, и от этого звона ему даже жарко стало.

Ничего своего у Корякина не было. Он олицетворял собой личность, имеющую отношение только к государственной собственности, так сказать, на паях со всем многомиллионным народом. А может, государство владело Корякиным, и это был крепкий брак по взаимности? Тут много спорного. И вдруг выясняется: его собственную дочь по фамилии Ольга Корякина хочет перехватить какой-то хмырь, который не употребляет и имеет жилплощадь. Что он, Корякин, сам безрукий-безногий, чтобы ему дитями разбрасываться? Личного ребенка, на которого он израсходовал уже более трех тысяч рублей, отдать чужому дяде? А ты, Фролов, возьми и роди сам, если такой умный. Расстарайся! Горло просто гневом перехватило, пришлось достать пиво и отпить прямо из горлышка. Выдул бы всю бутылку, но тут вдруг как по голове его — тра-а-ах! Он-то пьющий, а Фролов — нет. Не то что он, Корякин, алкаш. Нет, конечно. Но пиво у него между рамами почти всегда стоит. И другое он вполне принять может — и белое, и красное. Кроме зеленого. Это ни за что!

Корякин прихлопнул крышечку на бутылке и сказал: «Баста!» И снова распалился на Фролова, который дуриком хочет иметь готового ребенка. Он полез в чемодан, стал рыться в разных бумажках, искал фотографию девочки, которую давным-давно присылала ему Валентина. Не нашел. И так он из-за этого расстроился, будто совсем потерял ребенка. Стало ему даже казаться, что это чуть ли не основание забрать у него Олю. Фролов этот скажет: «У тебя даже фотографии ее нет!» Ну, куда он ее мог деть, куда? Всякие справки валяются, а дочка как и не было!

Корякин едва дожид до утра, утром подал заявление об уходе, устроил скандал, что не может ждать ни дня. Кричал: «У меня дитя отнимают, дитя!» Подействовало. Все ходили

смотреть на мужика, у которого чужой человек дитя нахально отнимает.

Потом Корякин базарил в аэропорту, и там тоже ему сочувствовали и удивлялись этому бессовестно-наглому начинанию — отнимать чужих детей. Решили на капитализм. Это у них давно принято, вот, оказывается, и к нам подбирается.

Несчастный и решительный летел в небе Корякин. А в это время Оля сидела на тахте, и они с Фроловым упоенно переводили картинки. Оба были мокрые, все в бумажных катышках, зато на куске ватмана цвели необыкновенные цветы. Потом они приколачивали ватман к стене и охали от этой неземной красоты, потом ели из одной тарелки пшеничную кашу с молоком. Одна тарелка у них давно уже повелась. Фролов сам не заметил, как у них случилась эта одна тарелка, только вдруг оказалось: нет большего удовольствия за едой, чем следить, чтобы другой не съел меньше.

Когда девочка уснула, Фролов с тревогой вспомнил Корякина: что-то тот ему ответит? Фролов не сомневался, что ребенок Корякину не нужен, он боялся, что тот долго будет молчать, а ему Олю надо в садик устраивать, в школу определять, как бы какие чиновники не прицепились, что она ему чужая. Стоило только подумать это слово — «чужая», как с Фроловым черт знает что начинало твориться. Весь его организм протестовал и возмущался.

Ночью в квартиру сильно и резко позвонили. Оля вскрикнула. Фролов так рванул к двери, что можно не сомневаться: он этого звонаря сейчас прибьет.

Так они и предстали друг перед другом — в характере. Фролов и Корякин.

Корякин, пока подымался по лестнице, тоже себя распалил. Он уже видел, как заворачивает своего ребенка в одеяло и уносит от этого любителя чужого.

Фролов же, то есть любитель чужого, за этот Олин ночной вскрик был вполне готов к убийству.

К напряжению, которое образовалось на пороге, вполне можно было подключить электрическую сеть слаборазвитой страны. Сработало бы за милую душу.

— Я — Корякин, — сказал Корякин.

— Вижу, — ответил Фролов, имеющий профессиональную память на лица, и он хорошо помнил фотку шесть на девять. — Входи!

— Кто там, дядя Хлор? — спросила Оля.

Оба мужика принципиально уставились друг на друга. Решительный момент, многое от него зависело.

— Спи! — сказал Фролов, закрывая в комнату дверь. — Это ко мне по делу. — И повернулся к Корякину: — Проходи на кухню, пальто и чемодан положи тут... — Он указал на место у порога.

Они вошли на кухню и сели на табуретки. И молчали. Фролов понял, что раз Корякин тут, то ничего хорошего в этом нет... Корякин же, хоть и знал, сколько лет дочери, все-таки представлял себе что-то такое укающее, а тут услышал совсем, можно сказать, взрослый голос. Если, конечно, это его дочь...

— Она? — уточнил он.

Фролов кивнул.

— Разбудил, — огорченно сказал Корякин. — Но терпения не было...

— Понимаю, — ответил Фролов. Еще бы он не понимал человека, бегущего ночью к Олечке. — Значит, какой твой будет ответ? — спросил он, чувствуя, что смерть его близка. — Она воспалением легких болела, ее нельзя в другой климат...

— Ты мне мозги не пудрь! — вспыхнул сразу Корякин. — Климат мы ей сделаем какой надо...

— Это в каком же смысле?

— В том самом! Где ей надо, там и будем жить... Я птица вольная...

— Ты ж ее ни разу не видел, — печально сказал Фролов. Корякин не любил, когда его били по больному.

— Не означает, — отрезал Корякин. — Мое дите.

А дите стояло в дверях — в длинной рубашке, с распущенными волосами, в больших фроловских тапочках.

— Я писать, — сказала девочка.

И они оба кинулись к ней, будто «писать» — что-то исключительно драгоценное, что нельзя бросать на произвол судьбы. И оба стояли под дверью, оба ждали, и Фролов видел, как дрожит у Корякина подбородок, а Корякин видел, что Фролов стал белым как мел.

— Вот такие дела, — сказал потом Фролов, когда Оля снова легла, улыбнувшись им обоим светло и ясно.

— Угорела Валентина. А мы с Олей поладили... Я ее рыночным кормлю...

— Спасибо, — сказал Корякин. — Я в долгу не останусь...

— Какие глупости! — развел руками Фролов. — Главное, чтоб ей хорошо... У тебя есть квартира?..

Корякин вспомнил свою комнату с печкой и мысленно покрыл себя хорошим отборным матом. Это же надо быть таким идиотом? Была же у него квартира, была! Надо было взять отпуск, а не увольняться... А он дурак без мозгов. Бросил такую комнату-красавицу, сухую, теплую, ну, туалет, правда, на улице, но горшки, слава богу, не проблема. За своим ребенком да не вынести!

— Все у меня есть... А нет, так будет, — твердо сказал Корякин. — Я для нее все сделаю...

Фролов тяжело вздохнул.

Корякину постелили на полу, между тахтой и диванчиком. Из входной двери прилично тянуло. Корякин чувствовал, как холодит ему лопатки и спину, ну что он, раньше не попадал в подобные условия? Корякин в своей жизни где только не спал. А вот сейчас он испугался, что может захворать. Нельзя это сейчас, никак нельзя... И он пролежал всю ночь, стараясь держать спину чуть ли не на весу, эдаким ко-ромыслом.

Слышал он, как нежно всхлипывала Оля, совсем как Валентина. Так вот, эти всхлипы Валентины в свое время выводили его из себя. «Ты чего хрюкаешь?» — кричал он, а она не понимала. Тут же, тут же — ему нравились эти беззащитные ночные детские звуки, и он думал: «Сны смотрит... Интересно, что ей показывают...»

Фролов тоже не спал. Он, как только увидел Корякина, понял, что тот не отступится. И что тут сделаешь? «Эх, горе мое, горе», — думал Фролов. Как-то четко увиделась вся жизнь, в которой, в сущности, не было радости, а было сплошное преодоление трудностей. И если раньше казалось, что все эти преодоления — доблесть, то сейчас он понял, что чепуха это все, если нет у человека радости. Вот пришла девочка, и все обрело смысл, а завтра увезет ее отец Корякин, и зачем жить? Зачем метелиться? Неужели он, Фролов, родился на свет для того, чтобы бесконечно снимать улыбающихся рабочих и колхозниц и таким образом сохранять в газете баланс критики и оптимизма? Просто стыдная какая-то жизнь получалась! С другой же стороны, совсем не стыдная, если делать это все и знать, что вечером они с Олей будут есть кашу из одной тарелки, и она своей ложкой проведет черту по каше, чтобы ему, Фролову, досталось больше, а он проведет свою черту, и так, подпихивая друг другу еду, они будут смеяться, и лучше этого ничего не может быть.

Утром Фролов встал рано. Оля еще спала. И Корякин наконец задремал, свернувшись калачиком. Бесшумно открыл и закрыл дверь Фролов. Утром Корякин перво-наперво вымыл пол. Надо сказать, что у Фролова это дело не получалось. В пояснице он был негибок, мыл пол с колен, а точнее, не мыл, а воду размазывал. Не то Корякин. Выскоблил он фроловский пол так, что тот аж засверкал. Потом нашел в инструментах Фролова кусок пенопласта, выкроил его как надо и набил на нижнюю часть двери, чтобы не дуло.

— Утеплились, — сказал Корякин.

— Спасибо вам, — сказала Оля.

Смутился Корякин от этого «спасибо». Даже душно стало.

— Да, — вздохнул он, — да...

— Что да? — спросила Оля.

Не было у Корякина ответов. Не было у него слов! Поэтому он решил починить краны. У Фролова они капали и ползли от воды ржавые потеки и в унитазе, и в раковине, и в ванной. Корякин это ликвидировал. Засверкало все у Корякина. Оля даже руками всплеснула.

— Как чисто!

Корякин решил, что надо идти в этом направлении.

Он стал стирать белье, которое было засунуто в пластмассовое ведро. И тут Оля ему помогала. Вместе развешивали в кухне на веревке. Разговоры с Олей у них только «производственные».

— Понимаешь, — говорил Корякин, — в мужской рубашке самое трудное место — воротник. Он же, зараза, соприкасается вплотную.

— А зачем вы ругаетесь? — спросила Оля.

— Не! Не! Не! — испуганно замахал мыльными руками Корякин. — Оговорка! Поберегусь! Извиняюсь! — И говорить стал Корякин медленно, чтобы ненароком не выпульнуть.

Потом они пошли с Олей в магазин, и Корякин, отпихнув в очереди какую-то тетку, ухватил приличный кусок мяса. Они варили с Олей борщ, крутили мясо на котлеты, и было им хорошо друг с другом.

— Ты Корякина, и я — Корякин, — осторожно сказал он. — Мы поладим.

— А почему ты Корякин? — спрашивала девочка.

— Так вот... Случилось! — оробел Корякин. — Корякиных нас много.

А потом пришел Фролов. Увидел все — чистоту, белье на веревке, обед и мордочку Оли, довольную мордочку, вздохнул и понял, что у него нет другого выхода.

— Ты живи с ней тут, — сказал он Корякину, когда Оля уснула. — А я могу где хочешь пожить...

— Спятил, — ответил Корякин. — Ты спятил... Это я могу, где хочешь... Я привычный...

— Да я тоже, — вздохнул Фролов. — Я два года как сюда въехал, а то все по углам...

— Два года, и уже все к чертовой матери разваливается, — возмутился Корякин. — Все наперекосяк, все трескается...

— Ну, — сказал Фролов, — в кооперативе еще более-менее, а в государственных еще и не то...

— А то я не знаю! — ответил Корякин. — Я сам жил в комнате, в которую забыли поставить батарею.

— Что мы за люди? — вздохнул Фролов. — Для себя же, а не стараемся...

На следующий день Корякин взялся за ремонт квартиры. Фролов прибежал с работы, готовил еду. Оля помогала то тому, то другому, командовала.

— Дядя Хлор! — кричала. — Я уже солю картошку, не вздумай еще раз!.. Корякин! У тебя на потолке следы, ты что, не видишь?

От добра добра ищут только идиоты и жадные. Корякин нашел работу на заводике рядом с редакцией. Продали соседу тахту и купили два кресла-кровати. Оля спала на диванчике, а они на креслах.

— Они тебе кто? — спросили Олю, когда она пришла в первый класс.

В одинаковых синих костюмах, в белоснежных рубашках с душившими галстуками стояли в родительских рядах двое. Когда зазвенел звонок и женщины стыдливо засморкались, эти заплакали откровенно.

— Так кто они тебе? — приставали к Оле.

— Кто! Кто! Дядя Хлор и Корякин, неужели не ясно? — дернула плечами девочка.

Росла Оля умненькой, решительной, самостоятельной и смелой. Говорят, одинокие отцы — лучшие воспитатели. А если их к тому же два?

Время еще покажет, чем кончится этот педагогический эксперимент.

Пока же задачи решаются конкретные. Ребенку нужна отдельная комната. Вечерами Фролов переснимает четким почерком написанное объявление об обмене на двухкомнатную, а Корякин с баночкой клея в кармане ходит и развешивает их на столбах. Энзэ на доплату уже собрали.

«Хорошо! — думает ночью Фролов. — Не дай бог, что со мной случится, есть Корякин. Уже не сирота...»

На соседнем кресле про то же думает Корякин...

ДОЧКИ, МАТЕРИ, ПТИЦЫ И ОСТРОВА

Тоня простая как три рубля. Смотрит на крышу, думает — крыша. Смотрит на ребенка, думает — ребенок. Без всяких там прилагательных и дополнений, что сейчас у многих. Если крыша, то обязательно худая, а если ребенок, то какой дурак теперь детей рождает? Никакой же гарантии выкормить и вырастить... Тоню даже нельзя на такие мысли сбить специально. Она глазки выпучит, губки подождет и скажет так: «Да ну вас... Я после войны родилась, но знаю: в войну и не так жили...»

Надо сказать, что эти слова — «Я после войны родилась» — Тоня повторяла часто, и была тут нехитрая хитрость подчеркнуть свой возраст. Нестарая. Те, которые до войны, старые. А я даже не в сорок шестом, а в сорок восьмом рожденная, в самом декабре месяце. И еще Тоня любила повторять: я белье мокрое вешаю низом вниз. Просто не представляю, как это можно захватить прищепками подол и чтоб рукава болтались? Это какую надо голову на плечах иметь?

Что еще сказать про Тоню? Она любила магазинные котлеты и носила только отрезное, «под пояс» или «под резинку». Она обожала кино, особенно наше, «Женщины», «Офицеры», «Мужики», книжек не читала принципиально: зрение — это зрение, и чтоб его тратить? Тоня жалела негров за их вид. Вот ведь не првезло людям. А также — и желтую расу. На этом основании ее всегда неудержимо тянуло взять за руку негра или китайца и привести к себе домой и всячески обогреть, накормить, потому что все они несчастные сразу в отличие от нее — сразу счастливой. Она ненавидела и боялась Америку и потому в отличие от всех в ДОСААФ платила сознательно, а военных просто обожала, потому что если бы не они, то что с нами было бы? Подумать страшно.

Пришла пора сказать о Тониной внешности. Она была ничего. Выбивались из общего впечатления губы, черновато-набрякшие, как будто она их накусила или там ее кто вза-сос. Ничего подобного, губы такими были всегда — и утром,

и вечером. А если б кто видел после взасосов, то не говорил бы вообще, тогда у нее губы были как мясо, парное имею в виду, а то может в голову войти мороженое, и тогда полного представления о Тониных губах не получится.

А остальное было, как у всех. Глаза не большие — не маленькие. Нос тоже норма. Волосы, правда, сеченные от химии, но ничего, чуть-чуть начешешь — стоймя стоят, а Тоне это важно. Она по нынешним меркам маленькая, метр пятьдесят пять. Так что волосики вверх, под пятку каблучок венский, и уже ничего фигурка. Не худая, не полная, поясочком перепоясанная.

Работала Тоня регистраторшей в поликлинике и ценила свою работу необыкновенно. При врачах и при лекарстве жить — сейчас лучше не надо. И какая же она была умная, что не пошла в свое время учиться на медсестру, потому что теперь у них одни неприятности. Больных все больше, шприцев нет, лекарств тоже, все на их голову больной вываливает, а она посиживает себе в окошечке: «Адрес? Фамилия?» А всех денег все равно не заработаешь. Сколько ей одной надо? Сын уже самостоятельный. Офицер. Он ей в жизни вообще ничего не стоил. С отцом рос, а потом в Суворовском. Но ведь всякое в жизни бывает? Всякое. Высокий такой офицер. Сын. Приезжал в Москву. Останавливался у товарища, а к ней заходил. Они на «вы». Ну и что? Не пьет, не курит... Член партии. Есть отказался. Но у нее, правда, ничего особенного и не было, чтобы настаивать. Котлеты и макаронны она готовит на три дня. Он пришел в третий. Какой там уже вкус? Правда, был кекс.

— Давайте чай заварим? У меня тридцать шестой номер.

— Спасибо. Я жидкости употребляю мало.

— Правильно, — сказала она. — Почки в организме на втором месте после сердца.

— Ну, еще есть мозг, — уточнил сын.

— Мозг, мозг! Он разве гонит воду? Не скажите, не скажите... Я до мозга еще печень поставлю...

— Мозг умирает раньше всех, — сказал сын.

— А! — засмеялась Тоня. — Это ж еще когда! Мы-то живые...

Такой был умный разговор. Вывела сына, посадила на трамвай. Шла и думала: хороший сын. Правильно она тогда поступила, что оставила его мужу. У того был характер, а она была молодая, глупая. Это сейчас она знает, что почем. А тогда — ну, без ума! Нужен ей был этот сосед? Пришел, расселся. А как рассядешься в восьмиметровке? Это уже надо переступить через ноги. Она раз переступила, два, а на третий он колено приподнял, она на него в ходе движения и села. Секундное получилось дело. Она еще тогда думала: почему для мужчин это имеет такое решающее значение? Так бы все и кануло, если б сосед тут же мужу все и не рассказал — вот какие есть люди, как на добро отвечают! — Твоя, сказал, де-ше-вая. И все, вся любовь. Иди, говорит, откуда пришла, ребенка не получишь. И чтоб в двадцать четыре часа. Конечно, на ее сегодняшний ум, то разве она позволила бы? Отсудила бы две трети жилья как пить дать. Но тогда... Тогда она переживала очень это самое слово — дешевая. Так плакала, так плакала... Уехала она к матери, барак их скоро снесли и дали им однокомнатную квартиру. Если б она не выкинула паспорт по дороге от мужа (глупый поступок), то дали бы им в расчете на ребеночка двухкомнатную, но у нее паспорт был чистый, она числилась, можно сказать, девушкой. Царство небесное маме, она скоро умерла от рака. А одной зачем ей двухкомнатная? Мало ли? Уплотнить могли.

Мама ей много рассказывала, как уплотняли до войны и после. Мама до барака дважды жила в проходных комнатах по уплотнению. Замуж там выходила. У них с мужем первая ночь, а мимо соседи шась-шась. «Я потом людям в глаза смотреть не могла». Это мать. А она, Тоня, была не на стороне матери, а на стороне соседей. На самом деле! Проходишь мимо, а тут такое... Хотя, если быть справедливой, она в результате этого получилась, но все равно, могли бы родители — царство небесное им — и поаккуратней. Это все к вопросу об уплотнении. Барак в материной жизни оказался прогрессом! Отдельная комната, пусть в общем коридоре. Конечно, тут слово. Барак. Но это мы уже заелись. Это нам дай, дай, дай! А на самом деле — прогресс. Комната

была большая, двадцать метров, два окна. Печка. Топка из коридора. Удобства потом приделали, но стало хуже. Когда бегали во двор, воздух в бараче был здоровее. Потому что люди разные, и не каждый имеет привычку за собой сдерживать. Есть такие, что не считают нужным. Тут, если отвлечься, многое можно рассказать о народе, но Тоня это не любит. Тоня радуется жизни. И своей личной удаче. Вот живет же как кум королю. Дочка ей сказала: «Я постараюсь получить свое». Она у нее в интернате всю жизнь. Сейчас кончает школу. Девочка развитая, уже член райкома комсомола. Знамя всегда выносит. Голос у нее густой такой, торжественный. Вообще девочка оригинальная. Так главврач говорит: «Девочка у вас оригинальная».

Тоня задумалась над словом. Что бы оно значило? Конечно, в дочке много от отца. Отец — казах. Разрез глаз. И волос густой-густой, как мех. Но отец, конечно, по характеру размазня. Родители ему сказали — возвращайся, он и подчинился. А он мог тут у них закрепиться. Его брали в жэк электриком. Там сплошь татары, но он им пришелся по душе. Халды-булды — и договорились. Им лишь бы не русский Ваня. Такая пошла жизнь. Вани у них только на подхвате. Поддай-принеси, а еще для пугала: «Хозяйка, у тебя вся техника там-ра-ра-рам... Полный абзац. Капремонт — это лучшее, а то и выселение...» Кошмар, ужас. Татары молчат, Ваня жуткую картину рисует, дальше вступает порядок цифр, спасающих от капремонта. Так вот, Тониного мужа брали не Ваней работать, его брали гордо молчать и брать хорошие бабки, но родители на своем языке написали: «Возвращайся», и все. Как бритвой. Господи! Да ну его в жопу! Дочка оказалась девочкой очень серьезной. «Еще чего — жить в одной комнате! У меня план — трехкомнатная квартира, машина «Лада» и собака. И не какой-нибудь там песик-бобик или эти маленькие скользкие гниды, которых носят под мышкой, а собака как волк. Собака-остров. Ньюфаундленд». Почему остров, думала Тоня. Потому что большая, отвечала сама себе. Дочка скажет, не подумает. Есть же и маленькие острова. Она, Тоня, помнит школьную карту. Там

эти Курилы мелко-мелко набрызганы. Чисто собачки-моськи, если уж по-собачьи считать.

Тоня знает, дочка намечтала — дочка выполнит. У нее такое выражение: «У меня все схвачено». Она в партию подала, в интернате отпали, ей ведь нет восемнадцати, но как же зауважали! Отселили их сразу с одной полуотличницей в отдельную комнату. Полуотличница у дочки ходит в шестерках. Никакого вида, три волосины на голове, очки, сутулость. Дочка со своим мехом и голосом... Не сравнить... Тоня сказала главврачу: «Я жизнью своей довольна. Я вообще не понимаю этих жалоб. Чего людям надо? В конце концов, никто у нас с голоду не умер».

А тут возьми и привяжись хвороба. То жар, то холод, то голова закружится, то сердце застучит. Что бы она делала, не работай в поликлинике? А тут ей сразу организовали В₁₂, по врачам пропустили. Гинеколог сказал: «Климакс у тебя, Тоня». Невропатолог: «Вегетативно-сосудистая дистония, и не морочь людям голову». А главврач подытожила: «Это, Тоня, едино... Живете без мужчины... Организм нервничает. Вот и старитесь».

Тоня в душе оскорбилась. Нашли причину. Да ей это сроду и не надо было, ровно постольку-поскольку. Не этим голова занята.

Но засело. Вместе со злостью. И на первого своего, и на того соседа, что ее через колено бросил, и на казаха, будь он проклят. Чего бы не жить? Сейчас жэковцы — первый народ. С магазином у них «контакт есть контакт». И в смысле зарплаты. Они там ее хорошо делают. Дочке, конечно, такое не скажешь, что у нее зависимая от мужчины болезнь. Стыдно. Она смолodu не была до этого падкая, а теперь что и говорить... Но разговор случился. Дочка сама на Седьмое ноября после торжественного приехала, села на софу, платье на ней трикотажное серое с синим, на шестнадцать лет купленное, уже потянулось, зараза ткань, но в целом ничего, не надо думать, что дальше и что на выпускной, а дочка, как услышала ее мысли, говорит: «Ты чего, мам, не найдешь себе мужчину? Мне бы лучше могла помочь. От отца не алименты, а смех один. Чем они там думают в своем Казах-

стане? Что там у них за заработки? И ты тоже... Крунулась бы! В кооператив какой...» — «Болею я...» — «Интересно, чем?» — спросила дочь. «От одиночества», — гордо сказала Тоня. Хороший такой разговор намечался. Дочка засмеялась: «А я тебе что? Я знаю, некоторые ходят по участку колоть». — «Что колоть?» — не поняла Тоня, хотя что тут не понять человеку, имеющему отношение к медицине? Но Тоня шла в мыслях совсем в другом направлении — направлении отсутствия мужчины, и связь уколов, в смысле инъекций, с главной темой не просматривалась, тем более что она регистратор, а не медсестра, и ей это делать не надо, что плюс, а не минус. Их сестрички рассказывают, что это наказание: и старики вонючие, неподъемные, и грубость в отношении, и пятый без лифта, и хулиганье в подъездах, и претензии «больно, больно», можно подумать, укол — это пятку почесать, это же внедрение в тело, это и должно быть больно, а не приятно. Поэтому Тоня, сообразив, что имеет в виду дочь, возмутилась, а дочь в свою очередь возмутилась тоже: нельзя же всю жизнь жить на копейки и не проявлять инициативу, и ждать, что к берегу приплывет. Что ей приплыло, что?

— А квартира отдельная? — закричала Тоня. — Это что? Сколько людей мается!

— Ладно, — сказала дочь. — С тобой все ясно. Ты у меня тоже казах в своем роде... Как отец... Минималы вы у меня... А я страдай...

— Страдай! — возмутилась Тоня. — Голодом сидишь, что ли?

Но дочь уже не хотела разговаривать, пошарилась по шкафчикам: «Что тут у тебя в рот?», похватила и исчезла. Но на пороге четко так, прямо в лицо бросила: «Вдовец союзного значения, вот кто тебе нужен».

Тоня понесла ведро с мусором. Выбила его о край контейнера, пахнуло на нее рыбой, хуже ее в смысле вони нет ничего. Вот почему так, почему? Пошла в кусты возле трансформаторной будки нарвать травы, чтоб обтереть ведро изнутри, а то пойдешь назад, кого встретишь, скажет: «Вот эта Тоня мусор заванивает, а еще медицинский работник».

Вот туда в кусты он и пришел, парень этот, с петухом с раздавленной головой и в коричневом пере. Петух в пере, не парень.

— Берешь на лапшу? — спросил парень. — Птица парная. Домашняя. Я его по ошибке прищемил.

Тоня, женщина городская, с птицей в пере дела сроду не имела. Но теоретически, как опарить, знала. А тут еще острое желание — так враз захотелось лапши, парень сказал — лапша, а у нее сразу слюны набежало полный рот, и без разницы, что петух раздавленный, что висит кровавой головой вниз, нет у нее на это отвращения или там аллергии. И Тоня про это подумала, какая, мол, я, оказывается, небрезгливая. Вонючее ведро травой тру, на петуха дохлого в пере спокойно смотрю. И ничего... Вроде так и надо.

— Сколько? — спросила она.

Парень засмеялся и сказал, какие там деньги, в трансформаторной будке есть кладовка, и пусть она с ним пойдет туда на пять минут.

— Да я с ведром, — засомневалась Тоня, ощупывая пальцами грязную ладонь, ощущая мокрые подмышки и вообще...

— Оставь, оставь ведро, — повторил парень. И рукой сделал, как поманил.

Тоня шла и старалась думать верхнюю мысль: она идет целево — за птицей, теперь ее так в магазине не купишь, не то что год тому назад, а ей бульон самое то в малокровии; в общем, Тоня в мыслях напирала на необходимость питания. На самом же дне Тониного сознания кувыркалось другое: поманил — пошла, и это заставляло Тоню ежиться, потому что вот она идет в будку известно зачем, и это для нее плохо, не такая она женщина, а вот идет. Чертовы врачи ее на это дело толкают, вскрикнуло в ней. Врачи! Вот кто виноват, поэтому и иду, а на самом деле очень хочется лапши с крылышком, хрусть зубами и высосать.

В общем, действие в будке мы описывать не будем. Как сказала по телевизору одна теперешняя писательница, у которой всяких слов полон рот, французы на этот счет определения придумали, а мы, русские, нет. Мы в отставании опи-

сания таких вещей находимся, и это никуда не годится, и на нас сказывается, дурковатые мы, потому что как же без этих слов на эту наиважнейшую тему, которой все человечество подряд занимается каждый день и каждую секунду, а мы обходимся черт-те чем, жестами, как дикари, может, от этого и такое наше счастье?

Тоня вышла из будки ошалелая, и веса в ней было ноль. Кровь борзо бегала по сосудикам, Тоня просто ощущала, как напрягаются самые малюсенькие, самые ничтожные в теле капилляры, что весь ее траченный дистонией и анемией организм вибрирует от притока сил, подумалось — а V_{12} не дает такого быстрого эффекта. И кокарбоксилаза по сравнению с этим говно. Тоня и петуха опарила, и лапшу сварила, и никакой тебе усталости, вроде она не в конце сорок восьмого рожденная, а в семидесятом. Есть разница?

На этом столько-то дней продержалась, и ей все: «Тоня, вы так хорошо выглядите! Так выглядите!»

Однажды Тоня проснулась и четко-четко подумала: за этого парня она все бы отдала. Работу, дочку, квартиру, все... Он, зараза, так в нее проник, что жить без него она теперь не сможет, жуткие, конечно, мысли, Тоня даже признавала их жуткость и себя останавливала: «Ну, насчет квартиры это я зря...»

Она стала крутиться возле трансформаторной будки. Для этого разорилась на новое помойное ведро. Салатное с оранжевой крышкой. Держала его в невероятной чистоте. Мусор носила в свертке, а ведро пустое. Для вида. Поставит в него выпростанный пакет от молока, и все. А сама вокруг кладовки, будки рыщет, рыщет. Откуда он тогда появился? Чей он? Из какого дома? Разговора ведь у них, кроме как о петухе, не было, зацепиться не за что.

Однажды она его наконец-таки увидела. Рыли какую-то во дворе траншею, мужики возле нее стояли. Нет, не те, что рыли. Те, которые рыли, уже три дня как ушли. Грязи вокруг оставили! Тоня шла с работы, увидела: гужуются возле ямы работяги, решила сказать, что она о них думает. Хорошие слова во рту собрались, отборные, можно сказать. И тут — бац... Он... Стоит к ней боком... Такой весь, как из

металла... В смысле крепкий... Сталь... Все Тонины слова как корова языком слизала, она замерла и не знает, что ей теперь делать. Туда ей или сюда. А он — ноль внимания. Идет какая-то баба мимо, ну и идет, чего, собственно, разворачиваться? Тоня остановилась почти рядом и стала ждать случая. Вот спросите, какого? Сердце из груди готово выпрыгнуть, и слова приперлись вообще странные: «Я его люблю». Кого?! Дура! Мужики стояли, плевали в траншею, разговор у них содержательный. «У-у...», «О-о...», «Гы...», «Ну-у...», «Ё-ё...»

Но им понятно. И Тоне тоже понятно. Они так все разговаривают. Но в данном случае их разговор значения не имеет. Нам сейчас важно положение Тони невдалеке от траншеи и ее упорный взгляд на парня, повернись, мол, зараза...

И он повернулся, резко так, сильные от Тони шли токи, и вскинул подбородок вверх, мол, чего тебе... Слов у Тони не было, поэтому она слабо как-то, как раненая, махнула ему рукой. Парень сказал мужикам «щас» и перепрыгнул через траншею... Тут надо сказать, какой Тоня испытала восторг и наслаждение, когда он — раз! — и с одной кучи переместился на другую. У нее в горле возникло распирающее гордости за такое его умение, никакой другой мужик так бы не смог, не было ни у кого таких длинных ног и такого маха, он один был — самое то! Как еще скажешь? Пока парень парил над траншеей, Тоня окончательно и бесповоротно убедилась, что за такого все можно отдать, и будет мало...

— Тебе чего? — спросил парень.

Стоял распахнутый, и кожа его нежная, белая виднелась под воротничком.

— Петуха помнишь? — засмуцалась Тоня, слабея ногами от нежной кожи. «Упаду как подкошенная», — думала.

— Какого петуха? — не понял парень, но опять же! — и ум хороший имел: вспомнил! — А! — сказал и пошел назад. — Больше петухов нету. Кризис птицепрома!

— А и не надо, — затараторила Тоня. — Не надо! Не надо! Не надо!

— А чего тогда надо? — спросил парень, и нога его уже напряжилась для перепрыгивания траншеи.

Тоня стала быстро соображать, какие слова годится сказать, чтоб он перестал напрягаться этой своей прекрасной ногой... И даже поверхностно так подумалось, хорошо бы свернуть ему эту ногу в траншее, вот тогда бы он уже никуда не делся, Тоня бы его забрала себе, и все! И уже у нее стала напрягаться нога для небольшого, но эффективного удара по драгоценной голени. Если носком да прямо в середину, может быть сильная боль, и не обязательно с переломом. И дело было уже за малым — за ударом, но парень — молодец какой! — дотумкал наконец, что Тоня не просто так переминается тут рядом. Что у нее есть цель, человечеству понятная.

— Намекаешь? — спросил парень.

— Намекаю, — ответила Тоня и хоть вся-вся стала она красная, и в животе у нее зашевелилась муть, и сердце выдало две подряд экстрасистолы — бух! бух! — но Тоня все это преодолела, потому что вопрос стоял: или — или...

— Без петуха дело не пойдет, — засмеялся парень и добавил даже вроде сочувственно: — Тяжелый у тебя, тетка, случай...

— Да ладно! — ответила Тоня, пренебрегая «теткой». — Делов! Я в тридцать пятой живу. Приходи в воскресенье после обеда! Будет тебе петух!

И она первая повернулась и ушла, потому что считала, что больше, чем она сказала, ей уже не сказать. Все у нее внутри колотилось, и была одна нервная мысль: он, конечно, придет, а петуха нет. Что может его заменить? Первой пришла в голову поллитра. «А это тебе петух! Ха-ха-ха!» И дзинь-дзинь стаканами. А он возьмет и развернется назад. Конечно, это маловероятно. Если судить по компании на куче. Чтоб от этого кто-то ушел... Не родился еще такой русский... Но, с другой стороны, а если он принципиальный? Залупился на слове — и все. Среди мужиков есть такие, а если уж честно, то ей только такие и попадались. Упрямые, хоть кол на голове теши. Такая у нее судьба, к ней только такая порода притягивается. Хотя про парня не скажешь — притянулся, скорей — она его тянет, и если уж до конца про это думать, то ей это неприятно и даже стыдно, сроду за ней

такого не числилось, но вот... Случилось... И нет назад хода, и не хочет она назад хода. Она его искала, нашла, и не дура она, чтоб его из рук выпустить, поэтому что — что там говорить! — она все за него отдаст, за этого дурачка молодого. За одну его длинную ногу отдаст все, за глаза его серые, слава богу, теперь рассмотрела. Серый-серый у него глаз, но не тусклит — сверкает. Ей врач, который по глазам лечит, говорил: это признак здоровья — сверкание. Это энергия выпирает изнутри от сильного напора.

В воскресенье Тоня с утра поехала на базар. Живой птицы было мало. Можно сказать, без выбора. А петух — красавец! великан! — вообще был один, и уже его торговали для курятника. Сговор, правда, не получался, не сходились в цене, и этот самый красавец-петух вполне мог оказаться у Тони, но у нее как назло пошло раскручиваться логическое мышление. Для одного раза петух получался дороговат. Если прибавить и десять рублей на водку, и кусок мяса, который пришлось взять, и опять же огурец-помидор, то получалось ничего себе. И пока она туда-сюда считала, петух уплыл. Правда, не в курятник, а на холодец. Так сказала дама, которая схватила его за лапы: «Мне, говорит, обязательно к говяжьей лытке нужен петушиный навар».

Тоня, которая до этого стеснялась сказать, что она берет петуха «для убийства», с ненавистью и с уважением одновременно посмотрела на даму, которая без всяких-яких заявляет, что ей нужен навар, что нет лучшей смеси для холодца, чем петух с лыткой, и чем петух старше, тем даже лучше. Все равно все у нее на огне стоит часов пять. Не меньше.

Одним словом — два слова. Обломилась Тоне Курочка Ряба, едва вышедшая из садиковского возраста. Цыпленок-переросток... Но Тоня взяла ее, уже не включая мыслительный аппарат, от него одни неприятности.

В конце концов, что такое птица в ее деле? То, что называется, пароль. Знак. Он к ней войдет, а навстречу ему вспорхнет курица. Правда, тот петух не вспархивал, а висел себе спокойненько вниз головой. Но ведь Тоня домой его зовет. У нее и птица живая, и, извините, постель чистая, а

не доски навалом. Так что, за исключением петуха, у нее все в плюсе. И даже в степени.

Вообразите сцену: он звонит, а она открывает ему дверь, а по коридору кокочет курица.

— Вы за птицей? — спросит Тоня тонко, будто ничего не имеется в виду.

— О! — скажет он. — Ваша на ногах!

— Ага! — ответит она. — Заходите. Вы мне мертвого, а я вам живую. Значит, с вас больше и причитается.

— Больше — это сколько? — спросит парень.

— Заходите, договоримся.

И так далее...

Тоня представляла их за столом, и как она подаст, и как положит, и нальет... Главное же не представлялось, потому что Тоню охватывал такой жар, что надо было идти к крану и холодной водой брызгать в лицо. Вода, правда, к лицу не приставала, потому что Тоня намазюкалась кремом, которому года три, не меньше, изжелтелся весь и на щеках лежал серыми комочками, но другого у Тони не было, она к таким делам относилась безразлично, она не верила, что косметикой лицо можно исправить. Глупости. Крашенные женщины — они и есть крашенные женщины. Еще сильнее видно, сколько лет на самом деле. И сегодня она намазалась, исключительно чтоб отбить запах кухни. У нее и пробные духи есть, и она их, конечно, пустит в дело. Но это уже в самом конце.

А курица рябая, между прочим, лежала, лежала связанная и собралась помирать. Запрокинула голову, открыла клюв, а глаз ее пошел затекать мутной серой пленкой. Тоня испугалась, что она просто сдохнет и станет трупом, и тогда что? Надо было срочно принимать решение, пока эта слабая малолетка была жива. И Тоня приняла. Она сунула поникшую куриную голову в притвор двери и хлопнула дверью. Даже крови почти не было. «Конечно, — подумала, — никогда не получается так, как хочется, но в чем-то, может, так и надо? Ты мне битую птицу, и я тебе битую. Видишь, не заискиваю. По нулям у нас с тобой...»

Наконец Тоня пошла и умылась с мылом, потому что крем этот долбанный достал ее. Стала кожа стягиваться не там, где надо, даже глаз потянуло. Правда, когда умылась, глаз все равно тянуло. Такое впечатление, что хотелось глазу сбежать куда-то на висок, даже пустота там, соответствующая объему глаза, дырка образовалась, и Тоня теперь все за глаз хваталась, проверяла, на месте ли он.

С виду же все было нормально. «В конце концов, это самое главное — с виду», — думала Тоня. Хороша бы она была, позвала гостя, а у самой глаз уже на виске и тянет за собой нос и щеку. Она таких в поликлинике насмотрелась, не дай бог. Парез называется. Ой, не дай бог! Тоня кинулась к зеркалу и еще раз придирчиво, с ощупыванием себя рассмотрела. Ничего. В виске у нее бывает и пустота, и колет, и стучит, и тянет. Это из-за курицы чертовой она распсиховалась. Была живой, стала мертвой. Больную, значит, сволочи, ей продали. Иначе с чего бы так быстро? Хорошо, что успела ее дверью. Теперь сварить можно будет... А самостоятельно сдохшую она бы сроду в рот не взяла. Хотя что мы знаем про то, что едим? Каких нам государство подсовывает — живых резаных или мертвых резаных? А те же кооператоры? Тут ведь совсем без гарантий. Они и человечиною торгуют без сомнения. Это такой народ. Отребье.

И тут раздался звонок в дверь. Тоня от неожиданности аж присела. Это ж неужели? Так рано? Хорошо, что умылась, так у нее все готово. Вот снимет фартук выгвазданный, выбросит его, нацепит новый, белоснежный, ягодами покрытый, с карманами и нагрудничком, а на нем спелая вишневая веточка. Гарнитур «Вишня», цена двенадцать рублей, будь ты проклята индивидуально-трудовая деятельность.

За дверью же стояла дочка. Неправильно стояла, она должна была стоять в Ленинграде, у них туда экскурсия была намечена. Разве ж бы Тоня так сказала смело про воскресенье, если б не знала, что дочка еще в пятницу уехала?

— Ты чего? — спросила Тоня.

— А ты чего? — спросила дочка.

— Ты ж уехала, — сказала Тоня.

— Уехала-приехала, — ответила дочка. — Да чего ты, мам, вяжешься?

Дочка переступила порог и увидела курицу.

— Цыпа, цыпа, цыпа! — закричала она и толкнула ее ногой. — Ниче себе. Чем это ее так?

И она опять же ногой поворачивала курицу туда-сюда, туда-сюда.

Тоня, когда нервничает, смотрит в окно. Ничего, правда, не видит, а смотрит. И сейчас встала, потому что, как быть, не знала. «У меня понятие есть, — думала, — дочь не выгонишь». — «Выгонишь, выгонишь, — отвечала сама себе. — Куда ж ты денешься. Не младенца же? Она совсем уже взрослая, может, и у нее такое уже есть...» Есть или не есть? Застучало сердце. Ведь вот сроду таких мыслей не приходило. Сроду. На эти темы — ни-ни... Даже про менструацию они говорили только если там: «Мам, вата у тебя есть?»

А тут у Тони такое событие, а от дочери в квартире тесно и вообще... И не было выхода, потому что Тоня — порядочная женщина, а не какая-нибудь потаскушка, потому у нее в жизни и случился недостаток в мужчинах, что она считается с мнением и ей не все равно, что люди скажут, а дочка, конечно, сволочь, явилась, зараза, кто ее ждал, и надо, надо ее выгнать, чего это она с матерью не считается, в конце концов!

Дочка же обнаружила приготовление в кастрюлях, и стаканчики граненые пятидесятиграммовые донышком вверх стояли, подсыхали, значит.

— Господи! — заорала дочка. — Так к тебе мужик, что ли? А я не соображу, чего это ты в вишнях... Ладно, я лияню...

Она ломанула полбатона, схватила кусок колбасы и, засмеявшись матери в лицо, хлопнула дверь. Тоня кинулась на площадку:

— Вечером приходи! Вечером! Я лапшу сварю.

Тоня вернулась со слезами на глазах. Вот у нее дети как дети. Взять хоть сына, хоть дочь. С каким понятием выросли, это ведь ее заслуга, не чья-нибудь. И не имеет значения, что они с ней считай не жили. Молоком она их кормила?

Кормила. Вот они и стали такими. Сын лейтенант, чисто-плотный такой, крепкий, жидкости мало употребляет, и дочка тоже умная, идейная, в отдельной комнате живет. Она, Тоня, сегодня же напишет сыну письмо, пригласит в гости, надо, напишет, познакомиться вам с сестрой.

Она выглянула в окно и увидела, что дочка сидит на лавочке. Тоня кинулась на балкон.

— Уходи! — закричала.

— Ладно тебе! — ответила дочь. — Я ем!

«Ну пусть поест», — подумала Тоня.

А дочка сидела и пялилась на подъезд, ей хотелось узнать, кто придет к матери. Не охламон ли... С нее, дуры, станется... Вырядилась в вишни. Курицу где-то выловила. Нет! Чтобы в жизни чего-то добиться, ей никаких указаний не надо — делай только наоборот матери. Мать у нее — показатель неверного пути. Мать не стала школу кончать, она — кончает. Мать не жила общественной жизнью, она ею очень даже живет, у матери желания и мечты коротенькие, как и мозги, а у нее — заброс будь здоров, она даже в Кремле себя мысленно допускает. Почему бы нет?!

Если сейчас в подъезд зайдет нормальный мужик, прилично одетый, не пьяный, на здоровье тебе, мама родная. Живи полноценной жизнью. Ну, а если алкаш, она тут же это дело ломает. Спустит его с лестницы и матери наподдаст.

Тут как раз и появился мужик с черной бутылкой в вытянутой до земли авоське. Шел и смотрел на окна их подъезда. «Господи! — подумала дочка. — Где ж она такого нашла?» Штаны широченные, обтерханные, морда небритая, пиджак в такую обтяжку, что разрез сзади разошелся треугольником, в котором торчал вывороченный карман. «Обра-зец! — подумала дочка. — Я его сейчас...» И она даже сделала шаг в его сторону, а мужик прошел мимо подъезда. То, что она встала со скамейки, было моментом в этой истории решающим. Потому что человек, если он намерился идти, должен идти, в нем уже возникла энергия движения и не просто все в человеке поломать обратно. Вот дочка и стояла,

раскачиваясь на носках, приготовленная для резкого хода и резкого поступка.

...А он как из земли. И протягивает ей нечеловечески желтую дыньку. Так уютно лежала она на его широкой ладони. Дынька-«колхозница». Дынька-женщина, которую оглаживали крепкие мужские пальцы. А дынька млела.

— Надо? — спросил парень, и серые его глаза обежали дочку с ног до головы и обратно до ног, где и остановились.

— И сколько? — спросила дочка своим хорощим, в крике призывов поставленным голосом.

— Пойдем договоримся, — ответил парень, кивая в сторону трансформаторной будки. И дочка безоговорочно поняла, что ничего не остается, как идти следом. Потому что хуже нет запущенной и нереализованной энергии движения.

Они одновременно посмотрели на окна дома и увидели размахивающую курицей и что-то кричащую Тоню, на что дочка лениво подумала: «Чего машет, дура?» А парень тоже — не исключено — подумал: дура. А какие другие слова можно произнести в голове, видя женщину с дохлой птицей в окошке?

На самом же деле Тоня не кричала. Это они ошиблись, глядя вверх и через стекло. Тоня, конечно, открыла рот для крика, все правильно, так и было, другого и быть не могло, если поставить хоть кого на ее место. Закричишь тут! Завопишь! И Тоня — человек, подобный всем другим людям, — именно для крика открыла рот, но перед самым возникновением звука ее от самой макушечки до пяточек так ударила боль, что звука уже не получилось! Боль перегородила путь звуку, вышло одно сипение. Тонюхватило только на то, чтобы развернуться к кухонному столу и лечь на него грудью. Она так и висела на нем, как какая-нибудь каракатица в обмороке, обвисая стол руками и ногами. И угол стола вонзился ей прямехонько между ног. Неожиданное острое наслаждение пронзило ее всю, и Тоня аж взлетела. Тело невесомое, легкое, гибкое — отделилось от стола и парило в долбаной невесомости, есть, значит, она, зараза, существует на самом деле. Мешала только битая птица, когтем державшая

ее пальцы, не будь ее, вылетела бы Тоня в форточку, вон какая она стала изященькая, как струйка дыма, что тает вдруг в сиянье дня... Ей бы без птицы этой проклятой лететь и лететь, так как именно теперь ей нет преград ни в море, ни на суше, и надо только сбросить балласт в виде курицы, и тогда взовьются кострами синие ночи, но именно курица не пустила ее в вольный полет, более того, она исхитрилась — битая, а сильная — ударить ее о столешницу всей грудной клеткой, и последним вскрикнуло в ней наслаждение, а курица, подмигнув ей нераздавленным левым глазом, сказала четким человеческим голосом: «Остановка остров Ньюфаундленд... Конечная».

Бродячие сюжеты

Я полагал к твоей постели
Полудавящие цветы,
И с лепестками И пусть в сердце я все оставлю,
Меня забыть, если не захочу. твоими
Мои уста твои мечтал.

Я пациент мойи левкоюи
Обугасающей ладви,
И ты к оплаканным покойи
Меня уж давнее не дави.

С меня забыть я все оставлю,
Душу не оставлю в покое,
Но не дождется так подруги,
С меня забудь же уста.

НЕСНЯТОЕ КИНО

...Накануне ей приснился сон. Будто она в деревне, у бабушки, и будто бежит она по их деревенской улице. Бежит девчонкой, а туфли на ней сегодняшние, французские, номиналом во весь бабушкин годовой доход. Но она бежит по жирно-бархатной пыли и плевать хотела на товарно-денежную стоимость чего бы то ни было. Уже нелепица. Она не жмотка, не скупердяйка, но цену вещам знает. Ни в детстве, ни сейчас она бы не смела вот так, с каким-то вызовом, попить дорогую обувь. Она дорогие туфли в дождь снимала. Босиком шла. Во сне же бежала по самой пыли, по самой глубине этой пыли, вроде бы как нарочно. Потом во сне же вдруг остановилась. Как затормозила. Достала носовой платочек. Смех, а не платочек. Кусочек розового жоржета, обвязанный крючком почти на три сантиметра. И она — сон такой — этим платочком вытерла французские туфли и выбросила его. Как уже гадость. Пошла потом медленно, а платочек ветром несло впереди, и чем дальше он был от нее, тем становился больше, шаром становился, вздыбленным на вязанье. Потом куда-то исчез, а она оказалась на их деревенской площади, на самом взгорочке которой стояла маленькая, как игрушка, красавица церковь. Никогда в жизни она этой церкви не видела. Ее развалили лет за двадцать до ее рождения. В бывшей этой церкви была пожарка. Потому что, когда не сумели свалить колокольню, кто-то умный из тех деятелей предложил «приспособить врага для нужд». Колокольню обшили досками, чтобы скрыть ее подлое происхождение, а колокол оставили в информационно-пожар-

ных целях. И вот во сне она стояла во французских туфлях перед никогда ранее не виданной церковью-куколкой, дверь в нее была открыта, и на пороге лежал розовый платочек и шевелился, будто звал, приглашал, и колоколенка нежно так бубнила: «бу-у-м-м...».

Проснулась, будильник еще раз сказал «бу-у-м-м...». Вспомнила, что у нее самолет, что через полчаса подойдет такси, что ввязывается она в авантюру с этим совместным фильмом. Подруги в один голос уже месяц твердят: «Зачем это тебе? Там ведь сейчас, как и у нас! А деньги дают маленькие». Приятель сказал еще определеннее: «Это у тебя климактерические явления. Не знаешь, чего хочешь... Не то соленького, не то революции. Не то католицизма». За «явления» он свое получил, приходится теперь ехать на такси. Без сопровождения. Сама же она знала: эта поездка в чужую страну и желание там сняться на самом деле никакой трезвой разумной логики не выдерживают. Деньги ей будут платить действительно не ахти какие, а в сценарии у нее роль некрасивой, стареющей, брошенной женщины. Дома она такие предложения с порога бы отмела.

Ей их и не предлагали. Это надо было иметь какой-то совсем другой взгляд, чтобы ее, с ее фактурой, ее глазами, ее голосом, представить брошенной и утешающейся какой-то странной встречей с мужчиной «без признаков». Так было написано в подстрочном переводе сценария. Она еще подумала, что это значит — без признаков? Инвалид, что ли? Ничего себе партнерчик! Ей, красавице, играть брошенную бабу, которая бежит от тоски в какую-то глушь и получает там мужчину без признаков. И они — эти герои — вцепляются друг в друга мертвой хваткой, как борцы, все бросают к чертовой матери: она — сына, он — семью, и как идиоты начинают строить какую-то лачугу на острове, как первобытные люди.

Кругом острова моторки, вертолеты, пижоны на стремительных летающих досках, а двое уже немолодых людей сколачивают из ящиков из-под пива дом на всю оставшуюся жизнь. Вот такой глупый сценарий. Приятель сказал: «Подумай головой. Уход в пивной ящик — это даже не смешно.

Это бездарно. Ты полная. Как ты будешь выглядеть на карачках на этом острове?» — «Как камбала на песке», — ответила она. «Вот именно...» — «А это что, имеет значение — как выглядеть, если есть любовь?» — «Выглядеть надо всегда. Это высшая точка воспитанности. Все наши беды от бескультурия... От неумения себя вести. А истинный человек — это все-таки человек одетый и застегнутый в нужных местах... Аккуратно, между прочим. Голую естественность воспевают быдло...»

Ее это все задело. Не могло не задеть. Она ведь тоже думала, как она будет смотреться в позе строителя домика из ящичков на голом острове. Оговорила детали. На ней будет сарафан, а не шорты. Боже, сколько было по этому поводу телефонных разговоров! Режиссеру виделись ее руки, ноги во всей их, так сказать, непригляди или красоте. Как посмотреть. Но она сказала — сарафан. И точка. И все. И не звоните больше.

Сейчас сарафан лежал в чемодане. Яркий, ситцевый, с оборкой по низу. Она набрала дюжину разнообразных косынок в масть ему. Косынки ей шли, она умела их носить, повязывать, вплетать в волосы.

Пока умывалась, вспомнила сон. Церковь — это хорошо, это к удаче. Платочек — тоже. Грязные туфли — плохо. Но ведь она их вытерла. Сама!

Ничего! Слетает — посмотрит, что там за дела.

Она с порога посмотрела на спящих дочек. Попрощалась с ними с вечера. Она их — «доченьки», они ей — «привези». Содержательно простились.

Летела в самолете и думала: «А могла бы я сама, сейчас, сегодня, влюбиться очертя голову, все бросить и строить идиотский дом из пивных ящичков на острове, над которым кружат вертолеты и вертолетчики, глядя вниз, спрашивают друг друга: «Эй, Яцек, что за два идиота внизу в собачьей будке? Схимники?» — «Это с такими-то формами? Схимники?» — «Но не секс же это уединение?.. Он же лысый... А у нее артрит... Отсюда видно... Расперло косточки...»

Инстинктивно она поджала ноги, хотя ничего страшного с ногами у нее не было. Один намек. Но, «услышав» этот

разговор, сама себе сказала: «Я в такую историю попасть не могу. Я, конечно, с удовольствием это сыграю, эту оборочку-печаль на сарафане-жизни, но сама я... Вот так подставиться под вертолетное обозрение не смогу. И не хочу! Еще чего! Я в порядке. И, во всяком случае, «мужчина без признаков» — это не для меня... Нон! Наин! Нихт!..»

Сошла с самолета вся из себя уверенная, самоуверенная, ироничная, так легко несла свое крупное красивое тело, что современные высушенные мосластые бесплотные женщины-конструкции, женщины-чертежи смотрели на нее с плохо скрываемой завистью. Вот вам всем! Не жрите, дуры! Поститесь! Стоняйте с себя то, что исконно принадлежало женщине, гремите каркасом... Вот вы-то и есть без признаков. Мадонны атомного века. Скелетницы! Какой век — такие и мадонны...

Все было тип-топ... Разговоры, коктейль... Вязь комплиментов: «Пани такая...», «Пани эдакая...» Маленький режиссер с прицокиванием обегал ее, как священную гору. «О! Матка боска! Вы совершенны, Анеля...» Никакая она не Анеля. Она Ангелина. Терпеть не может своего имени. Вроде бы по смыслу — красивое. С ангелом внутри. А звучит грубо, громоподобно. Ангелина! Как крик на плацу. Смолоду называла себя Линой, но не прижилось половинное имя, отлетало от нее, как шелуха.

А вот Анна пристала. Может, из-за Анны Карениной? Та ведь тоже была полная и легко носила свое крупное тело. Так она и значилась — Анна, в скобках Ангелина. Но вот с Анелей режиссер погорячился, хотел, видимо, подольститься, а раздражил. «Перестаньте! — сказала ему. — Я не люблю, когда меня уменьшают...»

Сидела, озиралась, показывала себя. Чувствовала — и хороша, и соблазнительна, а главное — Она! Сама! Какая есть! Любила в себе это состояние совершенной естественности, которая уже как произведение искусства. Дорогого стоит, и показывать не грех. Так вот она красовалась, упивалась восхищением, мысленно говорила своим дочкам: «Ну что, дуры? Какова ваша мать? То-то! А сорок пять ведь уже отбило... Учитесь, двоечницы!» Умная, понимала. Вот уж кто

всех ее статей и прелестей не видит — это они. Нет, на словах — все как полагается! «Ну, ты, мать, даешь!», «Ну, ты у нас!» Но слова. И только. Пусть даже искренние, но слова. Без наполнения. Без понимания, что все на самом деле так. Потому что, когда тебе семнадцать и девятнадцать, красота тех, кому за сорок — да что там? за тридцать, — не воспринимается. Она сама была такая.

Немолодая красивая женщина для молоденькой дрыги все равно что женщина на портрете. Это в лучшем случае. Случае отстраненного признания. А случай с ее дочками более характерный. У пожилых — они считают — нет такого родового признака, как красота. Им полагается быть умными, щедрыми непременно, понимающими, чуткими, внимательными. Но красивыми — боже, зачем? Зачем им это? Да после тридцати — хоть в тряпки. Хоть с костылем. Несущественно. Такая и она была. Такие у нее и дочки. Вырастут — поймут. Женское в женщине не кончается никогда. Наверное, и в семьдесят. Хотя это уже, конечно, и противновато... Но сейчас она это уже допускает. Поэтому она упивалась всеми порами восхищением и забыла спросить: а кто же этот, который «без признаков»? Что они имели в виду, шутники?

На следующий день она проснулась с ощущением, что ей надо куда-то идти. «Никуда не надо», — сказала она себе, нелогично оделась, вышла из гостиницы и пошла направо. Из окна она еще вчера заметила эту улицу направо, которая начиналась у гостиницы и из окна виделась как ведущая в никуда. «Странная какая, — подумала она, — наверное, тупичок».

А теперь она шла по этой улице, и та все не кончалась, была игривой, извилистой, зеленой. Рискованно было далеко уходить, ее должны были везти на студию, но она шла, шла, то смеясь над собой, то злясь.

«Куда это я прусь?» — спрашивала себя, продолжая идти.

И вдруг она что-то почувствовала под ногами, непривычное. Густая бархатная пыль лежала по краям дороги, и она шлепала прямо по ней в дорогих французских лодочках.

Надо сказать, что свой сон она тогда не вспомнила, потому что разозлилась на себя за эту прогулку, за то, что «дове-ла дорогие туфли», за то, что уже опаздывает, и так далее. Надо было возвращаться. Она шагнула к тянувшейся вдоль улицы металлической ограде, срывая по дороге листья, чтобы вытереть туфли.

— Добрый день, пани, — услышала она. По ту сторону ограды стоял мужчина, и вид у него был смущенный и дурацкий.

— Привет, — ответила она, вытирая туфли. Она даже не сообразила сразу, что он обратился к ней по-русски, значит, знал ее. Стояла и вытирала листьями лодочки, даже поплевать пришлось.

— А я попался, — сказал мужчина и засмеялся. — Как дурак.

— Я тоже, — ответила она. — Ну и пыль же у вас! Высокой жирности.

— Такое место, — сказал он.

— Какое место?

— Ну, как это по-вашему? «Дурдом» называется.

— Да? — изумилась она. — Значит, вы оттуда?

— У меня сломалась машина, и я пошел через территорию больницы, думал, тут где-нибудь выйду, а тут — видите? — решетка. Теперь придется назад, и я уже определенно не успею... Вы случайно не обратили внимания, там нигде нет калитки?

— Я вообще ограду не видела... Шла себе и шла... Как дура в дурдоме... Меня тоже люди ждут.

— Простите меня, конечно... Но не могли бы вы чуть приподнять ограду, а я бы прополз внизу?

И они пошли вдвоем вдоль ограды, ощупывая ее и ища в ней слабое место.

— А это правда дурдом? — спрашивала она.

— Еще какой! — отвечал он.

— А вы сами... Не того?

— Того, того! — засмеялся он. — Какой нормальный будет искать кратчайшее расстояние через психбольницу?

— Стоп! — сказала она, хватая его за руку через ограду.

ду. — Почему вы говорите по-русски? Я ведь в Польше? Или это какой-то интернациональный дурдом?

— Моя прабабушка русская, — сказал он, — а я по делам службы у вас часто бываю. Я вас хорошо знаю по фильмам. И знаю, что вас пригласили сниматься...

— Стойте! — сказала она. — По-моему, эту штуку мы раскачали... Пролезайте скорей! Я опаздываю.

Шли по улице быстро. Она скоро заметила, что идут в гору. Стало чуть колотиться сердце. Неудивительно, сколько всего. Этот шел чуть сзади и молчал.

— Почему вы молчите? — спросила она.

— Боюсь вас рассердить, — сказал он. — Я вас задержал.

— Правильно, — сказала она. — Меня лучше не сердить. Приехала подписывать контракт, а ломаю ограды, спасаю неизвестно кого, а главное, неизвестно зачем... Может, там ваше законное место, а я вообще другая великая страна...

Он молчал.

— Он еще и молчит! А я устала как сатана. Ободрала все пальцы... Сердце колотится... Слушайте, вы! — сказала вдруг она. — Поцеловали бы меня для вдохновения подъема в гору? — Она остановилась и повернулась к нему, смеющаяся, гневная и горячая. — Или у вас есть другой способ вдохновения женщины?

Когда он ее обнял, она поняла, что это как конец. Как смерть. Трезвый, ироничный ум встрепенулся и прокомментировал состояние: если, мол, у тебя, дуры, мужское объятие сродни смерти, так не пошла бы за ту самую оградку, которую разламывала? Она так и сказала:

— Кажется, наше место за оградой.

— Хоть где, — ответил он тихо. — Только бы вместе...

— Это что, объяснение? — закричала она на него.

— Похоже, — ответил он тихо. Они целовались как сумасшедшие. Какое место, такие и поступки.

Когда она прибежала в гостиницу, там была паника, и уже вызвали полицию. Она ведь вышла утром из дома и как в воду канула.

Когда наконец все успокоились, режиссер уставился на нее и сказал:

— Что с вами случилось? Вы мне такая не подходите.

— Какая такая? — спросила она.

— Я почему хотел русскую? — объяснял режиссер. — Только в них есть это свойство. Они способны дойти до предела отчаяния, а потом взметнуться к пределу ликования, и будто отчаяния не было. Я бы сказал, что у русских короткая память, но они совершают и обратный путь, и выясняется, что в отчаянии они снова как дома. Просто-запросто... Как будто и не подозревали, что такое счастье... Вам все ни-почем? — спросил он. — Вы до конца не верите ни в счастье, ни в несчастье? Или, наоборот, истово верите и в то, и в другое?

— Господи, сколько слов! — сказала она.

— Сейчас вы очень сильная, — продолжал режиссер. — Как это у вас? Лошадь остановит, пожар...

— Могу, — сказала она, — запросто. Я ломила...

— Но вы можете другое? Вы можете быть некрасивой, толстой, никому не нужной? Вы извините, пани Анна, но, глядя на вас, сейчас в это трудно поверить. Такое ощущение, что вы только что из объятий...

— Я из них, — сказала она.

Все засмеялись. Юмор у этой русской артистки всегда под языком, ничего не скажешь.

На студии ее уродовали. Когда от нее уже совсем ничего не осталось, когда из зеркала на нее стала смотреть серая, тусклая, никлая, вялая женщина, вот тут она и вспомнила сон. Просто увидела его за спиной этой женщины — себя в зеркале. Бегущие французские туфли в жирной пыли, а потом этот розовый платочек... Она даже наклонилась к зеркалу, чтобы разглядеть, что там еще, но все исчезло, а пришло ощущение тревоги и даже страха. Полезла в сумочку, достала седуксен, выпила таблетку. Пришел режиссер, посмотрел на нее, потер руки и сказал:

— Ну, что я вам говорил о русских женщинах? Они всегда ходят по краю. На меньшее они не согласны...

— Чушь! — закричала она. — Вы целый день говорите чушь... Как вам не надоело? Если хотите знать, то главное в русской женщине, что она...

— Что? — спросил режиссер. — Что? Слушайте все, она сейчас скажет...

Они все смотрели на нее. С интересом, сожалением — очень уж ее изуродовали. С насмешкой — а она еще и философ! С презрением — чего она из себя корчит, эта русская. С жалостью — бедняжечка, попалась!

Она все увидела, всех заметила. Пришло ощущение слабости и жалости, ну что я им скажу, что я знаю на эту тему — русская женщина? Да ничего, если не считать, что все.

— Да ну вас! — засмеялась она. — Я — русская женщина. Изучайте. Наблюдайте живую природу. Одно скажу — притворяться не буду. Может, это и есть главное. Русская не притворяется ни хуже, ни лучше. Как говорит один мой знакомый — «выглядеть» она не умеет. Она какая есть, такая и есть.

Она устала за этот бестолковый день. Залезла вечером в ванну, господи, как хорошо, и тут же стала вылезать. И так торопливо, суетливо, что пену вытерла полотенцем, а на спине пена так и осталась, когда она стала напяливать на себя платье.

Выскочила из гостиницы как ошпаренная. Куда?

Он ждал ее. Стоял и смотрел прямо в дверь, из которой она материализовалась. Она ударилась ему в грудь, и они побежали быстро-быстро на ту самую сумасшедшую улицу. И снова целовались до задыхания, до полного бессилия. Потом она не выдержала и села на землю.

— Подожди, — сказала, — я заряджусь.

Он поднял ее и отряхнул...

— Тебе сколько лет? — спросила она.

— Сорок пять, — сказал он.

— Ты уже совершеннолетний, пошли в гостиницу.

На следующий день ее повезли на остров. Она надела сарафан. Ей представили ее партнера. Он был в плавках и являл собой довольно выразительного мужчину. Признаков было даже лишку.

— Это он без признаков? — спросила она. — Ничего себе шуточки!

— В общем, да... — сказал режиссер. Актера стали обрядать в какую-то мешковину, а она пошла гулять по острову. Конечно, сценарий не без идиотизма. Дом из пивных ящиков... Надо же! Но когда дело дошло до дела, до пробы, она выдала такой класс, что ей устроили овацию. Этот, без признаков, таким и оказался рядом с ней — пустым местом.

— Боже мой! — прошептал он. — Вы великая артистка.

— Это все сарафан, — сказала она. — Мне бы сроду не суметь, если б не он...

Вечером торжественно подписали контракт. Присутствовали телевизионщики. Ей сунули микрофон, чтобы сказала причитающиеся слова, она взяла, улыбнулась им всем, как только могла, чуть откашлялась и отдала микрофон назад. Пошла быстро, только рукой махнула.

Почему она решила, что он ждет ее в гостинице? Ее никто не ждал. Она разгневалась и на себя, и на него. Что, она так и будет теперь дергаться на веревочках «внутреннего голоса»?

— Дура, — сказала она, глядя на себя в зеркало. Накинула плащ и вышла в ночной город. На сумасшедшую улицу она, конечно, не пойдет. Она пойдет совсем в другую сторону. И пошла. И ничего. Шла себе и шла. Зашла в маленькое кафе, взяла коньяк и кофе. Села у окна, ко всем спиной.

То, что он появился у окна и стал на нее смотреть, было совершенно естественно. Иначе зачем бы она сюда пришла?

— Ты сидишь на моем месте, — сказал он.

— Ну, знаешь! — ответила она, резко двинула стулом и ударилась коленкой.

— Я тоже всегда здесь бьюсь, — сказал он.

Бесконечность совпадений, угадываний. Их руки всегда протягивались за одним и тем же, их губы произносили одни и те же слова. Они не назначали друг другу встречи, а оказывались одновременно в одном и том же месте. Она брала телефонную трубку за секунду до того, как звенел звонок.

— Я боюсь, — сказал он ей.

— Чего? — спросила она.

— Так не бывает, — ответил он.

— Но есть же! — закричала она.

Он смотрел на нее как на чудо и как на дьявола.

Ее командировка закончилась. Съёмки должны были начаться через три месяца. Он дал ей адрес деревни, откуда была родом его прабабка.

Ее провожала группа, ее саму было не видно за цветами. Время от времени она тоскливо смотрела вокруг, но они уже простились, и она его не ждала.

Вошли в самолет, сели, стюардессы обиходили ее цветы, и она сняла туфли на каблуках и вытянула ноги. Вот и все. На этот раз. Теперь ей предстоит летать часто. Надо же! Такое счастье, а он боится... Дурачок суеверный...

Самолет мертво стоял, задраенный, попискивающий от нетерпения.

— Пора бы, — сказал ее сосед. — Так во всем теряется время.

Она посмотрела на него внимательно, он приосанился. Самолет стоял.

— Ну, что там у вас? — громко спросил сосед стюардессу. — Заело?

Стюардесса по-стюардесски улыбнулась и ничего не сказала.

Тогда она встала и прямо в колготках пошла к летчикам.

— Мальчики, — сказала она им. — Выпустите меня на секунду.

Они обнимались на виду всего аэропорта. Это была ошибка, потому что уже через час режиссеру фильма было предложено найти другую актрису, менее экстравагантную, не останавливающую самолеты.

Дочки были потрясены пустыми чемоданами.

— Чем ты там занималась?

— Ну что? Будешь камбалой на песке? — спросил приятель.

— Буду, — ответила она и положила трубку.

— Почему невежливая? — спросил он, перезвонив тут же.

— Окамбливаюсь, — ответила она. — Не отвлекай — это процесс.

Вечером она села в поезд и поехала в его деревню.

Был автобус, потом грузовик. Потом паром. За всю дорогу она произносила только нужные слова — куда? Во сколько? Она была в очках, ее не узнавали, но оглядывали внимательно: кого-то напоминала.

На взгорочке той самой деревеньки, светясь всеми маковками, стояла церковь, та самая, из ее сна. Она дошла до нее, был уже вечер, села на лавочку. Что это все значит? Думала. Так не бывает, и так есть...

Подошла старушка, пригласила в дом. Она пошла, все равно к кому-нибудь пришлось бы проситься ночевать.

На стене увидела себя. Нет, не знаменитую актрису, а женщину в подвенечном платье, с красивым обвязанным платочком в руках.

— Он был розовый, — сказала она.

— А кто его знает, — ответила старушка. — Не помню, я малая была. Это тетя моя. За поляка вышла, он нашу веру принял, а уехала она за ним. Красивая была, сил нет... Вот как ты... Только волосы погуще да глазом потемней. Статная.

— Я на свою мать похожа, — сказала она сердито, — у нас сроду никаких поляков...

Всю ночь не сомкнула глаз. Концы с концами не сходились. Она не могла быть похожа на его прабабку, не могла. Хотя почему нет? Что она знает о предках, что мы вообще знаем о себе? Но ведь случилось это с ней. Для чего-то? Не с бухты же барахты. Из глубины корней выросла любовь одна на двоих. И такой оказалась сильной, что самолет остановить ей — раз плюнуть!

Фильм заморозили. Не нашли денег. Режиссер юлил по телефону.

Однажды после такого разговора она в ключья разодрала сарафан. Потом зашторила окна и легла лицом в подушку.

Звонил телефон — не поднимала трубку.

Звонили в дверь — не открывала.

Но в какую-то секунду резко встала и пошла к выходу. Открыла. Прямо возле двери стояли «козлы», девчонки-ма-

лярки хихикали и красили стены. Они замерли, увидев ее, она же остолбенело смотрела на свою заляпанную, выгвазданную дверь, на которой ни звонка, ни номера видно не было. Другие двери на площадке были аккуратно закрыты газетами.

— Давно так? — спросила она.

— С утра, — сказали малярки. — Мы вам звонили, звонили...

Она захлопнула дверь и вышла на балкон. Она сразу его увидела. Он сидел согнувшись в детской песочнице.

Начало и конец, смерть и бессмертие, горе и счастье сразу оказались в одной точке. И этой точкой всего сущего было ее сердце.

— Ура! — прошептала она. — Ура! — и села на ящик из-под пива, который она все время хотела выкинуть и не выкидывала. Что бы она сейчас делала без него, на чем бы она плакала, почти высунув голову между перил и размахивая, как флагом, куском порванного сарафана?

ЖЕНЩИНА ИЗ ПРОШЛОГО

На похоронах подруги к ней подошла женщина и тихо спросила, не знает ли она, где у них, у крематорщиков, туалет. И я не знала и, честно говоря, тоже была этим слегка озабочена.

Женщина тут же исчезла, но скоро снова встала рядом и сказала, что туалет нашла, но он закрыт. Нет воды. Видимо, Ия засмеялась нервно и громко — на нее обернулись. Все-таки крематорий.

— Придется подождать, — сказала Ия женщине. — Тут ехать недалеко.

Но ведь она даже не знала, к кому из покойников пришла женщина, — а сказала, ехать недалеко. Но... что-то... что-то в лице подошедшей, в сдвинутом ее плече, а главное, в этих удлинённых прижатых ушах говорило Ие, что она ее знает, просто в суете жизни забыла, а вот та ее не забыла, потому и подошла именно к ней с интимным вопросом.

К этому времени — Ия это уже отметила — забылись многие, зато немногие так внедрились в память, что ничем их оттуда не выковыряешь, такие вечные стигматы. И еще были бы они — внедрившиеся — чем-то родственны или там не родственны, нет же! Чужие и посторонние...

Потом они ехали в дом покойной подруги, а приехав, дружно встали в очередь в туалет. Двери на площадке все нараспашку, соседка увидела «хвост» и тихо, чтобы не все слышали, предложила стоящим в конце воспользоваться их услугами. Но Ию как раз привлекли к выносу кутьи, потом все закрутилось, завертелось, и она потеряла из виду ту, о которой не могла даже сказать с уверенностью, что она «из наших похорон».

Назад домой Ия ехала в метро со знакомой учительницей, та жаловалась на время, избитая тема Ию раздражала, даже гневилась, мол, как она может бормотать про какие-то глупости жизни, когда мы только-только столкнулись с самой матушкой-смертью, у которой уж точно без глупостей, ибо вообще без ничего, и тут выбирай — или глупость жизни в живом времени, или уж без глупости, но и без всего остального тоже. Вот этого метро, дороги, разговора, вкуса кутьи и водки, запаха табака. Да мало ли... Это Ия как бы отвечала своей попутчице, а на самом деле сидела молча и раздражалась. Интересно, если бы она ехала одна, если бы ее не перевернули всю глупости знакомой, могла бы она повести себя иначе в той ситуации, что ждала ее через двадцать минут вот этого самого живого человеческого времени?

Дома же Ия застала грех. Потом выяснилось, что Николай — муж — то ли по слепоте, то ли по невнимательности спутал время. Двенадцать часов — время кремации — у него превратились в два. От этого он стал считать и прихода Ии в пять часов никак не ожидал — он ожидал ее в семь.

Некая неизвестная Ие баба сидела с ногами на ее диване, в ее халате и пила кофе из ее чашки. Ну, прямо сюжет по медвежьей сказке. Николай побледнел так, что она подумала: сейчас умрет, и это будет самая справедливая смерть в мире. Она же — «баба» — так спокойненько и по-хозяйски спустила с дивана ножки, что Ия ощутила привычность это-

го движения: ишь, как мигом нашли ее лапы Иины тапки. А она ведь последнее время все не понимала непривычного запаха своих вещей и даже хорошо пугала себя прочитанным знанием, что изменившаяся секреция — запах там или его количество — может свидетельствовать о каком-нибудь набирающем силу заболевании. Ей и в башку не могло влезть, что просто в ее вещах потела чужая женщина.

Момент исчезновения «бабы» из квартиры прошел мимо Ии. Видимо, на сколько-то минут она умерла. В коридоре шло какое-то безмолвное шелестение, это она слышала с того света. Стукнула дверь, Николай вернулся, сел на диван — дурак дураком — и заговорил. Надо сказать, что Иино умершее сознание на момент его усаживания на диван уже вернулось к ней и бросило свой утешающе-спасительный круг, на котором и было написано, что он с корабля по имени «Дурак дураком». Сокращенно «Д.Д.».

«Из меня вес вынесли. Я стояла пустая, гудела, сквозила своей пустотой, я чувствовала хрупкость оболочки, которая может не выдержать давления пустоты и лопнет с громким писком». Вот так красиво складывались в Ие слова.

Николай же сидел молча, каменя в новом образе, они как бы являли собой разности стихий — земли и воздуха, что соответствовало правде их гороскопов, только наоборот. Ия, Козерог, была в этот момент легка и воздушна и могла (если не лопнет) лететь к «едрене фене», он же, Близнец, становился на глазах жены памятником самому себе, и его вполне можно было уже закапывать по грудь.

Теперь Ия вернулась из смерти и разложила эту историю у себя на столе, и, как полагается исследователю, смотрела на нее через разнообразные стеклышки, капая попеременно в действующих лиц контрастным веществом для более полного вычленения и препарации. Она понимала ситуацию так: они оба, и она, и «Д.Д.», оба ждут какого-нибудь звука, голоса. Она, чтобы с громким треском лопнуть, а у Николая тогда завершится процесс каменения, и она на самом деле поставит его на его могилу.

Голос первой подала Ия.

— Вынеси, пожалуйста, на помойку мой халат и тапочки, — сказала она как бы из внутренней пустоты.

И он это сделал. Ия видела, как запихивает он в большой старый пакет ее единственный приличный халат, как, натянув ветровку, выходит из квартиры. Ия принюхивается, причувствуется к этому состоянию: он ушел и не придет, не сейчас, нет, сейчас на нем домашние, с вытянутыми коленками штаны, а не придет завтра, к примеру, или через три дня... И тут Ия как-то оглушительно понимает, что она его давно не любит. Что она охвачена не горем, нет, она оскорблена другим: он это сделал, а она — нет. Кажется, Ия даже присвистнула, когда эта нехитрая и, можно сказать, мелкая мысль сформулировалась и встала перед ней, как лист перед травой. Или как там в фольклоре.

Ия пошла включать чайник. У нее не было другого чистого халата, и она влезла в старое ситцевое платье с выпоротой на боку «молнией». Но какое значение теперь имел ее вид? На ноги Ия напялила старые-престарые, со сбитыми задниками тапочки, в которых чувствовала себя заваливающейся назад овцой, такое у них свойство.

Николай вбежал в квартиру, и на лице его еще не остыл ужас: видимо, он боялся, что Ия запрется на все замки, что халат и тапки она хитромудро использовала в целях его изгнания. Попав в квартиру, он так ошеломленно выглядел, так по-детски стал счастлив, что просто кинулся на грудь жене и почти плача сказал, что любит только ее, а то, что она увидела, — все чушь.

И они сели пить чай. Ия сказала, что надо позвонить родителям приятеля их сына, ребята поехали шабашить — строить дачу их профессору. Время от времени кто-то из них звонит из Загорска, но уже давно не звонили. Говорила в основном Ия, но это не особый случай, она более болтлива всегда. Ия видела, как меняется изнутри Николай, и это не кажется ей, а чистейшая правда — Иино видение его превращения. В промежутке между глотками чая и возмущением профессором, который считает вполне пристойным нанимать дешевую рабсилу из собственных студентов, так вот, между всем этим Ия вспомнила рассказ Кафки о превраще-

нии человека в жука и подумала: «Как интересно за этим наблюдать и как хорошо в это время не любить, потому что любя этот процесс пережить было бы невозможно».

Ия знала, как повернуть вспять превращение: она просто должна начать разговор о другом, о бабе на ее диване, тогда все сразу встало бы на свои места, и пришли бы нормальные к данному случаю слова и нормальные эмоции. Хороша бы, к месту была бы и разбитая вдребезги чашка, вскрик и последующее «напоморде». В результате всего этого в Николае прекратилось бы «превращение», и они бы выплыли и вплыли из водоворота в спокойную воду... Но все шло как шло. У Николая желтело лицо и острился нос, Ия никак не могла вспомнить, на кого он становился похож, и все продолжала и продолжала говорить о профессоре, а Николай смотрел на нее с ужасом.

Через час его увезла «Скорая». Врач сказал: «Вряд ли доведем», поэтому и предложил Ие ехать с ними.

Ия сидела рядом с носилками, и их прилично трясло. Николай смотрел на нее с мольбой, может, он все еще рассчитывал, что она поведет себя по нормальному сценарию и наконец заорет на него: «Ах ты, сволочь такая, так тебе, паразиту, и надо!» И подстегнутые естественным, общечеловеческим ходом вещей иммунные силы возьмут свое и заштопают дырку в сердце, из которой сейчас у него недуром хлопещет кровь. Ия же гладила его руку и говорила, что все будет в порядке, и видела перед собой улыбку Моны Лизы, в которую в свое время так долго вглядывалась, что однажды раз — и поняла, что некрасивая женщина оставила всем потомкам нелюбовь к людям, а они, люди, — дураки, не хотят признаться, что их можно так не любить, а синьора знала — есть за что. Абсолютно точно есть. Но при чем тут Николай? Он невиновен, он, можно сказать, свят. Как скоро выкинул он халат и тапки.

Ия гладит его руку. Ия его жалеет. Ия его не любит. Привет тебе, Лиза Мона!

Утром врач сказал, что неожиданно для всех наступил перелом в лучшую сторону, но «тряхануло мужика прилично, с оттяжечкой».

Первым поездом метро Ия вернулась домой. У мусорного бака она притормозила. Пакет с халатом и тапками лежал, можно сказать, сверху. Она взяла его и принесла домой. Халат замочила в тазу, а тапки вынесла на балкон, чтоб, как говорила мама, протряхли. В конце концов, с какой стати она должна это выбрасывать?

Утром же позвонил сын, спросил, как они. Ия сказала, что у папы инфаркт, но, кажется, обойдется. Сын испугался, закричал, что приедет, но ей это было не нужно, ей хотелось оставаться в своем параллельном состоянии, его надо было постичь. При чем тут сын?

— Ты просто звони почаще, — сказала Ия ему.

— Я буду звонить каждый день, — ответил сын.

Потом она сообщила на работу Николаю. Там всполошились, стали предлагать помощь. Ия ответила: «Ни в чем нет нужды». Выспренность фразы как-то враз остановила поток доброжелательства. Опять же... заплачь она или скажи примитивное «спасибо, спасибо!» или другое примитивное «ему так нужно ваше внимание», все шло бы по накатанной.

Но было как было. Не те мысли, не те чувства, не те слова...

Мама приехала сразу, как только узнала о несчастье. И хотя Ия кричала ей по телефону (как и сыну), что не надо приезжать, не надо, мама приехала, потому что это соответствовало маминим представлениям, как должно поступать.

Николай еще лежал в реанимации, когда Ия столкнулась с «бабой» у поста дежурной. Пост был свободен от постоя (каламбур!), сестра и врачи выпивали в ординаторской, потому что в конце смены они всегда выпивали, закрываясь на ключ. Она («баба») стояла у поста в расчете получить информацию, а Ия топала прямо в реанимацию, там через полустекленную стену можно было заглянуть и увидеть Николая. Он про это не знал, соглядатанье, как и полагается ему, было тайным и доставляло Ие утешение. Она как бы была с ним, но и не была тоже, и именно это ей тогда годилось больше всего.

А тут идет, а она стоит. Своим параллельным сознанием Ия отметила, что «баба» значительно моложе ее, лучше оде-

та и, честно говоря, красивее. «На месте мужчины, — подумала Ия, — я бы выбрала ее». У «бабы» современные ноги, которые держат ее достаточно высоко над землей в отличие от Ииных приземистых. Правда, джинсовое платье она носит без пояса, и Ия понимает, почему. У нее нет талии, тут Ия, конечно, побеждает, потому что с этим у нее все в порядке. Она девушка гитаристая. Идем выше. Волосы у «бабы» лучше, густые, блестящие, их можно не подвергать грубому насилию химии и перманента, а достаточно просто постричь и встряхнуть головой.

«Баба» повернулась к Ие лицом, оно у нее всполошилось, задергалось, а чего, спрашивается? Дергаться-то надо Ие.

— Привет, — сказала Ия. — У медицины перекур на перепой. Идемте со мной, я вам его покажу.

Они шли рядом, и Ия слышала терпковатый, весьма сексуальный запах. Рассчитанный на широкий спектр мужчин со слегка сбитым обонянием. Курильщики, выпивальщики, аллергики, насморчники, а также те, у кого от детских потасовок осталась искривленной носовая перегородка. Собственно, это практически все мужики скопом. Она широко пахла, эта «баба», с хорошим захватом.

Ия показала ей Николая. Они видели его нос и волосы на подушке.

— Господи! — воскликнула «баба». — Он поседел! — И она заплакала.

Иина рука не смогла нащупать очки в сумочке, потому что пальцы свел спазм. «Судорога, — подумала Ия, — но ведь судорога болит?» Нет, пальцы не болели, они просто раскорячились внутри сумочки и бездарно цеплялись за подкладку. По-настоящему она не успела испугаться, потому что пальцы коснулись очешника и пришли в норму.

В очках Ия хорошо увидела волосы Николая на подушке. Они действительно поседели.

В коридоре раздался здоровый смех медицины. Врачи и сестрички, клюкнув, расходились по постам и домам. Врач, увидев их, сказал, что нечего тут торчать, все идет путем и завтра больного переведут в палату. «Вот тогда и ходите, а сейчас вы не нужны».

— Завтра? — спросила Ия. — А не рано ли?

Врач оказался из легко пьянеющих. Взгляд его был несконцентрированным, леденец он сосал громко, даже слегка задыхаясь.

— Вы кто по профессии? — спросил он Ию.

— Я? — спросила она. — Какое это имеет значение? Я славист.

— А! — удивился он. — Этого я не понимаю. Вы что делаете?

«Баба» хмыкнула. Ию накрыла огромная, всепоглощающая дурь. Какой она к черту славист? Она ведет малопопулярный семинар по литературе западных славян. Менее престижно заниматься только монголами. Ия писала как бы диссертацию о взаимопроникновениях литератур, но это было так неинтересно ей самой, что закончить свой «трактат» она не смогла и пребывала сначала в состоянии молодой, а потом уже не очень молодой ассистентки. Случись какие пертурбации — ее выгонят первой. Но это и не совсем так. Могут и не выгнать. У Ии есть одно неоспоримое достоинство — стиль языка. Она всей кафедре литературы переводит с неграмотного на русский статьи и диссертации. Славист она хренов, а вот редактор — ничего.

Все это подумалось мгновенно, а ответила Ия громкому сосальщику леденца, что славист — преподаватель литературы в институте. Ферштейн, мол, камрад, или как-нибудь сказать проще?

— Ну да, — ответил врач. — Где же еще, как не в институте? В другом месте это не нужно. Я это к чему? Я же не даю вам советы по славизму.

Лекарь ушел, даже как бы гордо, оставив последнее дурацкое слово за собой.

— Это называется — получай, фашист, гранату, — сказала Ия. — Как вас зовут? Как мне к вам обращаться?

— Вера, — ответила женщина.

Они шли по коридору в ореоле запаха Веры, ходячие мужчины делали на них стойку, без дифференциации. Откуда им было знать, что «звучит» из них одна?

— До свиданья, Вера, — сказала Ия со всей невозможной вежливостью, когда они оказались на улице.

— Я, пожалуй, больше не приду, — ответила Вера, — чтоб не было нервности и неловкости.

— Какая уж там нервность, — сказала Ия. — Одно удовольствие.

Хмыкнув, «баба» ушла от Ии быстрым шагом. У длинных ног скорость шибче, и в движении они красивее. Это надо признать.

Впереди маячила какая-то неясная жизнь. Во всякое другое время Ия хорошо бы подумала об этом в транспорте. Она умела думать о себе в толчее, делая дышащих и оттаптывающих ее действующими лицами собственной, попавшей в ловушку жизни.

Ия выбирала из толпы «себя». Даму ее лет и ее круга. Одним словом, интеллигентную тетку, которая слышала про Аристофана. Она помещала ее в капкан, в который попала сама, но теперь это была другая, и Ия спокойно, со стороны, подсказывала ей, дуре, как сподручней обмануть железяку-судьбу. Иногда Ия привлекала к поиску выхода мужчину в очках с книгой Карнеги в руках или там Кастанеды, если он был на десяток лет помоложе. Для строгого совета годилась и какая-нибудь бабушка с пронзительным точечным взглядом, из тех, что держат нас всех паучьими лапками, чтоб мы не очень уж вспархивали на литературных примочках. Все-таки жизнь, она требует топлива простого, ей дистиллированная вода и аспирин хороши в случае исключительном, а наши капканы и ловушки грубые, грязные... Других нету... Ия наездила в своей жизни такой километраж, «выходя из положения», столько случайных людей сыграли роль в ее умственных спектаклях, но тут...

Тут, идя из больницы, она поняла, что все раньшее не подходит. И хоть не ахти какой оригинальности сюжет, а вытолкнул он ее за пределы собственного понимания и разумения.

А однажды ее на улице остановила та женщина, которую она не могла вспомнить на похоронах подруги. Женщина просто дернула ее за сумку посреди улицы. Возникло про-

тивное чувство беспамятства. Ну, кто она? Кто? Эта, с прижатыми ушами? Кто ее так закопал в память, что она сидит там безмянно и необъявленно? «Есть у меня силы вспоминать, — вздохнула Ия. — Мне еще бульон варить, клюкву жать...»

Но не будешь же спрашивать — вы кто? — поэтому вспомнили общую знакомую покойницу, но так, конспектом... Ия боялась при больном муже даже говорить о смерти. А больше темы не было. Ия быстренько сказала, что «ах, ах, нет времени» и, что называется, дала деру, но уже дома подумала: с чего это она меня остановила? Просто идиотка какая-то! Берет и дергает за рукав. С какой стати...

Ия сказала маме:

— Дважды за последнее время встречаю одну женщину и, убей, не помню, откуда я ее знаю. И ведь не спросишь... А она подходит как к хорошо знакомой.

Почему-то мама разнервничалась — она всегда боялась неопознанных людей — и стала выпытывать, как, когда и что...

— Да ничего особенного! — ответила Ия. — Просто подходит как к знакомой, а я помню только ее уши.

— У меня тоже была знакомая с ушами. Я думала, ее никто замуж не возьмет, просто как у Чебурашки, а у нее мужиков было столько! И все один другого виднее. Это можно понять?

Ия подумала: а может быть, я ее знаю через ее мужа, по работе?

И тут Ию как током ударило.

Женщину звали Тоней. И Ия однажды действительно имела дело с ее мужем.

...Это было так давно! Сын был маленький и еще плохо стоял в манежике. Они тогда были молодые и бедные и на праздники устраивали складчину. Составляли список нужного, и каждый брал что-то на себя. Эту пару молодоженов кто-то привел, потому что не мог отвязаться, и пришлось Ие, как главной в команде, решать вопрос о доле в складчине по телефону с Тоней. Ия ей сказала: «Хорошо бы вы нашли шпроты и кагор». — «Нет, — ответила Тоня. — Это у меня не по-

лучится. Можно я принесу винегрет?» — «У нас его целое ведро», — ответила Ия. «Но шпроты мне не достать, — вздохнула Тоня. — Это же дефицит. А я человек без связей».

И она принесла все-таки этот чертов винегрет и бутылку водки. Ия тогда разозлилась и выставила этот бордовый, комкастый, пахнущий магазинным огурцом взнос на балкон. Получилось так, что молодой, с иголки муж участвовал в изгнании винегрета, как-то крутился рядом, и они пару раз попали в узость балконной двери, и Ия почувствовала его мускулистый живот и вообще и очень возбудилась: они — молодые женщины — уже хлебнули тогда винишка, нарезая хлеб и колбасу.

Это был стремительный, скоропалительный роман сроком в один праздник. Как его звали? Его звали Эдуард, но, когда «на закусках» у них всюю пошла раскрутка, Ия сказала: «Можно я тебя буду звать Вася? Я на Эдуарде заплетаюсь». — «Валяй», — ответил он.

Одним словом, пошло-поехало. И был балкон, пахнущий огурцом и заолодевшей свеклой, и была кладовка, и все было как бы смехом и между всем остальным. Николай был тогда вусмерть, а Тоню она в упор не видела, просто переступала через нее, потому что с той минуты, как та оказалась слаба принести шпроты, а приволокла-таки винегрет, Ия на нее затаилась. Приходят всякие немощные, когда не звали... И не считаются с пожеланиями компании. Глупое, молодое, бездарное, злое поведение, ну как его еще назвать? Утром все разошлись и как не встречались.

Хотя в кладовке или на балконе Эдуард-Вася предлагал Ие бросить мужа об пол, сам обещал сделать то же с женой. Она хохотала: «Конечно! Давай бросим. Давай их разобьем!» И они так загремели тазами — значит, дело было в кладовке? — что кто-то спяну решил, не воры ли?

Вот и вся история. Делов! Но почему через двадцать с лишним лет Тоня дважды попадает ей на дороге? Ие стало как-то беспокойно и тревожно. Конечно, несусветная глупость, все таким быльем поросло, что смешно даже говорить.

Но и смешно не было тоже. Одним словом, ни одной положительной эмоции не могла Ия настричь с того палисада,

где когда-то была молода, хороша собой и могла в два счета отбить мужика, который только-только из-под венца вышел. Но это так, фигурально. Какие там венцы в то время?

Интересно другое. Собственный молодой грех как-то странно провоцировал ее против Николая. Логика: я-то была молодая, дурная, а ты-то? Ты? Уже почти дед, если бы та девочка в десятом классе не сделала аборт и им не пришлось бы срочно переводить сына в другую школу, был бы дед!

Одним словом, молодое прошлое настигло, и от него надо было как-то освобождаться.

А тут как раз позвонил из больницы Николай. Сказал, что в больнице отключили горячую воду и всех, «которые более-менее», выписывают.

Зачем, почему она стала на него орать? Как будто он сам отключил эту чертову воду! Мама махала руками возле лица Ии. Это, наверное, что-то должно было означать, но Ия отталкивала руки, они ей пахли рыбой.

— Не возникай! — сказала она маме. — Имею я право на время, чтобы во всем разобраться?

— В чем? — спросила мама.

— Ах! Ты не знаешь?.. Ты же, оказывается, у нас ничего не знаешь?..

Мама как-то жалко замычала, а Ия села на телефон и стала вести дознание. Пришлось скovyривать целый геологический пласт жизни, пока добралась до людей того времени. Добралась-таки! Пережила удивление тех, кому звонила — неужели это ты? — и прочая, прочая, чтобы потом задать вопрос: ты помнишь?

По цепочке вышла на помнящих Тоню-Васю. Да, они разошлись, не догуляв медового месяца. Эдуард-Вася стал крупным чиновником, у него жена художница-модельерша, не вылезает из-за границы. А Тоня... Тоню так никто и не подобрал, хотя хорошая тетка, добрая, отзывчивая, всю жизнь возится с детьми подруг. Немного, конечно, чокнутая. Когда муж возьми ее и брось, ходили слухи, что она попала в «Кащенко».

Про тот винегретный праздник не помнил никто.

Тоня — выяснила Ия — работала физиотерапевтом в больнице возле Театра Красной армии или какого он там сейчас цвета.

...Теперь уже Ия тронула ее сумку...

— А! — сказала Тоня. — Это вы...

— Сама не знаю, я или не я. Но я пришла спросить. Вы чего от меня хотите? Чтоб я повинилась? Или чтоб мы посмеялись обе?

— Про что вы? — тихо спросила Тоня.

— Про то! Про то! — Ия рассмеялась, ее куда-то несло не туда, какая-то дурная пелена накрывала ее и кутала, а она в чем-то обвиняла эту странную женщину с прижатыми виноватыми ушами, пока та не побежала от нее бегом и прямо почти на ходу не впрыгнула в трамвай.

Потом Ию вытошнило прямо посреди улицы, и люди обходили ее брезгливо и опасливо. Во рту был запах того винегрета. «Но ведь это все умственное, умственное», — думала она. Она сама себя расчесала до тошноты. Другая бы на ее месте — тьфу! — и пошла бы мимо. Если позволить прошлому себя достигать, то как жить дальше? Человек не святой, с ним все случается. Надо уметь переступить.

Но это был тот случай, когда все правильные мысли были не впрок.

А была одна, неправильная. Крича вслед трамваю, что она не виновата, Ия жалела, что она виновата мало. Что бы ей, молодой, не уйти тогда от Николая. Не стояла бы она тут, разрываясь на части, не сидела бы у нее в затылке женщина по имени Вера, а Тоня... Что Тоня? Не посмела бы Тоня приставать к сильной женщине, ушедшей от мужа, а к женщине, от которой муж бегаёт, самое то — приставать, дергая за рукав.

Кончилось все гневом на Николая. И такой он, и эдакий. И инфаркт у него нарочный, и носки он меняет, только когда она на него крикнет. И ей же придется его брать из больницы и возиться с ним... Правда, эту, с ушами, она зря отделала. Ее пожалуй надо, посострадать. Ведь — гипотетически! — Эдик-Вася ушел к ней, Ие. А та осталась ни с чем.

Дома с порога она сказала маме, чтоб та собрала вещи Николая, в конце концов, пора его забирать.

— Я не знаю, что тебе на это ответить. — У мамы было черное лицо.

— Он умер? — закричала Ия. — Умер?

— Хуже, — заплакала мама. — Хуже. Звонила женщина. Вера. Она его уже забрала. Кто такая Вера, Ия? Это не та, что тебя домогается?

...ВСЕ ЭТО СЛЕДУЕТ ШИТЬ...

О странностях любви

Моя подруга американка, узнав, что я пишу о странностях любви, сказала:

— Хорошо придумано! Когда кончится любовь, будешь писать о странностях ненависти.

Помню свой внутренний протест, какое-то почти бурное несогласие. Можно подумать — живу в стерилизованной колбе. Сдержалась и сказала нечто аморфное:

— Писать о ненависти не буду. Это чувство неэкологично и опасно.

Сказала, чтоб что-то сказать, а попала в точку. Чистюль американцев сразить страхом загрязнения — левое дело. Пугаются как маленькие. Это нам пустить вошь в голову, яд в реку не то что пустяк, а так... Всплеск. Дуновение... Даже захотелось утешить Америку, мол, ладно вам... Одним словом, мысленно пишу письмо милой моей американке: «Мэм! Дорогая моя! Меня душит смех из-за твоего испуга. Как ты не понимаешь, что рассказ о любви — он почти всегда и о ненависти. Про один шаг между ними молчу — банальность. И чем странней и сильней любовь, тем они ближе, эти две проклятушие бабы — любовь и ненависть, тем все перепутанней между ними. Иногда их и в лицо не различишь... Я к тому, мэм, что для экологии лучше всего перерабатывать ненависть в любовь. Ну нет, хоть ты тресни, более подходящего и близкого по природе материала.

Еще Бёме — жадных до знаний американцев ссыла на кого-нибудь убеждает особенно, — так вот, этот самый лучший философ из сапожников говаривал, что «доброта, не имеющая в себе зла, пуста и сонна». Не правда ли, загнул? А ничуть! Любовь и ненависть, добро и зло samozабвенно булькают в одном котле, и попробуй расщепи их.

Я расскажу тебе историю, которая...»

...которая не дает мне покоя, потому как я не знаю и не понимаю, откуда у нее растут уши. Я ее расскажу так, как мне расскажется именно сейчас. Пиши я ее завтра, она могла бы описаться по-другому. Она проста, как та самая русская репа, но, клянусь, ни один компьютер не выдаст по ней адекватного жизни ответа.

Значит, так...

...У Тамары Ивановны был легкий грипп. Чудное время для неленивой женщины. Она решила распуścić наконец старую хорошей вязки шерстяную кофту, которую дочь давно забросила на антресоли. Тамара выудила мешок с баррахлом при помощи лыжной палки, осыпавшаяся на нее пыль вызвала в ней естественную мысль, что только дурак в наше время занимается таким делом — ну, распустит кофту, грипп кончится, что она будет делать с мотками? Опять же придется запихивать в пыль антресолей. Но голова бурчит, руки делают... Вытащила кофту, мешок так толкнула назад палкой, что откуда-то из глубины раздался писк... Ах ты, боже мой, подумала Тамара, там ведь где-то лежат и детские игрушки дочери, и надо бы их тоже достать, вдруг что-то пригодится уже внучке. Хотя дочь сказала ей сразу: «Только, мать, без разных окаменелостей. Динка будет играть в игрушки своего времени». Сейчас Динке шесть лет, все стоит безумно дорого, и надо, надо достать тот мешок, который пискнул.

Мало ли.

А пока же в руках была кофта. Толстая, цвета абрикосового джема, на пуговицах, сделанных на заказ. Копейки тогда это стоило. Тамара для смеха попробовала ее натянуть на себя и, хоть это было глупо с самого начала, — расстроилась. Тогда, когда дочь носила эту кофту, в дочерины пятна-

дцать лет, Тамара могла ее носить тоже, если не застегивать пуговицы. Теперь же кофта мертвой хваткой обняла плечи и руки. Получалось, что у Тамары не нормально пятидесятый размер, а какой-нибудь пятьдесят шестой. А кому претензии? Сама же сдуру полезла в эту чертову кофту. Теперь стаскивай с себя, сопи гриппозным носом, злись, а кофта зацепилась за что-то сзади, пришлось в ней, жаркой, крутиться, рука попала в накладной карман, а в нем был секрет, придуманный самой Тамарой: маленький карманчик с пуговичкой из атласного шелка внутри большого. Для сторублевки, которую спрятали, когда дочка в восьмом классе ездила сама к бабушке, а ехать надо было целых шесть часов ночного времени.

В карманчике что-то лежало. И Тамара подумала: а может, это та самая сторублевка? Сунули и забыли.

Вывернула карман, расстегнула маленькую пуговичку. Квадратик тетрадного листа. Развернула.

Не было предэмоций. Последним чувствованием перед тем, как Тамаре прочитать то, что было на листке, осталась мысль о сторублевке в тоне «ха-ха». А потом, без перехода, было сразу падение в бездну.

«Сергей! — было написано ее дочерью Леной. — Сейчас мне уже все равно: я могу ее убить. Какое это имеет значение — мать-дочь, — если она стоит между нами? Ты весь трусишься, когда ее видишь, можно подумать, она тебе жена. А она тебе, как и я. Мы на равных, но сейчас-то нет. Или мы объявляемся, или я ей скормлю крысид.

Это мое последнее слово».

В бездну Тамара летела вниз головой. Она точно это знала, потому что ждала, когда голова найдет у бездны дно и расколется о него, как пустой орех. Но ничего подобного не случилось.

— Так странно, — скажет она мне потом, — когда я поняла, что не разобьюсь, я просто перевернулась, общупала ногами низ бездны, общупала и поняла, что буду жить. Более того, у меня напрочь пропал грипп.

Это было первое ощущение «другой жизни» — полное отсутствие соплей и состояние глубокого физического здо-

ровья. Слетала в бездну — и как новенькая. Вторым чувством была ненависть, которая, видимо, заняла пространство гриппа и других Тамариных недомоганий. Одним словом, ненависть разместилась в Тамаре широко и глубоко. Но самое ужасное было то, что она как бы выплеснулась в прошлое, и то, что давно заняло свои места в жизни Тамары и было хорошим и ясным, опрокинулось, было облито ядом, прошлое шипело, как плохое масло на сковородке, чадя, воняя, и что там ваши сквозняки для вытяжения! — прошлое не проветривалось.

Тамара ходила по квартире, лапая стены, это странное хождение вдоль стен продолжалось, видимо, долго, во всяком случае, подступила легкая тошнота, и пришлось сесть. Напротив в серванте прислоненно к стеклу стояла фотография Лены и Динки. Дочь улыбалась нежно, внучка вовсю щерила роток без двух передних зубов, которые лежали в крохотном бархатном футлярчике, где когда-то лежало Тамарино обручальное. Его она бросила мужу в морду в суде, и именно это послужило основанием решения в пользу мужа, который в иске ссылался на ее дурной нрав, а он возьми и проявись — нрав — в виде броска кольца в цель с соответствующим словесным сопровождением. Надо сказать, что слова были еще те!

У мужа давно была женщина, Тамара честно с ней боролась чистотой и порядком в доме, всем стираным и выглаженным, боролась разнообразием меню и билетами в театр, кино и цирк. Не в коня корм — все мимо!

Потом, когда в жизни Тамары появился Сергей, она поняла, что вела себя глупо. Что ни одну любовницу нельзя победить походом в кино и чистыми простынями. Что это все по разным ведомствам. Но надо было самой попасть в любовницы, чтобы не то что понять, просто узнать.

Сергей был женат. И, как и Тамара, имел пятилетнюю дочь. Познакомились они во дворе, раскачивая девчонок на качельках. Такой был у них вегетарианско-лирический период, когда ничего еще нет, но уже есть предчувствие радости, когда ещё легко спрашивается о жене, но есть в вопросе и некая снисходительность к теме, потому как оба пони-

мают: жена, она как бы уже и вторична. Просто они порядочные люди и проявляют душевный интерес и такт, а на самом-то деле им до нее уже далеко — отплыли.

У Тамары была лучшая подруга — поджарая тренерша по легкой атлетике Вероника. Длинное имя не годилось ей ни с какой стороны, ни со стороны быстроты и стремительности самой профессии, ни со стороны характера девушки — решительного и короткого в решениях. Подруга отрезала у имени конец и начало и звалась Роной. Так вот, Рона после развода Тамары сказала: «Нужен сильный антибиотик в виде хорошего мужика, чтоб снял стресс». Когда Тамара смехом поделилась, что есть некий «песочный папочка», который «смотрит не так, как если бы я была просто чья-то мама», Рона сказала: «Покажи. Я лицо третье и холодное, как морж... Я сразу скажу — антибиотик он или не антибиотик».

Делов! Подгрехала к ним, когда девочки в четыре руки строили в песке замки, присела на лавочку, протянула руку Сергею: «Рона». Тот слегка пискнул, выдергивая руку, а потом, как свой, развернул для обзора мозолистую, бетонистую Ронину ладонь. «Ни фига себе! — засмеялся он. — Вы скульптор?»

Рона зарделась, как тот самый маков цвет, ну сроду ей такого не говорили, сроду! Роковым стало делом это несчастное слово.

А простодырая Тамара улыбалась вяло и загадочно, не подозревая, что на офлажкованном для личного счастья пространстве села посторонняя птица, раненная насмерть. Скульптор.

Вам такое говорили?

И все равно это еще вегетарианский период. С анекдотами, рассказами о детях, медицинскими советами и прочее, и прочее. Даже когда к песочнице выходила жена Сергея, всегда с книжкой или журналом, и пальчиком двигала вверх по носу сползающие очки, даже тогда все были хороши и любили друг друга.

Жену Сергея звали Люся, она была корректором, слепла над гранками, но тем не менее самозабвенно читала и чита-

ла... «Что даже очки сползли от усталости», — шутила Рона. И без всякой подначки. Почти с сочувствием...

Был ли вынесен диагноз относительно Сергея — антибиотик он или что?

Рона сказала Тамаре: «Он, Томка, друг, и не нагружай его большим». — «Я? Нагружаю?» — возмутилась Тамара. «Ладно, ладно!» — ответила Рона.

Ну кто ж будет вглядываться в тайность зрочка подружки? Кто будет искать там скрытое? Например, Рона стала лечить свои ладони оливковым маслом. Душа ее возжаждала мягкости их.

Некоторые истории имеют свойства прерываться, дабы дать нам время на размышление над ними.

Сергей получил назначение на работу во Вьетнам «для улучшения качества промышленности восточного друга», снял с работы слепнущую Люсю, взял в охапку дочку Свету и — как их и не было. Толком даже не попрощались, потому как мужчины редко умеют думать две мысли сразу, и, когда замаячил Вьетнам, странное шевеление в душе при виде Тамары как-то само собой усохло, а Рона вообще была тут ни при чем... Он понятия не имел, что она отпаривает свои ладони. Для него, дурака, между прочим.

В это¹ просвет истории Тамара вошла с чувством обиды и разочарования, все-таки что-то давало завязь, и еще бы чуть-чуть... Но, увы! Рона же была убита напрочь, потому что у нее вообще, кроме мальчика в восьмом классе, который потрогал в лифте указательным пальцем ее грудь, никого не было. Товарищи по спорту, конечно, трогали ее запросто, профессионально, но ни один не сказал ей волшебного слова «трибли-трабле-бумс», то есть — «скульптор».

За время отсутствия Сергея (а это было — на минуточку — восемь лет) Тамара дважды чуть не вышла замуж, заминалась едва ли не на финишной прямой.

К бывшему мужу остервенелую ненависть испытывать перестала и жалела кольцо, которое так по-дурному тогда выбросила. Лена росла хорошей девочкой, ходила за хлебом и молоком, умела сварить геркулес и поджарить глазунью. Рона плюнула на ладони и вспоминала Сергея с легким от-

вращением, как посещение врача по очень уж внутренним органам.

Когда через восемь лет Тамара встретила Сергея в булочной, она сразу даже не сообразила, кто перед ней. Он отрастил усы и бородку, видимо компенсируя потерю волос на темечке, но то, как он ее тронул у кассы, опять хочешь не хочешь несло больше информации, чем просто: «Привет! Я вернулся!» Восемь лет одиночества и две неудавшиеся попытки — это не халам-балам. И если в тот буколический период она распускалась вяло и лениво, имея впереди большое пространство времени, то тут пошла другая скорость. Можно сказать, что прямо из булочной они сразу перешли в постель, но это будет красное словцо, на самом деле все случилось скоро, но отнюдь не моментально.

Надо было обезопаситься от дочки, которая тоже встретила во дворе с подружкой из песочницы. Одним словом, большие чувства породили большие проблемы, что закономерно. Люся непринужденно села в корректорской, как и не вставала, подвинув очки вверх по носу.

Таились. Скрывались. Как миллионы других любовников. У всех у них именно такие признаки вида там, рода ли на всем земном шаре. Рона была не в курсе.

— Я как чувствовала, — рассказывала потом Тамара, — как чувствовала, что ей не говорила. Проболталась Ленка. Что, мол, вернулась подружка Света. Та самая, что уезжала во Вьетнам. Я спиной стояла, и вдруг меня как кольнет. Я даже вскрикнула, повернулась, а это Ронка смотрит мне промеж лопаток. «Да, — сказала я ей, — вернулись. Люся уже вышла на работу, отовариваются в «Березке». Как уж проводила Рона свое дознание, бог весть. Но она дозналась, докопалась, а потом потребовала как лучшая подруга ответа во всех подробностях.

И Тамара все рассказала. И как, и где, и что говорится, и что чувствуется. Рона сказала, что хотела бы тоже увидеть Сергея, и поскольку она теперь в курсе, то хорошо бы им к ней подгрести, выпить-закусить, да и вообще, «зачем тебе чужие крыши, если есть моя?».

Так это все было по-родственному, что, бывало, Рона никуда и из дома не выходила, сидела в кухне, смотрела телевизор, а они закрывались в комнате и включали транзистор.

Но уже не пахло вегетарианством, уже всю шипело мясо.

А потом Люся получила анонимку. Письмо от друга. Самое смешное, что она пришла с ней не к мужу, а сразу к Тамаре. Тамара ее пустила в дом и спросила, не голодна ли Люся. Люся ответила, что голодна, съела кусок окуня польски, выпила чашку кофе с молоком, говорили в основном о девочках, о том, что у них уже менструации, что так быстро бежит время, оглянуться не успеешь, а уж и замуж придется выдавать... И вот под кофе, под девочек Люся протянула Тамаре анонимку, и той пришлось ее читать, что называется, с открытым забралом. Тамара никакая не артистка, чтоб напялить на себя другое выражение лица вместо жалкого, растерянного и виноватого.

— Она ведь почему ко мне пришла и ела окуня, — рассказывала потом Тамара, — она в голову не могла себе поместить, что такое может быть правдой. Она Сергею верила, как мужу, брату и отцу, вместе взятым. А надо сказать, что у нее родня хорошая, теперь уже можно сказать — священного сана. И если б я ей сказала, что в письме все вранье, она бы выбросила его в мое же помойное ведро — и делу конец. Я же... Я... Не то что призналась, я хуже... Я стала юлить и оправдываться. Как бы виновата, но прощения прошу. В общем, дура душой, но и сволочь тоже.

Люся молча ушла, а все остальное осталось — и виноватость, и ощущение дури и сволочизма, и отношения с Сергеем тоже. Правда, с большей тайностью, потому как в их структурах, приближенных к поездкам за границу, разводы не котируются.

И тогда Рона написала ему на работу.

Тут надо сказать кое-что о Роне. Давно кануло очарование от слова «скульптор», но в чувствах, хотя они и не совсем физика и химия, действуют те же законы сохранения энергии. На место ушедшего обожания обязательно должно что-то прийти, и что это такое — большой вопрос.

Пришло мщение. Кому? Тамаре. Любимой, можно сказать, подруге. Рона стала искать брешь в этом несильно сколоченном замке любви Тамары и Сергея. Отсюда и письмо на его работу. Со стороны, мол, женщины стены выдержали, со стороны мужчины выдержат вряд ли.

Так все и случилось. Сергей перетрухал прилично и отношения с Тамарой прекратил. Рона позвала его для утешения, обставила все как умела и понимала: грех их случился на моменте перехода от горячего к третьему. Сергей был неприятно поражен грубой каменистостью тела Роны и даже сказал ей подлые слова, что она, оказывается, не скульптор (вспомнил, гад!), а его творение. Сказал — и понимай как знаешь. То ли ты Элиза Дулитл, то ли девушка с веслом, то ли просто-напросто железяка в бетоне.

Больше Сергей к Роне не приходил, а на ее телефонные звонки отвечал довольно грубо, типа что всего хорошего в жизни должно быть понемножку. А отношения с Тамарой как раз возобновились. У Сергея были ключи от квартиры уехавшего за границу приятеля, что в таких делах называется «фарт». Тамара, оскорбленная разрывом вначале, потом в обиде своей утасла. В конце концов разве у нее есть выбор? Никто в очередь за ней не стоял. Подрастали их дочки, Лена и Света. Тамара радовалась, что благодаря Свете Лена охотно занималась английским. У Светы был, конечно, дальний прицел — МГИМО, у Ленки — планы пожиже, но девочки к девятому классу чирикали уже вполне прилично, и Сергей Тамаре сказал, что у Лены данных больше и в смысле произношения, и в смысле запаса слов и умения их толково расставить.

Рона как лучшая подруга продолжала приходить в дом и слышала это девчоночье чириканье: «Дядя Сережа сказал... дядя Сережа посоветовал». Ронино отторгнутое тело каменило еще пуще, а отвергнутое сердце толчками выпускало в организм отраву.

Правда, о тайной квартире Рона не знала. Сергей предупредил Тамару, что в их случае услужливость Роны, как говорят в народе, «чревата боком». Но Рона нюхала воздух дома Тамары и чуяла, чуяла поживу. Как-то, перехватив Ленку

по дороге из школы, она ей между прочим сказала, что «твой дядя Сережа смотрит на тебя как-то не так... Не говори матери, но он на тебя глаз положил». Девочке мимо соображения, что тетя Рона их видеть вместе не могла.

Для девочки пятнадцати лет это обвал, оползень и лавина — и все одновременно. Она стала таращиться на Сергея с таким тайным интересом, что неразумная мужская физическая природа, запрограммированная отвечать на всякий конкретный призыв (случай с Роной), сделала свое дело.

Он присмотрелся и увидел не девочку — девушку со всеми полагающимися прибабасами. Все уже в ней поспело и ждало уборщика урожая.

Тут надо сказать о Сергее. Если искать обыкновенность и среднесть, то искать не надо. Это он и есть. Не герой, но и не подлец. Не охальник, но и не святоша, не мореплаватель, но и не плотник. Ему спокойно было с Люсей, приятно с Тамарой, он был горой за стабильность своего существования, но легкая подрагиваемость основ того же самого существования возбуждала тоже, к краю бездны он бы сроду не пошел, но в окрестностях бездны погулял бы охотно.

Девочка смотрела призывно, и мужчина принял сигнал.

Такой зауряд, что делается тошно и тоскливо, если это, конечно, не твоя девочка, дочка, если это не твой любовник, если между ними не двадцать пять разницы... Так вот во всем остальном — просто тошно и тоскливо от заурядности истории.

К счастью (или несчастью?), Тамара ни сном ни духом, Рона так часто ходит в гости, что Тамара исходит жалостью к подруге, у которой, кроме них, «никого и ничего». А как прижмешься душой к легкой атлетике? Холодно и неудобно. Тамара понимала отвергающих Рону мужчин. Рона же кочегарила в печке, мечтая о большом количестве угарного газа, которого хватит, чтоб отомстить ей за свое оскорбленное самолюбие...

...И когда-то, в некий проклятый день, это случилось. Грех между девочкой и женщиной. Ленка кинулась в любовь очертя голову, Сергей чувствовал, что его подтягивают

к бездне ближе, чем он себе нарисовал на карте. Надо было бечь стремглав, но девочка оказалась беременной.

Именно в этот момент Рона готовилась выложить экспресс-информацию обо всем Тамаре, но Ленка случайно обнаружила материны следы у Сергея, и тот во всем признался. Ленка стала рыдать и смеяться и в этом полублудении выдала про беременность и про то, что он, как порядочный человек, должен сделать. Он должен оставить всех своих «баб» и жениться на Ленке.

— Наверное, именно в этот момент, — расскажет потом Тамара, — она и написала в сердцах записку.

Но события управлялись другими структурами — Сергея снова срочно послали во Вьетнам: рухнуло какое-то здание, построенное нашими специалистами. История замерла в ожидании финального прыжка.

Конечно, хуже всего было девочке. И к кому она могла припасть на грудь? К тете Роне.

Тогда Рона напилась первый и последний раз в жизни. В одиночку и в темноте. Начинала она свою победительную пьянку с ощущением полного «виват», превзошедшего все ее ожидания и планы. Кончила пьяными слезами, готовностью повеситься, ощущением физических мук и душевного краха. Через три дня именно это осталось, а победительность как корова языком слизала.

И если на черные дела у нее всегда было планов громадьё, то как по-людски выйти из этой истории, чтоб хотя бы все остались живы и здоровы, она понятия не имела. Есть такие умы — умы для зла. И когда подвернулась командировка в какую-то богом забытую Тмутаракань, в которую ни один тренер не хотел ехать, считая себя оскорбленным от одного предложения, Рона сделала шаг вперед, ко всеобщему удивлению спортивного народа.

За Тамарой начал ухаживать вдовый инженер из соседнего отдела, и Тамара вдруг пошла ему навстречу, а про Сергея стала вспоминать с легким раздражением. Ленка, ненавидя в этот период Тамару, тем не менее поощряла мать в ее романе, несколько перебарщивая в излишнем энтузиазме.

Кстати, момент легкого аборта уже был напрочь упущен.

Света сообщила, что папа в командировке задерживается, а если дело пойдет и дальше так, то, видимо, он вызовет маму, она же, Светка, уже большая и останется дома, что будет классно.

Так все и случилось. У Ленки был пятый месяц, и ей уже не «дядя Сережа» был нужен, а хоть кто, чтоб пристойно, если вообще такое возможно, выйти из положения. Как вы понимаете, мать ей в помощницы не годилась.

Есть такая порода людей — на крайний случай, для безнадежных ситуаций. Их зовут для тяжелых переездов, четырнадцатыми за стол, на клейку обоев, несение гроба и на рытье колодца. Был такой троюродный и у Елены. Его так и звали — не брат, не кузен — троюродный. Он был классным наборщиком в типографии, собирал фантастику и имел однокомнатную квартиру. Ленка оделась как человек и поехала к нему в гости.

— У меня два выхода, — сказала она ему, — ты и смерть.

Если б Ленка уточнила яснее, чего она хочет на самом деле, он бы помог ей и в смерти, он бы ее понял. Троюродные, как правило, понимают все перипетии жизни, все их многообразие. Но Ленка уточнила, что имеет в виду другое. Они должны пожениться, он «на время» признает ребенка, а потом, когда все устаканится и истинный отец «освободится от своей дуры жены», они разведутся, а троюродный останется при своих интересах и без потерь. Тут главное, чтоб мать ничего не прочухала, все эти макароны на ее уши.

Троюродный ответил, что раз надо, то надо.

Оставим драму Тамары в стороне, что Ленка не кончает школу. Она, между прочим, потом ее прекрасно окончила. Ленка переехала к троюродному, имея в виду, что на время, а оказалось, живут до сих пор. На зависть всем Ленкиным подружкам, и Свете прежде всего.

Вернулась из Тмутаракани Рона — а девочка Дина уже стоит и прыгает в манежике, а троюродный аж дрожит от любви к ней. Крадучись, ползком вернулся из Вьетнама Сергей. Узнал от дочери, что Ленка замужем, сходил в церковь и поставил свечку святому, спасающему на водах. Но откуда ему, атеисту, было про это знать, хотя, может, исто-

рию с Леной он и рассматривал, фигурально говоря, как кораблекрушение?

Тамара так замуж и не вышла, потому что, когда началась история с дочерью, было уже не до вдовых инженеров, которые, в свою очередь, на дороге не валяются и уж тем более долго не ждут.

Одним словом, время шло в нужном направлении, все шло хорошо-чудненько, а потом Тамара встретила Сергея, они по-родственному поцеловались, потом долго топтались на месте, видимо ожидая знака свыше, как вести себя дальше. Знак появился в виде бурного дождя, а Тамарина квартира была ближе.

Старое началось сызнова — вот только некстати случился грипп, и Тамара себе на голову достала старую кофту, чтоб распустить и перевязать, и прочитала старую записку, а в дверь уже звонила Рона с лимонами, орехами и флакончиком, в который накапала бальзам Биттнера, чтоб поддержать больную.

— Да, — честно сказала Рона Тамаре, потерявшей разум от ядовитых испарений ненависти. — Да! Дело прошлое. Но твой Сергей спал не только с тобой, но и со мной, и с Ленкой, и Динка ваша от него. Разуй глаза и посмотри.

Я знаю конец этой истории, а вы нет. Моя знакомая американка, дойдя до этого места, полезла в юридическую литературу, кодексы и законы, чтобы в них найти ответы. Почувствовали разницу между нами? Предлагаю вам игру в «случай из жизни». Сделайте глубокий вдох и не читайте дальше. Пока. Попробуйте додумать конец этой истории, как он вам видится, исходя из характера всех действующих лиц. Исходя из того, что «Тамара поднялась и стала надевать пальто, оттолкнув Рону...».

Неплохой способ проверить, как мы похожи или насколько мы разные.

А теперь можете читать дальше.

Итак, «Тамара поднялась и...».

Многие из нас выходят из стрессов, ездя «по кольцу». Движение по кругу исключает выход, но есть, видимо, потребность души довести безысходность до критической точки.

— Напротив меня, — рассказывала мне Тамара, — сидела девочка Динкиного возраста без передних зубов. Она ерзала на сиденье, а молодая мама шипела на нее как змея. Стало безумно жалко девочку. Чужую и, как мне показалось, недолюбленную.

Я вспомнила Динкины крошечные плохонькие зубы в бархатной коробочке. Возникло ощущение, что у меня лопнуло сердце и из него потоком хлынула кровь. «Инфаркт, — подумала я, — какое счастье, если смерть».

Но мне не было больно, я нормально дышала, и тогда я сообразила, что это не кровь, а нежность — к девочке напротив, а через нее к Динке, на которую когда-нибудь зашипит Ленка, а не будет моих колен, в которые Диночка уткнется. А ведь мне хотелось сунуть в нос записку Ленке, сказать ей: «Сволочь!» — и уйти. Уйти навсегда. Поняла, что не скажу этого ради Динки и себя. Ради возможности нашей уткнуться друг в друга. Какое-то время я думала только о Динке, какая она была, когда ее принесли из роддома, когда она села, потом пошла, а первое ее слово было «огонь». И тут я поняла, что мне все равно, кто ее отец и даже кто мать. Она для меня существовала сама по себе, моя куколка, мое счастье. Меня обуял ужас: а вдруг она не родилась бы?

И так странно, но я мысленно, хотя холодно и сурово, поблагодарила Ленку, эту идиотку и сволочь, что она не сделала аборт, а на ее месте большинство именно так и поступили бы. Ленка хитро, расчетливо все устроила, получается, все-таки ради ребенка. И у меня не то что кончилась ненависть, она как бы отодвинулась, и я стала думать уже о троюродном, который в этот момент стеклит лоджию, так как при этом условии у них есть возможность разменяться с соседом на двухкомнатную, а значит, и родить еще ребеночка. И что я против этого пойду наперерез со старенькой пожелтевшей запиской, написанной перепуганной до смерти дурочкой.

— Знаете, — продолжала Тамара, — ненависть отползала, как гадина. Она еще смердела во мне, она еще вся была оскалена, но она уже отползала...

Конечно, оставался Сергей, который должен был прийти ко мне завтра. Оставалась Рона, которую я оттолкнула, но,

согласитесь, это же я в истории главная дура, а не они. Значит, так мне и надо — такую подругу и такого любовника.

Рона тряслась у меня дома, думала, что я убью кого-нибудь или кинусь в омут. Я ей сказала: «Уходи».

Она стала просить прощения, но почему-то криком, и все повторяла, повторяла, что я у нее одна. И мне ее стало жалко. На столе лежали лимоны, орехи, стоял этот чертов Биттнер, это ж какой в душе надо иметь ком добра и зла в сплаве, чтоб одной рукой делать одно, а другой — другое? Я ее отпоила чаем, а ее всю трясло как в лихорадке... Пришлось оставить ночевать.

Сергея я, конечно, больше не пустила. А вот почему — не сказала. Сказала: «Все!» А он норовил переступить порог и ставил ногу в притвор. Как мальчишка. Видимо, он видел в моем лице не гнев, а мягкость... И не так ее понял.

А дело в том, что кукла моя, счастье мое, щербатая ее мордочка похожа на него как две капли воды. Ну как я его могу ненавидеть? Как? Хотя все кончено. Навсегда... И никакую кофту я перевязывать не буду. Куплю новую. Дорогую. От какого-нибудь Версаче. Или он не вяжет? Обожаю эту песню: «Вы полагаете, все это будет носиться? — Я полагаю, что все это следует шить...»

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ

Последнее, что виделось буфетчице Фене в этой жизни, были мосластые квадратные плечи этой сучки-падали Куцияновой. Они, и только они. Никакого там тебе тоннеля, никакого белого света вдали и тем более никакого облегчения душе, а по всей мутной бесконечности, что без верха и низа, — костистые плоскогорья плеч с синеватыми бороздами от перекрученных лямок, накрест перечеркивающих балясины ключиц. Конечно, Феня должна была заматериться. Но была уже нема, а значит, сама уже точно не существовала. Мослы же оставались, пребывали, расположившись в вечности, — навсегда, что ли? Получалось — навсегда... Отчего отлетавшая душа Фени так рванула, что даже высоко-

чила за какие-то отведенные ей пределы, но была мягко или, скажем, негрубо остановлена и возвращена, как возвращается куда надо мяч, ударившись о стенку.

...Что правда, то правда. Плечи у Милы Куцияновой были не милосские. На божественной скульптурной сборке накушавшиеся амброзии ангелы подсунули хрупкой женщине вместо тонких верхних косточек мужские коленки, плоские, жесткие и пупырчатые, вложив одновременно в сознание этой женщины ложную уверенность в их красоте. Мила всегда носила открытые платья, выставяя налево и направо два мощных приклада, но в этом неэстетичном развороте было столько обаятельной уверенности в красоте, что все ей сходило с этих самых «рук и плеч». Мужиков было до фига. Хотя некоторые, с элементами эстетической организации, покупали ей платки и шали для заворачивания грубоватого Милиного верха.

...А Иван Иванович подарил ей норковый палантинчик. Правда, к эстетической организации это отношения не имело. Просто Иван Иванович был человеком с возможностями. Он позвонил в магазин и сказал: «Фукс! Там у тебя еще остались коротенькие норки? Привези мне по-быстрому и тихо».

Фукс был через пятнадцать минут.

Секретарша Ивана Ивановича помчалась к персональному (на случай войны!) входу-выходу, чтоб через военную дверь подслушать, «кому и для чего», но Иван Иванович дверь прикнул плотно, а для верности еще включил и радио «Маяк». Билась в замочную скважину секретарша, исходила злым любопытством, но... так ничего и не узнала.

Куциянова же напялила палантин на концерт Эдиты Пьехи. На этот же концерт в таких же палантинах пришли жена Ивана Ивановича, буфетчица Феня, любопытствующая секретарша Ивана Ивановича, все Фуксовы родственницы и далее женщины из первого по значимости в той бывшей тогда жизни списка. У Фени сердце облилось кровью, потому что она была умная и смекалистая, ей, чтобы понять, в дверь биться не надо было. Когда Иван Иванович предложил в прошлую пятницу: «Хочешь?» — и бросил вынутую из сейфа

шкурку, Феня, глядя на шелком развернувшуюся красоту, сказала: «Не надо, Ваня... Я могу себе это сама позволить...»

«Ты молодец! Уважаю!» — похвалил Иван Иваныч, и теперь на концерте Феня пялилась: какая и на ком была та? Что на секретарше или Куцияновой?

Секретарша же испытала восторг: у нее шкура, как у Главной жены. Бабы Фукса — удовлетворение, что у первой жены, как у них. Тетки по списку просто всех посчитали пальцем. Одна Куциянова, исхитрившись даже из меха выставить плечо-колени, ничего такого не заметила. Как всякий творческий человек, она была зациклена только на себе самой, в норке видела только себя и на Ивана Иваныча посмотрела, как смотрит на хозяина выведенная на старт молодая кобыла, решившая, что пришла на свой персональный праздник. Дура еще не бежала под шпорами и не исходила потом. Куциянова такой осталась до смерти, женщиной-романтиком, а Феня всю жизнь мечтала ткнуть ее мордой в жизнь.

Тут надо бы обозначить время действия, не из-за стоимости норки, а потому что это только начало, все еще живы-здоровы, а главное, никто еще не родился.

...Было это в год снятия Хрущева, но еще до октября.

...Пъеха стучала на сцене стройными копытками, парни из «Дружбы» красиво, как японцы, выводили ей музыкальный фон, а на песне про мадьярку, которая бросила в воду не то венчик, не то цветок, Фене поплохело. Замутило ее. Выбираться из первого ряда партера было неудобно, но тут уж не до приличий, потому что здоровая и сильная Феня поняла: еще минута, и она изойдет из всех отверстий. Успела, слава богу, заскочить в мужской туалет, и все... Потом она ножкой стула заперлась там и стирала, и мыла, хорошо, что у нее после всего этого кошмара тут же восстановились силы и не надо было звать на помощь. Справилась, как всегда в жизни, сама. Идя домой во всем мокром, кроме норки, Феня поставила себе окончательный диагноз, посчитала по пальцам начало и конец и сказала: «Рожу. Он мужик добрый. Не оставит без помощи. А если и оставит, черт с ним, я и сама не калека».

Была, конечно, была мысль... У Ивана Ивановича детей нет. То есть есть... (Есть-есть какое-то получается.) Но это те дети, прежние, от той деревенской дуры, которая давно не в счет... Феня как-то при случае паспорт его посмотрела — чистенький. Ни Коли, ни Мани, ни Пети... Одна-одинешенька Калерия Ивановна. Всей Ваниной жизни наследница. Сумела женщина вовремя подвернуться под руку себе на счастье.

В мыслях же Фени было так: что-то случится, и Ваню в конце концов с верхних ступенек турнут, потому что никакой он не вождь, чтоб на мавзолее стоять. Он же человек безграмотный, это даже по сравнению с ее семилеткой. Он электричества боялся, потому что не понимал. Он был убежден, что Австралия и Австрия — одно и то же, так же, как японцы и китайцы. «Простым же глазом видно...» — говорил. Феня, обнимая его и целуя, отдавала себе полный отчет: Ваня — человек не просто темный, она, что ли, светлая? — Ваня в смысле ума уникал — все мимо. Но зато у кого грудь с любого места видна, как грудь четвертого человека? Рожать от него — одно удовольствие, потому что никаких сомнений в здоровье быть не может, а ум — дело наживное. Заставит дитя учиться и выучит. Тем более что с ее стороны все в порядке и в смысле понятия глобуса, и в смысле понятия физики.

Одним словом, в шестьдесят каком-то Феня родила Иго-решку, а Ваню не только не турнули с высот, а взяли в Москву: увидел Леонид Ильич широко-выпуклую грудь Ивана Ивановича и не устоял, он вокруг себя любил людей фигуристых. Фене Ваня дал квартирку в доме с подкачкой воды на высокий этаж. Существенное дело, напор у них сам по себе дышит только до второго.

Пока носила и рожала, потеряла из виду Куциянову. А когда Ваня сказал городу последнее прости и Феня по звонку забирала не доеденную на главной гулянке икру — вот опять же характер Ивана Ивановича, — даже в поддаче и среди блюдолизов и стукачей, а ткнул пальцем в хрустальные бочоночки: «Пусть заберет Феня, она кормящая». Ее тут же вызвали со своей посудой, она тогда хорошо принес-

ла в сумке. Некоторое из еды даже при своей работе раньше не видела. Импортное. Вкуса, правда, особого не почувствовала, русское смачнее, но одежечки-обложечки не нашим чета, так бы и съела с ними вместе.

Иван Иванович уехал, но так и не смог порушить мечту Фени про то, как придут Умные к власти, должно же такое когда-нибудь случиться, и Ваня тут же вяпается, что-нибудь скажет откровенное, как он знает. И Умные возьмут и рассмеются. Это очень хорошо виделось и слышалось Фене — смех Умных над Ваней, смех с подначкой, и как Ваня тут же делает кругом — сам, между прочим! — потому что именно подначку он не снесет. Обидится. Обиделся же он на нее, когда она ему сказала, так, между прочим: «Ваня! Ты с холода всегда слабнешь. Сосуды сжимаются, и нет притока крови. Всю жизнь удивляюсь на эскимосов». — «Тоже мне метеоролог!» — сказал он.

«Метеоролог», — нежно поправила она, и напрасно: на полгода отрезала мужчину по собственному недосмотру. Правильность слова она знала случайно, в коммуналке жила с соседом из прогноза погоды. Он им в кухне это слово написал печатными буквами и повесил над плиткой. «Мне, — сказал, — оскорбительно ваше невежество». С этого у них началось повальное образование. Одна бывшая учительница вывесила список с ударениями. Парень-десятиклассник — смысл некоторых слов. «Гениталии — органы». Кто-то приписал КГБ, кто-то возмутился: «Да не будь органов, нас бы уже сожрал империализм. Не было бы нас, и все!» Но все это по-соседски, по-доброму, а Феня была довольна, потому что всегда имела тягу к знаниям. Варишь суп и учишь. «Буржуа-зья». «Кол-гот-ки». «Носки — носков». Но! «Чулки — чулок».

Короче, Ваня уехал. Феня продолжала мечтать о приходе Умных. Сыночек рос. Были приглашения замуж. Зав. автобазой. Инженер по безопасности лифтов. Отставник-полковник. Разведенные. Вдовцы. Но у всех были дети, а это Фене не улыбалось. Зачем ей? Люби их потом или делай вид. А это нервы, которых дай бог чтоб на себя и сыночка хватило.

Через много лет встретила Куциянову, всю в черных то-

нах. Черную водолазку распирали не забываемые Феней плечи, кожа на лице как бы светилась черным цветом, и, если б не сияющие синие глаза, легко бы подумалось о раковом заболевании, или, как говорят врачи, канцере. Но глаза значили что-то другое. Феня там-сям подвыяснила — все оказалось просто. Куциянова съездила в Италию, и там у нее был жуткий роман с переводчиком, и не исключено, что Куциянова уедет насовсем, ей бы только дожждаться, когда дочка кончит школу и устроится в институт. Феня удивилась, что у Куцияновой такая большая дочь, получается, что рожали одновременно, вот и она тоже ждет конца школы... Столько лет Ваню не беспокоила, а теперь придется. Игорешечек учился хорошо, и грешно не устроить его в Москве. А Куциянова, значит, уедет в Италию, показывать Европе свои старые мослы. Была бы Феня плохим по качеству человеком, она б сейчас от вдовца-полковника имела бы дачу на берегу Азовского моря. Такое место! Бухточка, как нарочно, у самых ступенек плещется. Сад, что Мичурину не снился, дом, весь виноградом увитый, а на крыше — телескоп. Вдовец любил смотреть на звезды, потому что от сексуального буйства зелени и плодов ему просто требовалось успокоение. «Тут, в саду, — говорил полковник, — просто наливаешься производительным соком. Вы в этом сможете убедиться». Феня подумала тогда, шлепая босыми ногами по кромочке моря: не попробовать ли? Кому от этого будет плохо? И поняла — не хочет. То есть хорошо бы убедиться в силе соков, но без личного участия. Посмотреть бы на вдовца с соками в виде диаграммы там какой или в виде цветного слайда.

Нет, живые мужчины ей не нужны, пусть наливаются вне ее организма. Даже если бы бухточка была в Италии, она и то сто раз бы подумала. Она не Куциянова, которая на такое дело падкая. Старая ревность укусила Фенино сердце, и вот же — природа! Виноватой и кругом подлой виделась Куциянова, Ваня же, Иван Иванович, выглядел как бы жертвой, что одновременно Фене казалось не очень правильным, тоже ничего себе потаскун, но тем не менее как бы хороший потаскун, а Куциянова как бы подлая женщина.

...Но потом такое началось, что не до чувства из плюсквамперфекта. Сыночек, идиот проклятый, в Москву ехать отказался категорически, потому что, оказалось, у него тут девка, да еще из каких! Парикмахерша. Феня туда-сюда — ничего не могла сделать, и деньги сулила, и милицией пугала, и убить обещала. Одним словом, все меры! Парикмахерша же — спокойная-преспокойная, как из железобетона, — на Фенин крик разве что моргнет, и то так медленно, что можно успеть ее в этот момент моргания обежать. А надо сказать — было что обегать. Большущая девица, вроде и не современная. Пятьдесят четвертый размер — это до беременности. Нога сорок второй. И все остальное — грудь, грива. Игорь — не хлопик, но рядом с ней просто исчезал с поля зрения.

— Где ты нашел такую лошадь? — криком кричала Феня. А он смеется.

— Да я, — говорит, — эту лошадь никому не отдам. Я ее еще буду кормить и холить, потому что такой больше нет.

И все наврал. Все! Насчет не отдам, насчет кормить, насчет холить...

Девка оказалась золотая, уже через год Феня не знала, куда ее посадить и как приветить. Ребеночка их обожала так, что все мечты свои женские забыла. От любви Феня тогда раздалась, но все равно рядом с Олечкой была мелкой. На Игоря цыкала, если тот возникал против жены. Кто бы мог поверить, что это раз — и кончится?

Кончилось. Феня тогда подумала: а чего, собственно, было ждать от такого отца? И через столько лет, через всю ее дурную верность и преданность — на самом же деле! — прорвалась у Фени гнев-обида. И уже не осталось у Ивана Иваныча ни одного светлого места в биографии и природе, а сплошное — сволочь. И как он первую деревенскую жену с детьми бросил, и как на Калерию польстился из-за ее степени по марксизму-ленинизму, и как он, будучи в кресле, шуровал со всеми подряд сотрудницами и просительницами, командированными, женами подчиненных, как она это все знала и — ничего, принимала тоже, хотя за творческого работника Куциянову ей очень хотелось, чтоб случайно на-

поролся Ваня на битое стекло этим самым своим неугомным местом. У них при их жизни битого стекла всегда более чем, так что несчастный случай вполне можно было представить. Сколько она хрустальных фужеров списывала — это никакой конторой подсчитано быть не могло.

В общем, сын — в отца, и плачь, рыдай, Феня, а что тут сделаешь?

...Стала Феня жить на два дома. На свой и брошенный. К ночи падала с ног. Кости ночью так крутило, что не уснуть, и тогда она все думала, думала: что ж это за судьба у нее? Почему она подводит ее все время там, где она больше всего сердца положила? Тот же Ваня... Ни разу же не вспомнил о ней до самой своей дурной смерти.

...Перепили вожди на охоте и стали изображать из себя охотников и зайцев. Ване выпало быть охотником, а одному известному вождю — зайцем. Ваня пульнул, заяц упал. Ваня от страху умер, а заяц, оказывается, упал для смеха. Фене рассказал про это родственник Вани, который ездил его хоронить. «Здоровый такой лежал, — рассказывал родственник. — Белый... А этот — заяц — в карауле пять минут стоять не выстоял, зашатало его от слабости здоровья...» Так вот — Ваня. Напоролась жизнь Фени на него, как на мину. Сыночка от него родила. Все в него вложила, на пианино мальчик играл любую мелодию, только напой ему, по-английски щелкал, как птица, а прорвало из него Ванино подлое существо... Хоть бы раз в месяц сына посмотрел, хоть бы какую машинку купил. Феня, думая о внуке, жаром горела: убью за него, и рука не дрогнет...

Только вот силы — чувствовала — кончались. И ноги, и руки, и голова, и сердце вечерами криком кричали, просили у Фени пощады. Феня мокрым полотенцем голову перетянет, ноги в тазик с морской солью сунет, гадостный валерьяновый чай заварит и набухает обидой, набухает. Спроси, на кого? А черт его знает! На себя, дуру. Что бы ей выйти за того полковника? Или за лифт-инженера? Что б ей в семнадцать лет рвануть было куда-нибудь подальше, чтоб ее никто и она никого, чтоб не тянулась за ней судьба от всего их рода-племени, в котором все бабы, как одна, ломовые лоша-

ди, а мужики, все, как один, только на легком подхвате. Прадед был из лакеев, дед однорукий, всю жизнь в конторе сельсовета рисовал картинки показателей, папаня шоферил в обкоме и спал по двадцать часов в сутки, не меньше. Мама тоже была шофер, так вот она как раз водила молоковоз. По любой погоде, на лысых колесах, а езжай, корми народ, мама-шоферюга... Нет, в их роду женщины были и костью, и мясом, и мозгом. И умом, и силой. Потому и передавали по женской линии только одну-одинокую уверенность — на мужиков расчета нет.

Лучший случай — чтоб не бил... Чтоб хоть дурак, но смирный. Чего Ваня так в свое время в мечту влез? За ласковость. Ладонкой мягкой своей начнет по спине водить — сердце заходится. А уж если подробности начнутся, тут и начало Фениной смерти. Ласку она его не передком воспринимала — для этого она гордая, — а как-то невозможно воздушно... Смешно, если иметь в виду, — грех их почти всегда был на жестком президиумном столе, волосы Фени путались в чернильном приборе, бывало, вставала, а на затылке скрепки, колпачки от ручек, так вот мощный дубовый стол от Ваниных ладоней вызывал у Фени ощущение облака, и чем сильнее была тяжесть, тем выше взлеталось Фене, и за это она пошла бы за ним, идиотом, на край света, но он не то что не позвал, а просто ни разу, ни единственного разу не объявился больше... Феня плакала прямо в таз, и соленые ее слезы, попадая в соленую воду, испытывали на уровне существования вод свое водяное счастье единения.

...Это ж сколько прошло времени с того момента, как бросил Игорь Олечку? Да немного совсем. Не зажило это еще у Фени. А понять, что завелась у него другая, уже было можно. Раз не пришел ночевать, два... Хорошо, что еще от Вани осталась роскошь — телефон. Ничего не скажешь — звонил Игорь. Конечно, врал. У приятеля, мол. За городом, не успеваю на электричку. Феня в подробности не вникала. Для себя решила — другую невестку не признает, будь она хоть позолоченная!

Оля сказала Фене, что «новая» беременная.

— Откуда ты знаешь? — спросила Феня.

— Видела глазами, — ответила Оля. — Она сорок второй размер, а живот у нее, как дулечка, вперед. Чем рожать будет, неизвестно. Ну, нет у нее, мама Феня, тела, нет. Из чего расти ребенку — неизвестно.

— Ну и черт с ним, с этим ребенком, — сказала Феня, и ее изнутри как ударило. И еще раз, и еще, Феня за подоконник уцепилась, зубы сжала, хорошо, что Оля спокойная, как мамонт, и на мелкие, тем более чужие, внутренние чувства реагирует слабо. Не ее же изнутри ударило — свекровь, а то, что та побледнела, и взмокла, и держится за подоконник, так ведь держится? Держится. Она баба цепкая. Нечего ее пугать вопросами, что, мол, с тобой, что? Оклемается... Оклемалась Феня, рванула в ванную, включила воду и стала молиться, хотя до этого ни разу в жизни пальцы в щепоть не собирала. Она просила прощения, получалось — за хулу тому ребеночку, что торчал дулечкой на сорок втором размере. И вот тут в самое это ее нелепое моление без умения и правил увидела Феня, что в дулечке — девочка, махонькая такая, с мышонка, но значимости — почему-то! — для нее, для Фени необыкновенной.

Тогда Феня громко, громче бегущей из крана воды сказала Богу или кто там был на проводе вместо него, что дитя это она не признает категорически, нечего ей так грубо намекать; на двоих внуков сил и возможностей у нее нет...

Но все пошло плохо. Сидело в голове видение девочки-мышонка, а Игорь ни слова, даже в дом свою «сорок вторую» не привел.

Феня не выдержала, спросила:

— Так на каком же вы этапе?

— Разведется Ирка с мужем, распишемся. Нас уже сроки поджимают.

— Так она у тебя уже целованная! — закричала Феня.

— Она у меня уже рожала. У нее сыну четыре года.

Феня сказала себе: «Сейчас я рухну» — и тихо присела на стул.

— И где ж это вы собираетесь обретаться своей многодетной семьей?

— Без проблем, — ответил Игорь. — От матери у нее хорошая квартира со всеми делами.

— А куда ж вы мать дели?

— Ты выражайся! — ответил Игорь. — Рак. Умерла.

— А отец существует в природе?

— Тоже умер.

— Нашел своему ребеночку наследственность, — пробурчала Феня. — Сплошные покойники.

— Можно подумать, — засмеялся Игорь, — что с тобой этого не случится... Что ты бессмертная!

— Так ведь живу еще! — резонно ответила Феня. — А их негу.

— Меньше народу, больше кислороду, — засмеялся Игорь.

— Добрый ты у меня! — сказала Феня. — Гуманист.

— Кстати, — сказал Игорь. — Я фотографию видел у Ирки с одной гулянки. Так там и ты, и ее родители. Молодые и пьяные...

— Я? — удивилась Феня. — Откуда ж я могу с ними быть?

— Ты ж всех знаешь! — засмеялся Игорь. — У Ирки мать была журналисткой. Куциянова ее фамилия.

Феня сдержалась, как белорусский партизан. Потому что еще до слов пришло к ней приказание: держись, женщина, и сиди устойчиво. Вернее, сиди усидчиво.

— А! — ответила она как бы равнодушно. — А!

Тут надлежало спросить и про отца. Получилось бы в масть. Но Феня решила — ширк! ширк! — вытереть пыль. Встала, пошла размазывать грязь, чтоб больше было.

Ах ты, девочка-мышонок! Родишься ведь и будешь... Не нужна ты мне! Не нужна! Потому что я однолюбка, у меня Ваня — один, сын — один, внук — один. На два не делюсь, мышонок. Неделимая я частица... Я, мышонок, атом... Так с тряпочкой-вехоткой добралась Феня до старого ученического портфеля, в котором держала большие фотографии. То самое время, как родить Куцияновой дочку, Феня не помнила у Куцияновой мужа. Итальянца долбаного помнила, хотя в глаза не видела. Другие разные мужские особи всплывали

на поверхности воды воспоминаний... Инструктор по идеологии, например... Похабистый такой мужчинка... Главреж оперетты, круглый, как хорошо покатавшийся по свету колобок... Феню тоже щипал, причем больно, зараза, пришлось даже дать по рукам, обиделся, дурак, пожаловался завстоловой. Вот она, фотография. Вот. С юбилея газеты. Феня была на обслуживании. Стоит с самого краю, на животе поднос плашмя, на голове черт-те что, тот еще вид. В моде тогда были начесанные и налаченные башни. У нее выше всех. Было из чего строить. Куциянова, как у нее и принято, с голым разворотом плеч. Идеологический инструктор, главреж, Ваня... Все тут, все по местам... Ваня, как и полагается первому человеку, в центре, девки из общего отдела к нему притулились, кто головкой, кто бочком, но он стоял прямо, он понимал, что вспышка магния — это не просто. Это документ. Не отмажешься. Поэтому руки его шкодливые висели строго по швам и лицо изображало серьезность, ужимок не допустило.

— Мам, я пошел! — сказал Игорь.

— Подожди, — ответила Феня. — Ты не эту фотку имеешь в виду?

— Точно! Она... — засмеялся Игорь. — Ты тут как Екатерина Вторая...

— Я такая и есть, — сказала Феня. — Ну, кто ж отец, если Куциянова — мать?

— Так начальник же обкома! — сказал Игорь. — Он Ирку потом уже признал, хотя она и незаконная. Ирка моя — дитя греха.

— Тогда понятно. — Феня отнесла фотографию в портфель. Щелкнула замком. Она-то, дура, придумала Игорю автокатастрофу со своим «женихом». Даже выстригла из газеты подходящую по срокам заметку. Между прочим, другие поверили тоже.

— Обратной дороги нет, — сказала Феня так, как «Пива нет и не будет». — Никто теперь калек не держит, а мышенок явно будет слабенькая от брата и сестры. Выкинут ее к чертовой матери или родители, или врачи, и концов не найдешь. Мы народ такой.

Феня почувствовала, как начала концентрироваться до величины точки. Хорошее такое, решительное действие. Все лишнее в стороны, все нужное втягиваешь в себя и трамбуешь, трамбуешь... Силу, терпение, настойчивость, презрение, ум, хитрость, самостоятельность... Плотненько, плотненько друг к другу, чтоб больше влезло, чтоб девочке-мышонку выжить в любом случае, а у нее именно «любой случай» и будет... Потому как замесили тебя, девчоночка, на плохих дрожжах.

...А потом развернулись перед Феней плечи-приклады, не пройти. Пришлось сквозь них пробиваться силой.

...Феня умирала, лежа животом на портфеле с неформатными фотографиями. В это время дочка Куцияновой, лежа на спине, рожала в «рафике» «неотложки», на нее матом орала медсестра и санитары, чтоб дотерпела до больницы, но что возьмешь с этой природы-бабы, если ей пристало рожать!

Чвакнула девочка-мышонок на ладони медсестры-неумеги и тут же расщепила пронзительные глазки, чтоб посмотреть на первых людей на земле Фениной сущностью.

— Ишь, — сказали ей санитары, — какая серьезная. Как пуля...

ШЛА И СМЕЯЛАСЬ, ШЛА И СМЕЯЛАСЬ...

Первый раз Лиза Самойлова выходила замуж по уму. С любовью ей все было ясно до противности, и, если кто начинал на эту тему лялкать, Лиза поднимала растопыренную ладошку, как бы отбивая мяч, и заявляла:

— Вот про что, про что, а про это не надо... Институты кончали и диссертации писали... Маточной кровью, между прочим...

И все замолкали. Лизину историю знали не просто в подробностях. Ее знали в запахе и цвете, бывало, придет в отдел новый человек, в смысле мужчина. Лиза носом потянет и говорит: «Барахло... «Шипр». Помните моего Виталия? У него был «Шипр».

Никто Виталия в глаза не видел. Все было и прошло много лет тому назад. У них в отделе люди сменились на сто процентов, но и те, прежние, и уже эти, нынешние, знали: у Виталия был одеколон «Шипр». Трусы и майка в клеточку. Волосьяной покров мощный и жесткий, локти и колени очень мосластые. И носом он шмыгал, особенно когда задумывался мыслью.

Таков он был в чисто материалистическом, так сказать, виде, без анализа и оценки моральных доспехов. Но и про них окружающий Лизу народ знал. Доспехи были никудышные. Выученная многократным повторением история Лизы звучала так:

— Он за мной ходил с пятого... Что у нас в уборных было написано? Лиза + Виталий = Любовь. Я что, сама писала? Пионеры писали, потому что все было видно невооруженным глазом. На что у меня мама — женщина железный Феликс — каждый вечер трусики проверяла, но и она Виталию сдалась. В девятом сказала: «Так тебя никто любить не будет». Правда, я как чувствовала, как чувствовала... Он мне букет, а у меня под ложечкой тянет, тянет... Разве мы только мозгами думаем? Глупости это... Иногда тело тебе такой бинном Ньютона выдаст, что хоть стой, хоть падай... Но мы же на это — фу! Откуда, мол, мясу тела знать? А мое мясо знало и под ложечку мне, дуре, стреляло... На майские в десятом поехали открывать дачу. Родители у меня молодцы, хорошую избушку отстроили, не стыдно показать хоть кому. Но поимели на всю жизнь страх. Чтоб ее не спалили зимой. Вы же знаете, наш народ по природе своей злоумышленник... Поехали на праздник сдирать с окон железные щиты, собирать стекло. Папа по периметру забора хорошо насыпал битого стекла, а бутылочные горлышки острым вверх насаживал прямо на штакетник. Можно подумать, спасение. Но каждый раз весной надо было тщательно все прибирать, чтоб самим жить. Виталий поехал с нами, порядков наших не знал и напоролся рукой на горло от шампанского так, что чуть кисть не отвалилась. Мама у меня ловкая, первую помощь оказала квалифицированно, до медпункта на станции добежали, там привязали покрепче, и валите, мол, дальше, в

настоящую больницу. Ну и кто с ним поехал? Я, конечно... Родители остались, а мы после больницы вернулись к нам домой. Ручка левая у мальчика перевязана, жить будет, но страху мы натерпелись. А самое для меня плохое — возникло единение в момент опасности. Как на войне. Мой организм перестал подавать мне сигналы под ложечку, и Виталик мой добропорядочный одной рукой сделал со мной то, что двумя не мог. Оглянуться не успела, а уже оглядываться не на что... Уплыла, растворилась в тумане моя девичья честь, осталось на плече пятно, формой острова Сахалин. Знаете, там такая перемычка на его югах. На этом месте у меня — капельки... И я, значит, вся такая из себя новая, с порухой навсегда. Потекла я слезой жалобной... Спрашиваю, когда будем жениться — после выпускного или когда поступим в институт. А он своей ручкой единственной «молнию» ширк, ширк... Кнопочками на курточке клац, клац... Ноги в ботинки вжик — и только я его и видела первого мая того самого года. Второго не появился, не позвонил. Там еще и третье попало в выходные — ни звука. И вот я, ничего не понимая ни телом, ни мозгами, звоню ему сама. Думаю: а вдруг на почве руки началось общее заражение крови? Отвечает его маман: Виталик у соседей на вечеринке. Ничего себе, да? И все. Всю его любовь корова языком слизала. В школе на меня смотрит не глазами, а щелями. У него веки, когда он меня видит, опадают. Как у гоголевского Вия. И он, значит, через реснички свои редкие меня фиксирует, но не больше. Ну, думаю! И гордо так себя повела, гордо! Прохожу мимо и притронуться локтем как бы гребую. А потом смотрю — и он так же. Класс, конечно, обалдел! Не потому что я, а потому что он... С другой же стороны, время — последние дни школы. Кутерьма и суета. Где-то в конце мая мама меня спрашивает: «У тебя в этом месяце задержка?» А я и не знаю, что сказать. Я и тяжелое нарочно поднимала, и в горячей ванне парилась. У меня ведь всегда точно... День в день... Я говорю маме: «Это на нервной почве... Перед экзаменами». — «Подождем, — сказала мама и тут же: — Что это Виталика давно у нас не было... Вы не поссорились?» — «Да ну его! — говорю. — Деловой стал, сил нет...» Вижу —

мама задумалась. Не сильно пока, не так, чтоб не спать, но что-то и у нее возникло под ложечкой. Все-таки мы с ней одно дерево. Уже во время экзаменов она потащила меня к врачу, и все тайное стало явным. Опускаю крики, слезы и мордобою. Было в количестве. Но одно сразу решили: Виталия мы выводим за скобки раз и навсегда, аборт делаем после выпускного вечера, поруху мою забываем напрочь и живем как бы с девственностью и честью. Все так и было. Маточной кровью я это решение подписала.

На этом месте Лиза всегда замолкала и ждала эффекта. Когда эта история была народом изучена до подробностей стирания кровавого пятна в образе острова Сахалин и комплиментов абортирующего доктора по поводу Лизиних интимных прелестей: «Ишь, какая меховая киска! А после бритья, знаешь, как разрастется? До самого пупочка!» — так вот, слушая историю раз в ...надцатый, люди уже научились «производить эффект» после слов о «маточной крови», кляня и костеря мужиков. Это было дешевле, чем если Лиза начнет сначала, «чтоб пробрать и достать как следует». В конце концов смысл всех историй в накапливании воспитательного результата. Как бы через тернии (маточная кровь) к звездам (фиг воспользуешься моей слабостью впредь. Не на ту напал, мужик-сволочь).

Больше десяти лет после окончания института Лиза несла в себе убеждение: любовь для дур. Это им надо слова говорить, хвост пушить, а женщине с мозгами — это не только ни к чему, это ей даже противно, так как она знает — идет агитационная кампания. Конечно! Конечно... Старость — вещь паскудная, и хорошо бы к ней иметь опору в виде хорошей дочери, как она своим родителям. Да и папе уже трудно куврыкаться на даче, он даже на крышу не может влезть для профилактического осмотра. А крыша — это крыша.

На этих жизненно важных мыслях Лиза подтянулась, взбодрилась и оглянулась окрест. Хороший бросила взгляд, хватистый. Если бы они знали — носители штанов — сколько их сразу осыпалось наземь. Как шелуха от семечек: момент — и на полу. Конечно, были и такие, что в поле зрения остались. Но они все были женатые, а Лиза твердо ска-

зала: ношенных ей не надо. Бэу, секонд-хенд — это для других. У нее же высокие требования, муж первого призыва, и она отступать не будет.

Сергей Николаевич возник как по заказу: и планово, и строго по требованию. Он был холост. Имел техническую степень. Однокомнатную квартиру. Маму на далеком расстоянии и под присмотром вполне здоровой сестры. Был практически не пьющ, кто же считает рюмку-две на праздники и события? У него был рост. Ноги и руки большие, что для мужчины ни в коем случае не минус. Объективно были и минусы. Оклад-жалованье у него было ниже, чем у Лизы, которая хорошо воспользовалась незамужеством для продвижения по службе. Еще у него был незначительный дефект — сжеванное ухо, результат младенческой травмы. На дефект ниспадали довольно приличные волосы, что вводило людей простых в заблуждение — его принимали за человека свободной профессии. Журналиста там или художника. Это смешило Лизу. Что мы за дикий народ? У нее был знакомый художник — абсолютно лысый, а журналисты — вообще пьянь, сравнение с ними для Сергея Николаевича просто оскорбительно. С журналистами у Лизы был свой, давний счет. Еще в институте приходила к ним одна. Все чего-то спрашивала, выискивала, а потом сказала: «До чего же вы скучный и серый народ, братцы!» А вечером ее видели поддатой в студенческом общежитии, и были неприятности политического свойства. Этого еще не хватало в жизни! Сергей же Николаевич даже в стенгазету не стал бы писать заметки, несмотря на пышные свои волосы. Дело было в ухе. Его надо прикрывать.

Лиза тогда сильно сконцентрировалась и, чтоб уж совсем не ошибиться, сходила к одной ясновидящей, к которой даже большие-большие начальники наведывались, принимая государственное решение — пустить там реки вспять или идти в Афганистан. Пошла и Лиза. Ясновидящая пользовалась сразу всем. И чаем, и кофе, и фасолью, и картами, и даже волос жгла на свече. Это, естественно, насторожило. Лиза всегда считала, что в своем деле надо быть специали-

стом узким. А когда и фасоль, и карты — это несерьезно. Но пришла так пришла.

— Я у вас вижу круг, — сказала гадалка.

— Это хорошо или плохо? — прямо спросила Лиза. Не философствовать же пришла, пришла за прямым ответом.

— Ничего плохого. У вас длинная и спокойная жизнь. Просто она идет по кругу.

— Ну и пусть идет! — засмеялась Лиза. — Если длинная и спокойная, то я согласна. — И она встала, считая разговор оконченным. Даже руку-ладошку вперед выставила: мелких подробностей будущего не надо. Мне достаточно.

И они сыграли свадьбу. Не на всю Европу, для самых близких. Родители безропотно переехали в квартиру Сергея Николаевича, Сергей Николаевич, естественно, на их место. Началась правильная со всех точек зрения жизнь, муж, жена... Лиза убедилась в том, о чем подозревала и раньше. Слухи о любовном кайфе не просто преувеличены, а полный бред. «Ну скажи мне, что в этом такого?» — каждый раз спрашивала Лиза мужа, и уже раз на пятый или седьмой он на нее гавкнул что-то вроде того, что у человека слух или есть, или нет. Лиза возмутилась: при чем тут слух? А тут еще в постельной суете обнажилось сжеванное ухо, едва удержалась, чтоб не поддеть его за больное место: чья бы корова мычала о слухе... Но сдержалась... И даже научилась не возникать с этим острым вопросом после.

Но дело... Дело было не в том. Сергей Николаевич оказался до омерзительности скуп. До неприличия. До тошноты.

Сказалась, видимо, долгая, одинокая и небогатая холостяцкая жизнь, когда приходится думать, что копеечка рубль бережет.

Во-первых, он, как голубь, подбирал крошки со стола в рот. Заварку чая он считал свежей три дня, еще три полу-свежей и только один день спитой. Короче, чай заваривался по утрам в воскресенье на всю неделю. Вначале Лиза этого не заметила. Она пила кофе. Но однажды в четверг ей захотелось чаю, и она выплеснула старый. Вот тут она и увидела первый раз лицо мужа. Цвет молодого салата и пуговиц от исподнего... Он смотрел, как она полощет чайник, и из не-

го — из салатного! — как из Лазо в горячей топке, шел рев, смысла которого Лиза постичь не могла. У нее возникло замыкание ума. «Тебе что — жалко чая?» — «Жалко. Я не Онассис какой-нибудь». — «Но я не могу пить такой чай!» — «Тебе придется усмирить свои амбиции». — «Чай — амбиция?» — «Чай — роскошь. Наши предки заваривали траву». — «Я зарабатываю на чай». — «Тебе это только кажется. Я могу доказать».

Всегда перво-наперво надо, чтоб был запущен механизм. Сергей Николаевич, дорвавшись — наконец! Слава, слава чаю! — до возможности сказать наболевшее, заветное, дорогое, нарисовал Лизе картину их будущей, безусловно, прекрасной жизни, в которой всего-навсего не должно быть места подвигам, чаю, кофе, конфетам, косметике, книгам, театрам, отбивным, винам, мехам, кожаным сумкам, немецкому белью, сырокопченой колбасе, химической завивке, твердым сырам... эт сетера. Оказывается! Оказывается, что за все то время, что они прожили столь расточительно, у него обострился на нервной почве гастрит и он вообще на пределе. «Прости, но так жить нельзя».

Сказалось отсутствие опыта жизни с женщиной. Лиза, пережив первый шок, отважно решила: «Перевоспитаю. Я буду поить его хорошим чаем, я объясню ему преимущество вкусного».

Коварная это вещь — отсутствие опыта. Кажется, какая такая трудность: берешь скрипку, прижимаешь левой щекой и туда-сюда смычком. Ну, на первый раз не получится, но со второго-то! Тут можно рассказывать подробно, как она вставала раньше его, и распаривала заварной чайник, и кидала листочек мяты, как твердый сыр она резала тоненько только на сырной дощечке, как наливала сливки в фарфоровый мейсенский молочник, который в единственном виде остался у них от какого-то бартера во время эвакуации. То ли пшено на мейсена, то ли картошка... То ли родители съели полный сервиз, а молочник куда-то завалился, то ли, наоборот, он им случайно обломился. Но это не важно. Это лишние подробности. А в двух словах — фокус не получился, и Лиза разошлась с Сергеем Николаевичем через пол-

года, не доживя до лета и не попробовав его возможностей на поверхности дачной крыши.

Родители вернулись в квартиру, Сергей Николаевич к себе, Лиза выдохнула из себя разочарование брака и ощутила — вот ведь странности природы человека, — ощутила азарт.

Теперь она точно знала, кто. Мужчина, который обеспечен, — это и во-первых, и во-вторых, и в-третьих... Потому что бедность — это всегда скрытая угроза спитого чая, конечно, есть вариант богатого скупердяя. Но это-то она поймет сразу. На это у нее уже есть нюх.

Тут хочется потоптаться на свойствах русской женщины, которая если уж сподобится чему-нибудь обучиться, то нет ей равных, но как бы не задеть этим национальные свойства других женщин. Они ведь супротив этого аргумента могут выставить свой. Какая-нибудь американка скажет: «Да я до русских глупостей просто изначально не могу дойти!» А еврейка вообще может позволить хамство в виде заявления, что у русских все мимо рта, а гойка, так та испокон соображает медленней времени. Но это между делом. Антракт к третьему акту. Вернее, второму. Второму мужу в законе нашей не бедной и не несчастной Лизы, а очень энергичной и уверенной на этот раз в себе женщины, знающей кого и знающей как...

Да, он был обеспечен, Павел Кузьмич. Он купил халупу в их дачном поселке и за лето (!) превратил ее во дворец. Машины мотались туда-сюда, звенели сгружаемые металлические решетки с собачьими мордами в орнаменте, кирпич как бы сам собой складывался в арку, догоняя по росту рябину и, безусловно, соревнуясь с ней в цвете. Радость души возникала, когда виделась такая спорость в деле. И если не стоять долго и не ждать, когда радость, скособочившись, превратится в зависть, то возникновение Павла Кузьмича на сорок пятом километре Ярославской дороги можно было считать безусловным благом.

Лиза пережила два чувства последовательно — радость красоты (отягощенная плодами рябина в кирпично-терраковом проеме арки) и зависть: живут же люди! И все у них,

сволочей, есть. Хорошую бы бомбу на этот участок и его хозяина, а тут хозяин вышел и — хотите верьте, хотите нет — на серебряном подносе вынес глубоко задумавшейся женщине яблоки «Слава победителю».

Роман сразу набрал большую скорость, а потому миновал многие остановки пути: ухаживание, знакомство с интересами, изучение характера и даже — смех! — сближение телами.

Когда мчишься с горки — не до этого. После Сергея Николаевича с его расписанием заварки чая Павел Кузьмич с его серебряным подносом, на котором всегда лежало что-то изысканное, не из сельмага и даже не от Елисея, конечно, притупил рецепторы Лизы. Отставник, вдовец, дети при деле, достатке и очень далеко — это же все положительные стороны, как их ни поворачивай. «Хорошая пара», — сказала мама, а материнский инстинкт — это почти наука. Сергей Николаевич так воспринят не был. Мама, надо сказать, губки на него поджимала. Чувствовала.

И была свадьба. И пронес он ее через арку, хотя было уже холодно, и Лиза была в тяжелом длинном осеннем пальто, которое слегка волокнулось по земле в момент поднятия драгоценной ноши. Конечно, своя ноша как бы не тянет, но Павел Кузьмич лицом слегка набряк, однако дело недолгое, вот уже Лиза на своих ногах, Павел Кузьмич сделал незаметную для других дыхательную гимнастику, лицо вернулось к естественным формам, и тут... Даже неизвестно, как тактично перейти от такого хорошего и умного начала к быстрому и глупому концу. А перейти надо... Такова паскудность обстоятельств.

Павел Кузьмич только и умел, что строить арки и пронести сквозь них женщин на руках. На этом арочном моменте отношения его с женщинами кончались. Лиза удивилась несказанно. Не потому, что ей так хотелось — объясняла она сотрудницам в отделе, но есть же какие-то нормы отношений! Мама же была возмущена Лизой. «Господи? О чем ты говоришь? Когда все есть! Когда дом — чаша. Подумай головой, отбрось глупости. Они не для нас». Что имела в виду мама, Лиза догадывалась. Бедная мама, бедная Жертва

коммунально-квартирного брака. Но она-то, Лиза, — другая! Женщины в отделе сказали: «Заведи... это дело не в семье получается лучше».

Павел Кузьмич претензиями Лизы был оскорблен до глубины души. Он сказал ей прямо: «Ты же не девочка. Если бы у меня фурычило, я бы взял двадцатилетнюю. Я бы целочку взял, а может, и не женился бы, а просто брал их и брал, брал и брал... И кушал с маслом. Но у меня — ё-моё! — ракетно-ядерное прошлое. Вот моя покойная жена это понимала». — «Она успела родить детей», — резонно заметила Лиза. «Неужели бы я пошел на производство детей в своем возрасте? — возмутился Павел Кузьмич. — Я еще нахожусь в мозгу».

Когда Лиза выходила из отдела, женщины смеялись. «Это же надо! Не выяснить такое дело до венца. (Это в фигуральном смысле. Лиза не венчалась, потому как ракетно-ядерный Павел Кузьмич был крутым атеистом, матерым, можно сказать. И то! Можно ли быть верующим, если мир видишь в дырочку ядерного прицела или что там у них вместо дырочки-мушки?) Так вот, женщины в отделе смеялись над Лизой, и им было хорошо. Всегда приятно, когда другой, не ты, простодырый, мягко говоря.

Опускаем, как Лизе искали любовников, как она оскорбилась, узнав об этом, как перестала дружить из-за этого с лучшей подругой. Как затаилась на Лизу мама, взрастившая в себе чувство о порочности дочери. Ведь была же, была та история, в десятом классе. Девочка, ребенок, пошла на такое, страшно вспомнить этот аборт и эту тайну, которая, как ни странно, тайной осталась и на Лизиним ворота не повисла, но что с того, если по прошествии лет, и каких лет, порок вылез и обнародовался. Мама от этих мыслей просто закипала.

А время шло. И уже забылось, почему столько лет не разговаривают в отделе две женщины. Мало ли причин и оснований. У всех нервы как оголенные провода.

Однажды в парфюмерном отделе Лиза увидела гадалку-ясновидицу, которая пообещала ей долгую и спокойную жизнь. Гадалка покупала самые дорогие духи, а Лиза только что подумала, что теперь она может себе позволить только

четверть суммы, а было время — французскими духами заливалась. Возникло сразу два, даже три раздражения против гадалки. Что врунья. Что может себе позволить любую цену. И еще... Сказала что-то про круг, а не разъяснила. Лиза забыла, что ушла тогда от подробностей сама. Она ведь как думала? Надо знать главную дорогу. А кучерявые детали на этой дороге она создаст сама. Это ее дело, а не судьбы там или провидения. Как это теперь называется... Но тут всплыло про круг, и Лиза пошла наперерез гадалке.

Сколько лет прошло! У гадалки волосы стали седыми, и вес возник возрастной, и подбородок бесстыдно лег на воротник.

— Здравсьте! — сказала Лиза. — Что вы имели в виду, говоря мне про круг? Я у вас была... Помните?

Ясновидица развернулась так, чтобы пройти, не затронув Лизу. Как бы она боялась замараться, а на Лизе, между прочим, было новое и довольно дорогое итальянское пальто. Лиза этот жест-движение заметила, более того, в душе просто возмутилась, но она знала главный закон жизни: ради большой цели мелочью можно пренебречь. Даже если это чья-то брезгливая морда. Не баре, перетерпим...

Гадалка уходила от Лизы споро, как будто она и не полная, и не шестидесятилетняя, пришлось пойти ей наперерез и загнать между стеной дома и телефонной будкой.

— Вы меня помните? — безоговорочно спросила Лиза. Конечно, у загнанной в угол женщины, кто бы она ни была, был беспроигрышный вариант: не помню, не знаю, много вас тут ходит, если каждого держать в голове, то какую же это надо иметь голову... И так далее. Но ясновидица, не глядя Лизе в лицо и сдувая с воротника нечто невидимое, ответила, что помнит и что знает...

— Будете ходить по кругу, пока не поймете, — сказала она.

— Что? — железно спросила Лиза. — Что это такое я должна понять?

Но гадалка, как оказалось, уже выходила из западни и теперь уже смотрела Лизе в глаза, смотрела прямо и даже

как бы ощупывала симпатичный Лизин овал, слегка обмякший в процессе жизни.

— Какая законченность типа, — пробормотала ясновилица. — Долгий, долгий путь...

— Это я уже слышала, — ответила Лиза. — А дальше?

— Жить! — засмеялась гадалка. — Жить!

И она просто прыгнула в толпу, замечательное место, чтоб тебя не достали.

А вечером Лизу побил пьяный. Он шел ей навстречу и кричал песню. Лиза почувствовала, как в ней подымается и растет классовое чувство. Эти алканы. Этот мусор жизни. Вот кого надо в газовые камеры... И думать нечего. На этой христианской мысли Лиза и получила в ухо. Не боль, не гнев — изумление было первым Лизиным чувством. Какая четкая последовательность, она подумала — он ответил. Незамедлительность результата. Пьяный уходил с той же песней, Лиза терла ухо, потом она споткнулась о задравшийся край асфальта, едва не упала, домой вернулась с тахикардией и сказала маме: «Пьяного встретила, он меня ударил». Мама взбуктенилась, подвела Лизу под лампу, но никаких следов не нашла.

— А были бы?.. — философски заметила Лиза.

Весь вечер она была тихая, задумчивая, смотрела телевизор и вздыхала, вздыхала...

Слава богу, к утру все забылось, кроме бешеных цен на французские духи. Это надо до такой степени издеваться над народом!

А через некоторое время, год или месяц, случилась у Лизы встреча. Тоже вечером, тоже шел навстречу, но песни, правда, не орал, Виталий. Просто шел навстречу, а получилось по судьбе.

— О! — сказал он. — Какие люди!

Лиза вся заледенела. Во-первых, быстро не сосчитаешь, сколько прошло лет. Много. Во-вторых, чистая правда, что тогда вместе с маточной кровью она исторгла из себя все воспоминания о нем. Там, где когда-то было Виталево место, значилось одно коротенькое слово: гад. Правда, первые годы она много о нем говорила-рассказывала как о мужской

особи как таковой, но потом поняла — не стоил он тех ее слов. Гад, и все. У трех букв есть особая сила экспрессии. Тут есть тема для лингвистического эссе, но у нас тут вовсю булькает жизнь, и Лизе надо как-то выходить из оцепенения, потому что Виталий — оказывается! — уже обнимает ее за плечи и махорочно целует в щеки, как какую-нибудь племянницу из Талдома.

— Ну ты прямо... — сказала Лиза.

Они пошли рядом, и в небрежном изложении событий прошедшая жизнь Виталия выглядела так: женат вторым разом, но уже на грани краха и эта попытка. Двое сыновей. От первой взрослый, студент. От второй школьник... Жалко мальчишечку, но когти рвать придется. Сволочная оказалась девушка-мать. Недовольна всем на свете, а виноват муж. В смысле профессии тоже разрушение судьбы. Всю жизнь работал на войну, и хорошо работал, а она, зараза, возьми и кончись. Война. А что он умеет? Да ничего! Он — первоклассный истребитель населения.

— Ты такое молотишь! — возмутилась Лиза. — В военно-промышленном комплексе большой потенциал.

— Это да, — засмеялся Виталий.

В конце концов поговорили хорошо, по-человечески, с пониманием. Прошлого деликатно не касались. Да и что такое их прошлое супротив других проблем. Так, брызга!

А через несколько дней он пришел к ним домой, и мама вскрикнула, как раненная насмерть птица. Папа же шумно засопел носом и не знал, куда деть ноги в носках. Но это в первый момент. Потом атмосфера разрядилась, вспоминали класс. Виталий спросил про дачу, папа оживел, влез в подробности, а мама на кухне сказала Лизе:

— Конечно, знать бы его намерения...

— Но он же женат! — воскликнула Лиза.

— Ах, детка! — вздохнула мама. — Это для нашего поколения что-то значило... У вас иначе. Ну, женат... Разженится...

И все к тому шло. Пришла весна, и надо было раздевать дачу от щитов и битого стекла. В этом смысле не только ничего не изменилось — стало гораздо проблемней. Папа те-

перь ставил капканы на человеческую подлость, а моток колючей проволоки ему привез мужик с химкомбината за две поллитры и сто рублей еще теми деньгами.

Виталий сам вызвался помочь. А на Лизу нашел сумрак, и она как бы забыла ту историю, мама, правда, со значени-ем кашляла и стучала ложечкой по блюдечку, а Лизе хоть бы что — поехали на дачу.

Нет, нет... Не до такой степени шло повторение. Виталий остался невредимый: не порезался, не укололся, щит на него не падал, в капкан нога не сунулась. Выпили после весенне-дачных работ по рюмахе. Маму с папой развезло, они просто захрапели, едва прилегли. Пришлось закрывать одни двери и другие, чтоб не слышать именно храп. Сидели на террасе, слушали дальний перестук электричек и ближнюю гулянку, на которой отчаянно боролась чья-то гармошка с рок-козлом. Козел побеждал, но сволочь от народа возникала снова и снова, и кто-то просил придушить дядю Ваню, его, видимо, душили, и тогда взмывал козел-победитель. Лиза думала, пусть будет козел, главное, чтоб окончательно, нельзя же дергать человека за нервы, но тут оклемывался дядя Ваня, и это было долго, если не сказать бесконечно...

Случившееся на террасе было столь мгновенным и столь никаким, что Лиза даже решила: надо сделать вид, что ничего не было. Натянула плед до ушей и щелкнула приемничком, на другом конце дивана накрылся пиджачком Виталий.

...Козел, дядя Ваня, музыка советского кино и двое вальтом, не считая вдруг проснувшейся мамы, которая, увидев закрытую дверь, замерла от неопределенности сознания. Таков пейзаж.

А дальше было как раньше.

Виталий, вернувшись с дачи, исчез. То позванивал, если не приходил, а тут — канул. Конечно, не тот случай, что ...надцать лет тому. Но мама, живущая по правилам и календарям, спросила Лизу, собирая стирку.

— У тебя задержка?

«Стареет мама, — подумала Лиза. — Теряет время».

Дело в том, что она уже неделю думала на эту тему. Она думала о двух своих официальных мужьях, которые прошли

в ее жизни, как с белых яблонь дым. А Виталий — не муж, зато как попадает в цель. Какой гад! Какая сволочь! Навела справки и выяснила: все у него с женой наладилось и с работой тоже. Хорошо зацепился в конверсии, делает не то утюги, не то лыжи, купил новый телевизор.

Лиза ходила к врачу. Взяла направление на аборт. Никто ее не отговаривал — не молоденькая, раз просит направление, значит, знает, что надо. Сходила в больницу, назначили ей день: «Приходите со своими пеленками».

На улице было полно тополиного пуха. Почему-то от его всепобеждаемости собственная жизнь увиделась бессмысленной и пустой. Ни с того ни с сего посчиталось: если бы тогда, в десятом, она родила, то могла бы быть уже бабушкой. «Сволочь, — подумала она. — Гад».

Мама сварила рассольник, который Лиза любила, но требовала, чтоб огурцы — причину рассольника — ей в тарелку не клали.

Так бывает сплошь и рядом. Именно причину выкидываем к чертовой матери, а хлебаем исключительно следствия. Мама отцеживала бульон в Лизину тарелку, мама старалась, у мамы почему-то тряслись руки.

— Пока ты есть и на ногах, — вдруг твердо сказала Лиза, — рожай. У дачи появится смысл. А так смысла нет, колотимся, колотимся... И не отговаривай меня! — закричала она рассольнику. — Ты помнишь, сколько мне лет? Помнишь? Ну вот и кончен разговор. А туда надо нести свои пеленки. Я смеялась всю дорогу. Пеленки, чтоб не было ребенка. Понимаешь? Чтоб НЕ...! Я шла и смеялась, шла и смеялась... Представляешь? И не смей плакать! Не смей! Не...

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОТОП

Жена умерла так неожиданно и сразу, что ни осознать, ни почувствовать горе Николай Крутиков не успел. В понедельник утром перед работой она замочила в тазике его майки, днем на службе у нее случилось «это», во вторник была беготня со всеми похоронно-бюрократическими про-

цедурами, в среду жену похоронили, а вечером он обнаружил в тазике замоченные майки. Он их выполоскал, повесил на трубу и принял этим самым на себя весь груз и остальных женских домашних дел. О том, чтобы взяла их на плечи дочь — пятнадцатилетняя дылда, рост 173, вес 71, и речи быть не могло. Дылда была в девятом классе, пела в ансамбле «Скворцы» и ходила в секцию карате. У нее не было времени на уборку, готовку, на печаль, стресс — что там еще бывает связано со смертью? Она была «дылда в режиме» и культивировала в себе выдержку и мужество японских камикадзе. Николай бегал за картошкой, стоял в очереди за стиральным порошком, прочищал унитаз, когда камикадзе бросила туда по дури почти пол-«Литературки», и только на девятый день удалось ему спокойно посидеть с людьми в автобусе, пока ехали на кладбище. Вот тогда он и осознал великую истину: повседневная жизнь крепче любой смерти. Даже стишки вспомнил, неизвестно когда и зачем в голову влетевшие. Николай стихи не читал и писание их считал делом не просто несерьезным — глупым и стыдным. Не мужским — точно. Ну Пушкин... Что Пушкин? Когда это было? Его бы в очередь, и не раз, а каждый день... Это вам не мазурка... А тут вдруг в голове образовалось:

...Ничто так в жизни не может вышибить из седла.
Такая уж поговорка у кого-то там была...

Николай был потрясен точностью слова и громко сказал это в автобусе, и женщины согласно закивали головами, покрытыми черными платочками. Ничто, ничто. Оглянуться не успеем — и сами туда пойдём.

Оглянуться не успел — ...в доме чинили сантехнику, пришлось иметь дело со слесарями-разбойниками; у камикадзе на сапоге сломалась «молния» зеленого цвета, каких ни в одной мастерской не было; полосами пошел экран у телевизора; кончилась в банке любимая крупа рис, не накормленный вовремя кот сожрал на балконе соседскую печенку, а у печенки было высокое назначение, из нее должны были приготовить паштет для очень нужного гостя. Соседка так орала, что ее уводили за руки, объясняя по дороге:

— У него жена умерла, жена!

— Ну и что? — вопила соседка. — Какое мне дело?!

Так вот, оглянуться не успел — ...отметили сорок дней. Снова ехали в автобусе, и снова он читал те самые строчки. И все кивали головой, соглашаясь и удивляясь такой простотой и великой истине: жизнь, она берет свое...

На сорок первый день его начали сватать. Без подходов и интеллигентских штучек. Просто стали приводить баб. Разных, всяких... Умеющих готовить и не умеющих... С высокой зарплатой и малоимущих... Красивых блондинок с хорошими статями и мелко-шустрых брюнеток... Была женщина-монголка, выросшая в Сивцевом Вражке, украинка, желающая прописки в Москве, бледная картавая женщина из Литвы с кандидатской степенью.

Большое количество невест — хоть руками ешь! — выводило ситуацию из разряда проблемно-теоретических в разряд реально-практических. Бери и женись, чего уж там! И Николай глубоко задумался.

Он все время, с того самого понедельника, когда покойница замочила майки, спал очень хорошо. Бессонницы у него не было. Ложился — и как убитый. А тут — от монголок, блондинок и картавых кандидаток — у него начались перебои со сном. Стал он их — женщин — вместо сна примерять всех подряд к себе, к дочери, дылде-камикадзе, к квартире, к кухне. В общем, перестал спать.

Вот тут и пришло письмо. От сестры. Она тоже писала, что горе горем, а жениться надо. И у нее было конкретное предложение: «Коля, не морочь себе голову и бери Тоню, которую ты так подло бросил восемнадцать лет тому назад, польстившись на москвичку. Она уважаемый в городе человек, хотя замуж так и не вышла. И ты, Коля, виноватый, ты... Живет скромно, висит на Доске почета».

Сестра добавила, что удочку уже забрасывала. Ах, мол, Коля овдовел! Тоня очень сочувственно покачала головой и сказала: «Бедный!» Так что можно сделать оптимистический вывод... Другая бы на ее месте сказала: «Так ему и надо».

Николай вспомнил, какая была у них с Тоней любовь. Все было, только до главного не дошли. Побоялись. Но по-

том он уехал учиться в Москву, встретился с покойницей, с ней до главного дошли, а дальше уж стоял вопрос порядочности. Честно говоря, Николай никогда не жалел, что получилось так, а не иначе. Хорошая была у него жена, хорошая. Чего бога гневить!

Но Тоня, Тоня, Тоня...

Это ж вам не какая-нибудь чужая украинка, которой нужна прописка. Это почти свой человек. Это, можно сказать, любовь, положенная в морозильник. Теперь ее надо оттуда вынуть, чтоб оттаяла.

В четверг Николай сел в поезд, в пятницу утром был дома, на родине, вечером он с коробкой конфет «Ассорти» пошел к Тоне. Она сказала: «Господи! Каким ветром?» И была в лакированных лодочках, югославском шерстяном костюме, а на голове у нее была вздвигнута резко вверх прическа, от которой Тоня казалась слегка непропорциональной. Но это по первому взгляду. Уже по второму он видел другую Тоню, а по третьему — так и вовсе не сомневался ни в ком и ни в чем.

В субботу сестра — она работала в загсе — их расписала. В субботу же Тоня сказала своему начальству, что она в гробу видела Доску почета со своим портретом, потому что личная жизнь дороже любой славы, пусть и районного масштаба.

В воскресенье вечером они уехали, сдав в багаж восемьдесят четыре килограмма Тониного приданого. Ковер машинной работы, копию картины «Утро стрелецкой казни», швейную машинку «Зингер» и набор болгарских кастрюль.

Дылда сделала им «приветствие» в стиле карате, и молодые легли спать. Возникло маленькое недоразумение по поводу выбора стороны на широкой кровати. Но Николай скрепя сердце уступил Тоне и лег туда, где спала покойница, испытывая при этом двойное чувство: желание получить благодарность за свою мягкость, стоворчивость и уступчивость и обиду, что с первой же минуты с ним вроде и не очень считаются.

Тоня тоже в первую брачную ночь была переполнена разным. Во-первых, она тоже хотела благодарности — за

свою девственность. Смешно по нашим временам, но куда денешься, если правда? И ей было обидно, что из-за какого-то края кровати... И не привык, мол, на том боку, и для будильника именно тут место... Уступить уступил, но и баззль побаззал. И это в первую брачную ночь!

Так и повелось. Каждый из них считал, что сделал для другого больше и заслуживает благодарности.

...Я пошла за него, вдовца, пошла на ребенка, а что, мне было плохо висеть на Доске почета? Я принесла ему девственность, потому что я не какая-нибудь там... Я могу только по закону. А что, ухажеров не было? Да навалом! Я ему уют в квартире, чистоту... Как у него все было загажено!

Каждый день, с утра до вечера, она ждала, что ей будут благодарны и ее женский и человеческий подвиг будет оценен по заслугам.

Но дылда ела, забывая сказать спасибо. Николай же на третий или четвертый день лег на свое привычное место, сказав:

— У меня от спанья на левом боку желудок не работает.

От этой его грубости (а как еще можно расценить такое заявление?) у Тони просто сердце зашлось.

А Николай не мог понять, чего это она ходит с поджатыми губами? Женившись на Тоне, он чувствовал себя как человек, вернувший старый, почти безнадежный долг. Вернув его, он хотел как минимум уважения...

В ожидании благодарности друг от друга они и начали свою совместную жизнь. А ее, благодарности, не было. И росла, росла, каменела обида.

— Я тебя в Москву привез! — говорил он будто между прочим.

— А что твоя Москва? Грязь и хамство, — отвечала она.

— Ну, знаешь... За прописку деньги берут... Мне одна украинка миллион предлагала...

— Чего ж не взял?

— Вот к тебе поехал...

— Жалеешь? Да?

— Да не об этом речь... Просто ты понимай...

Но жизнь была цепью непонимания. Глупого, идиотского, случайного... Оба ведь хорошие люди, слава богу, как говорится, что нашлись... И осознать это вроде не штука, а вот же...

Шла у них жизнь не в той скорости, не в той мелодии, все как в кривом зеркале, маленькое казалось большим, большое же сжималось и кукожилось.

...А тут еще в полную мощь музыка из магнитофона камикадзе. Рваные ритмы рвут тоненькие паутиночки проклевывающихся старых мелодий. Только вспомнится...

— ...Помнишь, как под нами мосток обломился?

— Ты же такой вахлак... Навалился, перила и хрустнули.

Оба тихо смеются, но врубается на всю мощь магнитофон с колонками, под него какие воспоминания?

— ...Неудобная у тебя кровать. Я совсем не сплю.

— А у меня изжога от твоих голубцов.

— Не мои — магазинные.

— Магазинные? Ну, ты даешь! Чего ж это мы едим магазинные? Капусты, что ли, нет? Или там — начинки?

— Три дня нигде нет капусты.

— Странно...

— Не веришь, что ли?

— Странно, я говорю...

Тошно им было обоим. От неумения сблизиться, понять друг друга. И пришла мысль, что совершили они оба ошибку. Стал он задерживаться с приятелями, то в пивную зайдет, то в стекляшку.

— Девушкой сохранилась, — объяснял он своему дружку, — это я ценю...

— Ха! Может, никто на нее не зарился? Уцененный товар?..

И уже сомнения обуревают Николая. А может, так и было? И уже виделась она ему не симпатичной, милой женщиной, какой была на самом деле, а уродиной, с вытянутой головой, с большими руками и ногами. И делалось ему жаль себя, мужчину, у которого были такие возможности — монголки, женщины из Прибалтики, хоть и с дефектом речи, платежеспособные украинки. И слеза набегала ему на глаза,

и держал он ее в реснице, не смахивая, потому что так было жальче самого себя.

Тоня подружилась с соседкой, той самой, у которой кот сожрал печенку. Соседка жаловалась на шум из их квартиры и говорила, что надо быть святой, чтобы жить с дылдой-камикадзе.

— Грубая девочка, — говорила Тоня. — Ну, разве это девичье дело — карате? А книжки не читает. Я ей предложила роман Золя, а она ответила, что это муть.

— Вы попались, — зловеще говорила соседка. И Тоня видела себя мышкой, попавшей в грохочущую мышеловку. И слеза набегала ей на глаза, и удерживает она ее там, не моргая, потому что и ей так жальче самое себя.

Накаленные до предела, растравленные чужой «неблагодарностью», они однажды поссорились гадко, громко, вовлекая в скандал дылду, кошку, соседку... И разбежались потом друг от друга с криком и плачем.

Все, кроме кота, провели одну ночь вне дома. Николай ночевал в общежитии на свободной койке, а ночью из командировки возвратился ее хозяин, и они спали — не спали вместе. Дылда ушла к подруге, и всю ночь они занимались спиритизмом, вызывая дух Леннона и Высоцкого.

Тоне было хуже всех, у нее не было в Москве ни друзей, ни знакомых, ни родственников. Она сидела всю ночь одна на вокзале, и обидней этого ей никогда не было. Она даже вышла на перрон, примериваясь к поступку Анны Карениной, но оказалось, что практически это невозможно: на каждом квадратном метре перрона было такое количество людей, что прыгать под колеса надо было бы через чьи-то чемоданы и ноги, а это уже меняло дело... Да и вообще... Жить, конечно, противно, но не жить?..

Утром Тоня взяла билет на поезд в свой родной город. Вернется она на родину, а со временем и на Доску почета и скажет всем, что Москва — это грязь и хамство, а если кто съехидничает, она тому ответит:

— Хочешь, вернись на мое место. Там как раз нужна дура.

...А в это время их квартира с ковром машинной работы на полу, болгарскими кастрюлями, картиной «Утро стрелецкой казни», машинкой «Зингер», стереосистемой была затоплена водой, а кот сидел на шифоньере и кричал низким печальным голосом.

Жильцы снизу вызвали аварийку, дверь сломали, вещи вынесли во двор, поставили возле них мальчика в очках (признак невористости) и стали вызванивать хозяев. Но никто не знал, где они и что с ними случилось.

Тоня и Николай пришли сами, каждый за своими вещами, и появились они во дворе с разных концов, и остановились возле порядочного мальчика. Они увидели грудку мокрых некрасивых тряпок и узнали в них свои. Потом они бегом кинулись в квартиру и увидели своими глазами, что может сделать неконтролируемая вода, то есть стихийное бедствие. Было так страшно, что они в отчаянии сели рядом на стоящую в воде кровать, потому что ноги их не держали. Было ободрано и — тихо, тихо... И в этой тишине они вдруг услышали друг друга, потому что оба были славные, хорошие, оглохшие в шуме люди.

— А я все равно хотел обои менять, — сказал Николай. — Ты какие хочешь?

— Мне все равно, — сказала Тоня. — Я только не люблю, когда салатовые.

— Я тоже, — сказал он. — Салат, он зеленый, холодный. Не для семьи. И надо поискать дверные ручки, шпингалеты. Этим столько лет...

— Я поищу, — сказала она. — Поезжу.

И тогда он ее обнял.

Она прижалась к нему и заплакала.

— Перестань, — сказал он. — Это все наживное. Тряпки.

— Да господи! — сказала она. — И не думаю...

Потом спохватилась, вскочила...

— Я сейчас, — сказала.

Побежала и спустила в унитаз железнодорожный билет.

РОЛЬ ПИСАТЕЛЯ ПЬЕЦУХА В ЖИЗНИ ПРОДАВЩИЦЫ КОЛБАСЫ ВАЛИ ВЕРЕТЕННИКОВОЙ

Я любила так. Жарила сковородку семечек, обматывалась байковым одеялом, сладеньким, мягоньким, коленками вытянутым... Пальцами ног под собой его прихватывала, шевелилась в нем, как косточки велят, и... — ни в сказке сказать! Оно и сейчас живое — одеяльце, конечно, скорее — полуживое. На пенсии. Я на нем глажу, когда не хочу заваживаться с гладильной доской. Не люблю эту заразу для энтузиастов глажения. А одеяльце лежит у меня под утюгом, все в рыжих треугольниках бывшего огня, и я думаю: какое было время! Семечки, одеяло и какой-нибудь роман. Я всю советскую литературу перечитала от корки до корки и обратно. Мне даже то нравилось, что никому не нравилось. Я придурошного Данко любила не на уроках литературы, для светлой радости учительницы, а на самом деле действовал он на меня до слез этим своим вырыванием сердца. Все читала. Подряд. Я Драйзера считала ниже Бондарева. И удивлялась себе: ну, думаю, патриотка! Сижу, обплюююсь вся, света белого не вижу. Муж, сын — а пошли вы! Как теперь говорят — кайф. Сейчас не соображу, когда это отрезалось? Когда я отселила одеяльце под утюжок?

Был же первый раз, когда распятую коленками баечку из изголовья я перенесла в кухню на подоконник? Я вообще люблю размышлять над временем поступков. Какое у них «до» и какое «после». Жила же душа в душу с одеяльцем, а потом взяла (как? когда?) и выбросила за борт в набежавшую волну. Несла его в изгнание как? Как родное или как чужое? Я ж итог этим подводила себе прежней, потому что после этого, чтобы я нажарила семечек и клубочком свернулась — да никогда! Сижу на диване с прямой спиной, а чтоб коленям вольнее было — брошу на них плед. Шерстяной, ирландский, шелком окантованный. Брошу и слежу, чтоб, не дай бог, не коснулся пола. Ну, коснулся бы... Делов! У меня три таких пледа. Но я сама себе это устраиваю —

строгость в поведении ног, спины и колен. И не читаю. В руки не беру.

Иногда разламываю апельсин. Почему я всегда себя вижу со стороны в этот момент разламывания? Просто из себя выпрыгиваю, становлюсь напротив и смотрю. Сидит пожилая уже девушка, башня из волос под торшером вся переливается оттенками колестона, и каждый раз — каждый! — я вспоминаю покойницу маму, которая в такую же точно башню закладывала для крепости капроновый чулок. У меня же все на шпилечках, отсюда — хрупкость, а значит, и большая красота. Красота вообще вещь нежизнеспособная. Хочешь выглядеть красиво, придай себе слабость, чтоб все было — хоть пальчиком сломать. Такое у меня понятие о красоте, и тут меня не сбить. Я просто захожусь от смеха, когда слышу теперь на каждом шагу, что красота спасет мир. Ну, скажете, это от ума?

Ненавижу апельсины именно потому, что сурово вижу себя со стороны. Пожилая девушка с пустотелой башней на голове поедает апельсины, прикрыв колени ирландским пледом, в присутствии телевизора и семьи, освещенная голубым светом гжельского подфарника. То есть бра. Но подфарник в таком перечислении лучше, потому что он намекает на наличие у пожилой девушки с пустотелой башней на голове, поедающей апельсины и имеющей плед, мужа, сына, телевизор и гжель, еще и машины, не попадавшей в объектив глаза, потому что она стоит в трех километрах от дома. Будь они прокляты, эти условия существования хоть машин, хоть людей.

Естественно, возникает вопрос, с чего это человек перестал делать любимое дело — грызть семечки и читать романы — и превратился в сюжет для картины? Я с детства неплохо рисовала и любила картинки с историей, чтоб было о чем помечтать. Вот, мол, Меншиков с выводком. В деревне Березово. Носатый, небритый мужчина. Кулачок на коленку положил, силу сдерживает. Жалко дядьку, а барышень его почему-то нет. Жалко силу, которую скрутили и бросили. Ну, и так далее. Картину, что я вижу про себя, можно было бы точно обозвать и так: «Пожилая девушка с апельсином,

пледом и подфарником (бра! бра!), после того как она навсегда перестала читать книги».

Как экскурсовод по собственной картине, я бы так сказала: «Она — пожилая девушка — однажды поняла всю лажу литературы. Она осознала торжество дури в ней и возмутилась. Как же это можно — дурью и лажей — морочить человеку голову. Это ж кем его считать? Козлом или примусом?» Короче, не читаю. Считается, что смотрю телевизор. Нет. Я просто пялюсь. Я сижу и думаю мелкие, мелкие мысли. Например. Надо выпить молока. Беру пакет, и меня заносит на ту фабрику, где это молоко разливают. И я просто вижу, как она там стоит, немытая баба у разливальной машины, и как она грязными пальцами все там трогает. А может, это он — мужик, — тогда еще хуже. Потому что, определенно, он только что пощупал свою ширинку во всю высоту и теми же пальцами взялся за молочный краник. Я это давно заметила за нашими мужиками: как они заполошенно хватаются ни с того ни с сего за причинное место, проверяют — там ли. И глаз у них такой делается испуганный, будто нет там ничего, исчезло и надо срочно бежать, искать и водворять бегуна на место. Ну, одним словом, — будешь ли после этого пить молоко из того краника? Кончается всегда одним — я надуваюсь кипяченой воды. Пью, а сама представляю, как на водосборниках наши лихие советские труженики из желания насолить сразу всем — власти, партии и жене — писают в хлорированную воду перед самым спуском в водопровод. Натe, мол, вам! Упейтесь!

Я тогда чувствую, как закипает моя кровь, и мне даже хочется обратиться в газету с криком: «Правительство! Что вы себе думаете? Партия! Где ваши понятия?»

Но не такая я дура, чтоб на самом деле открывать рот. Я в голове это все прокручу, пойму, что в нашей стране все бесполезно — кричи не кричи, — и иду спать.

В результате такой моей оторванной от искусства и литературы жизни я не заметила, что есть — оказывается! — такой писатель Пьецух. Странная фамилия, не поймешь национальность.

Я это не люблю. Не потому, что я имею что-то против евреев — это сразу приходит на ум, — а потому, что я не люблю, когда мне что-то непонятно. Это у меня с детства. Непонятно — сразу не люблю. Будто внутри что-то рождается клубочком таким и вверх, вверх к горлу. И начинается такое распираание, что может возникнуть мысль, будто у меня зоб. Ничего подобного. Это я своим телом и духом что-то не понимаю и ненавижу. Я тогда платочком горловым прикрываюсь, если не хочу, чтоб видели, как я не понимаю эту жизнь. А на работе я хочу, чтоб видели и знали. Я к очереди подхожу в зобе. Как Язов при пистолете. Нате вам, сволочи. Между прочим, этим держусь, а то бы давно сосуды полетели в тартарары. У каждого своя самозащита. Я хорошо знаю одну женщину-скурсанку. Но это зигзаг мысли. Это, чтоб не сказать главное... Значит, Пьецух.

Интересно, кто он? Может, мордва? У нас этой национальной мелочовки... Кто не перекарасился в русских, у того фамилия может быть похожа черт-те на что, с нашей точки зрения. Но я считаю — имеют право. Называйся кем хочешь. Это ж ты... Ты и есть самый для себя главный. Аксиома, между прочим.

Как у меня все трясется, а зоб больше головы. Потому что она мне так сказала: «Откуда у вас, Валя, такая сумма на руках? Вы что — писатель? Может, вы Пьецух?» Так она мне в лицо, эта сволочь, выдала небрежно, как сдачу. У них в райкоме, где она до магазина работала вторым секретарем, накоплен большой опыт по сбиванию людей с ног. Это у них профессиональное свойство. Как у нас пальчик на весах. Тут ведь ничего не поделаешь. Палец ложится под бумажечку сам. Мне эти двадцать граммов, думаете, нужны? Да боже мой! Но... Автоматический жест. Так и у райкомовцев. Сразу надо поставить человека ниже. Не ниже себя, это я простила бы, а ниже самого человека. Я когда это поняла, мне слово открылось — унижение. Я вообще, надо сказать, умная. Мне бы другую жизнь. Чтоб ум не пачкался в каждодневной грязи, а выполнял свое назначение. Но мы же вынесли ум за скобки жизни. За ненадобностью. И все. И точка. И если меня, умную, это не перелопатило, то исключи-

тельно оттого, что я физически по природе своей сильная. Я очень здоровый человек — тьфу, тьфу, тьфу! Но тут — «вы, может быть, писатель Пьецух?» — у меня такой получился прилив к голове, что — не поверите! — мир стал темно-синим. Именно темно-синим, как довоенный шевиот на брюки.

Я тогда в себя упала. На собственное дно. Оказывается, оно есть. Такая пропасть внутри с темно-синими стенами, летишь мимо них, аж перепонки закладывает. И бац — камбалой в нее.

Дело было так. Я накануне сняла всю наличность с книжки, и мне ее выдали крупными бумажками, чему я, идиотка, обрадовалась. Мне на следующий день деньги эти — десять тысяч — надо было передать из рук в руки. Я их в полиэтиленовый пакет сложила, аккуратно так подвернула с боков, ну, думаю, слава богу, сделала дело, завтра отдам, и кончится эта дурная история, от которой организм мой уже стал уставать. Не девочка ведь. И села я, значит, перед телевизором и тарелку на колени поставила с этими, как они? Вот, видите, слова стала забывать — с этими чебуреками. Я обрадовалась, что мне сильно есть хочется и не представляется, как этот чебурек сделан. Хорошо, думаю, значит, я на верном пути. И только я откусила чебурек, а он как брызнет! Всю меня, паразит, соком обдал, в лифчик затекло. Жир горячий, я туда дуть, а в телевизоре как раз про обмен денег.

Как я не умерла сразу, не знаю. Усилием воли осталась на этом свете, потому что понимала: если не я, то кто же? Кто, кроме меня, дело сделает? С другой же стороны, какой дурак возьмет десять тысяч в сотнях после этого указа? А пойду я завтра их обменивать, что скажу? Машина у меня есть, квартира, и все в ней есть. Не бедная я, чего там говорить. А чистую правду могут неправильно понять. Подумают обо мне черт знает что. А думать нечего. Мне эти деньги нужны для убийства. Это вам не шуточки. Это святой случай.

Объясняю. За неделю до того разревелась я в подсобке, как не знаю кто: господи, говорю, да что ж, тебе трудно прибрать к себе эту подлую тварь? Если ты есть и ты такой весь из себя справедливый, так пошли ей холеру или трам-

вай на пути, так закороти ей электричество или открой люк с кипятком. Наконец, сколько на свете ядовитых грибов! Мало ли у тебя, господи, способов, но ты у нас чистоплюй, ты по мелочам не мараешься, как же, как же... Из меня все это слезами идет, подсобный наш Гоша, алкаш алкашом, других не держим, но человек умный и в смысле идей богатый, дает мне минералки запить мой душевный крик и говорит с огромным удивлением и непониманием меня: «Что за паника, мать? Что за проблемы? Всегда ведь можно договориться». И меня как током! Я сразу поняла смысл. Схватила его за свитерок, аж нитки затрещали, кричу, говори не сходя с места — с кем и когда. Через час он отозвал меня от прилавка и сказал, что это будет стоить пятнадцать тысяч. Я сразу поняла, что он меня насасывает. Не может быть такой цены. Не может. Не стоит человек ее. Да еще такой человек! Ну, я и возмутилась. Прямо при народе, что значит нервы... И правильно сделала. Гоша уже через час, когда я в туалет отлучилась, спокойно пошел на снижение: десять авансом исполнителям, а две ему, комиссионные после дела.

Вот для чего денежки сняты были с книжки. Я только потом уже поняла морду кассирши, которая посмотрела на меня как-то не так, когда я зобом вздулась и потребовала: «Мне крупными». А она, сволочь, с подъебцем так, враспевочку: «Только крупными, Веретенникова Валентина Ивановна. Только». Отслюнила мне бумажки, головка к головке. Я еще вышла и думаю: ну что за народ! Вот только потому, что я имею средства, меня ненавидеть? А ты встань на мое место! Встань со своего мягкого стульчика и восемь, десять, а то и двенадцать часов постой на плоской ступне. И чтоб целый день на тебя дышали вчерашней пищей, и чтоб всякие разные руки к тебе тянулись, и какая зараза к тебе прилипает, разве узнаешь? И я мысленно пожелала кассирше сберкассы того же, что случилось у меня, и даже представила, как у нее увянет морда, когда она пойдет по миру побирать деньги, потому что откуда ей взять?.. Как она будет мечтать совершить налет на собственное рабочее место, но, как говорила моя покойница бабушка, у нее для такого дела в одном месте не кругло. Что значит — в ж... не кругло, я не

знаю, но бабушка любила это выражение. Я, помню, в детстве даже брала зеркальце для проверки, но это так, к слову, хотя и говорит о моем характере — ненавижу не понимать!

С той минуты, как сказал телевизор и как брызнуло на меня чебуреком, я уже не присела и ночью не уснула. Утром разыскала Гошу, он мне прямо сказал: какой же идиот... И тогда я пошла к заведующей, я же знаю, у нас в кассе всегда сумма, и тут она мне и выдала: «Откуда у вас дома такие деньги? Вы что, писатель Пьецух?» Если б она сказала, вы что, писатель Пушкин или Евтушенко, я б нашлась. А тут я прямо с ног. Я ж не понимаю, о ком речь! Может, как-то надо было правильно сказать, или засмеяться там, или шуткой так — «что вы думаете, я этот самый Пьецух и есть», и она бы мне сказала: ну, приносите деньги, вложим в кассу. Но у меня пошло по всему телу непонимание вопроса, и я сдуру, с идиотства, ляпнула что-то про деньги на машину.

— На вторую? — спросила стерва.

— Сыну, — промякала я.

— Но вы же покупали сыну.

Запуталась я. У нас машина действительно на сына, а старая на деда, мы ездили по доверенности, муж сказал — так грамотней. Если что... Я ушла от нее, трясусь, но ни одному человеку на земле сказать, что со мной, не могу. Я ж ни с кем, кроме Гоши, на эту тему... Даже мой не в курсе. Но тут нужно пояснение.

...Сначала я разбила самое дорогое, что у меня было в жизни, — дружбу. Потому что как нас ни стравливала за всю жизнь судьба, я Тинку любила, можете мне поверить, я это слово в своей жизни не истрепала. И когда у нее первый аборт был в четырнадцать лет и все ее поливали, я ее, синевелую, выгуливала и даже сомнений у меня не возникало, что, мол, может, не надо мне, хорошей девочке, дружить с ней, плохой. А потом пошли у нее замужи-раззамужи — первый, второй, третий. И каждый раз или ее бьют, или она истица, или она ответчица. Я же по-прежнему ее выгуливаю. И когда у нее гемоглобин от такой жизни падает на нуль и у нее начинают трястись руки, и когда у нее колготки сползают вниз, потому что не за что им зацепиться! Ни-

кто же меня не заставляет это делать, это зов дружбы, и, когда я такая, мне бывает ничего не страшно в жизни, я в этот момент все сворочу и возьму любой рейхстаг. А эта дурочка Тинка, слизывая у меня с ложечки мед, протертый с лимоном, чесноком и орехами, говорит мне в тоне юмора: «Опять тебя засосала Тина. Ну, все... Больше она не дастся. Твоя Тина. Все... Клянусь тебе, что больше я не попадусь».

Такие ее слова — сигнал, что ее можно уже оставлять одну и вернуться к своим делам.

Я ее умою и скажу: «Живи, дура, дальше». А сама думаю, как же я ее люблю. Честно, так себе говорю: люблю, хоть и понимаю — никто она мне, никто.

Я ей простила даже роман с моим. Я долго, месяца четыре, не просекала. Что называется, пока на месте не застучала. Так вот, мужа я из дома выгнала, мы полтора года жили поврозь, пока он совсем не заплешивел и я не поняла, что потом я уже буду работать только на восстановление его здоровья. Он у меня язвенник, и только я знаю, как его питать, чтоб он про язву забыл. Без меня он не то что тело потерял, у него мозги от плохого питания усохли. Наблюдаю со стороны — придурок придурком. Сначала я решила оформить развод, потому что сильно я в нем разочаровалась. А потом взялась за голову. Как Тинка, я не умею — со всем и каждым. Я очень привыкаю к вкусу и запаху. Где я найду другого после сорока, чтоб он не платил алименты и чтоб у него не было своей, неизвестной мне болезни? А где я найду нерасчетливого, которому я нужна сама по себе, а не как человек престижной профессии? А с моим мы начинали с нуля, он меня брал бедную, а я у них на заводе секретаршей работала. Он — инженер, а я — никто. Его папа-мама прямо зашлись в конвульсиях, но он же меня взял! И путь мы с ним прошагали будь здоров, так что неужели я ему Тинку не прощу?

С ней же мы тогда ни на день не поссорились. «Вы сойдетесь?» — спросила я ее сразу. «Ты что, спятила? Всю жизнь ему вязкие каши варить? Неужели?» И все. Через полтора года я вернула полуинвалида, который, извиняюсь, какал кровью. С Тинки я никаких слов не брала, она сама

сказала: «Ты не думай, подобное не повторится. Это я не стрезва». И он, тоже без понуждения: «У тебя не должно быть сомнений...» Я смолчала и ей, и ему. А сын... Я про него еще не говорила. Потому что он — главное в этой истории. Все главное — впереди. Так вот сын, Миша, в свои пятнадцать лет сказал мне: «Ты, мама, выдающаяся личность». И я тоже смолчала, не лезла с вопросами, почему да почему у одуванчика толстые щеки? Выдающаяся, кто ж спорит. То, что сын мой тогда это понял, вселило в меня мысль, что он — умный, в меня.

Вот где крылась ошибка. В этом моем материнском заблуждении.

Дальше пошла такая раскрутка. У Тинки в какой-то богом забытой Уляляевке — это я условно — умерла сестра. И осталась девка. Дочь. Тинка была в мужском простое, женщина она — что там говорить, это я и сейчас скажу — сердобольная, вот она эту уляляевскую Ксюшу и привезла к себе. «Доведу до ума! Поставлю на ноги! Оставлю квартиру! Вот кто на одре подаст Тине стакан воды!» Ну, что мы еще говорим, когда из нас прут благородные поступки? А Ксюше — между прочим — не два по третьему, а уже полных восемнадцать, и она давно уже себе на уме, что я не осуждаю, себе на уме всегда надо быть. Я когда с ней у Тинки познакомилась, сказала: «Направление ума у тебя хорошее»... А она собиралась идти в какой-нибудь кооператив или в совместное предприятие, к должности никаких претензий не имела. «Я не гребую, — говорит, — мне бы зацепиться. Хоть поломойкой».

А у Тинки возьми и окончись пост, и она привела очередного претендента на свою особу. (Чтоб вы знали, Тинка — учительница в вечерней школе, крупный специалист по пестикам, тычинкам и человеческим органам выделения и размножения в объеме средней школы.) Так вот, исходя из сказанного в скобках, контингент у нее, как правило, — дорогие товарищи учащиеся. Все мы стареем. Было время, когда она была молоденькая учительница и обучаемые были старше ее, потом они сравнялись, ну, в наши годы она уже, можно сказать, молодая мать взрослых детей. Этот послед-

ний, который пришел к ней «уже навсегда», был мужичок уляляевский. Это я опять же условно, имея в виду не географию, а существо природы. Лимитчик не лимитчик, этого я не знаю, но очень из глубины глобуса. Тинка уже не одного такого вывезла на себе, но осталась без понятий. Вот они и поселились — двое уляляевцев и очень поношенная учительница по всеобщему размножению. Дальше даже интересно. Тинка их выгнала, потом Ксюшку вернула, пришла ко мне не за советом, сроду она ни у кого ни о чем не спрашивала, пришла — ё-мое! — с удивлением, что у ребенка(!) вполне развита половая сфера. Я ей спокойно так: «Тина! Вспомни себя». А эта дурочка как в глубоком склерозе, который уже маразм: «Разве мы такие были? Разве в восемнадцать лет я думала только о том, чтоб переспать с чужим мужчиной?» — «Ты не думала! — кричу я ей. — Ты с двенадцати лет это осуществляла, а я стояла на стреме». Не поссорились — посмеялись. Живем дальше. У нее с Ксюшей какие-то мены-размены, у меня Мишкин десятый класс. Почему это я думала, — кто бы мне сказал? — что мой сыночек в смысле половой сферы еще дитя? И что уляляевская Ксюша с плохо вымытыми патлами не может представлять опасность? Он же слышал, как я характеризую все это уляляевское племя и как я по три раза на дню говорю, что, если баба на передок слаба, то это как группа крови — не изменишь за всю оставшуюся жизнь. Это я потом поняла, что я ему сама указала путь — иди туда, где наверняка не откажут. А он у меня рохля, это есть. Березу ему не заломати. Короче говоря — я его оберегаю ночами и вечерами, день оказался вне пригляда. Днем, после школы мой сыночек туда и повадился. И пока Тинка отсиживала часы в школе, Ксюша показала моему дураку, как получают дети. Когда Тинка про это узнала, она испугалась страшно. Это правда. Ей бы тут и прибежать ко мне, когда еще не так далеко все зашло. А она, идиотка, стала это дело покрывать, чтоб, не дай бог, я не просекла. «Черт с вами, — сказала она им, — только чтоб мать не знала». Дошло до того, что, когда Тинка болела — у нее жуткие мигрени от неупорядоченности жизни, она им разрешала при себе. «Я, дети, все равно в про-

страции». «При ней был особенный кайф», — сказал мне потом сын. Я думала, сойду с ума. Я сказала Тинке: «Все. Все навсегда! Чтоб больше порог моего дома...» Тинка в рев: «Дура! Это же хорошо, что при мне, а не неизвестно где... Хорошо, что Ксюшка своя, а не неизвестно какая...» Открыла я дверь и тихо так сказала: «Вон!» Говорю тихо, а внутри у меня грохот, будто товарняки столкнулись. И Мишке спокойно сказала: «Еще раз туда пойдешь — не возвращайся. Убью». Он испугался. Разговоров на тему «я ее люблю» не было и в помине. Честно скажу — я этих разговоров больше всего боялась. Я ж все-таки женщина умная, и не пальцем сделанная, и читала много (кроме Пьецуха), и я, можно сказать, понимаю тонкие чувства. Они бывают idiotические, чаще всего даже, но отрицать их с порога или там оплевать, на это у меня духу не хватило бы. Но сын мой ничего подобного не сказал. Ни полсловечка. Камень — с души...

Не скажу, что я успокоилась — какое там! Я знала, что это во мне останется навсегда. Меня все оскорбили — Тинка, Мишка, разве что к уляляевке я была без претензий. Что с нее взять? И кто я ей, чтоб она со мной считалась и мои интересы поставила выше своего нижнего места? Но это мои внутренние переживания, до них никому нет дела, а по жизни внешней я считала, что из-под трамвая выскочила.

Что у нас приближается? Апрель, да? Нет, еще рано. Март... Ну, в общем, на День Советской Армии прихожу домой, а дома на моем любимом месте в углу дивана под гжельским подфарником сидит-рассиживает уляляевка. А сын Миша ходит по комнате и с треском отрывает себе пальцы. Я рот не успела открыть, как они в два голоса мне прокричали следующее:

Миша: Мама, я должен тебе сообщить важную новость.

Уляляевка: У меня три с половиной месяца, и абортom я гробить себя не буду.

Миша: Это мой ребенок, мама, и как честный человек...

Уляляевка: Тетя Тина — свидетель. Я с ним с ноябрьских.

Миша: Как честный человек, мама, я не могу поступить иначе.

Уляляевка: Попробуй поступи, попробуй. Я на тебя посмотрю.

Миша: Ты, пожалуйста, меня не запугивай.

Уляляевка: Прямо! Таких, как ты, только так и надо. Испугался мамочки, ходить перестал. А когда у меня были последние? Помнишь? Кто мне тогда по городу вату искал?

— Встань, — сказала я уляляевке. — Встань и иди.

Она безропотно. Встала и пошла к двери. Там повернулась и завершила мысль:

— Я уже встала на учет. Мне нужно сбалансированное питание для формирования костей ребенка.

И ушла, гордо так. Будто я тварь ползучая, а не она стерва. А сын мне дрожащим голосом сказал:

— Мама, пойми, я не подлец. Я не так воспитан.

— Я подлец, — сказала я. — Этому не бывать.

Потом я зашла к нему в комнату, он в трусах, спиной ко мне стоял у окна и трещал пальцами.

— Дурак! — сказала я. — Ты разве можешь быть уверен, что это твой ребенок?

И тут я вам скажу самое главное из всего: сын мой пошевелил своими голыми лопатками.

Боже! Как я их знаю — своих мужиков. Как знаю! Иногда думаю, зачем? Что бы мне быть дурой и не видеть, и не слышать или видеть-слышать, а не понимать. Я же — с ходу. Ключ в замке поворачивается — знаю настроение, глаз закисший утром раскроют — я уже первое хриплое слово слышу. Я иногда сыночка своего слушаю, когда он мне лапшу на уши вешает, а сама за его пальцами слежу, вот они у него — пальцы — психуют раньше всего. Если по телефону и я пальцы не вижу, то я по тонкой ноте — и-и-и-и! — которая даже в слове «мама» есть, все понимаю. «Мама!» — говорит он, а меня нота током бьет, хоть ее вроде бы и нет.

Так и тут. Сын мой пошевелил лопатками своими. Худой он у меня все-таки. Лопатки у него, прямо скажу, лопатки. Большие и некрасивые. Я в детстве мою ему спинку и бормочу: «А это у сыночка моего крылышки. Сыночек мой вырастет, крылышки у него распрямятся, он от мамы ка-а-а-к

полетит». А сынок в слезы. «Не хочу от мамы». Я и захожусь от радости, прямо душу его в полотенце.

Между прочим, я его до тринадцати лет в ванне сама мыла, и спереди, и сзади. «Маме можно», — сказала я, и все.

К чему я все это? К тому, что, когда он пошевелил лопатками, я все поняла сразу и про всех. Про него в первую очередь. Это его ребеночек наращивает косточки, вне сомнений. И уляляевка определенно с другими не тыкалась. Сын мой лопатками своими зовет меня на помощь, потому что словами сказать ему нечего. У меня вырос никудышный сын, но детей, как и родителей, не выбирают. Каких Бог послал. Мне вот — такого, трусоватого, и кто, кроме меня, его спасет и ему поможет. Дура ты, уляляевка, дура, не заметила ты меня в своем раскладе. А я тебе не пиковая дама, я тебе не пиковый туз. Со мной не просто надо считаться, меня, уляляевка, надо бояться.

Пробивалась ко мне телефонными звонками Тинка, я тут же трубку клала. Она подкарауливала меня возле магазина, я проходила, как мимо стенки. И сыну никаких нотаций, я даже не знаю, ходил ли он к уляляевке или нет. Подозреваю, ходил. Быстро у нас съелась колбаса языковая и гусиный паштет, я думаю, они ушли на укрепление тела моего внука.

И вот в этот момент Гоша возьми и скажи: «Всегда можно договориться».

А что такого? Коли есть профессионалы по сохранению жизни, то почему не быть профессионалам по сохранению смерти? И то, и другое — элементарная биология. Слышишь, Тиночка, как я шпарю по твоим учительским шпаргалкам.

Дальше, вы знаете, возник чебурек, товарищ Павлов и некто Пьецух как аномальное явление.

И плакали мои денежки. Нет, я, конечно, растыкала на другой день сумму по друзьям и знакомым и вот — сижую и жду. Узнаю немаловажную деталь: заведующая — Стервь с большой буквы — у всех до одного деньги на обмен взяла, у всех, кроме меня. Если б не мое горе, я бы над этим задумалась. Я бы поставила вопрос так: а не заплатить ли мне новыми купюрами, когда я их выручу, за другой объект уничтожения? Какая разница для Гошиных подручных, кого там

чик-чик или пух-пух? Было бы, как говорится, заплочено. Хотя не исключено, что для такой фигуры, как моя заведующая, потребовались бы другие ставки. Надбавка там за партийность, высшее образование, за повышенность риска, за большую вонь, одним словом. Это уляляевку убрать — тьфу! Кто ее, дуру молодую, искать будет? И Тинку я замочу, если она очень уж разбегается по милициям. Исчезновение уляляевского народа, как я теперь понимаю, дело простое, как три рубля. Что такое десять тысяч в нынешнем апреле? Да ничего! Приличное не купишь, а на неприличное вроде и жалко. Хороший телевизор дороже. Хотя, конечно, телевизор — сложная машина. Но если совсем честно, ведь и человек тоже не молекула с глазами. Сколько в нем всего фурычит. А у моей уляляевки уже и чужие косточки формируются, хорошо, видимо, формируются, судя по тому, как нашей семье резко стало всего не хватать. Не успеваю набивать холодильник. Сын никудышный все по формуле совести делает, но на меня смотрит непонимающе. Что ж, мол, ты, мать, заглохла? Разве не выразил я своими лопатками сокровенное желание сердца, а ты ходишь, как снулая щука, хотя время, оно же идет в одном направлении?

Да убью я твою уляляевку, убью, если ты так этого хочешь! Но скажи, сынок, родной, неужели ж тебе совсем-совсем не жалко тех косточек, которые при помощи мной украденного продукта где-то там в уляляевском дурном брюхе крепнут и крепнут?

Товарищ не понима-а-а-ает... Он умывает руки и формирует себе алиби при помощи куриных ножек господина Буша. У него для черных работ мама есть.

А тут еще на больную голову заведующая... Просто расцвела моя Ксенофоновна махровым цветом. Подхалимаж вокруг нее — за махинацию в большом обмене — вырос до нечеловеческих размеров. Ведрами стоят розы на толстых ножках — узнайте для хохмы, сколько все это может стоить, если не хватает в магазине уже ведер. А какие к нам поехали визитеры! На каких машинах подруливают к самому крылечку, какие абрикосового цвета занавесочки в них

шевелются, а нет-нет — и пальчики возникают для возделывания щелочки.

Я же не каждый день выхожу, забронировавшись зобом, навстречу вонючей многоголовой гидре-очереди и думаю, думаю одну мысль: сколько человек желает мне каждую секунду смерти? Чем больше я про это думаю, тем больше зверею. Господи, думаю, ничего себе устройство жизни. Я им — колбасу, а они мне — чтоб ты сдохла. И так на километры голов. Тысячи молчащих сцепленных ртов (оружие — те святые, они же криком изнутри промываются и очищаются). А глазоньки? В затылок стоящие глаз друг друга не видят. Они мне, эти карие, достаются. И каждым они в меня прямой наводкой. Это ж где найдешь еще такой народ? Где? В каких америках?

И тут меня осенило страшное. Они меня еще когда убьют. Еще ходит без задней мысли тот, кому достанется мой предсмертный хрип. У него еще мысль об этом размером с атом. Он ее не только не ощущает как мысль, он еще себе воображает, что он человек как человек...

Стоило мне все это вообразить, а я, в смысле что-то там представить, устроена хорошо. У меня внутри хорошее кино... Так стоило мне... И стала я думать, что по сравнению со своим убийцей я ушла много дальше. Я и деньги уже сняла, то, что паук-тарантул Павлов на дороге возник, это уже другая история.

Что там зеркало? За полшага до него человек принимает то лицо, которое хочет увидеть. Он себя настоящего может узреть только невзначай. Так вот, когда я в себя заглянула, мне не то что страшно стало — мне ничего на этом свете не страшно, — мне противно стало. У-у, какая готовенькая для беспредела я сволочь оказалась. Я всех и вся обойду запросто. Никто не найдет уляляевских концов, Гоша трепанет — кто ему, алкашу, поверит? Эти верхней порядочности люди, которые отдадут от чистого сердца то, что им не принадлежит, самый опасный для жизни народ. Он ведь уляляевку свою, как понимаю, продолжает трахать, он ведь ее наверняка всю обвешал лапшой, и эти две дуры — тетка и племянница — все не могут сообразить, в кого он такой хоро-

ший мальчик? Не в эту же стерву-мать, на которой пробы подлости ставить негде. Я даже представляю, как, зайдясь в раже, моя бывшая лучшая подруга Тинка пойдет вся фиолетовым пятном и закричит виновато: «Но давайте отдадим ей должное...» И станет плести ахиною, что я была очень, очень способная девочка, что по истории и литературе я была впереди планеты всей, что мой логический ум поражал не только идиотов-учителей, но — главное — сотоварищей по очень среднему образованию... Что она, Тина, в рот мне смотрела, потому что если я скажу, то скажу, а могу так промолчать, что чертям плохо станет. И мой сын наверняка выдавит из себя, что, мама, конечно, умный несостоявшийся человек, которого прихлопнула крыша магазина.

Вот так, дорогие товарищи-судьи.

И совсем я не передумала от этого стереть с лица земли уляляевку. Примитивно подумали, если логика моих мыслей привела вас к этому. Уляляевке на этой земле делать нечего. Я скажу больше — она сама этого хотела. Мы все живем, как хотим. Хотели бы иначе — иначе и было бы. Дура-малолетка голову мыть не научилась, ручки ни в какой работе не выгвадала, зато поднять подол — это пожалуйста. Значит, и будь готова, уляляевка, к наказанию. А как же? Какое желание — такая и жизнь. Какая жизнь — такой и итог. Я это очереди своей ненавистной сказала — как хотите, так и живите. Обиде-е-е-лись!

Да разве мы этого заслужили? Да разве не мы выиграли войну? Вот, говорю, сами себя и бьете. Хотели выиграть — выиграли. Хотели бы жить, как люди, а не в затылок друг другу, жили бы. Хотели бы вымести улицы — вымести. Не дают вам, дуракам? А силу не пробовали применить? Короче, человек заслуживает того, чего заслуживает. Вот и вся моя стройная теория.

По-э-то-му...

Поэтому приговор уляляевке, окончательный и бесповоротный, я откладываю на время. Я женщина крутая, но, чтоб убить собственного внука, это ищите другого большевика. Пусть эта дуручка родит мне этого мальчика — и пусть он будет лучше моего сына. Потому что я теперь многое знаю,

чего не знала тогда, когда, крича от мастита, кормила своего ирода Мишеньку. Может, от той моей боли в нем и порча? Наглотался материнной крови и стал немножко вурдалаком? У уляяевки мастита не будет. Я избавлю ее от страданий.

А у меня будет внук! Хорошенький мальчик. Я куплю ему лучших учителей. Я окрещу его в лучшей церкви. Я поведу его по жизни и не ошибусь ни в чем. Потому что знаю... Он у меня не будет стоять в очереди... Он у меня никогда не станет Гошей... Он, мое солнышко, он протянет мне рученьки и скажет: «Мама!» И это будет святая правда.

Утром я навертела огромный сверток с самыми что ни на есть деликатесами. Сын мой смотрит, и в глазах его уже не только непонимание — гнев.

— Ксения требует оформить отношения.

— Оформи! — говорю я весело.

— А десятый класс? — говорит он испуганно.

— Перейдешь в вечернюю, — ржу я, — делов!

— Я не хочу! — визжит он.

— Ничего, сынок, — говорю я. — Ничего! Детки достаются страданием. Так что терпи. Страдай!

Он уже пошел, я его в дверях за рукав прихватила, сказала с оттяжечкой:

— И чтоб волосиночка с ее немытой головы не упала. И чтоб нервы у нее были спокойные-спокойные. И чтоб выгуливал ты ее вечерами по три часа, как мы выгуливаем нашего Джульбарса. И пусть дура смотрит на красивое.

Метнулась в комнату, достала альбом. Я люблю картинки смотреть. Там моя любимая: «Богородица с Христом и святой Анной». Бабушка Анна на ней — самое то. А у Богородицы — прости меня, Господи, — вида никакого. Без осознания.

— Пусть смотрит на младенца и на бабушку, — сказала я. У него, у сыночка моего, не то что челюсть, у него все отвисло. Смотрит на меня, а я вижу этот глаз, не дай бог, что в нем, в глубине. Э-э-э, сынок, не надо! Шлепнула его по спине, по говорящим его лопаткам, будто не увидела ничего, перевела в юмор. — Ну, захотелось твоей матери поиграть в куколки, ну, родите мне ребеночка, жалко, что ли... Я бы са-

ма, да соков нету. — Даже поцеловала его в приоткрытый ворот. — Иди, сыночек, иди...

Он так хлопнул дверью, что загасла лампочка в прихожей.

...И все пошло складненько. Уляляевка приходит. Чай пьем, кофе я ей не даю, вредно. Тинка все порывается, но я ей повторила — изыди. Вот с тобой, моя подруга, все кончилось навсегда. Распишутся они, когда Мишка получит аттестат. Грамотно. Стали потихоньку возвращаться разбросанные для обмена деньги. Нам для плана дали в магазин книги. Смотрю — Пьецух. Очень симпатичный мужчина. В моем вкусе. Вот возьму и заведу его в рамку, чтоб всех унижать: «Как?! Вы не знаете Пьецуха? Ну, как же вы можете жить после этого?»

Гоша в подсобке подошел, спрашивает:

— Ну, как?

— Не актуально, — отвечаю я.

Живи, уляляевка. Живи пока...

В конце концов, дурочка, маленькая хорошая жизнь лучше плохой и длинной.

ИЗ КРЯКВ

Мне сюда сесть? На диван? Спасибо. Какие комковатые подушки! Я дам совет. Перо хорошо просушивать в духовке. Это просто: перебрать — и в наволочку на выжарку... Подушка потом делается легкой, укладистой... А у вас одни комки... Конечно, вам не до этого... Я вот пришла. Отнимаю время. Нет, ни чаю, ни кофе. стакан сырой воды... Прямо из крана. У меня пересыхает горло. Сколько вы мне дадите лет? Не стесняйтесь... Мне можно сказать все. Потому как и я могу сказать все... Вам, например, пятьдесят с хорошим хвостом, хоть вы с тенями и с бантиком на голове. Вы пожилая и не очень счастливая. Да? Теперь говорите мне... какая. Не хотите... Пришла, мол, сволочь, и хамит. Вы еще не знаете, какая я сволочь. Я вас только готовлю. стакан у вас тусклый... Вы его полощите под водой, и все. А я мою в крепкой соли и протираю так, что не без крови... Видите порезы на

пальцах? Это от стаканов. Я уже перехожу к делу. Стаканы — важная деталь.

У меня не было другого способа его завоевать, как стать такой хозяйкой, чтоб сравнить меня было не с кем. Как Горького, матерого человечища. Все цитаты из школы помню отлично, потому что и в школе у меня не было другого способа обратить на себя его внимание, как хорошей учебой. Одевалась я плохо, немодно. Внешность у меня — сами видите. Зауряд. Не спорьте! Конечно, все при мне, глазки там и прочие выпуклости, но я не нравилась. Никому и никогда. А ему особенно. Его зовут Эдуард, у него мама — полька, всю жизнь жила в России и нас же ненавидела. Презирала, можно сказать. Я Эдика увидела в седьмом классе. Ходила за ним и нюхала, как собака. От него пахло иначе, даже не скажу прекрасно, но мне нравилось до невозможности. Потом я узнала, что у них такой запах дома. Каждый ведь дом пахнет по-своему. С седьмого класса я спятила. Просто не знала, что с собой делать, куда себя деть. Он на меня ноль внимания, хотя не дурак же! Видел, что я вечно торчу на его пути. В девятом он прислал мне записку: «Исчезни из моей жизни». Я ему ответила: «Никогда». Это вся наша переписка за всю жизнь. В девятом же он начал крутить со Светкой Куликовой. Светка тянула на медаль, и я напряглась тоже. У Светки мать — учительница в нашей школе, ей легко было учиться. Ее спрашивали, когда она выучила. Ее мать говорила в учительской: «Спроси сегодня мою». И все дела. А я пупок надрывала. Мама-покойница, царство ей небесное, за все мои успехи купила сто лет ношенную дубленку. Я была наверху блаженства... Дурацкие, между прочим, слова. Верх блаженства. У блаженства нет верха. Я это знаю. А вы? Нет... Это мало кто знает.

Тогда в засаленной дубленке — но в дубленке же! — я просто пошла на Эдика, поперла на него, можно сказать, как танк. В какой-то момент — мне так показалось — он на меня не то что клюнул, а все-таки затормозил глазом. А потом у него пошло на меня отвращение. От вас когда-нибудь отвращались? Ну что вы дергаете головой? Это нельзя не знать. Это как бы смрадом и холодом веет, а ты голый. Эдик

стал меня позорить и унижать. При всех. И какая я дура. И ноги у меня, как ножки у скамейки. И от голоса моего у людей сыпь. И воняю я. Все хохочут. Особенно когда про ножки-скамейки. Посмотрите на мои ноги. Видите? Не фонтан, икры, правда, тяжеловатые, но ведь прямые и не кончаются сразу после колена. Девятый я не знаю как прожила. От медали уже мысленно отказалась, сил не было. А со Светкой у него все кончилось. Началось с Наташкой. А Наташка, между прочим, поповская дочка. Вся такая праведная, смиренная, послушная. С души воротит. Но внешность — таких теперь нет. Это объективно. Коса до попы и кольцом заворачивается. На висках и на лбу кудри. Глаза навывкате, но в меру, и желтые, желтые... как молодой мед. Я ни у кого таких глаз не видела. Одно дело была Светка. Ее, как простую... можно было прижать где надо, а может, и больше с нее взять. Уже многие тогда перепихивались, не придавая значения. Но поповское воспитание — дело пока еще непонятное. Эдику моему стало трудно. Никакой разрядки организм его не получал. Это по нему было видно. И однажды он догнал меня возле подъезда и предложил посмотреть на город с чердака. Я сразу все поняла. Он меня изнасилует и с крыши сбросит, как мешок дерьма. Я говорю ему: не надо на чердак, пошли ко мне, дома никого нет. Нет, сказал он. И ты, и еще твой дом многовато для меня будет. И ушел. Я догнала его на улице и говорю: «Идем на чердак». — «Пошла ты...» — ответил он. Я не сказала, что это сейчас, что поп, что секретарь обкома — разницы нет, а тогда, в десятом, Эдику не грубо, тактично, а направление ума изменить старались. Но это была грубая ошибка учителей. Потому что Наташка, одетая сразу в несколько броней недоступности, мозги Эдику свернула окончательно. Чуть ли не «пойду в семинарию» и так далее. Его увидели в церкви, школа записывала, и в этот самый момент он опять мне говорит: «Пошли на чердак». И мы пошли.

Если бы я не была такая дура — а степень моей дурачности тогда только начиналась, — я бы сообразила: если и больно, и противно, и тебя в упор не видят, и бросают на сучки досок, а лицо закрывают ладонью, чтоб не чувствовать дыха-

ние — нет, не думайте, у меня до сих пор и рот в порядке, и желудок, а тогда так и вообще... Забыла мысль... Да ладно. Я ведь о чем думала, пока он лишал меня того, что когда-то называли честью: сейчас он меня, как куль, из окна сбросит. Сбросит, и никто на него не подумает — он хороший и с поповной дружит. А я наоборот — в мнении народа девушка к мужскому полу приставучая, прилипучая. Что ж вы думаете, про меня такого не говорили? Но пока он, извините, давил меня, я поняла — не сбросит. Именно для этого я ему буду нужна до тех пор, пока поповна не разговееется. Так и вышло. Он встал, переступил через меня, как через грязь, ногой поддел мои рейтузы и говорит: «От бабушки достались?» Я лежу мокрая, липкая, все у меня болит, рейтузы у меня не от бабушки, а от матери, это точно. Теплые, с начесом. Мама считала, что это место надо женщине согреть. Всегда. Зачем? Не уточнялось.

Не помню, как поднялась. Кровь на ногах, колени дрожат, слезы текут... Его как ветром сдуло. Знал ведь, что я никому не нажалуюсь, все стерплю, и вот это — уже столько лет прошло — меня до сих пор бесит. Уверен в себе был, уверен. И я одна ему эту уверенность дала!

Вот и горло пересохло... Вода у вас плохая, отдает хлоркой... Я ничего и не говорю, сама же просила сырую, но у меня, например, не отдает.

Собрала я свои бебехи, оделась кое-как. Думала, мама заметит, что во мне капитальная поруха. Ни фига. А мне родители тогда стали страшно интересны именно этой стороной жизни. Как у них? Нравится ли это маме или и у нее терпение любви? Я ведь знаю, как она отца любит, как висит на балконе, как тряпка, когда он задерживается, как прямо умирает, если у него температура тридцать семь и две. Папочка, между прочим, за мамой так не умирает. Выносит мусор и все такое, но какой-то там футбол смотрел, когда мать попала с перитонитом и едва не отдала Богу душу. Прибежал из больницы как ошпаренный, только чтоб успеть, а мать под капельницей. Но не о моих бедных родителях речь, ни мамы, ни папы уже нет, царство им небесное. Папа умер раньше. Хотя все болела мама, такая была выму-

ченная женщина. А полячка, между прочим, жива. Ненавистью жива. Сколько раз, господи, я ее убить хотела. Но это потом...

Эдику путешествия на чердак понравились. Вошли в привычку. Однажды у меня были месячные, я ему деликатно намекаю, мол, так и так, а он мне: «Вот сволочь!» Я сволочь? Или природа? Или кто? Как это у Пушкина. Долго у моря ждал он ответа, не дождался...

Но вернемся к моей дури, то есть любви к Эдику. Пока меня нельзя было по причине природы таскать наверх, я испугалась. Чего вы думаете? Что он меня на крышу больше не потащит. Думаете, я уже раскусила это удовольствие? Да ни за что! Как было противно и больно, так и осталось. Я тогда в запахах стала специалистом. Вот у вас все-таки чем-то пахнет. Не пойму... Вы мастикой для пола не пользуетесь? Нет? Чего спрашиваю. И так видно: у вас паркетная доска, считай, сгнила... Мне приятно находить у вас гниль и запах, и этот ваш вид — с бантиком: потому как вы в чем-то мне тоже не друг. Я поэтому и пришла... Сказать вам это... Чего вы все дергаетесь? Все равно ведь не выгоните... Во-первых, я не уйду, пока не скажу все. Во-вторых, вы когда-то написали глупость, что плохое — это забывшее себя хорошее. Правильно я цитирую? Его, мол, сбрызни или, наоборот, обогрей, и плохое себя вспомнит и вернется назад, в хорошее. Как конь в стойло. Это самая большая глупость, которую я читала, а вред ее в том, что вы этой чепухой пудрите разным доверчивым дуракам мозги. Вы стопроцентно не правы, стопроцентно! Я пришла раскрыть вам на это глаза. Налейте мне еще вашей гадостной воды, ни у кого такой отвратной не пила. Отстаньте со своим чаем. И с кофе тоже отстаньте. Лучше слушайте и не дергайтесь, как под током.

...Эдик поповну бросил, а я напридумала: это я ее победила. Я своими растопыренными ногами победила целомудрие. Как говорят теперь дети, секс — сильнее. Он действительно сильнее, только в другом смысле. Эдик на мне натренировался, хотя это смех! Но какая-никакая, а школа начальная была им пройдена, и он стал оглядываться по сторонам уже в поисках «института». Это вы, надеюсь, пони-

маете, я в переносном смысле. И знаете, какой это был «институт»? Библиотечный. Наша школьная библиотекаря. Старая дева, как и полагается библиотекарям. Губки поджаты, волосы в хвостик, пуговички до горла, голос тихий, тихий... К ней из-за голоса не любили ходить. Меняешь книжку, она что-то тебе говорит, а ты, как дурак... распишешься, не глядя, в формуляре — и бежать, потому как все равно не слышал, про что она тебе шелестела, а она, как правило, все время что-то объясняет, объясняет... Сеет разумное, доброе, вечное. Так вот, по жизни она оказалась ловкая до невозможности. Я понимаю Эдика. Ему чего-то такого хотелось, возвышенного, что выше нашей с ним крыши... Шутка. Я сейчас как представляю себя ту, с души воротит. Ведь идем с ним «на любовь» после школы. Вспотевшие. Голодные... А библиотекаря сидит себе и пахнет. Кларой Ивановной ее звали. У нее была комната в коммуналке. Пока я, дура, ликовала, что поповна отсохла, как-то упустила из виду, что вот неделя, вторая проходит, а прогуляться меня никто не зовет.

Опускаю все свои страдания-переживания. Из-за них я аттестат получила хуже, чем могла. Опускаю, что травиться хотела, но в последнюю минуту меня как ударит в спину. Да так сильно! Дело было в ванной. Стою с таблетками, за мной дверь, на двери прилеплена морда, непонятно чья, какого зверя... Потому и прилепили. Чтоб все спрашивали: а кто это у вас такой в ванной? Значит, я обернулась и поняла: никто, кроме этого неизвестного и безымянного зверя, никто меня садануть в спину не мог. Тогда уже всякого фантастического было навалом, и я сразу решила: меня от смерти отвели, значит, все равно мы с Эдиком будем вместе. Иначе зачем жить? И все так и случилось, будь проклята вся чистая и нечистая сила вместе и по отдельности. Хотя до этого так называемого счастья надо было еще жить и жить.

Главная новость после школы: Эдик и Клара Ивановна женятся, потому что Клара Ивановна оказалась не в пример мне деревом плодоносящим. Она подзалетела, и мальчика Эдика, который на шесть лет был младше, взяла на испуг.

Сейчас рекламная пауза. Я схожу в туалет, а вам зада-

ние — как, по-вашему, реагировала Эдичкина мама, полька, на такой разворот событий?

...Я поняла, чем у вас пахнет — импортными штучками из уборной. А то я все думаю: чем? чем? Так вот, полька была счастлива! Почему? По кочану. Клара Ивановна, как выяснилось, знала польский, выписывала польские журналы, обожала польское кино. Эдик, конечно, об этом ни сном ни духом, он по сути своей был русским человеком, и материнские выбрыки ему были по фигуре. Он был в смысле национального вопроса нормальный... Он только евреев не любил... Но это же такое дело... Опять вы дергаетесь? Вы же не еврейка, чего вам? Я вот, например, отношусь к ним спокойно, пока они не возникают... Я очень спокойно отношусь. Ну, ладно, это тоже у нас как бы рекламная пауза.

Итак, Эдик женился, поступил в институт, я в институт провалилась, пошла в подчитчики газеты. Журналисты, треп... Мне нравилось... Я грамотно проявила себя, стала корректором... Никого у меня из мужеского пола нет и близко. Я же вам сказала — не нравлюсь я.

За Эдиком слежу. Удар зверя в спину помню. Жду. Думаете, неделя-другая? А три года не хотите? Три года молодости? Вся радость — я ему наперерез ходила, когда он шел в институт. Два раза в неделю у нас совпадало, то есть как совпадало? У меня первая смена, но, чтоб его перехватить на перекрестке, мне надо было идти на работу на три часа раньше. Не всегда получалось встретить. Может, он просыпал... Может, другой дорогой шел, не знаю, но все-таки иногда мы с ним как бы случайно пересекались. «Привет!» Глаз у него сразу делался тухлый, пленочкой заплывал, а рот сшивался. Я же не слепая, видела. И все равно... Про девочку рожденную спрашивала, Кларе Ивановне привет передавала, даже матерью интересовалась. А он мне сквозь косоротость сквозит: «Ну что ты за человек, Алка? Ну что за человек?» А я ему смеюсь, мол, тебе ли не знать, что я за человек... Напеваю грубо, аж самой противно, на все то, от чего до сих пор у меня кислое отвращение в горле стоит.

Можете вы это объяснить с любой точки зрения? Возьмите первую попавшуюся точку и объясняйте мне, объяс-

няйте! Вот опять вы дергаетесь. У вас нервный тик на правду жизни. Если б я вам восхищение излила, вы б не дергались, а я вас спрашиваю: нормальная девушка, которую тошнит от сексуальных воспоминаний, будет навязываться на это дело еще и еще? Не будет. А я навязывалась. Я прямо просилась хоть на крышу, хоть в подвал... И пусть бы он меня убил после этого. Он же косоротостью своей меня обложит и все: оставайся, Алла Ивановна, дура из дур земли русской. Вы выпрямились, вы думаете — конец истории. Что вы! Это только начало середины.

Вы знаете, что такое вилочковая железа? Тимус ее еще называют, по-мужски... Не знаете, и не надо, в конце концов, она могла умереть и от более популярного рака. Грудь там или матки. Но ей досталась болезнь непростая, для избранных. Рак этой самой железы без всяких шансов на спасение. Кому достался? А как вы думаете, кому? Кларе Ивановне, царство ей небесное. Сгорела в три месяца. Даже я не заметила, так все быстро произошло. Еще только потекло весной, я Эдика ждала, ноги промочила, а он даже не затормозил, пробежал, как мимо урны, а тут уже июнь, и мне моя мама говорит: «Слыхала, какое горе?» И я пошла к ним домой. Они к тому времени уже съехались и жили вместе с этой заразой, как я ее про себя звала, Вандой Василевской. Я пришла — кошмар. Ванда, ее на самом деле звали Вандой Казимировной, оказалась бестолковой по хозяйству, девочка в грязном платье, простуженная, сама бабушка ходит по квартире, себя ищет, есть такой тип помешательства. Эдик — старик старый, поседел за три месяца. У меня сердце так расперло, что об ребра трется, трется... Девчонку помыла, белье постирала, кастрюли от засохшей каши отскоблила, одним словом, взяла дело жизни в свои руки. Они — ничего. Спасибо не говорят, но и не возражают, что я хозяйничаю. С июня до Нового года я дома почти не жила. Счастливое время идиотки. Хотите я скажу громче? До вас вроде как бы не дошло главное слово предложения — идиотка. Идиотка — подлежащее. Понятно? На Новый год я им купила елку. Поставила в ведро. Положила под ведро для всех подарки. Думала, они мне скажут: останься, Алла, с нами,

куда ты пойдешь в ночь? Нет, не дождалась. Но Эдик вышел меня проводить и говорит... Как вы думаете, что он мне говорит? Правильно у вас мелькнуло в глазах. Идем, говорит, наверх. Там, говорит, есть местечко. Потом я узнала, что он поднялся на разведку этого местечка. И все было как в школе. С моментом отворачивания и у него, и у меня... И слова были характерные: «Какая ты все-таки...» Ушел первый, а я обтиралась, обтряхивалась, отплевывалась, потом ехала домой, думала: все, больше не пойду к ним. Но знала — вру. На другой же день пошла, да еще и рано, они только встали, долго телевизор смотрели. Я как раз успела к мытью посуды.

Девочка ко мне прилипла, вот в чем стала моя сила. И я, скажу честно, очень на это наматывала.

Но ничего у меня не вышло. Ни-че-го! Даже восхождения на крышу мира больше не было. Зато возникла особа. Вся такая перистая... Волосы — перышком, воротник длинным мехом, платье рябчиком. Воспоминание от нее в душе именно такое, перистое. И мне дали под зад. Без церемоний. Ванда, открыв дверь, сказала: «Алла! Надо же иметь хоть какие-то понятия. Мы просто не знаем, как вас объяснить Тамаре. Ведь вы нам никто, а Эдику приходится вас объяснять».

Я просто убила на этом слове: «объяснять». Ну? Ведь правда же! Я как аномальное явление в природе. А тут еще мама. Она уже от страдания, что я, бедняжка, иду на чужого ребенка, пришла к мысли, что, может, и слава богу, что так. Уважение и любовь мне за это будут большие... Тут мне и сделали полный назад. Мама тогда рухнула в первый инфаркт. У нее такое отношение ко мне в голове не поместилось.

Я пропускаю, как мне искали женихов и родственники, и на работе, как я озверела от этой всеобщей заботы. Грубая стала, язвкатая. Что вижу — то говорю, без снисхождения.

Но это еще не конец, потому как я еще, дура, и жизнь Эдика, теперь уже Эдуарда Николаевича, по-прежнему отслеживаю, как шпион. Женился он на Тамаре. Родили мальчика Сережу. Разменялись с Вандой Василевской на почве бигоса. Тамара, оказывается, на дух не выносила капусту ни в каком ее образе. А Ванду без капусты — я-то знала! —

представить себе нельзя, она без капусты недействительна. Эдуард Николаевич купил себе поношенную машину и отработал брюхо. Я уже была начальником корректурного цеха, меня приняли в партию. Сейчас про это не признаются, и я могла бы тоже это опустить. Но мне важно сказать, что у меня все было более чем хорошо: и зарплата, и отношение, я шла в гору... Но одновременно я все время чего-то ждала. Каждое утро просыпалась и думала: сегодня.

Произошло. Я сейчас попою водички, сделаю пи-пи и пойду дальше в рассказе про то, как я стою на вершине своей дури. Это я вас вдохновляю, что уже вершина. Я уже там. Стою на вершине, вся распаренная от восхождения, и жду... Орел, с отдаленной поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне.

Они разошлись. Опять начались обмены, съезжания... Сережа плакал, он любил свою сестричку... Как ее звали? Алена... Разве я этого не говорила? И вот я опять к ним прусь вроде как ненароком. Алена меня, конечно, уже не помнит, ей уже четырнадцать. Возраст трудный, вредный. Смотрит на меня и говорит таким противным детским голосом: «Хотите пожить у нас Тamarой?» Ванда совсем уже старая, но спесь все та же. И я как-то сразу у них в уборщицах. Не успела порог переступить — и уже пол мою.

Хорошо, что у мамы был инфаркт и я знала, что это такое. Поэтому сообразила, когда Эдика прихватило. Опускаю подробности. Горшки, утки, бессонницу... На работе все покатило вниз, а на меня, оказывается, был расчет. Меня прочили в парторги. Но я вцепилась, как клещ в шею, совсем в другое. Кому он будет нужен, разведенный инфарктник с алиментами, с девочкой-хамкой и матерью-националисткой? Тут я была права. Женщины в очередь не встали. А Эдик мой все равно дергался с поводка еще будь здоров как! Была у него одна... замужняя... по месту работы... Я написала ее мужу анонимку. Хотя это только слово. Эдик меня тут же вычислил. «Ты?» — спросил. «Я», — ответила я. «Чего ты хочешь от меня, кряква?» Вот тут у меня чуть инфаркт не случился. Значит, вот под каким именем я у него была! Кряква! С какой же это стороны я утка? Разглядывать себя

стала с такой точки зрения. Оказалось другое. Кряква еще и бревно означает. Это он и имел в виду, как выяснилось. И что думаете, я ушла? Нет! Мы расписались. Материально им было выгодно. Еще одна хорошая зарплата вместо его одной, алиментами укушенной. Идем из загса, настроение хуже нет. Поженились. Як на Цыпе. Он сделал то, чего больше всего в жизни своей не хотел. Я — то, чего хотела больше всего. Результат — переехало бы меня трамваем...

Но я взяла себя в руки, я их взяла в руки, дом у меня заблестел, засверкал. Девчонку поставила на место, Ванду — к стенке. Именно так, в прямом смысле.

Она одна жила в маленькой комнате и спала посеред нее на широкой кровати. Я это дело поломала вместе с кроватью. И определила ей стенку правую, а Алене — стенку левую. Ничего, смирились, как миленькие. Видели же, что и питание у них стало лучше, и девчонке я приличные вещи купила, и телевизор поменяли. В конце концов идиотами они не были.

Эдик, правда, болел часто. Все потроха у него закровили. Ко мне относился нормально. Привык, наверное. Время ведь бежит как сумасшедшее. Папу похоронила. Подруг одну за другой отнесла туда же. Алена уже в институте. Сережа иногда приходит. Взрослый мальчик, на Эдика очень похож. Мама моя говорит: «Давай пропишем у меня Алenu, чтоб не пропала квартира». Умно. Прописали. Однажды лежим ночью после всех дел, а у нас это по-прежнему как на чердаке — быстро и без чувств, — он мне и говорит, не обидно так, даже ласково: «В дурном сне не видел, что с тобой буду доживать век». А я ему: «Зато я знала, что никуда ты от меня не денешься. Мы еще внуков вырастим». Тут он дернулся. Совсем как вы. А я ему со смехом: «Ужо, дедушка, ужо!» Мол, без вариантов. Без! А он возьми и заплачь. Так плакал, что я думала — новым инфарктом кончится. Натянется рубец и пи...ц! Так у нас один наборщик говорил под стакан. Но обошлось. Повернулся спиной и заснул в конце концов. После слез ведь хорошо спится. Зато я лежала, как кряква, глаз не сомкнула.

Теперь перехожу непосредственно к вам. Прямо как в докладе. Значит... Плохое — это забывшее себя хорошее?

Так у вас? Почему не важно? Важно... Я хорошая, на ваш взгляд, или плохая в этой истории? Любила всю жизнь одного, в трудную минуту приходила выносить их горшки, ухаживала за противной старухой, поставила на лыжи противную девку... Какая я? Хорошая. Нет слов. Потому что себе никаких веток в этой жизни не обломил... Конечно, хорошая, но дура.

Теперь быстренько-быстренько с горки.

...Выдавали Алену замуж. Все чин-чином. Поделили расходы на свадьбу поровну. Сватья сказала: «Муж на один день прилетит, но потом опять вернется в командировку. И я поеду с ним. Дети же пусть поживут у нас. Потом подыщем им что-нибудь...» Сватья, хоть и не старая, уже была на пенсии, учителя ведь могут по выслуге уходить рано. Вот она и вышла сразу, за рублем не гналась. Мама моя, правда, напряглась. Дура старая боялась, что я ей молодых высажу на лицо. Но я сказала: «Не психуй. Будут снимать, как все... Пусть понюхают...»

Интересно, каким вы себе представляете конец истории? Тысяча вариантов? Да бросьте! Жизнь идет без вариантов. Это как правило.

У меня же случилось исключение. И вы имеете перед собой самую счастливую на земле женщину. Уже три года земного рая, даже если не дай бог... Три года, если на капельки разложить...

Эдик полюбил?! Это с какого такого вируса вам пришла в голову такая жуть?.. Лучше слушайте внимательно и удивляйтесь жизни, где чудеса, где леший бродит.

...Нас посадили на свадьбе рядом. Меня и его. Моего свата. Владимира Федоровича. Володечку моего. Мы с ним локтями столкнулись — и все. Он на меня, я на него глазами... И как бы понять еще не можем, а уже все поняли. Пошли с ним танцевать и тут же бросили это дело, потому что увидели — засветились. В прямом смысле засветились.

Это оказалась наша свадьба, и, когда кричали молодым «горько!», мы сдвигали наши рюмочки, и они у нас дрожали и звенели совершенно одинаково небесным звуком. Сначала высоко-высоко, а потом на полный «нет», как в смерти.

В командировку с ним поехала я. Взяла все отпуска, все отгулы. Через две недели, правда, вернулась — похоронить маму. Конечно, из-за меня. Вот ведь! Не любила она мою семью, на дух не выносила Ванду, считала, что они мои кровососы, а сделала я финт — и уже хуже меня на свете нет. Как смела? А чего сметь, чего?! Это она мне кричала, когда я — успела я сообразить! — выписала от нее к чертовой матери Алену, а сама прописалась. Я бегала с бумажками, а они все прямо умирали от горя и ужаса... Эдик... Полька... Сватья... Мама... Алена.

Каждый, конечно, умирал от своего личного. Но мне было так на них наплевать, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Я им так и выдала: «Да, сволочь. Вам должно быть от этого легче».

Эдуард Николаевич вызвал для разговора: «Не в нас дело. Пожалей молодых. У них же все идет к разрыву». — «А какое мне дело?»

Он загремел в больницу. Я сказала: имеет дочь. Имеет мать. Их дела. Походят. Поносят. Загремела туда же сватья. Это мне вообще без разницы. Она в моей жизни не числится. Володя? Как он? А как я! Есть сын, сказал, невестка. Отнесут бульон. Я ведь, кроме одного, ей тоже ничего отнести не смогу. Умница мой! Как он точно сказал. Кроме одного. Но они все выжили. Кроме мамы. Мамино сердце не выдержало их ненависти ко мне. Маме же было обидно за меня, как бы она меня ни осуждала. Все-таки она хотела меня понять. Простить-то простила, не сомневаюсь.

Вы бы могли написать такую историю? Нет? Спасибо за правду. Вы пишете мозгами. А когда стеклянные копеечные рюмки поют, как ангелы, и когда в глаза посмотрел, а ответ большими буквами уже на небе... Я сволочь — и пусть! Пусть! Был мне удар в спину, был. Это знак мне дали — живи и доживешь до счастья.

...Допиваю вашу плохую воду. Нет, пи-пи больше не хочу. Сама не знаю, зачем я вам это все рассказала? Женщину надо любить сильно. Ею нельзя просто пользоваться. Меня любят первый раз в жизни. Я за это, если понадобится, перешагну через всех. И Володя шагнет со мной. И нам пле-

вать, что про нас подумают. Это говорит вам счастливая сволочь, всю жизнь бывшая то подстилкой, то кряквой, то душой... А сейчас меня так целуют, что сердце мое вскипает. Я еще и ребеночка рожу всем назло на старости лет, как Светлана Сталина. И пусть задохнутся, жабы!.. Не дергайтесь... Это я не про вас... От меня отвернулись все! Ну и что? Это не убавило моего счастья. Ни на грамм.

НЕ БОЙТЕСЬ! МАРИЯ ГАНСОВНА УЖЕ СКОНЧАЛАСЬ

Хозяйка, молодая, нервная женщина, предупреждает гостей сразу: «О политике не говорим. И о футболе тоже».

— Ну, ты совсем, — встревает ее мать, которая умеет говорить только о политике, но говорит о ней так, что я люблю ее слушать. Так говорят о детях и внуках, с нежностью и страхом. Она ходит по квартирам, собирая подписи за кандидатов, потому к нежности и страху прибавляется заискивание и жалость. Вот соедините все это вместе — будет мама хозяйки. Она оскорблена условиями застолья.

— В детстве была такая игра, — говорит дама с красивыми серьгами, рассчитанными на куда большее, чем у нее, расстояние от ушей до шеи. Дама мне нравится абсолютной доброжелательностью принять любой разговор, пить то, что наливают, и не обижаться на дураков. — Так вот в детстве мы играли в «да» и «нет». «Да» и «нет» не говорить, не смеяться, не улыбаться, губки бантиком держать.

— А Романцева надо гнать в шею, — говорит тесть хозяйки. — Поставил в ворота козла... А тот и ноги растопырил...

— Заткнись, — толкает его в бок жена. Она боится невестки.

И мы молчим. Потому что разношерстную компанию могут объединить только футбол и политика. И еще болезни. Я хочу выручить хозяйку и начинаю рассказывать про «дружище Биттнера», как нежно его называют на одном радио. Но тему обрывает хозяйка.

— Ненавижу радио, — говорит она. — Голоса эти... Научились бы говорить по-русски...

— Голос — страшная сила. — Это дама с серьгами. — От него может идти такая отрицательная энергия.

— Энергия идет от всего, — это я. — От людей, предметов, вот этой чашки... Сколько людей из нее пили?

— Нисколько, — ехидно говорит хозяйка, — сервиз новый.

— Что касается энергии, — милая женщина с серьгами деликатно тушит хозяйку, — если мы восхитились горой или каким-нибудь пейзажем, значит, это они послали нам импульс восхищения.

— Естественно, раз они красивы, мы и восхитились.

— А для скольких эта же гора и этот же пейзаж — тьфу! Нет, импульс, живой ток получает тот, кого выбрала сама гора... Они нас выбирают, а не мы их.

У меня защемило внутри. Я знаю одну излучину реки, на которую всегда смотрю, когда бываю недалеко. Нужно встать лицом на запад, под дубом, что возле забора бывшего пансионата, и тогда от вида излучины растапливается сердце и возникает такое ни с чем не сравнимое чувство благодарности к этой, в сущности, никакой речонке, не годящейся ни для рыб, ни для купания. А поди ж ты — рождает чувство полной благодати.

Мне понравилась мысль, что излучинка выбрала меня, именно мне послала сигнал. И я поверила в импульс горы, в то, что природа выбирает нас, а не мы ее.

— Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает, — пропела хозяйка, и все вспомнили старый фильм, растрогались и выпили.

Так ловко и непринужденно возникла тема, разрешенная к разговору. Стали вспоминать случаи всяческих несопадений. Чего-чего, а этого — вагон и маленькая тележка. Договорились, что в самой идеальной паре момент «убить хочется» присутствует непременно. Как же иначе? Ведь люди живые...

— И значит, хочется убить? — смеется хозяйка.

— Хочется! — кричит свекор. И все понимают, что он уже час как готов совершить два убийства сразу: невестки и вратаря Филимонова.

Моя история всплывает во мне сразу, одним толчком, из тех сусеков памяти, которые существуют на случай полного высыхания мозгов. Но не выдержала лапочка, выскочила на люди и отряхивается теперь от долгого лежания в тесноте моей головы.

Жила-была женщина. Звали ее, скажем, Мария Ивановна, но нет, это очень просто. Тем более что она была полукровка. Из приволжских немцев, скрестившихся с маленьким и древним марийским народом. Поэтому пусть будет Мария, но Гансовна.

Была она большой областной шишкой. Ее боялись и не любили, но в ней было столько самодостаточности, что чужая нелюбовь была ей как бы всласть. Может, она даже подпитывалась ненавистью, как другие любовью, в конце концов, это же просто плюс и минус. Разные энергетические концы. Мария Гансовна была не то что нехороша собой, она вызывала некий трепет жалости за свой вид. Но это до первого ее слова, когда становилось ясно: с жалостью надо быть осторожным. Она была огромной, высокой и широкоплечей женщиной, но книзу как-то резко сужалась, как если бы гору поставили на вершину. Вообразить такое очень легко. Видимо, для того, чтобы уравновесить неустойчивость стояния фигуры, Марии Гансовне были даны в обиход две очень коленистых ноги, слегка расходящихся в стороны именно от колен. Я понимаю мудрость именно такой конструкции для устойчивости существования.

Я помню время своего детства — довойна, — когда в женщине ценились мочки ушей, ямка на шее, изгиб бедра и пленительное соприкосновение груди в хорошо поставленном бюстгальтере. На эти вещи обращала мое внимание сестра бабушки, имевшая рост в полтора метра и гордившаяся тем, что, сидя на стуле, возбуждает мужчин болтанием не достающих до пола ножек тридцать третьего размера. Она

бы умерла от ужаса, увидев Линду Евангелисту или Наоми Кэмпбелл. С точки зрения моей родственницы, место Марии Гансовны в свинарнике самого распоследнего хутора.

Но Мария Гансовна не дура, она родилась когда надо. Встав в первом классе первой по росту, она никогда с этого места не сходила. Первая пионерка. Первая комсомолка. Первая в труде и обороне, и время, до этого косившееся на изящные ямочки на щеках, сделало крутой поворот к девушке-горе с волосатой губой и трубным голосом.

Кем же ей еще было работать, как не секретарем обкома ВЛКСМ по пионерии? Она была замечательным крысоловом того времени. И никаких проблем с внешностью! Она загребала мужичков одной левой, и они шли потому... Мужская природа мне понятна на двадцать семь процентов. Остальные проценты приходятся на Марию Гансовну и всех ее мужей, любовников, которые падали Марии в подол, как подкошенные пулей солдаты. Мужей было трое. Тех, что в официозе. Все красавцы удалые, великаны молодые. Но, прожив какое-то время с Марией, они вяли, тухли и никли головкой. Поговаривали, что Мария чуть ли не Клеопатра, конечно, ей далеко, чтоб схарчить мужика за одну ночь, но года-двух ей хватало. Мужики умирали тихо, в хороших, оснащенных лучшим оборудованием клиниках, правда, один сбежал. Взял в кейс смену трусов и зубную щетку и ушел, будто на работу, а на самом деле навсегда. Милиция морду расшибла в поисках, но... Лучше нашей страны для побега не сыскать. Растворился в пространстве, аки какой-нибудь Копперфильд. Женщине стало обидно. И любой станет — и плохой, и хорошей. Я и себя ставлю на ее место. Идешь домой женой, а открываешь дверь — и уже нет оснований так считать. И кто ты на свете после этого? Мария Гансовна целых три дня заламывала руки, а потом стала озираться, встав на кривоногие цыпочки и поставив широкую ладонь над глазами козырьком, чтоб солнце не застило обзор. Мария Гансовна искала, кому послать импульс. И в зону ее внимания попал один артист. Так в зону обозрения боевикатеррориста может попасть больница с маленькими детьми, а в зону борцов с терроризмом совсем непохожий на русско-

го человека Майкл Джексон. И будучи горячими до войны, но глупыми для жизни, и те, и другие могут спустить курок. Так и Мария Гансовна взяла и спустила себя с цепи.

В нашем кино такое не знающее преград вожделение сыграла Мордюкова, когда жала изо всех сил к забору Вицина в фильме «Женитьба Бальзамина». И горячо шептала до дрожи всего естества: «Он мне нравится. Я его хочу». Но Мордюкова — кто? Артистка! Ей крикнули «снято!», она и выпустила Вицина из лап, нужен он ей, и пошла снимать кринолин, но здесь не кино.

И уже не обком, а это, как его, длинное слово на «му»... Муниципалитет. Потому как время стремительно стало двигаться к концу света. Даже был назначен день. И надо было торопиться успеть, потому всегда лучше конец света встретить вдвоем. Такая есть народная примета.

Мария стала делать круги вокруг артиста, у которого была семья, и он ее любил. Но скоро выяснилось, что любил любовью попа к собаке, которую он убил; убил — и в яму закопал. Нет! Нет! Все красное словцо. Все остались живые, но в горячем сердце артиста как бы убитые и закопанные.

Перетянула Гора артиста, а красивая жена его с двумя хорошенькими детьми не только не повисла на изменнике, а гордо так сказала: «Ну и иди, дурак». Она Марию видела по телевизору и была оскорблена выбором мужа.

Тут надо сказать, что потом, ночью, жена рыдала в подушку, кричала в нее криком от разочарования в человеке, который ей казался «Ах!». Но есть мудрость в существовании подушки, которая крики и слезы оставляет себе. Нас так правильно иногда не слышать, мы же такие идиоты бываем в жалобах и визгах. Подушка — изобретение мудрого ангела. Причем, жена артиста была прехорошенькая, с кожей, можно сказать, на экспорт, две девочки что твои куколочки, так что народ разинул рот и ничего не понял. Но это по первому разу. По второму — стал вникать, а на третий раз сделал вывод. У артиста какая-то выгода. Потому как без выгоды не понять движения от красоты в резко противоположную сторону. Значит, сильный интерес у артиста.

Но интереса не было. Во всяком случае, он его сам себе

никогда не смог бы сформулировать. Более того, ночами просыпаясь от тяжелого басовитого дыхания Марии Гансовны, артист ощущал охватывающую его оторопь. Но оторопь — очень непростое состояние души. Тут и распloch, и страх, но и робость с нечаянностью вместе. Так вот, артист придумал себе, что он робеет перед умом и силой Марии Гансовны, а никакого страха нет. Ибо робость — это уважение *перег*. Лукав русский человек, если ему надо себя обелить. Он для этого и очернить себя может. И еще в минуты ночных просыпаний артист очень оскорблялся на брошенное ему вослед слово «дурак» от первой жены. Мужчины ведь очень болезненно реагируют на это слово. Скажи ему жена: «Не бросай нас, голубчик, светоч ты наш», — может, истории никакой и не было бы. Но слово было сказано: дурак. Неприемлемое для мужчины слово. Хоть кому его скажи, хоть Путину, хоть Жириновскому, хоть Березовскому — обидятся. А скажи: вор, убийца, сволочь — отряхнутся и пойдут дальше. Велика цена ума в России, велика, потому его и нету, что купить не за что.

Одним словом, Гора съела мышь и аж вздрогнула от наслаждения, поскольку до этого все был у нее мужик обыкновенный, парработник там, гостиничник, секретарь блока пекарей... А тут Артист. Хорошенький-хорошенький, сладенький-сладенький... Еще бы ела, да уже некуда. Пошла вся от аллергии на новый ингредиент сыпью.

Но Мария Гансовна была сильной женщиной. Туда мотнулась, оттуда вернулась — залечила аллергию. И пошла украшать и ублажать нового мужа, потому как показалось ей, что в какой-то момент ее болезни личико артиста слегка исказилось, как бы это сказать поточнее, брезгливостью.

Тут я ставлю себя на место Марии Гансовны. Ставлю свой характер. Я бы развернула его лицом к двери и сказала: «Уходишь быстро и не оглядываясь, и чтоб...» Точки в этом деле я бы поставила обязательно, потому как вопроса с гексогеном у нас нет, опять же киллер пошел мелкотравчатый, за пол-литра замочит кого скажешь. Поэтому намек интонацией, что всяко может быть, тут нужен и к месту. При-

цельно, для смеха, можно отстрелить только одно яичко, так бы намекнула я тремя точками...

Я бы брезгливость не простила ни за какие деньги. Такой я человек. Но я не Мария. Я себя не переоцениваю. Она же свой ценник явно удвоила.

Но все шло у них как бы путем... А путем у нас — это значит: хоть в пятый раз или в двенадцатый, теперь женятся в церкви. Слово «венчание» употребить стесняюсь. Как раньше все важные дела таскали через железноглазых старперов парткомиссий, так теперь через церковь. Тем более что попы у нас чаще всего тоже не молоденькие и взгляд у них — тоже металла звон.

Мария после этого расцвела, и все на это обратили внимание: вот, мол, какое благо может получиться из зла. Имелась в виду разбитая семья. Артист же — все не давали — не давали — не давали, — а тут возьми и получи заслуженного. Не знаю, как сейчас, а при совке это было выше Гамлета или короля Лира, но, безусловно, ниже роли Ленина в «Кремлевских курантах». Сейчас все перепутано. Сейчас даже за роль Гитлера могут дать премию. И правильно, какая разница — Ленин, Гитлер, оба сумасшедшие. Поэтому орден за заслуги третьей степени вполне можно давать. Есть у нас такая степень для случаев, точно не выписанных в Конституции. Мария Гансовна очень туда рвалась, наверх, чтоб все привести в соответствие. И у нее были шансы. Просто случилось избрание в другое место.

Недолго красовалась Мария в божьем благословении. Опять достала ее аллергия. И хотя артист делал ей примочки и скармливал супрастин, душу ему ела новость, что бывшая его жена, так бесстыдно его обозвавшая, с двумя хорошенькими дочками собралась замуж за хорошего человека с хорошей профессией и хорошей зарплатой. И дело у них шло к оформлению в загсе. И он, артист, видел перед собой эту картину бракосочетания, и девочек-голубушек, которых с той самой поры, как ушел, ни разу не видел, сейчас видел так ясно-ясно и даже как бы слышал: что ж ты, мол, папа?

В общем, голос ему был. А тут большая треугольная женщина, вся в пятнах и почесухе, мечется на громадной кровати

ти, перекачивается с конца в конец. Жалко до смерти, но и убить хочется. Это же так понятно.

От цвета таблеток уже рябит в глазах. То синенькие, то красненькие, то сразу и такие и другие, длинненькие такие, «капсулы» называются. На нервной почве артист перепутал таблетки. Одним словом, дал Марии не те, что против болезни, а те, что очень даже за нее. Была «неотложка», увезли женщину.

А я оторваться не могу, все рисую эту картину. Пальчики его вижу, как они мечутся туда-сюда по тумбочке, а под потолком — голоса девочек. Нет! Я как раз не думаю, что было нарочно и что был злой умысел. Как говорила моя бабушка, заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Какое тут ключевое слово? Правильно: «дурак». Как весь наш несчастный народ, который, как дитя малое, не знает, не понимает, чего ему надо: соленых огурцов или Конституции?

Женщину, которая все может сделать, а значит, ее надо спасать, или не надо спасать, потому как и так все было хорошо? Все равно бы дали заслуженного. Не сейчас, так послезавтра. Опять же детские голоса под потолком. Тремор. Я думаю, это он. Пальчики туда-сюда, все дрожмя дрожат, ну и взял не то! Нету тут злодейства. Нету! Одна нервность.

— Они такие похожие и такие разные? Так? — сказал-спросил его врач, имея в виду таблетки и давая намек, как выходить ему из положения.

— Что вы! Они совсем не похожи! — ответил артист, имея в виду женщин и только о них и думая.

— Тогда непонятно, как вы могли спутать? — возмутился врач.

— Так вот же... В голове у меня все помутилось. Шум, голоса... Как не в себе...

Что там с ней ни делали, как ни вычищали взбаламученную кровь, не спасли кандидата в депутаты. А ведь у Марии была цель, артисту она рассказала, взять Москву с первой попытки и закрепиться в ней навсегда. Спрашивала: «Тебе какой театр лучше подойдет?» Артист сказал, что, конечно, Ленком, но хитрый Захаров набрал столько красивых мужиков...

— Не проблема, — отвечала Мария. — Это для меня не проблема. — И она выдала такой импульс Захарову, что у того случился приступ.

А вот с ней, бедолагой, все получилось куда хуже: смерть от перепутанных любимым человеком таблеток, которому в этот момент «голос был».

Знатоки не стали вести следствие, потому как — зачем? Столько желающих переехать в Москву — раз. Мужик, в смысле муж-артист, безобидный и на убийство неспособный — два. А три — зараза она была, Мария Гансовна, и сволочь, и трех мужей как за себя кинула. И не тот мы народ, чтоб ради буквы закона идти на все. Мы всегда считаемся с комплексом обстоятельств.

Была баба-ведьма, и нету, ибо вождедей, да знай меру, импульсы импульсами, а таблетки малю-юсенькие, проскочат — и не заметишь...

И есть еще один момент. Назовем его четвертым элементом.

...Редко, но случается. Аллергия человека на человека. На волос, на запах, на вкус. Ну никто же не проверяет! А надо бы... Чтоб к импульсам прикладывалась справка. Хотя, может, это не наше дело? Может, так природа захотела, почему — не наше дело и не нам судить? Смерть ведь тоже явление природы.

Артист остался один со своим званием и ролью Фирса, которую получил вместо Лопахина, когда перестали идти импульсы от вышестоящих людей. Когда он в конце спектакля был забыт в доме (сволочи дворяне), он плакал чистыми, собственными, т.е. личными, слезами. Бывшая жена-театралка говорила своему новому мужу, сидя близко к сцене, что, мол, ее прежний супруг поджигает себя в искусстве с двух концов.

— Ну и хрен с ним! — отвечал ей новый муж. — Хоть с четырех! Все равно он говно.

Это очень грубо, тем более в театре. Некрасиво, тем более если женщина с хорошей кожей досталась тебе. Но мы устроены несовершенно и мстительно. Плачет же человек, заброшенный и по жизни, и по искусству, а ты смеешься ис-

подтишка. Злорадствуешь. А жизнь дается один раз. И прожить ее надо. Вот и живи и радуйся своей женщине и ничего не бойся. Тем более что Мария Гансовна уже тихо скончалась. И никому больше не грозит.

Вот так-то, господа! Какие мы люди, такие у нас и истории.

РАДОСТИ ЖИЗНИ

...Ночью ко мне приходят ненаписанные рассказы, и я говорю им: кыш! Что толку приходить? Не написала — и уже не напишу: их больше, чем меня. Этот дисбаланс занимает мысли в моменты тупой кухонной деятельности или у стекла троллейбуса, что в самом конце, где жизнь видится как бы назад-вперед и очень соответствует жалостливому состоянию души. Скорей всего я вычеркну слово «жалостливому». А может, оставлю для будущей реакции в ближнем зарубежье моей родины, где дошкольная подруга, разгребая навоз на огороде, скажет своей внучке: «Помнишь тетю, у которой мы были в Москве? Она до сих пор из себя корчит». Подумав, она вполне может сказать: «Крест, святая икона! Чего ей в жизни надо? Какой жалости? Мужчины всегда были при ней. Не скажу какие, не скажу, но зарплату носили. Она что — с огорода кормилась? Все обещает написать про наше с ней детство. Вот посмеюсь так посмеюсь». Тут она задумается, моя подруга. Ее голубые чуть навывкате глаза остановятся, и сама она застынет с вилами, пока внучка не закричит: «Бася! Ты что?» Подруга тихонечко всхлипнет, но мысль, которую держала в замирании, скажет громко, чтоб и в соседнем огороде, и что по-за ним слышали. Важная мысль. «Если она про меня что-то напишет, я ее сама — этими вилами». Тут у нее так кучеряво взрыхлится навоз, что придется вытирать подбородок подолом, и на этом простом деле она уйдет от меня надолго, до зимы, когда закрутит наконец все банки, почувствует пустоту, захочет позвонить, но вспомнит, сколько теперь это стоит, разозлится на меня же, потому что, когда все это началось, я ее уверяла — как это хорошо и правильно, и не пристало ей больше

всего гордиться своей однокурсницей, которая всю жизнь работает экскурсоводом в Музее Ленина, кандидат наук и прочая. «Собой гордись, — говорила я ей. — Собой». Но все, как выяснилось, набрехала.

При эпохе ленинского экскурсовода моей подруге было лучше.

Впрочем, это получается рассказ про подругу, а я о ней уже писала — хватит с нее — и даже вил в бок избежала. Когда она прочла рассказ, она себя не узнала. «Это надо же! — сказала. — Быть такой верной одному. Малахольная какая-то! Верить! В этой жизни! Честно скажи: это у тебя такое было?» — «У меня», — ответила я, хотя до этого вся дрожала, не обидится ли она, что я рассказала ее историю. «Ты сроду простодырая, — покачала она головой. — Прости, господи, но ты хоть и умной числишься, а дурости у тебя процент выше. Я тебя сразу узнала, с первой строчки».

С тех пор я не боюсь писать о самых близких мне людях — никто себя не узнает. Понятие о себе — вещь таинственная и непознаваемая. Я точно знаю, мы — земля незнакомцев. Мы притворяемся, что знаем друг друга.

И мир непознаваем. Мне все больше это нравится. Раньше мечтала «дойти до сути», теперь — не хочу. Опять же как сказала бы подруга: «Тебе бы все блукать в потемках».

Блукать — бродяжить. Замечательное умственное дело. Лучше — нет. Никто никого не знает, никто ничего не знает. Истина не там, где мы.

К чему это я все? К тому, что приходят рассказы, и я говорю им: кыш! А потом еще придумываю и несуществующую реакцию на ненаписанное! Двойное сальто-мортале в голове — истинно русская деятельность. Нынешнее поколение с треском выбирается из нашей сокрушительной созерцательности через влагалище, пахнущее бергамотом. Правильно делают, между прочим. Если уж родиться, так чтоб уж хорошо вокруг пахло. Я им завидую, ибо сама так не умею.

Многого не умею. Какого же черта прутся они ко мне, ненаписанные? Эдакие славненькие эмбриончики, которых только выпусти... Но мне слабо превратить их даже в кло-

пов, тараканов, медуз, всякую тварь и хоть таким образом, но дать им жить. Жить! Чтоб они проверещали про свое пусть даже через поганенькое, но тело, если приличное, с человеческими ушами, в кроссовках там или суконной юбке, я не удосужусь дать?

...Были перепутаны вместилища. Не туда сыпанули. Расперли меня изнутри товаром, а ножки, носящие груз, дали тоненькие, слабенькие. Дыхалка ни к черту, коленочки хрустят, просто никуда не годятся и норовят выскочить круглой своей головочкой из розового гнезда, чтоб мне уж совсем и окончательно сломаться.

«Про что это она? — недоумеваает подруга. — Про радикулит? Артрит? С какой такой тяжелой работы? Ведрами воду носит? Или туда-сюда в сырой погреб? Это ж какие у нее могут быть трудности тела?»

Никаких, дорогая, никаких! Нет у меня ни огорода, ни погреба, и ведер у меня нет. Настоящих. Так, одно название.

У меня другое. Они приходят, и я не могу. Это не болезнь, подруга, это хуже. Скажу тихо: это что-то сексуальное. Знаешь, что я делаю, когда они приходят? Я называю адреса, куда им податься. Как нормальная порядочная шлюха. Я посылаю к тем, у кого момент острого плодоношения. Когда не успеваешь отряхивать тяжелые ветки. Или отряхиваться самому. Вещи, конечно, разные. Так и хочется на этом затормозить и позлословить. Но меня начинает мутить оттого, что во мне прорезается это. В корыте, что есть вселенский охул, поклеп и зависть, уже столько помылось! А я знаю, что это такое — общая помывка... Серая пена на ободьях, вода, уже остуженная более высокими по рангу телами, моя слабая гордость, что я в этой очереди за чистотой не последняя. За мной сестра и брат. Потом этой водой вымоется пол... Грязную воду разбрызгают по двору на «заразу пыль». «Экономика должна быть экономной». Нет воды в наших краях, нет. Но живем. Живем, как если бы вода была...

Я давно это заметила. Это наше свойство — жить при отсутствии как при наличии. Эдакая легкая неприхотливость бытия. В окно вместо стекла вставить фанерку. И убеждать, что так даже лучше. «Знаешь, через стекло солнце

очень жарит». А окно, между прочим, выходит на север, и солнце туда не попадает никогда. Недавно, уже в наше время, моя гостья из провинции, разувшись, пошла по квартире в полиэтиленовых пакетах. «Замечательно, — сказала она. — У вас дождь, а у меня ревматизм. Пакеты мне дают гарантию сухих ног».

Диву даешься, какие у нас гарантии. У нас в природе заложено: из ничего — все, никто — всем. Самоигральность пустоты. Кто бы мне еще объяснил, почему это именно у нас, владеющих такими пространствами и богатствами?

Так вот, возвращаясь к мысли про сегодняшних пишущих и про себя как бы вчерашнюю... Я их, дурачков малолетних, люблю, но странно любовью. Не победит ее рассудок мой. Вот они. Обклевали всю мою вишню. Горланят. Косточки где, косточки от вишенки? В них. В их пузе. А мои всегда горсточкой на столе. Обсосанные, беленькие. Я с ними еще поиграю. Я сложу из косточек морду с лопухими ушами, потом выключу морде глаза, чтоб не пялилась, дура. Я играю, а они переваривают жизнь. Вот в чем дело.

Мы такие разные, что наша любовь невозможна, так сказать, по определению, данному одним пуристом во время оно в статье против Мухи-цокотухи. Брак между мухой и комаром, вещал пурист, невозможен изначально. Не получится у них, говоря по-простому. Бедные влюбленные, пройдя такие страдания, упрутся в материальную часть. Нынешние поняли эту проблему совсем не так, как я. Когда я в их возрасте читала пуриста, я еще задавала себе вопрос: а нет ли малепусенького смысла в такой здравости воспитания, если — извиняюсь за повторение — результата не получится? У нынешних даже мимолетного признака цепляться за физику любви нет. Они ее окоротят, если что. Или увеличат в длину и весе. Потому что любовь. А аксессуары ее, в конце концов, есть вещь придаточная. Это мы до сих пор живем в поясе невинности вместе с противогазом и только в таком виде позволяем подойти к перу там или карандашу... Бесплезно взывать к жизни сдавленную плоть, даже если ее распеленали. Она все равно тяготеет к поясу, она, можно даже сказать, его алчет и жаждет. У распеленатого тела могут ока-

заться и странные свойства. Оно может разрастись, как тесто в квашне, и очень опасно оказаться рядом — собьет и уничтожит освобожденным сырым мясом. В общем, пока я разбираюсь с самой собой, ну до ненаписанных ли рассказов мне? И я, повторяю, говорю им: кыш!

Но бывает и так. Не взяв, не проняв меня нежным дуновением, рассказы приходят ко мне влажным теплым касанием, что ничем, кроме влияния порока времени, объяснить нельзя. Тогда я чувствую, как вдавливаются мои сомкнутые губы, и я криком кричу — внутренним, конечно, я девушка стойкая, — чтоб не разомкнуть их, иначе...

Тут боком вторгается совсем другая история.

Интересно наблюдать, как это происходит. Еще путной строчки не сотворено, еще герой именем не назван, а и касание уже было, и до целования дошло. Имейте в виду, что пояс невинности и противогаз при мне... Секс в мешке. Хороший конкурс для открытых площадок профсоюзных здравниц.

Так вот рассказ мне блазнится про тетю Таню, даму и просто приятную, и приятную во всех отношениях, позорище рода, лучшую выпускницу бахмутской гимназии, предательницу родины и семьи, учительницу и каллиграфа школы, радостную давалку налево и направо, спекулянтку, авантюристку и обожаемую булю двух внуков. Талика и Толика, так ин бреви. Вкратце! Оттолкнуть тетю Таню с занимаемого ею места в природе и в моей голове невозможно совершенно, но получилось, что сравнила побуждение к писанию с поцелуем — тут-то бочком и вылез мальчик в латаных штанах, не доходящих до носков. Сверкало живое молодое тело в просвете каждодневно подравниваемой ножницами бахромы и взмытого вверх резинкой натянутого носка, и делалось от такого пейзажа стыдно, даже временами противно, если бы не курточка, запечатленная во всех фильмах пятидесятых, двуцветная, на кокеточке, с карманом, из которого у бедных торчала расческа, а у тех, кто побогаче, самописка. Мальчика звали Женя, и он, что называется, торчал, в смысле выбивался из ряда. Он носил галстук, презираемый нашим школьным пролетариатом. «Гудочек!» — не-

одобрительно смеялся народ и мог бы Женю схарчить по всем правилам сжирания чужака в стаде: уже клацали зубки и набегала слюна, готовая полить перед укусом жертву, но случились на их хищном пути женщины-малолетки. Мы. Девочки. Барышни. Дуры. Комсомолки. Мы увидели еще одно отличие Жени (отличие от мужской половины). Не только в галстукe оно гнездилося. Оно было выше, шире и глубже. Оно было даже выше актера Самойлова, говорящего стихами в фильме «В шесть часов вечера после войны». Вы спросите, что может быть выше? И я вам скажу. Выше может быть сходство с портретом Олега Кошевого, который висел в школьном коридоре. Первый слева.

Вот что производило и впечатляло. Он был на самом деле хороший, этот Женя. Скромный. Вежливый. Он здоровался с моей мамой. Хотя к таким тонкостям мы приучены не были, и одного этого было достаточно, чтоб схлопотать в темном месте, но опять же сходство... Сходство парализовало. Через это переступить было нельзя. Тут надо сразу сказать: Женя, по большому счету, такого сходства оказался недостоин. Он не дотянулся не то что до лица, до ноги героя. Так и прозябал всю жизнь рядовым инженером сельхозтехники, а мог бы схватить в обе руки комсомольско-партийную линию, а потом, глядишь, и пробаллотироваться на каком-нибудь уровне в какую-нибудь говорящую Думу. Школа очень ждала от похожего человека и похожего подвига — встретить что-нибудь грудью, прыгнуть в шурф. Но... Увы.

То еще время. Уточняю, не с подначкой: мол, то еще время! А конкретно — то время в смысле не это. Пятидесятые, а не девяностодесятые. Кошевой на портрете, а Женя ходит по школе как ни в чем не бывало. Живет незаметно. Это плохо, поэтому просачивается слух, что его какая-то там тетка якшается с баптистами.

Мы не верим слухам, мы ждем, что он встанет вровень с героем. Мы аж дрожим от нетерпения подвига и смерти. И в этот острый момент коллективного экстаза он кладет на меня глаз. Так в жизни всегда — высокое и низкое рядом. Подвиг, и загнутая на воротнике из собаки косичка, и возникшее желание ее выпрямить, и ток. Ток чистой воды, то-

гда синтетики и в помине не было, и если предметы и вещи «стреляли» — значит, работал натуральный движок. Где-то там, в области солнечного сплетения, немного вниз и влево.

Я все пропускаю, потому что рассказ о Жене не сопит мне в ухо, дышит совсем другой, о тете Тане. И не просто дышит, а — то самое... Он целует, если уж называть вещи своими именами. И в этой только связи и возникает Женя. У него большой и широкий рот. Он давит меня им, а я, как Брестская крепость, охраняюсь сцепленными зубами. Для нынешних поцелуй вообще не считово, так, мазня, а нас надо было брать частями. У нас годы уходили на освоение пространства. Одним словом, нас брали как целину — коряво и бестолково.

Боже! Как я жалею, что по-человечески так ни разу и не поцеловалась с Женей. Влюблена была по уши, по маковку, но, когда дело доходило до дела — стояла насмерть. Зачем?

Затем... Затем, что это все тетя Таня. Которая задолго до того, в мои еще десять лет, объяснила, что «ротик надо раскрывать поширше», а «губки распячивать», что там (там!) должно быть чисто-чисто, и это, девуля, поважней твоих отметок. Что пахнуть от девушки должно духами (бергамотом, тетя Таня, бергамотом), а не «мышками», что «этого хотят все, даже коммунисты», это — главное, «даже питание потом».

От ее науки влажнели трусики и было стыдно, хорошо и страшно. Но вот парадокс образования. Казалось, знаешь как... Объяснили же дуре. Но именно тети-Танина наука привела к краху моей первой любви. Я не могла, как меня учили. Но и третьего пути, кроме стоять насмерть или делать губки поширше, я не знала. Мы потыкались друг в друга, как два щенка, и я рванула от него первая. Свою дочь Женя назвал моим именем. Приятно, но я этого не заслужила. Я была бездарна, неловка, неумела. Это потом я скажу — секс в мешке. Тогда и слова такого не было. Мы были пестики и тычинки, хотя рядом звенела, пыхла и громыкала такая жизнь!

Один талантливый малый сказал тут как-то по ящику: «Это была сексуальная эпоха». Полно врать, сказала я ему, а потом подумала: кто его знает. Ведь именно про тетю Таню

будет мой рассказ, чего-то же именно он пробился через все мои душевные ломания рук и ног.

Она умерла на девяностом году, сохранив красивейший почерк человека, выучившего каллиграфию еще до революции.

...Сразу после войны нас выселили из квартиры, которую дедушка построил на свои кровные в двадцать девятом году. Наши дома называли «жилкооп». «Вы где живете?» — «На жилкоопе. А вы?» — «На мелкой промышленности». Так у нас говорили.

Вернувшиеся из эвакуации начальники приглядели не разрушенные войной наши каменные домики с садочками, палисадниками, клумбами и выпихнули нас из них, можно сказать, в двадцать четыре часа. Какие там права и законы! Во-первых, мы в отличие от эвакуированных провели войну на оккупированной территории, а потому нам полагалось за это отвечать. Но главным больным местом нашей семьи был дядя Леня, который с сорок первого года сидел в Бутырской тюрьме как враг народа. Можно сказать, мы были счастливы, что нас — бабушку, дедушку, родителей и троих детей — не выгнали на улицу ни в чем, что нам по справедливости советской власти полагалось, а дали комнатенку в так называемых «финских домиках», куда мы и втиснулись, окружив собой огромную, встроенную в комнату, печку. Финны, хоть и отсталый по сравнению с великим советским народ, не подозревали, что в двухкомнатной квартире будут жить аж четыре семьи. В другой комнате жили две молодые пары, пригнанные из Западной Украины на поднятие разрушенных шахт. Комнатка для ванной — ах, эти финны! — была превращена жильцами в угольный склад, потому как соседи тоже построили посреди комнаты печку. В туалете, к которому вода не была подведена изначально, странным образом оказался поставленный унитаз. Когда жилкооповские подружки приходили ко мне в гости, я им его демонстрировала, и они удивлялись и возмущались людьми, которые могут ходить по-большому в квартире. Это ж какие надо иметь

понятия? Мои объяснения про воду не прошли. Какая вода? Откуда ей взяться на такое?

Интересная история была с нашей мебелью. Ее некуда было брать из оставленного дома. Ее растыкали по знакомым, прося об этом как Христа ради. Труднее всего оказалось приткнуть пианино. В конце концов его поставила к себе в сарай моя учительница музыки. Когда мы с мамой накрыли инструмент старыми одеялами, сестра учительницы музыки, учительница географии в нашей школе, сказала маме: «Передайте, Валечка, Федору Николаевичу (дедушке), что он проиграл наше пари». Я из книжек знала, что такое пари, но вообразить не могла, к чему его присобачить в нашей жизни. Пари и унитаз с нашей жизнью не сочетались. Это были пришельцы из других миров, и вызывать они могли только удивление. От этого и запомнились слова о пари, и еще потому, что мама цыкнула, когда я спросила, что имела в виду учительница. Всю дорогу она ругалась, что вечно я лезу куда не надо, что вечно idiotские вопросы, что нельзя до такой степени «ничего не понимать самостоятельно, без лишних вопросов, если дан ум».

Дан ум... Данум... Даум... Даун...

Недавно я в каких-то там воспитательных целях сказала своей внучке:

«Человеку дан ум, чтобы понимать». — «Ах, бабуля! — ответила моя кукла. — Ум может быть умным, может быть и дурацким. Наверное, у меня дурацкий». Она хитро посмотрела на меня: мол, что с дурочки возьмешь? И ускокала своим путем.

Я представляю, что бы со мной сделала моя мама при таком развороте рассуждений. «Дан ум» был вечным рефреном нашей семьи. Можно подумать, преуспели! Так вот пари, оказывается, было такое.

Учительница географии: не надо строить в жилкоопе дом. Если строить, то свою личную саманную мазанку. С государством ни на каких условиях связываться нельзя — все равно отнимет и скажет, что так и надо.

Дедушка: спорим.

Время показало, у кого был ум.

Мы безропотно гнездились у печки, а потом родители, не выдержав скученности, пошли строить ту самую мазанку. На стройку брали мою младшую сестру, чтоб нянчить совсем маленького брата. Послевоенного сыночка мама с глаз своих не спускала и не доверяла никому.

Я же оставалась сторожем финской комнаты, потому что — мало ли что... Пригнанные с запада украинцы не внушали моей семье доверия. Одна из соседок все норвила заглянуть в нашу комнату, где прямо посередине стояло трюмо, соседка всегда вскрикивала, допрежь всего остального увидев в зеркале себя, хлопала дверью и кричала тонким голосом: «Шо це таке в них стоить високе?» — «Дура, никогда не видела трюмо», — брезгливо говорила мама. Дура много чего не видела, даже наш скарб — без пианино, буфета, комодов, дивана — был оглушительно роскошным по сравнению с бытом несчастных вербованных. Как было после этого не сторожить комнату?

И вот я оставалась одна. Я не открывала ставни, потому что в полумраке поставленные абы как вещи: трюмо посередине, кушетка на попу, разновысокие кровати под единым одеялом, шкаф в простенке между двумя узкими, но высокими окнами (ставни к ним были много ниже, потому что их сняли с петель на старой квартире и привезли завернутыми в скатерти), — так вот, все это в сумраке способствовало моему буйному воображению.

В полумраке все казалось красивым подземельем, где я — пленница влюбленного в меня ксендза: прочла какой-то роман без начала и конца, продававшийся на базаре постранично на самокрутки и кульки для семечек. Дедушка любил «спасать книги». У меня до сих пор стоит Пушкин с семнадцатой страницы, а Гоголь — с сорок второй. Гоголь почему-то шел шибче. Видимо, быстрее загорался. Или более соответствовал семечкам.

Однажды, когда я убедительно и страстно объясняла ксендзу, что любила, люблю и буду любить только краковского шляхтича, не помню, как там его звали, скажем, Кшиштоф, дверь распахнулась и тетя Таня просто ворвалась в комнату. Перво-наперво она раздвинула ставни и открыла

настежь окна, и хоть сразу потянуло шахтой и газом, оставила их открытыми. «Ничего, — сказала она. — Не сдохнете». Потом началось непонятное. Она стала двигать мебель, хотя двигать было некуда, все втиснулось едва-едва, но в решительных движениях тети Тани был некий мне непонятный смысл, который она не считала нужным объяснять, потому что говорила мне другое:

— Я тебя прошу — исчезни. Погуляй где-нибудь. Погода хорошая. Сходи на Ленина...

Ленина — наша главная не то улица, не то площадь возле шахтоуправления. Там вовсю скрипит и ухаёт клеть, там, застилая небо, крутится шахтное колесо, там воняет обогатительной фабрикой, но площадь-улица тем не менее главная, а потому и выложена булыжником, как в каком-нибудь большом городе. Ленин и Сталин, улыбаясь, сидят на белой скамеечке, окруженные тяжелой цепью, на которой дети, не достигшие идеологического минимума, всегда норовят раскачиваться, но с воспитанием и образованием у нас строго — не забалуешь. Девочке, влюбленной в шляхтича Кшиштофа, делать в этом месте абсолютно нечего. Разве что нежно потрогать цепь и преисполниться любви и преданности совсем другого рода. Что, кстати, нетрудно. Преисполненности было во мне сколько угодно. Пока я соображала, что к чему, тетя Таня из двух наших кроватей уже соорудила нечто диваноподобное. На подушки, разбросанные так и сяк, были брошены мамины шелковые косынки (один из предметов вожделения соседок-хохлушек). Стол тетя Таня развернула углом к кроватям, положив на клеенку камчатную скатерть, которую использовали у нас по редким в ту пору праздникам, но следы от этих праздников, как теперь говорят, имели место быть. Но изобретательная тетя поставила на два пятна скрывающие их предметы. В синем треснутом кувшине, правда, лежала детская клизмочка. Ее тетя Таня грубо вынула и сунула в ящик, а кувшинчик бац — на стол. На второе пятно была водружена соломенная хлебница, которая хлебницей тоже не была, потому как уже осыпалась изношенным своим телом.

В комнате резко похорошело. Уходить из нее не хотелось.

Стук в дверь был царапающе-нежным, а потому чужим. Соседки-украинки в дверь не стучали, они ее просто открывали. Или кричали из прихожей: «Тётю! Тётю! Вас можно та ни?» Совсем посторонние барабанили в общую дверь, а знакомые мамы и бабушки подходили к окну и стучали в стекло согнутым пальчиком.

— Ах! — сказала тетя Таня, сбрасывая с себя вязаную кофту и победоносно поправляя роскошную грудь, жарко всплывающую в декольте. — Ах!

Она открыла дверь, и в комнату вошел мужчина в шляпе и с большим портфелем. Мужчина был отмечен и особыми приметам. Во-первых, шляпа его была на белой бельевой резинке и до красноты сдавливала ему подбородок. Тут надо сказать, что шляпа в наших краях — вещь редкая, ее за так не носят. Ею метаются, выделяютя. Шляпу носит у нас местный хулиган и пугало, он же чечеточник в шахтной самодеятельности, он же рубщик мяса на базаре, Коля, Колян. Я так и не знаю, Колян — это производное от «Коли» или все-таки фамилия. Как Гялян, например, или Малян. Не важно. Так вот рубщик-чечеточник-хулиган носит велюровую шляпу и синие сатиновые шаровары. Он не снимает шляпу нигде, он обозначается ею в кино, на танцах, на улице-площади Ленина и просто так, идя по городу и неся, к примеру, в газете кости для холодца. «Малахольный», — говорит бабушка и грозит ему вслед кулаком. Но, насколько я помню, никаких бельевых резинок у Коляна на шляпе не было. Когда бывало особенно ветрено, он натягивал шляпу на уши, одновременно подтягивал вверх шаровары и шутил: «Закон природы. Если что-то тянешь вниз, то другое тянешь вверх. Бойль—Мариотт». И кто бы ему осмелился перечить? Только моя бабушка с кулаком протеста, как санкюлотка какая.

Поэтому шляпа на резинке у гостя тети Тани впечатлительные произвела... И как шляпа. И как на резинке.

Портфель тоже был непрост. Он был толст, что не может вызвать особых эмоций к самому понятию. Толстый портфель — норма. Как и старый — кожаный — портфель Жванецкого, первоклассника и так далее. У этого портфеля были деревянные ручки синего цвета, отчего сразу станови-

лось ясно: ручки взяты из детского набора фигурных кубиков. В наборе было именно так: синенькие — длинненькие, зеленые — квадратные, а красные — треугольничком.

— Иди занимайся к учительнице, — нежно сказала мне тетя Таня, пока я остолбенело изучала ручки и резинки. — Девуля идет к своей учительнице музыки. Она такая способная. И имеет пальцы. Но где тут поставить инструмент? Где? А гаммы, ганон... Это же надо непрестанно, как Буся Гольдштейн. Иди, девуля, иди. Хорошо занимайся, долго!.. Ах, Мишенька, — услышала я, когда за мной закрылась дверь, — нам воздается за наши муки.

Это, конечно, я придумала сейчас. Такие слова. Я не знаю доподлинно тети-Таниного воркования за дверью. Почему же мне написалось именно это, высокопарное, если все остальное — про музыку, пальцы и про скрипача Бусю — чистая правда? Все дело, видимо, в Кшиштофе, в нашей с ним любви. Безропотно уходя из дома, я ведь не могла соотнести свое почти бездыханное от вознесения чувство с этими чужими пошлыми резинками! С другой же стороны... Не дура же я была, поняла в конце концов смысл шелковых косынок на взбитых подушках. И для полной их красоты от себя возложила на них самое главное из прекрасного — страдание. Не просто как атрибут любви, а как знак ее качества. Помните еще эту раскоряку на лежалом товаре? Поэтому слова глупые придумались сейчас, но они были точно в масть моему подземелью, охальнику ксендзу и Кшиштофу, скачущему на лошади с огромными белыми зубами. Зубы у лошади, не у Кшиштофа.

Что же это за роман был мною тогда прочитан? И могло ли быть так, что, прочитав его в свои детские годы, я не узнала его во взрослые? Не узнала же я через много-много лет Женю. Мы долго ехали напротив друг друга в одной электричке. Я подумала: «Какой унылый дядька. Весь прокисший от жизни. Вон даже в уголках глаз накопилось. Вытер бы, что ли...» И он вытер. Достал сложенный чистый, но выжелтевший от стирки носовой платок, промокнул закись и как бы извинился: «Такую грязь подымает ветер».

Я бесспорно знала этот голос. Я так подумала: «Знакомый голос». И все. Ничего больше. Я ведь опиралась на сумку с продуктами, я была «дачным мужем» у своей семьи и таскала сумки до стона в горле, который иногда случался сам собой. Иду и вдруг как затрублю, как хоботное. Вот я и отметила — голос знакомый; но дядьку закислого я не знаю, это точно. Тем не менее поверх очков незаметно я в него вперилась. Лысоватый, но не так, как лысеют умные — с залысин. А как лысеют примитивы, точно по макушечке, блюдечком, еврейской кипой. Хрящеватый нос с красными прожилками на крыльях не говорил мне ни о чем, разве что носитель его или был гипертоником, или любил выпить, а может, и то и другое сразу. Нет, голос был знаком сам по себе, с человеком напротив он не мог быть связан хотя бы потому, что все мои мужчины лысели со лба. У каждого ведь свое тщеславие. Но тут рядом с ним освободилось место, и он закричал кому-то в тамбур: «Оля! Оля!» Подошла с тяжелой, как и у меня, сумкой молодая женщина, плюхнулась рядом, посмотрела вокруг озлобленно и обиженно сразу, как смотрят все сумчатые сестры нашей земли. И все сразу прояснилось. Надо же, как это я не увидела сразу! Эта Оля, как я понимаю, названная в мою честь, была копией ее бабушки, матери Жени. Именно с таким выражением она объяснялась со мной, девятиклассницей, почему я не пишу письма ее сыну, первокурснику. Господи! Да я к тому времени забыла его напрочь! Как и никогда не существовавшего Кшиштофа. Пока она смотрела на меня зло и обиженно, отловив мое возвращение из школы, в трех метрах переминался с ноги на ногу «очередной единственный», и я, смущаясь самого разговора со взрослой женщиной, думала о ее сыне низкие слова. И гордости-то у него нет! И жалкий он! И штаны у него короткие и латаные. И вежливость его определенно из подхалимажа к моей маме. Фу, как это я могла...

У Оли, как и у ее бабушки, светлые волосы курчавились на висках, а на скулах разбросанно сидели светлые пятнышки широких веснушек. И сразу через лысину-блюдечко, через красные прожилки и грубый хрящ носа, через закись глаз проступил, определился Женя. Ну как же его можно

было не узнать, если он каким был, таким и остался? Вон и нога белеет из-под коротковатых джинсов, и голос тот же, и дочь Оля. Не Маша, не Катя, не Перепетуя, а Оля! Сейчас я им откроюсь, признаюсь — и сойдет, к чертовой матери, с рельсов электричка, потому что вспыхнет у Жени такая сила любви, какая и была мне обещана. Он ведь такой. Он верный. Он похож на Олега Кошевого. Ну и что, что инженер-механизатор и вроде бы как не преуспел? Это же надо еще разобраться, что такое успел, а что такое нет. Одним словом, я напряглась для прыжка через время и пространство. Держа ручки сумки левой рукой, я правой наизусть впустила себе хохолок, я была, что называется, совсем готова, но тут увидела его глаза. Он смотрел на меня, как смотрят на схему метро в поезде. Тухло и слепо. Я была для него не просто безразлична (безразличие все-таки слабенькая, но эмоция), я была для него пятном на стекле вагона, не больше. Ни одной частью своего существа я не вызвала в нем себя же прежнюю. А я ведь, как говорят знакомые, хорошо сохранилась — и глаз у меня еще поблескивает, и прическу я себе выгодную придумала, и вообще на меня еще кладут глаз, правда, мужчины уже поношенного возраста. И, между прочим, особенно в электричке. А тут сидит тот, кто мок часами под стрехой, кто заваливал меня сиренью так, что в моих ноздрях навсегда остался запах сирени, сломанных веток, влаги, и это мой запах, я не просто люблю сирень, я ею как бы насыщаюсь, как бы обпиваюсь и давно хочу, чтоб на моей могиле рос куст сирени. И это все Женя, эта сволочь, что сидит напротив и в упор меня не видит, я ж искрю вся, а ему по фигу. Он даже задремал рядом с дочерью, вполне по-домашнему посвистывая носом.

Неужели такому я откроюсь? Нет уж! Спи спокойно, дорогой товарищ! Спи...

Выходя, я толкнула его. Нарочно. Хотелось ногой, но я посчитала — жирно ему будет моя живая нога. Толкнула сумкой. Он встрепенулся, виновато подтянул под себя ноги.

— Извините, — сказал он.

— Да ладно, — засмеялась я. — Живи.

Из тамбура я оглянулась на него.

Он растерянно смотрел мне вслед. Что-то проклюнулось в нем? Может, и у меня, как и у него, голос остался прежним, молодым? Или ему что-то хорошее снилось, а тетка с сумкой толкнула, да еще и «тыкнула». С виду казалась интеллигентной женщиной, а на деле обернулась хабалкой. Как все.

...Надо себя описать. Хотя именно этим я и занимаюсь. Надо описать себя ту, которая была вытолкнута за дверь тогда, давным-давно. Есть подозрение, что тетя Таня, выпихивая меня примитивно и грубо, считала меня дурой. А это для меня в любое время моей жизни вещь оскорбительная.

Конечно, я была отличница, и это было почти клеймо, и, конечно, баловства там или «не тех» понятий в наш дом допущено не было, но что такое «жить с немцем», я знала еще в оккупацию, а слово «лярва» и того раньше, можно сказать, в младенчестве, потому как словом этим была названа моя дорогая мама. Приходила к нам перед самой войной на жил-кооп тетка в берете наискосок и кричала, кричала... Мама в этот момент сидела на чердаке, а лестницу туда бабушка положила лежа и накрыла чувалом. Я и тогда все поняла, потому что не понять было невозможно. Мама моя — писаная красавица, а тетка набекрень — говорить не о чем. Главный инженер — он что, идиот? не понимает, где красота, а где не? Конечно, он понимал и приносил маме конфеты, кому же их еще носить, как не первой красавице? Иногда он привозил ее с работы в красивом фазтоне, и мы, дети, верещали вокруг красавца жеребца, ожидая как редкостного дара, как затмения солнца, момента, когда, отставив назад метелку хвоста, жеребец шмякнет на землю огнедышащие кружочки и мы будем замирать от величия и неповторимости природы. «У коровы-то — о!», «А у лошади — во!», «А у человека — фи!» Нет, человек сравнения с лошадью не выдерживал. Слаб он был и рядом с коровой. Даже коза побеждала его оригинальностью своего дерьма. Вот собака... Собака шла вровень.

Главный инженер, высадив маму, уезжал, красиво трянув вожжами, мама смущенно шла домой, бабушка подымала кулак кверху. Вот где-то тут, в горячих миазмах лошади-

ного помета, и обрелось значение неприличного слова. Так что закрытая за мной тетей Таней дверь ничего для меня не закрыла. Совсем наоборот. Виделись подушки, и трепещущий седьмой размер груди, и след от резинки, как у повешенного, и весь последующий кошмар, от которого одновременно кружилась голова и тошнило. Самая загадочная и привлекающая сторона жизни становилась в этот момент омерзительной, но возникал и резонный вопрос: почему же тогда старые люди (тете Тане тогда было лет сорок пять) идут на это? Не понимают они, что ли, как противны? С другой стороны, меня давно колотило от романов о любви. Я постоянно была чьей-то возлюбленной, и все у нас «с ним» было, все! Но как — боже мой! — это было красиво! Как изящно снимались сюртуки, как нежно спускались штанишки, какие кружева потопляли нас, и ни единого резиночного следа на теле, никаких вспученных под столом портфелей. Это должно быть красиво — или пусть его не будет никогда.

Жизнь шла. Старым грешникам не мешала никакая погода. Мне же очень часто деваться было некуда. Появись я у кого-то из знакомых, тут же возник бы вопрос: «А кто ж сторожит финскую комнату? Или вербованные съехали?»

Между тем задождило. На нашей домашней стройке уже поставили кухоньку, поэтому там можно было и ночевать, и в финскую комнату возвращались только дедушка и бабушка, я же оставалась дневным бомжем.

Ночным бомжем, как потом выяснилось, был возлюбленный тети Тани. Дело в том, что он считался как бы в командировке и скрывался ночами в каком-то заброшенном доме. Их у нас еще лет десять после войны было навалом. Взорванная электростанция, турбина которой полетела к чертовой матери, зато комнат и залов... Там жили цыгане, опять же вербованные, и разный другой бродяжий люд. Немцы, уходя, подожгли город и тут же драпанули, поэтому многие дома удалось потушить сразу, часть только наполовину. Так как в основном это были дома местного руководства, а оно, вернувшись из эвакуации, свою квартирную проблему решило при помощи отъема у таких, как мы, то вполне добротные дома долго стояли наполовину сожженными. Одной

комнаты нет как нет, а в другой на стене часы идут и детская кроватка стоит застлана. Своровывали, конечно, все быстро, но бомжевать было где. Крыша. Какая-никакая койка. И даже презент в виде бегущей из крана воды. Я сама ходила за водой в такой разрушенный дом, нигде не шло — не капало, а там напор — залейся.

Так вот в этой истории — два бомжа. Дневной и ночной. Девочка и престарелый (лет сорок, не меньше) любовник. Раз командировка, то понятен и раздутый портфель, и даже шляпа на резинке. «Миша! Миша! — наверное, кричала ему на прощанье жена. — Надень головной убор, мало ли что!..» И, держа шляпу за резинку, догоняла мужа у калитки.

За время бомжевания я хорошо изучила рельеф местности и все заветренные стороны нашего городка. Я знала, что на шахту Артема лучше идти по шпалам, а на шахту «1-1 бис» через деревню Щербиновку. Что шахта Ворошилова мне недоступна, потому как идти надо будет мимо «нашей стройки», а вот феноловый завод для прогулки вполне подходящ, иди себе и иди прямо и прямо.

И хотя время было смурное и считалось опасным, а вот бродила малолетка целыми днями там и сям, по дорогам и без, и никто ее ни разу не тронул. И мысли такой малолетка в голове не держала, потому что никто ее чужим дядей не пугал. Шелковые косынки берегли, это да, полотняный мешочек с мукой прятали... Но за детей не боялись.

И все-таки как веревочке ни виться... Я захворала. Не прошло даром кружение по терриконам и балкам малой родины, невзирая на погоду. Все к тому шло. Тапочки-лосевки мои за ночь не успевали просохнуть, и я уже несколько дней ходила с мокрыми ногами.

Бабушка обнаружила мою высокую температуру ночью, потому как спали мы с ней вместе. В четыре руки, не зажигая света, они с дедушкой обложили меня уксусными тряпками. Ложку аспирина я запивала гадостью из соды, масла, молока и меда. На меня положили тулуп. Утром я была вся мокрая, но температура такого удара не выдержала — упала. Поэтому порядок жизни решено было не менять — они

уходят, я остаюсь дома. Лежу с тулупом на ногах. «Ходи на горшок», — сказала бабушка.

Тетя Таня влетела в пропахшую уксусом комнату ровно в свое время. Я уже научилась класть к ее приходу подушки сикось-накось и бросать на них яркие мамины косынки. Тетя Таня на порог, а у меня уже — нате вам! — готов приют любви. Даже пятна камчатной скатерти прикрыты. Мне нравилась эта сторона греха — сторона декоративно-постановочная. Театральный реквизитор во мне явно пускал тогда ростки. Я, например, завязала на месте потерянной кроватной бомбошки малиновую розу из ленты, которую не вплетала в косички, потому что она была одна — лента, а косичек все-таки — две. Они располагались у меня чуть выше и сзади уха, строго натягивая височки от уголков глаз на восток, если смотреть слева, и на запад, если справа. Или на север-юг, как больше нравится. Косички кончались метелочками на плечах, бантики же сидели параллельно височкам, что по прошествии времени заставляет задуматься о странной определяющей роли виска в жизни девочки, но ей бы тогда мои досужие благоглупости, когда она цепляет малиновую розу на ложе любви.

Так вот, запах кислоты, шатающийся послетемпературный ребенок и тетя в шелковом и черном.

— Хымины куры! — закричала она, что означало — бред, чепуха. Какая болезнь? Абсолютно здоровая девица. Что она, тетя Таня, больных не видела? У нее до войны от скоротечной чахотки умер любимый старший сын Вовочка. Так что насчет болезней как таковых пусть ей не забивают помороки. Она их видела. Она похоронила восемнадцатилетнего красавца, от которого даже в его смертный час пахло цветами, а не кислятиной и тухлостью. Так что, девуля, выметайся Христа ради и не морочь голову интеллигентным людям. Твоя бабушка, моя сестра, сроду была панической женщиной. Она рисует картины в голове одна страшней другой и сама их пугается. А я рисую в голове букеты, и у меня ничего плохого не случается.

К этому моменту у тети Тани не только умер красавец сын Вовочка, но и муж Аким Прокофьевич, добрейший и

милейший человек, по указанию тети Тани работавший в немецкой комендатуре писарем, за что и был арестован и умер в допре от разрыва сердца и отчаяния, потому что никаким предателем Аким Прокофьевич не был, никакими тайнами не владел, а просто он как полоумный обожал свою жену и делал все, как она велела. Можно сказать, что в дилемме родина и тетя Таня последняя побеждала сразу и навсегда. Когда ему объявили, что он будет сослан и сгноен, дядя Аким прежде всего представил, что никогда не увидит тетю Таню. Большого горя, чем это, у него не могло быть, и жизнь абсолютно теряла смысл. Он и умер, как бы закончив все на земле. К вопросу о букетах. Можно себе вообразить, что, когда его, высокого и красивого мужчину, выволакивали из камеры, тетя Таня рисовала в своей голове букет ромашек или там васильков. Пожалуй, васильков лучше. Огромный такой оберемок цветов, частично с комочками земли на тонких корнях, тонет в широкой — для фруктов — хрустальной вазе, и некоторые васильковые особи, утопленные в воде, тем не менее смотрят на тебя через стекло как неутопленные, и от этого мне лично делается страшно, не знаю, как вам. Но это ведь я нарисовала такой букет в своей голове, а не тетя Таня.

Тетя Таня вытолкала меня из кислой комнаты, всучив в руки горшок. Спрятав его в угольный склад, я побрела по улице. И встретила быстро семяющего дядю Мишу, как обычно в шляпе с резинкой. Он шел и делал вид, что меня не знает. Этому уже была уважительная причина. Мои путешествия по окрестностям обогатили меня разнообразными знаниями. Например, я случайно разнюхала его семью. Однажды я припала губами к водопроводному крану напиться водички, а к нему с ведром пришла моя одноклассница. Одноклассница была из застрявших у нас эвакуированных и была для нас во многом чудной: не так говорила, не так плела косу, от нее не так пахло. Она объяснила мне, что неприлично пить воду губами из трубы. А то я этого не знала! Моя мама пришибла бы меня, застань за таким занятием. Я бы много чего услышала от нее про разные губы и разные рты, которые до меня хватали кран. Я бы час полоскала рот мар-

ганцовкой, и если б меня вытошнило, это, с точки зрения мамы, была бы просто-напросто внутренняя дезинфекция. Поэтому одноклассница-чужачка с ведром, имеющая мнение насчет того, что прилично и неприлично... Ей ли меня учить! Я сказала ей, что я пью нарочно. Я проверяю воду. Я наплела ей, что мне дали противоядие, что я ищу в воде горечь яда, что остатки фашизма могут проявиться в самом неожиданном месте. Но этот кран хорош. Она может смело подставлять ведро. Представляю, какой бы хохот вызвала я своим сочинением у коренного народа. У чужаков другой опыт. Он заслоняет путь к местному здравому смыслу.

Вот почему с чужаками легче справляться. Лиля (Лиза? Лина? — имя у нее тоже было с чужинкой), вереща и громыхая ведром, побежала домой. Ее надо догнать до того, как она начнет рассказывать про фашистскую горечь, иначе мне несдобровать. Но она хорошо бегала, эта не аборигенка, она просто налетела на стоящего во дворе мужчину, который хоть и снял шляпу, но что с того? Странгуляционная полоса была на своем законненьком... На шее. Я, как хорошо знакомому, хотела ему все объяснить, но он сурово меня спросил: «Чего тебе, девочка?» Мозги мои скрипнули, но все сообразили. Тем более что Лиля-Лина визжала: «Папенька приехал! Папенька приехал!» Через много, много, много лет на михалковском «Обломове» я стала как полоумная хохотать, одновременно умываясь слезами, когда некий ребенок, бежа в глубину экрана, кричал: «Маменька приехала! Маменька приехала!» Как я могла объяснить сидящим возле связь того и другого? Как? Тем более что связи как таковой и не было. Было нечто во мне одной-единственной на всем белом свете, а посему для других интереса представлять не могло. Что с того, что папенька приехал, не уезжая никуда, и бежать к нему надо было не по цветущему лугу, а по кривой улице, разбитой машинами с коксом и углем, бежать, громыхая цинковым ведром, испугавшись слов о горечи воды, бежать, не ведая, что следом бежит та, что испугала и была испугана этим сама, ах, папенька, спасите нас, дурочек. «Что тебе, девочка?» — сказал папенька и затворил калитку, оставив меня за ее пределами. Что-то гром-

ко рассказывала Лиля-Лина, вышла женщина с ведром — мама, что ли? — прошла мимо меня, пожала плечами. «Чего эти дети только не выдумают, чего не выдумают? А еще из хорошей семьи».

Значит, она знала нашу семью?

Значит, знала и тетю Таню?

Но это было до того. До того, как тетя Таня выставила меня с горшком больную из дома и я встретила чужого папеньку, который сделал вид, что меня не знает. Идти никуда не хотелось. В ближайшей балке, а у нас их сколько хочешь, я присела на камень и заплакала. Я теперь понимаю: плакала во мне болезнь, которой хотелось лечь в кровать, хотелось уксуса на лоб и горячего чаю. Посидев и поплавав, я побрела куда глаза глядят, получилось — к бабушке. И вся эта история, несмотря на некоторую местную экзотичность, могла быть забыта навсегда, не случись шифер. Именно в этот день дедушка взял в конторе подводу, чтоб привезти на нашу стройку шифер. Это обстоятельство было посильнее, чем Фауст у Гёте. Дедушка, бабушка, мама, моя младшая сестра бережно, как яички Фаберже, складывали в стопочку шиферины, восхищаясь их красотой и уместностью в текущей жизни. Уж осень близится... Какое сравнение может быть шифера с толем? Даже смешно ставить этот вопрос, и мама нежно проводила рукой по серому телу шифера и говорила: «Как бархат!» Это свойство нашей семьи — выражать восхищение при помощи несуразных сравнений. Перец у нас такой горький, что аж пищит, шифер, естественно, бархатный. Главное ведь — передать восхищение, а это достигалось. Когда уже кончали переключать шифер с подводы под навес, сквозь двор прошла я. Как рассказывала потом бабушка, я вошла с одной стороны и, не глядя ни на кого, как лунатик, прошла мимо родных и шифера и, переступая через огуречную огудину, направилась к выходу с другой стороны стройки, ну вроде как чужая собака вбежала и выбежала. Видимо, за последний месяц во мне так хорошо сформировался процесс ходьбы, что даже в тот момент, когда градусник зашкалило, а сознание почти покинуло меня, ноги мои все равно шли.

Если бы не сопровождающий шифер дедушка, история закончилась бы монологом бабушки на тему «что еще ждать от этой сестры-сучки?». Дело в том, что тетю Таню я выдала сразу. Я назвала две вещи — горшок и тетю Таню. И моей умной бабушке стало понятно все, и она сказала дедушке: «Езжай на работу, я тебе обещаю — ребенок не умрет».

Но дедушке этого было недостаточно. Он сел на освобожденную от шифера подводу и уже через двадцать минут вытаскивал из кровати с малиновой розой «папеньку». Он поставил его голым во дворе, выбрасывая ему в неправильном порядке вещи: первым был выброшен ремень, потом ботинки, а трусы шли напоследок. Пришедшие со смены вербованные украинки не могли глаз оторвать от голого мужчины, стоящего посередине двора, они не визжали, не забились под кровать, а стояли с открытыми ртами и смотрели туда, в то самое место, которое наш герой старался прикрыть руками, но, как выяснилось, ладоньки имел махонькие-махонькие, и пространство стыда и наслаждения вылезало из-под них и даже как бы просачивалось. Тете Тане дедушка дал возможность одеться. Тут сказалась родственность, ничего не скажешь.

Тетя Таня была отлучена от нашего дома на несколько лет. Она встречалась с бабушкой тайком не только от дедушки, но и от мамы, которая не могла простить тете Тане не тяжелую и длинную болезнь, в которую я свалилась, а мое участие «в этой гадости». Долгие годы мама бдительно следила, не проявится ли во мне микроб распутства, не пойду ли, сбитая в малолетстве с правильного толка, не тем путем. Тетя Таня костерила меня налево и направо, употребляя один, но бесспорный аргумент: «Вы только подумайте! Так предательски поступила будущая женщина!» Ее роман с человеком в шляпе кончился на «голом моменте» во дворе раз и навсегда. Было много других романов, но они уже прошли мимо меня. Когда же наконец все помирились и тетя Таня стала у нас снова бывать, меня настигли угрызения совести. Меня стал мучить грех предательства, а роман оброс разнообразными душещипательными деталями: как тетя Таня шевелила пальчиками ног в тазу, задрал подол, и объяс-

няла мне, как это важно — иметь нежную, как персик, пятку, вот у нее именно такая, и она регулярно трет ее пемзой, чтоб, не дай бог, не закошлатилась, как у Кати (у бабушки). «У тебя такой пятки не будет, — со знанием говорила она мне, — у нас большая половина женщин в роду плоскостопная. Это меня Бог миловал!» Тетя Таня влезала в лодочки тридцать четвертого размера, а я стыдливо подбирала под себя свои плоскостопные ступни с некондиционной пяткой.

Был такой момент — я захотела перед ней повиниться. Я уже училась в университете, приехала на каникулы. Тетя Таня долго напрягала лобик, хмурилась, но так ничего и не вспомнила.

— У тебя, девуля, такое живое воображение, как у твоей бабушки. Ну ты же знаешь... Она в голове рисует картины...

— А вы — букеты.

— Букеты? С чего ты взяла? Букеты я люблю получать. От мужчин. А рисовать в голове? Я что, неполноценная?

Тетя Таня была полноценная на сто процентов. В свои семьдесят она перехватила по дороге едущего из Сибири во Францию своего первого возлюбленного, белого офицера, сына хозяина наших шахт, прожившего длинную и разнокалиберную жизнь где-то в тайге, уже ближе к Америке. Тем не менее умереть он захотел во Франции, где жили его братья и сестры. Благо время уже было вегетарьянское, и ему и его детям было разрешено умирать где хотят. На свое горе (а может, счастье?), он решил посмотреть «родительские рудники», сделал крюк и напоролся на тетю Таню. Я тогда жила далеко, тоже, считай, ближе к Америке. Историю эту мне рассказала мама. Как тетя Таня опять и снова обольстила бывшего возлюбленного, как он ошалел (тети-Танино определение) от ее красоты. Как он забыл Францию, а поперся в загс, прижимая ее к ноге (потому как в росте это было полтора и два метра). Но возникла загвоздка с его пропиской, и любовникам дали отлуп. Они пошли в церковь (в другом городе), но во дворе ее остановились. Судили-рядили и — о великий страх! — все-таки испугались. (А чего, спрашивается? Чего можно испугаться в семьдесят-восемьдесят? Видимо, все того же, раз испугались...) Сибирские дети

и французские братья и сестры завалили блудящего папу и брата телеграммами. «Старик стал нараскоряку, — говорила мама. — Ты бы его видела! В минуту развалится. Тетя Таня наша быстро сообразила, что, останься он, ей его еще и хоронить придется, а до того и горшки могут возникнуть... Она быстренько отправила возлюбленного в Париж — и как в воду глядела: он по дороге умер. А может, не умер? Я ведь все знаю от нее. Тете Тане приятней думать, что умер, чем что ходит по Парижу. Но я тоже думаю — умер. У него такой вид был — на ладан». Так рассказывала мама.

У тети Тани был роман и в восемьдесят, и в восемьдесят пять... «И всегда с участием тела, — брезгливо говорила моя мама. — Не просто чайку попить».

Я пишу, а за окном плачет лето. Который уже июнь у меня стонут от сырости почки. Болезнь оттуда, от той детской простуды. Каждый раз, когда постанывает почка, пощипывает и сердце. И я опять и опять начинаю бродить по местам детства. Вот и тетя Таня возникла оттуда. Исполнила ли я ее желание продлиться в жизни, еще и в моем слабом изложении?

Как выяснилось — нет. Она опять пришла ко мне в бессонницу и села рядом, охорашивая на своем бесплотном теле невидимые мне шелка. «Я ничего больше не помню, — сказала я ей. — Ничего». Она вздохнула, как могла бы тяжело вздохнуть божья коровка, и я поняла, что дело свое я еще не сделала. Но уже знала, в чем оно... Сам этот переход от полного незнания к оглушительному знанию хорошо бы умело и умно описать. Но где их взять — умелость и ум? Это гости редкие, аристократические, а тут надо взять и грубо объединить Эпикура и моего приятеля Зотова, который, нагружившись книгами в Москве, долго и шумно соображал, что из книг сбросить, чтоб не надорвать почку. Чувствуете — опять почка, в смысле завязь. Сбросил трехтомник Лотмана со строгим указанием сохранить, а главное, не лапать без нужды. Он знал эту мою привычку: если вокруг меня не гнездится сразу полтора десятка книг, так я вроде и не при деле.

Ну, в общем, влезла я в Лотмана, а в нем про Сковороду, который писал про Христа и Эпикура. Как в сказке: есть шкапулка, а в ней — яйцо, а в нем — иголка. Иголочка и ковырнула мысль: христианство — религия радостная, поэтому в одну связку Христа и Эпикура соединять вполне грамотно. Мои неглубокие мысли на этот счет вряд ли кого-нибудь заинтересуют. Я ведь эпикурейцев сроду не видела, насчет пожрать, попить и потрахаться народ, конечно, встречался, но вот чтоб любить наслаждения да и быть христианином — тут в моих мозгах происходит скрип и нестыковка. И только я, мимолетно позанимавшись философией, решила, что пришла пора делам важным и серьезным (мне надо было заказывать портрет для надгробия моей тетки, истинной тетки, не тети Тани, напоминаю, она была мне, по сути, бабушкой) — так вот, одеваясь соответственно предстоящему делу — тускло и серо: надгробие же! — я поняла, чего не договорила о тете Тане.

Об ее умершем от туберкулеза сыне Вовочке я уже упоминала. У тети Тани был и младший сын — Талик. Он был старше меня лет на пять, в детстве это на целую эпоху. Почему-то в нашей, как теперь говорят, русскоязычной украинской семье он один предпочитал язык украинский. Привычные понятия, сказанные хоть и родным по сути, но не принятым по жизни языком, определили Талику славу балагура и острослова.

— Ой, як я злякався! — говорил Талик, обходя нашу беззловбную, но шумливую собаку, и всем уже становилось весело, что он «злякався», что такой большой, а пугливый... Надо же — злякався.

— Ну как твоя невеста? — спрашивала бабушка (это к примеру).

— Дбае скрыню, — отвечал Талик. Готовит приданое. И мы уже понимали, что очередная невеста, как и все предыдущие, еще не царицка, а у Талика — простой.

Здесь многое было непонятно. На Талике гроздьями висели девки, а он их по одной отщелкивал, как гусениц. А этого не должно было быть, потому как не могло быть никогда. Дело в том, что у Талика от природы не удалось то са-

мое местечко, без которого женитьба может оказаться вещью весьма проблематичной. Однажды он нам, девчонкам, продемонстрировал свою птичку-невеличку, говоря с веселой скорбью:

— Оце така у мене, дивчата, штуковина, на тильке попысать и хвата...

Почти у всех нас росли братья, которых мы нянчили, поэтому понятие, каким это должно быть, имелось. Но он продолжал похихатывать над собой и всеми, используя «ридную мову», а потом взял и женился на молодой заведующей детским садиком. Девушка была еще та! Из пионерской речовки: тот, кто смотрит «Фантомас», тот и родину продаст. Нина все знала точно. Женщине в ярко-красном неприлично — не девочка. Девочке в темно-синем нельзя — не женщина. Без подкладных плеч вещь не носят, она не сидит и не смотрится. Колено должно быть закрыто всегда, потому что только идиот может забыть о существовании у колена еще и подколенной ямки, а это та же подмышка, только снизу. Неприлично ею сверкать в лицо людям пожилым. Я напоминаю, что речь идет о перфектном времени, можно сказать, по давности почти античном, а по строгости норм так инквизиционном. Сама Нина была строга и в одежде, и в мыслях, возможно, и в душе — но это мне неизвестно, ибо души тогда не существовало. Мы все, как один, состояли из физики и химии, делились клетками, потом распались в прах, и Нина, четко зная конец и начало, радостно наполняла середину одной известной ей радостью — питанием. Во всяком случае, машина с продуктами для детского сада вначале приезжала домой к Нине, где подвергалась «аннексии и контрибуции», только потом облегченным весом двигалась в детский сад. Но попробовал бы кто что-то сказать!

Нина была членом райкома, Нинин детсад блистал чистотой и наглядной агитацией, и самое удивительное: питание в нем, несмотря на крюк, который делала машина, было отменным. Тайны социализма в этом не было. Как ее нет вообще в материализме. Атом — он и есть атом. Ковыряться и познавай. К Нине дети попадали по благу, за взятку, ее молили взять ребенка «на любых условиях», и Нина ставила

условия исключительно продуктовые. Поэтому молоко у нее было самым жирным, мясо самым молодым, рыба самой свежей. Тетя Таня заворачивала дармовые куски так, чтобы они не выглядели продуктами, и приносила моей бабушке. И в этом подаянии, пожалуй, было больше хвастовства, чем щедрости. Все-таки старость у моей бабушки была куда менее питательной и вкусной, несмотря на очевидное ее моральное превосходство, и тетя Таня, разворачивая кусок говяжьей печени, как бы намекала на небесспорность добродетели. Кто это лично разговаривал с Богом и тот ему точно подтвердил, как жить нельзя, а как можно? Кто? Может, поговори с Богом честный человек, который потом Божьи слова не приспособит для своей корысти, то получится, что жить надо по хотению, по страсти, а не по долгу и верности? Вот ты, Катя, какая уж из себя жена-жена и мать-мать-мать? А хорошо тебе, Катя, честно скажи, хорошо? Зубов нет, нервная экзема чешется, матка опустилась к самому выходу наружу, пальцы на ногах карабкаются друг на друга как маляхольные, одна на них обувь — галоши, а кто тебе, Катя, принесет нежнейшую печенку — пять минут — и готова?

Талик и Нина родили Талика и Толика. Тогда еще не было манеры крестить напоказ детей, народ от этого дела поотвык, подзабыл, да и где крестить, если церкви близко не было. Но опять же... Атеизм атеизмом, а кто его знает на самом деле? Грубо говоря, вроде Бога и отменили, — а если не грубо, а тонко? Отчего болит душа, если ее, заразы, как бы и нет? А стыд — это что? Вот все вроде хорошо, все путем — а душу тянет? Это какого рода предмет? Одним словом, детей не крестили, а крестных назначали именно на случай души. Вот я и стала крестной Талика, сына Талика. У меня до сих пор есть фотография хорошенького младенца, абсолютно беспипишного, как и его батя, на которой написано каллиграфическим почерком тети Тани: «Дорогой крестной от Талика».

Так вот и жили. Как под квачем проваливались десятилетия, оставляя отметинами в памяти отрезанные груди у подруг, массовое оглупление мужчин, чужим телом пахнущие трусики дочерей, девочек-невесток, которые приходят роб-

ко и садятся краешком попки, а потом вдруг хрясь! — а это уже ты сидишь на стуле краешком. Возможно, у кого-нибудь взлетает время вверх, к небу. Возможно. Возможно, там... Я не была в Аргентине. И я не была тетей Таней. Потому что только у нее и случилось все исключительно в радость. Даже смерть. Понятно теперь, почему я облокотилась на бесспорные авторитеты Сквороды и Лотмана? Тут, возле чего-то недосыгаемого, и гнездится тайна тети Тани.

Однажды, далеко от тех, послевоенных, времен и ближе к сегодняшним, я получила от тети Тани единственное письмо. Ей было уже лет восемьдесят семь, она только-только вышла из своего последнего романа: старый большевик, орден Ленина, костяная нога, спецстоловая-поликлиника. Одним словом, цены большевику не было. Его можно было поставить рядом только с юным сыном владельца рудников в пятнадцатом году, что до нашей эры, влюбленным в выпускницу-гимназистку Танечку. Но, пожалуй, большевик был даже выше, потому как время выдвинуло вперед значимость столовой и поликлиники. Конечно, протез — минус существенный, ибо пока то да се... Отстегни, пристегни... Тетя Таня — и лязганье ремней? И громкое падение ноги на пол? И жалобное: «Танечка! Подкати мне ее ближе»? Нет, не перевешивали гречневая крупа и филе трески такие подробности. И тетя Таня отказалась закрепить этот как бы последний союз, огорчив этим не только ветерана партии (старик плакал и сморкался, а очки его были мутные, немые), но и его детей, которые давно мечтали о старухе, подкатывающей или там подносящей съёмную ногу отцу. Огорчилась и Нина, которая нуждалась в большем жизненном пространстве. Она уже не могла разойтись с тетей Таней в узеньком коридоре. Кому-то из них приходилось входить во встроенный шкаф, чтоб пропустить другого, и всегда после этого на пол валялись шапки из ондатры, лисы, норки, и однажды именно в норку пописал кот Савелий. Куда она после этого годилась? Шапка? Даже стираная и сбрызнутая духами «Клима»? Как раз в этот момент, когда шапка выветривалась на балконе, Талик и звезданулся на своем мотоцикле. Насмерть.

Мне написала об этом мама, добавив, что со стороны тети Тани полнейшая дурь была вызывать их телеграммой, «будто ближние края и мы молодежь какая... Но ты же знаешь тети-Танин ум...».

Я как-то упустила сообщить, что все мы уже жили в разных городах, что Нина, поднакопив материальных ценностей на наших шахтерских харчах, перевела эти ценности в дом на берегу Азовского моря, как известно, лучшего в мире по теплоте и безопасности плавания. Метров триста шагаешь, пока вода начнет затекать в пуп, если он, конечно, не торчит на животе дулечкой, тогда затекания не происходит. Иду дальше. Так что жить в доме с садом в таком месте — это завоевание жизни сродни членству в бюро райкома или машине «Лада» в экспортном исполнении (доблести ушедшего времени).

Рассказав за ужином мужу и детям, что погиб какой-то неизвестный им родственник, я напоролась на удивленные глаза домочадцев.

— Будем плакать? — спросил сын. — Или обойдемся минутой молчания?

— Обойдемся, — ответила я. — Хотя можно и без иронии. Нестарый еще человек и родственник к тому же.

А потом пришло письмо. Сто раз выгребая и выбрасывая всякую бумажную муру, это письмо всегда откладывала в сторону. Привожу его полностью:

«Уважаемая и дорогая Ольга Сергеевна! (Уже опупеть можно.) Сообщаю вам скорбную весть — в страшной кровавой катастрофе погиб наш дорогой сын Виталий Акимович. (Имелось в виду мой и ее, общий? Ну да ладно, тут что ни строчка, хочется восклицать и всплескивать.) Смерть вырвала его из рядов тружеников и из лона любящей семьи. На славу потрудились медицинские работники, собирая тело покойника, и ты не поверишь, девушка, в гробу он был как живой, такое было мастерство косметики. Не скажу, что под костюмом, не видела, мать такого не вынесла бы, но лицо как от хорошего парикмахера. Ты, может, помнишь, у нас такой был — Нема Губерман? Он ухаживал за мной еще до войны, но ты знаешь мои устои. У меня был дорогой муж,

который любил меня без памяти и в конкурсе с Немой победил с убедительным счетом. Они дрались в Дылеевской балке, кто видел, тот это подтвердит. А потом Нема эвакуировался и как в воду канул, а мой дорогой муж грудью встретил оккупантов. Это известно истории.

Дорогой наш Талик был красив в грубу, и все молодые женщины — не поверишь, даже посторонние — норовили подойти и поцеловать его, и если бы не твердая рука Нины, это никогда бы не кончилось.

Вы, Ольга Сергеевна, работаете в кино и вполне можете это снять, и это будут такие слезы, что ты, девушка, сможешь получить лауреата и станешь известна всей стране в большей степени, чем в меньшей. Про количество венков и говорить не приходится. Это что-то невозможное. Венки занимали пол-улицы, и не думай, что провололочные, как для бедных, — из елок и живых цветов, просто, можно сказать, гирлянды. Речи тоже не кончались, если бы не твердая рука Нины, люди бы говорили сутками. Все подчеркивали, какой великий человек был Виталий Акимович, как много он сделал для людей, — как Данко. Могилу ему вырыли в десяти метрах от главной аллеи, рядом два Героя Социалистического Труда и завуч школы, молодая совсем женщина, — рак матки. Я плохо видела от слез, а еще и от гипюрового черного платка, который все время сползал на лицо, исключительно тонкий, старинного качества материал. Поминки были в ресторане «Золотая рыбка» — самом лучшем в нашем городе. Я не говорю про узвар и кутью, это мы отдаем дань нашему неграмотному прошлому, когда и пищи-то хорошей не было, а только то, что под ногами. Но мы не ударили лицом в грязь, не посрамили нашего возлюбленного сына. Девуля! У нас было все. И свинина, и осетрина, и копченые куры, и всякая остальная мелочь. Но семье погибшего это ничего не стоило, общественность города с радостью взяла все на себя и не расходилась до глубокой ночи. Чтоб облегчить мне страдания, из кабинета директора ресторана принесли для меня мягчайшее кресло из Финляндии, цвет беж, и подкатали мне столик на колесиках. Такое удобство, скажу тебе. И я получила прекрасную возможность слушать воспомина-

ния друзей моего единственного, не считая покойного Вовочки, сына о его жизни и деятельности. Ольга Сергеевна! От имени всех присутствующих на знаменательном событии я прошу вас не оставить жизнь и деятельность моего сына, а вашего близкого родственника без следа. Девуля! Кино просто просится — такая биография. И детство в оккупации. Талик ведь все время точил нож на врага, а был совсем невинное дитя. И его общественную работу на ниве профсоюза. Сколько культурных мероприятий он провел для простых людей. А какой он был семьянин! Про это ходят легенды, как он отвозил Нину с аппендицитом. А сколько трагических исходов от легкомысленного отношения к болям в боку? Талик же пошел к соседу, и тот, не считаясь с личной жизнью — к нему приехала дама из Воронежа, детский врач, разведенная, — отвез Нину в больницу. Ты же помнишь его! Отзывчивость, отзывчивость и еще раз отзывчивость — девиз моего сына. И ничего себе — только скромность».

Далее в письме следовал перечень всех надписей на венках. Надо уметь читать, господа-товарищи, чтоб во всей этой траурно-бюрократической мути усмотреть нечто! Но тетя Таня усмотрела! Великий генератор превращений, она превтворила муть в золотое слово, а горе в радость, и я все думаю: в какой момент трагедии включился ее пламенный мотор?

Вот звонок. В дверь? По телефону? Или крик с улицы: «Убился! Убился!» И старая женщина вдруг понимает, до нее доходит, что речь идет о ее сыне. Что она начинает делать допрежь всего? Кричать? Плакать? Падает замертво? Нет. Она лезет в комод за гипюровой косынкой. Похороны в ее возрасте — вещь частая, косынка недалеко, к тому же тетя Таня с молодости обожает черное. Оно ей идет. Когда-то к черному шелку шла коротенькая стрижка черных как смоль волос. Челочка уголочком, височки высокие, выше уха. Брови, выведенные карандашом не на месте белесых коротеньких всходов, а где-то там, на середине лба, чтоб подчеркнуть удивление радостью жизни. И крохотная бородавчатая родинка у носа обмазывалась тем же слюнявым карандашом и называлась «мушка». Губы, конечно, тоже рисовались, хотя в этом не было никакого резона. Соч-

ные, яркие, они раньше всего остального определяли главное — страстность и жадность к жизни. Когда, подчиняясь моде, она рисовала губы сердечком, это главное выпирало особенно. Нет, не для чайной ложечки радости родился этот ротик, а для хорошей деревянной поварешки, в которой горячее не горячо, холодное не холодно, а потому хлебай — не хочу. Радость моя, жизнь!

Я ответила тете Тане открыткой, буквы в ней были расставлены широко, чтоб меньше влезло слов. Потому что их у меня не было — слов. Тети-Таниными я не владела по причине полной жизненной бездарности. В собственной же лексике — увы! — было слишком много желчи. Слава богу, что мой над-ум вовремя это протрубил. А то бы с подачи низа, потрохов, могла бы ляпнуть черт-те что и потом ела бы себя и выплевывала, ела и выплевывала. Дело в моей жизни обычное.

А вот теперь, когда мое время стало потихоньку сжиматься, вытесняя в другое пространство, в другие миры неслезанное, невыполненное, именно тетя Таня прорвалась через непроходимую стену между... Между чем? Откуда она свалилась на меня? У меня ведь другое на столе — какая-то горькая женщина с суицидом в голове, какие-то слабо говорящие на неизвестном миру языке мужчины, печальные дети в пупырышках диатеза, да мало ли чего определено мною как важное, наипервейшее на ближайшие как минимум десять, повезет — пятнадцать лет. Дай мне их Бог, дай, не поскупись.

Но подкралась тетя Таня. Она дышала мне в ухо и целовала меня своими необъятными губами. Только склонностью к сентиментальной фантастике можно объяснить странное предположение, что это были губы мальчика Жени. Игра воображения? Печаль, что мальчик вырос и подхрапывает в электричках, как какой-нибудь молодой старик?

Тетя Таня есть тетя Таня. Сумела меня достать. Она применила свое средство — любовное. Наверное, пролетая над Юпитером и Череповцом, она размышляла: «Эта девушка, Катина внучка, сроду была малокровная, я ей лично оттягивала веко и смотрела — одна бледнота. А семья позволяла ей читать до помрачения. Они спятили на образовании, как будто

от этого у женщины делается другое устройство. Как будто книжки могут заменить поцелуи и тем более... Я говорила это своей сестре-дуре Кате в лоб: «У девочки подрастают грудочки. Это так красиво, Катя, нет слов! Объясни ей эту красоту». А она на меня мокрым веником. И платья на девулю напяливали старушечьего цвета, чтоб ни намека на грудочки, ни намека на попочку, подчеркивалась одна голова, набитая книжками. Ах боже ты мой! Вот пролетаю над Череповцом — и нету у меня слов для выражения отношения к Череповцу и всему остальному. Какие же идиоты!»

Я рассказала все как могла. Спи спокойно, тетя Таня, а хочешь — летай. Хотя о чем я говорю? Разве по тебе эта бабочкинская жизнь? От эльфов только Дюймовочке кайф... Да что там говорить... Вся надежда, что где-то что-то набрякнет, где-то что-то раскроется, возникнет завязь — и тетя Таня вернется на землю целоваться, как только одна она умеет.

КРОВАТЬ МОЛОТОВА

*Все совпадения лиц и мест
случайны, как и все в мире.*

У меня врачебное предписание — отдышаться за городом. Мой загород — скошенный вниз, к речке, кусок сырой земли, на котором с десятков высоченных сосен, в сущности, для восприятия уже не деревьев, а стволов. Написала слова и ужаснулась второму их смыслу. Будто не знаю, что все слова у нас оборотни. Поэтому считайте, что я вам ничего не говорила о соснах. Или сказала просто — шершавые и высокие. Такие достались. Метут небо ветками-метелками. Ширк — и облака налево, ширк — направо. Только к ночи они замирают, и тогда я их люблю за совершенную графичность, которой на дух нет у подрастающих молоденьких рябин, вставших взамен унесенных ураганом орешников. Рябинки-лапочки — это живопись кистью, не без помощи пальца. Сосны же — графика. Но под всем и, в сущности, над всем царствует на моем куске земли перформанс крапивы, царицы моих угодий.

Сразу, когда я появилась на своем скосе, как бы из глубины самой земли возник голый до пояса, а пьяный целиком мужичок с косой и сказал:

— Ну, хозяйка, черканем крапиву? Сто пятьдесят — и нету заразы, а потом я тебе ее сграбу в кучу, а осенью запалю.

Так здесь делают все. Месяц торчат из земли толстые корни крапивы, их ничем не взять. Банки, пакеты, мячи, руки-ноги кукол являют открывшемуся глазу подкрапивный мир, который, не стыдясь самого себя, стыдит нас за неопрятность жизни, за неуважение к земле и траве, и некоторые, особо устыдившиеся, мечтают о бульдозере, чтоб снять верхнюю землю до самого последнего крапивного корня, а сверху сыпануть гравий. Это особый тип покорителя лесов, полей и рек. Бульдозерный. Есть и другой, который после бульдозера намысливает привезти землю откуда-нибудь, где даже палки плодоносят, сыпануть ее щедро, метелочкой разместить и потом целое лето снимать с веток огурцы, клубнику и прочие яства.

Справедливости ради надо сказать, что оба типа мечтателей — бульдозерные и плодоядные — ленивы. И ни гравия, ни жирной земли не будет у них никогда. Тут можно сказать, что лень русского человека носит космистский характер, и человек уже и не виноват. Его желания — булабочные уколы той субстанции, которая его окружает. И не больно, и сразу заживает любая идея что-то там...

Но вернемся к моменту скашивания крапивы. Это волнительный, как сказали бы во МХАТе, процесс, и в природе возникает большое беспокойство. Подскакивают заполошенные лягушки, всхлопываются перепуганные ежики, злые змейки мстительно исчезают под крыльцом, а беззлобный уж растягивается, как удав, на главной дорожке, пугая маленьких детей.

Я это уже проходила. И верещала от ужа, и ловила ежей, и выкапывала из земли утеранный сто лет тому назад чей-то пинг-понговый шарик... представила возникновение такой разрухи, услышала собственную тахикардию и прогнала мужичка.

— Пусть растет! — сказала я.

И поступила мудро. За ночь крапива выросла сантиметров на десять и стала шелестеть мне в окно. С тех пор у меня с ней *отношения*. Когда с бельевой веревки слетает непришпиленное посудное полотенце и обморочно падает на крапиву, я уже не беру в руки длинную палку для снятия паутины, чтоб спасти полотенце. Я иду по крапиве сама. Она обжигает меня сразу, ей это надо сделать, чтоб доподлинно знать, я ли это. Убедившись во мне, крапива замирает. И я действительно прохожу по пояс в крапиве, как Иисус по морю аки посуху, и мне в ней хорошо и покойно.

Во мне взыграла ботаника, и я решила рассказать про крапиву, про ее жизнь и про плохое отношение к ней людей. Писать о человеческой неблагодарности получается легко и нетрудно. Слова выстраиваются в очередь, чтоб быть явленными, их тысячи про человека и крапиву-природу, где человек — свинья, хотя в чем он не свинья? В отношениях с кем и чем он — человек — царствен и красив? Ламинарии (попросту морская капуста) просто спят и видят, чтоб у человека отсохли руки и ноги и он прекратил свою так называемую полезную деятельность. Вот когда вздохнет океан, ярче засверкают звезды и станет хорошо земле и воде. Про ламинарии мне рассказывала крапива, когда наши отношения стали столь доверительными, что она мне призналась в заговоре грибов против людей, а одуванчиков — непосредственно против детей.

За детей ей от меня досталось, и я какое-то время с ней вообще не разговаривала, но тут вокруг меня началась очередная бурная полезная деятельность людей, и к чертовой матери полетели в щепки две молоденькие березы, кривоватая, но вполне живая сосна и целый выводок бузины. Человек по соседству решил строить себе баню.

— У него нет ванны? — спросила меня внучка, оплакивая смерть березы.

— Есть! — сказала я.

— Тогда зачем ему баня? — внучка размазывает слезы по всей мордахе, но она уже не плачет, она остановилась перед загадкой жизни, которую я ей должна объяснить.

И я рассказываю ей сказку о роли бани в жизни русского человека, почти всегда живущего в холоде. Про то, как баня лечит и как после нее выздоравливают, и пока у меня все идет гладко. Но взятый сказочный мотив сбивается на фальшь. Я помню, как после войны у нас построили общую баню и как однажды по недосмотру бабушки я туда попала. И бабушка поставила меня в таз и вручную перемыла заново. Потому как еще неизвестно, какую болезнь я могла принести из общей помывочной.

Конечно, я не рассказываю это внучке, я ей про то — как прыгают в снег разгоряченные люди, которые потом возвращаются в жар и бьют себя вениками, поливая при этом квасом раскаленную печку.

И тут справедливо сказать: не говори о том, чего не знаешь. Не жарилась, не прыгала... Это верно. Но в бане бывала, учась в университете, и шайку брала, и не знала, куда девать номерок от шкафчика, но главным было чувство срама, не личного, а какого-то надмирного срама наготы и беззащитности.

— Мы будем ходить в эту баню? — спрашивает внучка.

— Нет, — говорю я. — Она же не наша.

— Слава богу! — кричит внучка.

Нет, что-то у меня не получилось с романтикой плескания квасом.

Но не про срам же говорить? Он был у меня от личных комплексов, что худа и угловата, а понятия, что это хорошо, тогда еще не было. Большие и мокрые женщины были королевами, от них шел жар и дух.

Внучка же убежала, и я услышала, как она рассказывала товарищам по детству про погибшие деревья, «хотя у человека есть ванна». Детский народ говорит, что раз так, то они отомстят и спалят баню. За ту березу.

Бить тревогу я не стала — бани еще не было, лето шло к концу, но я поняла, что на следующий год у меня будут другие интересные темы: про «красных петухов». Пожар Москвы 1812 года и про то, что мстительность — это плохое человеческое качество.

Пока же только готовится место для бани. Еще даже не завезен материал. Мало ли что случится? В России нельзя загадывать на завтра, а уж на год!

Но однажды на участок будущей стройки въехал грузовик, и с него была снята очень странная, огромная, запеленутая в полиэтилен вещь. С моего любопытного крылечка было хорошо видно трудное стягивание вещи с кузова. Работяги крихтели и матерились, не зная, как ухватить это нечто. В конце концов они бухнули это на землю, а потом подтащили и уложили *это* на освобожденную для бани территорию. Штука встала точнехонько, мужики на нее сели и стали выпивать, потому что таков первый закон динамики жизни русского человека: сделал — выпей. Разговор их до меня долетал отрывочно и казался бессмысленным. Мужики говорили, что *такое* дешевле спалить, чем с ним возиться, другие же не соглашались, ссылаясь на старое время, когда такое делали о-го-го как! Старое, оно, мол, еще сто лет простоит. Сошлись на том, что дело покажет.

Я порадовалась такому их резону, ибо сама знаю: пока не начнешь что-то делать, ничего и не поймешь. А начнешь — глядишь, дело тебе подсказывает, куда тебе ковылять дальше. Как говорила моя бабушка, глаза боятся, а руки делают. Но тут до уха долетел чей-то накаленный голос, и я испугалась, не вызревает ли драка. Драка в двух десятках метров от тебя — вещь опасная, и я решила, что надо звать внучку, запирать двери и тушить свет. Но прислушалась. Оказывается, мужики кричали о философской категории — о времени. «Время — сволочь!» — кричал тот, что приходил ко мне голый по пояс, а пьяный до пят. «Оно, — кричал он, — только с виду день, ночь и стрелки, а на самом деле оно...» Мужик замер, ища слово поточнее, и вдруг заорал: «Время — оно прокурор!»

— Это кому как... А кому адвокат, — ответил ему кто-то из сидящих.

— Нет, прокурор. Посмотри на Ленина, Сталина.

— Нет, адвокат, посмотри на царя.

— Через сто лет каждый умный, а ты возьми сегодня...

— Сегодня — это сегодня. Оно еще тут. На него суда нет.

— Это почему же?

— Потому что все смутно, потому как близко. Давай приставимся друг к другу носами, и что ты увидишь...

— Кто-то про это уже говорил.

— Я и говорил. Надо отъехать... И чем дальше, тем все станет яснее.

— Кому?

— Людям.

— Но мы-то будем в могиле... Про мое время узнает Райкин правнук, да срал он на это... У него своя будет беда, и что — снова сто лет ждать, чтоб узнать, откуда эта зараза явилась уже у него и от чего он мается?

— Так ведь на ошибках учатся. К примеру, на наших. Пусть учится твоя Райка...

— Никогда, — закричал мой знакомый, — никогда! Русский каждый раз живет, как в первый раз. Ему иначе неинтересно... Думаешь, я не понимаю, что я пьянь и голь, и отец у меня был пьянь и голь, и дед... Но я сам все решаю: плевать, что до меня; мне так жить нравится.

— Генетика, — сказал кто-то.

— Жопа ты! — ласково ответил пьянь и голь. — Жопа! Когда я выбрал свой путь, ее еще у нас не открыли... Хотя тот еврей горох давно посеял, а потом сказал, что никакой разницы — горох, человек или курица. Ну, сообрази — это умно? Я тогда еще в девятый ходил. Я понял, что могу разбить еврея и его науку, у меня голова все тогда складно придумала, но на хрена мне это надо? Я не подчиняюсь ни гороху, ни другой глупости. Я сам живу, как решил. Мог стать ученым, а не захотел, и все. Неинтересно это мне.

— Я тоже слышал про этот горох. Дурь...

— Человек сильней науки, это точно. Нет такой силы, чтоб взять и из меня сделать не меня. Что я, дамся, что ли?

— Вот это и есть генетика, — бубнил кто-то.

Они загудели, возбужденные мыслью не даваться науке, не подчиниться ей, заразе такой. И я поняла: большой драки не будет. Они все заодно. Накостыляют только тому, кто упорствует за генетику.

Я не заметила, как они ушли, полиэтилен шелестел в мою

сторону, значит, ветер был западный. Уже темнело — ведь кончался август, пришла внучка, стала канючить, чтоб я отпустила ее еще погулять, я не разрешила. Тогда она взяла мяч и стала лупить им в стенку. Наша собачья будка (дача) стала дрожать и предсмертно стонать, мне жаль было времени тишины, поэтому я и поймала брошенный мяч. Почему-то приятно было ощущать в руках молодой трофей. Я крикнула внучке: «Лови!» Она подпрыгнула, но мяч с крылечка пошел высоко, легко перелетел ограду участка и шлепнулся прямо в полиэтиленовую тайну.

— Пошли-ка за мячиком, — сказала я девчонке.

Я шла по кромке крапивы, та мне что-то шелестела, девчонка бежала впереди и уже перелезла через низкий заборчик, который разделял наши участки. Собственно, мне можно было и не идти, пока я добрела до заборчика, внучка уже возвращалась с мячиком; идти дальше не было смысла.

Но я перелезла через ограду и, жаясь крапивой чужого участка — мы-то с ней знакомы не были, — подошла к тому, что фактически заняло место будущей бани. Это была просто-напросто огромная двуспальная кровать, поставленная вверх ногами, отчего и не была узнана. Ее низкие закругленные спинки глубоко вгрузили в землю. В такой позиции кровать была похожа на свинячью поилку, которую я наблюдала в детстве, живя по соседству с «оборотистой кулачкой» (так называла ее улица) и «которую, слава богу, не победить» — так говорила о ней бабушка.

Приезжая домой уже студенткой, я спрашивала: «А не победить, и слава богу жива?» «Жива! Жива!» — отвечала бабушка, и глаз ее посверкивал победно. Так вот, без матрасов и вверх ногами кровать смотрелась поилкой для свиней.

«Не победить, слава богу» сбивало меня с мысли и уводило в сторону, хотя я уже давно знаю: никаких случайных и не к месту воспоминаний нет, и слова не приходят просто так, тем более их не выдумаешь, хоть лопни, если хочешь сказать так, как до тебя не знали. Они, слова, появятся, когда их не ждали.

Я рванула полиэтилен. Кроватные спинки втиснули его под себя. И тем не менее с внутренней стороны хорошо мо-

ренного дуба я увидела то, что видела уже однажды: нацарапанное ключевое слово русской речи, его знак, его родимоневыводимое пятно, слово-клич и слово-нежность, слово, которое даже графически рассчитано на любой уровень грамоты. Оно легко складывается из палочек, без всяких там загогулин и выкрутасов.

Сколько же прошло лет? И вот кровать явилась мне снова, да еще этой своей частью. Автографной. Хотя почему она явилась, если явилась я? И мячик я, видимо, не зря кинула, хотела прийти и увидеть своими глазами, что она жива и цела? Кровать Молотова. Через двадцать с лишним лет моей эры и дважды столько предыдущей.

И не случайно ее подбросили к моему загончику, я знаю точно — не случайно. Потому как очень долго я гребовала даже смотреть в ее сторону, даже находиться на одном пространстве с нею. Кровати определено было все равно до моих принципов.

И вот, мадам, вам издалека шлет привет слово из трех букв, причем, заметьте, мадам, вам никто этим — словом — не тыкал, вы сами пришли и развернули то, что, видимо, очень хотелось развернуть. Вы развернули время.

Где-то там внутри меня пахнуло сначала паленым, потом дустом, время стало сворачиваться и сжиматься, а потом просто схлопнулось со звуком, как схлопывается баян, когда уставший баянист отыгрывает в финале вальс «На сопках Маньчжурии» и сделает этот жест, сводя мехи, а потом скрепляет их защелкой. Так, оказывается, может схлопнуться и время. И мое, и то, что до меня, и, возможно, завтрашнее, а ты в горячих складках баяна гуляй среди них сколько хочешь. Конечно, каждый в подобном случае хотел бы попасть на ленту Мебиуса — она похожа на мост, она красива в своем изгибе времени, и на ней можно стоять в полный рост. Но для этого надо, чтоб тебе повезло родиться в какой-нибудь готической среде, там ты высок и красив, тут же, на поставленной среди остатков леса вверх ногами кровати с выжженными навсегда буквами, ты можешь попасть только в мехи сдавленного времени, вчерашний и завтрашний день будут давить тебя с двух сторон, и ты будешь искать щель

выхода. Собственно, это и есть смысл жизни существующей и последующей русского человека, закон его выживания, его национальная — если хотите — идея — выйти вон через щель. Порталы нам не предусмотрены. Ну так я думала, глупая женщина, сидя на кровати Молотова, во рту у меня была гарь, в носу dust, и надо мной — запах много знавшей постели, который пришел как бы ниоткуда, то есть из меня самой, ибо тех лиловатых матрацев со специфическими разводами здесь не было. В сущности, здесь был только остов кровати, но, боже, какую энергию памяти он нес.

...Начало семидесятых.

Мы въезжаем в только что поставленный домик. Он пах едкой краской, сырой фанерой, в нем стояла столетняя газовая плита, раковина с разводами от ржавчины и столь же поношенный толчок. Все вместе это было счастьем. Ибо есть куда привезти детей. Вокруг такие же домики, но есть и другие. Бревенчатые, с огромными окнами — они явно из другого мира, и нам объясняют: то, что не похоже, было когда-то, еще до войны, дачей Молотова, потом он съехал, спецучасток без спецчеловека стал ветшать, его стали утыкивать маленькими финскими домиками (как наш), потому и контингент здесь сейчас другой. Публика низшего командного состава. Шушера.

Так называет нас оставленный со старых времен охранник, надзиратель, комендант. После тех людей он не смотрит нам в лицо, он нами гребует. Я напрягаюсь, жду, когда он произнесет это слово при мне... Он не опускается до уровня сражения со мной. У меня даже были приготовлены какие-то слова. Я их не помню. Помню другое, почему именно на букву «ш» набежало столько оскорбительных слов: шантрапа, шваль, шалопаи, шелупонь... Он ходит, квадратный человек с прямой спиной без шеи, с бритым затылком. Весь каменный на вид. Так бы, наверное, шел памятник Кирову, если бы партия приказала ему встать и идти вперед в каменном виде.

Может, потому именно в России и был писан «Каменный гость», что здесь всегда присутствует возможность сходящих с постамента вождей, чтоб идти по нас своими сапогами.

Дети видят точнее. Они называли его всадником без головы. И хотя у него не было коня, он, безусловно, был всадник другой эпохи, которому выпало на долю несчастье пережить свое время и выпасть в другое. Так ощущаю себя и я в этом застегнутом баяне, в котором одно время плотно прижимается к другому. И я вдруг понимаю, почему не могла спеть песню о русской бане дочери, как поет про нее шансонье в гимнастерке. Вот оно, наше главное: баня, водка, гармонь и лосось. А для меня надмирный срам бани — это не просто голость, это раздевание тысяч евреев перед тем, как идти «в баню». Как можно это забыть? Но баня — это еще и другой срам. Срам окуляра, вставленного для подглядывания «всадником без коня и головы». Баня — это позор не быть собой, а быть только похожим на себя. В мехах времени — это все вместе, это одно из другого: трагедия из позора, позор из трагедии. Родина великая моя, несчастная моя Россия.

Никогда столько я не думала и не размышляла о природе российского рабства, о бесконечности его и в виде иерархии, и в виде цикла.

Мысли были слабенькие. Но это начало семидесятых... Уже была Прага.

Я думала, возможно ли это у нас? И к ужасу, к отчаянию своему, понимала, что ни за что и никогда. Он всегда был передо мной, хранитель места, где какое-то время жил Молотов и где осталась его кровать. Тут уже было не просто служение, а рабское поклонение оставленному запаху и следу сапога. Ведь раб, снимающий сапоги с хозяина, одновременно и хозяин ноги своего владыки. И если сильнее подтянуть голенище, глядишь, и рукой коснешься коленки, а там уже и исподнее близко. Владеть исподним — значит, владеть всем. И каждый раб норовит достигнуть исподнего своего хозяина.

А что может быть исподнее кровати? На ней человек голый или полуголый, на ней у него ноги не по швам, а как им заблагорассудится, в раскидку, на ней спина млеет от удовольствия и не способна в момент закаменеть в памятник. В кровати человек чешет со всей возможной лаской свою твердую и шершавую задницу, и может приподнять одеяло и посмотреть, как осунулся и сник давно не знавший радости мужской причиндал, но он, великий человек, знает: стоит громыхнуть — и он придет, его раб, и ему можно даже пожаловаться, и он тебе поможет, он знает как, у него все предусмотрено. И он побежит быстро-быстро в людскую, секретариат, женский комитет, где до ночи сидит специальная барышня, а на даче всегда горит одно окошко, и там есть кастелянша, чистая и большая... Зачем же хозяину менять такой замечательный расклад жизни и брать решение вопроса на себя самого, да еще и возможность получить по морде, если вдруг объявить существующими некие свободы и права на собственное хочу и не хочу.

Я не про Молотова. Он еще долго жил какой-то странной жизнью, платя взносы партии, изгнавшей его. Говорят, он любил жену. Но я скорее поверю в то, что он не знал, кроме нее, ни одной женщины, чем в его любовь. Потому что, если бы любил, застрелил бы Сталина, ему было проще всего это сделать, но он был раб... И какое-то время спал на кровати, на которой сажу я, запертая во времени. Видимо, он был беспомощен и жалок в своей одинокой постели, а под дверью его сидел памятник Кирову, тогда еще молодой и ухватистый до жизни.

Еще не война. То есть, конечно, война. Вовсю бомбят Англию, немцы уже в Польше. Но какое нам до этого дело? Возможно, нам это даже приятно. И у Молотова хорошее, звездное время... Может, именно с этой кровати он ехал ручкаться с Риббентропом. А какой кайф откусывать на карте горы и реки других народов и государств. Такое счастье, может, и стоит ссылки жены? Он падает на кровать, отдает ей жеребьячью энергию Македонского и хитромудрость Наполеона. Кровать запоминает эти моменты восторга спецчеловека. А что уж говорить о человеке с железной

спиной, который всегда был тут как тут и который не мог и через тридцать лет забыть те эмоции и сказал обо всех последующих людях: «шушера». Естественно! Я ведь не стояла у истоков ни одного исторического безобразия, я не вдохновила собой ни один опавший в бессилии гульфик, я просто имела наглость ходить по той земле, где ходили люди НЕ МНЕ ЧЕТА.

Когда спецчеловек съехал, начался первый великий передел. Когда-то в особняке существовали и столовая, и кабинет, и гостиная, но съехавший хозяин дал волю своим холопам перелопатить всё к чертовой матери, поделить большие комнаты на две, на четыре, на шесть и даже восемь, и только спальня, освященная огромной кроватью, осталась нетронутой — большой и светлой.

Возникла большая коммуналка с общей кухней, с встроенными в окна дверями и одним-единственным туалетом человек так на сорок. Люди жили тесно, но это был их выбор, вернее, не так, они были выбраны жить в спецдоме.

Завистью, всеобъемлющей, всеобщей, была спальня. Барская спальня, в которой, кроме многожды упомянутой кровати, стоял столик-поднос на колесиках, весь в пятнах разного качества, но колесики бегали споро, а мебели у народа было мало. Писали номера на руке, считались, покупали место в очереди, но даже среди самых навороченных гарнитуров столика на колесиках не было.

В это время комнату-спальню занимал некий Лелик, мужик-мальчик, седой и поношенный с лица, но тоненький, как веточка, в остальной своей части. У него была прехорошенькая жена, которая не дожила (она жива, здорова, и дай ей бог) своей молодостью до нашего времени, а то быть бы ей и мисс Бюст, и мисс Ноги, и мисс Всё остальное. Конечно, мужики дыбились. Это был все невыработанный народ из разных партийных институтов, красных уголков и партийных отделов газет. Не знающие никаких физических усилий и при полном отсутствии умственного интереса, они были весьма хлопотливы по женской части. Но жена Лелика была верной супругой, что раздражало мужской контингент. И им было бы приятно, достанься Люська любому из них,

но только чтоб нарушила верность. Как это укладывалось в их головах, я, дожив до седых волос, так и не понимаю. Это было строгое время. За сохранение семьи боролись, как под Перекопом, семью держали в позе заставки «Мосфильма», и не иначе. Одновременно эти же люди блудовали, как в последний час. Впрочем, он в чем-то таким и был.

Некоторые наглые из Института марксизма даже карабкались на выступ фундамента, чтоб заглянуть в спальню и посмотреть на кровать Молотова. Хороших, не наглых, Лелик звал к себе сам и разрешал посидеть на краешке. Был, говорят, случай, когда подвыпившие мужички поспорили на две поллитры, сколько народу может поместиться на кровати зараз. Не могли договориться, как считать людей — лежа или сидячих с поджатыми ногами. Исходили из назначения. Считать лежачих. Но находились пошляки, которые высказывали не лишнюю правды жизни мысль, что кровать подразумевает и позицию одного над другим. Тогда надо было для эксперимента звать женщин, но деликатный, можно сказать, интимный спор через женщин мог получить ненужное распространение, и мало ли... И не за такое людей брали за причинное место. Поэтому посредством перекачивания хрупкого Лелика по кровати полутеоретически пришли к цифре «одиннадцать».

Честно говоря, Лелик очень боялся перемен истории, при которых он может потерять эту свалившуюся на него честь. Поэтому делом его жизни стало всяческое подчеркивание своего ума и знаний на ниве служения системе. И еще он встречал в разного рода конфликтные ситуации, дабы их дипломатически решать. Внутренне он мечтал, я так думаю, о проблеме дележа какого-нибудь пространства, чтоб скрестить шпагу с гипотетическим Риббентропом.

А потом Лелик оборвался на нитке жизни, причем по-глупому, глупее не бывает. Была у него слабость задавать провокационные вопросы при большом скоплении народа. Его за это считали стукачом, но он им не был, потому что там, где надо, провокатор ценился более тонкий. Лелик же был прям, как нынешний телевизорный Доренко. Хотя последний вообще ни при чем он политический волкодав, а

Лелик был скорее литературно-пародийный пудель. Глупость, на которой он погорел, очень характеризует идиотию того времени, мелкопакоcтную, которую надо и можно было отбрасывать носком ноги, как дохлую мышь.

Дело было так. Собирается мужской народ выпить. Сбор, как всегда, возле беседки, что стоит напротив главного дома. Беседка вся уже на ладан дышит, в одночасье может треснуть по швам, но она — место сбора. Это свято, как Седьмое ноября. Мужики считают заныканные деньги. Делается это осторожно и даже по-своему изысканно: пятерки и тройки легкими пальцами высовываются только для обозначения ценности и тут же исчезают в карманах брюк, жилеток и даже в полуботинках. Сложение сумм мгновенное и всегда правильное, что говорит о математических задатках всего народа, даже и того, кто был никем, а стал жителем спецучастка. А тут Лелик. На тонких ножках. У него никогда ни в каком месте денег нет, поэтому его приближение практического значения не имеет.

— А кто, по-вашему, — кричит он, еще не подойдя к беседке, — лучший поэт мира?

— Пошел ты, — миролюбиво было сказано ему.

— Это принципиальный вопрос, — говорит Лелик, вспрыгивая на беседку.

— В каком-то смысле политический.

Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Есенин прозвучали одновременно исключительно из соображения — пусть скорее отвяжется.

Лелик закинул назад свою седую головушку и сказал, что все они не понимают ни момента, ни ситуации, хотя такие вещи надо знать, так сказать, интуитивно. Это уже было нехорошо с его стороны, так как мужики занимали серьезные партийные должности и им полагалось знать все. Я себе рисую картину, как они мысленно перекрестились, что все называли покойников, с которыми ничего произойти не могло, они уже вне пересмотра и возможных перемен. Я представляю, как облегченно они выдохнули чуть было не запертый в горле воздух. Выдержав паузу, Лелик прошелся по беседке туда-сюда, скрипя половицами, стал в позу пионера с гор-

ном, именно такой стоял на участке там, где была задумана когда-то песочница, но при хозяйине детей не развелось, песочницу рассыпали, а пионера с горном передвинули ближе к погребу. До войны, когда ставили главный дом, погреб был в хозяйстве нужнее нужного, он, кстати, остался до сих пор, в нем юные отпрыски детей старых партийцев делают себе героиновый кайф при свете фонарей. Пионер стоит на страже.

Но это будет еще через тридцать-сорок лет, а тогда Лелик шагал по беседке с неким намеком на лице. Страшная вещь — намек — для человека того времени.

А храбрых в той компании не было. Каждый боялся не знать чего-то важного в государственном масштабе, от чего может произойти движение оси жизни и, как объяснял тот же Лелик, тут-то ижица и станет какой. «Кириллица — это, дети мои, кириллица». Кириллицу видели в лицо и в 53-м, и в 56-м, и в 64-м, и в 68-м... И столетие Ленина для многих вышло «какой». Анекдотов развелось, как грязи, песенки типа «нам столетье не преграда». Сурово спрашивали: чему это столетие может не стать преградой? Что такое может быть выше?

Многие сгорели после этого, как свечи.

— Так вот, мужики, поэт всех времен и народов — Лорка, — важно сказал Лелик, слегка раскачиваясь на половине.

Возник ступор. Кто такая Лорка? Почему они о ней ничего не знают? Как ее фамилия? Они не смотрели друг другу в глаза, боясь увидеть, что в другом глазу есть ответ, которого у него самого нет.

Поэт — это медиум
Природы и жизни, —

громко, нараспев произнес Лелик и снял у народа груз с плеч. «Медиум» было не наше слово, его не могло быть в партийной лексике. Это слово было явлением шаманизма и идеализма.

— И как же фамилия твоей Лорки? — спросил завхозотделом райкома партии, который забыл из-за Лелика конеч-

ную сумму денег, так ловко высчитанную до явления этого идиота.

— Невежды! — сказал Лелик. — Фредерик Гарсиа Лорка.

И тут завкадрами большого партийного издательства легко так, чуть-чуть, толкнул Лелика под дых, чтоб знал, дурак, природу вещей и жизни не через медиумов.

Половица под Леликом треснула, за ней треснула другая, и Лелик канул в подполье беседки под общий хохот освобожденного от страха перед неизвестным народа.

Высоты там было на копейку, не больше метра. Но Лелик падал на пень старой сосны, трухлявый пень, несерьезный, но суковатый. Опять двуличие слова, и опять связано с сосной. Надо мне это приметить и быть с ней осторожной. Ничего ведь зря не выскакивает.

Лелик сломал позвоночник; костистый, без всякого мускула, он хрястнул так, что не оставалось сомнений в будущем Лелика. Он немножко пожил паралитиком, а потом умер тихо-тихо, как муха на зиму.

Уже на следующее лето комната с кроватью стояла пустая, потому что ходили слухи, что Лелика видели в окне, и вообще соседи слышали, как ночами бегаёт сервировочный столик, поэтому, хотя дачу предлагали исключительно материалистам, на всякий случай от нее отказывались. Тем более что хорошенькая Люська после смерти мужа стала как-то чернеть лицом и нажила себе рак. И хоть не померла от него, но все равно все ждали. Мне досталась эта история уже в изложении, а главное, в злости, что пропадает площадь, забитая досками. Поменявшийся со временем контингент уже ничего не боялся. Он смеялся над дураками, которые не знали Лорку. Они его уже знали. Они были циники, и слава богу, циник, на мой взгляд, исторически прогрессивней труса.

Дети циников осторожненько, без шума вытащили стекло на террасе, отогнули доску и стали навещать заветную квартиру и заветную кровать.

Надо сказать, что раньше, при Лелике, я эту кровать не видела. Хотя была много раз звана посмотреть. Но это было начало моей жизни в стране спецучастка, когда я всей ко-

жей ненавидела всадника без головы, а с ним и все остальное: его хозяина, их предметы.

Пришлось мне увидеть кровать при плохих обстоятельствах, совсем плохих. Это уже самое начало восьмидесятых.

Значит, юное поколение лазает в окошко и скрипит кроватью. У меня двенадцатилетняя дочь (ровно столько, сколько сейчас моей внучке), и моя главная задача — не упустить момент, когда ей тоже захочется посмотреть, что там. Но ее подружки еще вовсю играют в куклы, так что бог нас пока милует.

Хотя есть одна девочка. Она отличается от всех каким-то потусторонним взглядом. Она ходит, как бы видя что-то другое, это «другое» ей мило, поэтому на ее лице время от времени возникает странноватая улыбка тайного греха. Дети этого не видят. Матери настораживаются. Девочка может сидеть долго и неподвижно, чуть раздвинув колени, со слегка приоткрытым ртом, она не идиотка, ни боже мой, она даже отличница в спецшколе. Откуда нам было знать, что в девочке быстро и неукротимо рос порок, и он ей доставлял наслаждение своим возникновением. Сейчас бы написали — раннее сексуальное развитие. Делов-то! Однажды дочь по секрету сказала мне, что Машка лазает в окошко в ту квартиру.

— Они там пьют пиво, — сказала мне дочь.

Мне казалось правильным предупредить мать девочки, тем более что приезжала она только на выходные. Но женщина эта была неуловима. И только потом я узнала, что весь уик-энд она пила, запершись в крошечной комнатке, отделенной от *той спальни* тонкой стенкой.

Но кто-то из мам, более решительных, чем я, сказал ей все-таки, что Маша ведет себя не очень...

— Ты за своей смотри, ясно? — ответила мать. И женщина, Валя Крылова, машинистка одного из журналов, прибежала ко мне, потрясенная не смыслом ответа, а этим «ты», которое ударило Валю наотмашь, так как она вообразить себе не могла такого хамства. В их редакции сохранялся высокий бонтон, там «выкали» даже уборщицам входящие в высокие инстанции начальники, и Валя признавалась мне, что дорожит из-за этого местом, потому что для многих

«машинистки — не люди». Я еле-еле успокоила Валю, придумав, что хамство — это иногда смущение, а иногда и растерянность, главное, что мать знает, ее предупредили.

Та осень была очень теплой. И мы ездили на дачу в выходные почти до ноября. Ходили с охапками желтых листьев, которых было особенно много в том месте, в котором я нахожусь в данный момент. На кромке кровати Молотова, а, по сути, в баяне времени.

Тогда, в начале восьмидесятых, здесь еще был лес, дачи, в которой я живу сейчас, еще не было, на ее месте стояла огромная соснища, жутковатая своими лапами, похожими на расставивших сети хищников. Последний раз мы приехали в великий праздник того времени, жарили шашлыки, жгли костры, потому что было уже холодновато. Доска на террасу того дома была отодвинута, туда шныряли подростки, мне показалось, что я видела в окне Машу.

Всех раздражал пьяный в дупель сторож, который был напоен нами же, пока переходил от одной компании к другой. Уже когда мы уезжали, он махал нам руками — идиот идиотом, — и штаны у него были расстегнуты и приспущены. Но все знали его жену-продащицу, которая найдет его, побьет и закроет ему ширинку.

На следующее лето мы приехали поздно. Участок уже жил своей жизнью, мелькали новые лица. Обновление контингента шло безостановочно. Подружки дочери все были на месте, пришла и Маша. Она очень выросла и невероятно располнела. Мы, мамы, обменялись мнениями, что это гормональное, связанное с менструациями. Это была главная тема.

Однажды весь участок вскочил от диких воплей. Не могли сообразить, где и кто. Но в конце концов все сбежались к заколоченной спальне. Крики шли оттуда. Мужчины сорвали доски и первыми вбежали в комнату, кто-то из них грохнул кулаком по стеклу и крикнул: «Звоните в «Скорую»! А сюда идите женщины».

Это бездарно, что я оказалась там первой. На кровати Молотова вопила, крутясь на спине, Машка, а из нее текла вода, моча и кровь.

— Она рожает, — тихо сказал кто-то из женщин позади меня. — Ее надо раздеть.

У меня, стоявшей ближе всего, ничего не получалось. Мокрые чулки будто въелись ей в кожу, рейтузы прилипли, а она к тому же дрыгалась, не давая себя трогать. Я вспомнила где-то читанное, что всякая нормальная женщина должна уметь принять роды. Я была всякая, но, видимо, я не была нормальная. Кто-то принес ножницы, Машка завопила еще пуще, но ей все-таки разрезали пояс с чулками и рейтузы и даже стащили их, но тут, к счастью, приехала «Скорая». Мы все вышли, я споткнулась о подносик на колесиках, ухватилась за спинку кровати, за то самое слово из трех букв, которое сейчас тут, рядом со мною.

Кровать была до невероятности вонючей, поэтому после всего мужчины выволокли ее на улицу, подальше от глаз, к одинокому пионеру, стоявшему в вечном салюте.

Разгерметизированная столь грубо, священная комната была приведена в относительный порядок, ее побелили, что-то там покрасили, а главное, перегородили стенкой. И та часть комнаты, что примыкала к комнатухе Машиной семьи, получила дополнительную площадь. Дверь пробивали сами. Так что все было справедливо, по-советски, родился человек и получил свои дополнительные метры.

Конечно, возник вопрос об отце. И общественность стала указывать на сторожа, вспомнив спущенность прошлогодних штанов. Трезвый, сторож сильно забоялся, дело подсудное, и сказал, что в том деле был пятым или седьмым, потому что у Машки были все, и это она их всех имела, если говорить честно. Почему-то этому сразу поверили, и больше вопросов об отце ребеночка не было. Машка, сидя на крыльце своей дачки, кормила маленького из широких грудей, плоских, но молокастых.

Иногда она приходила играть к девчонкам. И тогда мы все, матери, звали по неотложным делам своих дочек. Однажды она пришла и стояла долго и молча, не ввязываясь в девчачьи игры. Что-то было в ней странное. Я следила из окна, готовая отозвать дочку, и думала, не больна ли Машка.

— А он, кажется, умер, — сказала она тихо.

— Кто? — спросили девочки.

— Ребеночек, — ответила Машка. — Что мне с ним делать? Бабушка в магазине.

И снова я бежала, как оглашенная, и первая увидела развернутый на столе трупик.

Мы все стояли и ждали бабушку, а Машка рассказывала, что он уже долго не плакал, а всегда плачет много, она его и развернула.

Потом были похороны, самые страшные похороны, которые я видела, ибо гробик несли дети, и за гробиком шли дети, и они так рыдали, что мы не знали, что с ними делать. Могилка была на местном кладбище, и хоть по месту это было недалеко, жутковатость зрелища всколыхнула весь поселок. Сначала шли дети с гробиком, меняясь во время несения, а потом, через расстояние, толпой шли мы, как бы стесняясь слиться с детьми. Даже бабушка Маши шла с нами, а матери не было вообще.

В этой отдельности детей, несущих гробик величиной с куклу, была жуть и был некий, данный нам в разгадку смысл. Мы его не понимали, а если честно, я не понимаю до сих пор. Меня потрясло другое: это выглядело красиво. Теплый летний день, детский плач, процессия... И слова какой-то женщины: Бог прибрал. И эти два слова дошли сразу. Навел порядок.

Плач детей смысл грех, и позор, и похоть, была чистая смерть и чистые дети. Я признаюсь в этом только сейчас, ибо тогда я не могла допустить, что так думаю. Как сейчас бы сказали, эстетизирую горе.

Конечно, детская печаль скоротечна. Скоро все забылось, Машка стала прыгать через веревочку вместе со всеми. На террасе и половине спальни жил строгий заведующий пропагандой большой газеты, поборник тишины и очереди в уборную.

А на следующий год Маша снова кормила из своих молочных блюдищ мальчика, и снова идентификация отца осталась за пределами человеческих возможностей.

Девчонки, которым уже было по тринадцать-четырнадцать, с тайной детской жестокостью ждали новых похорон. Но не дождались. Мальчишка вырос.

Это он сейчас строит баню. Коля-Матузок. Так случилось, что мы съехали со своей дачи, и в чем-то из-за Машки, явной нимфоманки, рассказы которой возбуждали подрастающую дочь, и, когда представилась возможность перебраться в другие леса, мы так и сделали. Вернулись на этот спецучасток уже через много лет. Получили выстроенную уже без нас дачку на склоне к реке. Народ был уже совсем другой, и тропки по участку шли иные, кое-где появились заграждения, так что возле дачи Молотова мы теперь просто не ходили. Видели, стоит особняк, совсем вгруз в землю и окривел окнами. Я показывала внучке, где мы жили раньше, где гуляла ее мама. Душа к месту не прирастала, а мы оказались людьми не оборотистыми. За долгую жизнь своей собственности не нажили. Дураки. Поэтому когда представилась возможность приватизировать этот нелюбый кусок земли, согласились, ибо отказываться было глупо. Пришло другое время, каждый загородился рабицей, я долго не могла запомнить это новое для себя слово и жалела вольные тропы, которые шли, как хотели, и на них свободно гуляли дети, а теперь идешь между сеток, за которыми задницей кверху стоят люди, внедряясь в землю, не пригодную ни к чему путному.

А я из года в год ращу вольную жительницу этой земли — крапиву.

Однажды на тропе между рабицами встретила полную пожилую женщину, она поздоровалась, что было удивительно в этом новом, все более отчуждающемся мире, и я с ужасом признала в женщине Машку. На вид ей было лет пятьдесят, а ведь она всего на год старше моей тридцатидвухлетней дочери. Рассказала, что живет тут с сыном «все в той же коммуналке». Работает в одном из банков бухгалтером. Кончила финансово-экономический.

— Тогда туда никто не шел, а сейчас конкурс, как в театральный. Получаю в валюте.

— Молодец, — сказала я, почему-то мне казалось, что ее надо морально поддерживать, подбадривать, я не сообразила, что слова «в валюте» определяли мне место в этой жизни. Как когда-то — «шушера».

— А чем занимается твой сын?

— Всем! — сказала Маша. — У него золотые руки. Он тут строит, пристраивает кому что надо. Если что требуется — говорите.

Нам много чего надо, но я отказываюсь практически напротрез. Мы расходимся, и я думаю, что, когда человек выпадает из времени, он прежде всего глупеет. Зачем я отпихнула в грудь Машку, если у меня проваливается пол, осели двери, не закрываются краны? Разве Машка — Всадник без головы? Нет, это слово «валюта» выстрелило в меня и помешало принять протянутую руку.

Мне не нравилось время Молотова, последующее за ним время всадников без головы, теперь я толкаю Машку. Но ведь время, которое пришло, — оно пришло по моему зову, я выносила его под сердцем, а разродилась жабой. Оборотень-сказка. Взял царевич в жены красавицу, а она после венца возьми и оборотись жабой.

А потом Коля решил строить баню. Начальники новой собственности дозволили ему свалить деревьев пять штук и строить. Сразу за мной. Коля все сделал и на хозяйственном дворе стал искать то, что могло пойти в дело, доска какая или кирпич. И тут старый дядька, бывший сторож спецучастка, ныне пенсионер, которого все время тянуло на места бывшей работы, как места боевой славы, сказал Коле:

— Колян! А там стоит кровать, на которой ты родился.

— Я родился в Москве, — сказал Коля.

— Скажи кому-нибудь другому, — ответил старик. — Я это видел своими глазами. Голова у тебя была большая, волосатая, и ты ею двигался.

Все перепутавший сторож привел Колю к кровати Молотова, которая стояла под навесом и под охраной пионера в салюте. Время, конечно, с ней обошлось, как обходится и с живым, и не с живым. Но тем не менее кровать выжила. Матрасы выгорели и были то ли проедены мышами, то ли

проклеваны птицами, но широта и мощь остались — им как бы ничего и не сделалось.

— Возьми! — сторож был щедр. — Будешь баню строить — какую-никакую часть присобачишь. Из стенок полоч сделаешь... Ему сносу не будет.

Коля обошел кровать. Присел на нее. Пружины скрипнули каким-то радостно освобожденным звуком.

— Вишь, — сказал сторож, рассказывая потом всем возле ворот, — пружина — железяка железная, но душу имеет. Признала Колино рождение.

И старик поведал совсем другому народу старую историю из другой жизни. Ну, и что — что брехня? Звучало красиво. «Понимаешь? Сначала Молотов спал один. Потом Машка спала со всеми. И со мной тоже. А потом вышел из этого мероприятия Колька. Звали его Матузок. Все за матерью веревочкой бегал, а та ведь девчонка. Ей и мальчики, и мячики были нужны сразу одновременно».

И хоть Машка объясняла всем, что того ребеночка, что с кровати, она схоронила, история сторожа была интересней. Подумаешь, умер! После этого ничего, пустота. А вот ты вырасти да найди свою кровать рождения — это красиво. Это как в кино. Только кто это такой Молотов? Он чей отец? Или сын?

Я не знаю, сколько времени я бродила в складках баян-времени. Когда выбралась, было уже темно, на террасе горел свет и слышались детские голоса. Внучка играла в компьютерную игру и побеждала инопланетян.

— Между прочим, я не ужинала, — сказала она.

Упрек был справедлив.

Потом, уже уложив ее спать, я вышла посидеть на приступках террасы. Она была от меня рукой подать — кровать Молотова. Она вернулась на спецучасток, где когда-то жил ее главный хозяин. Строгий был мужчина. Аскет. Между прочим, я в это верю. В его аскетизм. Он еще долго жил и видел, что ему на смену приходят охальники-развратники. И он платил взносы партии, как судьбе, чтоб вернуть аскетов.

На мое время выпало существование двух типов власти: аскетов-убийц и голых развратников в банях. И еще воров. В детской считалке выбор был больше — ленты, кружево, ботинки, что угодно для души. Развратники и воры кружевом и ботинками обеспечили. Теперь учатся убивать. Вот душа ноет и плачет, она боится поворота, когда придут аскеты-убийцы на взносы, выплаченные впрок. Или все-таки не придут? Тоже русский вопрос: кто лучше — вор или убийца?

Я задремаю и вижу сон-явь: дети несут маленький гробик, но в гробике не младенец. Молотов в пенсне, которое отсвечивает на солнце. Левым глазом он мне подмигивает. Я вскакиваю и бегу в дачу, и закрываю все засовы. Сопит внучка, храпит собачка по имени Кутя. Светится огонек не выключенного телевизора.

«Господи! — говорю я телевизору. — Спаси нас и сохрани. Не возвращай аскетов. Пусть у детей будут ленты, кружево и ботинки. И что угодно для души. И раз уж кровать нашли, то, значит, — как я понимаю — надо на ней зачинать ребенка. Только перевернуть кровать и поставить на ноги. И ляжет на нее — кто-кто? — Машка. Больше некому. Каков стол, таков стул, как говорит всю жизнь мой приятель. Но простую бабью работу, Господи, она сделает. Ты не отвернись — сделай главную. Пусть у нее родится умный царевич, который найдет себе жену-красавицу, а не жабу. И чтоб пошло у них все умненько и ладненько, а за ними и у нас. На третий раз, Господи, должно получиться что-то путное».

Мы ведь по жизни трехразовый народ: три раза закидываем невод...

ДИВНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ...

Она подумала: я перечитала. В смысле как переела. У меня несварение ума. Надо остановиться. В конце концов, не только для чтения... Дано ей теперь время. Есть много других занятий. Та же перелицовка вещей. Сейчас это дело забыли, а самая пора вспомнить. Наизнанку вывернутые вещи вполне могут заиграть как новые. Слава богу, у нее есть машинка и нет проблемы прострочить.

Тут же полезла в голову всякая ерунда: что скажут соседи, когда она начнет переворачивать для новой носки вещи? Не подумают ли о ней как-то не так? Не заподозрят ли в мелочности и скопидомстве?

«Кто? — закричала она на себя. — Кто может меня в чем-то заподозрить? Кому дело до моих старых тряпок и до того, как я с ними поступаю?» Но мысли — явление непознанное. Они приходят в голову и уходят из нее по своим неведомым законам. И замечено: в момент, казалось бы, укрощения мысли, постановки ее на место она — мысль — больше всего и разгуливается, как пьяный на базаре.

«У меня нет культуры мышления, — сказала она себе. — Это никуда не годится, потому что человек больше и значительнее отдельно взятой мысли. Он обязан с ней справляться».

Конечно, когда она ходила на работу — все было иначе. Там общаешься с другими людьми, что-то делаешь, ходишь на перерыв или в уборную, там много разнообразия. Собрание или субботник. Взносы или поборы по случаю. Все время отвлекаешься, злишься, устаешь, потом трясешься в транспорте, жизнь заполнена до самой пробки, до ощущения распириания, которое принято называть усталостью. Но это не то... При распириании нет мышечной или там умственной боли, а есть тяжесть, как будто в тебя, десятилитровую или какую-то еще, всадалили раз в сто больше. И тебя раздуло, как в детской считалке: «А пятое стуло, чтоб тебя раздуло. А шестое колесо, чтоб тебя разнесло...» Больше не помнит. Но раздуло и разнесло — самое то было всю ее работающую жизнь.

Теперь — мысли.

Ей говорили: первое время на пенсии будет именно так — как начнут гулять мысли. Одна дама очень антр ну сказала ей как интеллигентная женщина интеллигентной — берегитесь сексуальных миражей. Настигают. Ее это глубоко возмутило. У нее? Миражи? С какой стати? У нее все было, весь объем полноценной женской жизни. Роды, аборты, прижигание эрозии, удаление полипов, хронический аднексит. После этого миражи? Ха-ха! Ищите дуру.

И была абсолютно права. Разгул мыслей пошел в другом направлении, и она сказала себе: я перечитала. Нельзя же так! Я только и делаю, что читаю, читаю, читаю, как полоумная. А каково сейчас содержание?

Сначала были еще цветочки, которые вполне можно было прогнать мыслями о перелицовке осеннего пальто. Например, приходит в голову мысль о довойне. Она в чем-то длинном, белом (ночная записанная рубашонка) стоит на высоком крыльце (всего три ступеньки, как потом выяснилось) и тянет ручата.

Все думают — к мужчине. Но она-то знает — к хвосту лошади. Первая красота в ее жизни. Не тюшки-потютюшки какие-нибудь, а конский хвост — живой, сверкающий, распадающийся на шелковые нити. Такой, в сущности, ленивый от величия. Боже, как хочется ей его трогать руками, носом, губами. Подумать только! Хочется быть в середине хвоста. Отец существует в памяти обязательно при хвосте.

Хвост, отец, синусоида повозки, запах кожи человека и лошади. И жутковатая, все покрывающая уже сегодняшняя мысль: хорошо, что отца расстреляли. Сначала стрелял он, потом — его. Хорошо. Что бы она сегодня делала, если бы его не... Не... до войны, не... после, не... сейчас... Этот мужчина — папочка, прыгающий с повозки, — жил бы и жил, сквозь годы мчась, со своей единственной профессией. Вот на эти мысли о довойне хорошо раскладываются распоротые куски драпа. Они покрывают все сразу: ее-ребенка, лошадь, папу, скрипящую повозку — остается хвост. Куски драпа на столе и веточка хвоста. Хорошо это выглядит. Веточку можно выпустить из-под воротника на низ и прикрыть им неправильный запах перелицованного пальто — слева направо. Но для запаха нужен весь лошадиный хвост, а ей хочется чуть-чуть, дать хвост неким намеком. Для возможного интереса. «А что это у вас так элегантно торчит? Шерсть или шелк? Такая непохожая отделка?» — «Угадайте! Это хвост от папиной лошади». — «Ваш папа был жокей?» — «Скорее, нет... Он был... кавалерист...» — «Какая прелесть! Где теперь наши конницы?»

Изящный разговор, да? Что ни говори, перелицовка — дело великое и напрасно забытое. Очень, очень напрасно.

Но сейчас и перелицовка подвела. Не помогла. Случилось так... Она... Скажем наконец ее имя, не аноним же она какой? Александра Петровна. Шура Петровна, как ее звали на работе. Аленька, как звал папа-кавалерист-жокей-растрельщик. Сашон, как глупо придумал муж. Санька, как звала лучшая подруга, которая тоже была Александрой и числила себя Сашкой. Были еще имена недолговечного характера. Первый ее мальчик из семьи кантонистов называл ее Сандрой. А последний, шестидесятилетний мальчик из дома отдыха «50-летие Октября», кричал ей на извилистой тропинке в горах: «Где вы там, Апэ?» Она знала, что, кроме законного имени, была у нее и кличка, на которую она не обижалась, но которая ее временами раздражала. Ее дразнили Матильдой. Было так. Пришел к ним на работу давным-давно молодой начальник (сейчас он уже не просто немолодой, а умер) и в первые свои дни зашел к ним в комнату. «Слушайте, девушки, — сказал он пяти вполне пожилым дамам, — я пишу приказ на премию и забыл, как зовут эту вашу Матильду». И он ткнул пальцем на ее место — она как раз была на бюллетене, тогда всех косил грипп «Гонконг». Все засмеялись, и к ней прилипло. Но так как с начальником до самой его преждевременной смерти у нее были прекрасные отношения, то никакого нехорошего подтекста в Матильде не ощущалось. Матильда потому, что у нее испанский тип внешности. Другие его называют еврейским. Но это испанский. Тут есть глубокие отличия. Черные волосы на тонкий, разобранный по волосиночке пробор, сзади же узел, твердый, как кулак. Или же — конский хвост, прическа-воспоминание, а чаще коса, заплетенная вовнутрь, чтоб, когда ее поставили крендельком, получалось правильное направление плетения. Понятно я говорю? Ей это все идет, волосы с возрастом не седеют и не выпадают. По-прежнему черные, блестящие и густые. И глаза им под цвет. Карие. И брови дугой, хорошей волосистости, хотя и дискредитированы Брежневым. Дальше в лице, правда, преобладал русский тип. Нос в конце гулечкой и щеки без испанских впа-

дин, а налитые, далее с постоянным стремлением вширь И губастенькая она по-русски, а вот подбородок опять на испанский манер — длинный и узкий, самый некрасивый из всего лица. Его она считает *наиболее испанским*, потому что стоит посмотреть на старые картины! Там сплошь и рядом неудачный треугольник лица гарнирует жабо. Кто-то же их придумал! Кто-то же увидел первым этот национальный изъян, какой-нибудь испанский Зайцев, и преподнес фасон королеве. Заройтесь подбородком в кружева, ваше величество.

Она об этом думает, когда смотрит на себя в зеркало, и автоматически прикрывает кончик подбородка, укорачивая его для хорошего настроения после зеркала. Смолоду носила водолазки и вечно натягивала их почти до рта. Ну ведь у каждого есть свой изъян? У каждого. Кривые ноги разве лучше? Или заднее место шире двери? Или — не дай бог — живот выходит за вертикаль носа? По сравнению с такими недостатками внешности подбородок, в сущности, — тьфу! Мелочь. В общем, прожила она жизнь как женщина с вполне интересной, можно сказать, незаурядной внешностью. Жила, жила и достигла предела. Не в том смысле, что собралась умирать, ничего подобного, здоровье у нее контролировалось медициной и было в возрастной норме. Предел — это выход на пенсию. Не будь сегодняшнего времени, она, конечно же, продолжала бы служить в своем патентном бюро, но время ей досталось не лучшее, всюду шли сокращения, пришлось собирать манатки. И все было бы нормально, не так уж она любила свою работу, если бы не комплекс возраста. Вечно она была с ним в раздоре. Начиная со школы, когда, стриженную наголо, ее, уже почти девятилетку, привели в первый класс, а учительница сказала: «Дети! Давайте не обижать эту малышку. Она из вас самая маленькая и скелетистая. Того и гляди...» А она была старше всех. Так потом и пошло. Она всегда смущалась неточностей, которые преследовали ее возраст. Когда она рожала дочь, то — наоборот. Врач кричала на нее, что она перестарок и теперь она, врач, отвечай за нее. Не могла родить до тридцати? Что, она не понимает, что в таком возрасте роды могут дать плохое

качество ума ребенку? А еще интеллигенция! Тужиться не научилась. А вены, вены! Что за вены! Сразу видно, физического труда не нюхала, а туда же — рожать. Врач была, в сущности, монстром — она оскорбляла всех подряд, а никто не оскорблялся. Во было время! Гнули пред нею шеи, безропотно, как холуи какие, подтягивали опущенные виноватые животы, которые несли в себе неизвестно что, стыдились истекающих по ногам вод, а чудовище гоняло их с места на место, и они то босиком по каменному полу переходили со стола на кровать, то носили за собой клизмы и горшки, и все виноватились, виноватились... Приняв ее дочь, врач с удовлетворением сказала: «Еще одна дынеголовая».

Когда дынеголовая пошла в школу, она, дочь, предъявила ей, матери, претензию, тоже возрастного характера: «У нас в классе все мамы такие молоденькие». А ей всего ничего было — сорок два года. Правда, у лучшей подруги Сашки уже был к тому времени внук. И никаких комплексов! Именно тогда бабушка Сашка вышла в энный раз замуж за парня, который только-только окончил вуз. И ничего, жили, как голубки, лет десять. А разошлись потому, что Сашка присмотрела себе вдового отставника с дачей и клубникой. «Сейчас мне это важнее, — сказала она, — природа жизнь удлиняет, а за молодым мужем я послезавтра могу не поспеть». Вы слышите — послезавтра. Значит, до сих пор поспевает.

Разные люди — это разные люди, что там говорить. Она, подруга Сашка, и на пенсию порхнула как на праздник, ходит теперь между клубник загорелая, как головешка, а отставник, помня, из чьих рук получил хозяйку, крутится на турнике, дышит и очищается по йоге, такой бодренький, крепенький стручок для хорошей старости.

— Ты — дура, — сказала ей Сашка. Она не обиделась, хотя придавала значение уму и свой тоже ценила. Но тут — правильное определение. Она в чем-то дура. И она гнала, гнала перелицовкой разные мысли, а однажды терапия изнанки не помогла.

И началось все сразу с высокой ноты. С ля и форте. Противно, одним словом.

Было написано письмо. Она тогда решила восстановить все порванные нити своей жизни. Эдакое экзистенциальное поднятие петель. Одна нить тянулась в Среднюю Азию, где она после войны была бритоголовой первоклассницей и где по признаку слабости и скелетности была посажена с девочкой репрессированных родителей. Они дружили обреченно и тихо, как изгой, в то время когда другие дружили и бежали, дружили и дрались, нормальные, одним словом, дети. Они с подружкой были ненормальные. И вот сейчас, почти через пятьдесят лет, она решила написать Рае Беленькой письмо. Адрес был. Какие-то общие знакомые когда-то оставили. Она взяла и забыла, а потом взяла и вспомнила. И вот теперь она сунула письмо в щель ящика, испытала глубокое удовлетворение от поступка, от своего желания добра и старой дружбы и только-только перешагнула через лужу, что натекла от автоматов с газировкой, как вдруг похолодела от охватившего ее ужаса. *Письмо ли она послала? Подруге ли? А что же еще? Ответила сама себе, пугаясь страха. Не послала ли она донос? Господи, какой донос? На кого?*

Вот тут она и подумала: «Я перечитала, в смысле как переела. Столько всего заглатываешь печатного — спятишь».

Но мысль поселилась. Александра Петровна пришла домой и стала оглядывать стол, бумаги, ручки, ища указаний на то, что она написала именно письмо подруге, а не что-либо другое. Лежал сверху листок с адресом Раи Беленькой, но мало ли? Адрес *туда*, в другое место, ведь существует в голове постоянно. Разве нет? Не мог ли изворотистый на пакости мозг специально выставить вперед эту вечную бедолагу жизни — Раису Соломоновну Беленькую, — чтобы скрыть, покрыть главное свое дело — донос?

Господи, на кого? Александра Петровна даже заломила руки и сказала: «Ты видишь, Господи, я даже заломила руки, потому что не может быть такого, мне не на кого писать доносы». И тогда появилась и также самозахватом поселилась новая мысль: в принципе ты решаешь вопрос, на кого; вопрос же могла ли ты не ставишь! Александру Петровну — как бы это лучше сказать? — обуял ужас или охватила паника. Синонимы ли вообще ужас и паника? Взять, к приме-

ру, ужас. Самый большой ужас в жизни Александры Петровны был во время войны, когда они бежали от немцев, селись на грузовик, мама уже закинула ее, малявку, за борт, сама же стала подсмывать юбку, чтобы легче встать на колесо, а машина возьми и тронься. Из нее, из слабосильной малолетки, возник тогда такой вопль, что шофер выскочил из кабины, решив, что он ненароком кого-то придавил. Ей из-за этого досталось от матери, но какое все это имело значение, если мать была уже рядом в кузове и тянула юбку вниз, прикрывая колени, потому что все успели увидеть ее голубые рейтузы и круглые розовые резинки на толстых чулках. И она, Александра Петровна, до сих пор помнит эти рейтузы и эти резинки и мысленно всплескивает руками: как же это носили, почему так труден был путь придумывания колготок, получается, атомная бомба пришла людям в голову раньше? Можно ли говорить при этом о гуманизме человечества и тем более о божественном его происхождении? Это касается ужаса, хотя странно, что в это понятие попали рейтузы. Но попали так попали, куда теперь их денешь? С паникой у Александры Петровны другие отношения. Паника у нее, можно сказать, вещь житейская, обыденная. Она в нее впадает регулярно. Нет сахара — паника. Нет мяса — паника. Мороз — паника. Жара — тоже, между прочим. Дальше подставляй названия продуктов и явлений. Но если все-таки вычленишь квинтэссенцию понятия, создать, так сказать, образ идеальной паники — архетип, то это будет вот что. Совсем даже не война, а самая что ни есть мирнущая жизнь. Выходила замуж дочь. И напрочь пропали белые туфли. Нет, нет, насчет туфель была обычная паника. Так вот, исчезли туфли. Их нашли при помощи одной доставалы-пройды. Пройда принесла именно то, что надо, у этих людей только так, и за это и напросилась всего-ничего — на свадьбу. «О, — фальшиво сказала Александра Петровна. — Мы будем очень рады». Конечно, никто ей рад не был, потому что никто пройду толком не знал, а знал бы — был бы рад еще меньше. Пройде надо было попасть в их компанию, потому что у нее был личный интерес — чей-то там муж в жениховской родне. Ее давно избегали, как чумы,

а она возьми и явись как гостья со стороны невесты. Дело дошло чуть ли не до «мы покинем зал», все взоры были осуждающе уставлены в Александру Петровну, а она — тоже деталь, на которую надо обратить внимание, — думала об одном: с этой гостью, которой она фальшиво сказала «мыбудемоченьрады», станет подойти и снять с невесты белые туфли. «А, — скажет, — я передумала их продавать. А, — скажет, — это с моей стороны было мгновенное помешательство продать такую красоту по номиналу. А — пошли вы все». Вот о чем колотились нервы Александры Петровны. Вот что такое паника из всех паник. Чем кончилось? А ничем. Все остались, потому что в нужную секунду открылась дверь в банкетный зал, откуда блеснули серебряные шейки шампанского, острый на продукты глаз выхватил соты с красной и черной икрой и тут же дал сигнал мозгу не валять принципиального ваньку из-за какой-то бабы, а идти и кушать. Или вкушать. Тем более что и нос давал мозгу правильный сигнал, унюхав запах жареной свинины по рыночной цене. И хотя Александра Петровна вся внутренне, можно сказать, была обогрена кровью, дочка резво поцокала белыми туфлями к столу во главе правильно мыслящих манифестантов. Все-таки что ни говори, но в нашей стране пища определяет сознание. И пройда тоже просочилась вместе со всеми, и что там было с искомым мужем, предметом большого разговора и тем более скандала, к счастью, не стало. И это еще раз подтверждает: никогда не надо жмотиться на закуску и выпивку, они себя покажут и могут даже выручить. В конце концов — какие у нас еще резервы радости и победы?

Так вот, испытав ужас и панику от мысли, что она послала не письмо, а донос, Александра Петровна тут же отбила Р. С. Беленькой телеграмму: «Получении письма телеграфируй». Таким образом, две-три недели — так теперь ходит почта — были обозначены ею как «не знаю какие». Вдруг именно это письмо затерялось? Вдруг адрес, полученный от случайных людей, был неверен вообще? Представилась и Рая Беленькая, которая ни с того ни с сего получит непонятную телеграмму от наверняка давно забытой ею Саши,

всполошится, сама станет звонить туда-сюда, слать телеграммы, увеличив таким образом круговорот ужаса и паники в природе.

Но дело было сделано, и не оставалось ничего другого, как ждать и думать, думать о своем возможном доносительстве неизвестно о чем и неизвестно на кого. Александра Петровна перебрала в памяти, и, надо сказать, честно, всех людей, которых не любила и которым вполне сознательно могла пожелать зла. Она искала в жизни этих людей факты, которые могли бы стать, так сказать, *темой доноса*. Получалось, что таких фактов нет. Ведь не будешь же брать в расчет забубённые человеческие крики о плохой жизни, о дороговизне и всеобщем бардаке, если официально, по телевизору, и не такое говорится? Даже Ленин уже не табу. Такое о нем услышано! Но утешить это не могло. Александра Петровна теперь уже из истории доподлинно знала, как самоотверженно писали люди доносы друг на друга, не основываясь ни на чем. Если это могло быть в то время, почему не случиться такому сейчас и с ней? И тогда не было оснований, а люди строчили, и сейчас... Вдруг эта сила выше и сильнее человека?.. Если мог спятить на подлости целый народ, почему ей быть лучше? Не лучшая она, ничуть. Она вполне стерва, можно сказать. Она не дает людям займы, потому что всегда не уверена, что долг вернут. Она не любит человеческих прикосновений в транспорте. У нее хватает выдержки смалчивать, и только. Внутренне ее с души воротит. И тогда она старается поймать глаза ненароком прижатого к ней человека, чтобы взглядом из души передать свое отвращение, и люди спешно отодвигаются от нее, но что бывает дальше? Вспугнется один, а другой тут же затекает в свободное возле ее тела пространство, и уже новые глаза приходится искать для нового «прочь!». Дочь ей как-то сказала: «Чего ты, мама, в транспорте всегда зыркаешь? Кого ищешь?» Стала следить за собой, потому что испугалась — не примут ли ее за карманницу, высматривающую жертву? Ведь про них тоже в телевизоре говорят — с виду люди как люди. Приличные. Вообще-то, что внутренние мысли и поступки не имеют ничего общего с внешним видом и

более того — внешний вид есть полная обманка для глаза, все это беспокоило Александру Петровну. Если так соответствует внутренне и внешне, то, может быть, существует и полная автономия поведения разных половин? Я иду вся такая с виду приличная женщина с испанской внешностью, а на самом деле я только что написала подметное письмо или опустила в замочную скважину соседей несколько молодых клопов, свернув для этого желобочек из дефицитной фольги, оторванной от шоколадки. Я выпустила клопов и сунула фольгу обратно в сумочку, чтобы найти ей дальнейшее применение. Боже, сколько в таком случае пакостников, которых не определишь при личной встрече. Но если их много, то почему я не могу быть среди них? Я — как все. У меня папа расстрельщик. А мама такая с виду была размазня, такая «не с той стороны руки»... Но когда умерла, то у нее в белье нашли пять тысяч стопочкой, а в то время пять тысяч звучало ого-го! Они тогда купили гарнитур «жилая комната» за тысячу восемьсот, и ковер, и дубленку за сумасшедшие по тем временам шестьсот рублей. Вот тебе и мама-размазня, ослепшая на штопке и латании во имя экономии.

Ничего не поделаешь — можно допустить, можно, что человек своей плохой половиной независимо и тайно от приличной может и совершает поступки, соответствующие природе этой половины. Иначе не объяснить количество подлости и зла.

Она была горда открытием. Она сказала себе: «Я не допущу. Ни доносов, ничего другого. Я взяла над собой контроль».

Однажды ночью она проснулась в липком поту страха — она убила мужа. Пришлось встать, зажечь свет, достать старый ридикюль с документами, найти некролог в заводской многотиражке, где черным по белому: скончался скоропостижно, от обширного инфаркта, полный сил и здоровья. Именно так — от инфаркта, полный сил и здоровья. Через восемь лет обратилось внимание и не то что успокоило ее, а наоборот — вскормило ужас. Разве можно уйти без посторонней помощи, будучи полным сил и здоровья?

Незадолго до смерти они на мамины зачатки так обустроили свой «хрущевский трамвайчик», что она сказала: «Мы

выжали из этой планировки все, что могли». А муж возьми и ляпни: «Теперь наша задача — умереть до того, как Ленка начнет здесь рожать детей». — «То есть как? — возмутилась она. — Мы что, ей не будем нужны потом, когда пойдут дети?» — «Тесно, — засмеялся муж. — Нужны, но тесно».

И что вы думаете? Он умер. Полный сил и здоровья. И вот теперь, через восемь лет, Александра Петровна вернулась в ту ситуацию, чтобы заново ее проанализировать.

Она тогда — в обустройстве — больше всего была озабочена проблемой двух окон, навсегда смотрящих друг на друга, в квартире типа «трамвай». Как быть с занавесками? Должны ли они быть в пандан или контраст даст больший эффект? Портьера на дверь была отброшена сразу как устаревший элемент интерьера. Открытость, запахнутость, и два окна напротив. Интересная, в сущности, задачка для дизайнера. Вот, решая ее, Александра Петровна и думала о словах мужа о желательной их смерти. И была — очень-очень! — раздражена. Даже не то слово. Разгневана. Ему главное — было бы хорошо Ленке. Что, она раньше об этом не знала? Ленка для отца — все. О своих отношениях с мужем Александра Петровна могла сказать одной фразой: «Мы с ним жили под одной крышей». Жили под одной крышей квартиры-трамвая. А любил-обожал муж дочь. И никого больше. А когда Александра Петровна превратила трамвай в терем-теремок, кто в тереме живет, муж сказал единственное, что мог сказать: лучшее должно быть детям. Доченьке. А как это сделать? А очень просто. Помереть... «Ах ты, сволочь... — думала тогда, стоя в дверном проеме, как в раме, Александра Петровна. — Ах, сволочь... Я что, не в счет? Я что, не могу пожить здесь как человек, переходя из комнаты в комнату, из бежевой гаммы в салатную? Когда из замученного войной и послевойной детства, из поношенной юности я наконец пришла к приличному существованию (спасибо, конечно, рохле-маме), так возьми и умри?» Ей и в голову тогда не пришло испугаться, не накаркает ли муж им такую судьбу. Она злилась на него, злилась. Дурак, думала, и сволочь.

Теперь же, через восемь лет, испугалась, не сделала ли она чего-нибудь, что помогло бы этому карканью сбыться?

Александра Петровна погружалась в воспоминания без всякой осторожности. Наоборот, она в них плюхалась с разбегу. А, вот тут я еще не была, что там? — и бух головой вниз. Вот, например, пара кроватей деревянных с голубыми матрацами, голубыми, а не в традиционную полоску. Хотелось даже, чтоб слегка торчал голубой шелковистый кончик... Не у каждого же такой...

А цена... Господи, цена этих прекрасных кроватей, купленных плюс к гарнитуру, была всего ничего — девяносто рублей. Они стояли головой к окну в маленькой комнате и занимали все пространство. Из-за батареи — плохо голове — спать им приходилось ногами к изголовью, к высокой спинке, что безумно раздражало мужа. Он говорил, что все это нелепо, что какая там к черту красота, если от нее нутру плохо. «Я не могу жить вверх ногами», — возмущался он. «Думай, что говоришь, — она ему. — Я разворачиваю тебя по горизонтали, а не по вертикали». — «С тебя станется, — шумел он. — Ты меня еще в пенал положи!» — «Ляжешь и в пенал», — отрезала она. Сказала ли она это до того, как он пожелал им смерти, или после?

Она не могла это вспомнить и просто спятила от беспокойства.

Решила подключить память дочери. А не помнишь ли, доченька, когда наш папочка бузил из-за изголовья кроватей?

Дочь вышла замуж очень удачно, в смысле квартиры. У мужа была замечательная старинная полуторка, он махнулся со своей бабушкой, как говорится, не глядя. Скажите, стоило ли умирать отцу?

Ленка жила *совсем иначе*. Иначе на клеточном уровне. Как будто не из соков матери дочка, а ребенок из пробирки. Поэтому у них реакция отторжения. Хорошо, что Александра Петровна владеет эмоциями, а то бы...

Ленка с мужем обожали турпоходы, причем чем дождливей погода, тем лучше им было, и коллекционировали заварные чайники. Для походов у них был набор разнообразной брезентухи и резины на тело и на ноги, а для чайников вся-

кие протилочные фланелевые тряпочки и набор передников под цвет чайников. Уже от одного этого у Александры Петровны начинался горловой спазм. Детей они не хотели и говорили откровенно, что они их не-на-ви-дят. Они бесконечно лизались по этому поводу, что так удачно нашли друг друга. «А женился бы ты на Верке, у тебя было бы уже трое и был бы ты по уши...» Это дочь мужу. «А клюнула бы ты на Егора, он бы тебе всандалил двойню». Это муж. И кончиком языка друг друга, как собачки: «Сладенький!», «горяченькая!». Матери каково это видеть? Замирают, сплетаясь руками-ногами, причмокивая, прихлюпывая, посапывая, постанывая.

— Вы забываетесь! — кричит она им.

— А мы что? — бормочет Ленка. — Мы же балуемся! И в своем доме, между прочим.

Вот это — «в своем доме» — действовало на Александру Петровну странным образом. Хотелось заплакать, что — вот, дочь, в своем доме и граница на замке. И одновременно — какова раздвоенность человеческой природы! — была прямо-таки животная радость, что — от-де-ле-на. Что пришла-ушла, а сколько трагедий от того, что уйти некуда. Не счастье, как алмазов в каменных пещерах.

Что касается Ленкиной памяти о том, что отец бузил из-за изголовья... В конце концов, ради этого пришла.

— А он бузил? — удивленно спросила Ленка. — Это меня — меня! — выводило из себя ваше ложе. Надо же было придумать — поставить кровать под люстрой. Извращение какое-то.

— Ты хотя бы помнишь нашу кубатуру? — обиделась Александра Петровна. — Это тебе тогда досталась большая комната.

— Но кровати под люстрой! Фу-у-у.

Странно, что именно *так* все видела дочь. Получалось, что то, как она, Александра Петровна, придумала и как ей нравилось, было противно и покойному мужу, и дочери, но ей *настолько* нравилось, что на мужа она вообще наплевала, а дочь просто не заметила. Вот она, оказывается, какая есть. *Такая разве не отравит?*

А единственная дочь Елена стоит рядом и все подливает, подливает масла в топочку. Смехом, конечно.

— В тюрьме, говорят, такие пытки самые страшные — свет лампочки в глаз. Это была казнь, мамуля?

— А я? Я где спала? Не под той ли люстрой?

— Чего не стерпишь, чтоб другому насолить.

Александра Петровна так зарыдала, что дочь испугалась:

— Господи, мамуля, да я же треплюсь. Да вы же с папой были такая пара.

— Какая? — спросила Александра Петровна. — Скажи, какая? Это важно, мне это очень важно.

— Ну, слушай, — Ленка приготовилась говорить долго, уместилась на кухонном стульчике, стала загибать пальцы. — Слушай. Во-первых, единые требования. У других мама — одно, папа — другое. У вас не побалуешь. Даже когда правильно думать по-разному, вы думали одинаково. Во-вторых...

— Подожди! Подожди! Единые требования... Ты относительно себя?

— Я относительно жизни, — вдруг почему-то увяла Ленка. — Может, от этого папа и умер?

— От чего?

— Ну... От единства, что ли... Ты травоядная, он млекопитающий, а ели одно... Кто-то должен был умереть...

— Ты считаешь — мы не подходили друг другу?

— Нет, вы хорошо спелись. То, что вас различало, вы сожгли на общем семейном костре. Да ладно тебе, мама... Папы уже столько нет...

— А при другом варианте — не со мной — он мог бы жить и жить.

— Он мог бы умереть в двадцать пять! — закричала Ленка. — В тридцать! Он мог бы стать Гагариным или уголовником. Мало ли? Ты что, фантастики начиталась? Откуда у тебя бред на тему, что было бы, если...

Явился из комнаты муж. Дочь повисла на нем.

— Спаси! Мамка меня замучила. Она просчитывает варианты жизни. Скажи ей, скажи! Мы живем без вариантов. Варианты — это не у нас. У нас судьба. Чет — нечет...

Жесткий фатум... Карма... И так будет сто, триста лет... Пока не отмоем кровь, которой все залили по шею, по маковку... Господи, как еще?

Ну все что угодно! Но такое! Они же говорили о семейном, близком, печальном, они папочку-покойника вспоминают, особенности его характера, при чем здесь карма и кровь по маковку? А муж Ленку ласкает, по спинке гладит: «Успокойся, родная, успокойся! Ну, дурочка, ну...» И на Александру Петровну смотрит злым глазом. Она в нем читает: если вы, приходя к нам, будете доводить мою жену до истерики, то не ходить ли вам куда-нибудь в другое место?

— Она моя дочь, — сказала Александра Петровна этому глазу, но получилось это вроде невпопад. На мысленные слова надо мысленно отвечать, а то такое ляпнешь, что за всю жизнь не оправдаешься.

— Не морочьте себе голову разными кармами, — сказала Александра Петровна, идя к двери, — тоже взяли моду. И у кого? У нищей и голой Индии. Нет чтобы учиться у шведов или финнов. Посмотрите на себя в зеркало — мы европейцы. Цвет кожи, скелет... И вообще... Я читала про эти нирваны — опасная дичь. Сын моей знакомой, мальчик одиннадцати лет, где-то вычитал — у индусов! у индусов! — про наслаждение, что ли, смерти... И затянул себе петлю на шее. О матери он подумал? Каково ей? Так что читайте, читайте! Чет — нечет, фатум — статум... А жить надо чистоплотно и скромно...

Они смотрели на нее, как на ненормальную. Ну, во-первых, она вообще немногословна и если где и разойдется с речью, то уж не с детьми, конечно. Не хватало еще! Во-вторых, вид у Александры Петровны был подходящ! В процессе речи она почему-то расстегнула пуговички на кофточке, видимо, чисто нервно, и теперь они видели розовую комбинацию и черный лифчик с перекрученной лямкой и белое пятно, конфигурацией похожее на Черное и Азовское моря на карте. Азовское море Азовом — или Таганрогом? — упиралось под мышку и уходило в сумрак спрятанного тела.

Ленка бросилась застегивать мать, а та вроде ничего и не заметила, дала себя прибрать, продолжая осуждающе говорить и смотреть на зятя:

— У меня есть желание — побить вашу посуду. Потому что не могут чайники стать наполнением жизни. Я понимаю — книги. Соберите «Жизнь замечательных людей». Пржевальский. Антуан де Сент-Экзюпери... Мало ли... Или даже кактусы как явление природы, как разновидность флоры.

Дети не спорили. Стояли и слушали. Более того. Ленка кивала и повторяла: «Хорошо, мама, хорошо. Будет тебе флора, будет и свисток».

Александра Петровна уходила с ощущением какой-то важной и выполненной миссии, высказалась наконец про чайники и указала направление жизненного пути. Все же остальное было ею забыто. Вышла от дочери женщина, которая пожурела детей за бестолковые пристрастия, а что для матери важнее, как не наставление чад на верный путь? «Правильной дорогой идете, товарищи!» Откуда это? Из какой литературы?

Александра Петровна не знала, что Ленка в этот момент рыдала в своей чайниковой кухне и причитала:

— Господи! Да что же это с ней? По ней же психушка плачет!

А муж дочери мягко так, как дитю неразумному, объяснял:

— Лен, а Лен! А не найти ли нам ей старичка с работающим пистоном? Насколько я понимаю, у порядочных теток сплошь и рядом повреждение в уме от простого плотского недоедания. Извини, конечно, она тебе мать, она тебе не женщина. Но объективно... Абстрагируясь от личности...

А у Александры Петровны, наоборот, был душевный подъем, и она даже решила сходить в кино — сто лет не была. Что теперь показывают людям? Красивый американец с навсегда закаменелым торсом пялился на нее с такой тупой тоской, будто, давно ничему не удивляясь, он все-таки удивился, что она пришла... На него, что ли, смотреть? Неужели? Ей даже показалось, что он ей так и сказал: «Неужели? — и рассердился: — Иди! Иди домой. Нечего!» «Нет уж!» — ответила она ему с некоторым вызовом и довольно громко, отчего парочка впереди, хорошо пристроившаяся

для получения оргазма, отпрянула друг от друга как ошпаренная, а Александра Петровна — это ж надо жить и поступать невпопад — с достоинством советского человека пояснила дураку-американцу: «Я свободный человек в свободной стране. Делаю, что хочу». Парочка услышала в словах намеков на свои дела и, хлопнув креслами, пересела подальше; и тут нельзя не сказать, что, говоря на одном языке, можно ни черта не понять, а можно — как Александра Петровна с американцем — очень даже понимать и сочувствовать друг другу. «Каково тебе там с неподвижным торсом?» — «А каково тебе с этими трахальщиками на виду?» О-хо-хо, жизнь!

Первое, что увидела Александра Петровна, выйдя из кинотеатра, был синий нарост почтового ящика. И все сразу мгновенно вспомнилось, начиная от письма Рае Беленькой и кончая этим, конечно же, не случайным заявлением дочери о том, в сущности, что все мы — сволочи-кровопролитчики.

Все вопросы вновь открылись — донос не донос, инфаркт не инфаркт? Все могло у нее быть — у Александры Петровны, все. И полезла в голову предыстория ее истории. Эпоха до ее эры.

...А мамочка и папочка уснули вечером... И был это январь тридцать седьмого года. Они тогда (по семейной легенде) отдыхали в санатории для партактива. Мамочка очень гордилась этим моментом своей жизни. «Солидные такие люди, — рассказывала мамочка-рохля, — со следами пуль и ножевых ранений. Герои, — и без перехода: — Каждый лист пальмы протирался. Каждый. Мы были самые молодые. И нас обожали и поощряли!»

Александре Петровне захотелось в тот санаторий. Как их там поощряли — мамочку и папочку? Как? Были ли скабрзные шуточки старых инвалидов или — наоборот — все сплошь говорили только о высоком? Что было тогда высоким? Господи, что за чепуха, возмутилась Александра Петровна. Родители были молодые и, конечно, норовили остаться вдвоем, они, наверное, пропускали полдник, поэтому много ели в ужин, и все равно сытости до утра не хватало, пили ночью воду из графина и грызли печенью.

«Не ешь сладкое, — говорил отец. — Нам нужен сын. Мы назовем его Александром. Это в переводе на русский — победитель». — «Правда? — удивлялась мама. — А с какого языка?» — «С древнего, — отвечал отец. — Македонский ведь был полководец. С него и пошло...» Мать виновато пережевывала ненужное для создания мальчика печенье. Она то уже знала, что продукт пропадет зря, что никакого мальчика не будет. Она знала — в ней девочка. В конце концов, последняя борьба хромосом происходила на ее территории. И тогда она вспомнит, что среди Александров были и женщины. Коллонтай, например. И она сказала об этом отцу. И отец ответил ей, что, конечно, Коллонтай Коллонтаем, но она должна тем не менее постараться. Пусть ест больше мяса, а на сладком затормозит.

Спрятал ли он от матери печенье? Александра Петровна так задумалась об этом, что, проходя мимо, не поздоровалась с соседками-старушками, укоренившимися на всю оставшуюся им жизнь на лавочке, за что и получила вслед аттестацию с оттяжкой. «Этой чего не жить? Мать ей хорошо оставила, да и муж не пил — не курил. Дочку выдала в жилье. Одна в двухкомнатной, как барыня. Картошку несет обязательно с букетом. Ты разведи цветы в горшке и нюхай. Не, носит. Изображает! Нет! Простых теперь мало. Теперь мода на границу. Там старухи старые красное носят и вино сосут через соломинку. Шеи у них, как у черепахи Тортилы, а мужчин себе позволяют. И это конец света, что бы там ни говорили. И каленым железом надо, каленым! А то мы удивляемся — молодежь! Так они ж смотрят. Прошла — и ни тебе здрасте, ни хотя бы кивок головы. Как мимо стенки. Это человек? Нет, это не человек!»

Жужжали соседки долго и злобно, и все не кончалась злоба, даже сами себе удивлялись, что не съедут с этой колеи. И толкут, толкут эту Александру Петровну и всех пенсионерок мира: и ходят не так, и одеваются не так, и корчат из себя, а эта — своя, советская — могла бы иметь душу, в конце концов умрет, и им же ее провожать, а то и обрывать придется. Теперь ведь, если соседи не придут, вообще можно на похоронах без народа остаться, кто теперь

кому нужен? А какво туда уходить одному, без сопровождения?

Да господи! Остановись же! Ну прошла женщина задумавшись, ну не поздоровалась, ну хризантемы, дура, покупает, вместо того чтобы!.. Но клубилась, клубилась ненависть — не ненависть, злоба — не злоба, зависть — не зависть, опять же, было бы хоть полноценное чувство — а так, нечто... Достигло-таки цели. Александра Петровна как вошла, так и рухнула на кровать — ополовиненное семейное ложе, когда-то стоявшее под люстрой. «Ты, мамочка, случайно не пытчица, спать под люстрой?»

...Когда муж умер, разогнала кровати по углам — получилось как в гостиничном номере. Спала то на одной, то на другой, чтоб замятости образовывались одинаковые. Симметрия чтоб. Потом решила, продала лишнюю кровать, и были такие по этому поводу нервы, такой псих! А в результате так и не знает, свою ли, мужнину продала, спуталось все в процессе передвижек и поочередного спанья. Сейчас, когда она без сил лицом вниз упала на кровать, увидела — осталась мужнина: сбоку у ножки давным-давно отстала филеночка, и муж, еще будучи уверенным в своей долгой жизни, еще до разговора о том, что хорошо бы умереть до появления внуков, еще находясь в нормальном человеческом интересе по обновлению квартиры, обтянул раненую ножку кровати импортной клейкой лентой, и вот она, уже сегодня, лежа лицом вниз, обнаружила заплатку. Надо же! Прогнала, значит, кровать ту, что без изъяна, а себе оставила с брачком. И это мелкое раздражение против собственной неумелости в жизни — сделала себе хуже, а не лучше — вывело из болезненных размышлений об имени и его происхождении. Да, оказалась она Александрой. Прекрасно. Прекрасно, что не Алевтина, к примеру, как бабушка. Александра — благородное имя, опять же сколько вариантов, а Алевтина — имя противное, потому что всегда напоминает девку-деревенщину, старательно и неумело скрывающую именно это — деревенство. Алевтины — это, на взгляд Александры Петровны, вчерашние свинарки, которые, трясясь в городском трамвае, клянутся, что никогда, во веки веков, хоть раз-

дави их этот самый трамвай, не жили в деревне. Ну разве наездом и в глубоком беспамятном детстве. Алевтины, одним словом. Чурки с глазами. А Александра — это не только посол Коллонтай, это и царица, между прочим. Это и композитор Пахмутова. Это женщина — секретарь ЦК, которая, правда, уже не секретарь.

А карма — это чепуха. Если бы она была, то человечество давно бы самоистребилось. Потому что вообразить себе невозможно: нести на себе грех не только своей жизни, но и папочки-мамочки, а то еще и бабушки Алевтины, которая прожила долго и много чего могла натворить. Во всяком случае, что она, Александра Петровна, знает точно, так это бабушкины аборт — говорят, беременела та до пятидесяти лет, что, с точки зрения еще молодой Александры Петровны, было отвратительно стыдно, а бабушка Алевтина, наоборот, чванилась и поговорить любила: «И все идут у меня краски, все идут. Врачи говорят — рак, сразу — рак, а посмотрят внимательно — просто организм. Большой женской силы у меня организм... Не у каждого...»

Нету кармы и быть не может. И лично ей надо выяснить только одно: *не написала ли она донос и не убила ли она хитрым способом мужа* — и все у нее будет в порядке.

Начинать надо со второго, а там, может, поспеет и ответ от Раи Беленькой. В конце концов.

...За неделю до смерти мужа.

Дело было так. Стояла на балконе, выглядывала Ленку. О перила облокотилась и все норовила заглянуть за поворот, там была развилка дорожек, и девчонки, бывало, часами, побросав портфели на землю, топтались, прежде чем разойтись, а мать сходи с ума. Перегнулась и увидела мужа, шел как раз с той, развилочной стороны. «Эй! — крикнула ему с балкона. — Эй!» Не услышал. И такая ее охватила ненависть, глухой ты, что ли, я же кричу тебе, кричу! Этим его встретила: «Я кричу тебе, кричу. Там Ленки нету?» — «Кричишь? Кому кричишь? Где Ленки нету?»

Можно ли быть таким тупым? Убить хотелось! Но разве это не естественное чувство в семейной жизни? Можно сказать — норма. И если не убивают поголовно, то просто в си-

лу сложности решения этого вопроса Она не любительница фантастики, скорее, даже противница, но один рассказ ей как-то подсунили на работе женщины, смехом так, но и серьезно тоже — хорошо, мол, придумано, служба ликвидации. Подаешь заявку, и в урочный день, урочный час тебя освобождают от неудобного тебе лица. Какая же это фантастика, сказала она, прочитав. Это чистая правда. В смысле — правда желания. Но, к сожалению, нет у нас такой службы.

Интересно, а не хотел ли муж ликвидировать ее? Глупость, возмущилась она. Меня-то за что? Моими руками жил.

Но как она ни рылась в памяти, как ни искала следов возможного убийства, не осталось следов. А вот горе свое вспомнила, как не находила себе места не просто в девять и сорок дней и даже в год, а года три-четыре металась и даже удивлялась этому, что так мечется. И в церковь ходила, и к экстрасенсу, но церковь ее возмутила полным равнодушием к ее состоянию.

Она ведь чего ждала? Понимания без слов. Представлялось такое. Батюшка или кто там у них ответственный за посещаемость увидит ее сразу и молча — молча! — возьмет ее за руку. И подведет куда надо, она не понимает в иконах, не знает, куда идти. А он — ответственный — укажет ей путь, наверное, перекрестит, а она — наверное — поцелует за это руку, она видела, так делают. И в правильном месте к ней придут правильные мысли и успокоение... Так она думала. Но ничего же подобного! Не было до нее никому дела. Более того, казалось — лишняя. Стоит столбом, занимает место... И старушки эти вездесущие зыркали на нее с откровенной злобой, как в очереди. Тебя тут, мол, не стояло... А мы-то с ночи...

Экстрасенс тоже был еще тот. «Поле у вас сильное, большое. До самых дверей, — сказал. — А остеохондроз есть. А у кого нету? У гинеколога давно были? Нет, я лично ничего не нахожу. Просто всех спрашиваю. Ходить надо. У них ведь зеркало. Мало ли... А душа — что душа? У всех болит».

Успокоение пришло само собой. Перебирала зимние вещи. Нашла мужнино шерстяное белье. Обрадовалась. По нынешним временам дефицит, а ей как раз для зимы. Кто это

теперь будет вникать, что на ней? И никаких мыслей о муже — вот, мол, не дожил, не доносил — не возникло. Спокойно так найденное мужское белье воспринялось как удача. Разве было бы так, если б был у нее на душе грех?

Никто никого не убивал. Это она перечитала. Сейчас такое пишут — с ума сойти. Она не будет больше читать. Есть старые вещи, нитки, иголки. Теперь, при свободе сочетаний, можно многое придумать. Синий низ, зеленый верх, оранжевые ромбы на потертых и швах. А раздолье самодельных пуговиц из картона, обтянутых в соответствии со спектром! От горлышка до пояса — каждый охотник желает знать, где сидит фазан. На фазане она и попалась. Искала фиолетовый тряпочный клочок. Цвет редкий, сразу не найдешь. Постучала к соседке. Та открыла зареванная: какие сволочи, какие сволочи, донесли, как будто это кого касается. Ну ночует у нее время от времени человек кавказской национальности. При слове *ночует* глаза у Александры Петровны округлились совершенно произвольно, на что соседка отреагировала тоже мгновенно — интересно, что вы такое подумали? Ночует в полном смысле этого слова, а не в смысле, на который вы намекаете своим выражением глаз. Да бог с вами, я ни на что не намекаю! И не надо. Человек не виноват, что он кавказец и разное лезет в голову. Он учитель и имеет пасеку на личном дворе. И три раза в год — в школьные каникулы — привозит мед. Он сосед моей двоюродной сестры. И что, я не имею права пустить ночевать человека-учителя, если он кавказской национальности и торгует медом? Даже если бы что другое! А я никогда не видела, искренне так удивилась Александра Петровна, что у вас кто-то посторонний. А что видеть? Что? Приезжает человек с бидоном. Вы-то как раз могли бы и видеть. У нас балкон общий, а он курить выходит. У вас, между прочим, столько на балконе банок пропадает. Он может у вас их купить. Ради бога, возьмите так.

Они передавали друг другу банки через шиферный барьерчик. Через него же Александра Петровна получила майонезную баночку меда. В благодарность за пустую тару. Стояла с баночкой посреди кухни и думала, что — в принци-

пе! — вот и возможная тема доноса обрисовалась. И хотя она на девяносто девять и девять убеждена, что она к этому никакого отношения не имеет и иметь не может, все-таки, все-таки... Есть это в жизни. И разве она лучше других? Почему, если некто взял ручку и листок бумаги, она не могла сделать то же? Но ведь я не видела того человека с медом! Балкон у меня хозяйственный. На нем только банки и ничего больше. И дверь на него ведет с ключом на всякий случай, мало ли...

Так бездарно лопнула идея фиолетовой пуговицы. Такие глупости эти ее затеи! И вообще, надо себя контролировать. Вот сейчас я ищу полиэтиленовую крышечку для меда. Потом я соберу пуговицы, весь спектр минус фазан. Отварю свеклу для винегрета, у меня много нормальных дел, между которыми попробуй вклинься что-то непотребное. В конце концов, можно начать стирку. Но не пришлось. Только-только она приготовилась завести машину, явилась Ленка с мужем и каким-то пожилым дядькой, который дальний родственник сватов, вдовец, приехал из Ярославля посмотреть, что и как там, где его нет. Мама, покажи человеку столицу нашей Родины.

Иван Николаевич заинтересовался Александрой Петровной сразу и горячо. Это было видно, что называется, невооруженным глазом. Просто весь задрожал-завибрировал. Ленка с большим удовлетворением посмотрела на мать. Нормалек, мамуля! Так держать! А мы пошли? Пошли! И слиняли.

— Мне у вас очень нравится, — страстно сказал Иван Николаевич. — Очень! У вас не квартира — бабочка!

— Трамвай, — засмеялась Александра Петровна.

— Именно бабочка! По красоте подбора цветов. Вы заметили? В животном и растительном мире не бывает некрасивых сочетаний. Там всегда так вкусно все переплетается. Вот и у вас... — не хватило ему слов, и он причмокнул губами, отчего Александре Петровне сразу стало противно. Звук у гостя получился не из лучших, и слюна выбрызнулась и капелькой осталась на подбородке, и ничего больше не виделось, кроме этой капельки, и ведь когда это теперь она просохнет сама собой. У Александры Петровны в молодости

была подруга, которая при разговоре — хотите верьте, хотите нет — пенилась. В уголках рта у нее собиралось и кипело такое количество взбитой пены, что Александра Петровна лезла в карман к этой своей подруге, доставала носовой платок, а если не платок, так снимала с ее же шеи шарфик, а то просто куском бумаги — про-мо-ка-ла эту бедолагу, а та смеялась: что, опять я в мыле? Но не будешь же этого, чужого ей человека, вытирать тряпочкой? Послала в ванную мыть руки вроде бы для чая. Пришел человек как человек, без слюней. А настроение все равно было уже испорчено, хотя по-человечески было много для нее как для женщины лестного. И то, как он нахваливал ее чай, в который не подурному набухано заварки, будто количество решает все, а тут отнюдь. И мера, и степень соблюдены, это и есть чай. А без меры сверх — деготь, а при жлобстве — извините — моча. Похвалил он и поджаренный на подсолнечном масле хлеб — мелочь, казалось бы, а на самом деле получилось красиво и вкусно. Был черствый, задохшийся в полиэтилене кусок на выброс, а повернула его на сковородке туда-сюда, сольцой сбрызнула, и нате вам...

Оказалось: на грубую лесть она падкая. Вот уж не думала. Но чем громче и глупее были комплименты кухонным доскам и крою занавесок, тем легче ей становилось! И что-то там, внутри, не то развязывалось, не то растворялось. Неужели так просто — наличие мужчины и его слов, подумала она. Кто бы мне такое сказал, в глаза бы плюнула.

— Не хочу от вас уходить, — сказал Иван Николаевич прямо и честно. — Вот не хочу, и все.

— Но придется, — засмеялась Александра Петровна. — А то на меня соседи напишут. И смехом так рассказала про человека-учителя кавказской национальности, у которого там, в горах, пасека и жена, а тут базар и ее соседка. И нашлись сигнализаторы — такой мы народ, — и соседка теперь плачет. Но Иван Николаевич тему народа не поддержал и обрубил подробности из жизни соседки. Я не пчеловод, мадам. Во-первых. Во-вторых. За интерес к вам как к женщине я готов отвечать перед милицией или КГБ, кто там ведает этим сектором.

— Каким сектором? — растерялась Александра Петровна. — Что вы мелете?

— А я знаю? Но у них все сектора должны быть. Чего вы испугались? У них своя служба, у нас своя жизнь.

Он даже приобнял Александру Петровну — вот, мол, что я имею в виду, и слегка постучал ее по спине, как стучат подавившегося: ну! ну! На какую-то секунду она прижалась к нему, но просто так, из благодарности за то, что вот, стучит ее по спине, можно сказать, интимно, но в руки себя взяла быстро. Не та она женщина, чтобы с первым встречным и с первого раза разводить объятия. Не та!

— Нет уж, Иван Николаевич. Нет! Идите себе домой! А если хотите посмотреть город, давайте в следующий раз. Хоть завтра.

Выставила в два счета. Еще минуту тому был, а уже щелк-щелк замок, и мойте, Александра Петровна, чашки.

Ночью она сообразила: ни с того ни с сего не появился бы в ее квартире этот быстро обнимающий мужчина. Это штучки дочери и зятя. Это они — молодые — решили, что ей требуется. Это они мать по себе меряют, это у них не переспать — значит недоесть, у них природа, биология — главное, и они лезут к ней со своим физиологическим метром, идиоты такие. Куда им понять, что переживания у нее другого сорта, но, как ни странно, именно сейчас переживания не казались серьезными, более того, подумалось — что-то я стала спячивать? Ну какие доносы? Ну какое убийство? Что я, шизофреничка?

И спалось Александре Петровне ту ночь хорошо, а утром случилось непредвиденное. Еще во сне Александра Петровна почувствовала, именно почувствовала, а не услышала: кто-то стоит и трется за входной дверью.

Когда-то, когда-то... Еще была жива мама, у них была собака Гулька. Вот она, возвращаясь с прогулки, со вкусом то одним боком, то другим чесалась о дверь, они даже не сразу открывали ее, чтоб получила псина свое собачье наслаждение. Собака просто умирала от восторга, сопела, поскуливала, смотрела благодарными мокрыми глазами... Вот и сейчас Александра Петровна еще в постели учувствовала — кто-то

трется о дверь, а на площадке никто собак не держал. И пока это все мгновенно вспомнилось и прокрутилось в голове, тренькнул звонок.

Глазок отразил чужое широкое лицо с виновато-подобострастной улыбкой не стесняющегося беззубости рта.

— Кто там? — сердито спросила Александра Петровна, прежде всего раздражаясь именно некрасивостью и беззубостью, которые, если вникнуть, всегда оказываются плохим человеческим признаком. Красивому и с комплектом зубов человеку не придет в голову припереться ни свет ни заря в чужой дом. У красивых, в отличие от некрасивых, всегда почему-то есть понятия как, когда и что. А чем некрасивей человек, тем скорей от него можно ждать неизвестно чего.

— Я вас не знаю! — прокричала через закрытую дверь Александра Петровна. — Вы ошиблись номером. — Она хотела сказать адресом: но ей тут же в глазок был продемонстрирован ее адрес, написанный большими буквами на большом полотнище бумаги. Что тоже выглядело странно. Потом выяснилось, что это оборотная сторона карты Израиля. Но это потом. А сейчас, демонстрируя на груди нелепо развернутый транспарант, некрасивая чужая женщина без зубов кричала, что она и есть Рая Беленькая, которая пришла не абы как, а по зову самой Александры Петровны. Прямо как в классике: вы мне писали? Не отпирайтесь... Я прочел. В смысле — прочла. Как тут не пустишь, даже если внутри тебя гнев, протест и возмущение.

Рая Беленькая оказалась в Москве по эмиграционным делам (еще бы! По каким же еще?). Позвонила домой дочери-музыкантше, второй скрипке филармонии, — столько вопросов с этим Израилем, что можно спятить, а та ей и расскажи про письмо и телеграмму от Александры Петровны. Вот она и пришла как живой ответ пораньше, пока Сашенька не успела уйти в очередь за молоком и хлебом. У вас тут хуже, чем у нас. Называется столица, а на самом деле черт-те что.

Александре Петровне обрадоваться бы, что вот и доказательство приехало — не писала она доносов, но ведь она уже вчера с помощью грубоватых ухаживаний Ивана Нико-

лаевича излечилась от своих бзиков. Поэтому, честно говоря, ей эта Рая Беленькая сегодня нужна была как козе баян. Но куда денешься? Писала? Писала. Хотела ответа? Хотела. Ответ пришел, и сел, и улыбался пещерой рта. Почему-то хотелось кричать и топтать ногами на эту женщину без зубов и в кашемировом сарафане шестидесятого размера, от которой навсегда пахло среднеазиатской стряпней со всеми ее перцами-мерцами, барбарисами. «Человек не должен пахнуть едой, — возмущалась и клокотала Александра Петровна, — он не свинина».

В общем, она встретила подружку дней войны неприветливо и сурово. И даже не сделала приличествующего вида! Это важно, не сделала вида, что — ах! Я так тебе рада! Или хотя бы — ну, садись, располагайся, раз пришла.

Она сухо сказала: «Извините, Рая! Я именно сегодня уезжаю. Я же не знала про вас. Мне надо собраться». — «Конечно, конечно, собирайся, моя дорогая. Не завись от меня. Но такой случай — согласись — я тут, а письмо — там». — «Да, — сказала Александра Петровна. — Да, случай уникальный». Она нервно соображала, как ей изобразить некие сборы в некую дорогу. Рванула из-под кровати маленький чемоданчик, в котором сто лет лежала всякая ерунда, оставшаяся от покойного мужа. Его диплом. Альбом его родителей. Почетные грамоты. Глупый набор — от пионерских до ВЦСПС. Уже изображая спешный отъезд с нелепым чемоданом с ничем, поняла, как противно и бездарно себя ведет. Куда проще и, видимо, даже человечней был бы скромный утренний чай, а потом разошлись бы по разным троллейбусам. Но ее уже закрутила первой сказанная ложь и вертела ею как хотела. Александра Петровна слушала себя и не понимала, что это она лопочет.

— Я еду в Тулу. К тетке. У нее приступ стенокардии. Поживу с ней, пока магнитные дни.

Не было у нее тетки в Туле. То есть вообще-то была, но не в Туле, и здоровая, а не больная. И не водились они друг с другом лет десять, потому что тетка была обижена, что ни копеечки из скопленных матерью денег Александра Петровна ей не дала хотя бы *для приличия*. Ведь она, тетка, в свое

время, когда они оказались в одном городе в эвакуации и были в трудном положении, нет-нет, а подбрасывала им с матерью какой-никакой продукт. Муж у тетки был обкомовский работник, и никаких проблем с питанием-доставанием у них сроду не было. Всегда все росло и процветало, всегда был небывалый урожай, и она — истинно советский человек, сестра и женщина — считала нужным делиться с бедными, одновременно гордясь собой и хвастаясь мужем, его положением и силой его власти. Когда умерла мама, сестра уже была обеспеченной до гробовой доски вдовицей, но разве это основание не поделиться с ней? Двести-триста-пятьсот рублей могла ей сестра или племянница отписать за ту ее доброту? Или уже у людей совсем нет понятия?

Нелепость всей ситуации заключалась еще и в том, что Рая Беленькая, это чудовище на тумбах-ногах, *помнила эту злосчастную тетку*. И мужа ее, эвакуированного партбосса, помнила. И очень удивилась, что та в Туле. Как в Туле? Пришлось что-то молотить и плести про сложную географию передвижения по стране партийных работников, у которых военная дисциплина.

Если уж тебя начинает крутить ложь-обманка — то крутит. А Рая сказала на всю эту чушь, что ей все равно нечего утром делать, она проводит Александру Петровну, Сашеньку, на вокзал и посадит в тульский поезд.

И она посадила-таки! И махала рукой отъезжающей подруге детства, а подруга детства чувствовала, как похотывает, причмокивает и прихлюпывает, как засасывает в себя липкая тряпина, и некуда ей деваться, как в Тулу! В Тулу!.. Просто водевиль какой-то.

Она выпрыгнула на первой же остановке. В первую минуту было ощущение выпадения из времени. Не могла сообразить, где, когда и зачем. Спасла бездарность нашего мироустройства. Кончились бетонные плиты платформы, и надо было прыгать вниз, на щебень. Прыгнула, оскальзываясь на гальке, ну и поза! Ну и вид! И куда это меня черти занесли? Вот так вернулась в точку координат.

Дальше уже было ясно: перейти на другую платформу и ждать обратного поезда.

Его — по закону подлости — все не было. Был какой-то профилактический период, когда ни туда, ни сюда поезда не ходили. Александра Петровна сидела под навесом и от нечего делать перебирала барахло чемоданчика, который так неожиданно стал реквизитом в маленьком «спектакле для Раи». Александра Петровна уже испытывала всего лишь легкое неприятное чувство. А ведь боялась, что будет угрызаться долго-долго. Ничего подобного! У нее как раз возникло хорошее состояние души. Она раз и навсегда убедилась в несостоятельности своих фантазий, это раз, во-вторых, она легко избавилась! Вот, это главное. Она легко избавилась от истории, которая ей абсолютно не нужна. Зачем ей Рая Беленькая со своими отъездными проблемами, с ее страхами о том, что их там ждет? Зачем ей это? Да, они договорились встретиться и поговорить, когда она «вернется из Тулы», если, конечно, вернется, пока Рая в Москве. Но Александра Петровна уже твердо решила — она «не вернется». Она не будет подходить к телефону, и все. А если эта пахнувшая баклажанами женщина явится без звонка, она ее просто не пустит. И все. И этого Ивана Николаевича она не пустит, нечего! И соседку больше не пустит тоже, чтоб не втягивала ее в свои отношения с кавказской национальностью, ей это тоже ни к чему. Вычеркивая одного за другим ненужных людей из своей жизни, которую она начнет или продолжит, «вернувшись из Тулы», Александра Петровна додумалась до того, что и к дочери она больше не пойдет, имеется в виду без большой нужды, ей претят эти чайники-кофейники, и она не желает знать разницу между их носиками. Она, конечно, знает практическую, а теоретическая ей ни к чему, и вообще это глупо знать. Чайник — это чайник. Он не кофейник, и достаточно, а эти молодые спятили на носиках и крышечках, но она-то не такая! И тут пришла замечательная мысль выбросить содержимое чемоданчика здесь, на платформе, в урну. Зачем ей старые грамоты и фотографии чужих умерших людей? Мысль показалась разумной, и Александра Петровна решила на всякий случай еще раз перебрать бумажный хлам, чтоб ненароком не выкинуть то, что могло пригодиться «после Тулы». И она еще раз стала рыть-

ся в клетчатом нутре. Конечно же, ничего нового там не было и быть не могло. Желтый от времени конверт для членских билетов всяких обществ. Такую дурь держать столько лет! Еще бессмысленней хранение грамот. Она стала перелистывать картонные листы альбома — ни одного стоящего снимка. Все какие-то глупые пятиминутки, а главное — ей чужие люди. Свекровь и свекор в своей молодости на фоне какого-то барака. Свекровь с кульком и глупой улыбкой — видимо, сразу после родов. Кому это сегодня надо, если уже и того, кто был в кулке, нет? Дочери? Смешно даже представить, чтоб она когда-нибудь это смотрела. На отца в распашонке. С плюшевым медведем. На велосипеде. Боже, как все это выглядит и жалко, и глупо! А сколько их, таких вот альбомов с мишками, велосипедами, примоченными слюной чубчиками, растопыренными бантами. «Детка! Отсюда вылетает птичка!» Да это просто Божий промысел, что она пристреляла на полустанке, где ни одна живая душа ее не знает и где так запросто можно будет выбросить весь этот антиквариат к чертовой матери. Вместе с чемоданом! На кой он ей? На всякий, всякий случай она оглядела его товарный вид, ощупала металлические наугольники — нет, такого добра ей не надо. Она сунет его в урну. Или прислонит рядом. Сунется вокзальное жулье, ожидая поживу, и пожалте вам грамоту за победу в социалистическом соревновании пятой, шестой, седьмой — какая вам больше нравится? — пятилетки.

Все получилось элементарно. Чемоданчик углом встал в урну, заторчал в ней даже вызывающе, с кандибобером, то есть пыльный, подкроватный, можно сказать, давно уже никакой, он, бывший ничем, стал, скажем, на далеком полустанке чем-то значительным. Будучи всунутым в урну. Александра Петровна, хотя и была поглощена душевными, тонкими проблемами, обратила внимание на такое перевоплощение сущности вещей и подумала: если подобное превращение случается с изношенной неживой материей, то каково с человеком, засунь его в урну или, наоборот, выведи на пьедестал? С этими смешными мыслями о непредсказуемости вещей и явлений она и села наконец в подошедшую электричку, идущую обратно, а уже через десять ми-

нут билась в тамбуре в закрытые двери, потому что вдруг вспомнила малюсенькую фотографию в альбоме. Мужу на ней лет десять, не больше. Страшненький такой лопухий послевоенный мальчик с расчесочкой в нагрудном кармане, у которого плюшевое детство уже навсегда кончилось, а мужское время еще и не за дверью. И в этом своем неопределенном состоянии — ни то ни се, пепин короткий, одним словом, — он отчаянно пялился в фотоаппарат, уже точно зная, что никаких птичек ему оттуда не вылетит и на какую-то такую нечаянную радость теперь надеяться — неизвестно. И это недоумение вместе со стыдом, что у него уши, нос, волосы — и все не такое, как хотелось бы, теперь отпечатается и будут навсегда, даже если он перестанет быть уродом, но все равно им и останется, — все это трагически отражалось на несчастном детском обреченном лице.

Что может следовать за этим? Единственная человечески правильная мысль — бросать такого мальчика не просто нельзя, а грех, самый большой из всех грехов, и теперь надо выскочить из электрички, увозящей Александру Петровну от чемодана, чтобы немедленно — Господи, помоги! — вернуться к нему же. Ужас, ужас, ужас, что чемодан уже украли, унесли, что не найти никаких концов этого мальчика и что это все равно, как если его убить, и Александра Петровна, мечась на перроне опять в ожидании электрички, теперь уже в другую сторону, думала, что она уже прилично сходит с ума. Хотелось что-то сделать вызывающее. Лечь на рельсы и остановить скорый поезд. Уцепиться за тендер маневрового и повиснуть на нем. Или просто бежать по шпалам. А я по шпалам, опять по шпалам бегу домой по привычке. Такая была песня в ее молодости. Пел ее чернявенький певец, которого совершенно невозможно было представить бегущим по шпалам — это она сейчас поняла, — потому что уже знала: человек и шпалы — это трагедия, это как у Анны Карениной, это как у нее, когда погибает мальчик, ею брошенный, а чернявенький пел ни про что — ля-ля, чернявенький колыхал воздух и этим развлекался. Они тогда все так развлекались и счастливо, между прочим, жили, делая ничто и будучи никем.

Можно многое рассказать об Александре Петровне, дождавшейся наконец нужной электрички. Про то, как, не желая идти в вагон, она осталась опять же в тамбуре. И как пришла в тамбур женщина с мальчишкой и, сняв с него штанишки, зло просила его, идиота, наказание господне, писать точно в просвет между дверями, и как напряженно следил ребенок за поведением своей немогучей, но своенравной струйки, а мать, как главнокомандующий, пальцами регулировала направление. Все равно брызги остались, и женщина-мать вызверилась на Александру Петровну, ожидая от женщины-пенсионерки надлежащих гадостей и замечаний, для отпора которых были приготовлены крутые слова и даже некоторые жесты, чтоб защитить кровь свою и право этой крови писать, когда и где он захочет. Но Александра Петровна вся струилась пониманием и сочувствием к ребенку, матери и брызгам, что весьма удивило женщину. Откуда было ей знать, что внутренние изменения Александры Петровны еще не достигли ее внешних покровов и с виду она была вполне пенсионерка-стерва, которая еще вчера непременно вякнула бы по поводу того, где должно мочиться, а где категорически нет. Даже младенцам, которые имеют свойство вырастать и закреплять дурные привычки. И было бы это чистой правдой, но истиной не было бы. Нет!

А чемоданчик, между прочим, нашелся. Он стоймя стоял в окошке железнодорожной кассы. Александра Петровна его увидела сразу, едва спрыгнула на платформу. И опять же! В окошке кассы он вел себя франтовато, даже с некоторым кокетством: вот, мол, что за судьба у меня сегодня — я все время на всеобщем обозрении, а столько лет лежал в разных темных углах, и ни одна сволочь...

Пришлось объясняться с кассиршей, делая упор на склеротические возрастные явления мозга. Перечислялось содержимое. Это было легко и просто, ведь и часу не прошло, как грамоты и билеты были подвергнуты последнему и окончательному осмотру и приговору. Кассирша, хоть и была занудой, заразой не была. Вернула чемоданчик без лишних слов. На спасибо, которое Александра Петровна сказала раз двадцать, а может, сто — кто считал? — кассирша ответила

не «пожалуйста», а так, как понимала эту историю: «Да кому он нужен, ваш чемодан? Его только и надо, что потерять».

— Что вы! Что вы! — пробормотала Александра Петровна, узнавая в кассирше себя самое, которая вот так же думала, а потом оказалось, не чемодан пропал — мальчик. Это вполне можно было рассказать женщине за кассой, она — женщина — должна была понять, такое понять несложно. Александра Петровна даже повернулась для сообщения важных для смысла подробностей к окошку, но у кассирши лицо уже было повернуто в другую сторону. На растопыренных руках она держала пуховый платок, разглядывала его, даже нюхала и говорила кому-то, невидимому Александре Петровне: «Нет, ему такой цены нет! И отдает же козой, отдает! А платок, он же живет близко к носу, это же не носки в ботинках, которые на расстоянии от головы».

На следующий день Александра Петровна поперлась к еврейскому консульству, потому что других координат Раи Беленькой не знала, а не найти ее уже не могла. Она теперь, после чемодана, стала странной для себя самой. Пошла к соседке и сказала, что, если ее кто начнет трепать по поводу гостя кавказской национальности, пусть зовет ее, Александру Петровну. Она выступит свидетелем или кем там еще и даст отпор, потому что не то сейчас время, чтобы вторгаться в личную жизнь. На что соседка сказала, что видела позавчера мужчину, который приходил к Александре Петровне, очень интересный мужчина. Очень! Кавказский человек тоже вполне, но ведь у него жена, и, когда он... поползновеет? или поползает? — когда он, одним словом, делает ей намеки в виде конкретных предложений, она ему в ответ очень образно говорит: а представьте себе, в этот момент ваша жена тоже... С кавказцем делается нехорошо, даже страшно, и он с криками бежит из дома и где-то долго ходит-ходит, а возвращается бледный, как больной, и говорит, что она, ее соседка, настоящий друг человеку. Женщина поинтересовалась, есть ли у интересного мужчины Александры Петровны жена, а когда узнала, что тот вдовец, так упоенно закатила глаза, что Александра Петровна испугалась — вернуться ли

они назад, на правильную орбиту, опасно же подвергать природу таким физическим экспериментам.

Нашла она Раю Беленькую, как нашла накануне чемодан. Стояла та неприкаянно в толпе, слушала, что говорили ушлые люди нашего времени, а когда увидела Александру Петровну, ничуть не удивилась. Еще бы удивляться! Такая женщина эта Сашенька!

Разыскала ее через столько лет в Средней Азии, а уж тут не найти... Можно сказать, в средостении Москвы, а может, и мира.

— Как тетя? — участливо спросила Рая.

— Все в порядке, — ответила Александра Петровна, — на тебе лица нет. Поедем ко мне, тебе нужна ванна и отдых.

— Да, — сказала Рая, — да. Я совсем запуталась... Я понимаю — нельзя уезжать. И я же понимаю, что не уезжать нельзя тоже.

Весь день потом Александра Петровна возилась с этой клушей еврейской национальности из Средней Азии. После ванны и чая на нее не налезли туфли, пришлось натянуть старые мужнины кеды. Рая сказала, что она теперь из них не вылезет. Так удобно ногам! Когда проводила ее до метро и вернулась домой, обнаружила на площадке Ивана Николаевича. Соседка торчала в дверях — тут как тут. На старенький капот соседка набросила цветастый платок, углом вниз, чтобы скрыть дефекты возраста живота и застиранность капота. Приход Александры Петровны ее явно расстроил, потому что дело по приглашению в дом интересного мужчины явно стронулось с места. Иван Николаевич не то что согласился, но уже задавал себе резонный вопрос: а почему бы, собственно, и нет? Вспоминалась, но не могла до конца вспомниться пословица про птиц, из которых одна бесконечно далеко, другая так близко, что просто ноль расстояния, но вот имена этих птиц начисто вылетели. Птицы все-таки... И именно благодаря этому Александра Петровна, что называется, успела. Она еще не задумывалась над странностями жизни, с чего это она, начиная с возвращения чемоданчика, всюду поспекает вовремя? Она не связывала одно с другим, впрочем, и на самом деле — зачем это

делать? Но ведь было! Было! Могла уйти из толпы запыленных и затурканных евреев Рая, где бы она ее искала? Мог бы вспомнить имена птиц Иван Николаевич, и тогда — что там говорить? — был бы он уже у соседки, и та быстренько, быстренько поменяла бы застиранный капот на платье а-ля рус с оборками и прошвами и без всяких там вытачек, а прямое, как балахон, которое естественно надевать ни на что, а это облегчает решение вопроса — если он, конечно, возникает — и создает приятную и легкую простоту в отношениях между интересующимися друг другом людьми.

Но Александра Петровна явилась не запыхавшись в самую что ни есть временную точку. Когда же через десять минут она вышла из ванной, где мыла руки после улицы, Иван Николаевич, набрав в легкие побольше воздуха, сказал ей очень прямо, как какой-нибудь римлянин:

— Да что вы, в конце концов, ведете себя нервно, как девочка? Вы интересная женщина, это факт, и я к вам со всей душой. Но с вами так трудно...

— Почему? — спросила Александра Петровна. — Почему со мной трудно, объясните, пожалуйста?

— У вас очень думающее лицо, — объяснил Иван Николаевич. — Это, знаете, отпугивает. Что вы там в голове своей носите?

«Он что — дурак?» — подумала она. Думающее лицо... А какое должно быть? И вместо того чтобы иронически или как там еще засмеяться, Александра Петровна рассказала ему все. Как однажды решила, что пишет доносы тайно от себя самой. Это оказалось чепухой, она только-только рассталась с Раей Беленькой — пришлось рассказать про Раю. Как бежала от нее со старым чемоданом, а потом — видите? Думающее лицо! Ха-ха! — чемодан этот отнимала у железнодорожной кассирши. Посмотрите, вот он. Чемодан. Александра Петровна достала фотографию мужа-мальчика и, боясь, что всю ее историю невозможно понять никому, а этому случайному человеку, да еще, скажем прямо, с определенными намерениями, — тем более, с торопливыми подробностями рисовала картину своих страхов. Знаете? В голове была мысль, что я виновата в смерти мужа. Нет! Нет! Мы

хорошо жили, не думайте, но ведь и плохо тоже... Плохо, потому что — все мимо. Мимо радости. Он говорил: давай бутылочку выпьем. А я: с какого праздника? Ты что — алкоголик? А он практически непьющий. Но иногда говорил: давай! А? Самое ужасное, что я люблю вино. Но позволить себе этого не могла. Стыдилась желанья. Мужу очень нравилось играть в преферанс. На копейки играли, не думайте. Я зарубила и это. Азартные игры? Мужские компании? Куда это может увести? Положила конец. Мне кажется, это у меня такая генетика. Отрезать, как бритвой. Даже побуждения. Носить мини. Посмотрите на мои ноги. Ничего, правда? У дочери, пусть меня Бог простит, хуже. У нее мосластые коленки, чашечка такая грубая и плоская. А у меня... Но и говорила себе: не покажу! Никому, никогда и ни за что! А показать хотелось. Даже мужу не разрешала себя разглядывать при свете. Он — мне: давай я тебя искупаю. А я ему криком: ты что, извращенец? Потом ему стало скучно. И он мне сказал: надо бы умереть раньше времени. Ему за это тоже досталось. Вот так я прожила жизнь. Сплошное «нет».

Ни один человек не знает, какая я, потому что я сама не знаю, какая... Нет, были какие-то моменты жизни, но они только подчеркивают мрак. Ну вот квартира... Вы сказали — бабочка. Да, да... Я кинулась в эти тряпки, в колорит, в расстановку предметов. Боже мой! У меня в конце концов кровати оказались под люстрой, а ногами мы спали к высокой спинке. Я думала, какое значение — неудобно, если эстетически красиво. А наверное, и красиво не было, я уже не помню... Я продала вторую кровать. Теперь у меня одна. И я ее двигаю туда-сюда, туда-сюда. Мне сказали, важно найти силовые поля. Что вообще важно? Я теоретически понимаю — совесть, доброта... Вы же вот смеетесь — думающее лицо. Так оно и есть. Хотя глупость, разве человек думает лицом? Я понимаю, понимаю... На нем идет отражение мысли... Но мысли у меня о себе плохие. Мне с собой неудобно жить. Я себя отягощаю. Но в карму я не хочу верить. Я не хочу, могу это закричать даже криком, отвечать за своего папочку. В конце концов! Не хочу, а думаю... Вот и получается то, что получается...

Другой бы давно ушел, а Иван Николаевич слушал. Хотя про другого, который бы ушел, это он тоже подумал. Далась, мол, мне эта баба! Сиди и слушай. Соседка у нее с круглым, но вполне симпатичным животом... Напрасно женщин осуждают за живот, живот — это у них сама жизнь, сама природа в нем заключена... Вот у этой, с думающим лицом, живота нет, и смотрите, сколько в голове глупостей. Но жалко... Жалко... И ноги хорошие, обе толчковые. И грудь хорошего размера, наверное, третьего. Правда, сейчас все в других цифрах. Но он по-старому. Размер третий. На глаз. У жены, покойницы, был пятый. Несколько перебор. Для него лично. Он не мог это охватить. Жена легко ушла с этого света. Сказала «ах!» и ушла. С улыбкой удивления на лице. Ему объяснили, что так уходят праведники!.. А эта, наверное, будет мучиться. Потому что во многом себя обвиняет. Но ведь это, если разобраться, хорошее свойство — судить себя по-строгому. Надо бы уйти от нее. Бог с ней, с ее грудью и ногами. Он хотел простого и человеческого, дети ее так его просили: «Дядя Ваня! Дядя Ваня! Растормошите маму. Можете удариться с ней во все тяжкие. Какие ваши годы?» Они, конечно, при этом смеялись, потому что в их представлении их годы — большие. А он знает, что никакие. И хорошо и радостно можно еще жить и жить. Но как? Как к ней подсыпешься?

— Бросьте ваши мысли, — решительно сказал он ей. — Бросьте! И если вы на самом деле любите вино, давайте выпьем. Как это говорится? У меня с собой было. Теперь ведь, если идешь и продают, надо брать. Я взял вермут. Хотите?

— Вы так все буквально понимаете, — сухо ответила Александра Петровна. — Просто буквально!

— Выпьете или нет? — настаивал Иван Николаевич. — Чего вы боитесь? Вы же сами все объяснили и про коленки, и про мини. Я с вами в этом смысле абсолютно согласен. И еще у вас грудь третьего размера. Хорошая, укладистая в ладонь... И вообще вы интересная женщина испанского типа. Вы, должно быть, страстная.

— Да что вы! — смутилась Александра Петровна и тихо добавила: — Я не знаю...

— Эх, вы! — покачал головой Иван Николаевич. — Эх, вы! Я, пожалуй, пойду... Потому что вряд ли у нас с вами что получится. Мне лично жалко жизнь. Сколько там ее осталось?

Иван Николаевич встал и с сожалением окинул такую с виду симпатичную квартирку, в которой бы жить да поживать, да добра наживать, а тут все мимо, мимо радости. Но и не до такой он степени заинтересован... Нет, он, конечно, заинтересован... Но не до такой степени, чтоб тратить время на осаду этой крепости. Ему вообще крепости уже не по возрасту, ему надо, чтоб все было без боя и без этой словесной трепотни, от которой он усыхает физически. А усыхание, потеря воды, это в их возрасте последнее дело... Поэтому прощай, квартира-бабочка, прощай, женщина — грудь третий номер.

— Не уходите, — тихо сказала Александра Петровна. — Не уходите. Я выпью с вами вина. Я очень хочу вина. Я так давно хочу вина, что даже запах... В общем, не возмущаюсь...

Иван Николаевич засмеялся и сказал, что нечего его опять сбивать словами, хочется — давайте ваши рюмки. В конце концов! Он — вдовец, она — вдовица, и, знаете, бросьте эти ваши мысли, хуже нет лишнего образования, надо жить просто... Посмотрите только, какая вы складенькая, вас просто на конкурс можно. «Да что вы такое говорите? Знали бы вы меня раньше...» — «Я тоже был вполне, это сейчас я огруз, а раньше... Но ведь это не помеха, нет?..» — «Да нет... Вы сильный...» — «То-то! Я сильный... Мы с вами сделаны по Марксу. Во мне сила, в вас слабость...»

И оба засмеялись друг в друга и сказали, что потом — потом! — за это надо будет выпить. Где Маркс, а где они, а теория воплотилась. И вермут так кстати оказался. Шел себе, шел человек, а навстречу ему вермут...

Ну, не диво ли на нашем безрыбье див?..

ДВЕРЬ

...Она подымает голову и прислушивается. Она счастлива, что у нее тонкие стены и слышно, как бряцает ложечка в стакане. Именно в стакане (именно!), обутом в подстакан-

ник. Одно время она работала в посудном отделе, был такой эпизод в ее жизни. С тех пор знает, что и как звучит. У Него звучит стакан. Потом хлопает дверца холодильника, поворачивается ключ на газовой трубе и, скребя линолеум, уезжает табуретка.

У табуретки прямая связь с ее сердцем. Колотится. Хорошо, что есть метод Бутейко. Она задерживает дыхание на несколько секунд. Все... Пора...

Охорашивает воланы широкого малинового халата. Двумя пальчиками высмыкивает прядочку волос и опускает их на глаза. Так она видела в кино. Это мы, идиоты русские, воспитаны, чтоб волос к волоску. Мама так туго плела ей косу, что пришлось потом лечить и кожу, и нервы. Но все равно мама считала: «Если у женщины на голове гнездо, я у нее за стол не сяду. Она же натрясет в тарелку!» Пережили, слава богу, мамины предрассудки. Сидит за столом, когда приезжает, как миленькая, и не пикнет. Кому ж охота питаться отдельно?

Значит, кудельки выдернуты и поперек лица пущены. Зубы она чистила уже два раза и съела «стиморол — неповторимый аромат». Рукой, чуть касаясь, проводит по ногам, каждый раз почему-то испытывая волнение от собственной кожи.

Кажется, все...

Тихо сняла цепочку, тихо повернула ключ... Узкий нож щели. Облизнула губы. По коленкам брызнуло сквознячком.

— Я думал, ты не придешь...

— Ну здрастье!..

— Волновался...

— Как же! Ты чай пил!

— Кофе.

— Неважно...

Он увлекает ее в комнату.

— Ну ты прямо сразу... С женщиной надо разговаривать.

— Кто это тебе сказал? Ты вкусно пахнешь...

— Слежу за собой.

— Нет, это в тебе естественное. А еще ты плавная. Мне нравится, что нет углов.

— Потому что не тощая, как модно.

— Не вздумай!

— Поздно вздумывать... Я, конечно, не старуха еще, но ведь уже и не девочка.

— Ты моя девочка, ты моя невеста, моя жена, мама, бабушка...

— Бабушку не надо... Обижусь...

— На любовь не обижаются.

Она повторяет эти слова. Она пробует их на вкус. Надкусывает. Чуть прижимает зубами. Они ей поддаются. Они ей разрешают делать с ними, что она хочет. Она их ест... Жадно сглатывая. Но снова полон рот... Он не жадный.

Правда, лучше ему не знать, что она питается его словами. Еще вообразит!

Это же надо сказануть: ты и невеста, и жена, и мать... Бабушка, конечно, лишнее. Но он — такой... Безудержный в словах и во всем остальном.

Пока он отдыхает, она разглядывает потолок и стены. Грязные, между прочим. Она бы давно побелила.

Ей хочется поговорить на тему побелки. Хочется таким нехитрым макаром уязвить «его мадам». И его мать, между прочим. Это ее квартира. Оставила сыну, съехала с идеологической подругой. О! Мать еще та! Понятие о себе — выше нет. Ходит с флагами — по телевизору видела. А потолок так и небеленый. Нет чистоплотности, нет. Даже одной на двоих. Так становится его жалко, что она сама, сама начинает его побуждать...

— Бедненький мой, хорошенький... Я бы тебе... Все до капельки своей жизни... Мейсон ты мой! Кэпвелл...

Сердце просто заходится.

В узкую щель она следит, как он идет к лифту. Вынула изо рта жвачку, прилепила к притолоке, к целому гнезду комочков. Распахнула дверь как бы случайно.

— Ах! — имелось в виду: я вся такая в воланах, со сна, а вы мимо.

Он улыбнулся индифферентно.

Конечно, есть способ продлить эту сладкую муку: схватить помойное — до нечеловеческого блеска выдраенное и надушенное изнутри — ведро и ринуться к мусоропроводу. Вполне доступно задеть его воланом, коленом, локтем, схохмить что-нибудь типа: «А доллар как стоит! Крепкий мужчина». Можно и про литературу: «Не слышали, Айтматов вернулся из Люксембурга? Или не дождемся?»

Но не пошла с ведром. Силы кончились. Чувствует холодок. Так ненароком и цистит схлопочешь под названием «цистит дверной, щелевой, сексуально-теоретический».

Оказывается, она прокусила зубами волан. Вот идиотка.

Надо сходить в ванную. Надо сходить в ванную... Но ноги, толстые, ватные, сами знают, куда им идти.

Распахивает дверь спальни.

Муж лежит поперек двух кроватей: как вчера во всем рухнул, так и лежит. Лужа на клеенке уже подсохла. Клеенка у нее метр на метр. Розовая.

Она бьет его ногой по согнутому колену.

— Чего ты, мать? Чего? Больно же человеку!

Голос подал с первого удара. Значит, уже в себе, в понятии. Это еще хуже, чем если бы он мычал и рычал какое-то время. Сознательный (в смысле — в сознании) он хуже, мерзостней.

— Иди стирать, сволочь!

— Я не хотел, мать, не хотел. Слабый у меня мочевой стал, слабый... Это, мать, все война... Она, проклятая. На земле, понимаешь... И спишь, и ешь, и живешь...

— Какая война? — кричит она. — Какая? Ты в пятидесятом родился! В пятидесятом!

Муж хитро ухмыляется. Она знает, что это значит: он будет придуряться своим отцом. Сейчас он ей расскажет, как брал Берлин. Самое ужасное: она не может понять — у него на самом деле в этот момент сдвиг или это хитроумный способ уйти от неотвратимого наказания. Но ведь ни разу же не ушел! Все равно она ему устроит «Серафиму Нагасаки». Но каждый раз у него этот маневр — притвориться

собственным отцом. Которого жена в благодарность, что вернулся живым, что не бросил, что брал под ручку, когда шли в кино, что величал «моя супруга», что детям внушал: «Мать уважайте за ее несчастья», так вот, за все это мать пьянство терпела, блевотину подтирала, с деньгами как-то перекручивалась, а главное — считала: ничего страшного в ее жизни нет. «Я такая везучая, — повторяла день за днем, — сама себе удивляюсь. Мой-то живой вернулся».

Еще копит небо старушка. Стала как крючок. Зато нет конца балладам об алкоголике...

А сволочь воин перед самой смертью дотла спалил квартиру...

Она больше всего этого боится. Пожара. И уже вполне созрела, чтобы выгнать мужа к чертовой матери. Но тут есть два обстоятельства. Сын в армии, при оружии, на него это может подействовать, и мало ли что... Надо его дождаться. И второе. Достраивается дача. И хоть цена мужу со знаком минус, все-таки... Он со строителями вась-вась... А у нее нервы слабые. Когда она видит работы и их деяния, она мечтает о всеобщей кастрации. Поэтому она всегда едет на дачу с валерьянкой и тазепамом. Чтоб держать себя в руках.

Конечно, в этот день она на работу опаздывает. Это не страшно, наплетет что-нибудь.

Уходит, когда на балконе висят и белье, и штаны, а матрац сбрызнут. И муж уже не собственный отец, а сам по себе. Похмельный, злой, с трясущимися руками и хриплым голосом. Тут задача: выставить его из дома раньше, забрав ключи. Понимает, это неправильно: сама этим же толкает его припасть на грудь какому-нибудь другану после работы и все повторить сначала. Но... Но... Пусть потолчется у подъезда и подождет. В конце концов может дожидаться и трезвый, хотя и осатаневший. В лифте обязательно замахнется и скажет слово, оно у него одно навсегда. Это даже не слово, это стусок энергии и слюны. И ничего больше: замах и вялотекущая ненависть вечера.

Но до вечера еще жить и жить. Еще утро.

Еще надо зализать у начальника опоздание почти на час с лишним. Способ простой и в чем-то даже полезный. Бес-

словесный быстрый грех за едва приткнутой стулом дверью неприятен, но после всего он даже утоляет. Она возвращается облегченная и по-веселому злая. Контора, как правило, делает вид, что ничего не замечает, только зам по кадрам иногда что-нибудь скорректирует: подкрась рот... сдвинь юбку по центру... забыла шарфик... Мелочи, одним словом.

Она сидит, смотрит на баб. Сослуживиц. Ведь ни разу не заложили его жене, а эта курица приходит к мужу на работу как домой. Могли ведь! Не заложили... Конечно, это тоже дело случая и до поры до времени, но сейчас она уже думает: никогда. Никогда они ее не предадут. С тех пор как все пошло вразнос, как началась эта новая жизнь без правил, как вспухли на теле земли другие понятия, они, женщины, очень поумнели. Потому что обязательно надо думать за себя и за того полудурка парня, который тебе то муж, то брат, то сват... Надо не прозевать, пока он в опьянительном чувстве свободы не натворил чего... Пожар какой... В рамках квартиры или страны. Поэтому никто ее в исторически сложившийся момент закладывать не будет. Она как бы засланный казачок в мужском буйном отделении.

Так она нежно думает, отдыхая на рабочем месте. Она потихоньку возвращает себе слова, которые были ей какое-то время без надобности. Сейчас она их собирает — в стожок.

— ...А София совсем старая. Джина против нее конфетка, хотя и гадина... Неправдоподобно у Си-Си получается.

Женщины встре...пенываются?! Нет, такой формы нет. Хотя тут именно это: задвигали стульями, задышали, заморгали, ойкнули.

— Очень грубо... — тихо говорит ей зам по кадрам. — Хотя бы для блезиру поговорили сначала о куриных окорочках.

— Нет у них проблем с окорочками! Нет! У них ведь даже безработные и бедные одеваются так, что мне за всю жизнь на это не заработать...

Но контора не хочет про заработки. Обрезали сразу.

Они хотят про Софию, Си-Си и Джину.

Сначала разбирают «Санта-Барбару» на мослы. У Джинны — шея. У Келли — шея. Культуристки. Иден — курно-

сая, как из Рязани. Если разбираться, так ни-че-го... Живота ни у одной... На этой теме застревают и переходят на идею фильма. Что нам хотят сказать? Что и у них в основном люди — сволочи?

— Ради любви в любом возрасте можно все, — таков делается вывод из фильма.

«Можно, можно», — думает она... Ее тянет на улицу. Механизм разговора запущен надолго. У женщин осветлели лица и расслабились мышцы. Их можно брать голыми руками. Великое женское братство, то бишь сестринство, в редкий момент их незащищенности и потери бдительности.

Ей хочется плакать за всех сразу.

Она выскальзывает на улицу, сильно ударившись об угол стола.

«Вот зараза, — думает, — синячище будет».

Зачем ей на улицу?

А ни за чем... Просто так. Зашла в комок. Попялилась на тряпки. Так, чтобы захотелось «до умереть», такого товара не было. Но у нее есть правило: зашла — купи. Хоть что... Купила коробочку сока с соломинкой. Шла по улице и пила. Опять же... Не потому, что хотелось... Просто вид хоть и маленькой, но победительницы. Пусть думают: вот идет шикарная баба, сок ананасовый хлобыщет. Никто, правда, не смотрел, и это начинало злить. Хотелось общественных реакций на ее пребывание на земле или хотя бы на этой улице. Ну не просто же так идет она мимо всех. Люди должны как-то отметить эту ее мимость. Это должно их задеть, возмутить, расстроить. Нельзя же такую женщину выронить из своих рядов. Пробросаетесь, дураки, пробросаетесь!

Конечно, так всегда. Некто пьяненький в линиям берете с фасонистым надвигом на левый глаз радостно ощерился щербатым, как у октябренька, ртом.

— Ах, мадам! Я просто пал... — И сделал руками, ногами и всем телом нечто подобострастное. За смысл слова простила пьяность. И засмеялась.

— Смотри не свались, — это она о его поклоне.

— От вас, мадам, зависит, от вас... Не пожалуете ли рубликов двести до ровного счета?

Ах ты, гад! Рванула так, что скрипнули сочленения. Врезала очередь у пивного ларька, рванула на «красный», руками тормозя машины: «Стой, тебе говорю!» Бежала, бежала, бежала не зная куда. Знала...

...Ко мне.

...Я ее знаю с детства.

Нелю Рубашкину. Мы выросли на одной улице. Когда я кончала школу, она шла в первый класс. На «последнем звонке» она преподносила мне традиционный букет. Глазастая, румяная, хорошенькая девчушка с наглыми манерами.

Вручая мне цветы, она спросила, с кем я была вчера на поваленном электрическом столбе, который лежал за нашими общими огородами. Я дала ей под зад, она засмеялась и закричала:

— А я и так знаю! Вон с ним!

И она ткнула пальцем в моего одноклассника, с которым я, увы, на том столбе не была.

У одноклассника задержалось веко.

Дело в том, что у нас с ним было все кончено, но он еще не знал про это. Мама учила меня в таких делах не делать резких движений, а «спускать все на тормозах». «Мало ли, доченька, — говорила она, — как повернет судьба. Никого до бесповоротности не отгоняй. Пусть недалеко ходит. Тебе же спокойнее будет».

Я была в состоянии внутренней борьбы — или сохранить, занефталинить возлюбленного до случая массового мужского бедствия, или поступить согласно душевному порыву, порыву комсомолки-экстремистки, у которой вышито поперек сущности: «Умри, но не дай... поцелуя без любви».

Ну, кстати ли были слова маленькой гадины с букетом?

Но не обо мне речь, не о моих девичьих хитростях. О Неле.

Конечно, все определяла общность загородных пространств. И когда я появлялась там, задумчивая, с книжкой, она материализовывалась из любой сезонной травы.

Потом я поняла, что взята за точку отсчета, за некий ординар, к которому она крепко привязала веревку своей судьбы.

Конечно, интересно задать вопрос, почему именно я и чем таким... Ответ есть, и он, на мой взгляд, прискорбен.

...Нелину маму звали у нас на большую побелку, на большую стирку и на прочие «большие грязи». Она работала наравне с бабушкой и мамой, она садилась с нами за стол, но с этим ничего нельзя было поделаться: моя мама на «ее грязи» не ходила, как и ни на чьи другие.

Я стыдилась, что мы эксплуататоры. Поэтому в институте, не отвечая на десять писем подруг, на одиннадцатое, Нелино, я отвечала излишне обстоятельно.

Когда же она отлавливала меня на каникулах и круглые ее глазенки общупывали меня так бесстыдно, что девчонку полагалось выдворить восвояси, я садилась с ней пить чай.

Через десять лет «после букета» она приехала и сказала, что хочет пожить у меня, пока идут экзамены в институт. Считайте, что мысленно я закричала не своим голосом. У меня в семье был исторический напряг, и кто мне был в этот момент противопоказан, так это согладатаи.

Но Неля привезла с собой письмо от мамы, а это посильнее, чем «Фауст» у Гёте. Оно несло неизбежность, неотвратимость жизни с Нелей, я почувствовала мощь родного огорода, который тяжелой суконной полой покрывает меня вместе с возникшей не к месту гостьей.

В институт Неля не поступила. Она была чудовищно, стихийно безграмотна. Она писала, как слышала, но временами мне казалось, что и со слухом у нее не все было в порядке.

Весь ее учебный провал шел тем не менее под знаком ее больших и малых женских побед.

— Ну знаешь, — говорила я, — если уж он лезет под юбку, то пусть хоть четверку ставит.

— При чем тут это? — возмущалась она. — Это же разное!

Кто бы спорил?

Домой после провала в институт она не вернулась. Устроилась на стройку, получила комнату в общежитии.

Потом приводила напоказ каких-то парней. Отлеживалась у меня после аборта. Скрывалась от бабы, у которой увела мужа. И время от времени повторяла возмутительную вещь:

— У меня в жизни все, как у тебя. Я это с детства знаю.

— Где моя жизнь, а где твоя? — кричала я ей. — Где?

Она в ответ только смеялась. Я тыкала ее носом в мою скучную благопристойность, в которой «нарушение общепринятого» закапывалось так далеко, что доведись нужда вырыть... Мало ли? Вчера — нарушение, а сегодня доблесть. Так вот, у меня, где зарыто, не найти. Но Неля считала, что у нас все одинаково.

— Да ладно тебе, — говорила она. — Я ж тебя не осуждаю.

Она мне выписывала индульгенцию.

Мой старый-старый приятель любил повторять: «У тебя есть друг-блондин, так вот, он не блондин, а сволочь».

Где-то близко к этому я со временем стала воспринимать Нелю.

— Хочешь, отобью твоего мужика? — спрашивала она, сидя у меня же и поедая мой хлеб с маслом и колбасой. — Хочешь? Ничего не стоит.

И надо же! Я ни за что надолго «замолкала на мужа», и в доме нашем повисала гадость. Она слезилась, гноилась, подванивала, у мужа обострялась язва, а я не верила в его боли.

Должно было пройти много-много лет, пока счастливый случай не помог мне раскрыть мои слепленные вежды.

Неля пришла и разрыдалась на груди. Абсолютно бездарная фраза, но точная до противности. Пришла, повисла, обслюнявила шею.

...Он на десять лет моложе. Сосед по площадке. Подкарауливает каждый ее выход, готов на все. До убийства. Своей жены и Нелиного мужа. У нее ни с кем так не было. Он стоит у стены кухни и подслушивает, что она делает, чем бряцает. Вопрос ставит ребром: или — или.

Она говорила, говорила, говорила... Пила чай. Потом попросила водки. Разделась до комбинации. В ложбиночку груди стекала побывавшая на глазах, на щеках, на шее капля.

Капля-путешественница...

...Я сидела замерев. Спаси вас бог от двух точек зрения, если они о человеке, которого вы знаете. Гоните в шею респондентов или как их там... Гонцов приносящих.

Надо же тому быть, но накануне на обсуждении моего фильма выступал молодой человек, который обвинил меня в сентиментальной защите того, что защите не подлежит.

— Я называю это женским насилием. У меня такая соседка. Абсолютно пещерная особа. Подглядывает в щель. Выскакивает как полоумная с помойным ведром именно в ту минуту, когда я жду лифт. Видели бы вы ее капот! Громадная красная плащпалатка, отороченная воланами...

— ...Он сорвал с меня волан. Он его прокусил! Ты представляешь? Прокусил мой волан. Я тебе покажу...

— ...Красивая женщина, между прочим. Такая вся большая, теплая... А я ее боюсь. Я не умею грубо... Не так воспитан. Не дерусь... Но почему я должен крадучись уходить и приходиться? Потому что у нее пьянь муж, который кормит птиц и мочится в лифте? И не годен к строевой?

Она врывается ко мне в распахнутой дубленке. Она была ей сразу мала, но стоила дешево. Отказаться не хватило сил. С тех пор она ходит так, как будто ей «всегда жарко». В растворе пол висит длинный прибалтийский шарф.

— Фу! — говорит она, сбрасывая шарф, дубленку, сапоги. — Опять сегодня этот... Сосед... Едва вырвалась... Мой был еще дома... Ну, ты его знаешь... Бдительный... Наплела! Сейчас что-то покажу...

Она демонстрирует синий след на своей нежно-белой, уже увядающей коже.

— Мой чувствует... Так на соседа смотрит, так смотрит... Я ему: да брось! А сама так волнуюсь, так волнуюсь... Я помню, как ты волновалась, когда у тебя было... Ты помнишь, как ты всем врала? Помнишь?

У меня ничего подобного не было. Ничего. Но это неважно. Правда не имеет никакого отношения к ее жизни. Она выставила ее за дверь. Или, наоборот, заперла на ключ... Не знаю... Да это и не имеет значения.

— ...Я на работу пришла, этот... начальник!.. Я сегодня ему сказала: «Еще раз коснетесь рукой, расскажу жене». А он: «Да я, да я ради тебя, да гори она пламенем... Я могу и развод оформить...» Скажи, мне это надо? Надо? Его развод?

Она будет выговариваться долго-долго. Выговорившись, постареет, опадет, потеряет цвет... Сейчас ее легко поймать на противоречии, неточностях.

Но не буду. Ни вчера, ни завтра, никогда. Их две — Нелли. А может, и три. И никакая это не болезнь. Отнюдь... Это спасение, мои дорогие, придумать, что кто-то страстно рвет твои кружевные воланы, даже если у тебя их сроду не было.

Фантомные боли любви, которая здесь больше не живет.

ТРОЕ В ДОМЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ

Сладкая боль: мягкая лапка двигает сердце то влево, то вправо. От этого она проснулась. Непривычное торканье в груди неприятным не было, но почему-то рождало тревогу. Маня опустила руку, привычно ища Баську. Сейчас она на нее прыгнет, оближет ей морду, и тревога уйдет. Баська — сердечный лекарь. Собственно, и так нормально. Мягкая лапка — даже приятно. По-своему... Но Баськи под рукой не было. «Ба-а-ась!» — хрипло от сна позвала Маня, Баська не прыгнула, а сердце уже колотилось как сумасшедшее.

Она лежала в самом углу, оскалив зубы, на нижней губе у нее присохли таблетки феназепамы. Собака была твердой и холодной.

Маня закричала. Но тут же закрыла себе рот ладонью. Смерть схватила ее босые ноги и как-то сноровисто, будто всю жизнь знала как, стала по ней карабкаться вверх и вверх на встречу с колотящимся сердцем. «У девочек не бывает инфаркта», — сказала она, даже, кажется, вслух. «Еще

как бывает!» — ответила *та*, что уже была где-то в районе пупка и присела передохнуть в ямке.

И тогда Маня закричала, не перекрывая рот. Одновременно (вот ведь подлая человеческая природа, думала она) успела снять с мертвой Басиной губы таблетки. Они были чуть влажные и растаяли в пальцах. Можно сказать, что они вмиг исчезли. В дверях стояла мать. Черные подглазья, старая бумазеевая ночнушка и распластанные в сбитых тапках ступни.

— Бобик сдох, — сказала Маня.

Вид матери был так удручающе жалок, так незащищен в присутствии смерти, что этот «Бобик» случился на языке сам. Ей давно отец объяснял секрет «другого имени». Назови близкое чужим именем, и оно, близкое, перестанет быть им, новое имя отторгнет боль.

Вот и лежащая на полу Бася — вовсе не ее подружка, а чей-то там прибудный Бобик пришел — не звали — и сдох.

Слышишь, бедная моя мама. Это Бобик. Мы его не знаем. Он не наш.

— Это дворники, сволочи! Нарочно разбрасывают у подъезда отраву, — закричала мать.

— Маруся! Ты этого не знаешь, — криком на крик отвечает бабушка Маша, она смотрит из-за спины матери. — Зачем ты так о людях?

Смерть же окончательно растворилась в ямке пупка. И Маня подумала, что даже смерть их не выносит — мать-сквалыгу и бабушку — теоретика справедливости.

— Дворники, дворники! — верещит мать, и лицо ее покрывается красными пятнами в самых что ни на есть неподходящих местах: в подглазье, на лбу и под носом. Ну что стоит пятну сесть на щеки и придать матери свежий морозный вид, так нет же. У нее все не так.

«Бабахнуть бы чем-нибудь, — думает Маня. — Интересно, сколько стоит граната?» Она делает ладонь лодочкой, мысленно кладет в нее гранату и... Тогда бы она, наверное, успела догнать Баську на дороге к главной переправе. Интересно, там все еще Харон или у них тоже *ротация кадров*? Она даже повторила вчера или позавчера эти слова за теле-

визором. Ро-та-ция. Ция. Тора. Дров. Харон бы удивился ей на переправе и даже спросил: «У вас уже девочки умирают от инфаркта?» И тогда она сказала бы ему то, что не сказала «сквалыге» и «теоретику». Она не сказала главного: «Бася съела мою смерть, а это нечестно. Я пошла за ней».

Но сейчас она молчит. Застывший комок жизни возле застывшей смерти.

— Звони отцу, — сказала мать. — Пусть вывозит труп.

«Вот ему я скажу, — думает Маня, — пусть мучается. Он же виноват».

Сладкое это чувство — растворение собственной вины в вине чужой. Так же приятно, как и перемена имени. Втолкни собственное свинство в пространство свинства другого — и тебе уже покойно и почти хорошо. Нет, конечно, не совсем хорошо, но частично — будто расстегнули тугой пояс. Полегчало.

Отец приехал быстро. Долго звонил в дверь, потому как мать забрала у него ключи сразу и навсегда. Правильно, с какой стати, если он живет в другом доме. Теперь пусть стоит и звонит до посинения. Бабушка в сортире. Мама рисует подглазья. На синем черное — атас. Маня стоит под дверью. И только когда они обе — бабушка и мать — начали на нее орать, Маня впускает отца. Он проходит мимо нее, как мимо стенки. Молчит, глаза у него красные. Сколько разноцветного вокруг.

— Не высыпашься? — ядовито спрашивает мать.

«Фиг он вам что-то скажет», — думает Маня. Отец берет уже завернутую в старое детское одеяло Басю и идет к двери. Маня плетется следом. Когда открылась дверь лифта, он шагнул в него, а двери стали смыкаться, Маня торжественно и громко сказала в щель: «Бася съела мою смерть». «Теперь он вернется, — думает она. — Мне бы сказала такое дочь, я бы вернулась и вытрясла из нее душу».

Как же ей хочется трясения ее души трясущимися руками отца. Она ждет этого как счастья. Но отец не возвращается.

«Ну и ладно», — думает она, подставив под мягкое и складненькое «ладно» несколько замечательно отобранных точных слов из моря удивительной русской речи, за которые мать лупит ее по губам, в школе выгоняют с урока, а бабушка начинает тягомотину про то, что даже вернувшиеся с войны солдаты не позволяли себе такого сраму, если рядом были женщины и дети.

— Ты пачкаешь себя изнутри, — говорит она, как теоретик, торжественно, — и поселяешь в себе грязь. И на этой почве...

— Говном удобряют, чтоб на ней все росло, — парирует Маня. — Говно — замечательный продукт. Он без химии, потому как сделан внутри человека. А человек — кто? Венец или уже — в смысле говна — нет?

Мать начинает хихикать. Нормально. Она эти разговоры бабушки про войну и послевойну на дух не выносит.

— Почему, — кричит она, — я должна брать в расчет твои воспоминания? Ну, скажи, почему? У меня своих по самую шею, не отплеваться, а я еще должна помнить про того парня? А может, он был идиот? А он точно идиот! Он же кричал: «За Сталина!» Кричал или не кричал? — кричит она.

В эти минуты святых не выносят, святые уходят сами. Маня даже как бы видит это. Слабое дуновение — и тени, исчезающие в притворе дверей.

Сама она ни на чьей стороне. Это вообще глупость — чья-то сторона. Это для стороны нормально — быть стороной. Но почему она должна быть возле нее? С какой стати? Пусть сторона выбирает ее, если так уж ей это нужно. Но она — сама по себе. И с места не тронется.

Взять того же отца. Вот он довыбирался. Шесть месяцев тому назад он ушел с их стороны на другую. Другая была булочкой с маком. Вся такая розовенькая и много-много мелких родинок на мордочке лица.

— Она рябая, — сказала матери Маня.

— Что?! — не поверила мать. — Где ты видела рябых в наше время?

— У папочки. Его б..., простите, дама сердца такая вся в черную точку.

— Это родинки, — объясняет бабушка, будто она, Маня, дура и не знает этого.

Но ей хотелось доставить матери радость: рябая. Насколько душе матери стало легче, потому что наличие рябой соперницы — это шанс, что папочка, приглядевшись к перепелиному яичку лица новой жены, однажды, как нормальный человек, закричит дурным голосом прозрения и, как был ни в чем, примчится в свой *настоящий* дом, и они, все трое Марий, отпоят его теплым чаем с молоком, уложат в постельку, мама принесет таблетку — тьфу! феназепам, — чтобы крепче уснул, и все пойдет по-прежнему.

Маня понимает: такого не будет никогда, потому что нет рябой разлучницы, но маме лучше думать, что есть. Пусть не вернется отец, другая мечта может вырасти на рябой женщине: в лифте ей встретится мужчина и скажет: «Давайте подыдемся в небо!» И мама скажет: «Я боюсь высоты». А он ее обнимет и убедит: «Я астронавт». С Маней было такое, то есть совсем наоборотное. В лифт к ней подсел мужик и нажал подвал. Она без внимания. Когда же приехали и она попыталась выйти, он рывкнул:

— Куда прешься, дура! Это технический этаж. В смысле подвал. Ездят идиотки без глаз.

Пришлось подыматься на первый этаж. Потом она из этого придумала историю, как один парень, весь из себя такой «рыжий Иванушка» спустил ее в подвал и кое-что предложил, конкретно предложил, без всяких этих недосказок. Она было даже согласилась, но подвал... «Там воняло», — завершала она гордо свою историю самой себе.

Так из работяги-лифтера сначала вылупился рыжий Иванушка *для себя*, а потом и астронавт для глупой матери. Глупая — это никакая не грубость и не неуважение, это чистая правда. Мать Маруся тихонько теряет разум, это понимала даже покойная Бася, которая не шла на ее зов: мать по глупости зовет собаку, тогда как на самом деле ей нужна бабушка или Маня, а может, и вовсе третий, которого хорошо бы иметь в доме, а то не ровен час, бабушка Маша раньше ее выйдет замуж. Очень уж крепко стало пахнуть в доме бабушкиными духами. «Мажи нуар» называются. Мане нра-

вится, хотя чуть-чуть душновато. Мама так прямо и говорит: «Ты задушишь нас своим запахом».

«Это такое... (целый ряд неприличных слов любимого русского), — думает Маня. — Ей ведь уже пятьдесят шесть. И низ живота уже провис. Но, может, они, старики, в этом возрасте спят в трусах, что с их стороны было бы правильно. Даже в молодости у людей *это* выглядит довольно противно, в отличие от животных, у которых это всегда красиво. Даже у китов.

Все эти скорые мысли, как клипы, пролетают в Маниной голове после того, как отец, которому были сказаны главные слова «Бася съела мою смерть», не вернулся, а значит, не испугался, а значит, не любил. «Ну ты и срань поганая, папашка!»

А дело было так. Шесть месяцев тому назад он собрал чемодан с ремнями, который купили, когда все втроем, он, мать и Маня, ездили в Турцию. Чемодан хорошо раздувался, и его практически, не считая трех сумок, им хватило. Так вот, шесть месяцев назад он ушел. А уже через три месяца неким скоростным методом у него родился сын. Он позвонил и сказал Мане:

— Поздравляю, мышь! У тебя родился брат. Его зовут Руслан. Я всегда хотел иметь Руслана и Людмилу. И ты для меня была Людмилой. Если бы не идиотская традиция в маминой семье — называть первую дочь Марией...

Маня остолбенела и, не сказав ни два, ни полтретьего, положила трубку. И странный ветер подул вспять, и годы, запинаясь друг о друга, побежали к своему началу, сбив с ног девять лет и семь. И она осталась с ними, какими-то смущенными в своей сбитости.

— Вам стесняльно? — спросила она лежащие перед ней годы. А потом остановилась на годе девятом.

В девять лет ей ошибочно поставили диагноз «лейкемия».

Бабушка сказала: «Ерунда. В нашем роду такого не было. Нужен другой врач».

Мама же стала выть и царапать себе щеки.

А папа носил Маню на руках и шептал ей в ухо: «Милочка моя! Ты же всем людям милочка, ты мое солнышко. Все

будет хорошо у моей девочки, потому что я всегда с тобой, я отнесу тебя от болезни далеко, она побежит за тобой, но не догонит. Я твой Руслан, а ты моя спящая принцесса. И я тебя спасу».

В жизни все оказалось проще и грубее: не то посмотрели, не в ту ячейку положили. Не стоило маминых расцарапанных щек и папиного сладкого пения. Лейкемии не было.

Но Руслан запомнился, и то, что отец называл ее милочкой.

Седьмой год, что валялся под ногами, был годом оперы «Руслан и Людмила», на которой она скучала, когда пели, и возбуждалась, когда гремело железо соперников.

Значит, думала Маня, стоя над рассыпанным временем, если бы я была Людмилой, папа не ушел бы к «рябой», он бы заделал маме Руслана, и сейчас у них в доме был бы маленький, была бы жива Бася, бабушка нашла бы применение своим нерастроченным силам и перестала бегать к старому пердуну, который озаменовал свое кавалерство тем, что стал носить чье-то залежалое пенсне, выглядел в нем глупо, если еще прибавить к этому каракулевый пирожок. Маня называла его «Пирожок с ушами и в пенсне».

Одним словом, полгода с хвостиком тому папашка был просто задумчивый («Трудности выживания в бизнесе», — объясняла мать), но всегда ночевал дома, спал в семейной кровати, и она скрипела, как ей и полагалось. Манина кровать примыкала к родительской стенке, что дало ей раннюю возможность разобраться в сказке про идиота-аиста. Как она потом поняла, бабушка была отселена в крайнюю, холодную комнату не из желания, как считала бабушка, застудить ее до смерти, а потому что маму смущала тонкая общая стенка. А дочь — ведь дура, ей еще не время различать ночные звуки. Но девочка быстро вникла в суть.

А однажды папа (вот она не помнит, скрипела ли ночью кровать) стал собирать чемодан. До того его нужно было достать с антресолей. Он достал и тщательно вытер с него пыль. Мать была на работе, она врач-фтизиатр. На это слово чтоб взобраться, у Мани ушло много времени. «Фти» звучало и некрасиво, и даже чуть неприлично. Эти две «проблем-

ные» согласные в конце алфавита в дошкольном детстве у нее даже путались. Она всегда громко считывала с заборов «фуй» и сто, а может, миллион раз спрашивала, что это. Искажение спасало ее от порки, и она продолжала читать — хабрика, флеб, хасон и фудожник. Но в первом классе была обсмеяна всей мощью детской жестокости, ей объяснили слово «фуй», а один добрый мальчик просто показал, как он выглядит. Еще с год у нее случались заскоки в перепутанье, но потом все забылось. Тогда же интерес к главному короткому слову заборов обострил любопытство к многообразию родного языка и к той его странности, что самые точные слова считаются неприличием, тогда как приличные ужас как отвратительны. Ну, например, такие как (фу!) *колбаса*, *челюсть*, *погодьяльник*, *кастрюля*. Да мало ли их, которые на язык взять нельзя, то царапают, то не вкусны и их хочется сплюнуть вместе с противным словом *слюна*. И буква ю — противная. С ней все слова липкие, за исключением имени «Юра».

Был такой мальчик в пятом классе. Они вместе ходили на бальные танцы. И когда их учили моменту поворотов в вальсе, она почувствовала, как *он* ее трогает. Потом кружок кончился, забылся Юра, но ощущение осталось. Ни на что не похожее ощущение *другого*...

Так вот, папа вытер пыль с чемодана, сложил туда свои вещи и стал ждать маму с работы. А что бы уйти по-тихому? Но мама пришла, вошла в комнату, и раздался крик, будто ее убивают ножом. Маня с бабушкой кинулись, но папа сидел далеко от мамы, а мама стояла с открытым ртом, и из нее шел крик.

— Замолчи! — сказал папа. — Здесь ребенок.

— Детка моя! Мама! — кричала мать. — Эта сволочь нас бросает. Оказывается, у него давно баба. Оказывается, он ее любит. А мы кто? Кто мы? Никто! Нас тут не стояло.

В крике был виден пенный красный язык, и даже хорошо воображался маленький язычок, который торчком жил во рту ни к селу ни к городу.

— Ну и пусть уходит, — трезво сказала Маня, — меньше народу — больше кислороду.

— Милочка моя! — сказал на прощанье отец. — Я тебя очень люблю. И тебя я не бросаю. Мы будем часто видеться. Так бывает в жизни, детка. Просто я затянул уход. Виноват. Надо было все сделать раньше. Не кричи, Маруся, прошу тебя, — сказал он матери, и столько в этих словах было отращения, что мать тут же захлопнула рот и ответила с такой же степенью отращения:

— Да пошел ты...

Уже через пять минут отец переобувался в прихожей, старательно засовывая в пакет домашние тапки. Бабушка в своей комнате накапывала валосердин, мать сидела в кухне, некрасиво раздвинув колени и бросив в подол юбки бескостные руки. А Маня смотрела, как отец привычно, без суеты поправляет в горловине пальто кашне, как напоследок смотрит на себя в зеркало и неприкасаемым движением ладоней проводит по волосам.

— Я пошел. Если что нужно, я всегда готов. Манька! Проводи меня к лифту.

И они шли эту бесконечную дорогу, и он обнимал ее левой рукой за плечи. А в правой нес «чемодан ухода».

— Детка, — сказал он, — я люблю тебя крепко-крепко. Я познакомлю тебя с моей женой. Она моя первая любовь. В пятом классе мы вместе занимались бальными танцами. *(Ни фигу себе!)* А потом они переехали в другой район. Когда станешь совсем взрослой, поймешь — так случается. А мама покричит, покричит и успокоится. Она молодая, красивая женщина *(врешь, батя!)*, вам не грозит ни холод, ни голод. Я не буду с вами ничего пилить пополам. Ты у меня одна-единственная-разъединственная. Но ты уже большая. У тебя самой скоро будет любовь.

«Да, — думала она. — Будет. Я выйду замуж и рожу ребенка. А потом через много лет встречу в метро или на улице Юру. И у меня застонет в животе и запищит в сердце, и я плюну к чертовой матери на своего мужа и, взяв ребенка, уйду к Юре, и мы будем танцевать вальс, как тогда. Я тоже не буду ничего пилить».

— Она ушла от мужа, твоя женщина? — спросила она отца.

— Нет. Она не выходила замуж. Получается, что ждала меня.

— Старая дева, — со знанием дела сказала Маня.

— Мне все равно, — ответил отец. — Даже пусть бы ей было пятьдесят.

А потом она увидела эту тетку, она тогда не сообразила своим умом, что та беременна, и приняла ее просто за толстую (какой ужас, папочка) и придумала, что она рябая, и намечтала матери астронавта.

Потом, когда через три месяца родится мальчик Руслан, Маня подумает: «А ты, папашка, врал насчет пятидесяти лет. Ты хотел успеть, чтоб появился Руслан. Ведь ей почти сорок».

Где-то в то время как-то тихонько, без слов, появилась мысль, что хорошо бы умереть. Смерть ведь, как ни крути, просто последняя стадия жизни. Она неизбежна, как неизбежна зима после осени, как неизбежен конец сезона черешни, как неизбежна бабушкина старость, как бы ее ни румянили. Раз живой, значит, умрешь. Раз умрешь, значит, не будет боли, обиды, не будет гадости, сопровождающей жизнь. Смерть — конец гадости. Конечно, это еще не окончательное и бесповоротное решение, думала Маня, но надо и его иметь в виду. Мало ли? Встретит она (папин вариант) Юру, а он ее не узнает, она встанет рядом, а он будет смотреть сквозь нее. И сквозь нее пригласит на вальс какую-то совсем задрипанную девчонку.

Маня стала скрадывать у матери таблетки феназепамы и прочей снеди от нервов, по одной, по две. Маленький флакончик из-под какого-то выпитого лекарства очень согдился. Маня даже не очень прятала таблетки, до такой степени была не нужна тогда Маня ни маме Марусе, ни бабушке Маше. Тут ведь что еще... Как раз тогда у бабушки начался роман с «пирожком в пенсне», а к маме стал захаживать хирург из их поликлиники. Такой весь сморщенный молодой человек, абсолютно без задницы. В его узеньких джинсах просторно жили пустота и ветер и спереди и сзади. В этом было что-то неприличное, даже стыдное. Вот у папы была

крепкая попка, на нее было приятно смотреть на пляже, Маня видела, как поднимали женщины головки, сдвигая на лоб черные очки, чтоб запечатлеть папу в глазу. И мама тогда срывалась с места и бежала за ним следом, и висла на нем, как бы утверждая право собственности.

А теперь горе-мужчина, потерявшийся в штанах, снижал, как теперь говорят, рейтинг Маруси. «Идиотка», — думала Маня. И боялась до ужаса момента возможного скрипа в соседней комнате.

Но катавасию начала не мать, а бабушка. Они, видите ли, собрались расписываться с Петром Анисимовичем (пирожком в пенсне). У Мани от этого отчества просто сыпь пошла. Это что ж за имя? А-ни-сим. Анисим — фиг с ним. Еще... А ну сними? Если же соединить все это с пенсне, получается — пенсним, он же пенис-с-ним, а это уже близко к фуй с ним. В общем, только начни трогать русские слова, из них такое посыплется, костей не соберешь!

Так вот, вечером за чаем. Три девицы на одной площади. Бабушка как-то вздернула шейкой и голоском небесной твари прощebetала:

— Маруся! Скажи правду. У твоего Кокошина (т. е. чело века без зада) серьезные намерения?

— О господи! — закричала Маруся. — Дай мне наконец очухаться от первого раза.

— Резонно, — ответила бабушка (*резонно* по-небесному уже не получалось, слово пёрло напролом вперед железякой). — Я к тому, что я от первого раза давно, как ты говоришь, очухалась.

...Это было еще до Мани. Мане донесли легенду. У дедушки, летчика-испытателя, не сработала катапульта. Мама еще была в животе у бабушки, а значит, еще оставалась подключенной к мировому информационному полю. Вот она как-то раньше всех и получила сигнал от летящего в смерть дедушки, сигнал был такой силы, что родилась она чуть раньше срока. Благословение судьбы — дочь рождением своим спасла убитую горем мать. Будучи по природе исследователем всего, что есть под рукой, Маня изучила фотографии. Ни одной летчицей. А та, что в рамочке за стеклом

и стоит на верху серванта, не была дедушкиной. Это дядя бабушки стоял возле самолета, на котором летал во время войны. А дедушка, хрен моржовый, живого самолета в глаза не видел, легенда придумывалась для мамы, чтоб красивше выглядело, а сам он, в смысле хрен-френ, жил в трех трамвайных остановках от нынешней квартиры, которую получила бабушка за заслуги перед отечеством (интересно, какой степени было отечество? Или — заслуги?): всю жизнь ишачила на партию на ответственном участке сбора партийных взносов. Негероический дедушка, сбежавший из семейного стойла от беременной жены, как-то через сто лет подловил маму, уже фтизиатра, пожаловался на бабушку, бывшую жену, которая выпихнула его ногой из своей жизни, а у него с Зойкой ничего и не было, так, одни переглядки, но бабушка, стерва, раздула историю до скандала, и стал он из-за этого Зойкиным мужем; и теперь вот — «не поспособствуешь, доченька, бесплатной легочной путевочкой в Крым, нам бы со старушкой подышать перед смертью морем, я ведь алименты слал — это к слову». «А его ломом не убьешь! — рассказывала мать шепотом бабушке. — Такой и с самолета не разбился бы».

Ах, эти тонкие стены советских квартир! Никаких же ни заглушителей, ни прочих прибабасов для тишины. Но будь они, разве узнала бы Маня всю правду жизни людей, самолетов и партийных взносов? Так что спасибо тебе, советская власть, за твою всеобщую недоброкачественность! Она хорошо прочищает мозги и дает точные знания жизни. И вот впервые она услышала громкое бабушкино признание: «А я от первого раза давно очухалась».

— И к чему это ты? — спросила мама Маруся.

— К «пирожку в пенсне», — объяснила дуре-матери Маня.

— Как ты смеешь, соплячка! — закричала бабушка и замахнулась на нее полотенцем. — Интеллигентнейший человек, два образования...

— Замуж хочешь? — вяло спросила мать. — Ну, иди, кто тебе мешает? У него, кажется, «копейка».

«Копейкой» мать называла не машину, как все, а однокомнатную квартиру в хрущевской пятиэтажке. Их квартиру мать называла «пятак»: три комнаты в блочном доме, но не в хрущевке, а в доме с лифтом и мусоропроводом.

— Я знаю, что у него есть, — сказала бабушка. — Но у меня вариант другой. Петр Анисимович будет сдавать «копейку», а деньги — в наш общий бюджет. Мы же с ним займем, пока ты одна, твою комнату. Ты занимаешь мою. Найдется для тебя человек — делаем размен с учетом двух квартир. Или со временем отселяем в «копейку» Маню. И все это за так. Без затрат.

— Ну, знаешь! — закричала мать.

— А собственно, почему? — очень вежливо спросила бабушка.

— Да потому, что я вообще не хочу видеть этого старого козла в своей квартире!

— Будем жить без козлов! — добавила Маня. — Любого возраста. — И она посмотрела на мать, посылая ей зрительный образ хирурга без задницы. И мать уловила его, видимо, преждевременное рождение сохранило в ней способность получения бессловесной информации, потому что она развернулась и дала Мане не полотенцем по воздуху, а чисто по мордасам, что не соответствовало тяжести Маниного преступления. И Маня встала и хлопнула дверью кухни, где продолжался накаленный разговор.

Они там долго орали, а Маня считала таблетки, что лежали во флакончике. Бася прыгнула на нее для игры, и все посыпалось к чертовой матери... Маня стала лихорадочно собирать таблетки, пиная ногой собаку, и ей казалось, она собрала большинство, решив, что если дура Баська что и найдет, то совсем немного. Не сдохнет! На всякий случай подальше от греха (от Баськи) Маня выбросила флакончик в мусоропровод.

А в кухне все кричали, кричали. И Маня, засыпая, видела уже два пенных языка и два горловых недомерка-отростка.

«Выброшусь в окно», — подумала она, но тут же сообразила: дура Бася вполне может прыгнуть за ней. А у них седьмой этаж, и Бася не кошка, чтоб спружинить. Хотя и у ко-

шек это часто не получается. Откуда ищущей смерть Мане было знать, что Бася уже заснула последним сном и тихонько выдувала из себя остатки жизни, по собачьим меркам вполне удавшейся, и Басе казалось, что она летит по небу все быстрее и быстрее, а бестолочи-вороны, где-то далеко внизу, только и умеют, что хлопать без толку крыльями. А вслед ей летят чужие сны, один просто догоняет. Полуженщина-полуколяска кувыркается, как дура какая-нибудь. Басе хочется рывкнуть на нее, но нет сил, собачья душа отлетела искать свою монаду, а коляска-человек все кружила и кружила уже без Баси.

* * *

Я проснулась с ощущением полета, это особенно редкое счастье. Из числа недоступных. И сразу жизнь обступила меня всей своей жестокой правдой. Я заснула в коляске, теперь у меня болит спина и виснет набок шея. Если мне принесут сегодня еду, не открою, пошлю всех к черту. Пусть оставят под дверью.

Дверь шкафа открыта. Она мое окно в недоступный мир. Обычно я ее закрываю на ночь, когда собираюсь спать, но вчера... Они так орали, так орали. Чтоб слышать человеческую жизнь, я растворяю дверь стенного шкафа, который примыкает к их коридору, и как бы прихожу в гости. Такой молчаливый бестелесный соглядатай. Меня чувствует только собака, она как бы ни с того ни с сего — с их точки зрения — начинает лаять в коридоре, на нее орут, по-моему, средняя женщина даже дает ей тумака, и собака с жалобным визгом прячется где-то в их пределах. Их жизнь стала для меня театром, семьей, образованием, всем тем, что у меня отняли мои обессиленные параличом ноги. Когда-то я тоже жила в семье, с сестрой и мамой. Я рано поняла, с какой ноты в голосе начинается скандал, замешенный на ненависти, на гневе на судьбу, а самое главное — на нелюбви к себе самой с этим потайным, глубоко скрытым «была бы я — не я...». Только калека в полной мере знает это — лютое неприятие того узора жизни, в котором ты — всего стежок нитки.

Я была крестом семьи. Я даже не помню, была ли в моей жизни любовь родных. Наверное, была. Я родилась как все. Как все — это счастье. Но я была иная. Я раздражала всех скрипом коляски, вечно возникающей нектати, я поняла, что такое *белые глаза*. Я стала осторожной, в белых глазах таилась моя смерть. Но странно, мне хотелось жить. Я готова была бесконечно слушать сестру, ее любви, ссоры, любила сочинять для нее записки, штопать ей форму на локтях. Не было лучше меня чистильщика овощей, взбивательницы крема, мойщицы посуды.

Пока сестра не вышла замуж. И меня из соображений пространства надо было куда-то деть. Родители мужа хотели, чтобы молодые переехали в эту однокомнатку, где я сейчас живу, но сестра уперлась рогами. На фиг ей эта промзона? И окна на шоссе? Пусть «она» (то есть я) туда съедет.

Раз в неделю приходит мама и готовит мне еду. Я заметила: каждый раз это у нее получается все быстрее. Сестра бегом приносит продукты, потому что муж ждет внизу. Он не поднялся ни разу. «Он брезглив», — смела она сказать мне, прямо глядя в глаза. И я встретила эти глаза. Мужественно и прямо. Двунogie захватили право гребовать человеком-половинкой. Я допускаю мысль, что когда-то сестра не придет. Мама, конечно, не бросит, ей придется еще и таскать продукты. Потом у сестры родится ребенок... Мама станет бабушкой. Нет, не надо заглядывать так далеко. Завтра весь дом могут подвзорвать террористы. Я могу свалиться набок в ванной и удариться виском о раковину. Есть еще в природе грибы. Рыба. Есть цианистый калий. Придумано много для удобства смерти неполноценным.

Хотя кто есть кто на самом деле?

Взять моих соседей. С руками, с ногами... Им-то зачем так ненавидеть мир? И почему именно они мне даны в ощущениях?

Никто не докажет мне, что ощущения эти скудны. Хотя я лишена возможности их видеть, разве что их спины в дверной глазок, осязать, обонять, разве что Маня забудет выключить суп, и он сгорит до черного дна, и чад, сладкий чад чужой жизни не полезет в щели моего шкафа. Мне хва-

тает их голосов, поэтому, клянусь, никто не знает их так, как знаю я.

Вчера они бились до последней капли крови за право на счастье. Старуха была безукоризненна в напоре и выдержке. Она перекусит им горло, но приведет своего старичка в дом. Это битва за последний привал, за крошечку солнца во время заката. Не доведи бог увидеть женщину в момент отнятия у нее последней надежды. Дочь — закомплексованное существо со столь скудной фантазией, что мысль оказаться брошенной мужем даже близко не посещала ее. Со спины она — никакая. С чего тогда ее претензии к правилу, что купленный бракованный товар возвращается? Книжек не читала, про Анну Каренину не слышала, не знает, как у той страх потери затмил разум. Эта же жила, как немецкие евреи, убежденные, что, раз куплено пианино, значит, ничего страшного произойти с ними не может. Раз Моня играет гаммы, то никакого Гитлера нет. Вот и русская Маруся такова. Привела мужа в дом, положила в постель — и мир стал неколебим.

Конечно, мне больше всего жалко девчонку. Она, в сущности, ничья. И все бы ничего, если б ни жила она между Сциллой и Харибдой. Чудовища страсти и измены смыкаются на ее теле. Хорошо, что у девочки есть собака. Мы с ней обе летали во сне. Боже, как болит шея!

Я слышу, как хлопает их входная дверь. Судя по голосу, пришел отец девочки. Разговор негромкий, неясный. Надо проследить, когда он будет уходить. И я занимаю место у глазка.

Он выносит что-то неформатное. В детском одеяле. За ним к лифту идет девчонка. Если бы я не знала, что она стройная, прямоспинная девочка, я подумала бы, что идет горбунья.

Я жду, когда она пойдет назад. Вижу, как детскими кулачками она вытирает слезы со щек. Если бы я могла, я бы кинулась к ней, потому что я понимаю: только что унесли ее собаку. Почему она умерла? Или эти две скандалистки убили ее? Но нет. Собачьего визга не было. Девочка уходила спать от Сциллы и Харибды вместе с собакой. И теперь осталась одна.

Господи! Как же они не понимают счастья иметь ноги? Как многим они обладают благодаря им. Какое это безумие — изводить друг друга здоровым и полноценным людям. Даже собака этого не выдержала. Да! Да! Именно так. Собака не выдержала их жизни, их нелюбви, безжалостности друг к другу. И мне хочется стать автомобилем, чтобы прошибить их стену и въехать — нате! Не звали? Это я пришла сказать, что вы уроды. Чтоб они уписались от страха и схватились руками, ища спасения друг в друге. Бедные вы мои люди... Собака вас не вынесла.

Девочка плачет, Шарик улетел. И я во сне видела его полет.

Я могу позвонить по телефону, я знаю их номер, и передать ей привет от улетающей собачки. Что она сделает? Закричит, заплачет, испугается?.. Поэтому я не звоню. Боюсь причинить боль. Ведь на самом деле я ищу дружбу. Какие у меня на это шансы? Не знаю, не знаю, не знаю... Боюсь, что никаких. Таким получился мир, и виноватых нет. Лучшие — собаки — уходят из него первыми. Я буду думать эту мысль, а может, все-таки позвоню девочке. Завтра. Когда-нибудь...

По заявкам трудящихся

Я поажи к твоей посетим
Пауза введице двети,
И не сесткама И не сесткама, а не сесткама,
И не сесткама, а не сесткама,
И не сесткама, а не сесткама,
И не сесткама, а не сесткама.
Мои установе не сесткама.

Я напештаи мои не сесткама
Обучающей любви,
И ты к оплаканному покою
Меня уж больше не зови.
И не сесткама, а не сесткама,
И не сесткама, а не сесткама,
И не сесткама, а не сесткама,
И не сесткама, а не сесткама.

ЭМИГРАЦИЯ ПО-РУССКУ...

Я знаю ее, сколько помню себя. Теперь мне даже кажется, что она появилась в моем детстве не случайно. Она своим явлением как бы запустила ход механизма осознания меня собой, с чего все и пошло-поехало, а не возникни она тогда — где бы я была сейчас? Может, в каком-нибудь дурдоме пускала бессознательную слюну, а может, кем-то другим запустился ход моих клеток и я стала бы Раисой Горбачевой или Эдитой Пьехой? И не бежала бы я сейчас, как идиотка, через этот чертов овраг на Звездном бульваре, а тыкала бы в жизнь нежным пальчиком: с какого, мол, боку тут вкуснее и мягче?

А с другой стороны, если по-честному... На хрена? Тем более сомневаюсь я очень, что эти мною упомянутые дамы так уж действуют нежным пальчиком. Под каждой крышей соответственные мыши. Я обожаю эту притчу о котомках с горем. Припер их народ нашему Богу, кто-то ему, народу, сказал, что Бог разрешил: «Пусть приносят свое горе». Свалили люди свое горе под царские врата и рванули домой. Но случилась какая-то незадача, и Бог велел вернуть людей, чтоб они назад забрали свои котомки. И вот народ ринулся обратно к вратам и стал разыскивать каждый свой мешок. Не то что кто-то принес большой, а норовил схватить малюсенький. Нет! Каждый отыскивал свое горе.

Для меня в этой притче — все. Вся человеческая природа. Хоть какое — но мое. Я сама такая. А то, что такая, это точно оттого, что мы с ней в детстве встретились. И теперь у нее заболит — у меня тоже, она подумает, а я начинаю бе-

жать в том направлении, которое в ее сером веществе смутно сложилось в какой-то образ дороги.

У нее — образ. А я бегу...

Первое воспоминание такое. Мама ладонью черпает воду из корыта, которое стоит у стока с крыши. В нем копится дождевая вода «для головы». «Для лица» и тем более «питья» вода эта не годится никоим образом — пойдешь пятном, изойдешь рвотой, ибо — какой отвратный союз! — ибо именно в дождевой воде набирает вредную силу ржа. Ржавчина, значит. Почему она там набирает силу? Где это записано? Кто это сказал? На эти вопросы ответов не будет.

И вот, несмотря на все это — что уже непостижимо, — моя собственная мама, грубо взбаламучивая воду, умывает меня из запрещенного корыта. Для такого нарушения правил жизни должно же что-то произойти? Должна же быть причина? Причина стоит, можно сказать, на глазах. Это толстая девчонка с большими и немигающими буркалами. Я до сих пор не отвечаю на вопрос: красивые они у нее или нет? Широкие, высокие и вперед — глаза. Цвет — гудроново-серый. Ресницы — на вид — колючие, жесткие и как деготь. Абсолютно не требуется красить. Ощущение грубой накрашенности есть изначально. И даже возникает мысль: накрасилась небрежно, комками и теперь боится сморгнуть, не мигает, а у другого, глядя на нее, начинает пищать слеза от ее будто бы напряжения, которого на самом деле у нее-то нет!

«Да не глазливая я, не глазливая!» Это ей надо всю жизнь повторять, объясняя свой тяжелый немигающий взгляд, особенно в тех случаях, когда ей предъявляют маленьких детей. И я тоже всю жизнь подтверждаю это. Не глазливая. Верно. Наоборот! То есть наоборот — не то слово, она и хорошего ничего не может, не в том смысле, конечно, что не может — не хочет, стерва, мол, а в смысле не обладает какой-то там экстрасенсной силой. В общем, глаза ее — камень преткновения в знакомстве. Почему они такие? Это ведь каждому объясни, а я сама не знаю, но говорю: бояться ее глаз не надо. Не опасно. Просто такие глаза.

Возвращаюсь в детство. Мама сказала мне тогда, после дождевой воды:

— Ганя! Дружи с девочкой. Видишь, на ней все чистое и сидит как на человеке, а тебя как в ступе толкли.

Я подошла и ткнула ей пальцем в глаз, так он меня, ребенка, вывел из себя. Собственно, сам этот факт ткнутия я не помню. Но история — как это говорится? — передавалась изустно. В ней фигурировали две девочки — чистенькая и грязная. Сказочной метаморфозы тут не было и даже не подразумевалось. Грязная оказывалась и дрянью. Это она ткнула пальцем в глаз чистую. Хорошо еще, что ее мама перед этим вымыла ее лицо и руки дождевой водой, а то ведь могла и инфекцию в глаз внести. Ганя эта — я значит — была затруха будь здоров. (Я уже теперь полезла в словари, почему затруха? Быть затрухой — быть обсыпанной?) У мамы понятие было шире. Мамино понятие приближалось по внутренней глубинной сути скорей к затраханности. Это уже сегодня понятно всем: «меня затрахаи». И не надо лезть в словари. Достаточно посмотреть на человека. Но мама все-таки говорила — затруха.

Маленькая фонетическая разница. А и У. Как в букваре — ау, уа. Смещение звуков произошло уже во времени. Затруха (неопрятная, во всю грязь вступающая девчонка, вечно со следами съеденного и изжеванного на груди и животе, одним словом, дитя, которое не гордость матери) превратилась в затраху (советскую женщину из очереди, из автобуса, из бельэтажа театра, из гинекологического кресла, где она возлежит с враз озябшими голыми ногами, потому что кресло прямо перед форточкой и пронзительно дует в самую нутрь, а врач ушла в соседний кабинет мерить австрийские сапоги, а ты лежи, это твое место и время, дура распятая). И как точка, как тавро — затраха!

А что стоило сказать мне в детстве: «Красавица ты моя! Куколка!» Глядишь — и было бы все по-иному. (Горбачева или Пьеха.)

Мама же как бы словом определила мне жизнь. Только не ищите в «затраханности» полового смысла. Полное наличие отсутствия. Но это, так сказать, отступление, которое

вполне можно — взк. Так тоже говорила мама. В смысле — долой, вон.

Меня преследуют слова детства. Иногда я не знаю, куда мне от них деваться. Например, одоробло. Нет такого слова, оказывается. А во мне есть. Это плохая неуклюжая мебель, неподъемная кладь, это то, что ни в дверь, ни в окно. Гроб с покойником в пятиэтажке. И хоть бы одно, хоть бы одно из моих детских слов несло счастливое содержание. Даже слово «скрипачка» рифмовалось в каком-то стишке с болячкой. Так вот и живи потом.

Итак, давным-давно, умытая дождевой водой, я получила наставление дружить с девочкой, отличавшейся от меня незатруханностью и бельмами навывкате.

— Варенька! — сказала мама противным, не своим голосом. Этот голос всегда выдавал ее. Она оскорблена, задета, возмущена, а голос весь аж липнет, столько в нем сладости. Эти новые соседи — мать и дочь — чем-то задели маму. Обе в белых отглаженных платтях с мережкой по подолу, в белых баретках, на плечи накинуты «баядерки». «За всю свою жизнь, — кричала мне мама уже перед смертью, — я не сносила хорошей «баядерки»! Даже вигоневой, не говоря уже о гарусе. Такое мое счастье!»

Думаете, что это такое — «баядерка»? Кофта на пуговках с глубоким мысом, дерьма пирога. Так вот у наших новых соседей «баядерки» были сразу, а мама о них еще мечтала. Отсюда и голос ее с перебором липкости, чтоб никто не догадался об ее обиде. Это было то довоенное время, когда, несмотря на все, еще и маленько стыдились в себе плохого. Это уже потом всем миром сообразили, что накладно для выживания носиться с маленьким стыдом, а с большим тем более. Накладно!

Но самое интересное в словах — это зависимость от них всей жизни. Роль, так сказать, клейма слова. О ней же — чистенькой — было сказано так: «О, эта Варенька!» «Чурка с глазами!» — вставила я. «Нет, — ответила мама. — Она умненькая. Она глазастенькая. Она на три метра под собой все видит. Ты у нее учись...»

Вот откуда это мама знала?

С тех пор мы и дружим. И ничего не изменилось в раскладе. Я, конечно, учусь у нее, как мне предписано судьбой, что не мешает мне одновременно тыкать пальцем в ее поступки и в ее слова. Я ее все время уличаю и разоблачаю, а она все это сносит и дружит. Я бы с собой — скажу честно — сроду не дружила. Я бы уже подложила себе такую подянку, что не обрадовалась бы, но ей мои мелкие подлости хоть бы что. Только, ради бога, не подумайте, что Варвара — размазня или ангел. Тут вы сразу попадете пальцем в небо. Она крутая и сильная, как вездеход или там ломовик. Но у нее есть любимая фраза: «Людам и без меня хуже некуда...» В общем, она старается не отягощать жизнь другим. Мне, например, не дает сдачи. Из этого ее принципа протекают и другие ее свойства: автономность защиты и самозащиты, такое «извините, я сама, вам и без меня хуже некуда». Но это потом сформулируется в слова, а начиналось все как у детей. Меня вымыли ржавой водой, я отомстила пальцем в глаз, мама своей тяжелой рукой двинула меня по спине, ее мама перехватила руку, поднятую для второго воспитательного раза, Варвара молча терла ткнутый левый глаз, правым изучая меня, до сих пор помню и вижу ее большой немигающий зрачок.

— Она больше не будет, — сказала Варвара нашим мамам.

«Как же, как же! — думала я. — Я тебя изуродую, как бог черепаху».

Это было новенькое с иголки выражение, вывезенное мною из Москвы. Мы с мамой только что ездили туда в гости, и был там мальчик в брючках на помочах, который много чего объяснил провинциальной гостье-малолетке, тем более что он впоследствии пообещал на ней жениться, и вот он без конца повторял эту фразу: изуродую, как бог черепаху. Я видела черепаху только на картинках и, в сущности, не понимала смысла этих слов. Черепаха не выглядела хуже хорошо знаемой в лицо собаки или там коровы. Наоборот. Мне она нравилась. Но слова столичного мальчика в помочах были сильнее собственного восприятия. О, сила подавляющих нас слов! В моем случае она превращена в по-

рок, я слепо, по-дурному верю слову, написанному и сказанному, всю мою жизнь.

Тут требуется пояснение. Я не так верю: да — значит да, нет — нет. Все может быть совсем наоборот. Но если слово сказано, а уж тем более если начертано, то чему-то обязательно быть. А хуже нет слова оброненного, как в случае с мальчиком и черепахой. Ребенок ляпнул, другой впечатлительный ребенок всосал, и бедная черепаха — красавица, в сущности! — стала символом уродства. И уже все мне не так — ни панцирь, ни шея, ни глазки по бокам. Ужасная несправедливость по отношению к черепахе. Но я — такая. У меня — так.

Идем дальше. Нас с Варварой ничего не связывает в смысле черт характера. Я могу запросто пнуть ближнего, у меня этого — «ему, мол, и без меня плохо» — нет. Но я буду ликовать вся оплеванная, если меня до этого предупредить, что в меня не плюнут, а окропят божьей росой. Оплеванная вполне могу существовать как окропленная.

Мы дружим уже полста лет. Ужас. Старухи старые. И все у нас как в детстве.

Боже! Какое там детство!

Чего это я к нему прицепилась? Но меня так выбило из колеи последнее саморазвитие Варвары, оно, что называется, уже за гранью, и во мне просто стала разматываться пленка назад — до корыта с дождевой водой, — потому что если я сама себе не объясню, как это она могла, то я просто не выживу. Очень серьезные во мне подрубаются корни. Можно сказать, первооснова моих основ.

Мы с Варварой почти чистокровно русские. Ну, есть там какие-то вкрапления украинской крови у меня, а у нее где-то там в глубине были немцы, но это уж если очень приглядеться и копать. Это что касается пятого пункта. Потом вы поймете, почему я начинаю с кровей. Дождевая вода и сразу пятый пункт. Сейчас много разговоров о том, что, мол, раньше эти вопросы не возникали, что все жили дружно, было единство и т.д. и т.д. Ха-ха! Фамилия моя Дибич. Зовут — Ганя. Не Галина, не Агафья, не Гаяния — есть и такое имя. А просто и коротко — Ганя.

Это не существующее в природе имя дал мне отец. Мама рассказывает, что он искал, чтоб ни у кого, но чтоб это и не было иностранщиной. Отцу, как я теперь понимаю, очень хотелось что-то создать, а что может создать маркшейдер? Он решил придумать имя. Соединил Галину и Ваню. Это его и мамино имя. А перед этим — следите за абсурдностью ситуации — он сам выправился в Бориса, потому как Иван ему же показалось грубо и неинтеллигентно. Маркшейдер Иван — это же фу по сравнению с маркшейдером Борисом. Царство небесное тебе, папочка. Знал бы ты, сколько сейчас бегают Ванечек и как-то очень изредка Борисы. О господи! О дичь!

Итак, я Ганя. Так вот всю жизнь — всю! — мне надо было оправдываться, что я, Ганя Дибич, — не еврейка. Тем более что мне жутко не повезло с отчеством по глупости папочки. Борисовна. Все! Конец света. Ганя Борисовна Дибич. Дважды выходила замуж, но — это надо знать мой характер! — в последнюю минуту леденела, как Карбышев. И ни Лубенко, ни Шаламовой не стала. Так и осталась вся из себя до конца Дибич. А Варвара — не просто Варвара. Она Варвара Ивановна Колотушкина. Просто не имя, а подарок обществу «Память» на день рождения царя. Теперь внешние данные. Я изначально, от роду белесая, плохого цвета. При помощи химии я золочусь, но, в общем, по лицу меня ни в чем не заподозришь. Это надо, чтобы произнесли «Ганя Борисовна!» — и сразу какая-нибудь сволочь возникает просто из воздуха.

— А вы обращали внимание, — лепечет сволочь, — на ее зад? Он же у нее приплюснутый!

Да! Приплюснутый зад опровергнуть нельзя. Нельзя его скрыть или подвергнуть операции. Он такой. Он основополагающий и краеугольный. Это правда... Некрасивый. Мама мне вдалбливала, чтоб я носила пышные юбки, а талию туго перехватывала широким поясом. Но! Где теперь эта талия?

Вы поняли, куда я гну? Всю свою уже длинную жизнь я этими своими признаками ощущала национальную проблему. Потому что приплюснутый зад в нашем городе считался еврейской чертой.

Варвара же — Колотушкина, моя подруга. Ну, глаза — гудроновые и слегка навывкате. Нос тоже не лучший в смысле чистоты расы. С горбиночкой. Волос плохой, сеченый, но с некоторой волной, а в чисто вымытом виде даже вполне крутой волной. Придраться есть к чему — волнистость, горбинка, буркалость роговицы. Но что значит имя — Колотушкина. Это как черепаший панцирь. Или там долбаная кираса. Никто, ну просто никто ее ни в чем и никогда заподозрить не мог. И правильно. Она же чистопородная женщина. И говорю я это, чтобы сравнить с моим случаем и подчеркнуть: у нас с антисемитизмом и раньше было хорошо. Хотя меня, дуру, это долго-долго ничему не учило, а могла знать и понять: если он есть — есть и многое другое. Это же чистый материализм. Антисемитизм — это любимый цветок джунглей подонства. Я, Ганя Борисовна, кричу об этом уже столько лет, что охрипла. Это не образ, черт вас дери, а действительно заболевание — у меня атрофический фарингит.

А Колотушкина, между прочим, здоровая женщина. Я ору, размахиваю руками, качаю права еврейского народа — вы должны были об этом догадаться, исходя хотя бы из той детской истории, когда я ткнула пальцем в глаз Варваре. От своей природы мы — никуда. Это как приплюснутый зад, который носишь с собой всю жизнь и под любой клешеной юбкой знаешь о его существовании. В этом смысле я объективный материалист и признаю не просто первичность природы, а, так сказать, ее формообразующую суть. Форма зада определяет форму поведения. Вы видели, чтоб было наоборот?

Моя любимая подруга Варвара Колотушкина — совсем другое дерево. Мы с ней — слово и дело. Я ору, она совершает поступки. Бывает и не совсем так, но всегда я — шумная часть, она — тихая. Но главные бродильные процессы все-таки в ней. Пропуская детство, юность, сразу перехожу из квамперфекта в сейчас. Знаете, что в ней главное сейчас? Чувство опасности. Оно в ней отлажено, как японская техника. Она не кричит, не вопит, а просто щелкает тумблером.

Двадцать литров воды в кастрюлях и банках. На случай... Рядочком или спинкой друг к другу рис, пшено, греча, сахар, соль, мука, макароны. (С последними неудобно из-за их разновеликости. Соломку приходится класть плашмя, высокая, зараза, не влезает в шкафчик). Теперь вот мыло, порошок. Заварные чайники. Зубные щетки. Резинка для трусов.

Я ненавижу в ней это, но, если я узнаю, что она что-то купила «на случай», я просто холодею и бегаю, бегаю, пока не достану то же. Последний раз это были, между прочим, плечики для одежды. Трембеля. Дерьма пирога! Но она мне первая сказала: попадутся плечики — бери сколько унесешь... «Да их навалом!» — закричала я. «Да? — засмеялась она. — Ну-ну...»

Плечиков нигде не было. Господи! Думала, спячу, пока найду. Нашла. Заныкала. Теперь царапаю о них руки, когда лезу на антресоли за туалетной бумагой.

Как бы я ни относилась к этому свойству Варвары, но то, что у меня всегда есть чай, — это она. Она раньше всех мне сказала: «Озаботься». Сейчас я комплектую набор электрических лампочек по пять штук на все виды напряжения. Утюг у меня в запасе тоже, между прочим, с ее подачи. Теперь все ополоумели, а у меня стоит, лапочка, нераспакованный и еще чугунный в придачу. Это я сделала уже сама от себя. Проявила инициативу и была очень одобрена Варварой. Она тоже купила. Два. «Между прочим, держу у входной двери, — сказала. — Мало ли... Это еще когда я достану пистолет или слезоточивый газ...»

— Пистолет? — закричала я.

— Именно, — ответила она. — Помяни мое слово, мы к нему придем...

Верю. Придем. Это ей принадлежит уникальное наблюдение. Если принимается широкомасштабное постановление по мясу или там по удобрению — знай: это в стране кончилось навсегда. Я пошла в библиотеку почитать сборник основополагающих постановлений по... Один к одному. Все опостановленное кануло. С ужасом думаю о 2000 годе, когда нам всем обещают отдельные квартиры. Что имеется в виду? Страшное постановление... «Неужели?» — спраши-

ваю я ее. «Вот именно!» — отвечает она. «Ты всегда! — кричу я ей. — Ты каркаешь! Каркаешь!» — «Успокойся! — говорит она. — Надо искать выход». — «Какой выход? Какой?»

Она стоит на фоне кухонного окна, между рамами которого выставлены одна на другой банки тушенки «Великая Китайская стена». От черно-белых банок в кухне полумрак. Ее сеченые волосы красновато отсвечивают — она красится только хной. Я не вижу выражения ее глаз, я его чувствую, будто меня толкают в грудь. Иди! Иди! Не стой! Надо купить кастрюли. Это не к добру, что они продаются сейчас в кондитерских отделах. Это знак. Сигнал. Я уйду. У ее порога связанные за ручки стоят кастрюли. Вперед, Ганя Борисовна, вперед!

Господи! Зачем мы выросли? Зачем...

Во время бомбежки наши матери прятали нас в погребе. Когда переставало грохотать, нас осторожно выпускали помочиться. Очень хорошо это помню. Тихо-тихо, светло-светло, и мы над травкой. Сидим подольше. Радуемся.

— Знаешь, — говорит Варвара. — Отсюда и дети выходят. Не веришь? Хоть у кого спроси...

Разве такое спрашивают! Это надо принять за основу или опровергать...

В то наше детское время я ее опровергала. Я ей сказала, что доподлинно знаю: дети появляются из живота при помощи «сечения». Я сама видела у своей мамы шрам.

— Дура, — сказала она. — Никаких шрамов. Писька расширяется, как дверь... — Она старается заглянуть себе между ног. Вдыхает: — Туда много чего может войти. Мы ведь растягиваемся.

Нас загоняли обратно в погреб, на доски, положенные на бочки, на старое стеганое одеяло. Почему-то надо было на них лежать, а не сидеть. Почему, не знаю, не помню. Мы лежали матери сидели на табуретках, табуретки стояли в воде (погреб заливало), бочки стояли на кирпичках... А! Вот в чем дело. Лежа мы вроде бы как меньше расшатывали бочки. Положение лежа — оно безопаснее...

Чего меня занесло в этот погреб? Матери договаривались, как нас спасти дальше. Они разрабатывали два вари-

анта. Первый. Пришли немцы. Спасительницей становится мать Варвары. Немцы ее не тронут, не должны, так как отец Варвары расстрелян нашими. В 37-м. Если же вернутся наши, то уже моя мать берет на себя главную функцию по спасению детей, поскольку наш отец на фронте. Такой вот расклад. Моя мать вполне была готова умереть при немцах, а Варварина при наших во имя нас. И я помню, помню тот разговор, потому что Варвара лежала рядом и бормотала: «Пусть придут немцы! Пусть придут немцы!» — а я молилась словами: «Да здравствует Советская Армия!»

Матери же нас не слышали, они все обговаривали по деталям. Они перечисляли, что перейдет к выжившей матери вместе с лишним ребенком. Я даже помню слова: «Извини, Галя, я не такая богатая, как ты!» Это говорила Варварина мама. А моя сказала: «Лиза, не забудь вынуть из ушей сережки». — «Ой, — воскликнула Лиза. — Бери!» — «А мы разве уже знаем, кто победил?» И они так стали хохотать, что всколыхнули стоячую воду погреба и запахло таким вонючим затхлым рассолом и какими-то отсырелыми мышами и вообще поднялась такая тухлость, что мы с Варварой раскашлялись, а тут снова стали бомбить, кашель, вонь, бомбы, страх, а моя мама говорит: «Господи! Зачем мы родили детей?» А Варвара вдруг возьми и скажи: «Тетя Галя, объясните Гане, откуда появляются дети, а то она до сих пор не знает».

«Как не стыдно!» — закричала Варварина мама. «Это же вы рожали. Не мы...» — ответила Варвара. «Значит, оттуда... — решила я. — Раз не могут ответить одним словом...» Тогда я дала себе слово под салютом всех вождей, что со мной этого безобразия по растягиванию не будет. Никогда! Это и стыдно, и противно.

Мы с Варварой «растягивались» дважды. Аборты я не считаю. Это мелочь.

Ненавижу себя! Вместо того чтобы четко и коротко рассказывать, что случилось, я наворачиваю подробности с этим погребом, с войной, со всей этой до блевотины надоевшей людям хурдой. Ну, скажите, Христа ради, какой еще народ пятьдесят лет спустя упивается подробностями бом-

бежек, голода, эвакуации, сидения в сыром окопе, отклеивания приставшего к ране бинта — кровавого, гнойного, вонючего, пересказываниями рецептов выживания зимой, когда подметки отваливаются от мороза, и летом, когда ломаются на кусочки от потной жары? Кто еще, кто обладает этим свойством — потерю всего, что имел, через время превратить в ежегодный праздник с бряцанием медалей и стаканов? Но вот я — женщина вроде как, хотя иногда думаю, какая там женщина? Ну какие у меня признаки принадлежности к этой части человеческого рода? Единственно рожальное свойство. Немало — скажете, а я скажу — ерунда, потому что ничего больше — ничего! — поэтому не надо мне лепить горбатого. Не надо! Какая там я женщина? Я — ломовая лошадь. Я — цепная собака. Я — буренушка. Ну вот опять меня занесло... Иду дальше...

Наши мамы — пропускаю все лишнее — умерли почти в одном возрасте: моя в сорок, Варварина в сорок три. И обе от рака всех внутренностей. В общем, их, бедняжек, хватило на то, чтоб спасти нас в войну и дать дурам образование. Причем моя покойница-мама считала, что вторая часть — образование — важнее. Потому что, по ее мнению, если нет его, диплома, то не было бы смысла спасать вообще. Я маму отблагодарила хорошо. У меня красный диплом. Хотя было, было у меня желание закопать его вместе с мамой, как принадлежащий ей по большому праву. Такая у меня была на могиле истерика.

Встретились мы с Варварой через несколько лет. Давай встретимся — давай. Не то что душа рвалась, хотела, а скорей от сознательности. Предъявила она мне мужа — такой заросший черным волосом еврейский недомерок. Мой первый рядом с ним выглядел как Добрыня Никитич. Мы с моим все сидели и переглядывались на эту тему: дескать, зачем ей такой? Что ее заставило? Любовь просто нельзя было вообразить. «Как его фамилия?» — спросила я Варвару, когда мы выносили в кухню тарелки. «Колотушкин» — ответила она. «Вы прямо нарывааетесь», — засмеялась я. «Ага», — ответила она. И все. Помыли тарелки и разбежались на много лет. Думаю, что этот мой вопрос сыграл в на-

шей жизни не последнюю роль. Я же вам сказала. Я Ганя Борисовна Дибич. Русская. Чистокровно русская, окруженная всеобщим недоверием. Боже, как я ненавижу! Да, да, уже поэтому я русская, это свойство моего народа — ненавидеть. Какой дурак распустил эти слухи о его якобы нечеловеческой доброте? Объясните мне тогда это пристальное вглядывание в глаза и строчки паспорта и сверяние дотошное, тщательное — буквы и тела. Со знаком изначального недоверия. Да, не похожа. Эта Дибич белесая. «Как моль!» — говорю я громко на эти внутренние жгучие вопросы. И стараюсь не поворачиваться задом. (Помните? У меня грабаркой приплюснутый зад.)

Итак, я была возмущена тем, что Варвара отдала карлику свою фамилию, о которой в наше время мечтать и мечтать. Ко-ло-туш-ки-на. Это роза, а не фамилия. Округлое, мягкое оло. Черт с ним, что в изначалье в смысле тут битье, драка. Звучит хорошо — пору секу! Меня вроде как занесло на русофобию, так нет и еще раз нет. Или да и еще раз да. Как хотите.

Моя история — тест. Опросите сто первых прохожих и спросите, какая фамилия им лучше — Дибич или Колотушкина. И вас спросят: в каком смысле? Потому как сразу видят смысл. Сразу! И ответы посыпятся как горох. Будет много разного. Дибич — это пижонство. Это — для сцены. Это отдает белогвардейством. Это красиво, но не... Колотушкина — это смешно, радостно, это так народно, это не подкопаешься, это оло, еле, ере...

Маленький, обросший черным волосом еврей стал Семеном Колотушкиным, а я — русская! — оставалась в своей подозрительной бессмысленности.

Потом годы побежали наперегонки. Это не фигурально, а в самом грубом, прямом смысле.

Привожу пример. Шестьдесят третий догнал меня в шестьдесят восьмом, хотя я и думать о нем забыла. Я уже тогда вышла замуж во второй раз и родила Ньюску, а сыночек мой Олег окончил восемь классов, будь здоров разница между кровиночками, и наши вошли в Чехословакию. Я, значит, кормящая, Олег в турпоходе, а мой второй муж говорит

мне с внутренней такой тоской-печалью. Надо сказать, что мой первый был человек внешний. У него и мысли, и чувства, и поступки рождались прямо на коже. На эпителии, как сказали бы медики. Я даже иногда думала, что внутри он цельный, из единого куска. Зато шкура! Не то что на жар-холод отвечает, на все! На музыку, на формулу, рукой по нему проведешь, и не надо вникать в слова и поступки. На этом мы и разошлись. Все-таки я женщина глубокая, этого у меня не отнимешь. Так вот, мой второй тоже из глубоких. Он мясорубку крутит, а я чувствую, как у него где-то в потрохах сидит такое неприятие и мясорубки, и мяса, и дощечки с луком, что он ненавидит мясорубий винт, и нож, и решетку, но, в общем, я его чувствовала будь здоров, хотя он при этом стоит, крутит ручку, улыбается, даже посвистывать может. Так вот, говорит он мне в шестьдесят восьмом августе, когда я сижу и сцеживаюсь в майонезную баночку: «А не заведи мы с тобой в шестьдесят третьем шуры-муры, — сказал он, — искали бы меня в этой стране черти...»

Хочешь — принимай как юмор, хочешь — оскорбись за державу. Действительно, у него был в те годы роман с одной итальянкой. Летучий такой роман, тогда это еще не расцвело махровым цветом. Так что никаких там усилий для больших побед над соперницей мне не требовалось. Подумаешь, два ее приезда и два раза переспали в номере на двоих, у него была коммуналка на улице Горького, напротив Моссовета, окнами на флаг. Разве поведешь девушку? Мы тогда в смысле жилья легко рокинулись. Мой первый, можно сказать, радостно переехал на флаг, а этот мой второй, «внутренний» мужчина, — в нашу «хрущобку» на Звездном бульваре.

Потом такое было не раз. Из прошлого прибежал какой-нибудь год и давал мне под дых, под коленки, а то и по шее. И когда я стала изучать на самой себе это «явление прошлого» и задумалась над тем, что бы это значило, чем я такая меченная и одна ли я такая, в Москве возьми и объявись Варвара. Она тоже вышла замуж вдругорядь, от Семена Колотушкина у нее остался сын Игорь, красавец, каких мало. Высоченный, кудрявый, с гудроновыми материнскими глаза-

ми. И к тому же какой-то редкостно одаренный в математике. Одним словом, Колотушкины резко пошли вперед! У нее была и дочь (вы чувствуете параллелизм судеб, заквашенный в недрах тех бочек, на которых мы лежали во время бомбежек?). Теперь смейтесь! Муж у нее назывался Ивановым Иваном Ивановичем. Дочь ее носила простенькое имя Марья. Как интеллектуальная лимита, они получили квартиру на Ленинском, возле герба-капусты, который когда-то начинал или кончал город, а сейчас уже неизвестно что означает пребыванием на середине. Ничего-ничего, и вдруг герб. Я вдруг подумала, не заподозрите ли вы меня в нагнетании социалистических символов — там флаг, тут герб, на что, мол, я намекаю? Ни на что! Каждый у нас может сказать, что из его окна площадь Красная видна. С этим ненапряженно. Подойдите к окну и посмотрите. Я очень удивлюсь, если вы не увидите знак, где вы живете.

И хоть все в Варвариной жизни было хорошо (это не только на мой пристрастный взгляд, но и объективно — начиная с высоты потолков — три метра — и кончая фамилией), сама Варвара вся была как струна. А я тогда была очень размагничена. Варвара уже предчувствовала, а я нет. Она меня предупредила о первой массовой пропаже белья в магазине. Я тогда просто для смеха зашла в ближайшую галантерею и увидела стопочки пододеяльников, простыней, наволочек. «Варвара — провинциальная паникерка», — подумала по дороге. Зашла в мебельный, походила между гарнитурами, неважно, что мне они не по средствам, важно, что они стоят красивенькие такие, блестящие, я могу в своей мечте поступательно к ним двигаться и в конце концов приду когда-нибудь и куплю... А наволочки... Что наволочки? Вот их я могу купить сейчас, но принципиально не буду. И потому что не хочу верить Варвариним словам, и класть некуда. Смена есть, и слава богу, я ведь еще помню время, когда у меня не было и одной смены белья. Тогда я затевала раннюю утреннюю стирку, подушки горбатились в наперниках, и с них сыпалось внутреннее содержание, но к вечеру я все отглаживала — и ничего страшного, абсолютно! А теперь у меня есть смена, а наволочек даже две смены,

так что я, тронутая, покупать впрок? Зайду и куплю по мере надобности. Конечно, я тут же попалась. И крепко. Потом была история с посудой, с тюлем и так далее, и, надо сказать, Варвара всегда меня предупреждала и ни разу не ошиблась, и все это по чутью, не то что у нее какие-то связи в торге или в горькоме партии. Просто сверхчувствование.

Но все эти торгово-закупочные свойства — мура по сравнению с главным. С тем, что сейчас.

Недавно она у меня спросила (а глаза тусклые, гудроновые):

— Как будем отправлять детей?..

— Куда? — спросила я, и так спокойно, даже не вздрогнула, хотя дети уже из всяких пионерлагерей выросли.

— Отсюда, — ответила она.

Вы уже поняли, что я от нее всегда чего-нибудь жду. Прогноза о рисе или там бельевой резинке. Но тут я не врубилась. Стою, как Дуня с мыльного завода, а у нее глаза загудронились так, что совсем не отвечивают, как левая сторона копирки, то, что я больше всего в ней не люблю, хотя какое это имеет отношение к личности, это природа. И еще у нее есть манера: пальцем указательным двигает по шее — вверх-вниз, вверх-вниз, будто у нее там что-то застряло. Лицо делается дурное при этом, даже тупое. Мы ведь уже с ней не молоденькие, мы даже уже не средний возраст, если по-честному, мы — пожилые тетки, и следить нам за нашими привычками надо особенно. Мои дети, например, очень раздражаются, когда я задумаюсь и грызу ноготь, они как ждут этого, будто подслеживают. Нюська так прямо в крик. Я — ей: это, в конце концов, мой ноготь. Не твое собачье и так далее. Но сама для себя решила: надо следить. Я с детьми и вообще со всеми молодыми по стойке «смирно», чтоб, не дай бог, не проявиться так, чтобы им стало противно. Потому что понимаю: себе они простят и сгрызенные ногти, и запах пота, и громкий глоток — чавк-чавк, и отпоротый с висячими нитками подол на юбке, мне — ничего. Поэтому я как Тэтчер, у меня всегда волосок к волоску и колготки даже под юбкой в самом том месте целые. Это я давно завела себе на ум, ведь может же случиться скоропостижность?

Может. И меня придется нести, и завернется верхнее, ну и так далее... Изнутри я вся теперь выглажена и надушена. На случай смерти. Это мой им вызов в последний мой час.

Поэтому я говорю Варваре. Очень спокойно говорю:

— Перестань теребить шею. Ты же растягиваешь мышцы, у тебя уже рубец от дурной привычки.

— Что? — спросила она и ноль внимания. Шея от подбородка до горловой ямочки вся багровая, а она ее трет и трет, трет и трет.

— У тебя что, — говорю, — зуд? Ты пробовала тавегил?

— Придется все назад раскручивать, — сказала она. — Надо ехать в Челябинск.

Ничего я не поняла, ничего!

И она поехала, взяла за свой счет неделю, это у нас не проблема. Я вот иногда думаю себе: что это такое — за свой счет? Имеется в виду, что основная наша жизнь идет за чужой счет, что мы — хронические иждивенцы или нахлебники, и ничего у нас своего нет (а так оно и есть), и только иногда, в экстренных случаях, мы позволяем себе жить за свой счет. Дичь! Но ведь если вдуматься, мы этой дичью перепутаны, запутаны и уже давно потеряли элементарные понятия. Ладно, это уже пошла политика, я в нее ни ногой, пусть она горит синим светом, я все равно знаю: в самый радостный момент, когда нам пообещают четыре сорта колбасы без очереди и натуральную кроликовую шубу по себестоимости (я имею в виду рублей за тридцать пять, потому что мой дядька в своем дворе выращивает этих кроликов столько, что их некуда девать, а шкурки он палит на вонючем костре, потому что державе они даром — а он отдаст! — не нужны), — так вот Варвара в этот момент социалистического изобилия скажет мне: «Ганюля! Озаботься сухой горчицей и бюстгальтерами». И я брошу все и ринусь. И куплю двадцать пачек (если попадется) горчицы и бюстгальтеры всех размеров на случай потолстения и похудения. Это ведь вполне может быть. Я знаю женщин, которые в месяц теряли свой вес, считай, вполовину, я знаю, это страшная болезнь, не дай бог, но ведь все равно не умрешь сразу, какое-то время походишь в больном виде, значит, надо иметь оде-

жду и на этот случай! Я ведь вам свои принципы внешнего вида уже сказала.

Так вот... Варвара уехала, сварив Ивану Ивановичу и детям рассольник на три дня и холодец, который в хорошем холодильнике может жить без срока давности.

Я одной долькой мозга подумала: интересно, зачем она туда поехала, но у меня в это время были свои обстоятельства, от которых я, можно сказать, поседела. Олег мой надумал жениться, ничего не скажешь, институт окончил, работу имеет, а мне каждый раз не спать, пока он подгробет домой весь в женских запахах, тоже скажу — не радость. Ложусь, а рядом валокордин и рюмочка с водичкой, и коринфар, и спазмалгон и так далее.

Олег привел в дом девушку, потом выяснилось, что и не девушка вовсе, а молодая мать, но не в этом дело! Господи, да я люблю детей, может, это единственное, что я люблю без всяких там оговорок и без включения мозга. Люблю, можно сказать, потрохами, хотя для красоты изложения и украшения собственного образа могла бы сказать — детей люблю душой и сердцем. Так вот так не скажу, потому что не знаю. Душа — это очень проблематично, очень. Если она есть, то у нее чисто печеночные реакции, поболит-поболит и перестанет, и никаким она пакостям еще ноги не спутала. Наоборот! Сколько сейчас к ней взываний, а подлее отношений я лично за свою жизнь не видела. Что же касается сердца, то с ним вообще все ясно — мотор и мешок. Так что я люблю детей неизвестно какими потрохами, может, поджелудочной железой, может, сигмовидной кишкой, но где-то там у меня начинает печь и страдать, когда дитю — любому — плохо. Это чистая правда, но правда и то, что если я такая в смысле детей, то что касается взрослых — нет и нет! Так вот пассия моего дурачка-сына была по национальности пятый пункт, и я сказала: «Олег, как хочешь, у тебя уже высшее, но в нашей стране это все равно что броситься под трамвай. И это хоть тебе, хоть ей. Когда-нибудь ты сгоряча, в сердцах обязательно ей скажешь «жидовка», и что потом делать? Ты же потом сам не сможешь посмотреть на себя в зеркало».

Я чувствовала себя очень умной в этой своей речи. Это у меня бывает, когда я себе нравлюсь, так сказать, в «словесном исполнении». Хорошенькое слово вовремя возникает под языком, предложения вяжутся изящно, как кружева, но главное — мысль. Упругая, сильная, как шланг под напором, бьется в руках, то бишь в кружевах, и сама я в такие минуты делаюсь ничего себе. Покойница-мама говорила: «Ты, доча, бываешь красивая в речи. Ты это используй». Где, мама? Где? Талант, можно сказать, пропал втуне. Но моментами... Я возгораюсь... Сам черт мне тогда не брат... Кого хочешь перевербую. Вот и с сыночком моим была такая же история. Все было: и шланг, и кружево, и гордо запрокинутая голова; и Олежек мой, вижу, не просто меня слышит, внимает, и слова мои, значит, дают в нем размножение. Я и девушке его — женщине это все повторила. Слово в слово. Она, надо признать, из умных, поняла сразу. Во всяком случае, дело между ними пошло на явный спад. В этот момент как раз и уезжала Варвара в Челябинск, почему мне и было не до нее.

Вернулась она окрыленная, энергией налитая. Я знаю, как она выглядит в этих случаях, будто ее только что умело отлюбили.

— Имей в виду, — сказала она по телефону, — телевизоров скоро днем с огнем не найдешь. Купи и спрячь, у меня уже в изголовье стоит коробка. Я постелила на нее коврик, знаешь, у меня ручной, бухарский, поставила керамику а-ля гидрия, и тип-топ!

У меня же слова в горле про Олега и его девушку-женщину с пятым пунктом просто спеклись в горле. Я ей их едва выхрипела, а она как закричит не своим голосом:

— Не уходи! Я к тебе еду!

Примчалась. Вид! Видели бы вы... Помада только на верхней губе, нижняя вся слизана. Пальто набросила прямо на застиранный халат (исходя из возможной скоропостижности меня налыгачем из дома в таком виде не выгонишь), сапоги на ней той степени разношенности, что они уже не обувь, а исключительно средство передвижения. У нас во дворе на Звездном живет одна дурочка в медицинском

смысле, она носит на ногах посылочные ящики, привязанные лентами. «Ах, говорит, вы не представляете, как легко, удобно и не скользит». Варварины сапоги — это уже близко к посылочным ящичкам, просто два шага — и фанера. И она мне с порога метнула в руки бумажку, которая оказалась не чем иным, как свидетельством о рождении ее сына Игоря, в котором черным по белому было написано: отец Клейнер, мать Клейнер-Колотушкина.

— Следующий этап, — сказала она как-то сипло, будто у нее все изнутри склеилось и слову приходится пробивать себе проходы в этой склеенной тесноте, можно сказать, кайлом, почему и появляется у слова необычайная освобожденная сила, оно не просто само действует, у него — борца эдакого — возникает еще и моральное право производить впечатление. Дескать, вон как я к вам пробивалось, через какие спазмы и фарингитную сухость. — Так вот, — продолжает Варвара, — следующий этап, это я уже просто Клейнер, потом Иван войдет в Клейнеры, а Марья уже будет чистенькая, как утренняя роса. — Голос ее окреп, и она уже закричала: — Твоему сыну и тебе, идиотка, Бог послал удачу, а с твоим подозрительным именем у тебя вообще все могло пойти как по маслу... Детей надо отправлять отсюда... Ты что, не понимаешь? До тебя не доходит? Догоняй эту Олегову бабу и кидайся ей в ноги. Скажи, что на тебя памороки нашли. Это твой шанс, дура. Это не то, что у меня. Мне теперь паспорт менять, мне теперь из себя колотушкой Колотушкину выбивать. Все!

Она схватила бумажку и исчезла, грякнув на прощание своими посылочными ящиками.

Я хожу по квартире, где с Варвариной подачи уже много чего по два, по шесть, по восемь. Я уже тоже успела, пока она ко мне ехала, освободить угол для будущего телевизора и уже вытрусилась на балконе левый остаток от шикарной старинной плюшевой скатерти, правый давным-давно был изжеван собакой. Я была — как мне казалось — готова к зиме, лету и переходным периодам. Я жила в тугом натяжении между возможностью тотальной карточной системы и разнузданностью рынка. По собственной натянутости я могла

перебегать в нужном мне направлении. И как оглушительно убедительный аккорд моей непобедимости перед всеми врагами в моем паспорте при помощи всевозможной химии и туши уже давно было написано, что я — Паня! Тарасовна! Дибичева! «Задохнитесь, жабы! — сказала я всем. — Задохнитесь!»

И теперь я рву на себе волосы, я кручусь в своем бункерочке на пятом этаже, я криком взываю к Всевышнему: «Боже, как? Боже, что?» И я уже не замечаю, что одета, хоть и быстро, но со свойственной мне аккуратностью, что я уже бегу, потому что мне надо найти эту девушку-женщину, с которой, даст бог, не порвалась хрупкая нить и которой я брошусь, брошусь в ноги...

ЕДИНСТВЕННАЯ, НЕПОВТОРИМАЯ...

Она любила приказывать. Она умела приказывать. У нее было право приказывать. Потому что Тамара Федоровна была первым человеком в городе. Скажем, почти первым. Впрочем, Тамара Федоровна могла быть и никем, а приказывать все равно умела бы. Такой характер... Тут, конечно, интересно поразмышлять, что в нас первично — природа или обстоятельства? И можно ли, будучи в смысле данных «ником», стать «всеми»? А можно и не размышлять, чтоб не сломать мозги, а просто взять за основу такую данность. Жила-была женщина, Тамара Федоровна, с сильным характером и сильной должностью. Взять это за основу, чуть-чуть тормознуть и посмотреть со стороны, что из этого вышло в одном конкретном случае. Ни в коем случае не обобщая частный факт...

Представьте себе декабрь... Чуть-чуть метет, так легко, непротивно... Стоит возле не обозначенного никакой вывеской здания «Волга». Шофер листает «Крокодил», ему не смешно и не страшно, ему — никак. То, что пишут про воров и пьяниц, его не колышет. Он сам ворует бензин и хорошо выпивает. Не будешь же пугаться сам себя? Тем более над собой смеяться?

Но вот он подобрался, потому что по ступенькам необо-значенного здания спускалась женщина. В незастегнутой шубке, в распущенном шарфике, высокой песцовой шапке, издали — весьма эффектная женщина.

Села, как положено, сзади; поймал в зеркальце лицо ее шофер и ахнул: как говорится, на лице лица не было. Чуть не долбанулся в стоявшие впереди «Жигули». Она не заметила!!

Короче... Тамара Федоровна ехала из поликлиники, где проходила очередную диспансеризацию, с очень испорчен-ным настроением.

Сначала все шло формально и подхалимски, как и в про-шлый год, и в позапрошлый, а у хирурга возникла ситуа-ция. Еще только она переступила порог кабинета, как по-чувствовала: что-то не так... Хирург вскочил, поцеловал ей руку и чуть сам раздевать ее не кинулся, а это было уже слишком для выражения почтения... Сестру куда-то сразу ветром сдуло, а хирург ни с того ни с сего стал говорить ка-кие-то глупости о том, что, мол, живет человек, живет, и это прекрасно, но пока он живой, все в нем, живом, и возни-кает... Что и отклонением назвать трудно... Течение, так ска-зать, жизни...

— Что возникает? — прямо спросила Тамара Федоровна. И именно на эти ее слова открылась дверь, и в кабинет во-шел главный онколог города, а за ним маячила сестра с рентгеновскими снимками в обнимку.

Онколог тоже поцеловал руку и сказал, что зима в этом году как никогда. И снегу ровно столько, сколько надо, и морозу ни больше ни меньше... Значит, возможны урожаи... Одним словом, произнес очень оптимистические для думаю-щего интеллигента слова...

— Лучше скажите, что там у меня возникло? — спросила Тамара Федоровна, но одновременно холодея внутренне. Это она умела делать блистательно: скрывать то, что ее на самом деле беспокоило и интересовало. Никаких там вопро-шающих глаз, подрагивающих пальцев или еще чего у нее никто никогда не видел.

Она смеялась, глядя на хирурга и онколога. И оба они подумали: «Железная тетка. Ничем ее не испугаешь... Просто Павлик Морозов...»

— Да ничего! — добродушно сказал онколог. — Что у всех, то и у вас... Полипчики... Это в пятьдесят почти правило...

— Резать? — резко спросила Тамара Федоровна.

— Надо бы обследоваться в стационаре. Может, и не надо...

— Когда и на сколько?

— Сейчас и недели на две. Как минимум...

— Сейчас не могу, — сказала она. — Месяца через два... Конец же года, товарищи...

И тут оба доктора заговорили вместе, и этот их несрепетированный общий разговор что-то и обнаружил... Один говорил, что даже если операция, то раз-два, и все... Другой, что надо к этому отнестись серьезно — все новообразования чреваты... Один говорил, что теперь такая аппаратура, что заснул и проснулся как новенький, а другой настаивал, что жить надо иначе... Беречь силы, ибо могут пригодиться...

Сестра же слюнявила большой конверт, в который уже запятила рентгеновские снимки, и большими буквами писала на нем: «Морозову, лично».

Морозов был лучшим оперирующим онкологом, в отличие от главного, который был просто главным, но лучшим не был.

— Не тяните, дорогая моя, — сказал хирург. — Просто завтра вас будут ждать...

«Плохи мои дела», — подумала Тамара Федоровна, видя перед собой серый, в шелушинках конверт.

Естественно, никто ничего на работе не заметил. И дома тоже. Чем большей паникой охватывалась ее душа, тем непроницаемей было крупное, четкой выделки лицо. Оно просто делалось крупнее и вылепленней, и за столом Тамара Федоровна смотрелась как бронзовый бюст.

Ночью все заболело. Мышцы, кости, мозг. Все ныло, стонало, пульсировало, колело. Пришлось идти за таблеткой. Выпила два анальгина сразу, а стало не лучше — хуже.

— Голова болит? — спросил муж, проснувшись от ее беготни.

— Да, — ответила она сухо. Муж покряхтел, видимо, выражая сочувствие, потом положил ей руку на живот, тоже из сочувственных соображений. И Тамара Федоровна четко ощутила болезнью именно под его рукой. Именно там было это, именно там... Она стала вслушиваться в это место, такое незначительное в биографии место, что расположено слева и выше пупка. Тьфу, место! Муж так и уснул рядом, рука его потяжелела, придавив это, а Тамара Федоровна вся похолодела от ужаса, узнав в лицо врага, с которым, может, ей не справиться.

Она так и лежала без сна, думала и ничего не придумала, утешала себя и не могла утешиться, возвращала в себе уверенность и не взрастила. Поняла одно: ей нужна точность. Никаких «то» и «это», никаких недоговоренностей, пусть ей скажут правду. На полуправду сил уйдет больше.

День начался как день. Кофе, рогалик, газеты. Три-четыре слова через две газеты мужу. И на работе все шло по расписанию, между двумя посетителями небрежно сказала секретарше: «Вызови мне Никоненко».

Никоненко был главным врачом поликлиники и не мог не быть в курсе здоровья Тамары Федоровны.

Вот тут и должно было быть пущено в дело основное свойство Тамары Федоровны — умение приказывать. Никоненко был никудышный терапевт, это обнаружилось сразу после института, но отнимать у него диплом оснований не было, никто у него от вопиющей диагностической ошибки не умер, да вообще, что такое в наше время терапия? Так... Хиромантия при помощи анализа крови, мочи и еще одного показателя. Никоненко же был представительный мужчина, прошел армию, окончил университет марксизма-ленинизма. Так что он очень непринужденно стал главным врачом. И вот именно его ждала сейчас Тамара Федоровна.

Никоненко не вошел — влетел. Это был его стиль — стремительность. Для начала разговора Тамара Федоровна положила перед собой папку с бумагами по поликлинике. Жалобы, претензии, предложения. Например, такое: в час-

ти лестницы сделать ступеньки пониже — для пенсионеров. Бред собачий, а расчеты приложены. Средняя высота шага человека, которому за семьдесят лет, высота ступеньки действительной и желательной. Место удара, задевания каблучком. Траектория падения тела вперед и тела назад. Прогноз смерти. Так и было написано — прогноз смерти. И то, что Тамара Федоровна, открыв «папку по поликлинике», глазом уперлась именно в строчку, которая и была темой предстоящего разговора, вызвало такую тахикардию, что впору было вызывать «неотложку», но Тамара Федоровна просто стала в этот момент четче, контрастней, и все. Никоненко же, который все уже знал, тоже подумал о ней с восхищением: «Эту бабу с ног не сбить».

Говорили о серьезном. О дефиците лекарств. Об иглоукалывании — когда же у нас? О строительстве нового корпуса для физиотерапии.

— Да! — сказала Тамара Федоровна, кончая разговор. — Там твои специалисты меня пугать задумали... Что там у меня на самом деле?

И тут Никоненко сломался. То есть напроочь. Две силы на нем сомкнулись и смяли его. Он не мог сказать и не мог не сказать. Тамара Федоровна смотрела на него спокойно, твердо, и он уже знал, что не уйдет с места, пока не скажет всего, а соврет — хуже будет. Ей врать нельзя, тем более это тот самый случай, когда правду ей все равно придется узнать. Куда она денется? Морозов получил снимки и сказал им сегодня утром, что нечего ему уже делать. Для приличия пусть пришлют, он посмотрит, но речь может идти только о времени... Об оставшемся времени.

— Обычная перестраховка, — пробормотал Никоненко. — Теперь мода такая — всех через онкологию...

— Операция?

— Да нет! — искренне закричал Никоненко. — Какая там операция...

Он обрадовался, что, кажется, выныривает... Ничего страшного... Тем более он не врет... Операции действительно не будет... Скорей всего...

— Поздно? — спросила она тут же. Без паузы.

Он, уже обрадованный благополучным исходом разговора, не сумел среагировать быстро и точно. Он застрял в своей глупой улыбке, как в капкане.

— Ты скажешь мне все, — услышал он холодный и спокойный голос. — Я не истеричка и в обморок не рухну (сама же была в полуобмороке несколько минут). Как бизнесмены поступают? Они выясняют точное время и точно им распоряжаются... А у меня хозяйство пусть не четырьмя Франциями, — проявила она знание драматургии, — но двум Бельгиям равняется... Так что мне умереть без предупреждения никак нельзя, Никоненко. Поэтому четко, между нами, выкладывай все. У меня рак и метастазы... Верно?

Никоненко обреченно кивнул.

Тамара Федоровна ногой зацепилась за ножку стула и давила, давила, чтоб стало больно. Когда стало нестерпимо, позволила себе чуть скривиться и сказала:

— Сустав болит... А это не болит... Ну, да ладно... Хорошо же, что не болит... Сколько даете времени?

— Для этого и надо лечь в больницу, — проникновенно сказал Никоненко. — Чтоб посмотреть как следует...

— Глупости! — сказала Тамара Федоровна. — Глупости! Тратить на больницу время, если его, считай, нет... Все-таки, сколько?

— Тамара Федоровна! — закричал он. — Да что я, Бог? Кто ж это достоверно знает?

— А какие ножницы?

— Ножницы?

— От и до... Есть же у вас «от», есть и «до»...

— Да может, я сам завтра умру? — вдруг разозлился Никоненко. — А у вас вообще ошибка...

— У меня не ошибка, — четко сказала Тамара Федоровна. — Не юли... Полгода у меня есть?

— Есть, есть! — обрадовался Никоненко. И тоже не соврал. О полугоде говорили. Даже и больше могло быть... В конце концов, она же пока ничего не чувствует...

— Иди, — сказала Тамара Федоровна. — И не болтай языком!

Дома уже все всё знали. Хирург еще утром вызывал к себе мужа Тамары Федоровны. Никоненко поимел потом неприятности от нее ни за что ни про что... Он-то действительно никому ни слова...

Все были дома. Дочь с мужем. Сын. А быть не должны были. Каждый приход дочери всегда оговаривался заранее, потому что Тамара Федоровна гостевой неожиданности не любила. Хоть и дочь, а предупреди заранее. Не девчонка мать, чтоб на виду у всех суетиться и соображать на ходу, что на стол бросить.

А тут — на тебе. Все... Хорошо, что хоть без внука. Нечего ребенку видеть этот погребальный сбор.

Ну, конечно, все всё как-то объяснили, шли, мол, мимо, свет горит, дочь даже прошептала: «Так я в туалет хотела...»

Тамара Федоровна вычислила: отец узнал правду и тут же протрубил побудку. И что ей теперь со всеми ними делать?

Дочь сама поставила чашки, нарезала колбасы, сыру, сварганила морковный салат: «Раз уж я тут...»

«Надо с этим кончать... Раз и навсегда...» — подумала Тамара Федоровна.

— Мама, — вдруг сказала дочь. — Не будем делать вид, что ничего не случилось. Тебе надо лечь на обследование... Не нужно паники, но и легкомыслия в таком деле тоже не надо...

— Хорошо, что ты сама начала, — ответила Тамара Федоровна. — А то ведь мне все-таки неудобно вас спрашивать, чего явились? Так вот, был у меня разговор на высшем уровне... Типичная перестраховка... Типичная! Была бы я — не я, слова бы никто не сказал, а тут, извините, должность заболела... Так что я, может, и лягу в больницу, но когда дела сделаю... Конец года... Все подбивают бабки... Время не простое... Потерпит больница...

Боже, как они все сразу успокоились! Как легко сняла она у них страх с души. Пили чай.

Внутри же болело. Сразу, как она их всех поставила на место, заболело. И вместе с болью пришло какое-то неведомое до сих пор любопытство, кто это с ней за столом? Что

за народ? Именно так, отвлеченно, подумала она о самых своих близких — «народ».

Чувство отчуждения новым не было. Просто никогда оно не было таким всеобъемлющим, чтоб в него попал и Витя, сын. Теперь же и он был «народ», и его не было жалко, а было возмущение несправедливостью, что, когда ее не будет, эти чашки в горошек, и льняная скатерть, и прибалтийский атласный абажур, и все вокруг, а главное — они будут живы, будут так же сидеть еще много, много раз, а ее, которая все это сотворила своими руками, не будет. Осмыслить это оказалось вполне возможным, а вот почувствовать было нестерпимо. Что она, не знала, что все смертны? Что всех нас, хороших и плохих, переживают чашки и скатерти? Знала. К себе не относила. «Мне некогда об этом было думать», — объяснила она себе. Они же пили чай.

Муж громко прихлебывал, и, как всегда, это было противно.

Дочь, как всегда, размачивала в чае печенье, на что тоже было неприятно смотреть, на это белое месиво в чашке.

Зять чай выпил залпом, с гримасой отвращения. Так он пьет все — и молоко, и водку, и сырую воду. Странное такое у него свойство.

Сын же пил из блюдечка. Пыталась отучить — бесполезно... «А для чего тогда блюдца?»

Есть простые вопросы, на которые нет ответа. Этот, про блюдца, из таких. На работе знают, как она свирепеет, если кто-то по неосведомленности вылезает с каким-нибудь детским вопросом. Те, кто с ней работает давно, уже не спрашивают, к примеру, зачем она борется за «красные уголки», если в эти уголки только силой кого-то можно поставить. Время же другое, время! Не «уголками» оно определяется. Но, может, это и неудачный пример... Ну, тогда еще один из простых вопросов... Зачем в мясных отделах висит наглядный плакат — как правильно разрубить тушу и продать ее соответственно разрубленному сорту, если сортов давно нет в природе?

Вот такие вопросы больше всего выводили Тамару Федоровну из себя. Или взять дочь... «Я не глажу трусы... Зачем? Кто их видит?»

Убить хотелось и дочь, и всех...

Сейчас сына, который пил из блюда.

«Я их не люблю», — сказала она себе и встала, сказав, что устала и надо, мол, идти отдыхать.

Подошла дочь и прошептала тихо:

— Все-таки, что бы там тебе ни сказали твои ответственные товарищи, а провериться надо... Ну, что ты как маленькая?

— Ты боишься, что я умру? — в упор спросила Тамара Федоровна.

— А что? Я не должна этого бояться? — возмутилась дочь. — Конечно, боюсь... Что я, монстр какой?

— Не бойся. — Тамара Федоровна похлопала ее по плечу. — Я успею устроить твои дела...

Лицо дочери пошло пятнами, а потом гримаса, ненавидимая матерью с детства гримаса исказила ее лицо. Исхитрилась дочь как-то так сцеплять и растягивать губы, что напрягались жилы на шее и делалась она страшной, уродливой... Тамара Федоровна в детстве даже била ее за это. Ничего! В какие-то минуты — волнения ли, гнева — Ольга становилась похожей на кикимору болотную. Ну откуда это, откуда?

— Идем, Толик! — крикнула Ольга мужу. — Идем! — И пошла от матери с этим своим нечеловеческим лицом. Интересно, муж его видит? Тамара Федоровна даже выглянула из кухни. Сидит зять, обувается на табуреточке, не видит. Увидел сын, Виктор.

— Убери лицо! — сказал он сестре. Та тряхнула головой, убрала...

Хлопнула дверь, ушли... Зять уже с порога крикнул: «До свидания». «До свидания», — проворчала Тамара Федоровна в мойку.

Пришел сын, встал рядом.

— Ты... Это самое... — сказал он. — Сходи все-таки... Ерунда, конечно, я убежден... Но, как это говорится, береженого Бог бережет...

— Я неверующая, — ответила Тамара Федоровна.

— И зря, — засмеялся сын.

— Что за разговоры! — возмутилась Тамара Федоровна. — Знаешь, у себя в доме...

— Да ладно тебе, — махнул рукой Виктор. — Ты ж не на работе...

— А я всегда и всюду одна и та же... Пора бы знать свою мать...

— Ну, чего ты взвилась? Ты на нас кидаешься, будто мы в чем-то виноваты...

— Мать устала. — Муж вошел на кухню. — Брось ты эти чашки... Вымыли бы без тебя...

Сын ушел, а Тамара Федоровна повернулась к мужу.

— Только ты... Только ты, пожалуйста, не начинай все сначала... Ни в какую больницу я не лягу... Обойдется... А не обойдется, тем более смысла нет... Живем, как жили... Ни у кого ничего... Пошла сдуру на эту диспансеризацию...

Муж пожал плечами. Странно так пожал... То ли, мол, понимаю, то ли не понимаю... Неужели уточнять? Нет, конечно...

И снова была бессонница. Смотрела в потолок, думала: правильно ли все решила? А может, лечь и прооперироваться, не первая, не последняя... Чему-то уже врачи научились. Морозов — ас. Подождут две Бельгии, никуда не денутся... Но знала, что не ляжет... Была неизвестно откуда взявшаяся уверенность, что это не поможет. Никоненко иначе говорил бы... У нее другой случай... Что ей предстоит? Боли? Не допустят... Худение на глазах у всех. Плохо... Это надо бы подготовить... Объявить, что она худеет сознательно, что у нее какая-нибудь там французская диета... Потеря сил? С этим она справится... Сама... Вся ее сила в воле... А воли ей не занимать... Сочувствие? Жалость? Вот это каленым железом, по всем и каждому... Этого она не стерпит... И начинать придется с семьи... Именно сюда произошла утечка информации. Надо будет прижать дверь Никоненко, чтобы взвыл, сукин сын...

Нет, она вполне в порядке... Голова ясная, паники в ней нет... И врала... Тамара Федоровна врала себе потому, что

паника в ней не просто существовала, а билась как плененный тигр... И еще боль, которая охватывала ее всю, какая-то странная, не локальная, а всеобщая боль, которой в теле ее было вольготно и просторно, и она носилась по нему, боль, выискивая места, где она еще не побывала. Но если Тамара Федоровна не хочет в больницу, не признается в боли, как она получит настоящее обезболивающее? Если Никоненко... Он отслужит ей за длинный свой язык.

А боль возьми и пройди. Как пришла, так и ушла, и Тамара Федоровна даже уснула, крепко так, как давно не спала. И сон ей приснился, хороший сон. Будто она в каком-то очень красивом городе и что-то ищет. Какой-то магазин. И ее все посылают то туда, то сюда, а она выходит на одно и то же очень красивое место.

«Красивое не может сниться к плохому, — подумала она утром. — В конце концов, эти коновалы, современные медики, могли и напутать...»

Два месяца прошло спокойно. Ничего не было, ни болей, ни похудания, ни сочувствия; все шло своим чередом. И медики не приставали. Очень хотелось их спросить: «Вы что, ошиблись?» Но не сделала этого. И была горда.

За это время вползло в ухо много всякой информации про это. И были среди разного факты об отступившей болезни, о неожиданной консервации опухолей, почти безнадежных. Прочла Тамара Федоровна и популярный роман об экстрасенсе. Вывод сделала такой: она сама себе экстрасенс. Никаких ей полоумных стариков не надо. И эту знаменитую ассирийку тоже. Справится!

А однажды не смогла утром встать... В одно утро пришло все, чего так боялась. Осталась дома расprostертой на кровати. Пришла сестра, сделала уколы и не ушла. Сидела в кухне, смотрела по телевизору аэробику. Тамара Федоровна задремала, а когда проснулась, рот, горло были забиты чем-то горьким, саднящим. Отпила воды — не прошло. И не могло пройти. Потому что это была ненависть. К шторам, которые останутся, к этой кровати с выстеганным шелковым изголовьем и говорящему вдалеке телевизору, к халату из жа-

того ситца, купленному в Венгрии, ко всему существу — одушевленному и нет.

Тамара Федоровна была умна. Она читала, что ненависть — эмоция отрицательная. А ей остро нужна была положительная для сил, чтоб опереться на нее рукой, встать и самой дойти до туалета. Не звать же для этого сестру, черт возьми!

Надо было найти эту эмоцию, вытащить ее откуда-нибудь, наскоблить, настричь с нее энергии.

Тамара Федоровна обратилась к памяти. Что там такого в памяти — радостного, светлого?

Ей шестнадцать лет, и она выносит знамя на районной комсомольской конференции. Стоит у двери в зал, ждет слов: «Знамя районной комсомольской организации предоставляется вынести...» У нее дрожат колени, колотится сердце, перехватывает дыхание... Она и сейчас слышит стук барабанных палочек, которые ей тогда казались стуком сердца...

«Девочка, помоги мне встать!» — сказала Тамара Федоровна той себе, со знаменем. Ну да! Так та и бросит знамя, чтобы прибежать отвести в уборную какую-то старуху. Да сама Тамара Федоровна, вдруг остановись та она в сомнении, так бы толкнула себя в спину из нынешнего своего будущего, что та девочка птицей бы взлетела со знаменем в руках.

Нет, та девочка не придет. Тамара Федоровна знает это точно. Не помощница она ей. Та девочка считала, что жалость унижает человека. И стояла на этом твердо всю жизнь. Так твердо, что распластанная на кровати Тамара Федоровна готова была скорее сходить под себя, чем вызвать из кухни мурлыкающую себе под нос медсестру.

Но звать все-таки пришлось. И сестра ее сводила в туалет, и постояла под дверью, и перевела в ванную, и тут Тамара Федоровна увидела себя в зеркале. Надо было просто лечь на раковину грудью, чтобы вынести это зрелище. Потому что что там боль и слабость, если лицо говорило все. «Ничего, ничего, — сказала себе Тамара Федоровна. — Сегодня я больная... Кого это красит?»

Сестра поправила ей одеяло, но так неумело, так неловко, как будто у нее и понятия не было, как должно лежать на человеке одеяло вообще.

«Она что, из дикой Сванетии?» — подумала Тамара Федоровна. Это ее определение было оценкой крайней тупости, хотя никакой Сванетии, тем более дикой, Тамара Федоровна не видела, но слова эти у нее были. И они были известны всему городу. Начальники друг другу говорили: «Я, знаешь, в этом ни бум-бум... Вчера только из дикой Сванетии...»

Когда сестра вышла, пришлось самой все поправить как следует. Но вернулась горечь во рту. Эта неумеха, эта идиотка, которая не знает, как укрыть одеялом, тоже останется... Невыносимая мысль заставила Тамару Федоровну позвать сестру.

— Посмотрите на постель, — сказала она тихо.

Глаза у сестры глупо округлились.

— Вы видите разницу, как сделали и как надо?

— Что сделала? — тупо спросила сестра.

— Укрыли меня одеялом...

— Ну? — не понимала та. — А что, не надо было?

— Но как вы это сделали? Вы помните?

— Ну, вы ж так и лежите, — совсем уж по-идиотски ответила сестра. — Я вас укрыла, а вы лежите... Чего не так?

Неужели же ей объяснять, что одеяло лежит не так, и подушка не так, если эта кретинка ничего не видит?

— Идите, — сухо сказала Тамара Федоровна.

— Нет, ну все-таки? — взъерепенилась вдруг сестра. — Я не поняла, я что-то сделала лишнее или не сделала? Я в общем-то не обязана с вами тут сидеть, но я, как человек, согласилась... Так чего вы придираетесь? В конце концов, я тут бесплатно...

Можно рухнуть в себя? Можно, и довольно глубоко. Тамара Федоровна рухнула. Что, ей никто никогда не перечил? Да сколько угодно... Поперечников всяких — пруд пруди... Но всегда — всегда! — всякое несогласие, всякое возражение существовали хоть и в одном времени и пространстве, но несколько ниже. Такая физика. Это же... Это

же заявление сестры было заявлением какой-то неведомой свободной силы. Незрелой, грубой, но воли, с которой Тамара Федоровна никогда не сталкивалась. Кто бы смел ей сказать про это «бесплатно»? Тамара Федоровна, конечно, знала про рубчики санитаркам в больницах, про вымалливаемые за любые деньги уколы на дому, за разные неконтролируемые презенты специалистам. Говорила себе так: доберусь до этого. Пока руки не доходят, но обязательно доберусь. У нее даже была своя личная пятилетка, так вот медицина и просвещение были там на четвертом году. Она была убеждена: с такой малостью справится.

Заводы открывает, реки вспять поворачивает, а уж ударить по рукам санитарок... Ну, дорогие мои...

И тут, в ее доме, ей в лицо... Неужели она так слаба в глазах этой неумехи, что та может себе позволить такое?

Надо было срочно, тут же все поставить на свои места. Надо было найти слова. И они бы нашлись, не будь Тамара Федоровна в постели. Проклятое лежачее положение кардинально меняло ситуацию. С подушки не говорилось то, что естественно звучало бы из-за стола или там из стоячей позиции.

— Уйдите, — сказала Тамара Федоровна.

— Сделаю укол и уйду, — дерзко ответила сестра. — А там пусть кого хотят присылают...

И она вышла из спальни.

В конце концов оказалось, что можно опереться не обязательно на положительную эмоцию. Можно опереться и на гнев...

Сестра ушла, а Тамара Федоровна неожиданно легко села, взяла в руки зеркальце и дотянулась до «косметички».

Во всяком случае, когда через час прибежала Ольга, Тамара Федоровна внешне была почти в порядке. А тут еще со шприцем в руке на отлете вошла сестра, нагло посмотрела на больную и сказала:

— Более тяжелые сами в процедурный ходят, а вам одеяло поправляй... Давайте сюда ягодицу!

Воистину, или сестра не ведала, кто перед ней, или была безразмерная нахалка, или... Или это была все-таки свобод-

ная воля? Неведомое свойство неведомых людей? Откуда же оно взялось? Это срочно хотелось продумать, но мешала Ольга.

Укол сестра сделала плохо, отчего Тамара Федоровна испытала удовлетворение. И ушла та, хлопнув дверью так, что звонок брякнул.

— Выглядишь ты неплохо, — сказала Ольга. — Умница. Ты, видимо, очень устала, был конец года... Полежи немножко... Пусть вокруг тебя другие покрутятся.

— Вот уж не надо, — ответила Тамара Федоровна. — Во всяком случае, эту чтоб я больше не видела.

— Привереда, — засмеялась Ольга. — Можешь себе позволить. Эту... Ту...

— Могу, — жестко сказала Тамара Федоровна. — И ты можешь. Мы все вправе требовать чуткости и внимания от медработников, а не потакать им, не заискивать перед ними. Они обязаны...

Что-то в лице Ольги начиналось... Болотная кикимора... Но она овладела собой, перевела на другое:

— Что тебе приготовить? Я купила кусок парной телятины... Хочешь, поджарю?

— Хочу, — сказала Тамара Федоровна, хотя есть не хотелось. Надо было, чтобы ушла дочь. А та и обрадовалась, рванула на кухню, загремела сковородкой.

Тамара Федоровна дочь не любила. То есть не то чтобы совсем, все для нее делала, помогала, но так, чтобы при виде ее растапливалось что-то в сердце... Этого не было... Никогда... Даже в младенчестве... С полутора месяцев Ольга в общественных учреждениях. Такое было время... Тамара Федоровна из инструкторских командировок не вылезала. Как начала сразу после института в пятьдесят пятом, так и неслась... Молоденькой ей достался и пятьдесят шестой. Две веры — вчерашняя и сегодняшняя — бились в ней насмерть. Хотела даже уйти работать в школу, так неуверенно стала в себе. Но ее уговорили, был серьезный такой разговор с секретарем, которому она звонко сказала: «Он не виноват... Он слишком верил людям...» На этом она стояла, стоит и будет стоять... Правда, сейчас это уже чисто умст-

венное, а тогда у нее сердце на самом деле болело, когда была эта жуткая история с мавзолеем... Это же надо было пережить... Вот тогда и родилась Ольга... Не до нее было...

Выросла дочь самостоятельной, гордой и неласковой. Все в жизни сама. Ни к выбору профессии — химик она, ни к выбору мужа, ни к выбору места работы родителей не подпустила. Спроси она мать — все было бы у нее лучше. Но никогда! И внука родила так, что Тамара Федоровна узнала, что дочь беременная, когда та ушла в декрет... В первый свой свободный день она встала в очередь за зеленым горошком, и ей не хватило денег. Зашла к матери.

— Ты почему не на работе?

Ольга развела полы пальто.

Тамара Федоровна просто ахнула.

Квартиру молодые сначала снимали, а потом получили от завода. И не знала Тамара Федоровна, что они на очереди, что за них коллектив хлопочет... И все тут было чисто, потому что у дочери фамилия мужа и она про мать никогда никому... Сейчас уже, конечно, все знают, и сейчас уже зависят от Тамары Федоровны. Дело в том, что у них подошла очередь на двухкомнатную, своим чередом подошла, по закону. Вот тут их и вызвал директор завода.

Сказал, что ему до смерти нужен один специалист, что он его долго искал, наконец нашел, но без квартиры тот не поедет. Поставить его впереди очереди ему сложно — не то время, свой директорский фонд он давно растратил. Поэтому, в принципе, директор уже готов пойти на ссору с общественниками и «даже с вами, дорогие мои, очень уж человек нужен!». Готов, но по-человечески не хочет. И предложил ход: пусть специалисту даст квартиру город. Короче, она, Тамара Федоровна. Тогда все будут довольны, а ей что стоит?

Тамара Федоровна была потрясена не наглостью директора — наглости она, что ли, не видела? — а тем, что Ольга первый раз в жизни ее о чем-то попросила.

Как было к этому отнестись? Обрадоваться, что все-таки нужна, понадобилась, или презирать дочь за то, что про-

сит, в сущности, даже унижается? Выбрала середину — и обрадовалась чуть, и презирала чуть.

— Помогу, — сказала сухо.

Именно сейчас вопрос решался. Поэтому болезнь матери для Ольги очень некстати. Хотя есть телефон, протяни руку, напомни кому надо... Но Тамара Федоровна понимала, как трудно Ольге попросить ее еще и об этом... Попросит или нет? Жарит дочь телятину и думает: а помнит ли мать о квартире? Помнит мать, помнит... Но погодит звонить, погодит...

У нее долг и перед Виктором. Но тут она может быть спокойна, сын и придет, и напомнит, и поднесет телефон, и будет стоять, слушать, как мать извивается. Витя без комплексов такого рода.

Боже, какой это был обожаемый ребенок! Он родился уже, в сущности, в другую эпоху. Все устоялось, все было спокойно, стабильно, и это ценилось. Не было бездумных командировок, раздирающих душу противоречий, все образовалось. Мальчик же, в отличие от Ольги, был слабенький, хотя собой хорош необыкновенно. И эта его красота и слабость так щемили Тамару Федоровну, так ее сентиментализировали, что она сама себя не узнавала. Виктор и вырос таким, красивым баловнем. С первого класса все ему твердили, что он прирожденный артист. И действительно! Что-то в нем было... Он так проникновенно, искренне читал стихи на торжественных праздниках, что даже учителя, знавшие эти стихи уже по двадцать-тридцать лет, удивленно открывали рты, слушая забубенно-затасканные слова. Умел мальчик, умел... И отправила бы Тамара Федоровна Виктора в Москву, если б он не так плохо учился. Ни один предмет в него не входил. Просто какие-то наглухо замкнутые двери. Поэтому ни о какой Москве не могло быть и речи, если все тройки поставлены ему были исключительно из уважения к матери. Тамара Федоровна не могла понять корней такой неспособности. Сама, муж, дочь — все учились хорошо. В общении мальчик был абсолютно нормален, контактен, развит вполне... Но с какой же мукой давалась ему и грамота, и арифметика, и география, ну все, одним словом. По-

этому взяла сына за ручку и отвела в пединститут на исторический факультет. Проследила за всем.

Сейчас Виктор уже окончил институт, работал в райкоме комсомола инструктором, было это ему противопоказано, потому что говорить с людьми о том, о чем нужно, а не про что ему интересно, не умел. Надо было его куда-то переустраивать. Пока суд да дело, Тамара Федоровна заставила его сдавать кандидатский минимум. Тяжелейшее было мероприятие, но, как говорится, с божьей помощью... Сдал Виктор два экзамена, остался основной — история. И тут случилась неприятность. Пришел к ней на работу завкафедрой истории, бывший однокурсник, очень трудный человек, и сказал ей с порога:

— Знай! Через мой труп! Я твоего необразованного оболтуса близко к науке не пущу. Я терпел, пока он учился... Ладно, думаю... Не впервой учим неизвестно кого. Тут же — хоть известно кого... Но ты что намыслила? Защиту! Это при его-то знаниях? Вот тут я и лягу на рельсы...

Тамара Федоровна засмеялась.

— Ты, Саня, сядь... Кричишь на меня через весь кабинет... В нем знаешь, сколько метров? Сорок восемь... Охрипнешь...

— Сяду, — сказал однокурсник. — Сроду в таких хоромах не сидел.

— Ну-ну, — снова засмеялась Тамара Федоровна. — У вашего ректора не менее.

— Я ж не про пространство, Тома... Пространство я всякое видел — от камеры до безбрежной тайги...

— Забудь! — великодушно сказала Тамара Федоровна. — Забудь, Саня, сразу жизнь легче станет.

— А зачем мне легче? Мне не надо... Мне как раз нужен груз, весь без остатка, мой... Кто я без него?

— Ты, Саня, всё! Доктор наук, завкафедрой, книжки пещешь, как пироги, даже за граница тебя чтит. А ты говоришь — кто? Что тебе еще не так?

— Все! — дерзко сказал он. — Все! Потому что я делаю пятую часть того, что должен и что могу... Ты ведь мне все время в горло палки вставляешь, чтоб я лишнего не сделал.

— Я? — возмутилась Тамара Федоровна,

— Конечно, ты! Ты для меня, Тома, олицетворение... Помнишь по литературе, что это такое? Ты, Тома, всюду. Ты как Бог... И нет тебя, и всюду ты есть... Была б моя воля, я б тебя снял...

— Мне б понять, за что ты меня так, — устало сказала Тамара Федоровна. — Я тебе, кроме хорошего...

— Разное у нас хорошее. Знаешь... Что русскому здорово, то немцу смерть...

— Это я немец?

— Пусть я... Это все равно... Помнишь, как меня с третьего курса выгнали за то, что я выпустил газету, не согласованную с начальством?..

— Но ведь ты там такое натворил...

— А чего я натворил? Сейчас все газеты про это — про самостоятельность мыслей и поступков. Про то, что революция — это только начало, роды... А если не растить дитя правильно, он же скотиной может вырасти... Что, я был не прав? И мы правильно растили дитя? По совести, по нравственности?.. Что, мы учили его языку и культуре во всем объеме, а не при помощи разнообразных цитатников?

— Это дитя, между прочим, выиграло войну, — гордо сказала Тамара Федоровна.

— Дитя могло до нее не дойти, до войны, Тома... Могло...

— Ну да, конечно, фашизма не было...

— И его могло не быть, Тома...

— Фу! — возмутилась она. — Совершенно некорректный разговор. Могло — не могло... Было же!..

— Это верно... Но я был молод, запальчив, почему я не мог вслух поговорить о том, что рвало мне сердце? Почему надо было мне крутить руки?

— Неужели ты не понимаешь, что если двести пятьдесят миллионов начнут вслух кричать каждый о своем, мы тут же погибнем?..

— Неговоримое, Тома, но думаемое разрушает еще больше... Изнутри... Это я изучал специально... Хочешь, принесу тебе выкладки? Свобода слова, Тома, это не просто демо-

кратическое завоевание, это условие человеческого здоровья, условие выживания вида...

— Кого теперь чем сдержишь? Говорят что хотят.

— Тома! Слава богу! А посему я твоего Виктора буду блокировать всеми возможными средствами.

— С логикой у тебя плохо... Где поп, где приход, но спасибо, что предупредил...

— Будешь искать другую кафедру?

— Буду, Саня, буду! Он у меня один...

— Вас-то больно много на душу населения...

Вот так, нахамил и ушел. Ей же пришлось связываться с соседним городом, с тамошним институтом. Договорилась, что кандидатский экзамен по истории Виктор сдаст там. И вот сейчас, именно в эти дни, вопрос уточняется в деталях, чтобы не случилось непредвиденного. Саню же, однокурсника, отправили в круиз вокруг Европы. Надо обязательно успеть с экзаменом, пока он ошалело пялится на адриатические земли и покупает джинсы своим бабам. Тут каждый день в счет...

Пришла Ольга с подносом.

— Я пойду к столу! К столу! — сказала Тамара Федоровна, опуская с кровати ноги. Она уже хотела встать на них, но вся покрылась испариной, не поддавшись, все-таки встала и рухнула. Ольга кинулась к ней, бросив поднос на пол, сквозь ватную густую пелену слышала Тамара Федоровна, как он звякнул, как разбилась тарелка, как запричитала Ольга. Потом все исчезло...

Очнулась, лежит на кровати, вокруг много народу, даже Никоненко. Рядом носилки. Видимо, только что хотели ее переложить, а она очнулась.

— Отставить, — сказала она странное слово. Просто других не вспомнилось.

— Тамара Федоровна! Голубушка! — Это Никоненко заезозился, выступая вперед.

— Я никуда не поеду, — сказала она неожиданно сильным голосом. — У меня просто закружилась голова. Выпью беллоид, и пройдет.

— У вас будет прекрасная отдельная палата, мы создадим вам домашние условия... Всегда рядом будут специалисты... На всякий случай...

— Всякого случая больше не будет... Я сама виновата... Резко встала...

Они отступились перед ней. Тамара Федоровна лежала с закрытыми глазами. Пошелестели, пошелестели рядом и ушли.

«Неужели больше не встану?» — подумала она. Но на этот раз уже не было ужаса, кошмара, гнева. Было что-то другое, неоформленное, неопределенное, что хотелось понять... Но оно ускользало...

Она чувствовала, что дочь и еще кто-то подглядывают за ней в приоткрытую дверь, поэтому старалась дышать спокойно, ровно. Пусть успокоятся и уйдут подальше.

«Значит, так, — думала она, когда соглядатаи ушли. — Два важных звонка. Это прежде всего... Но разве я об этом хотела подумать? Что-то еще... Совсем-совсем другое... Может, что-то связанное с мужем? Ах, какие глупости... Конечно, нет... Ему никаких моих звонков не надо... Ему вообще ничего от меня не надо... И мне от него тоже».

Отбросила мужа...

Ее никогда больше не будет. Был единственный, неповторимый случай в мироздании — она. Был и кончился. И все. Сближались, идя навстречу друг другу, ее неведомые пра-пра-пра... Шла какая-то таинственная пляска связей, судеб, в результате которых появлялись все новые и новые люди... Но каждый из них был один — всего один! — раз, именно для того, чтобы в результате один — один! — раз возникла она. Это такое единичное, редкостное, никогда не осмысляемое одиночество себя самой вдруг пронзило ее всю. Правда, пришла мысль о единичной неповторимости каждого другого, но она отбросила эту мысль, как отбросила мужа... Что ей все? Она... Зачем она? Кому она? Ничего не существовало ни до, ни после... Голенькая, тепленькая, живая, уникальная. Она стояла в пространстве — времени, которое и было ее жизнью и с которым пришла пора уходить.

«Нет! — закричала про себя Тамара Федоровна. — Я мыслю, значит, существую... Я не ухожу... Я не уйду... Я еще не все сделала. Я еще не все поняла... Человек обязан понять... У него должно быть время понять!»

А они, соглядатаи, уже стояли рядом. Значит, она все-таки крикнула вслух? Другая, уже не утренняя сестра со шприцем на отлете мостилась на краешке кровати...

— Сейчас перестанет болеть, перестанет, — говорила сестра.

— У меня не болит, — ответила Тамара Федоровна удивленно.

— Ну и хорошо, — обрадовалась сестра, — значит, совсем не будет... Чего терпеть? Не надо терпеть!

— У меня нет болей! — четко сказала Тамара Федоровна Ольга. — Зачем колоть каждую секунду?

— Доверься ты врачам, — ответила Ольга. И было в ее голосе плохо скрываемое раздражение.

Наступила тупость, сонливость, равнодушие... «Пусть, — подумала, — пусть...»

Ночью четко и определенно заболела спина. Из кухни шел свет, значит, там кто-то был... Муж, видимо, спал в гостиной. Шторы никто не задернул, и квадрат окна был светел и праздничен от фонарей, которых по ее указанию было в их дворе в избытке.

«Мы повторяемся в детях, — сказала себе Тамара Федоровна и сама же усмехнулась: — Чепуха! Мои совсем не я. Они сами по себе... Общее только то, что они тоже пришли по единственному разу... И тоже уйдут... Что за чушь мне лезет в голову? Единственный — не единственный, при чем тут это?»

Но тревожило именно это, больше, чем спина, тревожило...

«Хорошо умирать в бою, — подумала Тамара Федоровна. — Все сразу ясно. Когда же валяешься, как бессильный идиот...» — «А что ты знаешь об умирающих в бою? — услышала она. — Ты же не умирала там...» — «Там не успеешь подумать...» — «Откуда ты знаешь, успели они или не успели?» — «Если прямое попадание...» — «Что такое прямое

попадание?» — «Сердце, голова...» — «А я? Есть же еще я...» — «Ты? А кто ты, собственно? С кем я говорю?» Действительно, с кем это она?

— Есть там кто? — крикнула Тамара Федоровна. Влетела сестра.

— Больно?

— Спина, — ответила Тамара Федоровна. — Лопатка...

Сестра сделала укол и осталась рядом. Ни муж, ни сын не проснулись...

— Сколько вам надо заплатить за ночные дежурства? — вдруг неожиданно для себя спросила Тамара Федоровна.

— Не знаю, — засмушалась сестра, но вопрос с порога не отвергла. — Сколько дадите...

— Но я не знаю сколько, — рассердилась Тамара Федоровна.

— Сиделок теперь нет, — сказала сестра. — Всегда по договоренности... Теперь никого не обяжешь... Я почему пошла, я большой долг отдаю... За кооператив... Я вам честно...

— Все теперь честные, — пробормотала Тамара Федоровна. — Хорошо, у меня есть деньги, а не будь их?

— А не будь, мужа бы обучили уколам... Вообще с вами никаких проблем... Вам палату освободили... Кровать финскую поставили... Занавески чистые повесили... Но я вас понимаю... Дома лучше... Тем более, если мы договоримся...

— Договоримся, — сказала Тамара Федоровна. — Откройте форточку, что-то мне душно...

Сестра открыла, постояла, подождала, не сильно ли задувает, натянула на Тамару Федоровну одеяло до подбородка. Снова это было неловко, неправильно, как будто не на человеке одеяло, а на манекене, а то и доске... Видимо, никто этому не учит... Укрыть больного... Но ведь ее, Тамару Федоровну, тоже никто не учил... А она умеет... Вспомнила, как приезжала перед смертью к матери, кормила ее с ложки, укрывала. Та ей на это: «Никто так не накормит, как ты, доченька... И одеяло никто так не поправит...» Как сейчас слышит слова своей матери... Как сейчас... И это «как сейчас» вдруг остро обнаружило неожиданное: мать врала. Стоило сейчас только вслушаться в тот ее голос, чтобы по-

нять: он насквозь притворный, фальшивый... Господи, а она это все принимала за чистую монету! Но как могла мать, мать! Зачем она ей так?

Она ее боялась, всю жизнь боялась... Мать — дочь... Отец погиб на фронте в сорок втором, а в сорок третьем мать засобиралась замуж. Работала она учительницей младших классов, а «этого» прислали в школу после ранения военруком. Был у него протез левой руки, черная повязка на левом глазу, левая нога была короче после операции. В общем, он был исключительно правый мужчина. Был он зол, желчен, на уроках кричал, а случалось, и бил учеников, но как-то все ему сходило, как инвалиду. Прибился к матери. В школе все женщины, все были готовенькие, а он мать выбрал. Она, Тамка, сразу все унюхала, сразу все учуяла. Такое матери устроила, что та перед ней, малолеткой, на колени вставала. Тамара Федоровна до сих пор удивляется, откуда она слов столько знала суровых и обличительных. Она все матери сказала, а закончила приговором: «Ты — враг народа». Тут мать и бухнулась ей в ноги. В общем, поломала дочь это мероприятие на корню. Военрук вскоре уехал, мать так и осталась одна. Жизнь становилась все дороже и дороже, а какой у учительницы заработок? И стала мать прирабатывать. Летом, благо каникулы длинные, мотнется к своему дядьке на Ставрополье и привезет от него чемодан дуста. Откуда он был у дядьки — темное дело. Целыми ночами, повязав рот и нос косынкой, делала мать пакетики с дустом. Утром несла на базар, и там эти пакетики хватали, как горячие пирожки... Почему-то после войны было очень много клопов. Просто бедствие какое-то... лето мать поторгует, глядишь, на учительскую зарплату и жить можно. Тут Тамара не все сразу сообразила. Первое время, бывало, даже помогала матери нарезать бумажки. К дусту ее мать не подпускала. Потом услышала слово «спекулянтка». Влетела домой, кричала на мать так, что соседи сбежались. И снова мать бухнулась перед ней на колени. Отрезали Ставрополье и дядьку с дустом. Чемодан весной спалили, когда жгли оставшийся после зимы мусор. Воняло на всю округу, а потом у соседки сдохли куры, поклевавшие на пожарище, при-

шлось расплачиваться с ней по дорогой цене, потому что соседка — подруга матери, между прочим, — грозила судом.

Жить без приработка стало еще трудней. Просто невозможно. Тем более последние Тамарины годы в школе. То то надо, то другое. Кашемир на форму, штапель на фартук черный, батист — на белый. И хоть не сравнить те цены и нынешние, все равно в учительскую зарплату все не помещалось. Вылезло, к примеру, зеленое бобриковое пальто... А как без пальто проживешь?.. Что могла сделать женщина, не умеющая, в сущности, делать ничего, кроме как учить детей грамоте? Но была в матери оборотистость. Хватка. Пустила столоваться двух молодых специалистов, которые приехали на строительство горно-обогатительного комбината. Общежитие и комбинат рядом с их домом, столовая же черт-те где. Мать и ухватила ситуацию. Сама во вторую смену, с утра бежит на базар, обед домашний — будь здоров! — оставляет на плите... Специалистам — ключи. Приходят как домой... Все горяченькое, тарелки на столе... Хлеб нарезан...

Она, Томка, снова не все сразу сообразила. Потому что мать уже была хитрая и сказала ей, что ее, мол, попросило начальство официально, чтобы золотое время специалистов не тратилось на дорогу в столовку туда-сюда, а с максимальной пользой шло на дело государственного значения. И дочь дура развесила уши, поправилась на этих обедах. Снова вошли они в форму на скромном учительском заработке. Но тут явился милиционер. Соседка, бывшая подруга, донесла. И снова был скандал, и снова мать сделала попытку кинуться в ноги, но тут Тамара все перехватила, так сказать, по дороге. Не дала упасть... Толкнула ее так, что мать затылком об стену шмякнулась, месяца два была шишка. И был у Тамары порыв: пусть ее как недостойную исключат из комсомола. Она не хочет позорить коллектив и знамя, которое совсем недавно выносила на конференцию. Директор школы так ее обнял, так прижал к груди, что поцарапал ей щеку о какой-то значок на пиджаке, но не дал ей написать заявление. «Горжусь тобой и надеюсь на тебя, — сказал. — Звездочка ты наша».

Слава богу, школа уже кончилась, милиционер оказался не только не вредным, а даже и не очень справедливым, потому что стал почему-то стыдить соседку. Мать как-то увяла, провожала Тамару в институт какая-то тусклая. Дочь приставала: «Ты болеешь, что ли?» — «Здоровая я, здоровая...»

Потом у Тамары пошла совершенно самостоятельная и независимая от матери жизнь. Она даже на каникулы приезжала редко, все у нее то походы, то соревнования, то приемные комиссии... Как-то приехала, а мать с соседкой уже опять подруги...

— Ты беспринципная, — сказала она матери.

— Пожалуйста, Томочка, не ругайся, — тихо ответила мать. — Я отвыкла...

До смерти мать работала учительницей и болела всего ничего — неделю. Тамара Федоровна помогать ей стала сразу, как стала работать. Сначала по сто рублей старыми, потом, после реформы, посылать десятку было почему-то стыдно — стала посылать пятнадцать. Потом, когда уже окрепла, двадцать пять... Мать присылала в ответ письма из одних «спасибо», «благодарю» и «низко кланяюсь».

До расцвета дочери мать не дождала. До персональной дочерней машины, депутатского значка и так далее... Но и до всего этого приездов Тамары всегда боялась, соседку гнала с порога, а свежие газеты выкладывала на стол портретами вверх.

— Ну, мама, — смеялась Тамара Федоровна. — Это-то к чему?

Мать как-то жалко дергала плечами.

А потом телеграмма, и эти последние дни рядом, и сознание выполненного долга, и белый памятник, и витая ограда... И слова: «Никто так не накормит, как ты, доченька... И одеяло никто так не поправит...»

Фальшивые слова. Выяснилось сейчас. Как она раньше-то не слышала? Ведь и слуха особого для этого не надо... Мать ведь фальшивила откровенно... А в углу тихо плакала соседка и все повторяла: «Христос ты наш, спаситель, Христос ты наш, спаситель...»

Что же такое получалось? Значит, если мать тогда врала, то неизвестно, умеет ли ухаживать Тамара Федоровна за больным, умеет ли поправлять одеяло? Идиотская проблема, но выяснить ее оказалось необходимо. Просто до зарезу. Если она умеет это делать, то все с ней в порядке... И тогда не надо отвечать на тот смутный, нечетко сформулированный вопрос-призрак о собственной единичности и уникальности в природе. «Какая чушь», — подумала Тамара Федоровна.

Но встала!

Она стояла перед собственной постелью, освещенная сзади квадратом окна. Она аккуратно взбивала подушку... «Вот как это делается, — говорила она кому-то. — Вот как! Берешь подушку и по ребрам ее, по ребрам...» Какие у подушки ребра? — удивилась сама себе... Теперь простыня. Она должна быть натянута. Мало дернуть по краям... Нужно сначала огладить середину. Она потянулась к середине и упала лицом вниз. «Я умею! Умею! — кричала она. — Это ерунда — ухаживать за больным в постели. Я им покажу всем, как это делается...»

Так ее и нашли утром, лежащей поперек кровати. Сестра клялась-божилась, что ни минуты не спала, все время заглядывала, и все было нормально, даже хорошо поговорили...

Муж и сын были смущены, потому что оба как раз крепко спали. Вечером ведь все было более-менее, и потом, врачи говорили о двух-трех месяцах, а тут всего день прошел...

На вскрытии выяснилось, что умерла Тамара Федоровна от обширного инфаркта, а рака у нее никакого не было. Были перепутаны рентгеновские снимки.

— Ай-я-яй-яй-яй! — сказал сам себе Никоненко. — Когда же этот бардак кончится?

Медики тут же созвонились друг с другом, поцокали языками: хреновая ситуация. Договорились: самим волну не гнать. Подождать реакции родственников. Недельку ждали, две, месяц...

Никоненко сам от себя прибавил срок — сорок дней. И хорошо о себе подумал: «А я, оказывается, христианин».

Но никто из родных с жалобой так и не возник. «Правильно, — одобрил их Никоненко. — Необратимая же ситуация — смерть».

И он выбросил всю историю из головы раз и навсегда, напроочь...

Секундно, в момент выбрасывания, вспомнилась Тамара Федоровна. «Умела баба приказывать, умела, — элегически подумал Никоненко. — Как она брала за жабры! Этого у нее не отнимешь...»

Глупый человек Никоненко, кто бы сейчас стал что-то отнимать у Тамары Федоровны? Впрочем, может, и неглупый? Может, он знает, как отнимать у покойников?

При случае надо будет его расспросить... Он врач никудышный, а рассказчик — блеск...

ВЕЧЕР БЫЛ...

У Зои Синцовой в троллейбусе вытащили кошелек с получкой. Кинулась она на остановке, побежала за троллейбусом, но поскользнулась, упала. Чулок, конечно, пополз, ногу саднило, и Зоя подумала, что, если б сейчас на нее что-нибудь наехало большое и сразу, ей-богу, это был бы выход. Но ничего не наехало, и Зоя, хромя, перебралась на тротуар. Потом открыла сумочку еще раз, рукой, без перчатки, полезла в глубину, ощупывая привычные вещи: выщербленное на углу зеркальце, пластмассовую пудреницу, щетку для волос, тюбик помады. Помада оказалась открытой; Зоя выпачкала пальцы и тут же, зло, с отчаянием, стала вытирать их о подкладку сумочки. «Какая разница, — твердила она, — какая разница».

Кошелек не было. Из всех несчастий, которые могли сейчас обрушиться на Зою, это казалось ей самым страшным. Вместе с получкой лежали деньги из «черной» кассы, в которой Зоя состояла и куда каждый месяц вносила десятку. Она упросила уступить ей на этот раз, потому что не было другой возможности расплатиться с самыми нетерпеливыми долгами.

Что делать теперь, Зоя не знала. Она чувствовала, как вся вспотела, отчего лифчик стал сразу душным и тесным. Зоя старалась хорошо, полно вздохнуть и не могла. Поэтому дышать приходилось часто и мелко, и от этого сердце, царапаясь, подымалось прямо к горлу, ближе к воздуху. И снова Зоя подумала, что, остановись оно сейчас, это проклятое сердце, тоже было бы лучше. Дети? Дети?.. Что от нее дети имеют? Видит она их два часа в сутки — час утром и час вечером. Им садик дом родной. Так бы все было и без нее...

Зоя шла тяжело, медленно, не глядя под ноги, по привычке попадая на деревянные дощечки, брошенные там и сям по дороге. Вокруг Зоино дома шло строительство, была непролазная грязь, и дощечки были брошены сердобольным прорабом, который жалел людей да и сам жил в Зоинем доме. Вокруг девятиэтажной стройки горели прожекторы, работала третья смена. Зоя слышала голоса рабочих, видела, как на втором этаже две женщины оклеивали комнату обоями. Третья сидела на подоконнике, повернувшись к Зое спину, ссутулившейся спиной. Те, что клеили, смеялись, что-то рассказывая друг другу, потом одна из них попросила о чем-то ту, что сидела на окне, та встала, взяла в руки рулон обоев, а женщина с освобожденными руками стала кого-то переразнивать. Она кругло разводила руками, потом протягивала их вперед, топорщила плечи, а женщины хохотали так, что одна, наверное, даже на пол села, потому что Зоя перестала ее видеть.

Зое очень хотелось подняться к ним и спросить, сколько они зарабатывают, потому что последнее время она часто думала о том, что надо найти другую работу, где платят лучше. А сейчас узнать это было просто необходимо.

Зоя посмотрела на освещенное окно на втором этаже и решительно шагнула прямо в слегка застывшую от первого мороза грязь — прорабские дощечки к стройке не вели. Вход был с другой стороны. Зоя приготовила первую фразу, с которой она обратится к женщинам. Поправила шерстяной косячок на голове и попробовала ее произнести.

Лучше б она этого не делала. Стоило ей сказать слово, и потекли такие соленые и обильные слезы, что Зоя даже за-

дохнулась. Куда там идти? Она смазывала их ладонью со щек, но это было пустое дело. Слезам конца не виделось. Надо было как-то переждать здесь, где не ходят люди, не показываться же вот такой зареванной? Зоя села на сваленные концы косячка, расстегнула верхнюю пуговицу пальто, и слезы тут же высохли. «Вот так у меня всегда, — горько подумала она, — когда не надо, слезы бегут, а села поплакать — не плачется. Все наоборот». Но и встать сил не было. Было тихо, темно, лишь время от времени что-то звякало на стройке, да кто-нибудь, идя Зоиной дорогой, не находил ногой дощечку и поругивался.

* * *

Зоя после школы в институт не попала: не хватило трех баллов. Особенно сокрушаться было неловко, у многих не хватило всего одного балла: им было обидней. Мать Зои решила так: дочь конкурса не выдержит и на будущий год. Есть единственный для нее путь — накапливать стаж. Будет два года — тогда можно сдать кое-как. У производственников льготы. Она устроила Зою на курсы машинописи — сама мать тоже была машинисткой, — а потом нашла ей и работу, чтоб не очень сложная и в интеллигентном кругу. Так Зоя попала в машинописное бюро одного треста. Работа Зое не нравилась, но это была работа «на время» и «для стажа». Многие ее подружки работали кое-где. Та, что не попала в артистки, служила, например, регистраторшей в поликлинике. Та, что не прошла в геологоразведочный, пошла на курсы продавцов. Да мало ли куда приткнулись девчонки? Все «зарабатывали стаж», через два года собирались повторить попытку.

Зоя не поступила и через два года. Села готовиться и увидела — ничего не помнит. Ведь была же неплохой ученицей, шла в основном на четверки, а через два года уже ничего не знала. Учебники открыла и — как в первый раз. Что-то очень смутно помнилось, но больше чепуха всякая. Вот, например, когда образ Ноздрева проходили, у учительницы Людмилы Артемовны стоял на столе букет сирени, а

она сама была в бледно-розовом платье. Сирень на розовом — это было красиво и почему-то очень взволновало Зою. Помнила, что однажды на истории получила пятерку. И историк Павел Николаевич шутливо ей поаплодировал.

Ничего не помнила Зоя из этой прекрасно рассказанной тогда темы. Помнит чушь: когда села за парту, гордая и счастливая, забыла перебросить вперед косы. И уж тут-то ее сосед сзади порезвился вовсю. Прикнутил косы к своей парте, навтыкал в них все, что у него было: скрепки, колпачки от авторучек, значки. А она, дура, переживая свой успех, ничего не заметила.

С памятью вообще что-то происходило непонятное. До чернильного чертика виделись и наизусть вспоминались какие-нибудь страницы, а потом ни одного слова... Зоя поняла, что на экзамене провалится, испугалась, засуетилась. Стала пить по совету подружки, что работала регистраторшей в поликлинике, какие-то таблетки от сна, голова от них была пустой и легкой. Тронь — зазвенит. Зоя читала по параграфам, потом по страницам, по абзацам и видела, как остается такой же легкой и незамутненной ее память. На первом же экзамене Зоя получила двойку.

Мать повела Зою к врачу. Зое прописали уколы и посоветовали поменять профессию. Оказывается, так на память могли повлиять постоянные цифры и сводки, которые Зоя печатала. Ей, дескать, нужна более живая, эмоциональная работа. Мать почему-то на это обиделась. Что ж она, своей дочери хуже хотела сделать? Она, мать, сама машинистка, уже двадцать пять лет стучит, писчий спазм заработала, а что ни прочтет — помнит. И она рассказывала стихотворение, которое слышала, когда ей было четыре года, от бабушки.

Вечер был, сверкали звезды,
На дворе мороз трещал.
Шел по улице малютка,
Посинел и весь дрожал.
Шла дорогой той старушка
И встретила сироту.
Приютила и согрела.
И поесть дала ему.

Положила спать в постельку.
— Как тепло! — промолвил он.
Закрыв глазки.
Улыбнулся
И заснул спокойным сном.

Короче, осталась Зоя на прежней работе. Неудачу свою скрывала, говорила, что никуда не поступала, передумала, будет пробовать на следующий год. Но сама знала, что на следующий год уже не решится. И тут ее стали сватать. Материна старая приятельница привела к ним в дом своего племянника, который пришел из армии. Был он парень скромный, вежливый, работал электриком в жэке. Имел комнату. И Зоя вдруг решила, что, если выйдет замуж, никто уже не будет задавать ей вопросы об институте, от которых она всегда приходила в смятение. Станет она женой, перейдет в иную категорию, где другая жизнь и вопросы задают другие. Слышала Зоя, о чем говорили девчонки, которые уже вышли замуж. «Купила я мужу нейлоновую рубашку, ее нужно гладить?», «А ты не знаешь, мужские носки с двух сторон стираются или с одной?», «По-моему, два антрекота по 37 копеек лучше, чем десять котлет за 60»... Зоя с интересом слушала эти разговоры. Они волновали ее так же непонятно, как когда-то сиреневый букет и розовое платье учительницы. А Виктор был вполне хорошим парнем. Он поступил в вечерний техникум, собирался в институт, убеждал и Зою учиться дальше! Зоя решилась и ему первому рассказала, как забыла все за два года, какой освобожденно-пустой стала ее голова. Сказала ему и о том, что, может, виновата во всем ее профессия, уж больно она нудная...

Тогда они и решили. Поженятся, устроятся, и бросит Зоя свою работу. Сядет за книжки и будет готовиться. Конечно же, хотеть быть учителем литературы и без конца печатать цифирные ведомости... «Это исключает друг друга, — твердо сказал Виктор. — Врач прав».

А потом была свадьба. Машина с желтыми обручами на дверцах, переезд в комнату Виктора. Соседями у него были молодожены Тамара и Алеша. Они их посыпали в коридоре

перловой крупой, Тамара так хохотала, что у нее лопнула застежка на пояске. Они стали смеяться еще сильнее, обессиленные от смеха, уселись на пол в прихожей, прямо на крупу. Она покалывала, набивалась в чулки, туфли. Тамара и Зоя убежали в ванную вытряхиваться. Бросали зернышки прямо в раковину. Те мелко и весело постукивали. А когда Зоя и ее новая подруга вернулись, их мужья перловкой выложили на полу: «Женам — ура!»

Сразу после замужества уйти с работы было неудобно. Машинописное бюро, сложившись, купило Зое на свадьбу трехрожковую люстру. Поэтому молодые решили чуть подождать: пусть пройдет время. Все было распланировано и учтено, кроме того, что Зоя забеременеет сразу. Обрадовалась она невероятно, тем более что и соседка Тамара ходила тогда на пятом месяце. Будущие мамы пошептались и договорились: коляску купят в складчину, а Тамара, поскольку родит первой, будет пользоваться аккуратно. С работы теперь уходить не было никакого смысла — хотелось получить декретные. Так родился Вовка. Они пищали вместе с Тамариной Иришкой, уделявая несчетное количество пеленок. В их квартире густо пахло маленькими детьми, и это был лучший запах на свете.

Зоя почти год сидела с сыном, на работу не тянуло, приносил ей Виктор из библиотеки книги, читала, когда варила кашу. А когда Вовке исполнилось одиннадцать месяцев, узнала, что будет у нее второй ребенок. Побежала к Тамаре. Та ходила хмурая, что-то стали они не ладить с Алешей, совет Тамары был категоричным: «Избавляйся, пока не поздно».

А Виктор возмутился. Убеждал, что сразу лучше отделаться, и тогда в двадцать пять и дети будут совсем большими, и ни для чего еще не будет поздно. Можно будет и в институт, и хоть куда. Какой это возраст — двадцать пять лет? Чтоб больше заработать — детей-то будет двое, — решил Виктор перейти на завод, там и прогрессивка, и путевки. Уволился из жэка, когда родился Максим. Первые две недели помогал Зое справляться с сыновьями, а потом стал оформляться на завод, где уже заранее договорился. Проце-

дура была длинной, потому что завод был секретный, и Виктор нет-нет да и брал какую-нибудь подвернувшуюся работу — то кому антенну для телевизора подключит, то холодильник починит, то совсем уж просто — розетки поменяет. Они как-то, смеясь, подсчитали, что, если так ходить по квартирам, можно совсем не работать. Хватит, и даже будет больше. Но тут же сами себя осудили, потому что брать деньги из рук в руки Виктор стеснялся, а Зое такие полтинники, рубли, трешки казались очень инфекционными. Как-то вечером погас свет в соседнем доме, как раз передавали футбол. Мужчины кинулись от телевизоров и пива в подвал, дергали рубильники, что-то там ковыряли, ничего не нашли и послали за Виктором. Он пошел раздетый — минутное дело, — прошел через жаркую толпу болельщиков, которые дышали ему в затылок — давай, давай, парень, скорей: наших бьют! — шел сквозь них и смеялся: «Эх вы, мужики! Сколько вас здесь, а свет починить не можете». Он хотел им, разгоряченным и нетерпеливым, показать, как это просто и быстро делается, чиркнул спичкой, разглядывал что-то там, пока не сжег пальцы, и ему показалось, что все понял. Когда он схватился за рубильник и, как-то странно вздрогнув, повалился в сторону, все думали, что он дурит. Ведь почти все хватали рубильник, больше того — отверткой (правда, с деревянной ручкой) тыкали в переплетенные проводки, и ведь ничего! Потом выяснили, что когда тыкали, то, может, и нарушили изоляцию, а может, она была нарушена раньше, — и это Виктора счастье такое? Потом звонок в дверь, упала бутылочка с молоком, белая лужица потекла под Тамарину дверь: «Ты погоди, я сейчас вытру!» Они стоят, а она тряпкой елозит по полу у их ног, а молоко сладкое, жирное... «Сейчас я водичкой...» И крик Тамары: «А-а-а!» — «Ты чего кричишь, я ведь все вытерла...» С тех пор время от времени Зоя слышит это «а-а-а!». Крик вдавливается в уши, от него лопаются перепонки, разливается, расплзается в глазах белое, сладкое молоко. «Не думать об этом. Не думать! Не думать!» Все удивлялись, что Зоя никогда и ни с кем не говорила о Викторе. А разговоров на тему: «Ну, значит, он пошел в подвал, а ты его ждешь... И как тебе потом

сказали?» — не вела ни с кем. На нее даже обижались. Рассказала бы людям, полегчало. А она молчала. В два месяца отдала Максима в ясли и вернулась в машбюро. Положила на стул подшивку газеты «Труд» за 1962 год, присела, примерилась, на подшивку положила шерстяную вязаную тряпочку, наклонилась над машинкой и застучала. Все в бюро знали, что за мужа Зоя получать ничего не будет, так как погиб он, нигде не работая. Стали подсовывать Зое разные перепечатки, чтоб больше у нее выходило. Но Зоя вроде и не очень охотно на это шла. Делала как одолжение. Как-то старшая в бюро сказала ей об этом, дескать, люди от Зои заслужили большего «спасибо». Могла бы его и произнести, не ахти какая барыня. Зоя долго не понимала, что от нее хочет старшая, о каких «спасибо» идет речь и за что? А когда поняла, совсем перестала брать всякую дополнительную работу. Все возмутились и удивились: как же она хочет прожить на одну зарплату с двумя детишками? И никто не догадывался, что Зоя первый год после смерти Виктора почти не тратила на еду деньги. Дети в яслях, там их кормят, слава богу, не болеют. А что ей самой надо? Стакан крепкого чаю с сухарем, и все. На остальное смотреть противно. Приходила мать, варила куриные бульоны. Так и стояли они, пока не покрывались белесой плесенью.

Приходила тетка Виктора, приносила консервы, варенье, пакетные супы. Она оказалась более дальновидной. Складывала все это Зоя в шифоньер, пока однажды не выручили ее теткины подарки.

Это случилось, когда сразу оба мальчишки заболели. Села Зоя на бюллетень, и тут уж все из шифоньера пошло в дело. Может, случись это раньше, раньше и Зоя ожила бы. И не было бы у нее напряженной обстановки на работе, потому что машбюро так и не могло Зое простить «ее гонор». Чего кичится, чего ломается? Ей ли хвост держать пистолетом? Только машинистка Ольга урезонивала всех, когда Зоя куда-нибудь выходила: «Да что вы, бабоньки! Отойдет она, отойдет!» Но женщины с ней не соглашались. Были убеждены: она давно отошла, просто неизвестно что о себе думает.

Заболевшие мальчишки вернули Зое аппетит. Странно, все не хотелось, не хотелось, от запаха еды тошнило, а то стала как-то им готовить и вдруг почувствовала, как проголодалась. Тамара вошла в кухню и видит: сидит на низкой табуреточке Зойка, левой рукой макает в солонку фиолетовую луковицу, в правой держит батон, слезы по щекам льются, а ест с таким наслаждением.

— Ой, Зойка! Горько же! — сказала Тамара.

Зоя замотала головой и засмеялась. Тамара увидела, как побежали по щекам и густо-густо от углов глаз Зои морщинки. «Лицо-то как печеное яблоко, в ее-то годы!» — сокрушенно подумала Тамара. Она была старше Зои на пять лет. И со злостью, уже о себе, подумала: «От них, паразитов, и от живых, и от мертвых, одни неприятности». Мужа Тамара перед этим выставила. И как-то сказала Зое, что оно, мол, легче, когда похоронишь. А когда живой, а ты его ненавидишь и смерти ему желаешь — это похуже. «Господь с тобой, — сказала Зоя. — Говоришь, не знаешь что...»

«Знаю», — твердо ответила Тамара.

* * *

Олег Быков кончил работу и теперь мыл руки. Он старательно намыливал ладонь и пальцы, розовым кусочком мыла проводил по твердым желтоватым ногтям, подставляя потом ладони под самую горячую струю. Быков всегда после работы мыл руки. Он подымался для этого на самый верхний этаж, где в туалете всегда было мыло и чистое полотенце. Потом он садился на подоконник и, старательно вытираясь, смотрел вниз. Он видел, как, уходя, поддерживают большую тяжелую дверь люди. Они протягивали вперед руки, и дверь мягко торкалась о них. Руки менялись быстро, и дверь чуть подрагивала, перескакивая с одной протянутой руки на другую. Он ждал, когда, не найдя преграды, дверь освобожденно хлопнет, и это будет слышно здесь, на восьмом этаже. И потом она будет еще часто хлопать, потому что сразу уходили не все.

После толпы, которая приступом брала лифт ровно в шесть десять, потом еще долго уходили одиночки. Они шли по одному, и дверь открывалась для каждого персонально. Потом все затихало минут на тридцать, а Быков все сидел, курил и смотрел вниз. Уже стучали ведрами уборщицы, но он знал, что сюда, в мужской туалет, они придут в самую последнюю очередь. Знал он, что уборщицы поторопят самых последних, припозднившихся работников — машинисток, которым надо что-то срочно перепечатать.

Когда они поженились с Ольгой, он ей категорически запретил брать дополнительную работу. Ольга тогда посопротивлялась, но он видел: довольна. А то ведь стучала, бедная, день и ночь, чтоб на лишний капрон заработать.

Быков встал, посмотрел на себя в зеркало, в левую сторону расчесал волосы и не торопясь пошел к лифту. Он спускался один, если бы кто-то еще стоял на площадке, он бы все равно не сел. Быков не любил ездить с кем-то в тесном лифте. Даже если был всего один человек, ему было неприятно. Возникла какая-то неестественная, нежелательная близость, которая смущала его и раздражала. Если он ехал без дела, то он и трамваи и троллейбусы предпочитал пустые. Людскую тесноту Быков не любил. Как не любил и пьяное праздничное застолье. Особенно было неприятно, когда накануне праздника устраивали сабантуй прямо на работе. Кто-то бегал за колбасой, кто-то приносил стаканы, разбавлялся дрожащими руками спирт — чтоб, не дай бог, не перелить лишней воды и продукт не испортить. И все потом лезли друг к другу с разговорами, как правило идиотскими, и Быкову было брезгливо. Быкова за это не любили и побаивались, и ему это было приятно. Он нарочно выпьет двадцать граммов, но уже морщится, морщится, видя, как портит всем удовольствие своим скореженным видом. Знал Быков, что есть у него и защитники, из профкома. Они его ставили в пример, объясняя его некомпанейность тем, что он копит на машину. А тут уж, мол, приходится выбирать — или колеса, или бутылочка.

Олег Быков работал слесарем в институте мебели. Работал пять лет и не переставал удивляться: чем только люди не занимаются? Здание какое отгрохали, кабинеты все сплошь к солнцу повернули, а все для чего? Чтоб легче стулья придумывались! Работник Быков был хороший, в профсоюзе отвечал за уплату досаафовских взносов, охотно оставался, если просили, после работы и в субботу или воскресенье мог прийти. И тем не менее учреждение свое презирал. Не видел он в нем смысла. На диван груз кладут, ждут, что будет. Умно? Он, конечно, мог уйти, ничего его тут не привязывало. Он налево ни для кого ничего не делал. Спиртом, который им выдавали, не баловался, так что, кроме зарплаты, у него интересов тут не было. Но Быков газеты читал и видел, что к тем, кто с места на место бегают, отношение неважное. А зачем ему это?

Быков вышел на улицу. Слегка подмораживало. Он не торопясь закурил, подумал. Потом медленно пошел к троллейбусной остановке. Машины шли переполненные, конец дня. Но сейчас это Быкова не смущало.

* * *

Зоя поднялась с досок. Сколько ни сиди, деньги будут нужны уже сегодня — отдать Тамаре.

Мысль о том, чтоб все рассказать соседке, даже не приходила ей в голову. Ну, расскажет, а дальше? Разве такой разговор не будет подразумевать: «Ах, Тamarочка! Не отдам я тебе долг сейчас. Погоди уж...» И Тамара ее будет жалеть. И предложит ей до зарплаты половину того, что есть у самой. И будет ходить тяжелая, угрюмая, не из-за денег, их нет и нет, а оттого, что все в жизни кувырком, где тонко, там уж и рвется, и зло, матерно станет ругаться.

Нет, говорить Тамаре нельзя. И матери нельзя. И тетке Виктора тоже. Будут смотреть виноватыми глазами и от виноватости этой на нее же будут сердиться:

«Ну почему у других не крадут?», «Ну как же так, Зоя? О чем ты думаешь, когда едешь?», «У тебя так голову когда-нибудь снимут...»

Нет уж! Выбери-ка из беды, Зоя Батьковна, одна! Собственными силами.

Когда Зоя стала перепрыгивать с дощечки на дощечку, она уже знала, что есть у нее одна возможность выкрутиться — это кое-что продать. Прежде всего мохеровый шарф, который ей летом подарила мать. Прекрасный, теплый, ласковый шарф, голубой, в серую клетку. Его и с пальто носить красиво, и на плечи просто положить... Вот и предложит она его Тамаре за 30 рублей, за долг. Правда, надо будет что-то придумать для матери... После смерти Виктора она совсем сдала, писчий спазм не давал покоя, немели, скрючивались пальцы, а до пенсии было еще три года.

Еще можно было, прикидывала Зоя, продать туфли. Рублей за 20. И хочешь не хочешь — плащ. У Зои не было зимнего пальто. Зимой она носила осеннее драповое, поддевая под него толстую вязаную кофту. До этого года была у Зои болонья, которая заменяла ей осеннее пальто. Но она вся вконец порвалась. Сшила из нее Зоя три сумочки. Две отдала ребятишкам для обуви в сад, а с третьей ходила в магазин за картошкой. Поэтому пришлось ей недавно купить плащ. Хорошенький. Немецкий плащ с золотыми пуговичками. Так ни разу и не надела. Значит, надо будет с ним распрощаться. Если все это продать, она, конечно, сейчас перекрутится.

И оттого что был найден хоть какой-то выход, Зоя вздохнула наконец полно.

Поднимаясь на свой пятый этаж, она думала уже о другом: как предложить шарф Тамаре, чтоб выглядело это не как мольба о спасении, а как вполне пристойное предложение, выгодное обеим.

Мальчишки катались на велосипеде в коридоре. Вовка сидел за рулем, а Максим стоял на запятках.

— Деньги получила? — первым делом спросил Вовка.

— Ура! — закричал Максим.

Зоя молча раздевалась и спиной чувствовала, как смотрит из кухни на нее Тамара. Ей в одном легче: питание почти ничего не стоит, потому что работает она воспитательницей в детском саду. И опять же — ребенок у нее один. Тама-

ра сейчас деньги копит на воротник. Ей из Сибири тетка обещала прислать хорошую шкурку. Недавно она получила от тетки письмо: что, мол, присылай деньги. Уже надо, чтобы они лежали, на случай, если что подходящее подвернется.

— Ты где это так чулок рванула? — спросила Тамара, когда Зоя прямо из прихожей вошла на кухню.

— Полетела на остановке, — смеясь, ответила Зоя. — Меня из троллейбуса выдавили, как пасту из тюбика. Раз — и на землю.

— Молодец. Не могла, что ли, пустого подождать?

— В это время пустых нет. Разве ты не знаешь? — ответила она. И тут же, вроде вспомнив: — Ты мой голубой шарф помнишь? Ну тот, в клетку?

— Ты так говоришь, — насмешливо сказала Тамара, — будто у тебя их несколько. Помню, конечно... А что?

— Я решила его загнать, — как можно небрежней сказала Зоя. — Есть у меня другой вариант. Тьфу, тьфу, тьфу, говорить не буду. Чтоб не сглазить!

— Такие сейчас и в магазине есть.

— Ну не такие, — забеспокоилась Зоя. — У меня из канадской шерсти. Там на нем знак стоит.

— В комиссионку понесешь? — лениво спросила Тамара.

— Да не знаю. Может, кто подвернется, чтоб не носить, время не тратить.

— А сколько ты за него хочешь?

— С тебя подешевле, с чужого подороже, — засмеялась Зоя. Слава богу, пошел разговор.

Тамара задумчиво мешала манную кашу, которую всегда ела по вечерам вместе с дочкой.

— Мне он ни к чему, — сказала она. — Это я просто так. Мне сейчас воротник важнее. Ты, кстати, деньги получила?

— Да ерунда у нас получилась. Кассир заболел и не предупредил. Все думали, он в банке, а он, паразит, на бюллетене. Завтра дадут. Потерпи, киса, денек.

— Ты меня подводишь, — сердито сказала Тамара. — Я завтра хотела переводить.

— Я тебе завтра принесу на работу, — с готовностью сказала Зоя. — Я же понимаю. — И шутливо добавила: — Вот даже шарф тебе предлагаю, а ты не хочешь, балда. А он ведь тебе лучше идет, чем мне. Голубой ведь не мой цвет. Он меня бледнит.

— Сообразила, слава богу. Я ведь тебе сразу это говорила. Он для яркой блондинки или уж жгучей брюнетки. А мы с тобой серенькие.

Тамара сняла эмалированный ковшечек, в котором варила кашу, и, лениво подталкивая впереди себя громадные, оставшиеся от мужа комнатные туфли без задников, ушла в комнату. Она никогда не ела на кухне. Зоя ухватилась за теплый, нагретый кашей край плитки. Противный липкий пот снова выступил на спине, под мышками, и сердце стало биться прерывисто и мелко, как тогда на улице. С чего она взяла, что Тамара вцепится в ее шарф? И вся ее затея с распродажей показалась Зое невыполнимой и нелепой.

Мальчишки подрались и орали громко и обиженно. Зоя затолкала их в комнату, подумала, что прежде всего надо было бы их накормить. Достала из холодильника кусочек колбасы, что оставлен был ей на завтрашний завтрак, из городской булки сделала два бутерброда и сунула мальчишкам. Пока мальчишки старательно обгрызали колбасные кружочки, Зоя достала из шифоньера плащ, сняла его с плечиков и тихо, стараясь уйти, чтоб не заметила Тамара, выскочила на лестничную площадку.

Прямо против их квартиры сверкала по-новому обитая, поблескивающая пуговичками-гвоздиками дверь.

— Не продам, не продам, не продам, — суеверно шептала Зоя, легонько нажимая кнопку звонка. Звонок вздохнул и пропел какую-то музыкальную фразу. Зоя старательно растянула губы в улыбке.

* * *

Римма Борисовна стирала в ванной. Стирка была несерьезной: чулки, Наташкины воротнички — в общем, мелочь, которую не отдашь в прачечную. Римма Борисовна была сторонницей освобождения женщин от домашних дел,

номерки пришила даже к мужниним трусам, впрочем, в этом факте было не только идейное начало, было это лишним доказательством сложных отношений Риммы Борисовны с мужем. А отношения эти были не просто плохие — они были на грани. Она любила говорить на работе (Римма Борисовна работала гинекологом): «Вы знаете, я на грани». И все всё понимали. Потому что считали такое состояние массовым. Женская консультация как учреждение способствовала такому пессимистическому взгляду на мир у коллег Риммы Борисовны.

— А у вас есть варианты? — спрашивали иногда ее.

Римма Борисовна любила этот вопрос. Он придавал жизни остринку, делал будущее заманчивым и непонятым, и тогда казалось, что не сорок лет за плечами, а семнадцать и завтра предстоит тащить билет на счастье. И не очень уж страшно — скорей щекотно, — потому что все билеты хорошо выучены.

Рассматривание вариантов превратилось в самое дорогое занятие Риммы Борисовны. Она отдавалась ему, когда принимала больных, когда простирывала вот так, как сегодня, бельишко, когда стояла в очереди, когда вечером сидела в хвойной ванне, когда, завернувшись в махровый халат, смотрела передачу «Наши соседи», — всегда, постоянно Римма Борисовна рассматривала варианты: как элегантней разойтись? Не устроить ли небольшой банкет, чтоб все пришли в ярком? Как жить потом? Одной или выйти еще раз замуж? Если замуж, то за кого? Если одной, то что себе позволять? Это были увлекательные размышления, которые имели привычку постоянно застревать и прокручиваться на одном и том же месте. Смешная ситуация, но никогда они с мужем так хорошо материально не жили раньше, как последние три года. Две хорошие зарплаты шли уже полностью — кредиты были выплачены. Пронафталиненные шубы аккуратно висели в стенном шкафу, в коробках лежали меховые шапки, в них были спрятаны перчатки и теплые кашне. Все было и на зиму, и на лето. В ящике шифоньера разными цветами переливались комбинашки и трусики, все в основном импортные, дорогие. Поэтому если уж рас-

ходить, то надо было с умом. А с умом — значит, с разделом, а вот это как раз и было непросто. Квартира у них прекрасная, но все-таки двухкомнатная, в лучшем случае получишь полупорку и комнату в коммунальной. Муж категорически заявил, что в коммунальную не поедет... Конечно, был еще вариант — доплатить. Но это было сразу Риммой Борисовной отвергнуто. Деньги были у нее на книжке, поэтому она считала их только своими. Не идиотка же она, чтоб покупать ему квартиру?

Был у Риммы Борисовны еще один вариант — Петр Кириллович, Петя. Держала его Римма Борисовна на коротком поводке — на всякий случай. Но в душе была убеждена, что случая этого не будет. Пете она этого, конечно, не скажет, пусть ждет ее в своей кооперативной квартире у черта на рогах, но ей становилось спокойнее, когда она его вспоминала. Хотя какой он муж? Сорок лет, а все мальчик. Уши да очки. В конце концов, — Римма Борисовна хвалилась своей беспристрастной объективностью — не потому он не женился, что ее всю жизнь любил, а потому что — кому он нужен? Разве что вот такой, как ее соседка Зоя. Тридцати нет или даже двадцати пяти, а уже вдова с двумя детишками, как она крутится? Уму непостижимо. Ей бы такого мужа, как Петя. Да только никого у нее нет. У Риммы Борисовны и муж, и сорок лет скоро, а есть человек, который на все ради нее готов! Бедная Зоя! Сорок четвертые размеры носит, как Наташка. Глядеть не на что. Она как-то познакомилась с Петей. Ушла в другую комнату и в зеркало подглядывала, как у них там. Никак! Маленький Петя и маленькая Зоя смотрели сквозь друг друга. Петя все озирался, искал глазами Римму Борисовну, а Зоя на него бросала какие-то даже сочувствующие взгляды. А между прочим, Римме Борисовне было бы приятно, если бы Петя Зое понравился. Но он никому никогда не нравился. Когда Римма Борисовна думала об этом, она начинала на него злиться. Ну что ходит, ходит? Очки самые маленькие на него велики. Зато уши на мужчину 56-го размера. Шляпа лежит на них, как на подставках. Нет, определенно такой мужчина хорош только для войны. Когда все трещит, все рушится, а рядом с тобой преданный

человек с большими ушами. Он будет топить «буржуйку», раскалывать на щепки полированный сервант, доставать спирт, чтобы растирать ноги Риммочке, а Наташку будет поить рыбьим жиром. Так представляла себе Римма Борисовна войну. Самое удивительное, что она хорошо ее помнила. И эвакуацию, и мерзлую картошку, и вонючий подвал, где им выделили комнатку. И не было ни «буржуйки», ни полированных на растопку сервантов — топили киззяками, никто никому на ее глазах не растирал ноги (кому и кто?), про рыбий жир она слыхом не слыхивала, но поди ж ты... Петя ривсовался ей возле «буржуйки». Она даже как-то искренне засокрушалась, что окна теперь делают без форточек. Куда ж трубу-то выводить?

Вот такие чудные мысли обуревали Римму Борисовну в хвойной ванне. Она сама над собой смеялась, но не осуждала за «военные мысли». В конце концов, войны не будет — это ясно, а если будет, то сразу всем конец. Правильно, что и форточек не делают. К чему? Муж ее приходил поздно: чтоб меньше оставалось времени на выяснение отношений. От него попахивало чуть, но Римма Борисовна знала: пьет только сухое, не больше стакана, и никогда никого не угощает. Так что зарплату приносил полностью, и Римма Борисовна аккуратно относилась часть денег на свою книжку. Ах, как сложно было все решить с мужем, как это люди умеют: раз-раз — и разбежались. Ну можно ли себе это позволить?

Римма Борисовна вешала на теплые трубы в ванной чулки и Наташкины воротнички. Пятнадцать лет девахе, могла бы уже сама все сделать, а все ждет, когда мать возьмется. Чуть вздохнул и запел их новый электрический звонок.

— Иду, иду! — проворковала Римма Борисовна.

«Кто же это может быть?» — думала она, по дороге заглядывая в красиво оправленное темным металлом зеркало. Открыла дверь на цепочку и увидела соседку Зою Синцову. Зоя вся улыбалась — прекрасные зубы, белые, плотные, бедная женщина, сколько редких достоинств — талия пятьдесят восемь сантиметров — и пропадает.

* * *

Когда в тот вечер Олег Быков выскочил из троллейбуса и привычно бежал в ближайшую подворотню, сердце стучало гулко и слегка подташнивало. Он мял в кармане маленький дерматиновый кошелечек, пытаясь на ощупь определить, что в нем. На много он не рассчитывал, у таких женщин много и не бывает. Он не удивится, если кошелек набит какими-нибудь бумажками, квитанциями, рецептами. Случалось, накалывался он на такие истории. Сердце по-прежнему стучало гулко, подпрыгивая где-то под кадыком, и противно потела спина. Раньше у него все получалось ловчее и спокойнее. А сейчас стал бояться. А чего было бояться сегодня? У этой дуры телки (неужели его Ольга такая же раззява?) сумочка открылась прямо перед его носом. Он сидел, а мадам висела на перекладине. Он взял кошелек очень спокойно и даже сумочкой потом щелкнул, закрыл. Она посмотрела, сумочка закрыта, и стала пробираться дальше, а он на первой же остановке выскочил. А теперь вот ему надо отдышаться. Если так будет продолжаться, надо будет завязывать. Но Ольга не привыкла на зарплату. Она любит всем рассказывать, что муж ее никакой работой не гнушается, за все берется, у него, мол, зарплата на вычеты идет. В общем, конечно, он ей, кроме двух законных разов, еще минимум четыре раза в месяц приносил деньги. То пять рублей, то сразу двести. Ну, двести, конечно, было всего два раза и давно. В основном лазил Быков по скромным сумочкам, пышно разодетых женщин он боялся, промышлял в основном у среднеимущей интеллигенции. Так ему, во всяком случае, казалось. Быков считал себя психологом и физиономистом. Была у него и концепция. «Они» — те самые небогатые интеллигентные дамочки — на косметику, на разные шиньоны-миньоны уйму денег тратят. Это он по своей Ольге знает. Так что пусть эти дуры бабы считать научатся да глядеть глазами. Он, Быков, их этому учит. И долго учить будет, если сердце позволит. Он даже считал, что, как вор, правее многих других, потому что не крадет на производстве — и не берет лишнего. Сколько раз за кошельки цеплялись брас-

леты, цепочки, и иногда даже очень ценные, — всегда отцеплял. Даже иногда из-за этого от кошелька отказывался. Но не брал. И документы, если попадались, всегда бросал в почтовый ящик в конверте. Ему глубоко не понравился фильм «Берегись автомобиля», потому что Быков не любил неправду. А фильм весь — сплошная брехня. Фильм на дурачков. Значит, не для него. Он, Быков, умный, даже мудрый. Его за пять лет никто не поймал. У него с милицией никаких отношений, он участкового в глаза не видел. А преступников, между прочим, ловят... Так что, может, все такие, как он?

Сердце откатилось на свое рабочее место. И правильно, нечего разгуливать в грудной клетке, как на стадионе. Быков подошел к освещенному окну, плотно затянутому поло­сатой шторой. Стал к нему боком, достал кошелек. «Ну, если бумажки...» — подумал. И тут же обрадовался. В кошельке были деньги. Быков вытащил их, определил, что намного больше сотни, может, даже полтора­ста, дерматиновый кошелек бросил в решетку люка, деньги аккуратно переложил в свой бумажник. «Похвали меня, Ольга!»

Потом вышел на улицу, сориентировался, как попасть в свой район. Быков ни разу не промышлял дважды в одном месте и никогда в своем районе. Все троллейбусные, автобусные, трамвайные маршруты, которые шли мимо дома Быкова, от его налетов были застрахованы. Такова была его профессиональная культура.

* * *

— А! Зюечка! Заходите! — Закрывая дверь, чтоб снять цепочку, Римма Борисовна думала о том, зачем пришла Зюя и что держит она на руке.

— Знаете, я к вам с чем? У нас на работе одна женщина плащ продает. Купила дочери, а он ей мал. Я как увидела, Наташку вашу вспомнила, решила вам показать. Вдруг подойдет? — Зюя даже не передохнула.

Римма Борисовна удивленно подняла брови. Два раза Зюя приходила, чтоб позвонить: вызывала врача, когда кто-то из ее мальчишек заболел. Раз или два прибежала за спич-

ками. Один раз просила Римму Борисовну — вот тогда она и познакомила ее с Петей — принять одну знакомую, боялась будто бы та идти к незнакомому гинекологу. И Римма Борисовна вежливо и популярно объяснила тогда Зое, что никогда в жизни вот такими приемами по договоренности не занималась. Пусть идет ее знакомая к своему участковому врачу — они все знают одинаково. И вообще лечить надо, не зная человека. Видишь только болезнь, и ничто другое не наслаивается. Зоя тогда извинилась, но Римма Борисовна видела: не обиделась.

— Я ведь не знаю, — сказала она, — как лучше. Может, и правда пусть идет, как все, в конце концов, чего уж она так боится? Я просто дура, что проговорилась, что живу рядом с вами.

— Ну вот знайте теперь, — сказала тогда Римма Борисовна. — Я против всяких таких просьб.

Римма Борисовна вспомнила все это мигом, пока Зоя разворачивала дешевенький такой плащик с золотыми пуговичками. «Чего вдруг она вспомнила о Наташке? Непонятно!»

— Да, в общем, Наталье он вроде и ни к чему, — сказала Римма Борисовна. — Я ей к весне хотела плащ сшить, у меня есть хорошая импортная ткань. Даже макси может получиться...

— Ну зря, Римма Борисовна, поверьте. Плащик скромный, как раз для школы, а макси, может, и рано.

Римма Борисовна могла купить этот плащ, он ей понравился, и разговор о макси возник на всякий случай — Римма Борисовна собиралась шить плащ себе. Но ей не давала покоя мысль, с чего это вдруг торгует у нее в квартире Зоя Синцова? С какой радости такая предусмотрительность? «Что ей от меня нужно?» Неужели бедная вдовушка попала? Неужели она допускает мысль, что будет ей Римма Борисовна устраивать дела вот за этот плащик? Пусть делает аборт в общем порядке. Кого теперь этим удивишь? Очередь как в театр.

— Спасибо, Зоенька, за хлопоты, за заботу, но я уж пошью Наташке к весне макси... Ей ведь шестнадцать будет. Барышня!

Римма Борисовна сделала шаг к двери. Мельком бросила взгляд в зеркало, увидела странное какое-то лицо Зои — все-таки правильно она догадалась, — повернулась к ней с улыбкой:

— А себе вы плащ, Зоя, не мерили? Вы ведь маленькая, изящная, он как раз на вас.

— Да нет, что вы! — Зоя заторопилась, свернула плащ, как-то небрежно-неловко («А вещь-то чужая», — подумала Римма Борисовна), и направилась к двери.

— А вы померяйте все-таки, Зоя, вот же зеркало! — Римме Борисовне история стала доставлять удовольствие. Вот будет смешная история, если она сговорит Зою купить этот плащ. В конце концов, люди все алчные, вот посмотреть, сколько Зоя сумеет продержаться, не поддастся соблазну. — Ну, прошу вас, Зоя, наденьте плащ ради меня. — Как она неизящно одевается. Голову вниз пригнула, далеко вверх и в сторону отставила рукав, проталкивает руку, будто она у нее деревянная. — Чудно, Зоя, чудно! Как на вас сшито. И не морочьте голову, берите себе. Одеваться надо хорошо. Ваша болоньичка совсем, по-моему, из строя вышла?

— Да у меня и денег, Римма Борисовна, нет, чтоб брать его. Он же шестьдесят пять рублей стоит.

— Выручить? — Римма Борисовна ласково смотрит на Зою. Ах, как оживилась молодая вдова! Вот-вот, пришла с какой-то тайной целью, исхитрялась тут по-глупому, а возникла возможность приобрести тряпку — вся засветилась.

— Ну разве что! — хрипло как-то говорит Зоя. — На какой срок вы мне деньги дадите?

— На какой хочешь! На месяц? Два? Три?

Римма Борисовна выносит сумочку. Достает из нее три бумажки по 25 рублей.

— Других купюр нету. Отдадите, когда сможете. Только целиком, частями не надо. Мелкие деньги легче проваливаются.

Она ждет самой горячей благодарности. В конце концов, она ее и заслужила. Не каждый решается дать в долг такой малоимущей, как Зоя. Но надо — надо! — помогать людям. Пусть себе носит на здоровье. Она медленно откры-

вает дверь, выпускает молчащую Зою. Как она сжала деньги в кулаке! Плебейская, кстати, привычка. Но «спасибо» из нее, пожалуй, не выдавишь. Впрочем, если у нее разные женские неприятности, то ее простить можно.

— Носите, Зоенька, на здоровье!

* * *

Тамара деревянной ложкой положила кашу на тарелку, подвинула дочери.

— Ешь!

Сама села на низкую табуреточку, прижалась спиной к горячим округлым ребрам батареи. Прямо из ковшичка той же деревянной ложкой стала есть. Неудобно, рот приходится открывать широко, и Тамара с отвращением смотрит на себя со стороны. Тяжелая, с отеками ногами, вставленными в эти чертовы, космических размеров тапки, с ковшиком на широком колене.

— Тьфу ты зараза! — ругается она. — Ириша, принеси мне из кухни чайную ложку.

Девочка у нее тихая, послушная. Вечерами сидит в комнате, в коридор старается не выходить, ее обижает Вовка. Сейчас только орали, да Зойка затолкала их в комнату. Правильно сделала. За целый день этого крика насышишься, вечером уже нет сил. Что-то Зойка темнит с деньгами. Наплела что-то насчет кассира. Да в этот день все с утра следят за бухгалтерией, последние гривенники разменяны. Ни за что она не поверит, что так вот все ждали, ждали, а потом выяснили, что кассир заболел. А кассир сам что — не человек? Он тоже живет от зарплаты до зарплаты. Он бы умирал, а в банк бы ходил. Тамара по себе знает: никогда она в день зарплаты не болеет. И не из жадности — из необходимости. Суровый закон жизни. Нет, Зойка определенно что-то наплела. И эта новость — «я тебе принесу завтра на работу!». Ничего себе концы. Одна в Черемушках, другая в Останкине. И что за манера — брехать. Ну, скажи честно, по-русски. Может, дала кому перехватить, может, что купила; ну украли у тебя деньги — скажи. Нет! Наплетет, наплетет,

а правды не узнаешь. Ну, пусть-пусть привезет завтра деньги, посмотрит она на нее. Но уж отговаривать ее не привозить она не будет. Нет благодетелей на этом свете, все вышли.

Иришка съела кашу. Отошла к своей кроватке, раздевается. Ой, повезло ей с девчонкой. Просто золотая она у нее. Тамара даже не представляет, что было бы, если б дите было капризным, нервным. Тамара вспоминает, что сама в детстве была тоже спокойная, ласковая. Куда потом все делось? Когда она стала такая грубая? Она же знает, что родители из-за этого в садике ею недовольны. Наверное, зря. Она детей любит и с ними всегда по-хорошему, а вот пап и мам, тут уж никуда не денешься, терпеть не может. Тех, кто рано забирает, Тамара не любит за то, что не уверена, что детишкам дома будет лучше, забирают в три часа, а что делать с ребенком, не знают. Чего тогда изображать любовь? «Сю-сю-сю! Сю-сю-сю!» И ничего больше! Не любила Тамара и тех, кто приходил поздно. «Совсем бы тогда не приходил», — шумела. А потом злилась, что вступает в конфликты, в которых всегда выглядит неправой. Тут уж или молчать надо, как Зойка, или идти до конца и рубиться до первой крови. Но за что рубиться? И с кем? Вот порубилась с мужем. Не поделила его с дружками. Так и сказала: «Или ты холостой, или ты женатый».

— Женатый, — сказал он. И полез обниматься.

— Тогда не ходи вечером к ним.

— Ну раз в неделю, — просил он.

— Или — или, — сказала.

— Тогда холостой, — сказал он и ушел.

Ну разве ж это причина, чтоб расходиться? А он ушел вроде в шутку, так, во всяком случае, Тамара думала, и не пришел. День, другой, третий. А самое смешное, что потом женился. И носитя со своей женой, аж смотреть противно, и из дому ни ногой. Дочь у него вторая только можайским молоком поена, а Иришку так с тех пор и не видел. Как и дружков. Они Тамару встречают, рассказывают. Так что это? Как называется? Разве Зойке не легче? Знает, что похоронила своего, и все! А тут живой, довольный, а тебя

вроде никогда не было. Иришка смотрит на мать. Ласково так, как взрослая, понимающе. Смотрит и стаскивает старательно с себя колготки. Тамара кинулась к ней, прижала худенькую, голенькую, тыкалась большим лицом в мягкий Иришкин живот, чувствовала, как выходит из нее вся дневная усталость, все накопленное раздражение, какими легкими становятся ее отекавшие ноги. Иришка гладила жесткий, свалывшийся за день материнский начес: «Ах ты, моя мамочка! Ах ты, моя птиченька!» — «Птиченька! — счастливо смеялась Тамара. — С тонну весом». — «Птиченька», — ласково шептала Иришка.

Тамара легко выпрямилась.

Убрала в комнате, смахнула с телевизора пыль — на нем всегда виднее всего, поставила в ковшик Иришину тарелку, выключила большой свет, включила бра возле своего дивана и весело направилась в кухню. Зою не было. И в комнате у нее было тихо. Что она сегодня, и чайник не включала? Пусть она кому-нибудь другому расскажет, что у нее ничего не случилось. И вдруг вздрогнула. Открылась входная дверь. Господи, кто ж это ее не закрыл? Вот это да! Вошла Зойка, лица на ней нет. Плащ свой новый скомкала, в руках деньги держит так, что не поймешь, то ли у нее их отнимали, то ли она сама у кого отняла.

— Откуда это ты, мать? — Тамара спросила это тем своим старым, дозамужним, голосом, который был у нее — у самой доброй, самой отзывчивой девчонки из педучилища. Она уж и не верила, что может так говорить.

И Зоя не поверила, смотрит на нее, будто старается что-то вспомнить. Ага! Вот вспомнила! И не успела она еще ничего сказать, как Тамара почувствовала, что Зойка сейчас соврет.

— Да! — вдруг ни к селу ни к городу ослепительно улыбнулась Зоя. — Я подумала, что вдруг завтра не смогу привезти тебе деньги, — сама, понимаешь, концы какие. Так я взяла у Риммы Борисовны, чтобы тебе отдать сразу. — И Зоя протянула Тамаре деньги.

На ладони ее лежали три бумажки по двадцать пять рублей. Ой, брехуха, уму непостижимо! Ведь она ей должна всего тридцать рублей, а взяла семьдесят пять.

— А где ж я тебе сдачу возьму с полсотни, — говорит Тамара, — у меня всего три рубля до получки осталось?

— Ну возьми пятьдесят, разменяешь завтра на почте, отдашь.

Тамара недоверчиво взяла две бумажки. Руки у Зойки горячие, как угли, вроде у нее температура сорок.

— А плащ чего носила? — спросила Тамара, глядя прямо в Зойкины глаза.

— Римма Борисовна примеряла Наташке, хочет ей такой же купить, в «Людмиле», говорит, есть.

Глаза у Зойки — как зеркало. Окно в них кухонное видно, Тамарина настенная полочка, даже ключ на газовой трубе в Зойкином глазу — как соринка. И сама Тамара в зрачке — как в автомобильной фаре. Широкоскулая, носастая, с начесным колтуном на голове...

— Ладно, — сказала Тамара. — Беру, только ты плащ-то не мни, он же у тебя еще новый.

И она пошла в комнату. Конечно, хорошо, что деньги получила, но вот у Зойки что-то произошло, шарф ей предлагала, к этой гинекологше с плащом бегала. Ну надо им померить — придите. Тоже мне барыня... Нет, это все не так... Торговать Зойка носила плащик. Да, видать, не взяли. Будут они мелочиться. Эта кукла Римма, чтоб ей счастья не видать, их за людей не считает. Тамара ходит в консультацию, где она работает, каждый месяц на комиссию. У них такой порядок. Так Римма эта самая проходила мимо нее, как мимо стенки. А на черта ты нужна? Тамара к ней в кресло ни за какие деньги не сядет. Лучше подохнет... Но она все-таки дала Зойке деньги? И Зойка вернулась от нее со стеклянными глазами, а руки горячие, как у тифозной... Но разве ж от нее правды дождешься?

* * *

Уже через час Олег Быков сидел за белым блестящим столом — недавно купили кухню, — и Ольга наливала ему в тарелку уху из консервов «Уха камчатская». Она посыпала укропом и петрушкой дымящуюся поверхность, слегка потрясла деревянной перчаткой и подвинула Быкову.

— Знаешь, — сказала Ольга, — я сегодня кассу уступила Зойке Синцовой. Той, у которой мужа током убило. Да я тебе рассказывала...

— Ну... — ответил Быков, старательно дуя на ложку.

— Она так просила, так просила. Конечно, планы это мои нарушило, но помочь ведь человеку надо...

Быков глотнул ароматную, перченую жидкость, подумал о том, как обрадуется Ольга его «левому заработку». Это же надо, живут люди в зависимости от какой-то «черной» дурацкой кассы. Разве б он, Быков, смог жить, если б ему пришлось где-то перехватывать, просить рубль «на выпить»?

— ...Вот так, Алик, осталась я без «черной» кассы, значит, — продолжала сокрушаться Ольга.

— Ну, ладно, не дрейфь, — сказал Быков. Он оторвался от уха: очень это было приятно — отдавать жене деньги, — полез в бумажник. Деньги еще не успели выпрямиться. Они хранили форму маленького дерматинового кошелечка, который, провалившись в решетку, плыл где-то в таинственных подмосковных водах. — На, — сказал Быков. — Я тут одному профессору работку сработал.

Ему нравилось придумывать для Ольги профессора. Или плести насчет какого-то очень ответственного заказа, который он выполняет, когда все уходят из института. В такие минуты Быков сам верил в профессора, интеллигентного старичка, который говорит ему: «Благодарю вас, молодой человек!» — и в спецзаказ. Как-то Ольга спросила, не делают ли они что для космоса. Быков загадочно улыбнулся:

— Будущее, Олюшка, за пластиком. Мы его начинаем осваивать.

Вот сейчас он сказал про профессора так небрежно, а сам видел, как помягчели, подобрели глаза жены.

— Ой! — воскликнула Ольга. — Аленька, золотце! Это ж надо так кстати!

Она бережно взяла деньги, прижала их к груди и засмеялась.

— Не поверишь, я точно такими вот десятками отдала кассу Зойке. Уж она меня благодарила, уж благодарила. В кошелечек положила, а вся аж светится...

Быков глотал горячую уху, а Ольга побежала прятать деньги.

...На широком диване лежала Тамара, она плотно задвинула шторы и слушала, как дышит Иришка.

...Римма Борисовна читала в постели. На другой кровати лежал муж, и от него слегка пахло вином. Он смотрел «Вечерку». Римма Борисовна сладко потянулась под теплым одеялом, легко нажала кнопочку своего бра. Запрыгали на потолке блики, заметались. Римма Борисовна вспомнила, как она дала Зое Синцовой семьдесят пять рублей займа, восхитилась своей добротой и уснула.

...Зоя не спала. Она уже знала, что расплатится! Как это ни странно, сейчас она уже не думала о деньгах, и мысли у нее были другие, неожиданные и ясные. Такое ощущение было однажды, в детстве, когда прорвался долго болевший флюс. Она отплевывала в раковину омерзительную кровавую жижу и вдруг почувствовала: ей стало хорошо и спокойно. Она помнит, как элементарно просто решила тогда задачка по арифметике и как легло в память сразу, без повторений, длинное, казавшееся нескладным стихотворение. Вот и сейчас то же самое — она как отплевывала свою беду. Точка. Наконец-то! Как же так она жила до сих пор, вся загипнотизированная своим невезением? Вся ее жизнь — тема для обсуждения, осуждения и жалкого сочувствия. Да как они смеют! Вспомнилось самодовольное, блестящее от питательного крема лицо Риммы Борисовны. Как противно, на полусогнутых, она, Зоя, шла к ней сегодня. К этой индюшке с дверным колокольчиком. А этот мужик, что носом терся в троллейбусе возле ее сумочки? Глаза бегают, потому что она, женщина, висит на перекладине, сумка только что не в зубах, а он камнем сидит... Она на него так посмотрела, что он глаза отвел, рванулся к выходу... Рванулся к выходу? Ах, вот оно что! Зоя чуть не задохнулась от открытия. Это несчастье ее рванулось к выходу... Гад ты, гад паршивый...

Зоя, никогда не видевшая Быкова в семье, дома, неожиданно прозорливо представила, как он дует на ложку, как вертится возле него клуша-жена, как приходят они ее, Зоины, деньги. Интересно, на что? Как он рванулся к выхо-

ду, надо было схватить его за пиджак и сумкой по щекам, по щекам... Зоя вздохнула от такого ярко представленного ощущения. И успокоилась. Она как переплыла на другой берег, где нет таких подонков, а если есть, то они ее, Зою, обойдут за пять километров, потому что ее теперь не обманешь. Все. Точка! Пусть спрячет навсегда в кремовую маску свое сочувствие Римма Борисовна. Навсегда. Она вернет ей деньги, и все. И никогда больше ноги ее там не будет. И не будет она исходить ругней, криком, как Тамара. Она отломилась от них от всех. Она теперь сама по себе. Черта с два допустит она в завтра свою вчерашнюю невезучесть. Завтра все будет иначе...

Зря не заметила, как уснула, а во сне летала на самолете. Самолет раскачивался на облаках, и это было невыразимо прекрасно, и небо было синим-синим, и жизнь была бесконечной и доброй, и было много сил, что даже смеяться хотелось от их избытка.

И Зоя смеялась во сне.

1975

НА ХРАМОВОЙ ГОРЕ

Прочитала в газете: Израилю (нынешнему) — 60 лет. Мне-то что?

Но так случилось, что слишком много там оказалось и дорогих мне людей, и, не буду скрывать, людей довольно противных. Кто-то когда-то напишет историю про эмиграцию в махонькую страну из весьма большущих на карте. Это будет уже сверхновая история Израиля, государства смешного по площади, но сильного своим духом. Когда это будет, не знаю, думаю, еще не скоро, движение туда и обратно продолжается, и в этом есть некая тайна страны с Храмовой горой, Стеной Плача и Гробом Господним.

Я в Израиле была трижды. Первую свою поездку в свое время описала подробно. И только сейчас обратила внимание: мои впечатления там были насквозь о России, о большом моем отечестве.

Прошло пятнадцать лет. За это время многие вернулись. По мудрой русской мысли: как в гостях ни хорошо, дома лучше. На их место приехали новые. В их числе — моя бывшая школьная ученица с дочерью, покинувшие Челябинск. Прошло время — и она выпустила свою книгу о великой русской Цветаевой. Как-то смутно представляю возможность этого в Челябинске, а уж в Москве для провинциалки, живущей вне столичной богемы, — тем более.

Уехала моя сестра. «Знаешь, — сказала она, толча чеснок для украинского борща в жаркой Беэр-Шеве, — я всю жизнь мечтала так жить на пенсии». Полная государственная защита от всех невзгод. Полное медицинское обслуживание. Хороша бы она была сегодня, останься здесь.

Мой внук, выросший уже в Израиле, весьма милитаризованной стране, не захотел идти в армию из-за пацифистских убеждений. Никто не схватил его за штаны, не ударил по голове, не объявил предателем. Он успешно работает в компьютерном бизнесе. А его двоюродная сестра — вот вам парадокс, — окончив с отличием американскую школу в Аргентине и получив право учиться в лучших вузах США, вернулась в Израиль, чтобы сначала непременно пройти военную службу. И успешно ее прошла.

Там каждый человек в своем праве.

Каждый выбирает для себя... женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку — каждый выбирает для себя. Так написал мудрый Левитанский.

Мне хочется, чтобы вы прочли про мои впечатления об Израиле, записанные за шестнадцать лет до его шестидесятилетия.

Май, 2008 г.

...Случится ли когда-нибудь поехать в Израиль, как в Грецию? Или Париж?

...Уподобимся ли мы американцам, бесстрашно свисающим в Иерусалимский раскоп точно с тем же чувством, что они свисали в Риме?

Сколько должно пройти в нас лет для возникновения чувства чистого туризма в Израиле? Сто? Пятьдесят? Суме-ем ли мы изжить в себе филофобистическое нечто (тьфу!), что не дает просто поехать — и просто насладиться?

Я заметила: ни у кого пока так не получается. Греция, Париж могут удивить, потрясти. Нормально. Им можно. Вот, мол, сволочи, скажешь, сколько у них всего-превсего было и есть и к тому же чисто. И продолжаешь жить в существе своем отстраненно от увиденного, поскольку мы не отсюда, мы, так сказать, из Воловьих Лужков. У нас свои красоты и чудеса и своя воловья гордость.

Не то в Израиле. Он взрывает тебя изнутри — прямо в хромосоме. В тебе происходит все сразу — восхищение, обида, злость и клочок. Или клекот? Ну, не важно. Одним словом, звук, который — уже и мысль.

Это как если бы... Пример наглядный и для понимания простой каждому совку... Ты родился и вырос в коммуналке. У тебя была подруга из комнаты налево за сундуком и корытом. Вы ребенками вместе приклеивались к одинаковым горшкам. Пионерками вместе из зеленых тяжелых чайников наливали себе на кухне воду на завтрак. В комсомольской юности вы играли вместе в «Молодой гвардии». Она, подруга, — Улю, потому как брюнеточка. А ты — Любку, поскольку рыженькая. В сцене клятвы у вас была одна беда: от волнения остро начинали пахнуть подмышки. И вместо того, чтобы спаяться в экстазе в единую непобедимую малу кучу, вы от своего физического несовершенства расталкивали живой монумент. И учитель литературы, человек контуженный и нервный, взбегал на сцену и слеплял, сцеплял вас. «Вы — единое тело, — кричал он. — Единое! Без щелей!» А потом — представьте — та брюнеточка получила отдельную квартиру у излучины Москвы-реки. И вы ехали к ней в гости. Из той же коммуналки. Вас просто раздирали черные мысли, которых вы — будучи порядочной — стыдились. Вы возвращали в себе чувство радости за другого советского человека, но, чем сильнее вы качали этот насос, тем сильнее было воспоминание приклеенного к детской попке горшка и момент создания единого тела.

И едут, едут в Израиль гости, и стоит в их глазах нечто. В Греции бы турист говорил «ах!» и не думал: по размеру ли ему красивый греческий дворик? Произойдет ли сочетание и совмещение человека и мебели? Израиль очень, оказывается, свой. До обидности. Просто твоя часть. Его хочется приватизировать. Тогда почему одному альтернатива, а мне дуля с маком? Только подумаешь так, а «патриоты» уже закричали: вон! Всех вон! И чтоб глаза наши чистопородные «инородцев» не видели. И чтоб! И чтоб! И под этот истошный животный крик чемоданы защелкали престо, престо... Все правильно. У играющих на темы Фадеева уже подрастали внуки. Их хотелось спасти. Их надо было спасти. В стране, где кричат о породе, жить опасно. В Грецию и Амстердам ни нас, ни их не звали... И полетели деточки-внуки, унося в головенках самую загадочную из сказок: «Жила-была курочка-ряба. Снесла курочка яичко...»

И еще воспоминание на детской ладошке. «Сорока-ворона кашку варила, деточек кормила... Этому дала, этому дала, этому дала, а этому... Не дала!!!»

Вот так, на собственной старости лет, вдруг ударит в дых: и золотого яичка не сулила тебе народная мудрость, и вопрос кашки оставила открытым... Значит, все знала мудрость еще когда-когда.

А эти — улетевшие — сказки забудут. Где-то над Средиземным морем лопнет тоненькая ниточка, кольнет иголочкой в груди, ах, запей, деточка, зелененькой водичкой, все и пройдет... И курочка, и сорока-ворона...

...Вот и отправилась я в гости к внуку. Как ты там, мое солнышко?

И выяснилось в предсамолетном отстойнике, что нас — таких бабулечек, — может, даже и большинство. Из Смоленщины, Одесчины, Уральщины, Киевщины. На легкие плащи — все-таки летим на юга — крест-накрест по-деревенски намотаны платки. Мы их снимем, взбодрим дрожащими пальцами кудерьки, нарисуем на серых щеках румянец, оближем губки и...

— Сашенька!

- Данечка!
- Аленушка!
- Олежек!
- Стасик!
- Светочка!
- Асенька!
- Ванечка! Ванечка! Ванечка!
- Милые! Милые! Милые!

Господи! Спаси их! Чистых евреев, наполовину, на четвертину, на осьмушку, похожих на негров и на корейцев, курносых, как Теркин, рыжих, как Пугачева, конопатых, смекалистых и двоечников. Они уже твои дети, Израиль. Спасибо тебе, и прими нас в гости, совковых бабушек.

- Мадам! Зачем вы везете туда клюшку?
- Он всегда мечтал об импортной вещи.
- Но ведь Израиль вечнозеленый.
- Не говорите мне глупостей! Чтобы там не нашлось снега для ребенка? Сделают искусственный.
- Ну, разве что на три дня...
- А у него как раз и будет клюшка.

— Вам не пахнет?

— Нет.

— Спасибо!

Через час.

— Вам не пахнет?

— Нет. А что, собственно, должно пахнуть?

— Не должно. Три раза пергамент. Наволочка. Полиэтиленовый пакет дважды — туда-сюда. И трижды газета «Правда». Мальчик обожает сало. Но это между нами. Евреи все-таки.

— Настоящих евреев отличают по ауре.

— А шо це таке, барышня?

— Ну, это над головой.

— А! Бачив. Воны ходють в черных шляпах, а пид нею биле блюдечко. Прыдумають же! А Эсамбаев, нещасный, таку високу кубанку носыть в саме пекло... Мы так уси отли-

чаемся... Мы ж разни люди... Це вы кажете — аура? Говорють, шо есть и китайски евреи... Не чулы?

— А я принципиально женюсь на русской! Принципиально! Я свободный человек!

— Сынок! Мишенька! Ну, не ори так громко... Поедешь на Кипр и по-тихому женишься...

— Я не хочу по-тихому! Я хочу в центре Иерусалима громко жениться на русской как Свободный человек в Свободной стране.

— Но зачем так демонстративно, ты уважай...

— Себя! Надо уважать себя и свою свободу. У меня никого нет, честно, но, если говорить принципиально...

Первая фраза моего внука:

— Ты привезла с собой воды? У нас воды мало, а пить надо много.

Я плачу. Ты видишь, родной? С водой никаких проблем. Я нареву тебе целую речку.

Насчет воды. Ни разу нигде не было с водой перебоев. Ни в городе, ни в кибуце, ни в мошаве.

На берегу Мертвого моря в абсолютный несезон работал пресный душ и сверкали чистенькие туалеты. И потому в далекой от озера Киннерет квартире на любом этаже бьет тебя душевая струя, смывая слезы обиды за свое отечество. Ну, почему! Почему? В речных городах, в которых я жила, — Ростове и Волгограде — вода в домах подымалась только до второго этажа. Ночью, сонные и злые, мы дежурили у кранов, чтоб наполнить банки, кастрюли, ванну. Моя сестра в подмосковном Болшеве так живет до сих пор. Моя подруга в Ростове жила в обкомовском доме. Для них круглосуточно работал насос. Я столько могу рассказать про воду... (Это у меня пунктик.) Вернее, про ее отсутствие.

— Поцелуй кибернетику, — говорит мой муж. — Это она главная.

Могу и кибернетику. Просто я не знаю, как она выглядит в материальном воплощении. Как компьютер? Но он в рекламных роликах убивает меня окончательно. Ибо рекламирует товар, которого нет. При помощи компьютера, которого у меня нет тоже. И тогда я вспоминаю давний-давний

разговор на своей кухне. Приехал приятель мужа. Очень за-секреченный ученый. Для Тайного Получения Премии. На Личном Самолете. Вот почему все с большой буквы. При таком раскладе лучше было бы его в дом не пускать. Но мужик был больно хороший. Человеческий мужик. Он-то — сам! — и начал разговор о том, сколько в каждой семье — подчеркиваю, в каждой! — работает людей на мир и на войну. Интересная получилась у нас игра. Посчитали сначала по семьям. Потом по классам. По курсам. Выяснилось. Из пяти — трое на войну. При оптимистической арифметике.

— Понял? — спросил нас приятель-ученый. Сел в личный самолет и улетел. Многое было в этом его «понял». Кажалось, что его жег позор. За подленькое и мелочное прошлое, за то, что все его силы были отданы... уничтожению человечества.

Вот она — наша кибернетика. Да мы не то что Арал! Мы реки выпили во имя дул и дробы.

Поэтому у меня всегда запас воды, а у моего племянника, к которому надо ехать тридцать километров от Беэр-Шевы, в калифорнийском трехкомнатном вагончике для временного житья такой напор воды, что тебе душ Шарко, который у нас надо было заслужить партийным стажем. Волга, Лена, Обь, Енисей, Дон, Онега, Печора... Это вам не ерунда, это не Иордан, который можно переехать, не заметив. Но мы — без воды. А они — заливаются.

Я перечитала предыдущие абзацы и поняла, что попала. Поставила силки и сама в них вляпалась. Дело в том, что Израиль очень милитаризованное государство. Очень! Это у нас общий грех. Каиновый... Только мы уже стали в этом признаваться, а они еще нет. Потому что, как сказал мой умный внук, у них «проблемы с арабами».

Это как в птичью стаю бросить камень и смотреть, как они взлетают, путаясь в крыльях.

Взлетели мысли, о которых не подозревалось. Самая худосочная пищит сильнее всех.

Бог не дал детей Авелю.

Бог не дал детей Гитлеру и Ленину.

А Сталину дал... И Каину тоже...

Почему он счел возможным продлить Сталина.

А Ленина зарубить на корню?

Народ, мужчины которого писают в лифте, обречен на вымирание. Так я начала когда-то статью. Написав первое предложение, поняла, что сказала все, статья окончена, привет!

Кто же опубликует статью из одного предложения? Тут надо говорить много. О трудной жизни. О потере идеалов. О загадочности души. А я захожу в лифт и начинаю ненавидеть эту загадочную душу, которая, где стоит, там и гадит. Ах, как я смею думать такую мысль. И где? В Израиле! Кто я после этого?

Кто я после этого... Это тоже мысль, вспорхнувшая с места. Я безумно хочу домой. Дома мысли усядутся. Родная одномерность развернет меня в нужном направлении — точка, тире, точка, тире... Я буду вырабатывать соки и ферменты для выполнения одного конкретного маленького дела, остальное перекрою. Или перекроется? Потому что по правилу, по жизни надо найти этого мужика, который не знает, как пользоваться лифтом, и набить ему морду. Хорошо бы в присутствии поэта К. и профессора Ш.

Такая чушь... Сделаю все наоборот. При помощи пунктира я расскажу, какой он хороший — наш советский человек. Не моется, потому что мыла нет. Не стрижется, потому что дорого. Не чистится, потому что — где они, щетки? Не работает, а зачем, если его Ш. и К. и такого любят? Дался мне этот Ш. Но я думаю — профессор же! Же! Вместо того чтобы сказать большому народу: «Дружок! Поучись у малого. Ты так размахался, может, застегнул бы сначала ширинку?» Так нет: ненавидит, ненавидит, ненавидит... Мало-го. Даже телевизионная антенна полетела к чертовой матери, когда по недосмотру он дважды за день появился на телевизоре.

Это от ненависти, дорогие. От нее гаснет свет, пропадает вода и не родит земля.

И эта земля моя. С Храмовой горы это особенно видно, какая она большая и распластанная. Как шкура убитого медведя, брошенная на бочок, чтоб не продуло матушку-землю космическим сквознячком с каких-нибудь Плеяд.

Дорогая моя шкура... Единственная моя шкура — Родина. Я хочу на твою размагничивающую мягкость, на остывшее твое величие.

Тут, в Палестинах, совсем другой покой. Здесь покой, при котором ты одинаково готов к жизни и смерти и понимаешь, что тут, в сущности, нет разницы. Ибо звезды светят всегда. Ибо всегда — Иерусалим. Так чего же тебе, малому густочку, бояться, если ты прикреплен к вечности?

Там, на любимой моей Родине, на шкуре убитого медведя, совсем другое чувство покоя. Там ощущение Земли, а не звезд. Ощущение тверди под ногами, в которой все корни, все клубни, все споры, все минералы. И мы — из них. И ни откуда больше.

И мы — два народа — тянемся друг к другу, тянемся... Космическая пыль и земной сок.

У нас во всем — больше земли. У них во всем — больше неба.

Они родили Христа и отдали его нам.

Какая же еще близость ближе?

Мы — горизонталь. Они — вертикаль. Напряжение для существования всей жизни — от нас, тех и других. Крайних, противоположных, запаянных намертво в пересечении.

Кем же, каким же надо быть, чтобы целиться именно в пересечение, в нем видеть мишень?

Научившись ненавидеть один народ, так просто и непринужденно можно перейти к ненависти к другому. Другим. Вчера только обдирало шкуру дикое словосочетание «люди еврейской национальности». Сегодня уже почти не обдирает — кавказская национальность. Среднеазиаты. Прибалты. «Эти немцы».

И так славить, петь при этом себя самих, хотя живем хуже всех на лучшем куске земли...

...Который, между прочим, достался нам при помощи захвата, ибо грех России — как прочла где-то — расширение.

И мы испокон веку все свои проблемы решали путем пространственным. Конечно, нам не удалось выйти к Индийскому океану. Нас побили еще в горах Афганистана, и поделом. Захватив шестую часть и не освоив, наломав и не построив, Россия смотрит на себя в тихоокеанское зеркало. Свет мой, зеркальце...

Несчастливая ты моя деточка-мать.

Спроси у воды, у земли, у своей любимой березы, может, хватит? И не заплакать ли тебе о тех, кто бежит с твоих живительных просторов в пустыню? Не уговорить ли их остаться? Не взять ли в руки веник, молоток, гвозди, не помыть ли корову и лошадь? Не вычистить ли заполненный по кромку клозет? Не похоронить ли, наконец, покойников — с войны лежат, а один — с самой революции? Не умыть ли детей?

Россия! Матушка моя! Дите мое.

Оборотись в себя... В себя истинную, без которой я ничто и которую я не знаю. Да что там я? Чаадаев не знал. Достоевский...

Но с Храмовой горы я тебя вижу лучше. Здесь такая точка.

...Если не вглядываться, не всматриваться, то можно подумать, что ты в какой-нибудь сальской деревне. Надо только отойти метров на десять от кактуса, чтоб он, будучи ростом с яблоню, не сбивал тебя с толку. Полное ощущение родины — дома и у себя. Тем более что за спиной русская речь. И не какая-нибудь с акцентом, а без и вполне убедительная.

«Я этой сволочи скажу всю правду. Она у меня схлопочет!»

Ну, где еще, кроме нас, говорение правды столь конфликтно и драматично?

А правда заключалась в том, что некая дама получила от государства Израиль некую поощрительную сумму за то, что предоставила кров репатриантке из России. Но очень, очень скоро, напрочь забыв о сумме, дама начала вести себя с жиличкой так, будто та живет исключительно ее бескорыстием и добротой.

Нормальные, на мой взгляд, отношения. Кто уже там помнит «за эти деньги», когда кофе общий? И вот за кофе жиличке объясняется, что она — вся деревня знает — дура, потому что — вспомните — откуда она приехала. Там умные кончились еще до войны, а скорее, еще раньше, потому что разве б довели умные до позора целования с Гитлером? Поцеловались идиоты и тут же стали воевать — это, по-вашему, по-коммунистическому, ум?

Я познакомилась с этой бесповоротной дамой и утверждаю: ей палец не то что нельзя класть в рот, руки вообще при ней лучше держать глубоко в карманах, чтоб не возникло жестикуюляции, которую она не потерпит.

Хана — сионистка, то есть она свято верует в необходимость жить евреям только вместе и только на своей земле. Пройдя концлагерь в Польше, она не уверена в доброжелательности других народов по отношению к себе. Ей хватило на одну жизнь одного концлагеря для выработки окончательного мировоззрения.

Так вот, Хана смела заявить своей жиличке, что в ней, жиличке, много плохого и это плохое в ней от русской крови ее отца. Чего, мол, взять с такого кровавого соединения?

Вот именно на это ее заявление жиличка и назвала ее сволочью и решила напомнить, что Хана имеет от нее выгоду, а не просто по доброте души пустила к себе в дом. Что между ними отношения, регламентированные суммой прописью, и не ее, Ханино, собачье дело касаться тонких материй.

А мне Хана нравится.

Жиличку же я просто люблю.

И я сразу и с той, и с другой.

Мне нравится Хана потому, что, выжив при фашизме и коммунизме, оставшись в полускелетном состоянии, она — почти девчонка — не поставила на возрождение Европы и России, а предпочла голый каменистый кусок пустыни, на котором бы никто никогда впредь на основании ее красивого еврейского профиля не затолкал ее в душегубку при молчаливо опущенных очах представителей других национальностей.

Хана построила в пустыне дом. Я хотела бы, чтоб в наших русских деревнях стояли такие дома. Она больше всего гордится своей прачечной комнатой, которая поначалу была кухней, а теперь здесь фурычит многопрофильный зверь-агрегат. Вылизанный двор. Чистенький курятник. Две машины. Все своими руками. Я смотрю и думаю, что у нее есть основание быть бескомпромиссной. Конечно, поучать взрослую жиличку — дело бесперспективное, этого Хана не понимает. А я думаю о том, что, когда человек, уча, может и показать, что он умеет, то ведь это совсем другое научение? У Ханы — хорошие зубы, признак нормальной цивилизации, и заскорузлые крестьянские руки. В курятник она идет хорошо причесанной, на ней джинсы и изящный фартук. Она работает, как все русские крестьянки, но она богата, выглядит в свои шестьдесят с лишним на сорок, и она кричит свою мысль: если вы так бездарно живете на черноземе и в поймах великих рек, то не оттого ли, что вы безрукие и безумные? Иначе почему?

И она смотрит живыми молодыми глазами, и рубит эту свою правду-матку, она смеется над доводами, которые ей приводит в ответ бедная жиличка.

— Какое она имеет право? — это жиличка уже мне. — Ну, какое?

В конце концов, скоро жиличка съедет. От щедрот муниципальной власти она получила комнатку в коммуналке. Ей еще доказывать, что у нее есть руки, ноги, голова, что она может устроить свою жизнь, и стать, и быть. А Хана уже все смогла.

Измученная, в фашистских клеймах, девушка когда-то с колен начала укрощать песок и камень. И укротила. Недалеко от нее живет богатый конезаводчик. Напротив ученый — миллионер-цветовод. Обычная деревня. Как тут говорят, мошава. Издали вполне Сальская степь.

Теперь о жиличке. Собственно, их даже две. Мать и дочь. Дочь уехала раньше, живет отдельно, и это у дочери, с точки зрения Ханы, подпорчена кровь.

Как сложится у них жизнь?

Я знаю одно. Это коммунально-квартирное безобразие, которое под шумок начинают осуществлять в Израиле, — мероприятие почти преступное. Во-первых, очень многие даже не знают, что в стране высаживается в грунт одно из самых страшных завоеваний социализма — коммунальное житье. С общим сортиром, кухней, с перемешанностью запахов и вод.

Наша забитость и косорукость — от общего крана с водой. От стыдливости сидения в очередь на общем толчке. От кипящего рядом с твоим чужого супа. Коммуналка молола, молола и перемолола человека, оставив в нем ту суть, которая могла выжить под неусыпным оком всеобщей сдавленности. Мы стали завистниками — из-за коммуналки. Мы ленивые — оттуда же. Нечистоплотные — тоже. Агрессивные, нетерпимые. Все сплошь соглядатаи... Вористые, пакостничающие... Все из нее, милой коммуналки. И вот государство Израиль, горделивое и важничающее, сочло возможным именно в этом страшном пойти по нашему пути. И я имела несчастье видеть, как это начинается. Еще никто не въехал в квартиру, но уже все друг друга ненавидят. Уже делится стоимость ведерного совка и электрической лампочки в уборной. Уже подносится близко к лицу свеча — смотрины квартиры были вечером, — не эфиоп ли ты? Уже на ридной одесской мове исчисляются способы захвата пустующей комнаты. «Так хозяйка ж хвора. В больнице!» — «Так, может, даст бог, помрет?» — «Та шо вы такое говорите, женщина?» — «Так ей уже, наверное, есть шестьдесят, может, хватит? Надо же дать место молодым!»

— Это не евреи, — возмутились в другом доме. — Мы так не можем.

Еще как можете, господа! Вы от нас приехали. Вы ж на подошвах что принесли? Вот именно...

— Их будут судить, — сказал мне мой приятель, — этих квартирных дел мастеров. Стоят пустые дома, но кто ж возьмет такую цену? А коммуналочка — она ничего не стоит...

Боюсь, в очень дорогую цену обойдутся Израилю коммуналки. Это ведь как тиф, всюду одинаковые последствия. И не идиоты они, чтобы этого не понимать. Почему и прохо-

дит это скорее тайно, чем открыто. В газетах об этой пересадке социалистической почки ни слова. Мне чуть глаза не выцарапала одна милая девушка, когда я ей об этом рассказала. Она так на меня закричала, что я подумала, а не приснилась ли мне комнатка, на пол которой мы поставили свечу, не приснились ли мне израильтяне-одесситы, выясняющие, не эфиопы ли мы. Не приснилась ли та электрическая лампочка, стоимость которой с ненавистью будут делить? Ах, дорогие мои! Бойтесь этой уверенности, что у вас не может быть плохого. Бойтесь собственного гнева, будто на вас наговаривают. Это нами проходимое, мы в этом жили... Впрочем, и живем пока.

Как это ни странно, но в этой недолгой поездке впечатлений у меня больше деревенских, чем городских. И это несмотря на то, что жила я недалеко от знаменитого на весь мир Вейцмановского научного центра. Гуляла возле него, плялилась... Но, скажите, удивила ли я бы кого-нибудь, поведав о хорошей жизни израильских ученых?

Из моего провинциального детства.

— Ну, скажи, скажи, ты у нас умная, почему это евреи не работают в шахте и колхозе?

Это даже не антисемитизм. Это какой-то большой вопрос жизни. Это как тайна чесотки. Шахта от школы — в трех шагах, колхоз — в трех километрах. Глинистая дорога на кладбище утрамбована шахтными грузовиками до полной каменности и даже отсвечивает мрамором. Она не остывает ни на день, не успевает осклизиться. Шахта дает уголь и трупы с завидным ритмом. Колхоз трупы не дает. Он тихо живет в балке. Тоже глиняной. В старшие классы к нам приходят оттуда девочки, и мы их не любим. Это девочки в чунях-галошах, плюшевых жакетках и платках вокруг шеи. От них пахнет коровником, и они плохо говорят по-русски — ха! Мы — горожанки говенные — из этой же глины, но мечтаем о театральном институте, в крайнем случае архитектурном. А девочки из колхоза мечтают о паспорте.

— Вот скажи, скажи, ты умная, почему евреев нету в шахте и колхозе?

А их там и нету! И вопрос зависает в невесомости на десятки лет.

Теперь, уйдя далеко-далеко от той девочки, которой задавали вопросы на засыпку, я думаю о другом — об этом нашем уникальном свойстве разделить плохое поровну. «Господи, не пошли другому беды, что настигла меня», — это не русская молитва. Мы замираем в бездействии над невскопанной грядкой и недоенной коровой от одной мысли: вдруг кто-то в этот момент вкушает кофе на пуфике? Вспомните это беспрецедентное «а ты встань на мое место» продавщицы ученому, хотя никакими силами продавщицу из магазина не выковыряешь. Но она видит перед собой пуфик. Она его зрит.

Не важно, что делали и делают евреи. Важно, что в шахте и колхозе их не было. Значит, хитрованы они, значит, у них круговая порука, и вообще у них руки не оттуда растут.

Две позиции — хитрованы и круговая порука — я готова даже признать. Что есть, то есть. Но вот насчет растущих не оттуда рук...

Если бы вы видели их колхозы (для понятности так назовем кибуцы), то вы бы, простые читатели, заткнулись. Но мне даже не этого хочется, я сама читатель, и я люблю это племя. Мне хочется, чтоб заткнулась идеология — всякая и навсегда. Дело в том, что евреям предъясняется масштабный иск как по революции, так и по коллективизации. Они, мол, все это заварили. Об этом читать-то противно, не то что писать. Но вот допустим. Допустим. Коллективизацию действительно придумали бронштейны и рабиновичи. Именно они изнасиловали нашу деревню, оплодотворили ее негодным семенем, в результате чего родился монстр. Потому как несоединимая природа. Потому как конь и трепетная лань. (Почему только лань спокойно ложится подо всех? Но это антр ну.)

Когда у меня спрашивают, на что похож кибуц, я отвечаю без запинки: «На санаторий кремлевского Четвертого главного управления». Видимо, от скудости примеров для сравнений. Такая же чистота. Такие же стриженные газоны и разнофигурные кустарники. Сады камней. Увитая плю-

щом (?) библиотека. На подоконнике небрежно раскрыта книга. Тургенев, «Записки охотника». «Бурмистр». Крест, святая икона!

Давно ли вы читали «Бурмистра»?

Я перечла, уже возвратясь. Что называется, для сюжета. Где-то там, на далеком берегу, лежит открытым Тургенев, я в Москве достаю его с полки, дую на корешок, ах ты, боже мой, как заметно, что давненько не брался в руки синий томик...

Со школьных лет от «Записок охотника» у меня ощущение какого-то обмана. С чего это именно «Записки» принято называть в числе лучших из лучших сочинений классики? Одно ведь из самых занудных. Вот «Дворянское гнездо», узнанное лет в двенадцать, потрясло же! На «Вешние воды» обратила мое внимание мама лет эдак в четырнадцать. И тоже замерло сердце. А «Записки охотника» сердца не трогали. Распелся барин от умиления. Над чем, господи? Возмущало какое-то сознательное непонимание чего-то важного, что понять было должно. Непременно должно.

Ответы на детские вопросы или не приходят никогда, или приходят слишком поздно, чтоб знание еще имело смысл.

Итак, «Бурмистр». Удивительным оказалось мое чтение после поездки в Израиль. Сочинения о российской деревне, написанные в 1847 году в Зальцбрунне, что в Силезии.

Барин с душистыми усами и чистейшими манжетами скорбно написал, что самый лютей враг русского мужика — другой русский мужик, волею судеб ли, конституцией ли поставленный выше первого. Именно он — той же крови, той же земли — и загубит тебя, и сгноит, и втопчет. Страдал по этому поводу Иван Сергеевич. Так страдал. Что же это мы за люди-нелюди такие, думал, — если к самим себе так, как к врагу лютому?

Но кто же читает у нас в «Записках» это? Что-нибудь умилительное, трогательное, что вскармливало бы легенду о великости народа, о его необыкновенности, которые — если не проявляются, то исключительно по причине внешней, чужой помехи.

— Сам-то ты, о-го-го какой, голубчик! Это тебе евреи ноги спутали!

— Сам-то ты, о-го-го чего хочешь и можешь, это кавказцы тебе поперек стали!

Сам-то ты, сам-то ты...

Да опомнитесь, братушки, опомнитесь!

Про нас умные еще в 1847 году все поняли, а мы все про величие? Ну неловко же.

А евреи, как выяснилось, прекрасно работают в колхозе.

В каждом их доме канализация — иначе не поставят дом, горячая вода, в гараже «Форды», «Опели», «Мерседесы», хочешь куда-то ехать — напиши заявку и езжай с богом. Таким вот образом племянник свозил нас на Мертвое море. По великолепной дороге по пустыне Негев едешь с ощущением нереальности. У них пустыня плодоносит. Вот захотят они плодов в этом месте — и через какое-то время здесь будет урожай. Кроши в руках камень пустыни, нюхай его, пробуй на язык — не понять. И, как нарочно, чтоб окончательно сбить с толку, вырастает на горизонте бедуинское поселение. Ни единой веточки. Трепещут на ветру тряпичные хижинки, не поворачивая грузной головы, идут по пустыне бедуинки. Если бы Лот был женат на бедуинке... О!!! Она, конечно же, никогда бы не повернула голову. Да гори оно все синим пламенем, сказала бы она, как это я повернусь с тяжестью? И она бы шла себе и шла. А Лот, дурачок, имел в женах еврейку. И чтоб еврейка не любопытничала? Так и стоит до сих пор на горе каменная фигура истинной женщины, которой интересно, и что позади, и что впереди, и что в середине.

Мне даже кажется, что Тургенева в кибуцной библиотеке читала ее какая-то прапрапра. Эта русская еврейка, вскормленная нашей литературой, пришла и замерла над «Бурмистром». Господи, — сказала она. Пошли им — русским русским — для начала мир и лад между собой. Мы же теперь уехали. Мы теперь далеко. Ну что им стоит перестать ненавидеть и для начала хотя бы все помыть? Лестницы, улицы, стены. Для начала — помойте! Помойтесь! Помойтесь!

Место действия: Россия — Зальцбрунн — Израиль.

Время действия: 1847—1992.

Все это время-пространство сконцентрировалось в точке моего сердца и болит, болит...

Мы ставим перед собой задачу ввести — господи, помоги нам! — разные виды собственности. Мы изобретаем способы и методы. Надо поехать в Израиль, несмотря на то, что «истинно русские» (состав крови у них такой, величественный. Может, лимфоциты играют там на тромбоне, не знаю, не знаю) будут, конечно, против. Они просто из себя выйдут от мысли, что опять будем делать по-еврейски! Но, дорогие мои, где еще, где сегодня, а не до революции и татаро-монгольского ига, уже есть и одновременно хорошо фурчат и система колхозов, и система единоличников? И закон для этого прост, как три рубля: там и там собираются разные люди. И не случайным каким-то образом, а совершенно сознательно. В одном — коллективисты, в другом — индивидуалисты. И без проблем! Все определяется интересом отдельного человека, его характером, склонностью к определенному способу жизни. Я лично ни за какие коврижки не могла бы постоянно жить в условиях общей столовки. Но американский профессор — полагаю, не дурее меня — плюнул на свою кафедру и приехал жить именно в кибуц, потому что увидел в этом большие возможности для воспитания своих детей. Так же поступила и врач из Дании. И мой племянник отсюда. Все они работают так помногу, что нам и не снилось. Ведь, чтоб укрепиться в кибуце, надо пройти испытательный срок, и не только на умение и готовность делать многое крестьянское — убирать навоз, доить корову, копать землю, — но и на способность общежития... что ли. Написала и поняла, что слово это опротивлено нашим совковым содержанием. Равно как и выражения «чувство локтя», «взаимовыручка». Здесь эти слова надо забыть навсегда, ибо отмыть их возможности нет. Скреби не скреби — выползет испоганенная суть, в основе которой неверие, недоверие к человеку, подозрительность, злобность. Мы стукачи — сейчас уже по генетике. Если у нас хватает совести не стучать в

места, для этого многочисленно приспособленные, то в душе-то мы стучим, самому себе стучим, на лучшего сябра.

Поэтому в кибуце тестируют вновь прибывших. Чтоб не было тебе же драмы, когда поймешь, что по природе своей ты индивидуалист, а не коллективист. И то, и другое, между прочим, не ругательство. И то, и другое замечательно. Это как блондины и брюнеты. Как тенора и басы. Как левши и правши. Никого не надо перекрашивать и переучивать. Каждому свое.

Я бы сегодня выпустила из Матросской Тишины Стародубцева. Пусть бы руководил колхозом. Только чтоб без помощи КГБ и партии, а только по своему крестьянскому уму, если он у него на самом деле есть. И пусть они там живут хорошо, долго и счастливо. Как и великий первопроходец по нашему экономическому бездорожью Сивков. И все остальные-прочие. Любители лошадей пусть имеют фермы. Овощеводы — огороды. Таги-заде — гвоздики, но за ним надо проследить, чтоб он не помешал другому цветоводу выращивать нарциссы. Надо бы как-то окоротить его гвоздичным законом.

О! Великая русская литература! С ее помощью я уже вижу мосты и вертящиеся мельницы и сама сижу в увитой беседке, и зовут меня Фемистоклос. Ну, никуда от этого, никуда.

Поэтому я закрываю тему деревенской достойной жизни в кибуце, хотя так хочется описать фиолетовые баклажаны и картошку такой нечеловеческой чистоты, что... В общем, картошкой они меня добились. За пятнадцать рублей кагэ на Бутырском рынке — срамота-то какая! — ничего похожего. Некоторые из гостивших в Израиле вспоминают киви. В гробу я их видела, эти киви. Картошка, репанка, бульба, красавица моя... Кормилица!

A!!! Перехожу на другое. Совсем другое. На армию...
...которая меня шокировала.

Ну, не нравится мне мир, где молодые в обнимку с «узи» садятся в автобус, пристраивая его между колен, укладывая сбоку, подвешивая на крючок.

Ружье может выстрелить. Или должно?

Это не литературная реминисценция, это какой-то под-кожный страх из детства.

Я всегда боялась вооруженных людей.

И никакой тайны, никакого «с чего бы это?». Ну, во-первых, я дитя войны и оккупации. Только вот ружья я стала бояться раньше. Еще до войны. До сих пор в ушах крик Савельевны, бабушкиной мачехи: «Застрелили! Застрелили! Застрелили!» Кричала она о своем сыне, арестованном перед самой войной, и моя молодая мама на этот приближающийся крик быстро «набросила крючок». Мол, нету нас дома. Нету! Крик бился в закрытые двери, в стекла, а бабушка теплыми ладонями закрывала нам с сестрой рот. До сих пор вижу над бабушкиной рукой огромные серые глаза сестры, в которых отсвечивали мои — карие. «Чертовки лупаты!» — бормотала бабушка.

Такая вот довойна...

А сразу после войны возле нашего дома стали ставить тюрьму. Тюрьма — это вышки, и дорога твоя — куда бы ты ни шел — обязательно идет мимо них. И вертухай свистит тебе вслед или бряцает затвором. Шутит. Дратует.

С тех пор ощущение в себе холодной дыры насквозь. Ощущение мишени, в которую попали.

Не разобраться сейчас, сегодня, кому нужна моя трусливая спина, чего она, дура, боится и сквозит, но норовлю, норовлю свернуть в подворотню, если рядом пропечатал шаг человек с ружьем.

И этого еще мне не хватало в Израиле! Ими кишмя кишит, хорошенькими, молоденькими мальчиками и девочками со своими стрелялками, на дуле которых у некоторых висят хвостики каких-то бывших сусликов.

Первая реакция — мне это неприятно, противно, я на дух это не переношу. Я как-то сразу инстинктивно становлюсь ярой арабисткой и внутренним голосом кричу: «Да что же вы так ощерились огнестрельным оружием, братья семиты?» Вот я вся кричу внутри, напрягаюсь, прогоняю с повышенной скоростью кровь по жилам и вдруг понимаю, что кричать — кричу, а сворачивать в подворотню — не сворачиваю и дырки в спине не ощущаю.

И такой вот раздрай внутри себя самой между первой сигнальной системой и второй воленс-неволенс заставляет переходить на какое-то другое понимание действительности.

Что-то не так — думай!

А пропо... Кстати... Вернувшись... Сходя на очередной митинг... Пройдя строй солдат с хорошими равнодушными родными мордами, ощутила забытое оледенение. Вернулась к ним. Вступила в душевный разговор. «Гуляй, мамаша, гуляй мимо», — услышала, и ничего больше плохого, никто за твором не щелкнул, никто не ударил, не обозвал («мамаша» ведь не ругательство, я вполне мамаша и бабушка). Но... даже после такого душевного общения спина моя не вскричала «отбой!». Спина моя при виде оружия завсегда к расстрелу готова.

Но это вернувшись...

А я еще там. В автобусе. Еду в Тель-Авив. Салон покачивает. Смотрят во все стороны автоматы, их владельцы чирикают про свое, им и в голову не приходит, что некоторые спины ощущают себя мишенями. И — о чудо! Им не приходит в голову — и спины перестают бояться.

Так неужели тот рязанский мальчик, что сказал мне «гуляй», где-то в своей глубочайше спрятанной подкорке допустил мысль, что не такое уж я породистое дерево на этой земле, чтоб со мной разговоры говорить?..

Я думаю, что рязанский мальчик ни в чем не виноват. Просто в наше всеобщее воинское сознание не вложено слово «нельзя», и все. Они все хорошие, солдатики, но слова «нельзя» им не объяснили, потому что слово это не из устава строителя коммунизма-капитализма, а из устава под названием «Грех». А его просто у нас нет в обиходе, как бы ни опрыскивали все вокруг и около наши легкие на религиозный подъем батюшки. Мы не ведаем слова «нельзя», почему и живем в беспределе. Потому и страшно простому человеку и на улице, и в лифте, и в электричке, и темной ночью, и светлым днем. Нет у нас «нельзя», нет у нас «греха», а пока нет — так и будем деградировать.

У тех же мальчиков в автобусе эти понятия есть. Они для них изначальны. И их вооруженности не страшно, более того — от них идет ощущение защиты. И это главная особенность их армии.

И еще. Я даже не знаю, как это написать, чтоб русскому человеку было понятно.

Значит, так...

...если их солдат попал в плен...

...если ему грозит гибель...

...то...

...то он...

...может открывать секреты.

...потому что Израилю в сто раз важнее наиважнейшей военной тайны ее живой солдат.

Господи! Сколько людей зазря. Это я уже про нас. Сколько... Было даже опубликовано письмо одного урода, который черным по белому написал: «Подумаешь, гибнут в мирное время. Нарожаем». Ну что? Что? Какие слова сказать такому?

И звереешь: вот бы кастрировать его на Лобном месте! И хватаешься за голову, за сердце от стыда за себя же.

Господи! Прости меня.

Про разную беспредельную «дедовщину» после этого смешно говорить и спрашивать. Про железную дисциплину «встать-лечь» тоже. Они — защитники. Защитники главного — человека. Им в голову не приходит качать какие-то особые права для себя и топтать ногами на тех, кто не вооружен. «Ужо, мол, я тебе покажу! Как, мол, стрельну!»

А тут так некстати для написания сих строк показали офицерское собрание в России. Господи! Чур, меня, чур! Это — защитники?! Эта малограмотная, нечленораздельно орущая масса — наша доблесть и честь?! Так ведь не только спиной холодеешь, глядя на макашовско-алкснисскую гвардию, холодеешь уже всем телом. И в глаз убьют, и в шею, и в живот. Потому как штатский человек вроде как помеха их жизни. Им давно и всегда все было «льзя». И война с Гитлером было очистила, да не до конца.

Вот такие у меня непатриотические размышлизмы о человеке с ружьем.

Я его боюсь. И — увы! — я не из головы выдумала эту бяку-закаляку кусачую. Баку... Тбилиси... Вильнюс... До того... Будапешт... Прага... Кабул... И всего-то... за каких-нибудь тридцать лет мирной — слышите меня? — мирной для нас жизни. Не слабо? Правда, не слабо?

А как они — мундирные — топали ногами на Андрея Дмитриевича Сахарова? Это что, можно забыть?

Но другое тоже нельзя забыть никогда. Как они пришли на защиту Белого дома. Про это знают все, а я вспоминаю то, чего, кроме меня, не знает никто.

...Когда хоронили мальчиков августа 1991-го.

От Ваганьковского на Беговую я шла с совершенно чужой женщиной. Мы шли с ней за руки, мы держались друг за друга от усталости и слабости. И мы делились счастьем минувших трех дней. И просили прощения у Бога, что на похоронах говорим о счастье.

Мы признались с ней, что не чаяли, что это может быть с нами. Что никто никогда не видел столько хороших людей сразу. «Какие старики! — шептали мы. — Какие дети!»

— ...дождь, — рассказывает мне незнакомая подруга, — а я в войлочных тапках. Стою, танки жду. Солдатик подходит. «Мать! Ты в себе? А ну-ка иди домой!» — «А ты пойдешь?» — «Мать! Ты в себе?» — «А я что — хуже тебя, хуже?» Ушел солдатик. Вернулся с фанеркой. «Стань, мать, сюда». Поднял меня и поставил на фанерку. Ну, думаю, теперь я этим танкам! С сухого-то места! Опять пришел солдатик. Надел на меня полиэтиленовый пакет. «Ты, — говорит, — мать в натуре». Теперь, думаю, всё. За таких сыночков можно умереть. А ну, танки, сюда! На меня! Я вас фанеркой и пакетом, заботитесь! Смех и слезы! Вы могли умереть за родину? Нет, скажите, вы могли бы?..

Преодолев мост, обнявшись и припав друг к другу, мы поклялись за эту родину и жить, и умереть.

Потому что лучше ее...

«Понимаете? Он искал фанерку!»

И мы плакали от счастья, что нам за все, за все — за до- войну, войну и послевойну, за Ленина, за Сталина, за КГБ, за ГКЧП, за все наши страхи и грехи — Бог милостиво даро- вал Прозрение и Веру.

...Я знаю. В этот момент она тоже думает обо мне. Вдруг ей придет глупая мысль в голову, что я могла уехать наве- гда? И она застынет в войлочных тапках посреди кухни, за- бросит за ухо прядь и скажет ближайшей кастрюле: «Мы же с ней вместе шли через мост. А кто прошел этот мост...» И засмеется, как девочка.

В отстойнике, уже оттуда... плакала женщина. «Паразит! Паразит! — объясняла она нам. — Он думает, что Кравчук лучше Шамира. Ему, видите ли, до зарезу надо на родину. Ему родного дерьма не хватает. Это можно понять?»

Люди молчали, люди думали свою мысль.

Мы все, пронзенные мыслью... Раненные ею.

Поэтому я решила ничего не писать об Израиле. Это еще когда он станет для нас просто местом для экскурсии. «Ах, Мертвое море! Ах, Вифлеем! Ах, апельсиновые рощи!» Это еще когда мы перестанем вздрагивать от информации, что и этот, оказывается, уезжает, а кто бы еще вчера мог поду- мать?..

Навсегда! Почти волшебное для нас слово. Одно и наве- гда. И попробуй нас сдвинь. Или бабушка с клюшкой, как девушка с веслом. Или парень, бегущий от Шамира к Крав- чуку. И надо выбрать позицию, с кем, мол, мы, мастера культуры, — с клюшкой или Кравчуком?

А так хочется быть ни с кем. Так хочется быть самим по себе и разделять только свое частное мнение.

Но это только кажется, что так можно. Нас качает совко- вое или — или. Мы больны одинарностью мышления. Хоро- шо, это я больна. Не обобщаю. Но Израиль вовсе не соби- рался помочь мне выбрать позицию. Он оказался всяким, разнообразным, противоречивым. В нем всего было до фи- га — от декоративно красивых овощей до снобистской спе- си эмигрантов семидесятых. От полного раздрая сегодняш- них олимпов до величайшего покоя сердцевины Иерусалима, в котором я — элементарная частица человечества — ощу-

тила собственное начало, собственный конец и собственную бесконечность. «Как?» — спросите. А я знаю, как? Просто стояла на Храмовой горе, на которой сроду не была, и точно знала, что была здесь, и белокаменный город — часть моей жизни, но и я — поди ж ты — часть его жизни, и у нас общее атомно-молекулярное строение, так это же и дурак — скажете вы — знает, но я ведь не про те атомы, которые в микроскопе, я про другие, из какой-то совсем другой физики... Что делать, если именно тут я шкурой поняла, что никуда отсюда не денусь, даже когда уеду, и так глупо, так бездарно выяснять отношения в бесконечности, дурее дела нет. И пришла простая, как мычание, мысль: все существует одновременно и навсегда.

И Храмовая гора — всехняя. Она — средостение. Она — каино-авелева.

— Це ж надо! — слышу я с небес голос и смех моей бабушки-украинки. — Це ж надо! Мои праправнуки — в Палестинах! Треба за нумы доглядаты. Земля, Галуся, маленька-маленька... А люды таки дурни... Звидциля це дуже видно.

...И тут закричал муэдзин...

...И вздохнули трубы католического органа.

...И ударили православные колокола.

...И, не сгибаясь даже перед Богом, забормотали евреи свою молитву.

...И нечеловечески красиво пошли по крестному пути Иисуса Христа францисканцы.

...И восемьсот лет знаменитая семья мусульман гордо смотрела на это, ибо она рано-рано встала, чтоб открыть Храм Гроба Господня. А я и не знала, что есть такой гениальный способ окончания идеологических распрей — отдать врагу ключи от святыни, за которую столько лет бились в крестовых войнах. Оказалось — нет у христианина лучшего хранителя, чем мусульманин с ключами от Храма. Господи! Как просто! За восемьсот лет он ни разу не опоздал открыть дверь.

...И любопытные американцы свешивали головы в раскопы Иерусалима, громко удивляясь тому, сколько эпох и времен ушло под землю, а мы все еще как дети...

...И в экстатической молитве застыли над этими же глупинами паломники-японцы...

...И мальчик-араб — ровесник моего внука — предлагал сфотографироваться на верблюде.

А Бог был один на всех, он слушал нас, слышал, и он нас жалел.

— Я тебя никогда не забуду, — сказал мне внук.

Пожалуйста, не забудь, не забудь... Не забудь.

ЁКЭЛЭМЭНЭ

...Она просто умирает от любви. Так и говорит себе: «Ой, я умираю». Из всех ощущений, которые накопились у нее за жизнь, это ни на что не похоже. Оно как бы и не от жизни. Значит, от смерти? Потому и «ой, я умираю»? В ней все комом. И ком ее распирает, но совсем не так — распирает и больно. Конечно, и больно тоже. Есть это ощущение. Но не оно главное. Главное... Ну, конечно, главное — ой, я умираю... Но одновременно и счастье... Одновременно и счастье... Да! Именно. Она нюхает халат, к которому притулилась. Прихватывает его губами, ртом... Махра есть махра. Отодвинулась от нее даже, потому что сбила ее с толку дура матерчатая. Хотя все ее вещи она давно перецеловала. Украдкой, тайком, это, конечно, не удовольствие, какое удовольствие прикоснуться губами к хозяйственной сумке. Это куда больше. Вот это больше она всегда ощущает. Это больше. Она ударила себя туда, где обретаются все наши ощущения, чувства, она звезданула эту дерзость — думать о ее махре просто как о махре, которая существует как бы сама собой. Как ты смела, дрянь? Хорошо, что явилась умная мысль: когда она рядом, живая, теплая и прекрасная, ее вещи «меркнут и гаснут», куда им в сравнение... Господи, конечно же! Вон она какая! Через тонкий полиэтилен банной занавески. Розовая, белая, горячая. Как снуют ее руки, сверху вниз, сверху вниз, как бьется об нее красавица струя, как отлетают неудачницы капли, которые мимо, и плачут, плачут, стекая по занавеске. То-то,

собаки! Не только мне умирать тут от любви и жевать махру.

— Ну-ка, потри мне спину!

Отдернулся полог. Какая же она! Мамочки мои! Повернулась спиной, сунула в руки намыленную мочалку.

Затряслись руки. Боже, помоги! Вот так, вот так.

— Да ты что? — закричала она. — Как мертвая! (Мертвая, мертвая, все верно, я и есть мертвая.) Ну-ка, сильнее! Еще! Еще!! Еще!!! Во! Дошло наконец!

Дошло. Она даже вспотела. Споласкивала руки и смотрела на капли пота на лбу и под носом. Шмыгнула изо всей силы.

— Не шмыгай носом! Сколько раз тебе говорила. Имей платок!

— Имею, — ответила почти без голоса. Достала и продемонстрировала умение пользоваться платком. А она растиралась полотенцем, и от нее шел пар, и надо было надышаться этим паром, потому что он важнее кислорода, озона, какие там еще составные?

— Из чего состоит пар? — спросила.

— Ну, в твоём возрасте такое надо знать. По-моему, с этого начинается химия...

— Значит, я не была на этом уроке, — в ней зашевелилось — снулое? спунное? — заспатовое, бада, — хамство. — На все ходить — очумеешь.

— Скажите, пожалуйста, киндервуд! — перекинула длиннющие ноги через борт, «наизусть» нашла и сунула ноги в тапочки. Напялила махру. И был-был! — момент, когда горячая голая рука мазнула ее по лицу, и невозможно было удержаться — лизнула.

— Эх! — закричала она. — Ты эти лесбийские штучки брось.

— Какие штучки?

Уже за столом, громко глотая горячий кофе, она объяснила, что это такое.

— Вот так-то, Полина!

— Да знаю я! Я слово не могу запомнить. А людей таких терпеть ненавижу. Я бы их убивала. И мужиков, и баб. У нас в стране, Ольга Сергеевна, очень много гуманизма.

— Что да, то да, — ответила Ольга Сергеевна, с хрустом раскусывая сушку. — У нас этой доброты дурной... А замечено: чем в обществе больше дурной доброты, тем больше слепого зла.

...Полина испытала восторг. Никто из учителей так классно не говорит. Но Ольга! Как печатает. Ни с кем не сравнить. Ходит по классу эта халда-литераторша. Гунявит: «В человеке все должно быть прекрасно...» Посмотрите на нее, люди добрые! Юбка с задницы съехала налево, а она ее смык, смык вверх. Добивается успеха — вылезает из-под юбки комбине. Еще то комбине! Оборванное кружево тут же цепляется за пряжку на сапоге. Сапоги — это вообще полный обвал. Каблуки так изогнулись назад, что это уже нечто. Молния застегнута до середины, а из середины торчит мужской носок хэбэ. И эта крокодила, на которую в одетом виде стыдней смотреть, чем на голую, пишет: «И лицо, и тело, и душа, и мысли». Полина однажды встала на уроке и спросила: «Можно выйти сблевать?» Все грохнули, а до этой не дошло. Стала приставать, что Полина ела. «О господи! — сказала Полина. — Да я беременная!» Тут уж все легли, потому что только накануне девчонок пропускали через гинеколога. И Полина попала в тот список, который вела завуч: «Девочки». А медсестре достался более важный, секретный. На букву «Ж». Как раз при Полине было. Завуч — медсестре: «Закамуфлируйте как-нибудь иначе. Нечего такое обнародовать». — «Ну, как? — спросила медсестра. — Девочки и женщины. Грамотно?» — «Напишите — НД. А я поставлю одно Д». Так вот, Полина была Д.

— Целка, — сказала она, выходя из кабинета.

— Ну, ты даешь! — засмеялись девчонки.

— Наоборот! — сказала Полина.

А тут: я беременная. Литераторшу закачало на кривых каблуках. Схватилась рукой за стул, аж до синих пальцев. Полина гордо хлопнула дверью и пошла искать по школе, где звенит голос ее богини, ее красавицы, Ольги Сергеевны. Нашла и легла под дверью. Ей все время хочется сделать во имя Ольги что-то унижительное для себя. Лечь вот так под дверь, лизнуть сапог, дать себя пнуть. И не дура По-

лина, чтоб не понимать — вот как я перед ней стелюсь. Но шутка в том, что ей это даже интересно — вон она какая, оказывается, ручная, прям тащится от этой бабы... Бывает же такое... «Была б я себе матерью, — думает Полина, — я б начистила свою собственную морду. Гордость же теряю! Плавлюсь, и не при какой-нибудь тыще градусов, при тыще плавятся все, а, можно сказать, при полном нуле». Полина лежит под дверью и самоистязается, можно сказать, с удовольствием. Ну, какая же человек дрянь! Ну, какая же он мразь! Но с такой собой ей интересно, а до Ольги временами хотелось удавиться. Что останавливало? А язык наружу! И говорят — мочишься. Ну? Лучше куковать на этом дерьмовом свете, чем такой вид.

Свистело Полине в бок будь здоров, потому что такого, чтоб не открыть форточку на уроке, у Ольги не было. Хоть изойдись чихом и соплями — не закроет.

— Сквозняки придумали трусы. Самые последние из них. Которые не только всего боятся, но даже воздуха. Его движения. Настоящий же человек испытывает наслаждение от его потоков, идущих сквозь и вокруг него.

Полина лежала на полу и ощущала, как застывали и кочнели бронхи, она это видела, как на фотографии. Кудрявые нежные веточки индевели от холода и мертвели. «Ага! — злорадно думала Полина. — Мы приближаемся к бронхиту. Мы к коммунизму на пути...» Коммунизм — это воспаление легких, дорогие товарищи, это месяц лежмя лежи. Пять раз у нее было. Но она никогда не лежит. Просто она не ходит в школу. Гуляет себе, если до тридцати восьми. Идет куда хочет. В тот раз Полина вскочила как ошпаренная. Это раньше было так. Раньше! Сейчас все главное в ее жизни — в школе. Ольга. И нельзя пропустить ни дня. Кроме четверга. В четверг Полину кружит возле Ольгиного дома. Но это только послезавтра.

Полина встала и пошла в буфет. Выпила мутного липкого компота. Увидела, как грудью закрывали от нее свою еду учителя, у которых было «окно». Не могла удержаться, что-

бы не отомстить за эти груди-стены, заглянула им в тарелки через голову: «Ну, что ты, Куциянова, вечно подглядываешь?»

«Давненько, давненько не видала я, — сказала убудочным голосом, — сосисок...» — «Зина, дайте Куцияновой сосиски». — «Здрасте вам! Откуда? Они у меня все как одна на педагога насчитаны». — «Да хавайте! — великодушно сказала Полина. — Вам силы для борьбы нужней. И к смерти вы все-таки ближе меня». И ушла гордо.

Нет, что ни говори, а самое дорогое у неимущего и бесправного — это сказать, как расстрелять. Всегда надо иметь слово под языком.

...Хрустят на Ольгиных зубах сушки. Хрум-хрум...

— Ну, у вас и зубы! — восхищенно говорит Полина. — Молотилка!

— Ты удивительная хамка! — засмеялась Ольга Сергеевна. — Но я тебе скажу... Хамство — признак бесхарактерности. Человек волевой, знающий цель, никогда до этого не опустится. А ты, моя дорогая, дерьмо в проруби...

— А чего вы обзываетесь? — Полину всю заколотило. Конечно, это Ольга. Ей можно. Ей всё можно. Но и нельзя тоже. Когда она была маленькая, совсем маленькая дура, и еще любила мать, то даже ей она такого не спускала. Она и укусить тогда могла, и ударить, и грохнуть чем-нибудь бьющимся оземь. Мать даже к бабке ее водила. Та сказала — некрещеная, какой с ребенка спрос? Мать возмутилась — я тоже некрещеная, но понятия же у меня есть! Нет и у тебя понятия — бабка была еще та, языкатая будь здоров — раз сама не крестилась и дитя не крестила, то в душе у тебя одна дурь и мерзость. Сейчас такими кишмя кишит, от этого безрукие и безголовые. И ничего хорошего не будет, потому что заслужили это, а не другое.

Мать серьезно задумалась — а не покреститься ли им вместе, но как задумалась, так и раздумалась. Когда ей? У нее что — время на это есть? Она всю жизнь вкалывает в ночь в цехе доставки газет. Она их пакует. Приходит утром черная, с отвисшими руками, и иногда даже платье не снимет, так и бухается на кровать. Когда Полина еще любила

мать, она всегда ее прикрывала сверху байковым одеялом. Мать брыкалась, ей, одетой, было жарко, но Полина все равно одеяло присмыкивала, потому что вид у матери был стыдный, колготки драные, перекрученные, ноготь на большом пальце торчал желтый, несостригаемый, роготь, одним словом. «Убери свои рогти», — говорила ей.

Но это уже был тот период, когда поняла, что она никого не любит. И мать тоже. Халда... Для чего родилась? Для чего? Ни денег, ни счастья, ни питания, ни одежды. Хронические болезни и черный рот. Гады, гады, гады... Любимое слово. «А сама?» — скажет ей Полина и хлопнет дверью.

«А пошли вы...» Это уже подружкам. Им веры с детства не было. Эти сучки могли запросто заложить и учителям, и родителям. Попробовала прибиться к другому берегу — написала отцу, которого, честно говоря, и не помнила. От матери знала: был, мол, такой законный, был и есть. Алименты шлет. Но хорошего слова она про него не скажет. Нет. Подлец подлецом. Когда Полина поняла, что никого — абсолютно! — не то что не любить, а без отвращения смотреть не может — все хари-харьские! — она написала отцу. Так, мол, и так. Я ваша дочь Полина. Мне интересно, как вы живете, а вам? Он ей ответил сразу, она даже по почерку поняла это его сразу, в момент — буквы были как бы горячие, они, можно сказать, пламенели, сгорев на концах стыков. Получилось письмо из одних отдельных букв, корчившихся в предсмертном огне.

«Наши отношения раз и навсегда определены эсэсэсэром. Никакого интереса к твоей жизни нет и быть не может. Можешь забыть адрес, фамилию и имя-отчество. Повторится — приеду и набью морду, тебе и твоей матери».

Такое вот любовное письмо. До этого Полина особенно не задумывалась, любят ее или нет? Сама никого не любила, и это ее состояние «а пошли вы» ей нравилось. Ведь благодаря ему она от детского страха за мать избавилась — вдруг та умрет? Она же помнит, как до падучей ревела, если мать забирала ее поздно из садика. Мать приходила и при воспитательнице, при всех лупила ее за это: «Ты что это позволяешь себе, засранка? Да что у матери твоей, гульки? В очере-

ди стояла как проклятая, для тебя же, заразы». Когда же в прошлом году мать слегла в больницу с двусторонней пневмонией, Полина не только не испугалась, а, наоборот, подумала — кайф, везуха! И купила на оставленные на жизнь деньги двухцветную ветровку, которую у матери даже просить не смела. Бесплезно. Ничего, никогда мать ей не покупала из того, что ей хотелось. Смешно сказать, но Полина — наверное, последний человек на шарике — носила чулки с круглыми резинками, потому что, по мнению матери, на колготки надо заработать самой. Три с полтиной на три дня, это же сколько получается в месяц?

Полина мечтала кончить школу и идти в торговлю. Хоть в какую. И на вонючую квашеную капусту, и на скрепки и кнопки. Неважно, они все там друг с дружкой повязаны. Главное, туда попасть, а там — ныряй-выныривай, как жизнь подскажет.

А тут возьми и свались на голову Ольга. Пришла вместо ушедшей в декрет исторички.

Пришла на урок, и все зазвенело. От ее голоса. Такой весь громкий, четкий, веселый, с подначкой:

— Человек, — сказала, — живет в истории и в географии. По географии он передвигается, поэтому неплохо бы знать, что слева, а что справа, то есть, что на западе, а что на востоке. По истории человек тоже передвигается — из вчера в сегодня. Также неплохо соображать, что волочится за ним из прошлого и что бывает желательно топориком — чик! — и отрубить. Этот чик, дети мои, называется моментом революции.

Полный обвал, а не уроки. Чик — и отрубить — это они недели две повторяли. Или...

— История шьется, плетется, вяжется, варится каждую секунду. Что-то ежесекундно умирает, а что-то ежесекундно крепнет. Надо простому человеку знать заранее — куда ему, бедолаге, притулиться? Чтоб его ненароком не разнесло вместе с историческим процессом? Надо! И это очень просто. Будь там, где самые главные силы варева. А они, дети мои, с пролетариатом. Он всегда главный в направлении движения. Он — стрела движения.

И мелом, так, что трещит доска и отлетают белые комочки, Ольга чертит прямую. Она у нее идеальная. Без всякой там линейки. Однажды после урока она дернула Полину за рукав.

— Эй! — сказала. — Как тебя там? Обдуй с меня чертов мел!

Вот тут все и началось. Господи! Да она готова была заниматься этим всю жизнь. Сдувать с нее пылинки. С красавицы. Умницы. Богини. Она даже к матери своей — пролетариату — стала относиться лучше. И мать ей в благодарность решила дать совет: «Ты, Поля, учись и дальше, хоть в каком институте, я еще лет пять ради этого потяну лямку... Десять классов сейчас — тьфу! Дебилы его только не имеют...»

Лучше б она молчала. Эта старая идиотка от пролетариата. Советы имеют право давать только те, у которых самих хоть что-то получилось. Остальным, даже умным-разумным по голове, но в жизни которые ни рыба ни мясо, рот надо зашить суровой ниткой. Чтоб не колыхали воздух. Теория без практики мертва. Это сказала Ольга. Но это уже не имело принципиального значения для Полины, что там она говорила. Полина уже все. Кончилась. Она вся пропиталась любовью к Ольге, она ходила и оставляла за собой повсюду следы своей любви. Она обтоптала этими следами вокруг весь Ольгин дом, и подъезд, и лестницу, и лифт, и деревенский половичок под дверь. И добилась — следы пробили путь. Ольга, она ведь к ученикам без слюней, она им всем запросто и на «ты», и пошел подальше. У нее без этих воспитательных моментов. «Человек рождается или Человеком с большой буквы, или дрянью. Третьего не надо. Я вас не знаю. Вы мне нечаянно обломились. На всякий случай, чтоб мне не разочароваться, я буду считать вас дрянью. Ну! Ну! Ну! Спокойненько! А постепенно я вас расслою на составные. И от вас будет зависеть, кто куда попадет...»

Многие ее невзлюбили. Да как она смеет? Да кто она такая? Это не учительница, а нечто. А Полина сказала: «Именно. Нечто. Она единственная. И правильно она нас... С чего

бы это ни за что любить? Что мы, иисусики какие? Мы действительно сволочи будь здоров».

Кто-то из родителей написал на Ольгу в капээсэсию. Несколько дней та ходила мрачная и чуть-чуть посвистывала, выдувала из себя презрение. Полина тогда готова была своими руками задушить того стукача. Но все как-то само собой стихло. Ольга — во человек! — мстить никому не стала, посвистела-посвистела птичка, и стала сама собой.

А сейчас отношения с Ольгой у нее просто не в сказке сказать. «Киска, сбегай за молочком». «Киска, слабо в химчистку?»

Полина заметила — она стала какая-то странно большая. Как будто разломались в ней перегородки и возник просторный солнечный зал и — во хохма! — она, имея его внутри, одновременно находится снаружи. Она как бы сама в себя завернулась, но это словами не сказать, это надо чувствовать, как радостно пробежаться с ветерком внутри себя самой, находясь в этот момент в скрюченном состоянии на подушке дивана, и какое наслаждение быть скрюченно-легко-бегущей и даже взлетать ого-го куда! И не брать на ум задвинутый в угол диванчик-коротышку, купленный ей сразу после младенческой кровати с сеткой, на котором — диванчике, — как ей сказала мать, ей жить до замужа, потому что откуда ей, матери, взять деньги на другое? Получила от отца письмо, поняла, какая он сволочь? Так чего ты от меня ждешь? Я и так отдала тебе все свои соки, а думаешь, жду спасибо? Ты в отца пошла, ты тоже сволочью будешь скорей всего, я на тебя смотрю, поражаюсь только, как это в природе передается... Мать может так целый вечер — бу-бубу! — не переставая, а Полине — по фигу. Она бегает, летает, скачет внутри себя. Ей хорошо. В ней — счастье.

Это совпало со временем, когда у них все девчонки, как одна, решили: хватит цацкаться с этим так называемым детством, какая от него радость, сплошная бреховщина, и пора идти в следующий жизненный разряд; конечно, радости там тоже еще те, забеременеть можно, да и вообще, где и с кем, но все равно ведь надо куда-то двигаться, шевелить ножками, другой, что ли, есть путь у пионерки — как в комсомол-

ки? Ха-ха, конечно! Полина хорошо помнила вожатого в лагере, который именно с этими словами «хочешь быть комсомолкой?» заламывал ей руки и валил на стол, а она, всего ничего, пришла к нему за честной рекомендацией, у нее тогда, у малолетки, был зуд общественной работы, и она до тошнотворности еще блюла какие-то там правила юного пионера. Уж очень он был противен в этот момент — вожатый, мокроногая сволочь, пришлось садануть его ногой, удачно, между прочим, саданула, ходил несколько дней пополам согнутый, а потом загремел в больницу, но ведь не скажешь, что было?! Не скажешь... Он объяснял, что в темноте напоролся на угол теннисного стола! Как же, как же... Сразу ввинтили на спортплощадке лампочку, а она была специально разбита, потому что какой идиот играет в настольный теннис ночью, у них по вечерам был другой пинг-понг, у всей их вожатенькой молодежи и подрастающей пионерии. Полинин удар ногой резко поднял вверх уровень лагерной нравственности, и не всех тогда пионеров старшего отряда успели заломати, как ту дуру-березу, хотя с березой, конечно, не так, там наоборот, некому, мол, заломати дуру, некому зашипати, тут было кому, целый строй, но ярко горела лампочка Ильича в двести свечей. И — всё. И порядок. Как в песне, не знаю какой.

Вот почему — как все в жизни причудливо связано? просто блеск! — массовый переход в их школе Д в НД Полину не достал. «Еще чего!» — брезгливо сказала она в разговоре в уборной с одной подругой не подругой, так, вместе за партой сидели. Подруга была из дур дура, поэтому ее корявое описание новых познаний утвердило Полину в мысли, что, конечно, нельзя в жизни зарекаться, не такая она, чтоб поклясться там или расписаться кровью, но пока ей на это тьфу!

Вот какая самостоятельно мыслящая девушка сидела сейчас у Ольги и думала о том, что надо бы ей вымыть Ольге окна. Что она в жизни не выносит — так это грязное стекло. Она и в трамвае-автобусе сразу слюнит палец и протирает себе дырочку, в которую жизнь впрямую видна, а не через потеки, и брызги, и пятна. У нее просто мания, чтоб стекло

как стекло. Блестело. Она дома все стаканы тонкие подавила, трет их, трет, а они — хрясь...

Вымоет Ольге окна. Это ерунда, конечно, если считать, что она может и хочет для нее сделать вообще. Она будет любить ее всегда. До ее, Ольгиной, старости и болезни. Прищучит же ее, красавицу, когда-нибудь, всех прищучивает. Вот тогда Полина и окажется тут как тут. Она и умоет ее, и горшок за ней вынесет без всякого. «А ну, садись! — крикнет она ей, слабой. — Нашла чего стесняться, нормальный же процесс! Что я вам, чужая?»

Обязательно хотелось когда-нибудь произнести эти слова и этим самым как бы определить навсегда сущность отношений. А что, если сейчас попробовать? И Полина подвинула на самый кончик языка это слово — не чужая. Лизнула его, мокрое и слабое...

— Чего язык высунула? — засмеялась Ольга. — Какой он у тебя, оказывается, длинный! Как у змеюки.

Юркнул язык за зубы с прилипшим к нему словом, аж задрожал от обиды, а Ольга поднялась, хрустнула всеми костями, сладко так, себе в удовольствие, и сказала-пропела вразтяжку:

— Ну? Погостилась? А теперь смывайся, киска, у меня свидание. И чтоб темп у меня — быстрый!

Закаменела Полина. У нее рука, что локтем на столе стояла, забетонировалась намертво, как у какой-нибудь девушки с веслом. Она ею пошевелить хотела — и не может. Палец большой торчком встал, страшненький такой, с криво откусанным ногтем.

У Ольги же никого не было! Никого! Это было то самое, что не просто интересовало Полину, а было наиглавнейшим в ее страдании — счастье. Потому что возникало сразу два взаимоисключающих вопроса-суждения. Как здоровски, что Ольга одна и Полина может сколько угодно крутиться рядом, и никто ей другой, тоже заинтересованный в Ольге, не скажет: «А пошла ты... Сгинь!» С другой же стороны, посмотреть на тех, кто замужем или гуляет, разве можно сравнить их с Ольгой? Все ублюдочные! Все! Полина устраивала эксперимент. Шла по улице и ставила всем очки, как в фи-

гурном катании, где шесть выше всего. И что же? Ни одна из молодых женщин, что до тридцатника, выше четырех баллов у нее не заработала. Ольге же она ставила не просто шесть, а двенадцать. Два раза по шесть. Мужчины же вообще были не считовы. Не годились совсем! Не было ей ровни. Если уж ставить цель — мол, кто? Кто? То с натяжкой — без своих баб и детей, конечно, — годились Абдулов и Кинчев. Можно, во всяком случае, поговорить на тему. Но ведь они актеры! Какой у них ум? То-то... Так что Ольга одна потому, что кого в Европе поставить рядом? Некого...

— Какое свидание? — тупо спросила девушка с веслом.

— С мужчиной, девонька, — засмеялась Ольга. — С очень даже мужчиной... И ты у меня сейчас слиняешь быстро-быстро. Потому что времени у нас с ним в обрез. Возьми с собой сушки, иди грызи и пожелай мне удачи в этом мероприятии.

А тут и звонок в дверь раздался, и Ольга с места как ветром сдуло, вот она еще только что стояла рядом и протягивала Полине сушки, бормоча какие-то слова, а тут она уже у двери — как пролетела, именно пролетела, поясочек халата за ней не поспел, завис на ручке холодильника.

Помните, что Полина забетонировалась? Не могла она встать с места, не могла. И голову повернуть не могла, затылком слушала, как шелестит и шуршит в коридоре.

— Полина! Сгинь, пока я дверь не закрыла, слышишь?

И крепкая рука взяла ее за хвост и довольно сильно дернула. Чего-чего, а вот прикосновения к волосам Полина не терпела. Поэтому и носила патлы в резиночке, чтоб лишний раз не идти в парикмахерскую. Откуда это знать Ольге, тащит, как собаку на поводке, развернула ее к тому, который шуршал и шелестел. И гнет ей голову, гнет.

— Одна из моих кобыл, — сказала Ольга.

Ну, почему она не выпускает ей волосы? Ну, почему она не понимает, что так не надо с Полиной? Даже ей...

Дернулась, но разве из рук Ольги вывернешься? Пришлось стоять, склонив по-рабы голову, стоять и видеть перед собой тугие вареные джинсы Ольгиного гостя. Ничего джинсики, самое то, и внутри, наверное, тоже все в поряд-

ке, хороший такой бугор был в обзоре. Ольга так и не выпустила волосы из рук, пока не вывела Полину за порог. Держала больно, Полина чувствовала, как вспухает у нее на голове кожа. «Кыш, киска, кыш!»

Халатик-то у Ольги без пояса, ножки белые аж подрагивают в нетерпении. Щелкнул замок, раздался за дверь визг и писк и мало ли что...

Полина сняла с волос резинку и стала трясти волосами, туда-сюда голову, вверх-вниз, вперед-назад. Боже, как ей было противно! Как было больно! Надо было что-то сделать, чтобы прошло это ощущение в волосах. Это же кошмар какой-то, такого же с ней никто никогда не смел. О господи! Так и пошла вниз по лестнице, забыв о лифте. Шла и трясла головой, ничего в ней не было, ни одной мысли, зато каждая волосина ее кричала: встречу сейчас кого-нибудь — убью.

Это продолжалось уже ровно двадцать семь дней, но последние четыре были совсем страшные. Она стала держать дверь открытой, выходила ночью в темную подворотню и стояла там напоказ неизвестно сколько — и ничего. Никакого грабителя-убийцы, хулигана-бандита. Конечно, что с нее взять? Кого она может соблазнить? Но ведь столько случаев, когда и нечего, и нечем, а все равно нападают и убивают. Она молит Бога о таком случае. Самой ей с собой ничего не сделать. Это уже проверено трижды. Ни повеситься, ни вскрыть вены, ни даже такой, казалось бы, простой вещи, как отравиться, она не может. Невероятно, откуда в ней такой инстинкт жизни при полном нежелании жить? Как это вообще сочетается вместе?

Она с детства боялась этого числа — сорок девять. В сорок девять умерла ее мать, ей было тогда четырнадцать. А когда ей было семь — семью семь сорок девять, — в сорок девятом расстреляли ее отца. Сорок девять — это тринадцать, если сложить цифры. Когда ее сыну исполнилось тринадцать, он умер от перитонита. На свое сорокадевятилетие она — чтобы победить судьбу — устроила ужин в ресторане, купила длинное шелковое голубое платье, обвеша-

лась амулетами, всеми, которые накопила за жизнь, все говорили, что выглядела она — как никогда.

А никогда она выглядит плохо, это чистая правда.

Нет в ней ни красоты, ни изюминки, ни стати. Но тогда она это сплошное «не» победила. Ее удачно завили. Главное — прикрыли уши. Уши у нее большие. Хорошей формы, но большие. Неудобная часть головы. Трудно ее подвергнуть скрытию. Начесываешь, начесываешь волосы, бац — пробились к свету вареники.

Так вот. На сорокадевятилетии за соседним столом в ресторане сидела женщина и пила себе компот. Одна и компот. Как-то это выбивалось из ресторанной обстановки. И ее стол решил привлечь эту обездоленную в свою компанию. Такой был порыв. Та категорически отказалась, даже грубо. Типа — идите к черту.

А через полтора месяца муж сказал: «Извини, Зоя... После смерти Мити надо было сразу уйти, но мне тебя жалко было... А сейчас — край. Я ведь тоже не мальчик, что у меня осталось? А женщина, что называется, моя по всем параметрам. Да ты ее видела. Помнишь, она не захотела к нам присоединиться на твоём дне рождения?» Стала задавать идиотские вопросы — знал ли он ее «до компота»?

— Да нет, конечно! Потом по работе столкнулись, стали вспоминать, где видели друг друга, где? Ты, Зоя, не обижайся и живи дальше. Не такая я тебе потеря. Я и грубый, и неаккуратный, и разговаривать с тобой не умею. Ну, дышал рядом и дышал... Заведи собаку...

— Какой есть... Я не в претензии...

— Ну, не знаю... В общем — все... Говорить не о чем...

Жизнь ударила в место незащищенное. Как и тогда — смерть Митеньки. И как раньше — смерть мамы. И еще раньше — папы. А она ведь давно и упорно строит защиту от случайной именно смерти. Никаких грибов с рынка, все анализы вовремя, и кальсоны мужу зимой обязательны в ношении, и молитва при гололеде и гриппе, и валидол всегда под рукой, и кипяченая вода, и никаких опасных речей по поводу «этой жизни» со случайными людьми, это ведь те-

перь на каждом шагу. Несут и в хвост и в гриву, как будто у нас нет нашей истории.

Всегда была полная уверенность, что в чем, в чем, а в муже ей повезло по-настоящему. Они, что называется, два сапога. Некрасивые, неудачливые, скучные, бедные, заранее на все согласные, пережившие вместе такое горе, ну, какой еще запас прочности надо вложить в семью? Конечно, вы скажете, любовь! Но это и есть любовь! Когда вместе столько лет столуешься. Стала бы она думать о тех же кальсонах хэбэ, и о шерстяных носках, и о валидоле для постороннего. Ну, подумайте!

Муж ушел резко и категорично. Как бы не он. Не обсуждая проблему, но главное — абсолютно не желая вникать. Что будет с ней? Живи, сказал, с собакой.

Мгновенное его исчезновение — был — не стало — конечно, было сравнимо со смертью, — с чем же еще? — но в то же время было во сто крат хуже. Зоя говорила — мне есть с чем сравнивать. С Митей, с мамой, — папина смерть проходила в чувствовании иначе — все в смерти до кошмара, до ужаса определено. Кричи не кричи в гроб, на какой ответ рассчитываешь? Тут же Зоя знала, что вполне можно получить ответ. И она, как идиотка, — хотя почему идиотка, если ответ нужен позарез, если без ответа просто не хватает кислорода, или ответ, или смерть, это просто самозащита, а не идиотизм — стала задавать мужу вопросы, подавлявая его по дороге с работы и на нее, подстраиваясь к нему в очереди магазина.

— Володя, — говорила она. — Я же не против... Я же не скандалю, но скажи мне... Можно так, чтобы ты приходил ко мне и мы с тобой разговаривали, и я могла бы что-то иголкой... Ради бога! Я не имею в виду что-то другое... Ты знаешь, мне это и смолоду не очень было нужно... Потом, есть подавляющие таблетки. Не беспокойся, я выпишу.

Она не могла понять, почему он свирепел. Он же такой, в сущности, смирный, сговорчивый: давай перейдем больше на капусту, чем на картошку (они оба жуткие картошечники, в смысле картофелефилы, в любом ее виде), но он спокойно так пошел на капусту. А тут, на такие ее вполне доб-

рожелательные слова — я могу и с ней подружиться, она мне тогда показалась вполне порядочной, в ресторане все выпивают, а она — компот. А у мужа — бывшего уже — начинают трястись пальцы, ну, как при Паркинсоне. И тихо так, чтоб посторонние не слышали, из него идет мат. Она с ним двадцать один год прожила — ни разу! И не то чтоб запрещенные литературой слова, а даже те, которые вполне выборочно можно, которые даже художественная литература допускает... Он — нет! Он их не употреблял даже в близком быту. Тут же из него шел весь набор от матери до нехорошей женщины со всеми их половыми органами. «Володя! — оторопела Зоя. — Ты же унижаешь себя!» После этого она даже заболела. Надо сказать, что, хотя в ресторан на день рождения набралось семнадцать человек, после их развода людей вокруг нее не оказалось. Нет, никто не эмигрировал, не умер, не парализовался, все были живы и на месте, но чтоб прийти и сказать ей: «Зоя! Успокойся! Он не стоит тебя! Ты подумай, сколько в жизни прекрасного — природа, музыка, классическая литература. У тебя это есть, а он этого лишился, потому что лишился тебя». Да разве мало хороших слов, которые можно сказать в беде хорошему человеку? Случись с кем другим, разве она не побежала бы?

Но тут Зоя вспоминала, что был такой случай в ее жизни. Был! Расходилась ее подруга. И Зоя тогда на помощь не разбежалась. Наоборот, было у нее такое стремление — не попадаться подруге на глаза. Боялась: «Что я ей скажу, что?» Классическая литература там или музыка на ум тогда не шли. А вот сейчас ей очень хотелось, чтоб ее в нее (в классику) ткнули. Потому что самой ей трудно — взяла в руки замечательное по смыслу сочинение, — хотя и без особой любви, это намеренно — «Обломов», и никакого впечатления. Просто мимо, и все. Ну, чем ей эта деревня Обломовка могла помочь, чем? Сунулась в Тургенева — опять же, чтоб не было любви, чтоб не тревожиться — в «Записки охотника». Сочинение, каких мало, а может, и вообще нет в других литературах мира, тоже не пошло. До детективов она

опуститься не могла, эта твердость против дешевки в ней с юности.

А четыре дня тому назад бывший муж Володя в присутствии своей новой жены побил ее, заведя за угол молочного магазина. Самое обидное в этом было именно ее присутствие. Другой жены. Как она стояла на стреме — эта женщина-компот! Джинсы в сапоги, крашенный кролик — полупальтишко, красная шапочка крученой вязки... Очень, очень средний вид. Конечно, Зоя из себя — тоже ничего особенного. Но этой солдатской манеры в их возрасте (той ведь тоже уже за сорок) — штаны в сапоги — она на дух не терпит. У нее английский стиль — удлинненная приталенность и детали в тон. Пальто у нее серое, к нему шапочку тонкой вязки можно позволить темно-зеленую, почти бутылочную, и хотя красное с серым тоже сочетаются, но имей ум! При такой сети морщин на поверхности лица и землистости кожи! Но «красная шапка» — без всяких сомнений относительно своего вида — стала на стреме, а Володя, вцепившись Зое в шарф, тряс ее с такой силой, что она даже удивилась — какой он, оказывается, сильный мужчина. А потом он зачем-то ударил ее кулаком по голове, совсем уж глупо с его стороны, потому что, если бьешь по голове — человеческому центру, — то убей, иначе какой смысл? Тут же вообще дикая вещь. Он ее бьет, а «шапочка» дает ему указания — смотри, мол, не убей! Где логика? Потом они ушли. Спокойно так, взяли и ушли за поворот. Зоя хотела побежать следом и логически объясниться по-хорошему, но, наверное, от кулака ее стошнило. Она едва-едва, по стеночке добралась домой, и ей было очень плохо, очень, но она никуда не обращалась — ни на «Скорую», ни к соседям, зато посчитала важным позвонить Володе и пусть слабеющим голосом, но сказать, как он дошел до жизни такой, сначала до нецензурного мата, потом рукоприкладства, следующее у него что — окончательное убийство? И Володя ей ответил четко: «Да!! Я тебя, суку драную, убью, если еще хоть раз услышу». А «красная шапочка»хватила у него трубку и закричала: «Слушайте, вы! Тварь! У вас есть совесть или какие-

нибудь соображающие органы? Или вы безусловная чурка с глазами? Как вас только земля на себе держит?»

Тут она была глубоко не права. Земля Зою не держала. И как только Зоя это поняла, она, будучи человеком гордым, твердо решила, что надо уходить с этой земли навсегда. Она еще слегка, чуть-чуть позондировала почву на работе, у подруг, ну, чтоб окончательно понять и убедиться, что никто, просто ни один человек, не заинтересован в ее пребывании среди живых. «Ноль баллов в мою пользу», — сказала себе Зоя и стала думать, как...

И выяснилось, что никак. Тогда она и стала торчать ночью в подворотне. Никто! Ни один не польстился на ее жизнь. С другой же стороны, была вера в свои роковые сорок девять. Они у нее не случайны. Это должен быть конец. Черта. Тогда зачем тянуть? Разве ей есть о чем пожалеть? Зоя села в кухне, и пока крутилась стиральная машина — она теперь стирала каждый день в расчете на то, что, когда потом придут к ней *после ее жизни* в дом люди, они не обнаружат у нее ни намека на грязь и скажут, сожалея о ней: «Смотрите, у нее ни одной выгвазданной тряпки. Какая, оказывается, эта бывшая женщина была чистотка. Какие белоснежные у нее, хоть и старенькие, простыни. Это вам не из госпрачечной, где все крутится общим комом. У покойницы было на этот счет понятие». Так вот, сначала... Пока крутилась стиральная машина, Зоя на обложке тетради с рецептами быстрых блюд подводила итоги: «Счастье в моей жизни. Первое...»

Она думала, что рука ее тут же напишет — Митя. Сын. Ребенок. Но Митя исхитрился умереть от перитонита в тринадцать лет, и потому счастьем в жизни уже не мог быть. Как начнешь вспоминать живого и тепленького, если все перекрыло его гробовое лицо? Конечно, можно было написать — Володя, потому что был же у них разный там первый поцелуй и свидания под часами, как у людей в Париже, но это все, как гробовое лицо Мити, перекрыла встреча за углом молочного магазина, и то, как он вцепился ей в шарф, и холодные его пальцы обожгли ей шею, и то, как он ее тряс, как какую-нибудь грушу чужой посадки, и как от трясения

этого возникала у нее внизу стыдная влажность, и она стала бояться, вдруг не удержится совсем. Счастье?! Ну, знаете, надо быть сверхсверхчеловеком, Львом Толстым, Лениным, Станиславским там, чтоб за таким финалом видеть те самые часы на столбе, под которыми она когда-то стояла и ждала. Дождалась, дура?

Зоя подкатывалась к своей жизни и с другой стороны — со стороны общественно-политической. В конце концов, у нас это дело не последнее, если не первое. Совершили мы революцию? Победили мы немцев? Или?! Пусть ей в сорок пятом было три года, это не имеет никакого значения, важно, что благодаря этому она не жила при фашизме! Это же какая краеугольная удача, именно она не подлежит никаким последующим наслоениям в виде встречи за углом молочного магазина. И Зоя твердой рукой под мерный гул стиральной машины вывела на обложке тетради: «Мы победили фашизм». Запись вдохновила, тут-тут! — и следовало копать дальше. Захотелось вписать освоение целины, героическое строительство БАМа, перестройку и мирные инициативы; но Зою накрыла такая тягучая, липкая, безысходная тоска, такое утробное отчаяние, что она не только ничего не написала больше, а и победу над фашизмом грубо вычеркнула, и тетрадь порвала, что было совсем глупо, потому что именно в тетради смысл был, она как раз могла послужить последующим поколениям советских людей, как из ничего, из пустоты делать что-то съедобное. Вот, например, коронный Зоин номер на случай прихода абсолютно неожиданных гостей. Хлеб кусочками чуть-чуть мазнуть майонезом и чуть-чуть посыпать мелким чесночком. И на пять минут в духовку. Съедается мгновенно. Или. Картошка слоем. Потом лук слоем. Столовая ложка тушенки любой жирности (или вчерашнее мясо, или колбаса — тут, правда, добавляется масло) и тоже сверху майонез слегка, намеком. И тоже в духовку до готовности картошки. Годится вчерашняя, отварная, в мундире и без. В смысле скорости это даже лучше. Или... Впрочем, многое уже устарело. Например, быстрые блюда с плавлеными сырками. Или мгновенный пирог из блинной муки, замешенный водой, вымывшей молочную

посуду, со всеми вчерашними объедками. Но Зоя, горячий человек, порвала тетрадь к чертовой матери и сказала: «Всё. Сегодня с этим надо кончать». Была идея балкона — и круто вниз головой. Вот только беспокоил вопрос: давал ли гарантию пятый этаж, правда, высокий? Если четко головой вниз? Не подведет ли ее инстинкт жизни, и не развернется ли тело в процессе свободного полета, и тогда можно хорошо, до дребезга, разломать ноги и остаться жить! Траекторию полета надо обязательно направить посторонней силой. Для этого ей нужен помощник.

Зоя стояла в открытых дверях. Она ждала. Конечно, можно было опуститься вниз и найти какого-нибудь алкаша на улице. И она, конечно, в крайнем случае пойдет, куда денется? Но пять минут она может постоять и подождать в дверях? Пять минут? Может? Посторонний, случайный человек на лестничной площадке — это более неразрешимая задача для милиции, чем приведенный со двора в дом... Зоя думала о чужом алиби и уважала себя за это.

— Девушка! Я прошу у вас милости.

Волосы Полины в тот момент висели как раз на лице, пришлось их как следует тряхнуть, чтоб отлетели. В дверях торчала старая лахудра с патлами во все стороны, почти родная душа, будь ты проклята. И глаз у лахудры был самый тот. Бьющий на жалость. Полина эту категорию побитых жизнью глаз на дух не выносит. От них ей хочется выть самой и убивать их же. Потому что ничем этому глазу не можешь, и лучше его застрелить в зрачок. У них в классе была дискуссия на тему старой больной собаки (бабушки, дедушки). Она тогда возглавила тех, кто говорил: смерть для них гуманней. «Поставь себя на место паралитика, ходящего под себя!» — кричала Полина. «Поставь себя на место стреляющего в такого!» — кричали ей. «Запросто, — отвечала Полина. — Я могу возглавить отряд по спасению людей от безнадежных страданий. СОС». — «ЭСЭС!» — кричали ей. Они почти подрались. Но пришла Ольга. Села боком на стол, носком сапога уперлась в первую парту. Выслушала. Идиоты! Сказала: «Нашли о чем. Молодые? Молодые. Здоровые? Здоровые. Ну, и все. Ну, и вперед. Появятся кон-

крэтные собаки и конкретные старухи — вот и будете решать проблемы по мере их поступления. В каждом случае — конкретно». Так и говорила: конкретно. И рот при этом кривила, чтобы показать, какие они дебилы. Именно! Подумала Полина. Все теории разводят, а надо — конкретно. У нее тоже непроизвольно искривился рот, а Ольга — во реакция! — журналом саданула ее по голове, не сходя с места. Полина, конечно, на ее уроках на первой парте, но прикиньте — длина ноги все-таки и парты. Бац тебе, дура!

— ...Девушка. Я прошу у вас милости. — Это уже лахудра.

— Я не подаю, — грубо ответила Полина. Ляхудра же прямо вылетела из дверного проема и встала поперек. Какие у людей случаются скорости.

— Я вас умоляю зайти. Умоляю. — Она протягивала руки, и Полина увидела бледные большие пальцы, и белые ободки отросших ногтей, под которыми не водилось грязи. Такая степень чистоплотности, на взгляд Полины, только усугубляла выражение глаз. Хотелось сказать грубо и прямо, что ж ты, зараза такая, за ногтями следишь, а жить не умеешь? Что ж ты такая распиз... И так далее, одним словом.

— Да пошла ты, — уже вслух сказала Полина, отпихивая протянутые руки. — Я себе иду, и все. А ты отсохни...

— Но выслушать вы можете? — умоляла Зоя. — Вы мне нужны на одну секунду. Не больше. Секунду. Зайдете и уйдете.

— Вот пристала! — возмутилась Полина. — Больная, что ли?

А ляхудра уже повисла на руке и уже вела Полину мимо кухни, где гудела машина, через комнату, где тошнотворно пахло валерьянкой и лежали на столе прижатые стаканом деньги, вела на балкон, где стояла табуретка и тазик с мокрым бельем.

— Девушка! Милая! Смотрите сюда, — захлебываясь, говорила ляхудра. — Я встану на табуретку... Подыму к веревке руки и потом наклонюсь вниз. Подтолкните меня, милая, я прошу у вас милости. Я боюсь инстинкта жизни. Он у ме-

ня очень сильный. На столе гонорар. Возьмите себе и прихлопните дверь. Вы меня даже не увидите, когда выйдете из дома, у меня окна на север.

— А денег много? — тупо спросила Полина, глядя на стаканчик на столе. Спрашивала и удивлялась — чего это я? Я на деньги не падкая.

— Извините, нет. Сорок рублей. Вы же знаете, сколько стоят теперь похороны. А у меня никого. Ноль.

— И чего это ты решила? — поинтересовалась Полина, отворачиваясь от денег. — Рак?

— Что вы! — испуганно ответила Зоя. — Господь с вами! Я абсолютно... Абсолютно... У меня личное... Не надо вам знать, не надо! Вам ничего про меня знать не надо. — Зоя уже взгромоздилась на табуреточку и теперь раскачивалась на ней, растопыренной и слабой. Большая такая лахудра, тридцать девятый размер ноги, не меньше, стоит и раскачивается, а волосы, что торчат в стороны, легко шевелятся северным ветром. И белые ноги дрожат в притворе халата. Где-то недавно Полина уже видела белые ноги. И они тоже дрожали. Но тогда ей было стыдно, а сейчас противно. И не понять, что хуже.

— Ну, подайте, подайте мне белье! — тонко кричала лахудра. — Пожалуйста, быстро... Это должно получиться легко и естественно.

Пошатываясь на хлипкой табуретке, лахудра бормотала о том, что она, конечно, знает грех убийства и самоубийства, пусть милая, добрая девочка не думает, что это у нее с панталыку, наоборот, все продумано до мелочей, даже грех человека, который ей поможет, она превратила не в грех, она сходила в церковь и тихонько, чтоб никто не видел, сунула записочку за Христово распятие, где черным по белому объяснено и попрошено — не судить и простить, и деньги на храм она бросила в коробочку, и нищим подала, так что у нее, у девушки милосердной, не должно быть сомнений в благородности поступка — слегка толкнуть ее вниз головой.

А у Полины, между прочим, и не было сомнений. Было как раз хорошее из себя отвращение-презрение, которое го-

ворило ей совершенно спокойные слова: тетка эта ничего в жизни не стоит. Она или шиза, или от рождения идиотка по уму, или кретинка по обстоятельствам, или у нее все-таки рак, а раковые в этом не признаются, она наблюдала за одной, так та уже вся изжелтелась и так обтянулась кожей, что могла стать наглядным пособием по костям. Так вот она, пока ее носили ноги-спички, твердила всем про поедающий ее солитер, который никак не могут выгнать, но тем не менее он уже близок к выходу, и это вопрос дней и часов. Конечно, лахудра на балконе еще была в мышце и кое-где в жире, но, может, рак только начал ее есть, и она — нормаль-но! — не хочет доводить себя до пособия по анатомии?

Одним словом, просьба спихнуть лахудру с балкона казалась Полине вполне уместной. Людям надо помогать. Люди теперь сволочи. Людям теперь чужой — тьфу! Кыш, киска, и дело с концами. А так — она спихнет эту, а при нужном случае и ей окажут поддержку в деле собственного уничтожения. Человек человеку — Брут, мерзавец и враг. Как сказал у них в классе один умник.

— Хорошо подумала? — спросила Полина. — А то ведь назад не взлетишь. С удовольствием отметила — в глазах у лахудры ужас и ожидание боли. — А ты что думала, толсто-пятая?

Полина взяла то, что лежало в тазике сверху.

Это оказалась розовая комбинация с цветочками, с потемневшими от пота и стирки подмышками. Полина тряхнула ее и обомлела. Все цветочки на комбинации были вышиты вокруг сердцевинки-штопки. Аккуратная крест-накрест заплетенная дырочка, а вокруг вышитые стебельком лепесточки — красные, синие, зеленые. Не рубашка, а цветик-семицветик... О! Как Полина это ненавидела — штопку-решетку и шов стебельком. Ничему ее мать не учила, ничему. А этим мучила с пяти лет, до побоев — штопкой-решеткой и швом-стебельком.

«Ты не подозревай, — кричала мать, — что тебе шелки дуриком достанутся! Не той мы породы. Учись и шить, и штопать, и лицевать. Это у партии и торговли что ни сезон — мода, а нам на говне пенка. Так что учись! Нитка сю-

да — нитка туда, и цепляй ее иглолкой, цепляй, косорукая!»

И вот теперь она держала в руках материну воплощенную мечту — цветы на дырке.

— Ну, е-мое! — воскликнула Полина. — Ну, е-мое!

— Главное! — шептала себе колыхающаяся на ветру Зоя. — Не изменить траекторию. Девушка, милая, не тяните!

Полина толкнула Зою так, что перевернулся таз. Черт с ним, сказала она, таща эту старую дуру через балконный порог. Лахудра тащилась легко — наверное, помогала своим тридцать девятым размером. Это совсем доконало Полину.

— Ну, зараза, ну, зараза, — кричала она ей, помогая ей стать из позиции «лежа» в позицию «на колени», — ты что ж это себе думаешь, дура старая?! У тебя климакс, а я тебя толкни за сорок рублей? Да я за сорок тысяч такого не сделаю! Да я таких, как ты, убивала бы не глядя. — Полина не следила за логикой своих слов. Как идут, так и идут. Еще думать, что говорить этой лахудре? Рождаются же такие на свете? Да она, Полина, на ее месте давно бы с крыши прыгнула, чтоб не портить воздух человечеству.

— Ну, зачем? Зачем вы так? — Лахудра опять протягивала Полине белые руки и цеплялась за нее, цеплялась.

— Что — зачем? — кричала Полина. — Научилась цветочки вышивать, а жить за тебя кто будет? По-твоему, жизнь — стебелек на рванине? Да? Ты посмотри на себя — здоровенная лошадь, на тебе еще возить и возить...

— Никому не надо, — прошептала Зоя и ткнула лицо в ладони, и затряслась, и Полина, хоть и не видела, но знала точно: там, за руками, побежали слезы, мелкие, быстрые, соленые. Ну, конечно, вон с подбородка капнуло. Скажите — ей, Полине, это надо? Надо? Прямо сумасшедший дом какой-то!

Полина опустилась рядом и грубо отняла руки.

Что-то случилось с лицом лахудры. Плаканое, оно стало другим. Или это Полина смотрела его на этот раз близко и не видела топырящихся глупых волос, едва прикрывающих большие уши, и шеи не видела, уже дряблой и слабой, а

скрывалось в ладонях маленькое, девчоночье лицо, которое родилось, да не выросло. И теперь оно плакало, что жизнь прошла и уже ничегошеньки не будет, но ведь ничего и не начиналось? Такая судьба... Но как же можно принять такую судьбу?! А как не примешь? Она же судьба... Вот вы, Полина, говорило личико в ладонях, тоже имеете свою судьбу. Вы недавно халатную махру целовали, а вас за волосы да кыш...

— ...Да я ее в гробу видела! — закричала Полина, прижимаясь к чужим слезам. — Да пусть она трахается с ним до посинения, мне-то что, жалко? Я-то, дура, думаю, чего это она среди дня в ванну полезла? Оказывается! А он тоже небось от жены спрыгнул, на перерыв пришел е...рь!

— ...Да? — Задрожала Зоя. — Вы так хорошо понимаете. У Володи тоже началось с перерывов. Смотрю, у него в портфеле бутерброды не съедены, а голодности в нем нет...

— ...А то! Такая ведь и накормит! Сама, зараза, сухую сушку грызет, мне тоже — на сушку, на, но я же видела-видела! — как она в баночку тефтели в буфете брала! Так ты из-за мужика, дура?

— Он мне мужем был. Что вы, девушка?

— А я про что? Не одно и то же? Дура, какая дура!

— Что вы все время выражаетесь?

— Я?! Выражаюсь?! Это дурой, что ли? Ну, ты совсем спятила!

— Не только... Вам это не идет... Вы такая молоденькая... Я вас увидела, идет такая молоденькая, волосы — ореол, вот, думаю, идет ангел-спаситель...

— Я? Ангел? Я иду и думаю — вон стоит лахудра, как таких земля носит?

— А я думаю, откуда она идет такая? Я бы другого вряд ли попросила, я очень стеснительная в себе, а вас смогла... У вас лицо такое... Что я смогла.

— И какое ж у меня лицо, если мне тебя убить хотелось?

— Нет, что вы, девушка, что вы... У вас лицо было доброе, отзывчивое... Ведь не каждого попросишь.

— У меня доброе? Какая ж ты... Тебя любой обдурить может... Да те, которые с виду добрые, — самая сволочь...

— ...Я плохо разбираюсь в людях... Я на дне рождения увидела ее... Компот пьет, а что эти столовские компоты? Помои! Я так ее пожалела! Я ее даже приголубить могла... Как подругу...

— ...Я железно разбираюсь... Я смотрю и вижу... Я ее как увидела, сказала себе: «Ну! Душит без анестезии». А она мне — обдуй меня, обдуй! И домой позвала. Помой спину! Помой спину! А через пять минут — а ну пошла! Да кто ты такая, думаю? Кто? Что я тебе, нанялась — спину мыть?

— ...У Володи фурункулез — всегда на спине. Масса флегмонных узелков. Могло бы пропасть лицо, если бы болезнь выбрала его. Но Бог миловал. Я ему так и говорила: «Как хорошо, что не коснулось лица». А спина — что? Только если пляж. Но мы на юг не ездили. Знаете, на отпускные мы, как правило, что-то покупали крупное. Холодильник там или телевизор. У нас ведь скромный достаток... Но две зарплаты — это все-таки две. Жить можно. А одна — это такой мизер...

— ...Купила себе кожаный пиджак! Чтоб всем! Это ж какие деньги?! А сама на сушках. Солому жрем, а форсу не теряем.

— Ой! Так говорила и моя покойница-мама.

— Вот и моя...

— Покойница?

— Да нет! Моргает. Но дура вроде тебя. Что вы все навязались на мою голову? — закричала Полина. Но получилось — кричит в голову лахудры, что расположилась у нее на груди, а руки лахудры держат ее в обхват, а слезы лахудры выгваздали Полинину кофту, сколько же слез у этой лопухой бабды, можно подумать, что плачет многоголовое бабье стадо, но ведь она, Полина, не плачет, она наоборот, она просто до слез смеется над этой комедией, в которой ее приняли за ангела-спасителя, вот теперь никуда не денешься — спасай их, этих брошенных дур. И мать ведь оземь не бросишь — хотя, честно говоря, хочется, и эту корову теперь паси. Она ей заколотит балкон досками. Это хорошо, что она по лестнице шла, а шел бы кто другой? Ну, тот хотя бы, что втугую в обтянутых джинсах. Да пить дать, он ски-

нул бы лахудру за борт в набежавшую волну. У него не задержалось бы, и сорок рублей бы взял, и что-нибудь прихватил бы по дороге... Стакан, например. Они вечно их ищут, мужики... Подумать такое страшно, как бы она лежала там, внизу, что бы от нее осталось? Теперь вот держи ее на груди, можно подумать, у Полины сто рук, чтоб за всеми этими душевными паралитиками ухаживать, чтоб спасти их от нашей жизни, чтоб вытирать им сопли. Она что — крайняя?

— ...Я тебе что — крайняя? Ты на меня не рассчитывай. Умирай в одиночку. Это я фигурально. Подумай, чего тебе не жить? Квартира отдельная. Машина стиральная. Рака нет.

— Никому не нужна... — прошептала лахудра в мокроту Полининой кофточки. — Как перст...

— Опять у нее намеки на мужиков! Ты ж старая! А если б и молодая? На них ориентироваться, так действительно прыгнешь. Ты на меня смотри. Отец бросил. Мать — инвалид ума. Друзей — ноль в квадрате. На фиг! Была тут одна, так у нее другое направление интересов. Киска, кыш, ко мне пришли... Понимаешь — кто и понимаешь — зачем... Но я стою торчком! Я такое — на дух!

— Деточка! Вы сильная. Вы молодая...

— Вот и держись за меня.

— Я не хочу жить...

— А я хочу?

— Да что вы, милая? Вам только жить и жить... Все у вас впереди... Я очень верю в будущее человечества. Все-таки у нас такие просторы. И люди у нас хорошие. Все отдадут... Все...

— Люди?! Отдадут?! И что они тебе отдали?

— Неважно. Нельзя замыкаться на себе. У меня плохо — это еще не значит... У вас будет хорошо. Да и у меня все хорошо, если разобраться. У меня просто слабость душевная. Я травмирована этой встречей. Ну, скажи словами, так нет... Применение силы, как по-вашему? Никогда до того, чтобы поднять руку или даже голос... Самое большое его ругательство, знаете какое? Ёкэлэмэнэ... У него все было ёкэ-

лэмэнэ — и человек, и питание, и международная политика. Он молчун... Молчит-молчит, а потом — раз! Я его журила — что он имеет в виду? А последнее время он только и твердил: ёкэлэмэнэ, ёкэлэмэнэ... Но — подчеркиваю — чтоб поднять руку...

— Сильно побил?

— Да что вы! Что вы! Не слушайте меня. Просто я впечатлительная. Как он мог сильно?.. Он же пустыми руками... Не слушайте меня... Он кается, кается... Не сомневаюсь...

— Пряма-таки! Жди! Кается!

— Да! Да! Да! И теперь, когда Бог оставил меня жить, это такое счастье, когда он мне послал ангела в вашем лице, я добьюсь, чтоб он принес мне свое покаяние в виде извинения... Я объясню, что это ему нужно, не мне. Мне от него — ничего! И все! И хватит!

— Скажи спасибо, что квартиру оставил.

— Я же вам говорю, что он благородный человек. Мне всю жизнь везло на благородных. Последнее доказательство — вы...

— О господи! Ну, что мне с ней делать?

— Ничего со мной не надо делать, деточка. Вы мне верьте! Я так хорошо вас понимаю и чувствую... Более того, я так хорошо вижу ваше будущее.

— Экстрасенс нашелся...

— Вот именно... Хотите знать, что я вижу? Я вижу вашего молодого человека. Да! Русский такой... Средний рост... Лицо худое и немножко клинышком... Кадык... Но это ничего страшного... Мужчин это не портит. А зимой вообще свитера... Володе шел серый цвет. И под самое горло. Добрый, отзывчивый, внимательный... Не пьет, не курит, без мата...

— Ёкэлэмэнэ...

— Ах! Не сбивайте меня... Если это один-единственный недостаток, то пусть... У прекрасных людей должны быть мелкие недостатки... Наверное, даже у Ленина..

— Даже! Что твой Ленин? Чего он тебе хорошего сделал? Ленин твой! Сообрази!

— Что вы! Деточка. Как можно? Всё! Всё он!!!

— Аж спрыгнуть захотелось!

— Ну, что вы все переводите в плохое? Переводите в хорошее. Я знаю... Я знаю, что я сделаю... Я подарю вам фату. Да! Да! Не спорьте. Я подарю вам фату... У меня есть... Это такая смешная история... Я шла... Володя дал мне двадцать рублей — купи себе подарок на день рождения... Я не знаю, что тебе надо. Я придумала себе белье... Немецкое... У меня комбинации все от стирки сбежались размера на два... Стали как бы на вас, а я ведь костью крупная... Конечно, у нижнего трикотажа есть свойство растяжки... Сначала туго, а потом широко. В общем, решила — поищу новое... Но ведь все теперь проблема. В отделе белья пусто, но продавали фату. Такую нежную... Такую нежную... Одним словом — со вкусом. Я сейчас... Я сейчас вам покажу...

Зоя на коленках поползла к шифоньеру и выдвинула нижний ящик. Распластавшись на фанерном дне, там лежала фата с розовенькими цветочками. «Бессмертник!» — гордо сказала Зоя.

«Что за бред?» — с тоской подумала Полина.

— Я Володе, конечно, ни гугу... Мог бы насмешливо рассмеяться... Мы ведь как женились? Раз, раз... У меня было платье беж из креп-марокена. Еще выпускное. Я его надевала только на даты. Знаете, будете иронизировать, оно и до сих пор еще живое. Я вещи хорошо ношу. Я любую спущенную нитку вовремя поймаю и подтяну. Я вам его покажу. Оно на антресолях. Не думайте, я его вам не предлагаю, не смею... Не думайте так... Теперь другое носят... Хотя не надо отметать старое с порога... Марокен не выцвел ни на грамм. Такие стойкие раньше были красители. И юбка — слышите? — из двенадцати клиньев. Если приподнять концы, то фактически солнце...

«Господи, что она мелет?»

Теперь, после того как Зоя на коленях сползала к ящику и обратно, они уже не сидели близко друг к другу, и Зоино лицо уже не было беспомощным и плаканным, а совсем наоборот... Оно стало широким и покрасневшим, пористым и напористым. И Полина даже глаза прикрыла, чтоб не давила на нее эта лахудрина плоть. Лично у нее, у Полины, сейчас ноль энергии и ноль сил. Сидит как дура на полу,

живая, как ножка стула. А эта раскоряка полкомнаты заняла своей задницей и звучит, звучит! Юбка у нее — солнце, а жопа у нее — палец?! Рвать надо отсюда когти, рвать, пока она не заговорила ее совсем. А то ведь и спятить раз-два...

— ...О господи! Что это я про себя... Я ведь хочу вам сказать, как много прекрасного вас ждет впереди, от меня в отличие... Вы разрешите мне жить вашими радостями? Тогда слушайте! У вас родится мальчик. Я вам объясню потом, как его надо будет спасти от перитонита. У меня столько осталось детских вещей. Целый чемодан. Ползунки, кофточки, шубка из мерлушки, просто кукольная! И парта первоклассника. Вполне сохраняющая, ну, черкал ребенок... Что вы на меня так смотрите? Мальчик умер в тринадцать лет... Вы не думайте! Я уже успокоилась. Я вообще очень крепкая женщина. Вы правы — на мне возить и возить. Это я поддаюсь минуте, но Бог вас послал... В жизни столько прекрасного: искусство и литература... «Записки охотника» там... Или... «Семнадцать мгновений весны»... Я уже не говорю о победе над фашизмом.

— Что ты мелешь? — не своим голосом закричала Полина, потому что минут десять она чувствовала — у нее умерли ноги. Началось с пальцев — жили-были, раз и нету. Были теплые, влажные, шевелились в кедах, а потом как отсохли.

Лахудра фату показывала, распяливала ее на пальцах, про какой-то марокен молотила, про мерлушку, а по ней, Полине, вверх пошла смерть — с пальцев ног и вверх. Вот она и решила проверить, как у нее — работает еще верхняя часть и голова, умеет ли она говорить? Или уже абзац полный?

— Что ты мелешь? — закричала Полина, убеждаясь, что голова пока живая.

— Деточка! Я к тому, что мы могли бы родиться в рабстве... А мы же в такой стране...

— В какой? — тупо спросила Полина. Живая голова, но соображала плохо.

— Смотрите, какая вы хорошенькая! — Зоя надела на Полину фату, нежно распрямляя под ней волосы.

Полина вскочила на мертвые ноги. Откуда было Зое знать, что за волосы Полину трогать нельзя. Что, чем она мертвей, тем чувствительней у нее кожа на голове! И вообще ей не хватало воздуха, и было ощущение тоски, муки от враз возникшей безысходности всей последующей жизни, ну, нет выхода, нет выхода, нет выхода. А эта лахудра на полу лыбится вся, сияет, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне.

— Как же вам к лицу, деточка! — чиркала лахудра. — Поставить вас на шпильку и беленькое платьице из атласа с широким поясом... Вы будете принцесса... Деточка! Я вас просто вижу... Как живую... в завтрашнем дне.

— Слушай, — сказала Полина, — заткнись, а? Повесь лучше белье.

— А! — засмеялась Зоя. — Бог с ним, с бельем. Я его потом прищеплю.

Полина же вдруг почувствовала, что сейчас, сию секунду, произошло главное — она что-то поняла. Моментно появилось то, что ей надлежит сделать. Вот только — что? Что ясное-прекрасное длилось один миг?

— Заткнись! — крикнула она лахудре. Чертово понятие, блеснув и озарив, вышло из фокуса... Еще бы! Если из этой тетки прет целый бурный поток. — О чем мы говорили? Слышишь, о чем мы только что говорили?

— О белье! — засмеялась радостно Зоя. — Бог с ним. Я хочу вам рассказать про свой инстинкт жизни. Понимаете? Я за нее держусь. За жизнь. Потому что какая-никакая... квартира отдельная! Вы правы! Стиральная машина есть и телевизор... И одежда... Ту же шубку-мерлушку только вынеси к «Детскому миру», а если еще прихватить стол-парту, это я к тому, что нет затруднений с деньгами.

— Ты вроде мне хотела шубу отдать, — думая о своем, сказала Полина. Что-что она поняла? Что она тут же забыла?

— Господи! О чем вы? Конечно, и мерлушка, и фата, и много чего, пусть не очень ценного, — но все равно, где теперь взять? — перейдет к вам... со временем. У жизни — смысл... Я — вам, вы — мне... Получается цепь... Ее нельзя прерывать...

— Поняла! — сказала Полина. — Такая умная, а на свободе... Это — ты!

— Ха-ха-ха! — закудахтала Зоя. — Вы такая шутница, детка...

— Ага! — кивнула Полина. — Я такая... Я — самое то! — Она решительно пошла на балкон и влезла на табуретку. Ветер тут же стал заигрывать с фатой. Пришлось ее нахлобучить покрепче. Зоя расплывалась и двоилась в глазах. Полине даже стало казаться, что она видит сквозь нее, такой несконцентрированной и нематериальной стала лахудра. Как и облака на небе, рваные, суетливые, какие-то дерганные, она сроду таких психованных облаков не видела. Дома же — наоборот — стояли, как вечные каменные бабы, она понятия не имела, что они такие уроды с черными щелями в стенах, грязными окнами, за которыми громоздились стеклянные банки закрученных для голода продуктов. И было ощущение, что все это тянется к ней, хватает ее, и сто лет не мытые окна, и банки с желтыми огурцами и зелеными помидорами, и трепещущие на ветру рейтузы всего человечества, а также их наволочки, и колготки, и полотенца, а главное — эта лахудра с могучим инстинктом, сейчас вцепится ей в волосы, и нет у нее спасения — вот, вот что она поняла! — как только вниз фатой — и все... Что бы им сказать напоследок, совкам-бессмертникам проклятым? Что? Господи! Господи! Что это со мной? Mamochka ты моя, ма...

КОСТОЧКА АВОКАДО

«...У меня не получились страусы, и косточки у авокадо оказались слишком большими», — печально признался Бог, очутившись по случаю на Земле».

Вот так замечательно зацепился в памяти какой-то американский фильм, из которого ничего не помню, а вот на страусов теперь без нежности смотреть не могу. Неудачные вы Его! Лапочки... Такие не фламинго...

С тех пор как я поняла, что мне и половины не сделать из того, что должна была и могла, проблема большой кос-

точки авокадо стала мне застить свет. Боюсь неудачи. Я даже специально купила эту божью поделку, добралась до твердой середины. Действительно, можно было и помене... Зато как хорошо лежит в кулаке, как шершавится! А если еще запустить в глаз... Нет, это не вишня и даже не слива...

Хотя хорошо бы написать именно про вишню, про то, как она цветет, какой белый дым стоит. Такое счастье набухает внутри, что трещат ребра. Но за вишневый сад и схлопотать можно. Он у нас один — цветущий, срубленный, в печи стопленный, на все голоса спетый, а потому неча про него... И сливовую косточку не тронь: ею уже сто лет все не может подавиться один невоспитанный, жадный до фруктов мальчик.

Обтопанные, захватанные, залюбленные поля и нивы, люди, львы, орлы и куропатки...

« — Мадам! Все продано. Есть перо от страуса и косточка от авокадо.

— Благодарю вас. Беру косточку».

...Ночью и пришел этот авокадовый рассказ. Пришел почему-то боком и застил свет ночной лампы, под которой лежал нормальный детективчик из тех, что про английский замок, в котором совсем не обязателен скелет в шкафу, зато непременен лорд-гомосек с отполированными до нечеловеческой красоты ножными ногтями. Перед ними я всегда столбенею. Хочется быть лордом и даже — пусть! пусть! — гомосексом. Какая разница, если хочется носить лепестковые ногти. Так вот на этом замиральном от черной зависти месте мне застило лампу, ибо бочком... Хотя нет, как раз не бочком, а прямо, вперед, двумя широкими шагами преодолевая мою прихожую, вошла ко мне эта глупая история. Пришла и стоит в моей прихожей, хотя не звали. Дети только что ввалились из школы, выедают в нетерпении мякиш из батона, через три часа по местному времени по этому поводу загунявит муж о своем военном детстве и той пайке, которую он съел не то что с горелой коркой, а с прилипшим к ней куском грязной газеты. В стомиллионном повторении это должно нами восприниматься как вершина его жизненных испытаний! Апофеоз войны. В этот момент я думаю о

Верещагине! Как ему в гробу? Не жмут ли стенки? Не повернуться ли ему на бочок?

Бочок... При чем тут он? Оказывается, это она, моя гостя, стоит уже здесь — бочком, как раз на фоне светящегося закатным солнцем окна кухни, в которой дети уже доели мякиш, а Верещагин...

Развожу все по местам: дети, мякиш, женщина в прихожей — это все правда жизни. Это Илья Глазунов. Верещагин, уютненько повернутый со спинки на бочок, муж, который придет и загунявит про пайку, — это воображение. Это Пикассо со своей треснутой об колено скрипкой. Но для меня-то все это сразу и одновременно! Вот в чем тайна тайн.

— Оставьте батон, паразиты моей жизни! — кричу я детям и, повернувшись к гостье, говорю голосом высшего с отличием образования, что рада ей бесконечно, все-таки два раза в жизни встречались. Родные, можно сказать. А встречались мы с ней, между прочим, тоже в прихожей, правда, другой, с большим зеркалом в металлооправе и с таким оглушительно правильным отражением, что я его ненавидела и каждый раз вспоминала свою любимую покойную подругу, которая говорила: «Зеркало, дура, должно быть мутным или висеть в темном месте, чтоб, посмотрев на него, ты убедилась в своей красоте, а не в изъянах кожи. Убедившись, ты воспрянешь духом и станешь красивее, уничтожая этим все свои изъяны. Теорема такая: радуюсь (пусть даже обману) — значит, хорошо, а недостатки, как побитые собаки, заползают туда, где им и место». Так вот та прихожая, где я встречалась с гостьей, на мою голову, была наоборотной. В ней при помощи зеркала ты сразу убеждался в землистости кожи, в неизгладимой глубинности морщин, которые называются «собачьей старостью» и настигают, сволочи, тебя лет эдак в двадцать пять; в тусклости и сечености волос, бывших когда-то, по определению завистников, гривой, и тэдэ, и тэпэ. Можешь спускаться все ниже и ниже по самой себе и портить себе же настроение.

Я любила тот дом и его хозяйку, но прихожую ненавидела. Из нее всегда было трудно уйти быстро, вечно в ней толклось множество людей, надо было на виду безжалостно-

го зеркала извлекать из глубин крючков своего лысого кролика, а какой-нибудь интеллигент — это непременно — на тонюсеньких лапках и в дымчатых очках — тоже непременно — норвил подскокить на носочках, помогая тебе овладеть зайцем, и, пока я попадала в рукав, выгалкивая из него по ходу шапку и шарф, зеркало-гадина отражало все это без стыда и совести, строго по законам физики. Вот однажды, вернее дважды, мы и встретились глазами с сегодняшней моей гостьей, которой я солгала, что безмерно рада ей, вот только дети жрать хотят, а обед у меня готов на три четверти, так что...

— Я подожду, — сказала она.

На самом деле обед готов был, оставалось налить две тарелки. На самом деле я выкраивала время на «сообразить»: что могло понадобиться этой малознакомой женщине в моем доме? С какой сырости она завелась у меня? Господи! Да тысячу раз получужие дядьки и тетки вваливались, не звоня и не предупреждая, и ничего! Я кормила их, поила, спать укладывала, а дети — чай, не बारे — сами вполне справлялись с половником и чайником и спать сами укладывались, а утром перешагивала через мертво спящих на полу гостей, которых бог послал.

Нет! Случайным гостем меня не удивишь. Я к нему, как пионер, завсегда готова. Тут было что-то другое. Я чуяла. Ну как я могу объяснить сквозняк под ложечкой или хлопанье ставен, которых нет, или то, как по серебристой дорожке пыли, высвеченной закатным солнцем в моей кухне, некто скатился кубарем и тут же велел его нарисовать. Вместе с дорожкой из пыли и ставнями.

Вот почему я попросила у гостыи прощенья и, быстро раздевшись с оголодавшим потомством, скрылась на две-три минуты в ванной, приплюснувшись к холодному кафелю. Я стала «собирать дух». Я же не знала, что ко мне пришло. А жизнь научила меня всегда быть готовой к неприятностям большим, чем меньшим.

...Итак, сначала... Месяца декабря ко мне пришла мало-знакомая, хорошо беременная женщина, с которой меня сводила судьба у чужого гадостного мне зеркала. Жизнен-

ный опыт загодя выплюнул перфокарту предупреждения, как то: чужие беременные, звонящие вам ни с того ни с сего в дверь, всегда чреватые осложненными обстоятельствами. Их мог забрюхатить ваш муж. Или сын. Или брат! Ваш приятель, у которого уже есть семеро по лавкам. Ваш папочка, выстреливающий на вдовьей старости лет бездумно, стийно и страстно. Так как — повторяю — моя голова устроена для усложнения мира, то я подумала все сразу. И молила бога, чтоб это был многодетный приятель, пусть лучше он. Я уже готова помогать ему материально в виде круп и макаронных изделий, а также несношенных детских вещей. Когда я выходила из ванной, кубарек с солнечной дорожки гнусно хихикнул на горячем кране и сказал довольно громко и без малейшего сомнения: «Дура!»

Гостья сидела в кресле, широко раздвинув ноги. «Молния» на джинсах была разверста до своего упора, и хорошо виделась натянутость на пупке голубых трусов. Завозились в голове мысли. Ну пришла бы к чужому человеку беременная я, пусть даже с распахнутой ширинкой? Разве не прикрыла бы я голубые трусы любым подручным предметом — концом блузки, носовым платком, шарфиком, шапкой, наконец, моей диванной подушкой, что лежала рядом как бы специально. Возьми, мол, и прикройся! Но так поступила бы я, и с этих самых своих мыслей я окончательно и бесповоротно вступила в глупость истории.

Беременная девушка с лежащим между ног животом сказала:

— Я беременна. — И почему-то встала, и повернулась туда-сюда, видимо, считая позицию стоймя убедительней.

Я всплеснула руками, как бы до этого ничего не заметив, не увидев, а теперь, увидев, удивилась, восхитилась и плещу руками.

— Поздравляю! — радостно сказала я. — Ребенок — это замечательно! — Гостья посмотрела на меня как на идиотку. В соседней комнате не на жизнь, а на смерть скандалили радости моей жизни — дети, деля линейку.

— Хотите чашку чая? — прогнусила я голосом Элизы Дулитл.

— Лучше кофе, — ответила она.

Кофе надо было варить, у меня не было растворимого. Я позвала ее на кухню. Пришлось отодвигать столик, чтоб тяжелой девушке было удобно сесть, она брезгливо умащивалась на пластмассовой, тонконогой, охлаждающей зад табуретке. Я сдуру предложила ей нормальный стул, напроць забыв: в кухне стул не помещается — в ней всего пять метров, и все ее возможности давно изучены при помощи строкомера.

Я внесла стул и вынесла из кухни все, что могла, загромоздив крошечную переднюю. Стол почти вплотную приблизился к плите, и я сторожила кофе на расстоянии, зависнув над столешницей. Холодильник был от меня отрезан напроць, но язык, живущий независимо от меня и от обстоятельств жизни, предложил гостье «колбаски и сырку». Беременная девушка рылась в холодильнике сама — он ей был доступен. Рылась, рылась и нарыла заныканную «Виолу», по тем временам дефицит. Я, грешница, хранила сырок для себя, для того редкого момента, когда в доме никого, я одна-одинешенька, свободна, так сказать, от постоя и у меня на этот счастливый момент все сделано. Тогда я завариваю персональный чай и лакоплюсь, набирая на кончик ложечки эту самую «Виолу». Даже дети были ко мне в этом случае щедры и снисходительны. Сын говорил сестре: «Не ешь эту «тетку»... Это мамино баловство». — «Я, конечно, ее не хочу, — отвечала дочь, — но делиться честно. Я возьму капельку».

В этот раз мне не осталось ничего. Господи, прости меня! Не жалко. Ни тогда, ни теперь. Почему же я так подробно про себя, нелепо зависшую над столом, про нее, смачно намазывающую «тетку» на полбатона, про табуретки, загромоздившие вход и выход в квартиру? Про то, как она, встав, слегка приспустила джинсы, тихо ругаясь при этом?

Я толкусь на этом, ибо это был процесс погружения в идиотию. В прошлом веке написали бы — морок. И оно пришло мне на ум, это слово, но куда оно к табуреткам, ширинкам и плавленому сыру? Не всякое слово не во всякую строку лезет. А идиотизм ситуации в том, что я не задаю ни од-

ного действительно существенного вопроса, она тоже не соизволит мне объяснить, с чего вдруг пришла и пьет мой чай с моим сырком.

Напоминаю: виделись в чужой прихожей. Я маялась с интеллигентом на голову ниже меня, который норовил меня всунуть в «зайца». В зеркале — проклятущем зеркале! — мы встретились с ней глазами. Я — гостья уходящая, она — пришедшая. Вот и вся любовь. А теперь — она съела «тетку» и спускает у меня штаны.

Ладно. Жду.

— Я закурю, — говорит она.

— Пожалуйста, — отвечаю я, хотя в моем доме, где практически можно все, «не курить» — единственное условие. У меня на дым аллергия.

Но беременным не отказывают. Беременных лелеют. Она курит, я заскакиваю в ванную, чтоб закапать себе нос. Дети с вытаращенными глазами, унюхав запрещенный дух, смотрят на меня через нагромождение табуреток.

— Это будет не простой ребенок, — сказала мне гостья. — Он в честь Булгакова. Я зачала его на Патриарших в Вальпургиеву ночь.

— На чем зачала? — спросила я, будучи душой и не сумев охватить объем информации.

— На скамейке! — почему-то закричала она. — Это вы все на диванах и кроватях. А на меня смотрели звезды!

Дети выглянули в табуретный проем. «Какие примитивы, — печально подумала я. — Типично кроватно-диванная продукция. Что с нее взять?»

Мистер Воланд нагло хихикнул в вентиляционную решетку. Я выпрямила стан. Ну ладно, ладно, не стан — туловище. Затекшее в идиотской позе... Но выпрямила — точно. Выпрямилась. Потому что хихикнул Воланд? Да нет же, нет! Кто такой Воланд? Дитя. Дитя Булгакова.

А Булгаков — это святое. Можно потерять ум, честь и совесть, но потерять одиннадцатый и первый номер «Москвы» с «Мастером» не просто нельзя. Это смерти подобно. Как-то ко мне в очередной раз приехал очередной гость из провинции. Он почему-то ходил босиком, а носки сворачи-

вал в малюсенькие катышки, даже не знаю, как это у него получалось, и клал на видное место, на трюмо там или на книжную полку. Вот на полке он у меня и углядел переплетенного Булгакова, тогда еще раритет из раритетов.

— Это тебе надо? — спросил он, стуча кургузым пальцем по светло-коричневому томику.

У меня просто слов не нашлось от возможности постановки такого вопроса.

— Жаль, — сказал он. — Мне очень надо.

— Всем надо, — ответила я. — Это же Булгаков!

— Нет... не в этом дело. Я совершенно не понимаю эту книжку. Совершенно! По-моему, это чепуха. Я начинал читать три раза — и не смог. Я что, дурак? Нет. Я умный. Я хочу разобраться...

Этот экскурс к человеку с носками-катышками можно вычеркнуть к чертовой матери. К истории моей глупости он отношения не имеет. Так, вспомнилось время, трахнутое Булгаковым. Каким же удивительным мастером оказался незабвенный Михаил Афанасьевич — поимел сразу и всех.

И вот — оказывается! — у меня сидит на стуле, одновременно неся в животе почти готового ребеночка, человек, женщина, которая любила писателя не так, как все, — ля-ля, ля-ля! — а до кошмара конкретно. Пришла на Патриаршие, легла на скамейку (твердо же!), где-то там шебуршились ведьмы и ведьмаки, тихий дух бедолаги Аннушки прятался в телефонной будке, предмайская иллюминация сбивала с толку нечистокровных грешников, внося сумятицу в их и без того сбитые с толку души. Только чистокровные знали, что разноцветные огни зажигаются в их честь и говорить тут не о чем. Их праздник! Праздник всеобщей порчи.

Значит, так... Туловище мое, туло — пряменькое, фантазия моя буйненькая, экстаз полненький. Решеточка вентиляционная кольшется.

И это вместо того, чтобы спросить: а кто делал вторую часть ребеночка? Я человек верующий, но с фактом непорочного зачатия отношения — скажем — непроясненные. Червь сомнения меня гложет. Змей...

А беременная девушка, оказывается, давно мне что-то рассказывает, и, возможно, самое главное я, балда, прослушала.

— ...площадью не поделится. И вообще не поймет. На диване ей было бы понятно. У нее многие на диване... Дверь закроют и как будто Галича слушают. А Галич для звука... Ложное включение. Понимаете? Мне так за него обидно делается...

— Он бы на это не обиделся, — почему-то брякнула я.

— Нет, обиделся! — возмутилась гостья. — Поэтому я на это никогда бы не пошла. А я что, не имела возможности под музыку? Да пожалуйста. Вы же знаете, вы же сами приходили...

— Куда я приходила? — с ужасом спросила я. Этот ужас мой очень важен. Я едва не потеряла сознание, потому что совершенно не могла вообразить, где я бывала и где воспроизводство человечества шло под песни Галича. Ведь речь шла о некоем чуть ли не постоянном потоке действия, из которого отважные диссиденты, можно сказать, выплывали, выбирались и, встряхнувшись, бежали ложиться навзничь возле светлой памяти Аннушкиного маслица.

Только через какое-то время до меня дошла дичь информации. Оказывается, речь шла о тишайшей, добрейшей, плохо видящей моей подруге Асе — у нее жило в прихожей отвратительное мне зеркало, — гостеприимство которой мне в Европе сравнить не с кем. У нее кормились, поились, спали, жили день, два, четыре, восемь люди, кошки, собаки, птицы, черепахи, кролики. Ее бывало трудно разыскать на этом толковище. Близорукая, нездоровая, она, конечно, где-то гнездилась, за какой-то из закрытых дверей, откуда звучали то Галич, то Высоцкий. А сейчас моя гостья убеждала меня, что там не слушали музыку. Но я-то слушала! Сидя на диване, между прочим.

— ...Меня зовут Женя, — сказала мне гостья.

В конце концов, это надо было когда-то сделать — познакомиться. Я знала, что некая Женя, не поступив в институт, как-то попала к Асе. К ней всегда попадали как-то. Это был демоприемник, где отлеживались, отсидживались, где пряталась

лись. Как во всяком приемнике, в нем, случилось, хамили именно тем, кто кормил и вытирал сопли. Ася хамства не видела по причине особого свойства. Ее подопечные были выше подозрений. О них нельзя было подумать плохого, а уж сказать!..

Тут опять на выброс просится эпизод вне сюжета.

...Звонит Ася. У нее только что поменяли разбитый толчок, в туалете непролазная грязь, новый и разбитый унитаза стоят рядом и практически лишают смысла существования данное место пользования. Не могла бы я...

Дело в том, что Ася — умница, прелесть, душа — всемерно косорука. Не в прямом смысле, а в том, что ничего из того, что знает и умеет всякая баба, она делать не умеет. Она замирает над хорошо выбритой импортной курицей, не будучи уверенной, нужно ли помыть ее еще и мылом или достаточно почистить, как яблоко. Звонит и спрашивает. Она не умеет стирать свое интимное. Она не знает, как метут пол и скребут кастрюлю. Это ее удивительное свойство — откуда только оно взялось, если она девушка из семьи работающих участковых врачей, — всегда было для меня раздражающей тайной. И надо сказать, что, любя ее, в минуты ее косорукости я готова была ее убить. И не раз. На неумехости хозяйки жирели ее приживалы. Сваренный неизвестно откуда взявшейся девицей супчик становился предметом такой Асиной благодарности, такой преданности, что можно было не беспокоясь жить у нее год. Сама она — ни за что! — никого ни о чем не просила, просто супы варились потому, что пришедшая девица сама захотела поесть и полезла в шкафчики. Меня же Ася могла попросить о чем угодно — это была ее слабость, а моя гордость до этого самого случая. Ну так вот... Она мне позвонила, что в уборной нельзя сделать пи-пи, так как разбитый толчок стоит на пути к цели.

И я к ней безропотно поперлась через всю Москву, правда, кляня ее, дуру, что не попросила рабочих вынести за собой мусор. Наверняка они сломили бы с нее более чем, Ася в деньгах не разбиралась, как и в курицах, но хоть за пределы сортира можно было этим сволочам-пролетариям

вынести толчок? Потом я узнала: все так и было — пролетарии сволочами не были, они вынесли разбитый унитаз в коридор. Но у Аси в тот вечер было много людей, и даже два поляка-переводчика, и с точки зрения музык и литератур стоящий посередине предмет как-то не звучал... Поэтому она сама — кретинка-эстетка — попросила его запятить назад.

Я всегда была закаленной бытом женщиной. (Написала почему-то «пытюм». Может, так даже точнее.) Я носила и ношу тяжелое туда, сюда и обратно. Умею самолично двигать мебель. Даже пианино лихо качу по комнате, упершись в него задницей.

Но вынести разбитый унитаз на помойку — это пардон. Не потому что чванюсь, а потому что не осилю. Съесть-то он съест, да кто ему даст?

— А я думала, ты сможешь, — расстроено сказала Ася. — Ты ведь ловкая.

Двери в комнаты были закрыты. И в первой, и во второй звучали смехи свободных людей.

Я распахнула двери. Квартира была полна в основном мужчин. Они пили вино и заедали его сыром «Рокфор». Им было жарко, и некоторые, совсем не отягощенные путями, были голые по пояс. Блеклые, тощие половинки били в глаз.

Я ведь открыла дверь не просто так: мне хотелось соединить мусор и бицепс, сделать это за деликатную Асю, которая никогда бы не посмела прервать умную беседу ради такого вонючего дела. Я — другое дело. Я, конечно, тоже могу за рокфором ляпнуть какую-нибудь оригинальную мысль, но, как выясняется, не этим я человечеству полезна. Я могу выносить гóвна. Это главное. И даже могу нагло попросить мне помочь. Именно так коротко, как прораб, я и сказала:

— Надо помочь. — И ушла. Не стоять же над душой, пока оденутся блеклые тела.

Толчок из туалета мы с Асей вытаскивали вдвоем. Я помню напрягшееся Асино лицо, ее пальчики, которые ничего не могли ухватить, свои пальцы, которые удачно попали

куда-то в волглую трубу и дали мне хороший рычаг для движения.

Одним словом, битый красавец остался в коридоре, мусор я вымела и бежала от Аси так, как не бежала, пожалуй, ни из какого дома больше.

С тех пор я бывала там все реже и реже. Однажды отразилась в ее зеркале в день ее рождения. В другой раз пришла по «Скорой» искупать шелудивого кота.

Аси уже нет. Я не знаю человека добрее и отзывчивее ее. Я не знаю другого человека, которым так бесстыдно пользовались все, кому не лень.

Но мы еще во времени ее жизни. И у меня гостя, которая — оказывается! — костерит Асю.

Я потихонечку вникаю в смысл.

Во-первых, Ася в упор не видит, что она, Женя, носит в себе конкретное доказательство любви русской женщины к литературе.

— ...Я становилась к ней боком...

А! Вот почему и ко мне она входила таким макаром. У нее уже были основания подозревать людей в куриной слепоте. Боком она как бы выходила из застенья, а мы, дураки...

— ...Она заталкивает меня в больницу, думает, у меня печень, раз меня рвет, а у меня поздний токсикоз. Я прочитала в энциклопедии.

А! Подумала я. Ася мне уже звонила: Женечка — знаешь, у меня живет девочка? — ослабла от рвот, видимо, что-то с желчными протоками, не могу ли я устроить ее в больницу? Нет, ответила я. Сама умираю. Конечно, я ответила не так. Я даже куда-то звонила, но у меня всю жизнь нужных связей — ноль. Сама не знаю, что это, но я до сих пор как от чумы бегу от тех, «кто по какой-нибудь части». Я заранее уже боюсь, чтоб меня не заподозрили: не случайный телефончик в книжечке записан, корысть в нем, корысть! Все это не потому, что я хорошая, а потому, что плохая. Во мне страшного божьего греха — гордыни — великое количество! Тьма! И бита бываю за это всевышним чаще часто, но ничего не могу с собой поделаться. Лучше сдохну, чем

позвоню, попрошу... Лучше сдохну. И очень может быть, что когда-нибудь и сдохну. Врача своего нет, а сколько их возникало естественным путем. Нет, не надо, спасибо! Врача не вызывали. Поэтому и жду, скрючившись, «неотложку», чтоб элементарный укол сделала. Ну что за бабда, если за жизнь не приобрела своей медсестры поблизости.

Но это так. Апропо... Вскрик седалищного нерва.

Одним словом, от устраивания Жени в больницу я тогда быстро устранилась. Устра-устра... Птица такая может быть с наглым клювом и близко сидящими глазками. Гавчук!

— ...Мне же ехать некуда. У меня родители верующие. Убьют.

А! Подумала я. Ребеночек большой и вот-вот... Если мать убьют, то и ему хана. А в нем замысел, он не просто ручки, ножки и пупок, он из Вальпургиевой ночи к нам едет. Ему плохо сделай — неизвестно, чем кончится. Вон она как на меня смотрит, мать-несушка. Строго и побуждающе. Может, требует, чтоб к тем моим некачественным, кроватным детям я прибавила еще одного, сотворенного по правилам, а не абы как, чтоб уснуть скорей?

— ...А что, ей комнату жалко? Да? Одна в двух... Это честно? А меня обземе?

Обземе — она не говорила. Это я придумала. Потому что поняла: началась история, и я в ней уже сижу по самую маковку. Асю обидеть не дам ни ради какого ребенка. И эту девушку ночи тоже не дам. Дитя жалко. И Воланда боюсь. Это растительное масло, несешь-несешь — и кокнешь.

Тут-то я и задала неприличный материалистический вопрос: кто автор второй половинки ребенка?

— Это неважно, — сказала мне гостья. — Он женат. У него дети. Мы с ним просто единомышленники.

В этот момент я продвинулась в своем развитии неизмеримо дальше, чем за все предыдущие годы.

Я знавала детей от любви. Даже целовала их. Знавала от расчета. Вполне хорошенькие. Дети от недосмотра тоже были вполне. И даже от изнасилования ничем плохим не отличались. Дети же по пьяни и по глупости — так ими же просто кишмя кишит.

От единомыслия знакомых детей у меня не было. Я пошла в ванную и приложила к лицу мокрое вафельное полотенце. Маленькая сволочь кубарь все еще сидел на горячем кране.

— Пошел вон! — сказала я ему.

— Я еще приведу товарищей-единомышленников! — засмеялся он.

Ясное дело! Шабаш... Какая же я кретинка, что не отдала Булгакова тому своему знакомому, что делал из носков катышки и складывал их на книги. Пусть бы читал, вникал, понял и имел все остальное. Ведь с кем поведешься...

Лично я повелась тогда с райкомом КПСС. Шабаш так шабаш. Внутри этого места работала одна женщина, с которой судьба свела меня на юге. У нас с ней было одно время на какую-то водную процедуру, убей бог, не помню какую. Неважно.

Она была ко мне строга — по своему положению. Она была ко мне добра — по существу глубоко спрятанной, чтоб не нашли, души. В ней все это боролось, колошматилось, нервировало, и, когда я уезжала, она так радостно меня провожала, что я поняла: из ее жизни вывели козу. Дело в том, что она дозналась, что я автор одного порочного сочинения. Партийное содержание возмутилось, что меня и ее кормят одним и тем же. Она была не виновата. Просто она хотела четкого соблюдения форм и правил. Я не должна была быть там, где она. Но если уж такое случилось, я должна была иначе проявляться, чтоб не возникало путаницы. Одним словом, от меня ждали больших безобразий, а я даже чижика не съела и даже в естественном разврате юга замечена не была. Со мной можно было ходить по терренкуру, заглатывать воды, со мной не было проблем, как застегнуть лифчик на распаренном теле, если он не сходится. Я была до противности ординарна и не соответствовала своему досье. Мне было это сказано «с доброй сестринской улыбкой». И я обрадовалась.

Ее звали Анжелика Геннадиевна. Сокращению и упрощению такое имя в ее положении не могло быть подвергнуто, его надо было носить полностью, а народу произносить.

— Как вас называла мама? — бестактно спросила я, достаточно перегревшись на солнце.

— Так и звала, — строго ответила Анжелика Геннадиевна, и хоть она — положительный герой моего рассказа, я все-таки ее сокращаю. В конце концов, я ей не мама. Впредь она у меня А. Г.

Было ясно сразу — это не телефонный разговор, надо самой ехать в райком, значит, куда-то надо девать из кухни мою беременную. Вот-вот придет с работы муж, а он никогда оттуда не приходит в хорошем расположении. Табуретки в прихожей могут стать той самой каплей, от которой неизвестно что и куда прольется. Хороша же я буду, если все это не предусмотрю заранее. Поэтому гостя была пересажена опять и снова в кресло в комнате, ей было разрешено курить и там, табуретки вернулись на свое законное, записка мужу была написана в лучшем эпистолярном стиле. «Дорогой! — писала я. — У нас сидит девушка. Потом расскажу. Пусть курит. Проветрим. Ужин на плите, можешь предложить и ей, но она не помещается на табуретке. Отнеси ей в комнату. Я ставила ей в кухне стул, но это сложно... Потом расскажу! Я поехала в райком по делам этой девушки, к той бабе, которая — помнишь, я тебе говорила? — гнобила меня подозрениями в санатории. Но, в общем, она ничего и одна может помочь. Партия — вдохновитель и организатор... Не злись, что отягощаю чужим чело-веком, но тут — сам видишь — беременное дело. Я постараюсь быстро».

Вернулась я поздно, потому что пришлось ждать А. Г., пока она закончит совещание по подведению итогов чего-то там. Она пришла возбужденная, слегка гневная, но отчасти и довольная, так что я поняла: итоги нормальные. Идем вперед.

Конечно, я своим рассказом свела на нет всю созидательную работу А. Г. в текущем году. Я повесила ей на плечи распутствующих девушек, верующих родителей и Некий Дом (мною тщательно скрытый), где сохранялось вне закона и всю беременело тудеядство.

— Она не работает? Она не стоит на учете в женской консультации? У нее связь с женатым? Но кто-то на это смотрел? Кто-то этому потакал?

Конечно, можно было А. Г. удручить фактами несовершенства руководимой партией страны. Можно было со смехом рассказать, как беременность эта наивно принимается за болезнь печени и желчных протоков, но тогда А. Г. совсем бы запуталась. «Грязь жизни» под грифом «Совершенно секретно» в их кабинеты поступает регулярно, но наивность с доверчивостью, а отзывчивость с легковерием, настоянные на ритуальном чтении какого-то писателя, — это уже из разряда проблем, с которыми разбирается другая, родственная им организация. Я, умная, проводила дело своей гостью по легчайшему разряду — разряду бытовой распущенности. А. Г. смотрела на меня строго, она говорила мне глазами, что у ее знакомых подобное не случается. Так хотелось, так хотелось переложить все это на плечи Михаила Афанасьевича. Его же рук дело! Это по его заветам в последнюю апрельскую ночь шли двое единомышленников на лавочку Берлиоза. Но я веду себя тихо, безропотно, я соглашусь с гневными глазами А. Г. Это мои знакомые, мои. Это мое распутство, мое. «И только вы, А.Г., только вы можете починить этот примус».

Все-таки райкомы — место деловое и решительное. Теперь таких нет. Раз-раз — и уже роддом готов принять без прописки и документов беременную в любое время, хоть сегодня в ночь.

Это было прекрасно: сегодня и в ночь. Я вернулась домой, взяла Женю, на такси мы приехали к Асе, и пока туда-сюда «больная» собирала вещи, я молотила про больницу и отделение терапии. В общем, я увозила от Аси как бы печеночницу. Ася благодарно хватала меня за руки, нежно за плечи Женю, не замечая, как та от нее отряхивается, как хамит скошенным ртом, как хлопает дверью, а потом лифтом. На тебе, на! Нота бене: ни один добрый поступок не остается безнаказанным.

В больнице нас приняли душевно, в палате было тепло и чисто, две женщины лежали вверх высокими животами, а

одна ходила туда-сюда, поддерживая его обеими руками снизу. Понятное все дело.

Когда я уходила, Женя сильно ущипнула меня за руку, может, она так выражала спасибо, а может, усиливала этим свои слова.

— Пусть она меня пропишет и отдаст нам комнату.

«А кормить вас кто будет?» — подумала я, но не спросила. Я только сказала, что теперь, когда она под приглядом, я расскажу Асе, куда на самом деле я ее увезла, а потом будем искать выход, уже все вместе.

— Нечего искать, — ответила Женя, — и делать проблему из ничего.

Ничего себе ничего!

У Аси толокся народ. Какие-то ряженые показывали слайды. Ася хотела меня вовлечь в восхищение, но я уволокла ее в кухню.

— Слушай сюда, — сказала я, разворачивая ее от идущих из комнаты звуков бубна. Там при определенных картинках старый обшарпанный дядька ударял в игрушечный бубен, набрехав всем, что бубен подарил ему очень продвинутый посвященный, который не просто бывает там и тут, но и приходит по зову. Следовательно, когда обшарпанный нужное количество раз бряцнет возле слайда, продвинутый тут как тут и явится. Надо только открыть в доме все замки и закрылки. Я увела Асю, когда шло всеобщее отворение. Некоторые дамы расстегивали пуговички, щелкали замками сумок, ширкали ширинки.

Я повернула Асю лицом к кастрюлям. Я закрыла в кухню дверь, но тут Ася была непреклонна — дверь все-таки приоткрыла.

Чертов продвинутый! У меня голова шла кругом от накопившихся слов и от неисповедимости дальнейшего проистекания событий, а тут детский бубен, кучка малахольных и умница Ася на страже открытых для чуда дверей.

Не заскучаешь с вами, товарищ Воланд. Не заскучаешь.

В самых что ни на есть вульгарных словах я обрисовала Асе ситуацию. Это был правильный тон и правильная не-

нормативная лексика. Ася захлопнула дверь и бессильно рухнула на голубенькую табуреточку.

— Падаешь! — ехидно сказала я. — Падаешь! Что ж ты, не видела, что у Женьки зад стал в два раза больше твоей табуретки? Я ее на стул сажала.

— Вон стул, — сказала Ася. — Я думала, ей нужна спинка. Она жаловалась на позвоночник.

— Интересно, — спросила я, — за какое явление природы ты приняла бы схватки?

— О ужас! — пробормотала Ася. — Только не это!

Каждый из нас в чем-то силен, а может, даже велик. Каждый из нас в чем-то беспомощен и слаб. У каждого из нас своя температура плавления. Знал бы — закалялся.

У Аси было слабое место — младенцы и все, что им предшествует и восшествует. Ну плохо ей от этого делалось, плохо. Был у нее какой-то мистически-брезгливый ужас перед самим фактом явления на свет. Вернее, перед способом явления. Ну не нравился он ей, этот способ. Не нравился! Согласна, не самый эстетичный и не самый благоуханный, кто ж возражает? Но как-то за всю историю человечество смирилось со всем этим раскоряченным кошмаром. Не такие, как мы, женщины — королевы и царицы, можно сказать, — а проходили через это унижение.

Сказано же было дуракам — «в муках». А какая больше мука, чем унижение? Вот этого-то «горя-злосчастия» в рождении более чем... Или это только у нас, русских? Как там растопыриваются американочки? Как там у них проходит процесс клизмы и потуги? Да ладно... Неделикатная это тема — физиология рождения. Вот Ася и хлопнула дверью и, может, напрочь закрыла дорогу продвинутому, который уже топтался на порожке, скреб подошвочки о старый Асин халат, распятый на резиновом коврике. А тут возьми и хлясни дверь. Труба тебе, продвинутый. Ибо за дверью более важное — за дверью Асю тошнит от суровой правды рождения человека.

— Я не хочу! Не хочу! — трепыхалась моя горемычная подруга, как будто это ее ведут на рожальное кресло. — Не хочу! Не хочу!

Самое время было сказать ей про то, что Женя хочет у нее поселиться навсегда. Самое время... Не правда ли?

Я успокаивала Асю и наконец успокоила. Просто сказала, что как-нибудь с божьей помощью что-то да придумаю.

— Ты не знаешь, кто ее единомышленник? — спросила я. — В конце концов, взять бы его за причинное место.

Но в Асиной светлой голове такая информация помещена не была. Женатый и с детьми? Тут все такие. Сдвинутый великим романом? Другие сюда просто не приходят. Что делали в минувшую Вальпургиеву ночь? Жгли свечи, а одна фанатка танцевала голой и пяткой напоролась на кнопку. Кровищи было! Ася бегала к соседям за йодом, потому как по нервности не нашла у себя. И Женя была. Кажется, была... Но долго ли смотаться на Патриаршие? Туда и обратно? Может, именно когда потекла кровь и голая девушка плакала горькими слезами.

На следующий день позвонила А. Г. и твердо сказала: надо вызывать родителей. Она не хочет неприятностей себе на голову.

Неглубоко мыслил райком. Неглубоко. Я эту мысль давно отдумала и уже искала другую. Ведь, исходя из слов Жени, верующие родители с дитем в подоле ее не примут. Нужна была тонкая политика, вышивание гладью.

Я ломала себе руки. Потом, естественно, вправляла их обратно. Не та у меня жизнь, чтоб ходить все время с заломленными руками. В конце концов, я ими ем. Да и дети простые мои просят каши, муж требует понимания, жизнь требует сил, а Ася не слезает с телефона. «Ну что? — вопрошает. — Что будем делать?»

Утром в газете прочла информацию: где-то в Мурманске гикнулся самолет. Автоматически отметила, что рейс служебный и детей на нем не было. Успокоилась. Потом, успокоившись, покрыла себя позором, стала виноватиться и уже так жалеть погибших, будто они мне все двоюродные братья. Есть во мне, есть эта хохляцкая завываемость. Есть «Ой, лышенько, лышенько, ой, лышенько, лышенько...» Живу, живу, а потом как заскулю на ридний мови... Вот зачем-то это моему организму надо, чтоб и «выли витры», и чтоб

они были «буйни», и чтоб «деревя гнулысь». Одним словом, «ой, як болыть мое сердце, а слёзы нэ льются». Сволочи слезы. Русскоязычные они, что ли? Но это так, шуточки, заметки на полях, маргиналии, по-ученому. Но Булгаков тоже, между прочим, взрос на Украине. А про Гоголя я молчу. Не им заквашен этот глупый сюжет.

Заметочка о разбитом самолете оказалась в пандан. Она вспорола во мне отсек с замороженными на случай войны «выходами из положения». Там, сказала я себе, под Мурманском (я именно так поставила ударение для убедительности истории) погиб родитель другой половинки ребенка. Никакой он не женатик, тем более не отец каких-то там детей, не проходимец, а скорее землепроходец, который ринулся на Северб (именно так, именно), чтоб заработать деньги на семью (у меня дальше шли сплошь неправильные ударения: историю для простых верующих надо было плести именно языком идиотов. Это должно было заменить подвывания тюменьщины, которых я не знала).

И вот с Асиного телефона — старательно выставив всех продвинутых и нет, с бубнами и без, голодающих Поволжья и голодающих за права всех и всякие — я кричу в далекие края неизвестной мне женщине жалостливую историю. Несчастливая переспрашивает меня тысячу раз, и ее занимают (так мне кажется) только глупости: почему дочка ничего не писала и почему не звонит сама? Я кто? Кто я вообще?

Я — соседка. Чья? Аси. (Она знает, что Женя жила у какой-то Аси.) А где Ася? Ася — оказывается! — тоже в больнице. Ася машет руками, ей не нравится эта часть моей брехни. Надо, значит, поправляться. Асе уже лучше, кричу я, много лучше, но она потом сразу уезжает за границу. Ася машет руками у меня перед самым лицом. Значит, и это не то... А! Доходит до меня. В квартире ремонт, кричу я бескрайним просторам, у Жени аллергия на краску, поэтому ее забрали в больницу. Ася радостно кивает: то! то! Ничего страшного, ничего! Это кричу я. Дома, с вами, с мамой, она быстро придет в себя от краски. Краска — главная тема разговора. У Жени, оказывается, это с детства. (Это же надо! Как я попала!) Но я не уверена, что там, на том конце про-

вода, понятно главное: Женя вот-вот родит, и забирать ее надо скоро. Сейчас. Нет, мать этого не слышит. Она говорит, что, конечно, приедет, куда же деваться, раз девочка больна. Но, может, после Рождества? Это когда же Рождество, соображаю я. Да, седьмого... Поздно! Поздно... «Поздно! — кричу я. — Надо успеть до Нового года. Как бы не родить в самолете?» — «Родить?» — спрашивает мать. И я начинаю снова. Упираю на погибшего жениха и на тяжелое моральное состояние Жени. «Вы нужны!» — кричу я. «Никогда же не была нужна, — отвечает женщина. — Сколько времени ни одного письма». — «Простите ее, — кричу я, — простите!» Женщина молчит, а потом спрашивает, можно ли купить в Москве цигейковую детскую шубку. Для семилетней племянницы. «У меня есть! — кричу я. — От дочери. Практически новая. Отдам!» — «Спасибо большое! — говорит женщина. — У нас зима такая холодная». — «Когда вас ждать?» — кричу я. «А может, племянница приедет? С девочкой. Померяет шубу!» — «Жене нужны вы!» — отчаянно ору я. «Да бросьте! — говорит она. — Шубка у вас какого цвета?»

Ася стучит перед моим лицом пальцем по циферблату. Мы говорим уже двенадцать минут. Мы не продвинулись никуда.

Вопрос, приедет — не приедет за Женей мать, остался открытым. Дома я стаскиваю с антресолей детскую шубку. Я погорячилась — она отнюдь не похожа на новую. Нормальная обтрюханная детская шубейка, с поблекшим от саночек задом. Нет пуговиц, нет вешалки. Зато в рукавах варежки на резиночке. Копаюсь в детском мешке, что еще можно прибавить к явно непрезентабельной шубке? В конце концов, пусть берет что хочет, ничего не жалко... Только пусть скорее эта глупая история кончится.

Еду к Жене. Рассказываю, что звонила ее матери, что та теперь все знает и — возможно — приедет за ней. Молочу и про то, что придумала ей для порядочности погибшего в Мурманске жениха, как бы почти мужа. Говорю, а сама жду, как она гневно закричит и выставит меня вон. «Это вы ловко, — говорит Женя. — Вы мне сообщите место и рейс и

как его зовут?» — «Но имя-то придумайте сами!» — возмущаюсь я. «Да нет уж! — скошенным ртом отвечает она. — Ваши с Асей дела. Значит, не пропишет?» — «А с какой стати? — возмущаюсь. — Вы ей кто?» Женя смеется всей левой стороной лица. «Фальшивые люди! — кричит она. — Вам соврать легче, чем поделиться квадратами!»

Я тороплюсь уйти. Я, можно сказать, бегу... Потому что не хочу слышать от нее свои мысли. Почему так все носят с какой-то нечеловеческой щедростью русских? По части последней рубахи, куска хлеба, чтоб одну со страстью сорвать с себя, а другой дать откусить по самые пальцы, — нет нам равных. Нас надо сгонять в блокады, в войны, в коммуналки, чтоб как драгоценный эликсир из нас начинало это капать — великое русское... Но какие же мы свиньи в хорошей жизни! Тут уже не капли, тут тазы подставляя под нашу зависть, злость, ненависть, что у другого наличник фигурней, а крыльцо позакковыристей. Дорогая моя Ася... Я тебя сужу тайным судом, и я же тебе помогаю совершать то, что мне глубоко не нравится. Вот такой у меня бег из роддома.

В метро я всю себя изжевала и выплюнула. Такой себе противной я давно не была и не знаю, как себя вытянуть из заводи, которую сама напрудила. Спасая косорукую подругу, мнящую и слывущую защитницей сирых и убогих? А может, надо было ей сказать: «Дорогая моя! Гони их всех в шею! Ну что это за доблесть — кормить всех дядек и теток, объявивших себя духовными личностями? И что это за духовность, если унитаз разбивают, а осколки выносить требуют? Голые девушки с нежными младенческими пятками, тонконогие бородатые сиры и тонкоперстые девы. Все фурфурные, воздушные, всем претит работать, а моя библиотечарша (Ася! Ася! Это она сидит в отделе библиографии, где почти нет света, а тепла нет вообще)... Это она на свои девяносто пытается их всех накормить. Денег едва хватает на пять дней, на остальное — займы! Займы! Займы! Да! Еще есть малюсенькие фарфоровые звери. Когда-то они были произведением искусства, потом мещанством, теперь опять произведения, которые едят. И еще воруют. Стыдно

же их прятать. Асе. Они стоят у нее, как стояли, — всегда в старинной горке.

— Я такая беспамятная, — говорит Ася. — Мне кажется, Лиса я не продавала, а его нет...

Конечно, не продавала, сперли его у тебя, подруга. Взял и положил в карман какой-нибудь «очень продвинутый», взял и скушал.

Меня заносит в эту сторону, заносит. И я уже и слепая, и глухая, и вообще сволочь. Потому что гадости я думаю, гадости.

Всякий там люд был, всякий. Да, паспорта у них не спрашивали, и лис они уносили. Но скольких она прикрыла своим анемичным телом, моя Ася. «Косили от Афганистана» — у нее, от вызовов для всевозможных бесед — у нее. От участковых, от соглядатаев, да мало ли от кого закрыться хотелось. Да черт с ним, с Лисом. Ведь нет-нет они и хлеб принесут. Сами. И молоко. А вино сухое так почти всегда. И как хорошо-то! Под крышей спасения.

У Аси было сумрачно, две-три тихие фигуры сидели по углам, сама она металась.

— Все так легко проверить, — сказала она. — Ну что это за глупость ты придумала с авиакатастрофой?

— Это не глупость. Катастрофа была на самом деле. А одним человеком больше, одним меньше... Чего сейчас про это, если мы уже все сотворили... Надо держаться легенды...

— Я не буду, — тихо говорит Ася. — Не буду. Как хочешь. Я запираю квартиру и еду к тетке в Пышму. У меня три года не отгуляно. Кота берет соседка за осеннее пальто. Я его все равно не ношу. Электрик для меня чересчур.

Первая моя реакция — Ася остается ни в чем. У нее из теплого это самое «электрик-чересчур» и вытертая до белого тела полудошка из кролика, купленная в комиссионном на Даниловском рынке. Ношенная-переносенная, она пахла всеми бедностями сразу, во всяком случае, теми, которые я сама знаю не понаслышке. Бедностью войны... Нет-нет, тот шубовый кролик в войну не жил, не надо думать, что я не подозреваю, как быстро это с кроликами случает-

ся — жизнь и смерть. Кролики войны по отношению к этим схороненным в полудошке все равно как мне сенная девка у Ивана Калиты. Это я не к тому, что имею ко двору (к его сеням хотя бы) какое-то отношение, сейчас это очень носится, очень. Я о пространстве-времени и о запахах. Так вот, у дошки моей Аси был запах бедности войны, кисловато-не-свежий, запах вещи, которую уже несли на выброс, но случилась война, и ее вернули, и долго держали на гвоздочке у самой двери, чтоб легче было выкинуть, когда случится победа. А она, сволочь, все затягивалась. Еще дошка пахла бедностью шестидесятых, когда враз встали в очередь за хлебом с ночи, а народ к тому времени уже разбаловался, валенки сменил на опушенные румынки, старые шубейки на пальто колоколом, которое, конёчно, к телу не прилегало, зато — вид! Но вот выросла опять и снова исторически неизбежная для России очередь и завоняла старыми шубами и пыльными валенками. Еще Асина полудошка пахла бедностью восьмидесятых, то бишь запахом отдельной колбасы и пота. Кстати, только сейчас, начертав слово «отдельная», я подумала, что за имя-отчество у колбасы — отдельная? Отдельная от чего? Впрочем, нашла про что... Я ведь о том, что без «электрик-чересчур» Ася, в сущности, оставалась ни в чем. Зайчишка ее и пах невкусно, и уже давно ни черта не грел. А Пышма, между прочим, на Урале... И я стала думать, как утеплить дуру подругу, и все остальное из головы вон.

Проблема шерстяных рейтуз, встав во весь рост, разрешилась в полном соответствии со всей происходящей идиотией. Их принес черт. Мне и сейчас от этого не смешно, а тогда так просто страшно было.

Итак, представим... Поздний вечер. Дети спят. Я в ночной рубаше проверяю «свет, газ, дверь, воду». Муж с отвращением читает «Литературку», в ...надцатый раз призывающую нас, так сказать, интеллигентов, осмыслить самих себя. Я в эти игры уже не играю, муж еще да. Я себя давно осмыслила. Мое, мною осмысленное пространство, — мало и узко. И пусть. Ибо знаю: как только я попытаюсь расширить себе территорию, мне не свободней, а тесней. Таков мой личный парадокс. Одним словом, «не нужен мне берег турецкий, и

Африка мне не нужна» написано про меня. За пределами себя самой я оказываюсь в клетке, на пяточке же себя самой я вольная птица... Я и счастлива-то бываю только в конце биополя. Никому этого не скажешь. Люди почему-то обижаются, когда без них вполне обходишься. Муж же с ненавистью играет в собственную как бы нужность человечеству и ходит вечно со свороченной скулой. Фигурально, конечно. Самое смешное в этом, что всякие там обязательства перед чадами и разными другими чадцами я при своем зверином эгоизме исполняю лучше, а он совсем никак. Я — отдельная (отдельная колбаса, ха-ха), а он всенародный... как бы. Я тороплюсь и бегу в себя, а он норовит в люди! в люди! Про скулосвороченность я уже, кажется, сказала.

Это я рисую пейзаж явления черта.

Так вот, я в ночной зимней бумазеевой рубашке с шелковыми поворозочками в пандан к кружавчикам почти приближена к своему идеальному состоянию отдельности, когда уже не надо говорить слов, этих крючков общения с ненужным мне миром.

И именно тут раздается звонок в дверь.

За всю свою жизнь я так и не научилась задавать неизменный вопрос: «Кто там?» Во-первых, мне всегда это неудобно, потому что фраза мне кажется лишенной смысла. Это я не сейчас придумала, это с детства. Может, потому, что «тут» и «там» были для меня всегда менее всего конкретными понятиями. Там — было внутри, а тут — то, что и за дверью, и перед ней. Итак, звонок... На длинную бело-розовую ночную я напяливаю мужнин черный болоньевый плащ, становлюсь листьяще-шелестящей и в таком виде без вопроса распахиваю дверь.

Он стоит передо мной на копытцах. И это я вижу прежде всего.

— Добрый вечер! — говорит он вкрадчиво. — Извините за беспокойство.

И он сучит ими, копытками.

Я не из тех, кто сразу кричит от страха, тем более что в данный момент кричит муж. «Кого это принесло?» — задает он из постели вопрос гуманиста и демократа.

— Я на минутку, — вежливо, как бы мужу, говорит черт. Я же, собравшись с духом, продвигаюсь в его органолептическом познании снизу вверх.

Коротковатые и узкие брюки почти облегают тонкие кривые ножонки. «Брюки отнюдь». Их вытянутые коленочки чуть-чуть подрагивают в стоячем положении, то есть в бездвижности. На уровне коленок колышется тряпичная хозсумка, бывшая когда-то занавеской. Над экс-занавеской возникает курточка, тоже отнюдь... Из тех материалов, которыми советские экспериментаторы от легкой промышленности стремились плавно перейти из резины в кожу. Курточка и являла собой процесс этого перехода. Как в том старом-престаром анекдоте, в котором ученый по заданию партии из дерьма делал красную икру. На вопрос, как идут дела, он радостно ответил: «Уже все получилось, осталось прогнать запах».

Идем выше. Из курточки резко и отважно возникала тонкая пупырчатая шея, которую слегка прикрывала — правильно поняли, правильно — пегая борода клинышком. Сказала бы — калининская, но я же помню, что копыта... У всенародного старосты, говорят, тоже были четко козлиные ноги. Но чего теперь только не скажут!

Крохотное, с кулачок, лицо.

Синие ясные глаза излучают... Есть запах... Тройного одеколона. (Кто бы мне объяснил, почему тройной? Слили три вместе?)

А тут он стянул с головы вязаную, с бомбомом серенькую шапчонку, и два немогучих кривоватых рожка предстали перед моими ошалелыми глазами.

Он протягивал мне сумку из шторы.

— Это рейтузы, — сказал он. — Там ведь холодно, Север... Они безразмерные. Тянутся...

Я приняла сумку и только тут щелкнула выключателем. Лампочка в прихожей была двухсотваттная, сильная, и без светильника: сын кокнул его лыжной палкой.

Черт же — видимо, испугавшись света — быстро засеменял к лестнице, сопровождаемый моим полуистерическим и нервным смехом познания.

Хороша я, хороша, да плохо одета... Никто замуж не берет девушку за это... И правильно делают, между прочим. Мало того, что в ночнухе и болонье с чужого плеча, так ведь еще же и без ума! Приняла за черта махонького мужчинку, у которого не копыта, а старые-престарые туфли на высоких каблуках. А как ему жить иначе, бедолаге, если параметры не выдержаны. Встанешь тут на каблуки. На котурны взлезешь. Рога же... Господи боже ты мой! Это была просто-напросто сто лет не мытая головенка и три волосины дыбом. Правильный поступок — его побег. Правильный. Таким мужчинам надо жить в зоне вечной ночи и чтоб электричество еще изобретено не было. Лучина. Вот его время и место. Вот так, исходя желчным смехом, я внесла сумку и вытащила из нее черные громадные рейтузы. На ярлыке была пропечатана марка магазина «Богатырь».

Куда они Асе? Куда? Узенькая в части бедер, безмясная в эротическо-седалищной части, моя подруга могла войти в них целиком с головой, я могла затянуть над ~~нее~~ резинку и столкнуть в ближайший водоем как не выдержавшую проверку жизнью человеческую особь. Неумеха и растеряха. Трусиха и покорница, разутая, раздетая, сто раз обкраденная, не умеющая носить «электрик», цвет победоносных женщин. А заботник-то, заботник каков? Козел-недомерок, приходящий в ночи специально, чтоб слабоумные женщины в рубаше, испугавшись, могли принять его совсем за другое, гордое, копытное.

Я даже сразу хотела позвонить Асе и сказать все, что думаю о ее рейтузах, но муж выразительно щелкнул нашим семейным бра, и я поняла все, что мне полагалось при этом понять: мало того что днем у меня то и дело возникают чужие беременные, битые толчки, шелудивые коты, хождение в райком (нормальная беспартийная туда пойдет?), но и ночью может прийти кто угодно, и я почему-то позволяю себе громко смеяться при этом, а дети спят. Пришлось укладываться остороженько, боком, я старалась ненароком не свистнуть носом или еще чем, чтоб не ущемить попранные мною интересы семьи.

Я лежала тихо и долго, я думала о том, что, как всегда, не права во всем. Ведь в чем штука: мою подругу так стремительно утепили, а я ведь только вечером сего дня «расчесала себя» на эту тему: Ася бедная, Ася несчастная. Все ею пользуются. Ан нет. Не все.

В сюжет органично вплыли рейтузы. Все равно как. Важно, что человек оказался хороший. Я только подумала, а он осуществил. Ну не чудо ли?

Хотелось бы на себя посмотреть спящую. Видна ли на лице глупость? А если видна, то как? Как она выражена? Бежит ли из уголка рта струечка радостной белой слюны или, может, губы растянуты в некоей не поддающейся описанию улыбке? Или, может, распахнут рот, источник речи?

...Я сплю... Мне снится один из моих снов-спутников. Их три. Снится первый. Я иду по лестнице вверх, которая, оказывается, идет вниз. Я перешагиваю как бы на правильный путь, но опять иду не туда. Две мои вечные лестницы, такие понятные с виду, пока по ним не начинаешь идти. Я сто лет как разгадала этот сон, без особого, можно сказать, труда. Я живу не так, как надо. Элементарно. Иду не туда. Не туда прихожу. Возвращаюсь и возвращаюсь снова. Как выглядит знак бесконечности? Как пьяная восьмерка, лежащая на боку. А может, не пьяная. Уставшая. Уставшая от бесконечности бесконечность. Она и прилегла умереть...

Утром я отвезла Асе рейтузы. Она очень удивилась моему рассказу, потом засмеялась и сказала:

— Похоже на Сеню... Он из котельной Большого. Когда играл в оркестре на гобое, но товарищи «по духу», духовики, его схарчили. Сеня — человек божий, ему в стае трудно. Он ушел принципиально.

Господи! Как я тебя понимаю!

Ты придумал альты, гобои, котельные, пастбища и лесные урочища. Ты придумал нож, вилы, серп, молот. Ты радовался, что научил и оснастил нас, слабых и голых. Могло ли прийти тебе в голову, что мы будем становиться принципиальными гобоистами и кочегарами? А что мы сделали с серпом и молотом, вместо того чтобы пользоваться ими до назначения? Собирал ли ты, господи, по этому безобразию

всех своих Петров и Павлов? Кричал ли на них? Лишал ли тринадцатой зарплаты? Или смирился сразу? Пусть, мол... Пусть будут принципиальные альтисты, пусть... Только обидно за брошенные пастбища. Таким образом, господи, я у тебя договорилась. Я свалила собственные дурьи дела на твои очень далекие и высокие плечи. Полагаю, что, не дотянувшись до них, я уронила мелкоту своих проблем и мыслей на какое-нибудь несчастное африканское племя. Под звуки гобоя оно радостно подхватило мои нещедрые дары и теперь сожрет каких-нибудь собратьев... Роняем мы гадости, роняем. А их надо в круглую кучку и в дым...

Значит, приходил ко мне в ночи гонец с рейтузами, дисквалифицированный гобоист оркестра, а ныне принципиальный его отопитель.

— Я приняла его за черта, — сказала я Асе.

— Ничего удивительного, — ответила она. — У него деформированы стопы, большой палец раздвоен. Он носит особую обувь.

— А я думала, что он просто коротышка на каблуках.

— Временами ты мне противна, — ответила Ася. — Среди маленьких мужчин процент гениев выше, чем среди высоких. Но тебе подавай мужчину большого.

— Мне подавай, — ответила я. — Я хочу мужской видимости. Когда это мне и с кем еще случится добраться до гениальности...

Я посадила Асю в поезд Москва — Свердловск, в теплое купе с чистыми занавесками. Везет же людям — они куда-то едут. Мне же достались беременная Женя, рассерженная А. Г. и мать Жени в виде неясности: приедет? не приедет? А приедет, куда мне ее девать? Ася закрыла свою квартиру, ключ вместе с котом и пальто-электрик отдала соседке. Последние ее гости жались к батарее на лестнице и жалобно смотрели на закрытую Асину дверь. Сначала имелось в виду, что все они пойдут на вокзал махать вслед уходящему. Но к вагону мы подошли с Асей вдвоем. Неприкаянный народ по дороге рассосался. Сени-гобоиста не было вообще, а рейтузы как раз были на нужном месте.

Конечно, звонок от матери Жени был ночью. Сама же дала телефон, кретинка. Конечно, самолет прилетал поздно вечером. А когда же еще?

— Я не знаю Москвы, встретьте меня.

— Попалась! — злорадно сказал муж. — Будешь знать...
Говорю сразу — меня ни о чем не проси.

И я снова пошла в райком. Вот видите, какая правда жизни! Я ведь шла туда за спасением, потому что только А. Г. могла организовать дешевую гостиницу, а еще лучше — комнату в общежитии и опять же быстрый обратный билет.

Конечно, пришлось ждать. А. Г. пришла сердитая. «Как неудачно», — подумала я. Я еще не знала, что сердилась она на меня, хотя я ей еще и слова не сказала.

Выяснилось.

Женя в роддоме качала права. А так как она была по звонку от А. Г., ей там потакали. Перевели в палату на двоих, но вторую койку не занимали. Поставили настольную лампу. Еду приносили в палату, хотя Женя была ходячая. К ней приходил «психолог», который вел с ней красивые беседы о радости материнства. Но Женя лыком шита не была, она как-то быстренько усмотрела, что «психолога» интересуется и многое другое. Девушка просто зашла в радости отмищения. И «психолог» узнал много полезного. Как в некоем доме некая женщина собирает сброд, который трясет бубнами, маракасами и другими разными ксероксами, предаваясь грехам плотским и политическим.

— Ну? — спросила оскорбленная А. Г. — Я, получается, всему этому помогаю.

— Но она же не трясет бубном, — говорю я. — Она наоборот. Она сдает всех скопом. И вообще начитанная, любит Булгакова. У нее от него, можно сказать, ребенок.

Это я так острила, потому что до смерти боялась, что сделай сейчас А. Г. ручкой отмашку — и на моей голове закрипит гнездо с Женей, ее дитем, ее мамой и — откуда я знаю? — может, и залетный, у которого жена и дети, спикирует. Чего только не случается с пролетающими над гнездом кукушки.

Мне хотелось обнять А. Г. и помянуть ее на руках. Хотелось сделать какой-нибудь душевный подарок райкому. Вышить бы мне крестом партийные суры или наковырять в рисовом зерне Мавзолей. Да мало ли что...

Только, только бы А. Г. меня не выпихнула в грудь.

— Забирайте ее немедленно, — твердо сказала А. Г. — Я уже позвонила, чтоб ее выписывали. Занимаем больничные места неизвестно каким контингентом.

— Я потому и пришла, — сказала я. — Прилетает ее мать. Конечно, они сразу и назад, но мало ли... Может, захотят что купить младенцу или какие продукты... Пусть ее мать и заберет из больницы.

Что тут скажешь. Все-таки надо вышивать крестом суры. Она была мне безропотной помощницей, эта Анжелика Геннадиевна, дай бог ей здоровья. Уже через полчаса я уносила в кулаке телефон и адрес некоего дома приезжих, рядом с аэропортом, где мать и дочь могли перекантоваться какое-то время.

С вечера я засела в аэропорту, но самолет ночью не прилетел.

Не прилетел он и днем. Много говорили о керосине. В дремоте явился китаец, представился: «Керо Син». — «Я так давно вас знаю!» — воскликнула я правду.

В моем детстве у нас в глубине буфета всегда стояла бутылка авиационного керосина с притертой пробкой. Как он попадал в наше захолустье, не знаю. Ничто железное летающее не могло бы у нас ни сесть, ни взлететь в силу причудливости рельефа — то кочка, то яма, то террикон, то шурф. Но тем не менее авиационный керосин в доме водился всю мою детскую жизнь. Может, весь его извели на мое хлипкое горло, которое лечилось именно им? Бабушка лекарства не жалела, с тех пор от ангин как от бедствия я избавилась. А если иногда прихватит — ищу авиационный керосин. Хотя нет, вру... Я ведь, по правде говоря, не знаю, чем авиационный отличается от того, что в примусе и керогазе. Жизнь через эти зажигательные предметы тоже прошла. И, бывало, прихватит кого горло, отливали рюмашечку от щедрот из простецкого бидона.

Нет, нас так просто не взять, не взять. Вот сижу я сутки в аэропорту, неумытая, с нечищеными зубами, жду чужую маму и ловлю себя на том, что абсолютное бессмысленное терпение есть свойство моей души. Я уже с ногами на лавку и кулак под голову ложилась, а могу и просто на газетке на каменном полу... Многого могу, когда вокруг меня много многих... Человеческое количество перегородило путь вовнутрь себя самой, отделило меня от собственных мыслей и чувств, я стала толпой, я жужжу, меня много. Если повторять «много» несколько раз, возникает другое слово. Потом, через годы этим будет увлекаться Андрей Вознесенский, а я напрочь забуду, что знала этот орфоэпический кунштюк давно. Впрочем, я так много уже забыла, что, если начать собственную жизнь сначала, вполне можно снова прорубать тобою же пробитые просеки. Господи! Как я тебя понимаю! Ты посмотрел и увидел нас таких. «Да, — подтвердит тот, что ошúюю¹, — они опять свалились в ту же яму. Я знал, что так и будет». — «А я надеялся! — закричит в сердцах господь. — Я надеялся, что на этот раз...»

Вечером меня нашел в аэропорту муж, грубо тряхнул за шиворот. Потом так же грубо и невежливо он оставил в радиосправочной информацию для прилетающей пассажирки рейса номер... Она же должна была в справочной взять адрес дома приезжих и отправляться туда.

Я тупо подчинилась, тупо приехала домой, тупо лежала в ванне. Я оставалась толпой, и момент индивидуализации еще не настал. Дети были робки, участливы, муж, вымыв меня и уложив, довольно похрюкивал. Я отметила, что человеческое и свинячье всегда вместе. Как горн и барабан.

Утро было ясным и умным. Я была дома, была чиста. Я сделала, что могла. Сейчас я позвоню в дом приезжих, и, если наконец самолет прилетел, мы пойдем забирать Женю. Вместе с мамой, которую я уболтаю по дороге. Я нарисую ей счастье иметь внуков и подтолкну к деликатности по отношению к дочери, невесте и вдове.

¹ О ш ú ю ю — слева (церк.-слав.).

В фантазиях меня заносит. Погибший «жених» казался мне все более и более живым. Для убедительности правды всегда нужны подробности. Я придумала ему изъяны — левоногую хромоту (кусочек чертовщинки). Очки с сильными диоптриями и косой шрам от соска в подмышку. Хорошо бы она меня спросила, откуда я знаю про шрам. Это был бы король вопросов. Подходящий ответ — мыла, мол, маленького в стоячей воде, как сестрица Аленушка братца Иванушку. Другой вариант: мне шрам выплакала в грудь Женя и, может, именно этим пронзила: как пальчиками своими нежно шла по шраму до самой щекотки!

Какие детали! Как обрастал обман, как плодоносил! Какие там ребра скамейки над грязной Патриаршей водой. Очки и шрамы, шрамы и очки.

Я позвонила в дом приезжих — названная дама не объявлялась.

Я позвонила в роддом сообщить, что Женю заберем не сразу, не утром, но мне сказали, что она уже выписалась и ушла.

Гнездо на голове заскрипело и как бы накренилось. Пришлось выпрямить позвоночник, но гнездо продолжало крепиться, норовя свалить меня с ног.

Я сказала себе: все. Я хотела как лучше. Я сделала, что могла. Я чуть не вышила суры... Я не виновата, что все ушли незнамо куда... В конце концов, это их право. Не маленькие. Все, слава богу, в рожальном возрасте и старше. Потеряются — найдутся, а мое дело — сторона. Я отправила в Пышму дурочку Асю, а она пристроила кота. Все!

Никто не звонил. Бараний суп получился вкусным, вот и славно, сказала ему я. Я вычистила до блеска гусятницу. Хорошее, в сущности, дело. Не надо никому врать и ничего клянчить, надо успокоиться. Выстирала дверной половик. Самые лучшие и правильные дела — простые. Я носила с собой секатор, и если вдруг из мокрого половика начинала вылезать нить и в ней шершавилась Ася со своим омшаником, то секатор был тут как тут. Кастрюльное дно — важнее и выше. Ах, как они у меня блистали в этот день! Дны. В день.

Я абсолютно не знала, куда делись мои подопечные, и знать не хотела. Конечно, было интересно, где они. И почему я, единственный человек, который может их свести, не востребован к деятельности. Я даже не смогу доложить Асе о завершении операции. И А. Г. тоже человек, не собака в этой истории. Может позвонить и спросить: «Ну как?»

Никого и ничего.

Через два дня я стала до смерти бояться. Объясняю чего. Боялась несчастья с ними. Ну мало ли... Неуклюжая беременная без прописки попадает под машину. На глазах у матери, которая идет ей навстречу. Обе при смерти и никому не нужны. Я расчесала свою вину до крови, и меня было впопору сдавать компетентным инстанциям.

— Ну где же они? Где? — задавала я вопрос мужу и, глядя на себя со стороны, комментировала: «Ишь как заламывает руки!»

Муж на вопросы не отвечал. Он всегда презирал качество моих проблем. Он, можно сказать, ими гребовал. Да, приволок меня из аэропорта, да... Но не потому! Не потому, что пожалел... А потому, что постыдился. Жены постыдился, которая коротает сутки на вокзальной лавке по причине полной идиотии. Не много ли раз мелькает у меня в тексте лавка как таковая? Но я ведь не нарочно... Так по жизни, а значит, и в моей голове... Не воспаряю я. Не птица. Нэ сокил... Если лавка-скамейка реализм, то я собака, которую привязали к ржавой ее ноге. Кто привязал? Наверное, ты, господин... Каждому городу нрав и права. Каждый имеет свой уголочек... По-моему, это Скворода или кто-то еще из философствующих хохлов. Одним словом, каждой собаке место.

Передала ли я свои дурь и смятение тех дней? Если нет, значит, не умею... Простите автору его беспомощность...

А потом позвонил телефон. Звонила наша общая знакомая с Асей. Мы дружили с ней книгами, обмениваясь ими у Аси, — так было удобно географически.

Лена спросила, где Ася и что за странные люди живут у нее на квартире.

— Какие люди? — поперхнулась я.

— Но это я вас об этом спрашиваю, — засмеялась Лена.

Лифт не работал, и я шла пешком. Под батареей лежал Асин кот. Рядом стояла консервная банка с остатками рыбы. Пахло, как говорят теперь, круто. Кот открыл глаз, и я поняла, что он знает, что я его знаю.

— За тебя дали пальто, — сказала я ему. — Ты не беженец и не бомж, а в полном своем праве.

Кот фыркнул и встал на лапы. Я поняла, что он пойдет за мной, может, специально для нашей с ним встречи лифт и был сломан. Так сказать — бессмысленность и дурь жизни строго и четко детерминированы. Бесхозяйственный кирпич летит, зная куда и зачем.

Дверь в квартиру Аси была широко распахнута. Женя с венником в руках стояла в прихожей, и величественный профиль живота сиял в оглушительном зеркале. Зато в позиции «фас» брякли губы, спелые, мокрые, коричневые. Губы выворачивались наизнанку, они сигналили, что все поспело и пришла пора обернуться мякотью, соком и плодом... Такой готовенькой роженицы я сроду не видела. Некая женщина собирала с пола ошметки старых газет, на столе стоял какой-то мужчина, тряпкой на палке снимал паутину.

— Здравсте! — сказала Женя. — А мы уже дома. Где мои рейтузы? — Она хихикнула. — Чужое надо отдавать.

Асин кот терся об ее ноги. О, великая кошачья мудрость пренебрежения к обременительному чувству любви. Что ему Ася, отдавшая за его благополучие «электрик». Ему нравились большие икрюстые ноги Жени, и какая ему была разница, каким таким образом эти ноги сюда пришли.

— У меня же ключи! — засмеялась Женя.

Мать Жени уже стояла рядом с дочерью. Это была маленькая, можно даже сказать, мелкокалиберная женщина. Мелким инструментом ей наковыряли глазки, и даже на худом, детской формы лице они смотрелись как амбразурные щели. Нижняя губа оттопыривалась вниз, делая лицо похожим на кувшинчик с носиком. Губа была треснута, видимо, по причине частого истечения вод.

— Нехорошо, — сказала я. — Нехорошо въезжать в чужую квартиру.

— А хорошо занимать одной две комнаты? Хорошо? А не отдавать чужие рейтузы?

— Я куплю вам рейтузы, — ответила я. — Я думала, это не вам. Асе.

— Асе? — закричала Женя. — Это с какой же стати?

И она повернулась в сторону мужчины с палкой. Сеня-гобоист выглядел жалко, а главное, он делал мне какие-то знаки при помощи свисающей с палки паутины. Я не умею читать палки. И еще в гневе я тупею. Если я не ору, не подбочениваюсь, не плююсь и не прибегаю к народной мове, то только потому, что хорошо себя знаю. Исплюю себя и изжужужу потом, уже все забудут, какая я была, а у себя самой я останусь как бы в раме... Навсегда. У меня есть не скажу сколько таких портретов. На Страшном суде их расположат вокруг меня. Не знаю, какого веса будет котомочка добрых дел, но «Я в раме» будет звучать убедительно, поэтому... Поэтому я в гневе тупею и молчу. И чем усердней молчу, тем круче тупею. Вязкий вар истекает из только ему известного места, спрямляя в голове извилины и бороздки мыслящей материальной части.

Стоя в прихожей Аси, я хорошо видела себя в зеркале, бегущую к апофеозу тупости, когда я вполне могу поздравить их с новосельем, предложить помыть полы или сходить в магазин за свежей рыбой для кота, да мало ли на что способен человек с вязким варом в голове.

Надо было бечь. Это было нормальное и грамотное чувство, которое только одно и могло вывести из дури нелепых обстоятельств.

Но я шагнула в комнату к гобоисту, играющему на паутине, захлопнула дверь и сказала ему подбоченившимся голосом:

— Чтоб ноги их здесь не было. Я куплю рейтузы, чтоб ее не просквозило. Если они тут задержатся, я скажу матери, кто вы... Она ведь этого не знает? — Гобоист тряс седою бородою. — Более того, я сообщу вашей жене о Вальпургиевых играх.

Главное я успела. Потому что дверь распахнулась, и Женя сказала, что пойдет куда надо и «Асин притон накроют»,

а ее не тронут как кормящую мать, у нее уже молоко появилось.

— Вот! — сказала она, тыча пальцем в сырой след на халате.

— Все будет в порядке, — ответил он.

— Ключи и кота отдадите соседке. Ей заплачено. — Я закрыла за собой дверь.

Последнее, что я видела, была я сама, выходящая из квартиры. Зеркало, как всегда, было на высоте. У меня самой было еще то лицо. Так сказать, по другую сторону красоты.

В ближайшем спортивном магазине я купила безразмерные рейтузы. Возвращаться не хотелось, но надо было, во дворе поискала мальчика с выражением «доброе вестника», но такое выражение теперь не носят. И если сам его не имеешь, какие такие претензии предъявляешь другим?

Они гуляли по двору — Женя и гобоист. И, судя по жестуляции, гобоист был пылок. Я сунула им штаны без слов и пожеланий, он меня сам догнал и сказал, что все в порядке, «они уедут».

Почему-то меня это уже не занимало. Совсем.

Потом вернулась Ася. Позвонила. Сказала, что в квартире кто-то жил. Но, кажется, ничего не пропало. Только дракончики. Их было шесть, а осталось два. Но, может, их давно нет? Она такая стала невнимательная. Ася приглашала в гости, но я отговорилась. Она же мне сказала, что у Жени родился сын и его назвали Михаилом.

Показалось или на самом деле в голосе Аси было некое смятение, хотя с чего бы ему быть?

А к следующей Вальпургиевой ночи Аси не стало. Ее сбила машина. Не насмерть, слегка. В больнице она подробно и радостно рассказывала, как «еще бы чуть-чуть...». И мы все всплескивали руками. А ночью случился обширный инфаркт. В гробу у нее было выражение человека, выскокшего из-под трамвая. Разрыв же сердца выражения не оставил...

На поминках я сидела на приставленной сбоку лавке рядом с гобоистом. Он гордо сообщил, что у него родилась дочь.

— Сын, — поправила я.

— Помимо, — ответил он. — Помимо. Дочь Маргарита. — В голосе была гордость. Он заерзал костлявым тазом, маленький гобоистик Большого театра.

— Вы ешьте, ешьте, — говорил он мне, как хозяин стола, и подталкивал тазик с оливье. — Весна чревата авитаминозом.

Пришлось бежать. На улице было тепло. Апрель как бы раскочегаривался изнутри. По краям его было мартовски сыро, а из глубины уже парило... Странные почки мыслей и чувств...

Странные, ни про что — вот они как раз и прорастут, глупая история наберет силу и пробьет толщу. И я напишу именно этот рассказ, а не другой... И с этим ничего поделать нельзя.

Ну чем вам не косточка авокадо?

РАССКАЗ ДЛЯ ДИМЫ

Дима! Это была с моей стороны наглая авантюра — согласиться в три дня написать рассказ о любви. Как только я вам сказала «да», они все попрятались — понимаете? — попрятались эти словечки, зернышки, тряпочки, запахи, которые идут в рост исключительно по собственной прихоти и воле. Ведь бывает так, что они — ненаписанные — толкают меня в коридоре, когда иду и думаю о том, что бородинский хлеб нельзя покупать в магазине на углу, а надо идти на другую сторону улицы, вот тогда он и вылезает — дух рассказа — мне навстречу, как айсберг в океане, и все, мне крышка, я забываю, что такое хлеб вообще.

Тут же все наоборот — ничего! Как будто они не живут в щелях моего дома и на донышках моих стаканов. Будто не пахнут чабрецом или горьким перцем. Я не знала вашего телефона и не смогла вам отзвонить и сказать «нет». Но тут

вас показали по телевизору, как вы опускаете усы в пену пива. Я потерялась окончательно, потому что не могла взять в толк, почему вы, такой из себя крутой и успешный, обратились к пожилой леди. Что я вам такого сделала? Я ведь, Дима, из доисторического материализма. Для чего-то милостивый Бог дал мне срок и время, чтоб я дожила до нынешних ирокезов с дымящимися фаллосами и растопыренными ножками их подруг, до измерения красоты сантиметрами и прочей, извините, хренью.

И чтоб я им — 90-60-90 — писала рассказ про любовь?! Вы надо мной посмеялись, Дима, признайтесь? Они ведь и слова этого не знают. Они раздувают щеки и говорят «оргазм». Разве они поверят, что можно сходить с ума, трогая варежку девчонки? А еще раньше моя бабушка хранила в книге засушенные цветы, а я их сдувала со страниц (сволочь такая), так как они мне застили буквы.

Пока я придумывала, как мне поделикатнее отказать вам, опять девушка 90-60-90 (кажется, у нее есть и фамилия — Салтыкова) в очередной раз вытянула на телевизоре ножку по самое то... Вот тут он и кинулся на меня — не рассказ, нет, а живая история, которую мне пришлось видеть и наблюдать в свои юные лета. Дима, специально для вас рассказ о деревянной ноге. Посвящается Ирине Салтыковой, девушкам ростом 1 м 90 см, мальчикам-буравчикам и прочим с пирсингами.

Глава первая

СМЕРТЬ

Ах, какой это был праздник для нас, детей, — проносимый мимо покойник. Надо же выпасть такому счастью, что дом моего детства стоял прямехонько на пути к последнему причалу. Мы были как бы гостиницей «Москва», а мимо нас одного за другим несли как бы замуровывать в Кремлевскую стену членов Политбюро и прочих членов. Вот такое везенье было у моей улицы. Так как городок наш невелик, то мы всегда знали, кто, когда и во сколько.

Убитые в шахтах, которым было несть числа, интереса для нас, детей, не представляли. Слишком обычно. Интересны были повесившиеся, отравившиеся, убитые в драке и, естественно, молодые.

Мы взбирались на все деревья и видели картину сверху, вот отчего вспомнилась гостиница «Москва». На самых верхушках по причине малого веса всегда сидели мы с Ленкой Гусем. Ветки трещали под нами, гнулись к самой сердцевине смерти — гробу, что позволяло нам отмечать какие никакие подробности различий у покойников. Кто в чем одет, кому пожалели дать штаны, а кому ботинки.

...На эту смерть высыпала вся улица. Даже те немногие мужчины, которые тогда существовали в природе. Обычно они стеснялись своего любопытства и на все смотрели из-за угла или из-за занавески окна. Подумаешь, смерть, говорили они своим страстным безразличием, не стоит того...

Так на эту смерть все выползли.

Хоронили Лизу Петренчиху. Молодую, сильно болевшую сердцем женщину. Казалось бы — не событие. Но вокруг Лизы была масса всего интересного. Во-первых, неизлечимая болезнь сердца. Мы, дети, первый раз про такое узнали: болезнь называлась «порок». Во-вторых, ее мать имела всего одну ногу, а другая была у нее деревянная.

Она оставляла после себя глубокие круглые ямки в земле, и кто-то видел, что после дождя вода в этих ямках миглом вскипает и из них долго идет пар. Естественно, мать считали ведьмой. В-третьих, Лиза Петренчиха гуляла с немцами как хотела. В нашем городке был всего один немецкий танк — так вот ее на нем немцы катали. А уж про их «Виллисы» и разные другие двигалки — и говорить нечего. Но никто в Лизу камнем не кидал, хотя немцы были враги. Говорили об этом тихо и сочувственно, как моя бабушка. «Хай, — говорила она (это в смысле «пусть», а не в смысле «хай Гитлер»), — хай! Ей-то жить осталось всего ничего. Разве она виновата, что война? До конца ее ей все равно не дожить».

Конечно, мы были темные и жили на оккупированной территории, а потом лет десять писали в анкетах: «Был на оккупированной территории», — и мало не казалось. Так

что бабушка говорила «хай!», не подозревая, что под танк надо было бросить гранату, а оставшуюся жизнь всю до капли отдать родине, а не пользоваться ею самой. Ишь! Одним словом, хоронили сильно гулящую, а цветы сыпали всю дорогу, как стахановке. (Это уже более позднее осознание.) А ведь нас уже освободили, и все, кто попался под руку, уже сидели в допре, но эти похороны, как я понимаю сейчас, были органами не учтены, а может, все дело было в том (так и было, так и было), что вернулся с фронта подраненный Лизкин муж, а был он аж майор, и его прочил размордевший в эвакуации райком в свои ряды.

Что я наблюдала, сидя на верхотуре тополя? Сине-белое мертвое лицо, опухшее от горя живое лицо «косяной ноги» и очень красивого дяденьку, который держал на руках Вальку, свою дочь и, естественно, дочь покойницы. Валька была горда так, что даже нам, тогдашним ирокезам, было неловко. Видимо, пребывание на руках живого папы-майора было выше горя от лежащей в гробу мамы. Мам вокруг (живых, конечно) было навалом, а пап, считай, не было ни у кого. Ну, и что тут может стать важнее?

Похоронили. Выпили. Говорят, «косяная нога» кричала, что лучше б ее Бог прибрал, калеку. Правильно кричала, между прочим, все так думали. Хотя, говорили, у покойницы сердца считай не было, какой от нее прок жизни? Опять же, удачно умерла, муж не знает про ее игрища на танке. А если и узнает, то что он будет делать? Выкапывать гроб? Нет, что ни говори, но смерть — умница, она в жизни разбирается лучше, чем мы, дураки.

Глава вторая ЗАВИСТЬ И ТАЙНА

И идет себе время, идет...

Я всегда любила идти навстречу идущей с базара бабушке. Увижу ее издали — и аж захожусь от радости и бегу, бегу... Она дает мне поднести творожок в белой хрусточке или там пяток яичек в кулечке. «Осторожно неси, осторожно».

И я молитвенно несую, стараюсь. Но на этот раз бабушка была на себя не похожа, прогнала меня, не дала ничего, влетела во двор, села, едва дыша, и кричит: «Катя! Катя!» Мама вышла с мыльными руками до самых подмышек — у нее большая стирка.

— Катя! Я такое тебе скажу, такое... — задыхаясь, говорит бабушка. — Ты чула (в смысле «слышала»)? Они, оказывается, живут друг с другом, — она посмотрела на меня. — Иди, детка, отсюда, иди. — И я отхожу и прячусь за угол, чтоб все слышать. — Ну, мать Лизки Петренчихи и ее майор... Живут и спят почти с самых похорон и собираются жениться.

Я не вижу маминых глаз, но я так хорошо их знаю. Они у нее небольшие, но абсолютно круглые, такой фасон. И когда она удивляется, они делаются у нее в высоту больше, чем в ширину. Они становятся как бы поперек лица. И мама становится смешная, похожая на сиаamsкую кошку, которая хочет спрыгнуть с комода.

— Мне сорок восемь, — говорит бабушка, — мы с колченогой ровесницы, а сколько ж зятю, не знаешь?

— Знаю, — говорит мама, — он учился с Николаем (мой отец), значит, ему тридцать три...

— Это ж надо такое взять в голову! Пятнадцать лет разница. И без ноги...

Бабушка как-то так надолго задумалась, что мне стало важно увидеть ее лицо, и я вышла из-за угла. Стоило того! У бабушки было опрокинутое лицо, оно как бы все смотрело не на нас, а на что-то в себе, что-то глубокое, еле видимое. Но ей явно плохо удавалось видеть это нечто (слово «нечто» — курсивом) глазами, развернутыми на девяносто градусов.

— Ну, — сказала мама, — если б не нога, то она ведь красавица. Просто она махнула на себя рукой из-за Лизки, ходила, как старуха. А она красивее покойницы в сто раз. И опять же Вальку кто растил, пока Лизка тешила свою дырочку?

— Но смела бы я такое сделать? — гневилась бабушка, так, видимо, и не сумев понять, что там внутри ее сверкнуло разом горячим светом и куда-то делось.

— У тебя муж! Ты что? — закричала мама. — Какие могут быть сравнения? Просто на голову такое не наденешь!

Но бабушка посмотрела на нее так (так — курсивом), а потом и на меня так (курсивом), что я поняла, что мне из рук в руки передали некую тайну, некий фокус-покус, и, может, когда-нибудь я чего-нибудь и пойму в этом бабушкином смятении.

Молодые «старики» поженились и уехали из нашего городка. И фиг бы я стала это рассказывать, если б однажды не приблизилась к горячему бабушкиному секрету, переданному мне самым быстрым способом — взглядом.

Глава третья

ДРУГОЕ ВРЕМЯ

В десятом классе Валя пришла в нашу школу — она вернулась с родителями, и они стали жить недалеко от нас. Иногда мы с ней возвращались из школы вместе. Я не знала и не знаю до сих пор более спокойного и миролюбивого человека. Она была хороша собой, высокая, гривастая. Высокую гривастую женщину я видела и в их дворе. Мне хотелось ее посмотреть поближе, но не было случая. В детстве я не видела «костяную ногу» без платка. Эта же, с волосами цвета переспелой вишни, хоть и припадала на деревяшку, была как бы другой по сути. Валя называла ее мамой.

Однажды я все-таки за каким-то пустяком увязалась за Валею и увидела ровесницу моей бабушки близко. Боже, какая она была красивая. Все в ее лице было штучным. Глаза с каким-то морским отливом; чуть вздернутый кончик носа, чтоб лучше выделялся вырез ноздрей, почему-то мне хотелось сказать — королевских; ямочка на подбородке — лукавая придумка Бога в пандан пипочке носа. Да все! Овал лица, как бы не допускающий возможности обвала и стекания в руины шеи. Все в ней стояло, торчало, как у молодой. Она

заметила мою пристальность изучения, она, конечно, ее понимала, но не осуждала, а дала рассмотреть, а потом гордо зашкандыбала в дом, приподняв на крылечке юбки, чтоб я увидела и эту деревянную уродку, которая, как я слышала, кончалась где-то там, у самой нежности ее тела. (См. рекламу Салтыковой.) Я почувствовала резь в паху и быстро ушла, думая, что, видимо, она и взаправду немножко ведьма. Вот передала мне боль. Боль от своих ремней. И опять же — люди по-прежнему видели вскипающую в лунках ее следов воду.

Все говорили, что они живут душа в душу. Но уже было ясно, что счастье это людей раздражает. Мы с ногами, думали женщины, а живем с ленивыми козлами, а старуха-яга отхватила не свой товар.

«Ну, ничего, ничего, — говорили тетки, — засохнет у нее там все, это дело времени. Вот тогда посмотрим, куда майор подастся».

Глава четвертая

ПЛАТЬЕ

Мы кончили школу. Остался только выпускной. Мне сшили дурацкое платье из говенной дешевой ткани, какую сумели достать по нашим деньгам, она тянулась от одного прикосновения. Я села, а когда встала, зад платья был на ладонь длиннее. Тогда мама стала на колени и оттянула мне перед. С наказом: «Садись, поднимая подол». Я ушла на выпускной с мальчиком, с которым уже год целовалась и судьбу свою считала практически решенной. Он врал, что у меня красивое платье, а вранье — искусство тонкое. Не умеешь — не берись. Я разозлилась и на него. И на платье. И на маму, которая собиралась идти на бал в черной шелковой юбке и розовой шифоновой кофточке. Я так их хотела! Но мама тоже хотела выглядеть молодой у выросшей дочери — сейчас я это понимаю, — поэтому мне достался тянучий шелк. Жизнь явно не удалась.

В школе я все время смотрела во все отсвечивающие поверхности, чтобы проверить стабильность длины юбки. Время от времени я дергала себя за подол. Но потом, когда выдавали аттестаты, я забыла наказ и села на платье. Аттестат получала кособокая дура, у которой концы с концами не сходились, и снова нарядная — не мне чета — мама присела посреди людей и стала мне выравнивать подол, после чего я побежала искать место, где можно поплакать от всей души.

Глава пятая

ОРГАЗМ. ТАКОЕ МЕСТО БЫЛО

Наша школа была построена в те времена, когда парадные двери и парадный подъезд сразу же, теми же людьми, что их строили, заколачивался наглухо. В школу мы входили через узкий черный ход, а на большом крыльце перед заколоченной парадной дверью мы грелись на солнышке, тихонько целовались, переписывали домашние задания, плакали от несчастной любви и клялись в счастливой.

Обиженная жизнью, я пошла туда плакать. Но там было занято. Двое сидели в обнимку. И это были не школьники. Я отошла за куст, чтоб выяснить, не учителя ли это, чтоб знать точно и прогнать чужаков.

Ее трудно не узнать. Она торчала в меня ногой, сидя на коленях у мужа, и они, освещенные светом окон школы, целовались в такой засос, что сначала у меня перехватило дыхание, потом в ком сжались кишки. Чужая любовь вошла в меня с такой страстью, что пришлось сжать бедра. А они раскачивались, их руки переплетались в какой-то невообразимый узор, это был секс в полной мере, хоть и без расстегнутых штанов, если даже я получила толчки оргазма. Значит, бывает такая любовь. Бабушка моя знала про это; когда она смотрела внутрь себя, она искала в себе такую же силу любви и не нашла. Она так хотела, чтоб я поняла, что это такое, чтоб жизнь не обделила меня.

Откуда-то из-за угла вышел мой возлюбленный. Он был комплектен — две руки, две ноги и все остальное. Он искал

меня, но не видел. Я его уже не любила, я вспомнила, как, целуя меня, он давил мне зубы. Как, пробираясь ко мне в кофточку, царапал меня своими заусенцами. Все было кончено. Мне показали другое кино. Поцелуй варежки любимой, дорогие мои ирокезы, бывает потрясительнее обнажения. Любовь, птички мои, — это когда в следах любимой вскипает вода. А не вскипает — значит, не любовь, а лужа.

*Черной памяти Дориана Грея
посвящается*

КАК НАКРЫЛОСЬ ОДНО АКМЕ

Акме — это расцвет. Это когда ты весь исполнен и наполнен щедротами Бога, природы, мамы, папы... Я знаю еще кем? В общем, в акме ты на пике и, если взмахнешь руками, не бойся разбиться — полетишь как миленький, полетишь как птица. У женщин этот возраст где-то в районе тридцати пяти-шести лет. Дважды акме не приходит: упустил, проглядел — твое личное дело. Это мне объяснил один хороший ходок по женщинам, который своим умным еврейским носом вынюхивал аромат цветения и, будьте уверены, был именно там, где стол был полон яств.

Но однажды на моих глазах одно акме накрылось медным тазом, хотя так цвело, так цвело, что акме не особой силы просто с ума сходили от обиды. Когда пахнет сирень, ромашки прячутся и никнут лютики. Это и дурак знает. Как говорится, не та энергетика.

Фаня работала машинисткой в редакции и была так хороша собой, что временами сбивала график выпуска газеты, если фотокор проходил мимо нее со срочными снимками. В общем, не дай бог было нести патроны мимо Фани. Заглох бы пулемет к чертовой матери. Конечно, ее фотографировали все. И так и сяк.

То было время, когда в голову не могло вспрыгнуть, что за это можно брать деньги — за фотки, что лицо — товар, и прочее. Достаточно было гордости, что ты на первой полосе

газеты стоишь под знаменем, что твое лицо на коробке торта и на обложке «Крестьянки». Когда Фаина вышла замуж и родила Ксюшу, конечно, тут как тут объявился фотограф и снял счастливую мать. Плохо получилась Ксюшина лысая головка дынькой, но мало ли с какими головами мы рождаемся — пока пробиваешься на белый свет, вполне ее сомнешь. Потом все выравниваемся. И, как известно, людей с головой тыквой или с примятым затылком, если и есть какое-то количество, то сотые процента. Не больше. А для девочки вообще нет проблем: волосята подрастут, кудрей наведем — ну где ты, где ты, дынька?

Отец Ксюши был местный писатель — два притопа, три прихлопа. Он еще при Хрущеве рассказывал про ужасы раскулачивания, и у него на эту тему был как бы написан роман, но кто ж мог тогда думать о его публикации? Правда, до гласности он не дожил по русской причине: будучи злым на водку, он уничтожал ее в большом количестве, чтоб не досталась молодым.

Когда стало можно публиковать все, красавицу Фаню попросили принести роман покойного Гриши. «Дай, — сказали, — почитать. Сейчас его время». Она принесла в редакцию грязную, в пятнах рукопись, и уже со второй страницы нам стало ухмыляться лицо старого пьяного графомана, который не смог ни рассказать истории, ни заметить деталь или слово — одним словом, ни-че-го. Надо было все вернуть Фане, сказав какие-то слова. Люди робели куда больше, чем надо было. «Господи, — засмеялась она, — да я всегда знала, что из него писатель, как из говна пуля. Это вы над ним квохтали, как клуши. Он же дурак был набитый! Вон и у Ксюшки ума нет, одни двойки по всем предметам. И это в третьем классе! Но в школу слабоумных я ее не отдам — поубиваю всех, но не отдам».

Ну что бы было, считай Фаня роман шедевром? Такое среди жен и вдов существует сплошь и рядом.

Фаня купила бутылку вина, и все с ней выпили в машбюро за упокой Гриши и за упокой романа. «Пуцу на растопку, — сказала Фаня. — Она жила в маленьком доме среди больших. Живой Гриша боялся больших домов, высоты,

лифтов, лестничных поворотов и татей, скрывающихся на чердаке. Власти уважали Гришу. Уважали и его слабость перед городом. Пусть живет человек с трубой, если ему от нее пишется для народа.

Дом никому не мешал и грозил остаться надолго. Живущих в домах со всеми удобствами дымок из трубы посреди двора даже умилял, ничто у нас так не ценится, как дымы и ностальгия. Поэтому, поглаживая ребра батареи, жильцы имели возможность видеть, как уходил в трубу вторично писатель Гриша Щукин, но как можно идентифицировать дым? Сия субстанция эфемерна и уходяща, глядишь — попер из трубы мощно, а через секундное время — где он? Найди его в небе! Одним словом, когда говорят о бесповоротной неудаче «все ушло в трубу» — говорят точно.

Многие с Фаней на почве романа сблизилась. Увидели как бы ее ум и прозорливость, а не только красоту.

После сжигания рукописи Фаня надела самую коротенькую юбочку и самые высокие каблуки и пошла в хозотдел обкома, который готовил к сдаче новую девятиэтажку. Она сказала завхозу, что ей одной в доме страшно, и Гриша все скрипит половицами и стонет. Все квартиры были в доме распределены, но Фаня сидела так, как, потом мы увидели, сидела в «Основном инстинкте» Шарон Стоун. Конечно, до такой низости, чтоб прийти в обком вообще без трусов, Фаня опуститься не могла. И в этом глубочайшее и принципиальное отличие Фани от Шарон. У Фани были понятия. Распределитель квартир американского фильма не видел, но видел Фанины прелести и понимал, что они лучшие в мире, поэтому бестрепетно вычеркнул врача-глазника, который ставил линзы жене секретаря обкома. Линзы уже стояли, а белая плоть была дана только в визуальном ощущении, зато каком! Была наворочена куча-мала: большой архив народного писателя, возможный музей-квартира и прочее. А топить дом женщине трудно, это было писательское хобби. Завхоз не знал про романый дым из трубы, а Фаня медленно-медленно перекадывала ногу на ногу. Так она оказалась на девятом этаже в трехкомнатной квартире глазника, где отблагодарила товарища завхоза щедро и до полного устатку.

А узнав про глазника, сходила и к нему на прием. Не оставлять же человека без радости!

За ней ухаживали все. Просто мужской род не мог себя удержать. Иногда она скрывалась в фотолаборатории с наиболее удачливым поклонником, причем шла туда без туфель, на цыпочках, чтоб не цокать каблуком, но возвращалась гордой ступней, не просто цокая, а громко, победно стуча. И для всех оставалась тайной такая демонстрация. Естественно и даже как-то легко возникали скандалы и мордобития. Однажды очень уж расхотелся профком — это когда муж председательши, редакционный шофер, вышел из фотолаборатории весь в помаде и духах Фани, а она, жена, так некстати стояла в коридоре, держа стремянку, пока кто-то там вкручивал лампочку. Могла ведь бросить держание и стубить человека, но Вера Карповна дождалась включения света, сомкнула стремянку, поставила в угол и уже потом пошла за мужем в мужской туалет. Тот, вместо того чтобы уничтожить улики, блаженно их разглядывал в зеркале — ну кто мог подумать, что мужской туалет не был полной гарантией от вторжения женщин? Вера же Карповна вошла, махнув на писсуарщиков — нужны вы, мол, мне! — развернула лицом к себе мужа и так ему набила морду, что выбила зуб и сдвинула носовую перегородку, потому что была связкой ключей и очечником из пластмассы. Другого оружия у нее, к счастью, не было. А потом собрала профком и поставила вопрос о моральном облике Фаины с последующим ее угоном с работы. Была очень задумчивая ситуация. Во-первых, машинисток не хватало: редакции надо было три, а работали две. Причем, одна еще ученица. Во-вторых, муж Веры ходил с таким лицом, что его впору было класть на трансплантацию. Фаня же говорила, что вообще не была в фотолаборатории — кто-нибудь ее видел? видел? Никто не видел.

Вера была вызвана к редактору вместе со всеми членами профкома, и «вместо того чтобы разделаться с этой блядью, — кричала потом Вера, — он нас называл рассадником хулиганства. И деньги на канцнужды припомнил, которые

сам разрешил потратить на обогреватель. Мы же, как цуцыки, мерзли с октября по март».

После этого случая Фаня насторожилась и задумалась. Одно дело ты красавица при муже, будь какой он даже никакой, а другое дело, когда ты вдова с ребенком. Прелести Фани не оплачивались, это было время свободной любви исключительно по охоте и без материального расчета. Что ни говори, а у социализма были свои плюсы.

Теперь у нее была хорошая «писательская» квартира, которую она частично обставила на Гришины «Рассказы босоногого детства». Книжка в три печатных листа, плюс матпомощь из Литфонда, плюс изобретательность Фани с ее гениальным «беру все, у кого что лишнее». Квартира выглядела стильно, и чьи-то старые вещи под Фаниными вязаными пледами заговорили голосом почти модерна.

Она решила, что будет сдавать одну комнату — как бы кабинет Гриши — мужчине-холостяку, который восстановит квартплатой финансовый баланс. Сколько там алкоголик приносил?

И на клич пришел молодой перспективный конструктор, которого переманили с другого города именно квартирой, но, как всегда бывает, оказалось, надо чуть-чуть подождать, смотри: уже последний этаж стоит, оплатим тебе гостиницу. Тут и подвернись Фаня. Надо ли говорить, что он пошел за ней, даже не спросив ни цены, ни места расположения квартиры. Он шел рядом и был так счастлив степенью такой близости в процессе движения, что, собственно, и не заметил, что предлагаемый дом оказался в самом центре, что он «престижен», что в доме сидит лифтерша и вяжет что-то длинное, до самого полу, что они взлетают на верхний девятый этаж. Квартиру, в которую они вошли, Жора Маркин сроду не видывал. Он был прост и молод. Тонкие вазоны, вмещающие один длинный седой стебель ковыля, который от легкого ветра, созданного их вхождением в комнату, головку свою склонил с одной стороны на другую. «Здрасьте, мол, вам». А под ним на деревянной резной тарелке лежали надломленные камни, которые выблискивали вполне дорогой серединкой. Халцедоны там всякие... Ах, Жора, Жора...

Тот тебя не поймет, кто не видел Фани. Она же стояла за спиной и горячо дышала в затылок. Но тут вошла девочка с глуповатой улыбкой, на вопрос, как зовут, сообщила, что она Ксюша, учится в третьем классе, учится плохо, но не в этом дело.

— А в чем? — спросил Жора.

— Надо быть хорошим человеком, а я такая и есть.

— Да? — удивился Жора такой глубине ответа при простоте вопроса. В другой раз он бы даже просчитал эту фразу математически, он бы повернул ее так и так и даже вывернул наизнанку — он любил делать такие штуки со словами. Но рядом стояла Фаня. Она спросила девочку: «Все сказала? Иди к себе!»

— Хорошая девочка, — сказал Жора.

— Она вам это самое и сообщила.

Жора согласился на все условия. Семьдесят рублей в месяц, баб не водить, утром чай и кофе не в счет. Постельное белье меняется регулярно, но личное пусть отдает в прачечную.

Когда Жора возвращался на работу, он лихорадочно думал, что забыл что-то очень важное. Он мучился, но не мог вспомнить. Уже в номере гостиницы, собирая вещи в чемодан, чтоб покинуть ее, он наткнулся на рамочку с фотографией Натки. Он смотрел на невесту и понимал, что из «этого дома» все вещи вынесены. Дом по имени «Натка» был пуст, в нем сквозило, и он видел, как летает над полом кудрявая стружка, пересидевшая где-то там в щели эпоху живого дома и играющая теперь на просторе мертвого. Жора был человек с понятиями. Он отдавал себе отчет, что это не нелепые фантазии, рожденные чужим очарованием, а вытеснение силой большей силы меньшей. «Так, видимо, это и бывает. Не постепенно, а сразу: разлюбил». Но названное слово не всколыхнуло с места близлежащих понятий: жалость, сочувствие, вину. Ничего похожего, а даже наоборот: ликование, восторг, вождение так пульсировали и так кричали в нем, что он взял рамочку с Наткой и засунул ее в дырку, которая образовалась вспучиванием паркетной доски, а горничная пластиночки паркета вставляла каждое утро

и притаптывала ногой. Сегодня она торопилась, так как не вышла на работу горничная седьмого этажа и ей пообещали, уберут она седьмой, заплатит вдвое и дать отгул. Игра стояла торопливости, дырка осталась едва прикрытой, в нее и легла девушка Натка, уже Жорик притоптал паркетины. Всякий человек увидит в этом аналогию похорон, но Жорик как раз не видел. Он просто убирал с глаз то, что стало пустотой, а значит, надлежало быть покрытым и окончательно несуществующим. Скажи еще вчера Жоре, что такое возможно в природе его вещей, он бы смеялся громко, даже голосисто, потому как считал себя человеком верным и порядочным.

Но случился переход. Таким, наверное, бывает и умирание, еще ты слышишь, как шипит на сковороде картошка и пахнет так аппетитно, и вдруг — ничего, просто ничего. Ни шипения, ни запаха, ни тебя. Хотя не хочется в это верить, хочется, умерев для всех, остаться еще в каком-то виде и досмотреть фильм про то, кто съест картошку и кто после помоем посуду. Жорик же притоптал паркет и вечером уже сидел на кухне у Фани и пил чай с весьма дешевой колбасой, потому что Фаня сразу решила: для постояльца — она бедная вдова, иначе какой смысл ей иметь постой?

На следующий день Фаня призналась товарке-машинистке, что этот полез в первый же день, несмотря на присутствие ребенка, пришлось «дать ему по роже» и объяснить, что постой со спаньем называется браком, и она имеет в виду выйти замуж, потому что это нормально, перепихиваться же по случаю пусть он идет в другое место.

— Значит, поженимся! — сказал Жорик.

— Как ты думаешь? — спросила она сотрудницу, которая писала на морально-этические темы, поэтому имелось в виду — знала все. То, что сама сотрудница была в разводе, что жила в коммуналке, что очереди на ее сердце не было никогда и никакой — значения не имело. Именно она давала советы. И знающая толк в отношениях с мужчинами всех сортов и качеств Фаня к ней и пришла. Той это определенно понравилось — неумехе было в кайф учить ловких и умелых по жизни баб. Она никогда никого не жалела. Чужие

разводы и чужие неудачи, а в редакциях о них знают больше, чем где-либо, вызывали в ней легкое радостное отвращение пополам с возбуждением. Она не любила женщин, и никому из них она не оставляла надежд. Фане она посоветовала держаться до последнего. Последний день был пятый. Это и так оказался длинный для нее срок. Но Фаня решила, что нечего ждать секретаря обкома или академика медицины, еще неизвестно, какими могут быть накладные расходы в виде бывших жен, детей и партийных взысканий. Перспективный, пробивной и свободный инженер-конструктор был вполне пристойным вариантом. Не хуже писателя определено. Она посмотрела паспорт — без штампов. Она выпросила все про родителей и их благосостояние. Мама Жорика лежала на операции, ей удаляли грудь, но после пятидесяти вполне можно и без груди, тем более что муж — как рассказывает Жорик — маму обожает всю жизнь как ненормальный. Это понравилось Фане, ибо несло хорошее генетическое обоснование и самого Жорика. Вот в тот день, когда Фаня пала под натиском Жориной страсти и клятвы жениться сейчас и тут же, он ее и сфотографировал. Она принесла портрет в редакцию, и все сбежались смотреть. Она стояла спиной к окну, и оконная рама была как бы ее рамой. Руки крест-накрест лежали на плечах. Бесконечно красивые руки на фоне черной комбинации. Они тоже создавали раму уже для шеи и головы. Случайно так получилось или Жорик был мастер строить композицию, но фотографию можно было увеличивать от рук, и тогда это был совсем другой портрет. Самообъятие было очень выразительным, и в нем как бы и заключалась суть. Тонкая шея была повернута чуть влево и вниз и делала лицо Фани чуть более асимметричным, чем оно бывает само по себе. Чуть вниз спустился уголок рта, зато обострилась правая ноздря, подчеркивая тонкость и изящество носа. Но самое главное — глаза. Они были как бы чуть разными. Левый был чуть прикрыт ресницами и не видел ничего, правый же видел очень хорошо, он просто высверкивал через ресницы. Фаня была очень хороша на фотографии. Она была изысканно хороша, что, естественно, вызвало нервность у фо-

токоров, которые снимали девушку и так и этак, но чтоб так! Они клеветали на непрофессионала, что у того неправильно поставлен свет, что левая Фаня темнее правой, что кисти руки на плечах сделаны абы как, «нет лепки», но это была критика завистников. Фаня была совершенна. Правда, что-то беспокоило в этой фотографии, какая-то чертовщина в ней существовала. Фотографию поместили в газете как этюд, и редакционный поэт «датских дней» написал к ней четыре проникновенных строки. Газета у всех лежала на столе, открытая на Фане. И все нет-нет, а смотрели на нее, чувствуя, что живущая в ней (Фане или фотографии?) сила все-таки нечистая и обязательно явит то, что пока еще прячет. Виделся, как живой, большой правый глаз такой силы ненависти и власти, что по спине начинали бежать, как полоумные, мурашки. Или ноздря начинала засасывать воздух с такой силой, что люди кидались открывать форточку. Народ в редакции сплошь из гущи жизни и без мистики, но газету стали прятать подальше. А завпропагандой вообще сожгла ее на дежурстве в помойном ведре от греха подальше. Она на свою голову читала Дориана Грея и испугалась возможных кровавых ножей.

А дело шло к загсу. Фаня заказала в ателье платье из голубого атласа. Все удивились: голубой цвет не был ее цветом, она была шатенка, ей шло красное, белое, зеленое, а голубое ее простило и старило. Но после той фотографии Фаня окончательно уверовала во всемогущество своих сил. Ведь просто встала ни в чем у окна, и на тебе — пол-полосы в газете. Она сказала, что голубой цвет будет ею побежден.

Наверное, прошло недели две со времени приезда Жорика — а сколько событий и эмоций! Люди интересовались, успеет ли мать выписаться из больницы, и Фаня сказала: «Нет, не успеет. Это же не аппендицит вырезать, это же покруче».

Жорик, осваиваясь на новом месте, время от времени вспоминал ту пустую квартиру, которую зарыл в паркете. Но чем дальше, тем больше он думал о Натке с раздражением и злостью, потому как возникший в нем эффект пустой

квартиры он честно, по-мужски свалил на нее. Это она вывезла все вещи из внутреннего дома его жизни, а кто же еще? Стерва! Когда это слово нарисовалось перед глазами, так оно тут же превратилось в глагол, и Жорик стал яриться, бешенствовать, внутренне, конечно, не на людях, и в какой-то момент в гневе вдруг понял, что с ним что-то не то. Как бы хворь. Он вспомнил Натку, такую хорошую и родную, а главное — сидящую сейчас с Николашей, потому что бабушка в больнице, а дедушка при ней. Жорик ясно отдал себе отчет, что за все это время ни разу не вспомнил о сыне. Ни разу. Тут надо сказать, что ничего удивительного в этом не было. Сына растили родители с полугода, как умерла девочка-жена, первокурсница. У нее была лейкемия, никто про это не ведал, даже мальчика родила, а потом раз — и не стало. Это был страшный первый курс — сразу и смерть, и рождение. Родители испугались за сына и, не задумываясь, взяли на себя внука. Да, собственно, больше было и некому. Других дедушек-бабушек у Николаши не было. Практически это был их ребенок, а молодой Жорик смотрел на мальчика с удивлением, смешанным с недоумением. Сейчас Николаше десять лет. Когда он увидел Ксюшу, он уже приготовился сказать, что и у него есть сын, но что-то возникло в пересечении мыслей и впечатлений — не сказал. А на другой, третий день случая не было.

Когда маму положили на операцию, а ему надо было ехать, Натка сказала, что заберет мальчика, она живет рядом со школой, отношения у них лучше не бывает, так что... Жорик и Натка собирались пожениться сразу после того, как мама выпишется.

Явление Фаины запрограммировано не было. Это воистину было явление.

В тот день, после того как Жорик пережил свой душевно-возвратный тиф, вспомнив про сына, он решил, что надо все сказать Фане. Это будет легко. Фаня поймет смерч его чувств, который снес по дороге все. И теперь, когда уже шьется атласное голубое платье, просто святое дело забрать мальчика. Он такой способный и подтянет Ксюшу там, где она идиотка. Фаня ведь говорит об этом открыто.

Фаня пришла с примерки с больной головой. Цвет не побеждался, а для поисков другого уже не было времени.

— Мальчик? Какой мальчик? Я терпеть не могу мальчиков! Живет со знакомой? Очень хорошо. Потом вернется бабушка, и будет ей отдушина на старости лет.

— Он не мальчик. Он мой сын, — сказал Жорик. — И я его обожаю. Как и тебя.

— Представляешь? — говорила потом всем Фаня. — Мне оно надо? Я сама могла родить ему мальчика, если б попросил. Но так, с бухты-барахты, на мою голову уже взрослый хлопец, ты его корми, ты его обстирай, а он будет мочиться мимо унитаза...

— Но это с какой стати, — не понимали ее, — он будет мочиться?

— С мужской. Вы хоть и живете с мужиками, а не знаете, что это за ними за всеми водится — терять последнюю каплю. Я просто ждала оформления, чтоб этого Жорика мордой сунуть в его грех. Да и Гриша был такой же... Честно, я других и не знаю. А дите и есть дите. Он может и не смывать. А я его учи? Господи, как я вяпалась! У меня что, последний шанс? А теперь, прикиньте, другой поворот. Раковая мама умрет все равно, не сейчас, так потом. И мне еще и дедушку привезут? Мне с Ксюшкой тесно, она неаккуратная у меня и занимает много места... Я ему так и сказала: тесно с мальчиком. Кажется, он обиделся. Развернулся и ушел. Но придет, куда денется. Просто так от меня не уходят. Вернется и примет мои условия. Я же честно. Если бы он мне сказал сразу... Он объясняет, что я его так, значит, опоила, что он потерял память...

— А если не вернется?

— Спорим! — Пospорили на бутылку водки. А на что еще могут спорить в редакции? Так сладко ее опростать, даже если приходилась каждому капля на доньшке. И не было лучшего момента в середине рабочего дня. Будто что-то приподнимало — и за так десять минут свободного парения.

Жорик не вернулся. Водку ставила Фаня. Она до этого босыми ногами сбегала в лабораторию, видно было, что там

была угощена и взбодрена. Выпили за то, чтоб жизнь нас не обманывала, кто-то сказал, что, может, еще и вернется Жорик, но Фаня сообщила важную вещь: Жорик забрал свои вещи в ее отсутствие, пользуясь тем, что имел ключи. Потом оставил их соседке. Фаня сказала, что он не взял ее подарок — дорогую кофейную чашку, которую она ему подарила на новоселье.

— Вот такой он и есть. Порядочности на одну чашку. Зато мальчика прими и живи с ним.

— Ты его не любила, — сказала молоденькая машинистка на полставки.

— А ты знаешь, что это такое? — спросила Фаня. — Ну объясни, что?

— Ну... — сказала девчонка, — это когда замирает тут... — И она ткнула себе в кофточку.

— Это у детей, — объяснила Фаня, — у моей Ксюшки, когда ее раскачивает на качелях прыщеватый Костя. Потом будет замирать в другом месте. И этому придумали слово — оргазм. Хорошее слово, правильное, точно передает суть...

Фаню не подозревали в такой многословности, поэтому решили: она все-таки обескуражена случившимся. Хотя и нет. Лицо у нее было без обескураженности. Оно было спокойным. Просто оно стало — если смотреть сбоку — похожим на острый топор.

Жорик так и не появился. Он получил квартиру и привез сына и Натку.

Все-таки у мужчин это проходит легче. Фаня же сдала за это время и все больше и больше делалась похожей на ту, которой люди боялись на фотографии. А чего бояться? Женщина как женщина, все при ней. Но все-таки не та! Как будто кто-то взял и что-то сдвинул в ее лице. И все понимали — не кто-то, а это проклятый Жорик щелкнул затвором своего фотоаппарата. Щелкнул и исчез. Фаню жалели. Даже не ее, а ее пропавшую красоту. Странно, но никто не злорадствовал. Мы ведь идиоты и до сих пор верим в эту абсолютную ложь, что красота спасет мир. Любовь не спасает, доброта, а ума у нас нет. Вот мы и вцепились в красо-

ту. И трындим, трындим... Какое спасение! А главное, с какой стати нас, дураков, спасать?

Фаня вышла замуж за вдового полковника, сын которого учился в Суворовском. Полковник гордился красавицей женой и боялся ее до смерти. Они любили вечерами гулять по местному Бродвею, но на Фаню уже никто не оглядывался. Иногда встречали гуляющих Жорика и Натку. Жорик и Фаня друг на друга никогда не смотрели, но была видна дуга ненависти, возникающая над их головами. Она долго висела в воздухе, и под нею было лучше не проходить.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| АНРИДАРГ (Предичтение на любителя) | 5 |
|--|---|

РАССКАЗЫ КОРОТКОЙ УЛИЦЫ

| | |
|--|-----|
| ПРИЧУДА ЖИЗНИ | 11 |
| ЕЙ ВО ВРЕД ЖИВУЩАЯ... | 41 |
| БАБУШКА И СТАЛИН | 60 |
| СЛУЧАЙ С КУЗЬМЕНКО | 71 |
| ПЕРЕЗАГРУЗ. | 102 |
| АЛЛОЧКА И ПЛОТИНА | 115 |
| ДЯДЯ ХЛОР И КОРЯКИН | 137 |
| ДОЧКИ, МАТЕРИ, ПТИЦЫ И ОСТРОВА | 162 |

БРОДЯЧИЕ СЮЖЕТЫ

| | |
|--|-----|
| НЕСНЯТОЕ КИНО | 181 |
| ЖЕНЩИНА ИЗ ПРОШЛОГО | 193 |
| ...ВСЕ ЭТО СЛЕДУЕТ ШИТЬ... | 206 |
| ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ | 220 |
| ШЛА И СМЕЯЛАСЬ, ШЛА И СМЕЯЛАСЬ... | 232 |
| СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОТОП | 246 |
| РОЛЬ ПИСАТЕЛЯ ПЬЕЦУХА В ЖИЗНИ ПРОДАВЩИЦЫ КОЛБАСЫ ВАЛИ ВЕРЕТЕННИКОВОЙ. | 254 |
| ИЗ КРЯКВ | 271 |
| НЕ БОЙТЕСЬ! МАРИЯ ГАНСОВНА УЖЕ СКОНЧАЛАСЬ | 284 |
| РАДОСТИ ЖИЗНИ | 293 |
| КРОВАТЬ МОЛОТОВА | 326 |
| ДИВНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ... | 349 |
| ДВЕРЬ | 387 |
| ТРОЕ В ДОМЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ | 398 |

ПО ЗАЯВКАМ ТРУДЯЩИХСЯ

| | |
|-------------------------------|-----|
| ЭМИГРАЦИЯ ПО-РУССКУ... | 417 |
| ЕДИНСТВЕННАЯ, НЕПОВТОРИМАЯ... | 437 |
| ВЕЧЕР БЫЛ... | 464 |
| НА ХРАМОВОЙ ГОРЕ | 491 |
| ЁКЭЛЭМЭНЭ | 516 |
| КОСТОЧКА АВОКАДО. | 547 |
| РАССКАЗ ДЛЯ ДИМЫ | 584 |
| КАК НАКРЫЛОСЬ ОДНО АКМЕ | 592 |

Литературно-художественное издание

Галина Щербакова

ЕДИНСТВЕННАЯ, НЕПОВТОРИМАЯ

Большая книга рассказов

Ответственный редактор *Ю. Качалкина*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *А. Щербакова*
Корректор *Н. Овсяникова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 16.03.2010.
Формат 60×90 1/16. Гарнитура «Балтика».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 38,0.
Тираж 5000 экз. Заказ № 2527.

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-699-41405-5



9 785699 414055 >

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»**
E-mail: international@eksmo-sale.ru

**International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.**
international@eksmo-sale.ru

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении,
обращаться по тел. 411-68-59 доб. 2115, 2117, 2118.**
E-mail: vipzakaz@eksmo.ru

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: Филиал ООО «РДЦ-Самара», ул. Фрезерная, д. 5.
Тел. (843) 570-40-45/46.

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.
Тел. (863) 220-19-34.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9.
Тел./факс: (044) 495-79-80/81.

Во Львове: ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.
Тел./факс (727) 251-59-90/91. rdc-almaty@mail.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухареvская пл., 12. Тел. 937-85-81.

Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12. Тел. 346-99-95.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

«Ей-богу, рассказы – сумасшедшие существа. Иногда я их даже боюсь.

Открываешь глаза, а на краешке твоей кровати весь из себя такой симпатиченький рассказик про тетку, что гуляла с немцами, аж земля дрожала, а пенсию получала потом выше партизанок.

И она говорит мне с края кровати: «Ну, и кто дурак?» –
и расплывается в гипюр.

Или идешь себе спокойно по коридору, думаешь мысль об одном, а он тебе навстречу – рассказ, – просто бери и складывай слова, они же на кончике языка. А он раз – и исчезает, попрятались эти словечки, зернышки, тряпочки, запахи, – дунул на тебя и прошел сквозь, слегка куснув за плечо. И ты понимаешь: не ты начальник слов, а эти хулиганы-образы, которые любят тебя, когда хотят, и идут в рост исключительно по собственной воле...

Или вот вчера. Иду и думаю, что бородинский хлеб нельзя покупать на углу, надо идти на другую сторону улицы – а он тут как тут, вылезает навстречу, дух рассказа, как айсберг в океане, и мне крышка, я забываю, что такое хлеб вообще, а рассказик какой-нибудь уже сидит на донышке стакана и похохатывает, как какой-нибудь сумасшедший.

Бродячие сюжеты – так иногда называю поэтому я свои рассказы. Получив когда-то какое-никакое филологическое образование, я знаю: это словосочетание в литературоведении имеет совсем иной смысл. Но я и с ним не спорю. Я убеждена: эти сюжеты кто-то уже держал в руках и, может, выронил, может, вкус показался не тот.

Но мне это любопытно – попробовать чужое. Конечно, уже через минуту я превращу все чужое в свое, такой я соловей-разбойник. С той разницей, что приبلудных я люблю, как своих. А иногда и пуще.

...И, конечно, невозможно представить этот сборник без рассказов, написанных по заявкам трудящихся. Было время, когда большое количество их пешком, поездом, письмом находили меня и настоятельно предлагали свои жизненные истории. Для, так сказать, их художественного воплощения. Они сроду не узнают в моих рассказах эти свои истории. Но фразка, словечко, манера подтягивать чулки – все было бесценно и превращало заявки из градирии в анридарг.

И вот они все перед вами. Рассказы короткой улицы и Москвы, Ростова и Волгограда, Челябинска и Свердловска. От каждого города свое биение. Но не в географии тут дело. Безусловны только рассказы короткой улицы. Они корни, они львы-собаки и пионеры с правой ноги».

Галина Щербакова, из предисловия

ISBN 978-5-699-41405-5



9 785699 414055 >